Илья Фейнберг • Читая тетради Пушкина

Илья Фейнберг

•

ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА





МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985



А. Пушкин

Илья Фейнберг

ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА



ББК 83.3Р7
Ф36

В книгу известного литературоведа Ильи Фейнберга (1905—1979) входят работы разных лет. Особое место занимают в ней исследования «Истории Петра I» и Автобиографических записок Пушкина, входящих в книгу «Незавершенные работы Пушкина», первое издание которой вышло в 1955 году. В этих работах Ильи Фейнберга впервые было раскрыто выдающееся историческое и художественное значение незавершенных пушкинских произведений. В книгу входят также разыскания автора, посвященные судьбам пушкинских рукописей и черновых тетрадей поэта. Среди них «Заступники кнута и плети...», «Исторический анекдот Пушкина», «Неведомая книга», «Работа над «Онегиным» и др.

Работа «Пропавший дневник» посвящена вопросу о том, существует ли неизвестный нам дневник Пушкина.

Издание иллюстрировано старинными гравюрами и рисунками Пушкина.

Составление М. И. Фейнберг

Художник Валерий ЛОКШИН

Ф $\frac{4603000000—438}{083(02)—85}$ 456—85

© Издательство «Советский писатель», 1985 г.
Статьи, отмеченные в содержании звездочкой, до 27 мая 1973 года не печатались.

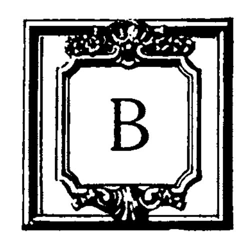


НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ ПУШКИНА

МАЭЛИ ФЕЙНБЕРГ

Без тебя эта книга не была бы написана

ПРЕДИСЛОВИЕ



предлагаемую книгу входят исследования о пушкинской «Истории Петра I» и сожженных Автобиографических записках поэта. Эти великие незавершенные работы Пушкина оставались неизученными в связи с постигшей их необычной судьбой.

«В рукописи остаются еще, — писал после смерти поэта Белинский, — материалы к истории Петра Великого, предпринятой Пушкиным. Говорят, что этих материалов стало бы на добрый том, и только одному богу известно, когда русская публика дождется этого тома...»

Рукопись незавершенной «Истории Петра I», запрещенная Николаем I, а затем потерянная, была найдена после революции и напечатана лишь в 1938 году, через сто один год после смерти поэта (ранее из нее были известны только отдельные отрывки).

Однако появление нового тома в собрании сочинений Пушкина оказалось, как ни удивительно, едва замеченным в связи с тем, что исторический труд поэта дошел до нас в черновом состоянии и потому даже после того, как рукопись его была напечатана, продолжал оставаться труднодоступным читателю.

Между тем найденный труд — по мере того как перед нами раскрывается его действительное, богатое содержание — меняет наши прежние представления о размахе исторических замыслов и работ великого поэта. Изучение творческой истории его труда убеждает в том, что работа его над созданием «Истории Петра» не остановилась на начальной стадии: исследование показывает, что, вопреки распространенному мнению, Пушкин не ограничился конспектированием изученного им многотомного свода исторических источников (то есть изданных И. И. Голиковым в конце XVIII столетия «Деяний Петра Великого»). Работа над «Историей Петра» продвинулась много дальше: общие контуры ее были уже ясны; в обширном подготовительном тексте ее отражена выработанная

Пушкиным историческая концепция, в свете которой различима пушкинская обрисовка Петровской эпохи и виден создаваемый им образ Петра.

Внимательное изучение позволяет раскрыть содержание намеченных в подготовительном тексте Пушкина исторических эпизодов и картин, какими Пушкин видел их и думал изобразить в своей «Истории Петра». Раскрыть все это оказалось возможным, несмотря на то что подготовительный текст ее писан был Пушкиным большей частью для себя — сокращенно, вчерне. Большей частью, но не целиком.

Исследование дало возможность обнаружить в этом обширном черновом труде Пушкина множество страниц-заготовок прекрасной исторической прозы, созданной уже Пушкиным для подготовляемой книги о Петре. Эти новые для нас страницы исторической прозы Пушкина оставались до сих пор незамеченными среди черновых программ и других вспомогательных, рабочих пушкинских текстов. Показать, что в потерянной и найденной пушкинской рукописи скрывалось — пусть в целом далеко не завершенное — произведение Пушкина и по возможности выяснить историческое и художественное значение «Истории Петра» является первой задачей настоящей книги.

Другим важнейшим незавершенным произведением Пушкина, относившимся к запретной части его литературного наследства, являлись Автобиографические записки поэта. Пушкин вынужден был сжечь их после 14 декабря 1825 года, поскольку они, по словам поэта, оказавшись в руках самодержавной власти, «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв». Позднее он стремился возобновить и продолжить свои «Записки». «Но и в уничтожении той части их, которая была уже составлена им в 1825 году, — как верно заметил первый биограф поэта Анненков, — русская литература понесла невознаградимую утрату».

Судьба «Записок» Пушкина не подвергалась до сих пор изучению в связи с тем, что от них, как принято было думать, почти ничего не сохранилось. Но действительно ли «Записки» поэта погибли целиком?

Филологическая наука издавна изучает судьбу утраченных литературных памятников. Исследователям удается иногда выяснить не только общее содержание погибшего памятника, но и обнаружить уцелевшие каким-нибудь образом части его. Уцелели же и, как известно, были обнаружены и расшифрованы через много десятилетий после смерти поэта отрывки так называемой десятой, «декабристской» главы «Евгения Онегина», сожженной Пушкиным — сожженной, но при этом частично зашифрованной Пушкиным и, таким образом, втайне им сохраненной.

В результате исследования мы приходим к выводу, что нет

оснований отказываться и от изучения судьбы сожженных «Записок» поэта: некоторые отрывки их, оказывается, уцелели. Разбросанные под случайными заголовками по различным томам сочинений Пушкина, иногда неожиданным для нас образом включенные самим поэтом в другие произведения, страницы эти входили когда-то в состав его Автобиографии. Исследование дает нам возможность опознать и обнаружить эти отрывки в рукописном наследстве Пушкина и судить по этим уцелевшим частям о содержании и стиле утраченных «Записок» великого поэта.

Исторические замыслы Пушкина не ограничивались временем Петра I и его ближайших преемников. В настоящую книгу входит в связи с этим раздел, посвященный задуманной поэтом «Истории моего времени».

Исследования об «Истории Петра I» и Автобиографических записках Пушкина, вошедшие в настоящую книгу, первоначально печатались в «Вестнике Академии наук СССР» (1949, № 5; 1950, № 8; 1953, № 5; 1955, № 1; 1956, № 3 и 1958, № 1). Первое издание настоящей книги вышло в 1955 году (во втором и третьем изданиях книга была расширена и дополнена), шестое — в 1976 году.

С тех пор, как были впервые опубликованы исследования, вошедшие в состав этой книги, прошло 25—30 лет. Можно отметить, что многие выводы, впервые обоснованные и изложенные в ней, в настоящее время приняты. Новое представление о пушкинской «Истории Петра I» и о судьбе «Записок» поэта нашло отражение в десятитомном издании сочинений Пушкина, которое было выпущено Государственным издательством художественной литературы в 1959—1962 годах под общей редакцией Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова и Ю. Г. Оксмана; см. т. 8, где напечатана «История Петра I» (подготовка текста и сопроводительная статья И. Фейнберга), и т. 7, где напечатаны сохранившиеся отрывки воспоминаний поэта и принят наш вывод о судьбе его «Записок» (комментарий Т. Г. Цявловской, с. 416—418). В настоящее время этот десятитомник переиздан (1974—1978 гг.).

Выполнение предлагаемых работ было бы невозможно без обращения к нашим государственным архивам, научным учреждениям и библиотекам, из числа которых должен прежде всего с благодарностью назвать *Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР,* где хранятся рукописи и библиотека Пушкина; *Отдел рукописей и Отдел редкой книги Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина,* где хранится библиотека Вольтера вместе с собранными им рукописными материалами по истории России, к которым обращался Пушкин; *Центральный Государственный архив древних актов,* где хранятся в настоящее время бумаги Петра I и подлинное следственное дело ца-

ревича Алексея; *Центральный Государственный исторический архив,* где хранится «Дело о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», изучение которого дает возможность уточнить текст высказываний Пушкина, изъятых в 1840 году цензурой из рукописи «Истории Петра»; *Центральный Государственный военно-исторический архив,* где в фонде Военно-ученого архива Главного штаба хранится дневник Д. Е. Келлера. Расшифровка слов Пушкина, заштрихованных в дневнике Келлера и не поддававшихся чтению, была выполнена в *Центральной криминалистической лаборатории Министерства юстиции СССР.* Руководителям и научным сотрудникам этих учреждений и архивов автор выражает искреннюю признательность.

* * *

Катастрофическая судьба, постигшая «Историю Петра I» и Автобиографические записки поэта, побуждает нас отнестись к изучению их с особым вниманием. Автор книги продолжает такое изучение. Ибо без достаточного ознакомления с этими великими замыслами и работами наше представление о границах творчества Пушкина оставалось бы поневоле неполным.

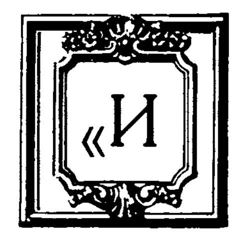


ИСТОРИЯ ПЕТРА I

«История Петра» «Очерк введения».

Рукопись Пушкина 1835 г.

НЕИЗУЧЕННЫЙ ТРУД



стория Петра I» сразу возбуждает вопросы, на которые нужно ответить раньше, чем перейти к изучению ее по существу. Сначала поражает судьба рукописи, запрещенной и затем пропавшей, в 1917 году найденной — и напечатанной только через сто один год после смерти Пушкина. Объясняется ли все это только исторической случайностью?

Как могла пропасть и так долго оставаться в безвестном отсутствии самая большая из пушкинских рукописей? Каким образом в прошлом столетии все-таки проникли в печать некоторые отрывки из этой пропавшей рукописи? Почему ее не пытались искать и при каких обстоятельствах она была все же найдена? Как могло случиться, что в то время, когда опубликование даже нескольких неизвестных строк Пушкина привлекало общее внимание, рукопись «Истории Петра» оставалась — после того как она была найдена — еще в течение двух десятилетий неизданной? Отчего, наконец, когда она была напечатана и в собрание сочинений Пушкина вошел новый том, это небывалое в истории изучения и издания пушкинского литературного наследства событие продолжало оставаться вне поля зрения большинства исследователей и читателей?

Рукопись «Истории Петра» найдена была в Лопасне, невдалеке от Москвы. Там, в усадьбе, куда переехал летом 1917 года внук поэта Григорий Александрович Пушкин, обнаружен был случайно затерявшийся ящик с бумагами, часть которых была, очевидно, уже уничтожена. В найденном ящике лежали двадцать две тетради большого формата — в лист. Это и была пропавшая рукопись пушкинской «Истории Петра». Что касается недостающих тетрадей, то часть их нашлась, по счастью, в том же ящике, в виде копий, снятых с подлинной рукописи после смерти поэта. Нужно было выяснить историю найденной рукописи и установить состав и содержание находки.

«Есть ли у нас хоть какие-нибудь, сколько-нибудь заслужи-

вающие внимания попытки изобразить в стройной исторической картине жизнь и деяния» Петра Великого? «Доселе еще — нет!» — писал после смерти Пушкина Белинский. «Правда, был у нас один, который мог бы алмазным пером своим, как на меди или мраморе, нетленными чертами передать вечности дела и образ» его, «но преждевременная смерть вырвала волшебное перо из творческих рук и надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную историю» Петра... «Пушкин смертью застигнут в приготовительных работах к ней»[1].

Что же это были за работы и как отражены они в найденном в бумагах поэта обширном подготовительном тексте незавершенной «Истории Петра»?

Когда вышел последний том посмертного издания сочинений Пушкина, Н. Полевой, выражая недоумение публики, писал об издателях его: «Они ни слова не говорят нам о драгоценном для нас предприятии Пушкина, Истории Петра Великого. Начал ли он ее? Если начал, то далеко ли довел ее? Если не принимался он за окончательное изложение ее, то что приготовил он? Не оставил ли хоть каких-нибудь заметок? Жадно хотим мы все это знать...»[2] Вопросам этим надолго суждено было оставаться без ответа.

Приказав тотчас после смерти поэта опечатать его бумаги, Николай I затем повелел представить ему «все рукописи, касающиеся до истории Петра Великого»[3]. Известно, что император «питал чувство некоторого обожания к Петру»[4], любил, когда его называли новым Петром Великим, и имел вполне определенный взгляд на то, как надлежит писать историю Петра. «Лицо императора Петра Великого должно быть для каждого русского предметом благоговения и любви; выводить оное на сцену было бы почти нарушение святыни и посему *совершенно неприлично.* Не дозволять печатать», — заметил он, запрещая в 1831 году трагедию Погодина «Петр»[5].

Рассмотрев незавершенный исторический труд Пушкина, он указал: «Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого»[6].

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V. М., 1954, с. 93 и 94.

[2] Рецензия на т. I—XI «Сочинений Александра Пушкина». — «Русский вестник», 1842, т. V, кн. 1, с. 40.

[3] См. письмо В. А. Жуковского Николаю I от 3 апреля 1837 г. — «Современник», 1913, № 9, с. 326.

[4] А. О. Смирнова. Записки, дневник, воспоминания, письма. Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой, под ред. М. А. Цявловского. М., Изд-во «Федерация», 1929, с. 202.

[5] Резолюция от 22 декабря 1831 г. Курсив наш. — *И. Ф.* См.: Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 322.

[6] См. Прошение В. А. Жуковского на имя Николая I о дозволении напечатать «Материалы для Истории Петра Великого» (1840). — «Исторический вестник», 1899, № 3, с. 692.

«Неприличие» пушкинского труда, как видно даже из сопоставления приведенных царских резолюций, не сводилось, с точки зрения Николая I, к отдельным — иногда действительно весьма резким — выражениям Пушкина, характеризующим Петра. За неделю до смерти поэт сам сказал в разговоре с Плетневым, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть ее не позволят печатать»[1].

Предвидение Пушкина оправдалось. Между тем его историческому труду придавалось значение государственное. В донесениях о смерти поэта послы, аккредитованные при петербургском дворе, сообщали о нем своим правительствам. «Император приказал ему поселиться в Петербурге, поручив ему написать историю Петра Великого; для этой цели в его распоряжение были предоставлены архивы империи», — сообщал 14 (2) февраля 1837 года австрийский посол в Петербурге граф Фикельмон Меттерниху. «Три года тому назад ему была назначена пенсия за работы над историей Петра Великого, и он собрал уже ценные материалы...» — доносил тогда же неаполитанский посланник князь ди Бутера.

О незавершенной Пушкиным «Истории Петра» сообщали своим правительствам в донесениях о смерти поэта шведско-норвежский поверенный в делах в Петербурге Густав Нордин и баварский посланник граф Лерхенфельд. Прусский посланник Либерман, касаясь судьбы бумаг поэта, считал нужным особо упомянуть о материалах, порученных Пушкину, как «историографу» Петра.

Вместе с тем послы сообщали, что император повелел Жуковскому сжечь все пушкинские рукописи, которые, как писал граф Лерхенфельд, «могли бы скомпрометировать память Пушкина, относясь к временам его юности, когда он предавался крайним и революционным идеям». «Пушкин был склонен к либерализму, — пояснял князь ди Бутера, — и это было известно императору; не желая, чтобы бумаги и корреспонденция покойника кого-нибудь скомпрометировали... он послал в его дом воспитателя Наследника (Жуковского. — *И. Ф.*) собрать бумаги, сохранить материалы по истории Петра Великого и документы из Государственного архива, а все остальное, что может омрачить память Пушкина и повредить другим, сжечь без рассмотрения». Упомянутый уже прусский посланник называл это решение Николая «великодушным порывом его величества»[2].

«Материалы для Истории Петра Великого», как видно из этих сообщений, заранее противопоставлялись всему тому,

---

[1] А. В. Никитенко. Дневник в 3-х т., т. I. М., 1955, с. 193.

[2] Донесения послов о смерти поэта, из которых извлечены нами упоминания об «Истории Петра», напечатаны были в русском переводе в кн. П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы», изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 375—379, 405.



Петр I
Гравюра Баузе 1786 г. (с прижизненного портрета).

что могло бы «омрачить память Пушкина» и должно было быть поэтому сожжено. Но, по рассмотрении рукописи царем, выяснилось, что «компрометирующим» Пушкина, подлежащим запрету трудом неожиданно оказалась не относящаяся к временам его юности («когда он предавался крайним и революционным идеям») «История Петра I».

Между тем слухи о ней широко распространились, а друзья поэта продолжали хлопотать об ее издании. Они решили изъять из нее все, что было сочтено царем «неприличным», и представить рукопись Пушкина на цензурное рассмотрение вновь — в «очищенном» виде.

После смерти поэта, когда подлинная рукопись «Истории Петра» — «три кипы (31 тетрадь)»[1] — была переписана, писарская копия ее — в которой поля были оставлены равными тексту — составила шесть рукописных фолиантов. Перед тем .как представить их в 1840 году официально в цензуру, эти шесть рукописных томов были переданы опекой по делам Пушкина для предварительного «очищения» К. С. Сербиновичу.

Сербинович, бывший цензор, помогавший раньше Карамзину в работе над историческими источниками и потом разбиравший в Государственном архиве дела петровского времени, прочитав обширную рукопись Пушкина, отметил в ней строки, подлежащие исключению либо смягчению. Все подобные места были переписаны им в сводный реестр, и в нем против каждой выписки было указано, как следует поступить с этими запретными строками Пушкина — исключить или только смягчить их. В последнем случае приводилась каждый раз предлагаемая Сербиновичем новая редакция, придающая цензурный вид историческим суждениям Пушкина о Петре.

Изучение этого документа, обнаруженного нами в архиве в 1950 году[2], показывает, что свою цензорскую задачу Сербинович выполнил искусно. Всего сорок девять мест из обширного пушкинского труда подвергались изменению или изъятию. Самый объем внесенных изменений, казалось бы, невелик; между тем исторический труд Пушкина был искажен Сербиновичем самым серьезным образом, ибо он не ограничился изъятием из рукописи отдельных, часто не предназначавшихся самим Пушкиным для печати резких выражений: Сербинович исказил либо исключил из «Истории Петра» строки, в которых нашла свое выражение историческая концепция Пушкина[3].

---

[1] См.: Б. Л. Модзалевский. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в Музее А. А. Бахрушина. — Пушкин и его современники, вып XIII. изд. Академии наук, СПб., 1910, с. 102.

[2] Центральный Государственный исторический архив, ф. 1066, ед. хр. 904.

[3] Мы вернемся к этому «реестру» в связи с тем, что изучение его позволило нам обнаружить в нем два исторических замечания Пушкина, остававшихся ранее неизвестными (поскольку та часть рукописи «Истории Петра», из которой они были изъяты, не дошла до нас).

«Трудами» Сербиновича цензурная история пушкинской рукописи, разумеется, не ограничилась, и Жуковский вновь обратился к Николаю I. «Теперь, — писал он ему, — манускрипт пересмотрен со вниманием, и все замеченное или выброшено, или исправлено. Испрашиваю всеподданнейше позволения у вашего императорского величества напечатать сию рукопись...»[1]. Согласие последовало, и шеститомная копия «Истории Петра» поступила на официальное рассмотрение к цензору Никитенко.

Никитенко сверх предложенных Сербиновичем сделал новые изъятия, зачеркнул красными чернилами все изымаемые из пушкинской рукописи строки и в таком оцензуренном виде счел возможным разрешить ее издание.

«Материалы для Истории Петра Великого», как был назван пушкинский труд, несмотря на цензурное разрешение, изданы все же не были. Произошел случай, единственный в истории издания пушкинских рукописей: незавершенный труд Пушкина не нашел издателя. И потому «История Петра» была в 1841 году возвращена вдове поэта опекой по его делам, которая «при всем старании своем не могла продать книгопродавцам рукописи сей для издания оной в свет»[2].

Десятилетие спустя «История Петра» вместе со всеми рукописями поэта передана была Натальей Николаевной (ставшей женой Ланского) П. В. Анненкову, подготовлявшему к печати первое научно изданное собрание сочинений Пушкина. В издании этом из «Истории Петра» напечатано было, однако, очень немногое. Анненков называл работу над «Историей Петра» важнейшим трудом поэта в последние годы его жизни, но полагал вместе с тем, будто бы «то, что у Пушкина называется материалами для Истории, не представляет, собственно, материалов, но только выписки из них и ссылки. Это — черновая работа, свидетельствующая», как думал тогда Анненков, лишь «о добросовестности, с какой приступал» Пушкин «к задаче своей»[3].

---

[1] «Исторический вестник», 1889, № 3, с. 692.

[2] П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 482 (примеч.).

Пушкинские тексты даны (кроме особо оговариваемых случаев) по Большому и Малому академическим изданиям сочинений Пушкина:

П у ш к и н. Полное собрание сочинение в 16-ти томах. Изд-во АН СССР, 1937—1949, сокращенно обозначаемому: П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т.; и А. С. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Изд-во АН СССР, 1949, сокращенно обозначаемому: А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 10-ти т.

В тех случаях, когда напечатанный в названных изданиях текст «Истории Петра I» требовал исправления, он дается по изданию: А. С. П у ш к и н. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 8. М., «Художественная литература», 1977 (подготовка текста и примеч. И. Фейнберга).

[3] П. А н н е н к о в. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 402 и 403.

Из обширной пушкинской рукописи первый редактор поэта выделял только «половину первой тетради самой Истории Петра, которая наиболее отделана у Пушкина»[1]. Ее он и напечатал в своем издании и, кроме того, поместил в «Материалах» для биографии поэта два отрывка, посвященные основанию Петербурга и смерти Петра. «Читатель легко заметит, — утверждал Анненков, — что оба отрывка не имеют вида настоящего исторического рассказа, а только, как и все прочее у Пушкина, представляют одну программу его...»[2]

Недооценив значение незавершенной «Истории Петра», не имея по цензурным условиям возможности и не считая нужным напечатать ее в том виде, в каком этот труд оставлен нам Пушкиным, Анненков оказал все же русской литературе важную услугу, поручив писцу переписать из «Истории Петра» запрещенные строки, перечеркнутые в цензурной рукописи красными чернилами. Обширная рукопись Пушкина вместе с цензурной копией ее была вслед за тем надолго потеряна. Текст же запрещенных цензурою строк «Истории Петра», благодаря анненковским выпискам, сохранился[3].

Между тем возвращенная Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской рукопись «Истории Петра» (на которую стали смотреть как на материалы, не представляющие существенного интереса и не находящие издателя) хранилась вместе с уложенной в ящики библиотекой Пушкина, забытая в подвалах казарм Конно-гвардейского полка, которым командовал П. П. Ланской[4].

Затем вместе с библиотекой поэта рукопись «Истории Петра» перевезена была в имение Пушкиных — Ивановское, Бронницкого уезда, Московской губернии, а оттуда в Лопасненскую усадьбу (принадлежавшую родственникам старшего сына поэта). Здесь рукопись и была забыта в начале 90-х годов при вывозе из Лопасни пушкинской библиотеки обратно в Ивановское.

Сведения о том, как рукопись «Истории Петра» странствовала сначала из столицы в Ивановское, а затем в Лопасню, и о том, как она в 1917 году была там обнаружена, основываются на сообщениях внуков поэта. Григорий Александрович

---

[1] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 406.

[2] Там же.

[3] Четверть века спустя, когда цензурные условия смягчились, Анненков опубликовал важнейшие из этих строк. Впервые — в «Вестнике Европы», 1880, кн. VI. Всего по указанию Анненкова сделаны были 34 выписки. Ныне они хранятся в Архиве Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 8, № 55.

[4] Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиографическое описание.— Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 11, а также: М. А. Цявловский. О судьбе рукописного наследства Пушкина. — В сб.: Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина, М., 1938, с. 90—91.

Пушкин 23 октября 1932 года в письме к П. С. Попову вспоминал, что, когда он приехал летом 1917 года в Лопасню, жившая там «Наталья Ивановна Гончарова (племянница Натальи Николаевны Пушкиной) обратила внимание на исписанные листы, которыми была устлана клетка с канарейкой, висевшая в усадьбе. Г. А. Пушкин, убедившись, что бумага исписана рукой деда, стал искать, откуда растаскивались эти листы; тогда только и был обнаружен в кладовой затерявшийся и уже раскрытый ящик с бумагами, объеденными мышами, — очевидно было, что часть их уже уничтожена. Основным ядром этих бумаг оказались записки А. С. Пушкина для «Истории Петра I»[1]. (Вместе с ними в ящике нашлось много хозяйственных и семейных бумаг Пушкина.)

Из тридцати одной существовавшей тетради найдены были двадцать две. Нашлись также три тома (то есть половина) шеститомной цензурной копии «Истории Петра». Текст недостающих тетрадей в известной мере восполнялся обнаруженной частью копии[2].

Свидетелями находки, сделанной в Лопасне летом 1917 года, являлись, кроме скончавшегося в 1940 году Григория Александровича Пушкина (внук поэта), вдова его Юлия Николаевна Пушкина и младший брат Григория Александровича — Николай Александрович Пушкин (род. в 1885 году), уехавший за границу. Автор настоящей книги записал 5 и 11 октября 1956 года подробный рассказ Юлии Николаевны Пушкиной о том, как она сохранила и передала в 1919 году на хранение в Румянцевский музей подлинный дневник А. С. Пушкина. Она вспоминала, что ящик с рукописями «Истории Петра» обнаружен был на чердаке лопасненского дома, но подробностей, сопровождавших находку, уже не помнила[3].

Николай же Александрович Пушкин опубликовал в 1926 году в Брюсселе в первом номере журнала «Благонамеренный» статью «Об одной неизвестной находке пушкинских рукописей».

«Всем хорошо известно, — писал тогда Н. А. Пушкин, — что дед Александр Сергеевич по поручению государя Николая Павловича занимался составлением Истории Петра Великого, но, несмотря на самые тщательные розыски, никаких следов этой работы обнаружено не было. Несколько лет тому назад

[1] Эти сообщенные Г. А. Пушкиным П. С. Попову сведения приведены были последним во вступительной заметке к публикации, в состав которой вошли хозяйственные и семейные бумаги А. С. Пушкина, найденные в Лопасне одновременно с рукописями «Истории Петра». — См. «Летописи Государственного Литературного музея. Пушкин». М., 1936, кн. I, с. 84.

[2] Недостает в конечном счете разделов, относящихся к 1690—1694 гг. (период от начала единовластного царствования Петра до начала Первого Азовского похода) и к 1719—1721 гг. (из тетрадей, относящихся к этим трем годам, сохранились в выписках только запрещенные цензурой строки).

[3] Юлия Николаевна скончалась в Москве в 1967 году.

мне посчастливилось найти материалы, собранные дедом, но война и революция помешали их опубликованию и поныне препятствуют мне опубликовать мою находку». Высказывая опасение, что находка эта «может погибнуть или вновь затеряться», Н. А. Пушкин выражал желание, чтобы «по крайней мере сведения», им сообщаемые, сохранились «в памяти читателей».

«Вот при каких обстоятельствах, — писал он, — мне удалось разыскать Историю Петра Великого, или точнее — материалы к ней. Однажды, собираясь из одного из наших имений в Москву, я приказал отправить в город кое-какие деревенские припасы. Мое внимание случайно привлек сверток, завернутый в бумагу, желтоватый цвет и поблекшие, выцветшие чернила которой несомненно указывали на ее старину. Заинтересованный, я развернул бумагу, и — можно представить себе мое изумление», — вспоминал Николай Александрович, — перед ним оказалось письмо, адресованное Александру Сергеевичу Пушкину.

«Мне также хорошо было известно, что дед никогда не был в этом имении... В полном недоумении, я послал за ключницей и спросил у нее, где она взяла бумагу для упаковки провизии. «Да мы, барин, завсегда берем из ящика, что на чердаке», — получил я простодушный ответ... Понятно, пресловутый ящик был немедленно изъят из обладания доброй старушки, и я тотчас же приступил к его обследованию... Кроме довольно значительного количества писем, адресованных деду и носящих исключительно деловой характер, на дне ящика я обнаружил три больших рукописных тома, озаглавленных «Материалы к Истории Петра Великого»... Все три тома кругом исписаны мелким убористым почерком, и лаконичность записей еще увеличивает объем собранных данных. Местами заметки настолько подробны, что представляют поденную запись деятельности императора.

Дальнейшее расследование, — продолжает Николай Александрович, — дало мне объяснение факта нахождения ящика с документами и историей Петра Великого в этом имении. После пожара, уничтожившего усадьбу, где находилась библиотека деда, уцелевшие вещи — и в том числе сама библиотека — были временно перевезены на хранение в другое имение — то самое, где были найдены документы. При обратной перевозке один из ящиков был, очевидно, забыт и несколько десятков лет спокойно пролежал на чердаке, не привлекая ничьего внимания»[1].

Из последних строк можно было заключить, что автор сообщения, не называя усадьбы, в которой была сделана находка, говорил о Лопасне (где при обратной перевозке библиоте-

[1] «Благонамеренный». Брюссель, 1926, № 1, с. 140—142.

ки поэта из Лопасни в Ивановское был забыт действительно в 90-х годах ящик с рукописями «Истории Петра»).

Когда Николай Александрович опубликовал в Брюсселе свое сообщение, Григорий Александрович еще здравствовал в Москве и утверждал, что, несмотря на некоторые разноречия с воспоминаниями самого Григория Александровича, брюссельское сообщение говорило все о той же хорошо нам известной лопасненской находке[1].

Устилали ли в Лопасне страницами «Истории Петра» клетку канарейки, заворачивала ли ключница в них провизию, невольно обратив таким образом внимание потомков Пушкина на его забытую рукопись, — уточнить важно было теперь, разумеется, не это. Вопрос в том, описывал ли Николай Александрович в своем брюссельском сообщении 1926 года действительно найденную им, но неизвестную нам до сих пор часть пушкинских рукописей, относящихся к «Истории Петра», или же говорил по памяти — и потому неточно — об известных нам, уже ныне изданных рукописях Пушкина, найденных в Лопасне?

Николай Александрович Пушкин, как мы получили возможность выяснить в сентябре 1956 года, здравствовал еще в Брюсселе. Бельгию посетила тогда делегация советских поэтов: П. Антокольский, С. Михалков и К. Симонов, и по просьбе пишущего эти строки участники делегации выяснили, что Николай Александрович за протекшие тридцать лет не изменил своего местожительства.

В связи с этим мною высказана была в печати надежда на то, что необходимые разъяснения со стороны внука поэта, может быть, еще последуют[2].

И действительно, в письме, посланном им из Брюсселя 24 июля 1961 года правнучке поэта Наталии Сергеевне Шепелевой, живущей в Москве, Николай Александрович Пушкин сообщил, что «заметки деда для истории Петра I» (найденные Николаем Александровичем, как он прямо указывал теперь, вместе с братом — Григорием Александровичем Пушкиным — в Лопасне) были переданы ими «в Пушкинский музей, и, наверное, это они и были опубликованы»[3].

Безнадежно ли утрачены недостающие пушкинские тетради и где может находиться теперь, если она цела еще, отсутствую-

---

[1] Об этом утверждении Григория Александровича Пушкина сообщил в примечании к своей статье «Пушкин в работе над «Историей Петра I» П. С. Попов. — См.: «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 511.

[2] См.: И. Фейнберг. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 2-е. М., 1958, с. 24.

[3] Выражаю глубокую благодарность Наталии Сергеевне Шепелевой, любезно ознакомившей меня с приводимым здесь в извлечении письмом Николая Александровича Пушкина от 24 июля 1961 года, уточняющим его прежнее печатное сообщение, опубликованное в 1926 году в Брюсселе. Он скончался в Брюсселе в 1964 году.

щая половина — три тома! — цензурной копии «Истории Петра»? Для ответа на эти вопросы мы не располагаем пока достаточными данными. Однако возможность обнаружения неизвестных нам рукописей, относящихся к работе Пушкина над «Историей Петра», не исключена.

Найденный в Лопасне подготовительный текст «Истории Петра» написан Пушкиным в течение 1835 года. Известно, однако, что и до того, в 1834 году, Пушкин собирал материалы для своего труда. «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю матерьялы — привожу в порядок...»[1] — писал он жене в конце мая этого года. Между тем материалы, собранные Пушкиным в 1834 году, остаются неизвестными, так же как судьба недостающей части рукописи 1835 года.

Исторический труд Пушкина в своей большей части, однако, дошел до нас: нам известны примерно три четверти его текста, а из пропавшей части его уцелели по воле судьбы как раз наиболее важные отрывки, которые николаевская цензура стремилась скрыть от читателей.

«История Петра», появления которой с таким нетерпением ожидал Белинский, наконец увидела свет. Перед исследователями встала задача установить, что представляет собой этот остававшийся так долго неизвестным исторический труд Пушкина, и обнародовать его.

Напечатана была «История Петра» только в 1938 году, в десятом томе Большого академического издания сочинений Пушкина. При этом было высказано утверждение, что найденный пушкинский труд представляет собой не более чем «подготовительные записи-конспекты», сделанные Пушкиным при чтении «Деяний Петра Великого», многотомного свода исторических материалов о Петре, изданного в конце XVIII столетия И. И. Голиковым[2]. Таким образом, исследователи увидели в найденной рукописи всего только отражение начального этапа исторических занятий Пушкина.

Этот вывод, основанный на работах П. Попова, редактора первого академического издания «Истории Петра», соответствовал тому представлению о ней, которое возникло у исследователей в годы, предшествовавшие опубликованию найденной рукописи. «Смерть Пушкина застала его почти у самого начала задуманной монументальной работы», — писал, например, в свое время Н. Лернер [3], а Л. Модзалевский полагал, что Пушкин только «начал собирать материалы» для не написанной им «Истории Петра»[4].

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., в 10-ти т., т. X, с. 486.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 482.

[3] Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. Пг.—М., 1923, с. 65.

[4] Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского, М.—Л., «Academia», 1935, с. 480.

Оценка, данная труду Пушкина в академическом издании, показалась поэтому правдоподобной. Трудно было, конечно, даже представить себе, что в наши дни может существовать обширный исторический труд Пушкина, остающийся неизученным и неоцененным. Изучать заново сотни страниц конспектов, даже вышедших из-под пера Пушкина, сопоставляя их при этом с многотомными голиковскими «Деяниями Петра Великого», не было, казалось, необходимости, и вывод П. Попова принят был историками литературы без всякой критики. Сам П. Попов после некоторых колебаний, отраженных в его статье «Пушкин как историк»[1], повторил в предисловии к редактированному им новому изданию «Истории Петра», что она представляет собою «выписки-конспекты», «сделанные Пушкиным при чтении труда И. И. Голикова»[2].

В комментариях к вышедшему в 1949 году и рассчитанному на широкий круг читателей Малому академическому изданию сочинений Пушкина было сказано: «Сохранившиеся материалы для Истории Петра Великого представляют собою, как это сознавал и сам Пушкин, лишь только предварительные конспекты книги Голикова»[3]. Наконец, в «Очерках истории исторической науки в СССР», вышедших в 1955 году, мы в статье «Исторические взгляды А. С. Пушкина» снова читаем, что поэт только «начал собирать материалы для задуманного большого труда» и что «результатом этой работы явился конспект известных «Деяний» И. И. Голикова, сопровожденный краткими примечаниями и комментариями» Пушкина (автор статьи — А. В. Предтеченский)[4]. Сходный взгляд высказал в 1952 году в своем докладе на Четвертой Всесоюзной Пушкинской конференции и академик Е. Тарле[5].

Между тем подобное представление о пушкинской «Истории Петра» является, как постараемся показать, ошибочным. Исходя из предвзятого представления и не считая нужным изучить заново огромный подготовительный текст «Истории Петра», исследователи не обратили на нее должного внимания; в связи с этим найденный труд Пушкина оставался, в отличие от остальных его работ, почти неизученным.

Современники сознавали значение труда, которым Пушкин был занят в последние годы жизни: они понимали или угадывали замысел поэта. Но с годами потеряна была не только ру-

[1] «Вестник Академии наук СССР», 1937, № 2—3.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 6-ти т., т. VI, кн. 2. М., 1946, с. 5.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 512. В комментарий к 3-му изд его внесены некоторые изменения (к сожалению, недостаточные. См. с. 46 наст. изд.).

[4] Очерки истории исторической науки в СССР, т. I. М., 1955, с. 310.

[5] См. «Новый мир», 1963, № 9, с. 214 и 216.

копись его незавершенной книги, утрачено было и понимание того, чем должна была она стать по замыслу Пушкина.

Свидетельства современников поэта, до сих пор полностью не собранные и не оцененные, говорят о том, какое важное место занимала работа над созданием «Истории Петра» в творчестве Пушкина.

«Труд, за которым его застала смерть, — писал друг Пушкина П. А. Плетнев, — был выше всего, что мы от него получили. Он готовил нам историю Петра Великого. Эта мысль, овладевшая его душою, занимала его преимущественно в последние годы. Чувствуя живо величие предприятия, он желал совершить его достойным образом. Заготовленные им материалы свидетельствуют, в какой полноте хотел он обнять предмет свой. Силы его таланта уже достаточно ручались за успех. Исполнение блистательное было всегда его уделом».

Труд его, говорит Плетнев, — помимо «знания, терпения, проницательности» и «непосредственного соприкосновения к идеям и силам исполинским» — требовал «оригинальной широкой кисти, чтоб ожила в подлинных красках вся эта чудесная эпоха», — в книге Пушкина о Петре, понимал он, открывалась бы не только историческая, но и «художническая правда»[1].

«С месяц тому, — писал вскоре после смерти поэта историк М. А. Коркунов, — Пушкин разговаривал со мной о русской истории... С тех пор как он вознамерился описать царствование и деяния Великого Петра, в нем развернулась сильная любовь к историческим знаниям и исследованиям отечественной истории»[2].

«В последние годы он выдавал очень мало в свет... Петр Великий занимал все его внимание», — писал о Пушкине историк Погодин, которого поэт хотел привлечь к сотрудничеству для работы в московских архивах над подготовкой «Истории Петра». «С усердием перечитал он, — свидетельствует Погодин, — все документы, относящиеся к жизни великого нашего преобразователя, все сочинения, о нем писанные»[3].

«Пушкин... умел приобрести... обширные познания в литературе и истории, — вспоминал Н. М. Смирнов, близко общавшийся с поэтом в последние годы его жизни. — Он читал очень много и, одаренный необыкновенною памятью, сохранял все сокровища, собранные им в книгах; особенно хорошо изучил он российскую историю и из оной всю эпоху с начала царствования Петра Великого до наших времен.

Его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего столетия, и он любил их

---

1 П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, с. 338—339.
2 «Московские ведомости», 1837, № 12, 10 февраля
3 «Русский архив», 1865, с. 108

рассказывать. Государь ему поручил написать Историю Петра Великого. Он этим делом занялся с любовию, но не хотел начать писать прежде, чем соберет все нужные материалы, а для достижения сего читал все, что было напечатано о сем государе, и рылся во всех архивах. Зная коротко Пушкина (и мое мнение разделено Жуковским, Вяземским, Плетневым, — подчеркивал Смирнов), я уверен, что он вполне удовлетворил бы строгим ожиданиям публики, ибо под личиною иногда ветрености и всегда светского человека он имел высокий проницательный ум, чистый взгляд, необыкновенную сметливость, память, не теряющую из виду малейших обстоятельств в самых дальних предметах, высоко благородную душу, большие познания в истории — словом, все качества, нужные для историографа, к которым он присоединял еще свой блистательный талант, как писатель»[1].

«В последнее время работа, состоящая у него на очереди, — писал о Пушкине Вяземский, — была история Петра Великого. Труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это — целый мир! В Пушкине было верное пониманье истории, свойство, которым одарены не все историки. Принадлежностями ума его были: ясность, проницательность и трезвость... Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки для удобного вложения в них событий и лиц, предстоящих изображению...»[2]

Свидетельства современников, близко знавших поэта, таким образом, подчеркивают, что Пушкин обладал не только всеми свойствами и данными, необходимыми для историка Петра, но и «с усердием» изучил «все документы» и «все сочинения, о нем писанные», «читал все, что было напечатано о сем государе, и рылся во всех архивах». Даже будущий цензор «Истории Петра» Никитенко, присутствовавший за неделю до смерти поэта при беседе Пушкина с Плетневым, заметил: «Видно, что он много читал о Петре». Но в этом же разговоре поэт, как было уже упомянуто, признавал, что «историю Петра пока нельзя писать, то есть (пояснил он. — *И. Ф.)* ее не позволят печатать»[3]. Вот почему, после того как рукопись была после смерти Пушкина запрещена, первые идущие из русских источников сведения об «Истории Петра» появились не в русской, а в зарубежной печати.

«С ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению», — писал Вяземский А. О. Смирновой, сообщая ей 25 марта 1837 года, что статья Леве-Веймара о Пушкине в «Журналь де деба» в России «не пропущена, хотя она довольно справедлива и писана с доброжелательством, а кле-

---

[1] «Русский архив», 1882, кн. 2, с. 229. См. также запись в дневнике Н. М. Смирнова за 1834 г. — «Неделя», 1962, № 40, с. 15.

[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II, СПб., 1879, с. 373.

[3] А. В. Никитенко. Дневник в 3-х т., т. 1. М., 1955, с. 193.



Медаль *«На взятие шведских фрегатов»*
1703 г.

веты, — с грустью добавил Вяземский, — пропускаются»[1]. В статье своей Леве-Веймар, французский литератор, близко общавшийся в Петербурге с поэтом в последнее время его жизни, писал об «Истории Петра», основываясь на своих беседах с Пушкиным. Статья эта появилась в парижской газете 3 марта 1837 года.

В том же году в Германии вышла книга Кенига о русской литературе, в которой также сообщались сведения о работе поэта над подготовкой «Истории Петра». Книга эта, которую часто и вполне справедливо называют книгой Кенига — Мельгунова, была прямо основана на русских и притом достаточно серьезных источниках.

Двадцатого февраля 1837 года Мельгунов писал Шевыреву из-за границы, что он «начал беседовать о Пушкине, а потом и о других русских писателях с одним немецким литератором, Кенигом; из бесед этих выходит книжка», — пояснял он. Князь Вяземский собирался переводить книгу Кенига, «но по цензурным условиям это оказалось делом бесполезным[2]. Русское издание ее смогло выйти в Петербурге лишь спустя четверть века.

В книге этой, написанной под впечатлением смерти Пушкина, сообщалось: «Император поручил Пушкину (в 1831 г.) написать историю Петра Великого, и потому с этого времени ему производилось жалованье по 6000 рублей в год. Он осмотрел архивы петербургский и московский, собрал всю корреспонденцию Петра Великого и с жаром, серьезно принялся за дело. Он выработал совершенно новые, особенные взгляды на этого великого человека, проницательным взором историка следил за развитием его характера от вспыльчивости в молодости до снисходительности его в возмужалости. Судя по его симпатии к Петру, казалось, что он призван был отвергнуть нерасположенность к нему Карамзина»[3].

Здесь, как видим, осторожно, но прямо говорилось уже не о том только, что Пушкин «осмотрел архивы», но и сообщалось, что «он выработал совершенно новые, особенные взгляды» на Петра Великого. О том же, в чем заключались эти новые взгляды, умалчивалось: сказано только, что Пушкин призван был опровергнуть «нерасположенность» к Петру Карамзина, и упоминалось, что Пушкин следил за развитием характера Петра.

Леве-Веймар писал в своей статье:

«История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора, должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он ра-

---

[1] «Русский архив», 1888, кн. 2, с. 303.

[2] См.: А. Кирпичников. Между славянофилами и западниками. — «Н. А. Мельгунов». — «Русская старина», 1898, № 11, с. 321 и 328.

[3] Очерки русской литературы. Перевод сочинения Кенига «Literärische Bilder aus Russland». СПб., 1862, с. 110.

зыскал переписку Петра Великого включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого, каким он был в первые годы царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера и с какой радостью, с каким удовлетворением правдивого историка он показывал нам государя, который когда-то разбивал зубы не желавшим отвечать на его допросах и который смягчился настолько к своей старости, что советовал не оскорблять даже словами мятежников, приходивших просить у него милости».

Говоря об исторических трудах Пушкина, Леве-Веймар заметил: «Его беседы на исторические темы доставляли удовольствие слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта, как будто сам жил в таком же близком общении со всеми этими старыми царями, в каком жил с Петром Великим его предок Аннибал...»[1]. Французский писатель, с которым поэт встречался в последние месяцы своей жизни, подчеркивая, что взгляды Пушкина обнаруживали в нем «великого и глубокого историка», отмечал, мы видим, что Пушкин «не скрывал серьезного смущения» по поводу трудностей, с которыми должен был встретиться, выступая в николаевской России как правдивый историк Петра.

Но, с понятной осторожностью говоря об оригинальных исторических взглядах, выработанных поэтом, современники свидетельствуют о том, как увлекательны были рассказы Пушкина о Петре. «Рассказами своими о Петре Пушкин удивлял Жуковского», — вспоминал Петр Киреевский, который в 1835 году прожил несколько недель в Петербурге и через Жуковского познакомился с Пушкиным. «Он (Киреевский. — *И. Ф.*) часто видал его у Жуковского и один раз вместе с последним был у Пушкина. Киреевский хорошо помнит большую комнату со шкафами по бокам и с длинным столом посередине, заваленным бумагами»[2]. На столе этом в 1835 году, когда поэт, по собственным его словам, был «очень занят Петром» и создавал обширный подготовительный текст своей «Истории», лежали, конечно, относящиеся к этому труду рукописи и бумаги Пушкина.

«Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер, —

---

[1] Перевод статьи Леве-Веймара см. в кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 413—416.

[2] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым. Под ред. М. Цявловского. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1925, с. 52.

писал 9 января 1837 года А. И. Тургенев. — Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II...»[1]. Анекдоты эти Н. М. Смирнов называл, как мы помним, «характеристическими», — это были устные рассказы Пушкина о Петре.

Итак, Пушкин, по словам современников, не только изучил эпоху Петра и выработал новые исторические взгляды на нее, — он своими рассказами о Петре поражал слушателей. Ограничивалось ли, однако, знакомство их с историческим трудом поэта рассказами Пушкина?

На вопрос этот отвечает в своем донесении о смерти Пушкина Густав Нордин, шведский поверенный в делах в Петербурге (сын шведского историка), который был лично знаком с поэтом (в дневнике Пушкина есть запись о его разговоре с Нординым — в декабре 1834 года)[2].

«Император поручил ему, — сообщал в своем донесении Нордин, — написать историю Петра Великого, и г. Пушкин в последние годы занимался изучением и исследованиями, необходимость коих вытекала из столь огромной задачи; те, кому довелось познакомиться с отрывками, написанными им уже на эту тему, способную действительно вдохновить русского историка, вдвойне оплакивают его преждевременную кончину»[3].

Приведенное свидетельство шведского дипломата, для которого история Петра, победившего Карла XII, должна была представлять особенный интерес, говорит нам, как видим, не о рассказах Пушкина, а об отрывках «Истории Петра», уже написанных, с которыми поэт счел возможным ознакомить некоторых слушателей.

Противоречит этому свидетельству, — но, как постараемся показать, противоречит только на первый взгляд, — запись Д. Е. Келлера о его разговоре с Пушкиным, состоявшемся незадолго до смерти поэта. Разговор касался самых острых вопросов, связанных с работой Пушкина над «Историей Петра». Келлер — «человек образованный» — переводил тогда дневник Патрика Гордона, представляющий собой важный источник для истории петровского времени, и должен был «знакомиться с массою сочинений, относящихся к этой эпохе»[4]. Записанный им разговор с Пушкиным представляет в связи со всем этим большой интерес.

Следует учесть, что содержательная запись Келлера была

---

[1] Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 204.

[2] Сохранилось также письмо Пушкина к Нордину, датируемое 1835 г. (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 538).

[3] Перевод донесения Густава Нордина о смерти Пушкина см. в кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 377.

[4] См.: М. Бендер. О дневнике Гордона. — «Журнал императорского русского военно-исторического общества». СПб., 1913, № 12, с. 597—602.

известна не полностью: она печаталась с отточиями, указывающими на какие-то пропуски в ней[1]. Необходимо поэтому установить по возможности полный текст этой записи.

Дневник Келлера находится ныне, как нам удалось выяснить, в Центральном Государственном военно-историческом архиве, в Москве[2]. Раскрыв подлинник, нетрудно убедиться, что точками в печатном тексте записи Келлера обозначены были места, не поддававшиеся прочтению в рукописи дневника. Некоторые строки в нем тщательно зачеркнуты (теми же чернилами, какими написан весь текст). Келлер внес в свой дневник подлинные слова поэта, но, по-видимому, сам испугался смелости своей записи и зачеркнул их[3].

Некоторые из зачеркнутых слов нам удалось все же прочесть, остальные прочитаны были по нашей просьбе в Центральной криминалистической лаборатории, при помощи специального фотографирования. В зачеркнутых Келлером строках речь идет о насильственной смерти царевича Алексея; к чтению их необходимо будет обратиться поэтому, когда мы коснемся работы Пушкина над источниками, относящимися к делу царевича Алексея. Сейчас же рассмотрим запись Келлера, лишь поскольку она может помочь нам выяснить, в какой мере продвинулась работа Пушкина над созданием «Истории Петра».

«Недели за три до смерти историографа Пушкина, — пишет Келлер, — был я по его приглашению у него.

Он много говорил со мной об *истории Петра Великого*. «Об этом государе, — сказал он между прочим, — можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Александр Сергеевич на вопрос мой, скоро ли мы будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: «Я до сих пор ничего еще не написал, занимался единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всем труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам...»[4].

---

[1] См. Соч. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., изд. А. С. Суворина, 1905, с. 586—587.

[2] Дневник надворного советника Дмитрия Келлера. Начат 26 июня 1836 г. Кончен 12 декабря 1837 г. На 47 л. ЦГВИА, ф. Военно-ученого архива Главного штаба, ед. хр. № 1150.

[3] Интересующая нас выдержка из дневника Келлера появилась также в названной выше статье М. Бендера, который обратился к дневнику Келлера, заинтересовавшись последним как переводчиком Патрика Гордона. Но и на этот раз запись Келлера опубликована была с пропусками (к тому же без отточий, указывающих на допущенные пропуски).

[4] Соч. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII, с. 587.

Итак, незадолго до смерти сам Пушкин сказал Келлеру, что думает закончить свой труд и написать «Историю Петра» «в год или в течение полугода», то есть (если мы учтем обширность этого труда) надеется закончить его вскоре, а между тем «до сих пор ничего еще не написал» и «занимался единственно собиранием материалов». Что же представляли собой в таком случае эти материалы, если они давали Пушкину возможность так быстро закончить работу над «Историей Петра»?

«Определяйте значение слов, — повторял Пушкин, — и вы избавите свет от половины его заблуждений»[1]. Необходимо поэтому выяснить прежде всего, какой характер носили «материалы», о которых говорил Пушкин Келлеру, то есть написанный им в течение 1835 года — но недавно только ставший доступным изучению — подготовительный текст «Истории Петра». Сырые ли это материалы-выписки, или записи-конспекты, составленные Пушкиным на основе изучения исторических источников, или, может быть, писанные поэтом «про себя» черновые, но ценные по содержанию программы, отражающие уже историческую концепцию Пушкина и общие контуры создаваемой им «Истории Петра»? То есть не дает ли изучение даже и этого подготовительного текста возможности понять общий идейно-художественный замысел Пушкина?

Вспомним в этой связи, как обосновывал Чернышевский свой взгляд на значение неоконченных пушкинских произведений.

Возражая против высказанного редактором Пушкина — Анненковым — мнения, согласно которому не завершенные поэтом «Сцены из рыцарских времен» представляют собой «не настоящее произведение, а только план произведения» или «один остов произведения», Чернышевский писал: «Это произведение яснее всего показывает, что существенная красота заключена не в словах, которыми умеет гениальный писатель облечь свои мысли, а в том гениальном развитии, которое получает мысль в его уме, воображении, соображении, назовите это как хотите, — *в художественности, с какою представляется ему план, а не в выражении*»[2]. (Курсив наш — *И. Ф.*). Эта мысль великого критика чрезвычайно важна, как увидим, для правильного понимания и оценки значения дошедшего до нас подготовительного текста «Истории Петра».

В самом деле, нельзя ли — говоря словами Чернышевского — проследить гениальное развитие, какое получила историческая «мысль» Пушкина в подготовительном тексте его будущей книги, и нельзя ли, изучая этот текст, понять «ху-

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 434.
[2] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. II. М., 1949, с. 458.

дожественность», с какой представлялся ему «план» создаваемой книги? Нет ли в обширной пушкинской рукописи набросков, намечающих содержание и построение эпизодов и картин, которые должны были войти в состав подготовляемой им «Истории Петра», или даже созданных уже Пушкиным страниц и отрывков исторической прозы?

Только ответив на все эти вопросы и поняв назначение и действительный характер пушкинских «материалов», то есть написанного Пушкиным подготовительного текста, охватывающего все царствование Петра, мы сможем судить о том, насколько далеко продвинулся незавершенный труд Пушкина и каким образом мог он рассчитывать закончить свою работу над «Историей Петра» за год или даже «в течение полугода».

Попытаемся прежде всего читать «Историю Петра» не предвзято, то есть не принимая заранее на веру утверждение о том, что в ней нет будто бы ничего, кроме выписок-конспектов; не будем бояться видимости беспорядка, вызываемого крайне неоднородным характером изучаемого нами подготовительного текста «Истории Петра», — и мы убедимся, что среди черновых программ и рабочих записей в нем проступают страницы, ничуть не похожие ни на выписки, ни на конспекты.

Приближаясь к изображению Северной войны, Пушкин пишет:

«Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю, но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ими. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим обладала Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия»[1].

Невозможно, кажется, отнести эту высокую историческую прозу Пушкина к числу «выписок» или «конспектов».

Вот другой пример. Вслед за строками, говорящими о решении молодого Петра отправиться в заграничное путешествие, мы читаем:

«Скоро намерение государя сделалось известно его подданным и произвело общий ужас и негодование.

Духовенство видело в сообщении с еретиками грех, воспрещаемый Священным писанием. Народ жадно слушал сии толкования и злобился на иноземцев, почитая их развратни-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 78—79. Текст «Истории Петра» приводится в дальнейшем по этому изданию; ссылки на страницы его даются в скобках вслед за каждой цитатой.

ками молодого царя. Отцы сыновей, отправляемых в чужие края, страшились и печалились. Науки и художества казались дворянам недостойным упражнением. Вскоре обнаружился заговор, коего Петр едва не сделался жертвою» (55--56).

В начале описания Каспийского похода Петра Пушкин пишет:

«Гусейн-шах в то время тиранствовал, преданный своим евнухам, изнеможенный вином и гаремом. Бунты кипели около него. В поминутных мятежах истребился род Софиев.

На отдаленных границах Персии, близ Индии, кочевал дикий и воинственный народ: афганцы, происшедшие из Ширвана, близ Каспийского моря. Тамерлан (умер в 1405 году) поселил их в царстве Кандагарском; Мирвейс, происшедший из их рода, умел при дворе шаха снискать его доверенность, и он был назначен главным начальником над своими единоплеменниками...» (422).

Эти строки «Истории Петра» заставляют вспомнить слова Белинского, говорившего, что историческая проза Пушкина кажется писанной на меди и мраморе.

Перечитывая «Историю Петра», можно убедиться, что таких отрывков (вернее, заготовок) исторической прозы в подготовительном тексте ее немало, причем в ней встречаются не только небольшие отрывки, вроде только что приведенных, но и целые эпизоды, близкие к завершению.

Сколько таких страниц в незавершенной «Истории Петра» и каково их место в ней, выяснить путем простого чтения ее, без специального и более длительного изучения, невозможно. Но наличие такого рода страниц в созданном Пушкиным подготовительном тексте показывает, что работа его над книгой о Петре продвинулась много дальше, чем принято было думать.

Близкие к завершению и даже совсем готовые страницы исторической прозы Пушкина оставались незамеченными, главным образом, в связи с общей недооценкой «Истории Петра», точнее — в связи с предвзятой оценкой ее, исходящей из того, что в ней нет ничего, кроме «выписок-конспектов». Незамеченными эти страницы оставались, однако, и в силу еще одной более общей причины.

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы»[1], — писал Пушкин (а в другом месте заметил: «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна...»[2]).

Гениальный лаконизм Пушкина не раз озадачивал его критиков, даже когда они судили о законченных произведениях поэта. Вяземский считал, например, что в «Борисе Годунове» «иные сцены... недостаточно развиты» Пушкиным и представ-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 15.
[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 344.

«История Петра», «1722 г.», «Дела персидские».
Рукопись Пушкина. Фрагмент.

ляют собой скорее «краткое содержание» (или «оглавления») сцен. Погодин заметил в свое время, что «многие читатели, привыкшие к риторике», обманывались «наружностью» «Истории Пугачева» и не отдавали ей справедливости «за мнимую простоту» ее[1]. Говоря о «скупости слога», характерной для «Капитанской дочки», современный нам исследователь подчеркивает, что «по своей сжатости и отрывочности подобная манера письма граничит с конспективной записью и, взятая сама по себе, воспринимается как предварительная словесная загрунтовка»[2].

Надо ли поэтому удивляться, что «нагая простота» гениальной пушкинской прозы, ее «точность и краткость» не однажды приводили к ошибке исследователей незавершенных

[1] М. Погодин. Несколько слов об «Истории Пугачевского бунта» А. С. Пушкина. — «Русский архив», 1865, с. 104.
[2] Н. Пряничников. Проза Пушкина и Л. Толстого. Чкалов, 1939, с. 17.

произведений Пушкина. В статье «Пушкин и античность» И. И. Толстой справедливо писал по поводу неоконченной повести Пушкина «Цезарь путешествовал...»: «Общий тон рассказа охарактеризован у него значительной сжатостью. На первый взгляд можно подумать, что сжатость эта объясняется черновым характером первых набросков лишь намечавшейся поэтом повести. Но подобный вывод ошибочен...»[1]. В подобную ошибку впали и редакторы пушкинской «Истории Петра»: гениальный лаконизм и «нагую простоту» создаваемой Пушкиным исторической прозы они не умели отличить от лаконизма черновых программ, среди которых рождались в подготовительном тексте «Истории Петра» страницы новой пушкинской прозы.

Но одни ли только разобщенные отрывки создаваемой Пушкиным исторической прозы можно найти в рукописи «Истории Петра»? Говоря о пушкинской рукописи, Анненков заметил, что в ней «обнаруживается тайная мысль историка». «Наиболее резким слогом, — отмечал он, — отличаются заметки, касающиеся женитьбы Петра на Екатерине... процесса царевича Алексея... процесса несчастных Монсов и, — осторожно добавлял он, — обстановки, сопровождавшей смерть реформатора»[2] (то есть борьбы дворцовых партий, завершившейся возведением на престол Екатерины).

В тех разделах пушкинской «Истории Петра», о которых говорит Анненков, обнаруживается, как увидим, не только «мысль» историка — притом вовсе не «тайная», а вполне определенная, — здесь, в «Истории Петра», проявилась глубокая осведомленность Пушкина, знавшего, как совершались в действительности исторические события, представленные в печатном своде Голикова часто в далеко не полном, смягченном или тенденциозном виде.

Приведем примеры, показывающие, что в подготовительном тексте своей «Истории» Пушкин вовсе не ограничивался тем, что он мог найти в голиковских «Деяниях Петра Великого». Касаясь дела царевича Алексея, Пушкин пишет: «...царевич отпирался. Пытка развязала ему язык» (398). Между тем о пытке, которой был подвергнут царевич по приказу Петра, Голиков умалчивает. Откуда же почерпнул Пушкин свои сведения и как узнал он о том, что «своеручные» показания царевич сначала писал «твердою рукою», «а потом после кнута — дрожащею»? (399).

Приведем другой пример: уже в самом начале своей «Истории», описывая поспешное бегство Петра (против которого царевна Софья в августе 1689 года «предначертала... новый

---

[1] «Ученые записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. Герцена», т. XIV, Л., 1938, с. 80—81.

[2] П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. III. СПб., 1881, с. 263.

мятеж»), Пушкин пишет: «Петр с обеими царицами, с царевной Наталией Алексеевной, с некоторыми боярами, с Гордоном, Лефортом и немногими потешными убежал в Троицкий монастырь (без штанов, — говорит Гордон)»[1].

Пушкин ссылается здесь на не изданные в то время страницы дневника Патрика Гордона, обнаруживая свое знакомство с этим важным рукописным источником. Голиков в «Деяниях Петра Великого» говорит лишь о том, что Петр «в великой скорости побежал в Троицкий Сергиев монастырь, яко обыкновенную свою от злодеев защиту»[2]. В книге Голикова «Изображение жизни и всех славных дел... Лефорта... и Гордона...», сохранившейся в личной библиотеке Пушкина, также нет тех подробностей бегства Петра, которые имеет в виду Пушкин. И лишь в дневнике самого Патрика Гордона (подлинник которого хранится ныне в Москве в Центральном Государственном военно-историческом архиве) можно действительно прочесть о том, что Петр, «будучи извещен» о готовящемся на него покушении, «с великой поспешностью вскочил с постели, не надев сапог, и — в конюшню, где велел оседлать себе лошадь, и отправился в соседний лес, куда ему доставили одежду; одевшись, — говорит далее Гордон, — Петр с теми, кто был готов, с величайшей поспешностью поехал в монастырь св. Троицы, куда прибыл в 8-м часу утра, очень усталый»[3].

В те годы, когда Пушкин работал над своей «Историей Петра», эта запись Гордона не была еще известна в печати. Но Пушкин, как мы узнаем из дневника Келлера, располагал «выпиской из Гордона на немецком языке о стрелецких делах»[4]. Это была, несомненно, выдержка из немецкого рукописного перевода, сделанного с английского подлинника историком Стриттером (рукопись которого приобрел Погодин)[5].

Рассказав в подготовительном тексте своей «Истории» о бегстве Петра и кратко добавив: «без штанов, — говорит Гордон», Пушкин в этой сделанной для себя записи обнаруживает не только знакомство с дневником Гордона, но и наме-

---

[1] Печатный текст «Истории Петра» приведен здесь с уточнением — на основании «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», 1840, ЦГИА, ф. 1066, ед. хр. 904.

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. I. М., 1788, с. 212.

[3] ЦГВИА, фонд Военно-ученого архива Главного штаба, № 21, «Журнал, или Дневная записка (на аглицком языке) бывшего российской службы генерала Гордона, им самим писанный», т. IV, л. 248-об. и л. 249. (Перевод наш. — *И. Ф.*)

[4] Соч. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII, с. 587.

[5] Рукописный отдел Гос. публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Погодинский фонд, № 2038. Приводимое нами место из дневника Гордона находится в т. III рукописного перевода Стриттера, л. 215. Перевод этот был издан позднее Поссельтом (т. I. М., 1849; т. II. СПб., 1851; т. III, СПб., 1852). Место, использованное Пушкиным, см. в т. II этого издания, с. 267—268.

рение использовать этот источник в окончательном тексте «Истории Петра», где, конечно, заменил бы свое резкое выражение другим, более уместным в печати.

В записи о беседе с поэтом Келлер указывает, что Пушкин «изъявил готовность помогать» ему в его «занятиях книгами и манускриптами», относящимися к истории Петра, которыми Пушкин, как видно, располагал.

Эта осведомленность, основанная на широком знакомстве с историческими источниками, включая источники, которые не были доступны Голикову (либо не могли быть напечатаны последним), давала Пушкину возможность устанавливать действительную картину событий, которые он готовился изобразить в своей «Истории Петра».

Вслед за черновой программой рассказа о деле камергера Монса мы в ней читаем:

«Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? по крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елисаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою» (458).

Перед нами не только образец блестящей пушкинской прозы. Говоря о последней тетради «Истории Петра», в состав которой входят эти строки, даже П. Попов, считавший, что Пушкин всюду, за самыми малыми исключениями, следует Голикову, не мог не заметить, что «в сообщениях об Екатерине Пушкин дополняет Голикова, освещая по-своему ее фигуру и взаимоотношения с Монсом; вряд ли, впрочем, — полагал названный исследователь, — Пушкин здесь прибегал к каким-либо печатным источникам, храня в памяти традиционные рассказы о романе Екатерины»[1].

Между тем сведения о деле Монса, чрезвычайно его интересовавшем, Пушкин черпал в печатных источниках, сохранившихся в его библиотеке, — в «Истории Екатерины II» Кастера (отлично ему известной)[2], в «Истории России и Петра Великого» графа Сегюра[3] и проч. Но, стремясь проверить найденные им здесь рассказы, Пушкин мог, помимо устных преданий, прибегнуть и к рукописям, то есть прежде всего к запискам современников, например к запискам иностранных по-

---

[1] П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I», — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 474.

[2] Один экземпляр книги Кастера сохранился в библиотеке Пушкина под № 707; другой экземпляр поэт подарил сестре — Ольге Сергеевне. См.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиогр. описание. — Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 185 и с. XVI.

[3] Книга Сегюра зарегистрирована в описании библиотеки Пушкина под № 1381 (брюссельское изд. 1829 г.).

слов, являвшихся свидетелями романа Екатерины и казни Монса.

Напомним, что такой крупнейший знаток и издатель русских исторических источников, как Александр Тургенев, который в 1835—1836 годах изучал в парижских архивах донесения французских послов при петровском дворе, освещающие целый ряд тайных дел и событий его царствования, вспоминает, что он находил в Пушкине «сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные...»[1].

Предвзятая мысль о том, что Пушкин, изучая историю Петра, ни с чем почти, кроме труда Голикова, не ознакомился, помешала исследователям заметить даже прямые ссылки поэта на использованные им рукописные и архивные источники, подобно тому как не заметили проступающих в «Истории Петра» страниц пушкинской исторической прозы. Незамеченной, как ни странно, оказалась даже ссылка Пушкина на хранившееся в Государственном архиве подлинное следственное дело царевича Алексея. Между тем исторические изучения, развернутые Пушкиным, отразились далеко не только в тех местах его «Истории», где он прямо ссылается на свои источники и называет их. Мы не лишены, однако, возможности установить путем более углубленного исследования действительный круг исторических источников, изученных Пушкиным.

Комментаторы говорили нам до последнего времени, что «вплотную к изучению истории Петра Пушкин подошел лишь в самом конце 1834 года»; они утверждали, что дошедшая до нас рукопись «Истории Петра», начатая Пушкиным в январе и оконченная в декабре 1835 года, «не обнаруживает следов каких-либо предшествующих архивных занятий», что «до конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра» и потому использованные им — помимо Голикова — источники были «немногочисленны» (или «ничтожны»)[2]. Но верна ли была рисуемая комментаторами картина работы Пушкина над созданием «Истории Петра»?

Говоря в одной из своих статей о недописанной «Истории» Карамзина и отвечая на вопрос Полевого: «Когда же думал историк?», заданный по поводу того, что последняя глава последнего тома «Истории» «была еще не дописана Карамзиным, а начало ее вместе с первыми четырьмя главами было уже переписано и готово к печати», — Пушкин указывал, что задолго до того, как историк начал свой труд, «думал он об истории России и мысленно обнимал свое будущее созда-

---

[1] А. И. Тургенев. Письмо к И. С. Аржевитинову от 30 января 1837 г. — «Русский архив», 1903, кн. 1, с. 143.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 509 и 512; а также: П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 474—476.

ние». Вероятно, замечает при этом Пушкин, что последний, оставшийся недописанным том «Истории» Карамзина «не был им еще начат, а уж историк думал о той странице, на которой смерть застала последнюю его мысль...»[1].

Слова эти прямо могут быть отнесены к работе Пушкина над «Историей Петра»: Пушкин, прежде чем начал ее, уже мысленно обнимал свое будущее создание. «Написать историю Петра Великого», сообщал он в июле 1831 года, было «давнишним» его желанием[2]. «Я непременно напишу историю Петра I», — сказал он уже в 1827 году[3].

В так называемых «Заметках по русской истории XVIII века» Пушкин еще в 1822 году высказал глубокий взгляд на Петра, предвосхитивший во многом взгляды, развитые им тринадцать лет спустя в подготовительном тексте своей «Истории». Называя Петра I — в отличие от его «ничтожных наследников» — «сильным человеком», «исполином», Пушкин вместе с тем в 1822 году писал: «История представляет около его всеобщее рабство... все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*» (в черновике было сказано «пред его палкой»). «Все дрожало, все безмолвно повиновалось»[4].

Стремясь определить, кем был Петр, Пушкин написал тогда в черновике: «...после... смерти деспота...», а потом — «после... смерти великого человека...»[5]. Эти строки показывают, как ясно видел Пушкин — уже в начале 20-х годов — двойственность, противоречивость исторической деятельности Петра.

От современников, с которыми он в 30-е годы делился своими мыслями, ускользала диалектика, свойственная суждениям Пушкина о Петре, и в своих воспоминаниях они передают то одну, то другую сторону его суждений. Но односторонние — и в силу этого на первый взгляд противоречащие друг другу — сообщения современников, взятые в совокупности, раскрывают действительное отношение Пушкина к Петру.

«По пути в Берды, — передает Даль свой разговор с поэтом в сентябре 1833 года, — Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь и что еще намерен и надеется сделать... Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого... Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, — надо отодвинуться на два

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 138.
[2] Там же, т. X, с. 638.
[3] А. Н. Вульф. Выдержки из дневника, запись от 16 сентября 1827 г «Русская старина», 1899, март, с. 512.
[4] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 14.
[5] Там же, с. 289.

века, — но постигаю его чувством. Чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишает меня средств мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться: надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься: время это исправит»[1].

Стремясь «обнять вдруг умом этого исполина» и все глубже изучая эпоху Петра, Пушкин, как видим, подчеркивал в разговоре с Далем необходимость взглянуть на Петра исторически, объемлющим взглядом, то есть прежде всего избежать одностороннего воззрения на него — преодолеть «изумление», чтобы оказаться в состоянии «свободно» «мыслить и судить» о нем.

Это стремление Пушкина, высказываемое им в разговорах с друзьями, дало повод Н. Языкову еще в декабре 1831 года писать брату: «Пушкин только и говорит, что о Петре, которого не возлюбляет. Он много, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и проч.»[2]. В историческом критицизме Пушкина Языков увидел всего только нелюбовь к Петру. Вместе с тем Языков свидетельствует, что уже в 1831 году, то есть в то время, когда Пушкин, как думали комментаторы «Истории Петра», еще почти не приступал к своему труду, он, по собственным его словам, собрал уже «много... новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и проч.».

Эти слова Пушкина (относительно которого те же комментаторы утверждали, будто он «до конца своей жизни... считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра») заставляют напомнить, что изучение посвященных Петровской эпохе исторических источников Пушкин бесспорно начал с голиковских «Деяний Петра Великого», но начал не в 1835 году, а десятилетием раньше, в 1825 году, в Михайловском.

«Как известно, внимание Пушкина с давних пор останавливалось на личности и деятельности Петра Великого», и потому он, отмечал еще П. О. Морозов, «усердно читал «Деяния» Голикова и разные другие сочинения, касающиеся Петровской эпохи», прежде чем «наконец в половине 1831 года серьезно задумал заняться составлением истории Петра...»[3]. Признавая знакомство с монументальным сводом Голикова и другими печатными источниками для историка недостаточным, Пушкин в 1831 году извещал Нащокина: «Зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царем»[4].

«С зимы 1832 года, — пишет о Пушкине Анненков, основы-

---

[1] В. И. Даль. Воспоминания о Пушкине. — В сб.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников, под ред. С. Я. Гессена. Л., 1936, с. 508—509.

[2] «Вестник Европы», 1897, декабрь, с. 603.

[3] Соч. и письма А. С. Пушкина, под ред. П. О. Морозова, т. VII. СПб., изд-во «Просвещение», 1909, с. 7.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 367.

ваясь на свидетельствах современников, — он стал посвящать все свое время работе в архивах»[1]. «Приступив к сочинению истории Петра Великого, — вспоминал Плетнев, — он каждое утро отправлялся в какой-нибудь архив»[2].

Увлекшись в 1833 году историей Пугачева и с успехом окончив ее, Пушкин в 1834 году вновь усиленно занялся «Историей Петра». И к середине 1834 года сообщал жене из Петербурга: «Скопляю матерьялы — привожу в порядок...»[3], а 11 июня того же 1834 года писал ей: «Петр 1-й идет; того и гляди, напечатаю 1-й том к зиме»[4].

Отказавшись затем, по-видимому, от мысли издавать «Историю Петра» отдельными томами, по мере окончания работы над каждым томом, Пушкин, как можно заключить из слов, сказанных им Келлеру, решил сначала «составить себе идею» (то есть представление) «обо всем труде» (а не о Петре, взгляд на которого определился для Пушкина много ранее). И в соответствии с этим новым решением продолжал собирать материалы, развивая и совершенствуя вместе с тем свою историческую концепцию. В свете ее и был создан Пушкиным в течение 1835 года подготовительный текст истории Петра, целиком охватывающий все его царствование.

Окончание этого подготовительного текста не означало окончания всей подготовительной работы историка. В мае 1836 года Пушкин писал, что принужден будет еще «месяцев на шесть» «зарыться в архивы»[5]. Пушкин «очень занят своим Петром Великим», — сообщал тогда же Чаадаев А. И. Тургеневу[6].

«По рассказам приближенных Пушкина, его особенно тревожила мысль, что долгие сборы его на заложение фундамента истории будут приписаны, пожалуй, отвращению к герою ее, могут показаться бегством с поля сражения...»[7]. Но, сознавая, что его «Историю Петра» в ближайшее время «не позволят печатать», поэт продолжал свой труд.

Когда Пушкин, не в силах будучи терпеть «свинство», окружавшее, по его словам, царя[8], подал просьбу об отставке, он просил только, чтобы вход в архивы не был ему запрещен. А когда Николай отказал, «так как право сие может принадлежать единственно людям, пользующимся особенною доверен-

---

[1] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 359.

[2] П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. I. СПб., 1885, с. 383—384.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 486.

[4] Там же, с. 492.

[5] Там же, с. 580.

[6] Там же, т. IX, с. 511.

[7] П. В. Анненков. Воспоминания и критические очерки, т. III, СПб., 1881, с. 266.

[8] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 492.

ностию начальства»[1], Пушкин взял просьбу об отставке назад. Решение его было связано, конечно, не только с угрожающим тоном ответа, но и со стремлением закончить работу над «Историей Петра».

Даже в предшествовавшие дуэли последние месяцы Пушкин продолжал заниматься «Историей Петра». В конце декабря 1836 года он сообщал, что «Петр Великий» отнимает у него «много времени»[2]. В эти месяцы он виделся почти ежедневно с Александром Ивановичем Тургеневым, который привез в Петербург извлеченные им из парижских архивов копии донесений французских послов при дворе Петра I и его преемников.

Еще до того, как Тургенев представил эти, в то время секретные, исторические материалы и «экстракты» из них Николаю I, он показал их, как теперь выясняется, Пушкину. 9 января 1837 года Тургенев записал в своем дневнике: «Я зашел к Пушкину... Потом он был у меня, мы рассматривали французские бумаги и заболтались до 4-х часов...»

26 января — накануне дуэли Пушкина — запись Тургенева гласит: «Я сидел до 4-го часа, перечитывал мои письма», а затем говорится: «Успел только прочесть Пушкину выписку из пар[ижских] бумаг...»

Эти краткие записи, опубликованные в свое время среди других извлечений из дневника А. И. Тургенева[3], не привлекли внимания исследователей, и содержание их оставалось нераскрытым. Между тем изучение подлинного дневника А. И. Тургенева, остающегося, в большей своей части, неизданным[4], и других материалов тургеневского архива позволяет установить, что «французскими», или «парижскими», бумагами А. И. Тургенев называет в интересующих нас записях привезенные им в копиях из Парижа и показанные Пушкину архивные исторические материалы.

Сделанные А. И. Тургеневым выписки из «парижских бумаг» легли позднее в основу печатного «обозрения» донесений французских послов «в век Петра I», извлеченных им из архивов[5], а привезенные им многочисленные копии донесений поступили в Государственный архив империи[6]. Полвека спустя подлинники их увидели свет в сборниках Русского исторического общества[7].

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 171.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 616 и 877.

[3] В кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 285, 290.

[4] Он хранится теперь в Архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 316.

[5] «Журнал министерства народного просвещения», 1843, январь, с. 1—29, и март, с. 145—183.

[6] Часть тургеневских материалов поныне находится в Центральном Государственном архиве древних актов (фонд Гос. архива, разр. XXX, № 5, и др.).

[7] Сборники Русского исторического общества, т. 34, 40, 49, 52.

Мы не только обнаруживаем теперь, что Пушкин незадолго до смерти видел эти интереснейшие исторические документы. Изучив записи, сохранившиеся в дневнике А. И. Тургенева и обратившись к содержанию тех «французских бумаг», которые он читал и показывал Пушкину, мы узнаем, с какими, казалось бы недоступными, иностранными архивными материалами начал в последние недели своей жизни знакомиться Пушкин[1].

Он читал или слушал их в последний раз накануне дуэли: секундант еще не был им найден, и, уйдя от Тургенева, Пушкин принужден был в тот же вечер искать его.

«Перед дуэлью Пушкин не искал смерти: напротив, надеясь застрелить Дантеса, поэт, по свидетельству близкого к нему современника, располагал поплатиться за это лишь новою ссылкою в Михайловское... и там-то на свободе предполагал заняться составлением «Истории Петра Великого»[2].

[1] См.: И. Л. Фейнберг. «Парижские бумаги» Александра Тургенева. (К работе Пушкина над «Историей Петра».) — «Вестник Академии наук СССР», 1958, № 1, с. 111—119.

[2] А. Н. Вульф. Рассказы о Пушкине. — В сб.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936, с. 311.

ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА

Изучая «Историю Петра», не следует, разумеется, упускать из виду, что перед нами еще только подготовительный, писанный Пушкиным большей частью «про себя» и потому неоднородный текст, на основе которого должна была быть написана задуманная им великая книга. Но изучение этого подготовительного текста дает возможность видеть процесс творчества Пушкина, приближая нас к пониманию того, чем должна была стать, по его замыслу, «История Петра». Когда мы начинаем уяснять себе намечающееся в ходе работы Пушкина строение ее, раскрывая при этом смысл пушкинских указаний на используемые им исторические источники, в его незавершенной «Истории» оживают не только готовые или почти готовые места, но и гораздо более многочисленные страницы совсем чернового или даже программного характера; в свете изучения творческой истории незавершенной книги Пушкина перед нами открывается увлекательная возможность читать эту только еще создающуюся книгу, и «История Петра», как бы далека ни была она еще в целом от завершения, предстает перед нами как очень значительное, во многом уже подготовленное произведение Пушкина.

В связи со сказанным необходимо, мне кажется, коснуться вопроса о том, как встречен был развиваемый нами взгляд — точнее, новое представление о том, чем является в действительности подготовительный текст «Истории Петра».

Новый взгляд на нее, впервые изложенный нами в работе «Незавершенная книга Пушкина», опубликованной в 1949 году в «Вестнике Академии наук СССР»[1], нашел вскоре отражение в VI томе десятитомной «Истории русской литературы», изданном Пушкинским Домом в 1953 году. Вслед за нашими работами в труде этом признано было, что «Подготовительные тексты» «Истории Петра» «дают возможность всесторонне раскрыть замысел Пушкина», и кратко определялась сущность его исторических взглядов, которые должны были «явить-

[1] И. Фейнберг. Незавершенная книга Пушкина («История Петра»). — «Вестник Академии наук СССР», 1949, № 5 (Работа эта была опубликована также в журн. «Новый мир», 1949, № 6).

ся основой» задуманной им «Истории»; признавалось также, что Пушкин решал в ней не только научно-исторические, но и художественные задачи. Тем не менее авторы этого труда продолжали называть подготовительный текст «Истории» всего только «обширнейшим конспектом» голиковских «Деяний Петра Великого»[1].

В третьем десятитомном академическом издании сочинений Пушкина, вышедшем в 1965 году, также заметен известный сдвиг в оценке «Истории Петра». В первом издании этого десятитомника говорилось, что вся она представляет собой «лишь только предварительные конспекты книги Голикова». В третьем издании этого десятитомника говорится уже иное: мы читаем в нем (т. IX, 1965, с. 543), что текст «Истории Петра» «представляет собой подробный конспект предполагавшегося сочинения Пушкина» (а не «предварительные конспекты книги Голикова»). Комментаторы продолжают при этом утверждать (см. там же), что весь текст пушкинской «Истории» «имеет характер черновых записей для себя», и по-прежнему не замечают проступающих в рукописи страниц исторической прозы Пушкина[2].

Мы говорили уже о том, какие причины долго мешали исследователям обнаружить историческую прозу в подготовительном тексте «Истории Петра». Трудность задачи усугублялась тем, что проза эта не отделена внешним образом в пушкинской рукописи от черновых программ и иных, писанных Пушкиным для себя, черновых вспомогательных текстов. Но трудно понять, что удерживает цитированных нами комментаторов от пересмотра своего устарелого взгляда на подготовительный текст «Истории Петра» как на конспекты — и только — теперь, после того как историческая проза в нем наконец обнаружена (что было широко признано за последние годы литературной критикой).

Мы вынуждены напомнить поэтому, что признание неожиданно обнаруженных в «Истории Петра» готовых страниц страницами прекрасной пушкинской прозы высказано было впервые более двадцати пяти лет назад при подготовке к печати книги «Незавершенные работы Пушкина» (1953—1955), прежде всего в отзывах В. В. Виноградова и С. М. Бонди, который писал в своей статье по выходе книги:

«Автор показывает, что в «Материалах по истории Петра» есть целые куски вполне (или почти вполне) законченной, художественно отработанной прекрасной пушкинской прозы (писание взятия Нарвы, смерть Петра и ряд других мест)»,

---

[1] История русской литературы, т. VI. ИРЛИ (Пушкинский Дом). АН СССР. М.—Л., 1953, с. 279—280 (ред. раздела — Б. С. Мейлах).

[2] Молчит об этих страницах и коллективная монография «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», под ред. С. П. Городецкого, Н. В. Измайлова и Б. С. Мейлаха (М., 1966).

признавая эти пушкинские страницы «блестящими художественно-историческими картинами», ученый заметил: «Оказывается, мы являемся обладателями неоцененных сокровищ чудесной пушкинской прозы и не знаем об этом»[1].

Взгляд этот был затем не раз подтвержден в статьях и рецензиях на книгу «Незавершенные работы Пушкина», принадлежащих — что в данном случае не лишено значения — перу не только литературоведов, но и писателей. Критика эта подтверждает, что новое изучение позволило обнаружить в незавершенной «Истории Петра» «образцы творческой прозы Пушкина» (П. Антокольский)[2], «многочисленные драгоценные страницы подлинной исторической прозы поэта» (С. Марвич)[3], говоря иначе — «мощные таблицы пушкинской прозы» (Ю. Олеша)[4], «отточенные куски», которые, «как теперь уже доказано, являются прятавшимися среди заметок и конспектов страницами блистательной пушкинской прозы» (К. Симонов)[5]. «Нам стало доступно, — пишет В. Субботин, — недоступное и неизвестное раньше — высокая историческая проза великого поэта»[6].

Раньше чем говорить об изучении Пушкиным исторических источников и о том, как он перерабатывал найденный им в этих источниках обширный исторический материал, создавая свою «Историю Петра», попытаемся сначала раскрыть замысел Пушкина, выяснить его историческую концепцию и проследить, каким образом она превращалась под его пером в художественно-историческую концепцию.

Неверным является прежде всего представление, будто исторической концепции, которая могла бы лечь в основу «Истории Петра», у Пушкина в то время, когда он приступал в 1835 году к составлению подготовительного текста ее, еще не было и что Пушкину только предстояло выработать свою точку зрения на Петра, после того как он окончит изучение голиковского свода[7].

---

[1] С. Бонди. Сокровища пушкинской прозы. — «Литературная газета», 1955, № 93.

[2] П. Антокольский. Новое о Пушкине. — «Новый мир», 1955, № 8, с. 272; вошло в изд.: П. Антокольский. Собр. соч. в 4-х т., т. III. М., 1972, с. 251—256.

[3] С. Марвич. Новая страница в изучении Пушкина. — «Знамя», 1958, № 12, с. 232.

[4] Юрий Олеша. Незавершенные работы Пушкина. — «Знамя», 1963, № 8, с. 216.

[5] Константин Симонов. Человек и книга. — «Литературная Россия», 1963, № 1, с. 12—13. Вошло в книгу того же автора «Разговор с товарищами» (М., 1970, с. 151—162).

[6] Василий Субботин. Век спустя. — «Литературная газета», 1965, № 130. Вошло в книгу того же автора «Силуэты» (М., 1973, с. 289—290).

[7] «Определенной концепции в ней нет», — читаем мы об «Истории Петра» в основанной на недостаточно глубоком изучении ее статье В. В. Пугачева (в кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М., 1966, с. 510).

В действительности, когда Пушкин начал писать подготовительный текст своей «Истории», взгляды его на Петра не только определились, но и были развиты им уже в блестящем историческом введении к статье, начинающейся словами: «Долго Россия оставалась чуждою Европе», — и отражены в его глубоких исторических заметках 30-х годов (печатаемых ныне под условным названием «О дворянстве»).

Исторический спор, решенный в эпоху Петра на полях битв, продолжался после смерти его на страницах книг. Вопрос о Петре был в глазах Пушкина не только вопросом о прошлом, но и о будущем России. Создавая книгу о Петре, он спорил с теми иностранными писателями, для которых русский народ был, по словам поэта, вечным предметом невежественной клеветы. Но спор этот был для Пушкина спором не только с «клеветниками России».

Своим «Медным всадником» Пушкин спорил с Мицкевичем, о котором Герцен так верно сказал, что «он далек от ненависти к России — напротив, он хвалит ее», но что «в Петре он понял одну отрицательную сторону»[1]. «Историей Петра» Пушкин спорил против недооценки — и непонимания — прошлого России, сказавшейся в исторических взглядах Чаадаева.

Чаадаев писал в своем «Философическом письме», что у России, в отличие от Западной Европы, не было подлинной истории; историческое прошлое России казалось ему бледным, полузабытым сном. Против этих взглядов Чаадаева великий поэт решительно возражал.

Незадолго до своей трагической гибели, в день, когда он в стихотворении «19 октября 1836 года» подводил итоги за четверть века, Пушкин писал Чаадаеву, возражая на его «Философическое письмо»: «...Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя... но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой бог нам дал ее». «...Пробуждение России, развитие ее могущества, — писал Пушкин в том же письме, — ее движение к единству (к русскому единству, разумеется)... Как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один целая всемирная история!»[2]

Отвергая старую историю России, Петра Чаадаев признавал великим, восхищался «высоким умом этого необыкновенного человека», стремлением сблизить Россию с Европой (хотя заметил, что Петр кинул нам лишь «плащ цивилизации») и потому с сочувствием отнесся к историческому труду поэта.

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. II. М., 1954, с. 343.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 867.

И может быть, не без влияния давних споров и бесед с ним, пересматривая свои взгляды, Чаадаев вскоре осознал, что «преувеличением было опечалиться хоть на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина»[1].

В войне, которую Петр вел против шведских завоевателей, решалась судьба русского народа и государства: исторический канун Полтавы охарактеризован Пушкиным в «Истории Петра» (183—184) следующими глубоко выразительными строками:

«Петр, желая мира, предлагал оный Карлу... На сие Карл ответствовал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное (русское. — *И. Ф.*) войско и разделить Россию на малые княжества. Генерал Шпар был назначен уже московским губернатором и хвалился, что они русскую *чернь*... не только из России, но со света плетьми выгонят. Известен, — пишет Пушкин, — отзыв Петра: — *Брат мой Карл хочет быть Александром* — etc.» (то есть брат мой Карл хочет быть Александром Македонским). Но он, сказал Петр, не найдет во мне Дария (царство которого разрушил Александр) (184).

Пушкин пишет здесь о том самом шведском генерале (Спарре), несостоявшемся московском губернаторе, о котором потом заметит, что тот бежал с Карлом XII и несколькими сотнями драбантов после полтавского разгрома в Турцию (219).

Драматический переход от поражений Петра к победам России над Швецией с необыкновенной выразительностью является читателю на страницах, посвященных Пушкиным победе под Лесной, которую, пишет Пушкин, «Петр называл потом матерью Полтавской победы, последовавшей через девять месяцев».

В начале описания этого боя Пушкин говорит:

«Казаки и калмыки имели повеления, стоя за фрунтом, колоть всех наших, кои побегут или назад подадутся, не исключая самого государя» (197).

А рассказав о разгроме шведов, пишет: «Ночь и вьюга спасли остаток шведского войска. Солдаты наши ночевали, кого где вьюга застала. Сам Петр, покрытый снегом и льдом, провел тут же ночь далеко от лагеря».

Далее идут строки, кончающиеся словами:

«Все было поражено. Казаки и калмыки кололи шведских беглецов в лесах и по болотам. Многие из них погибли даже

[1] П. Я. Чаадаев. Соч., т. II. М., 1914, с. 219 и 229.

«История Петра» «1704» *«Петр отпраздновав победу...»*
Рукопись Пушкина. Фрагмент.

от руки мужиков. Левенгаупт почти один явился к королю с известием о своем поражении».

Вслед за этим недоработанным описанием победы под Лесной Пушкин пишет: «В Смоленск Петр вступил с торжеством». И заключает: «Шведы потеряли свою самонадеянность и презрение к русским» (197—199).

Пушкин возражал против отрицания исторического значения прошлого России, указывал на развитие ее могущества, на движение ее к единству и в допетровский период и в эпоху Петра и решительно отвергал преклонение Чаадаева перед Западом. Горячо возражая тем, кто видел в исторической деятельности Петра одни только отрицательные стороны, Пушкин не разделял и официозной апологетической точки зрения на Петра.

Чтобы оценить смелость и прогрессивность исторической концепции Пушкина, напомним, какой характер носили рассуждения о Петре Полевого, взгляды которого Николай I одобрял. Полевой писал о Петре Великом: «Указывать на ошибки его нельзя, ибо мы не знаем: не кажется ли нам ошибкою то, что необходимо в будущем, для нас еще не наставшем, но что он уже предвидел»[1]. «В частной, семейной жизни добродетели человека и христианина соединились в Петре Великом. Он был добрый сын, нежный брат, любящий супруг, чадолюбивый отец, домовитый хозяин, тихий семьянин, верный друг...»[2]

Пушкин в 1834 году писал о Петре иначе:

«Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы»[3]. В том же кратком очерке исторических судеб России Пушкин смело писал о «крутом и кровавом перевороте, произведенном мощным самодержавием Петра»[4].

В статье своей Пушкин вместе с тем заметил: «Петр был нетерпелив. Став главою *новых идей,* он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства»[5]. Но важнейшим из исторических суждений Пушкина о Петре, сформулированным в его «Истории», было обобщение, в котором он раскрывает противоречивость исторической деятельности Петра. «Достойна удивления, — писал он, — разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — жестоки,

[1] Н. Полевой. История Петра Великого, ч. IV, 1843, с. 305.
[2] Там же, с. 312.
[3] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 269.
[4] Там же, с. 497.
[5] Там же, с. 501.

своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика»[1].

Эта основная для исторической концепции Пушкина мысль, ставшая известной еще в прошлом веке, подкрепляется и обогащается многими страницами «Истории Петра», увидевшими свет лишь в наши дни.

Мы имеем, кроме того, возможность добавить к строкам, изъятым николаевской цензурой из «Истории Петра» и опубликованным Анненковым, еще два замечания Пушкина, устраненных в 1840 году из рукописи Сербиновичем перед представлением ее в официальную цензуру.

Изучение упомянутого выше «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого» дало нам возможность убедиться, что в числе изъятых последним замечаний поэта о Петре сохранились — в копии — строки Пушкина, остававшиеся до недавнего времени неизвестными; с появлением их в печати нам становятся доступными все высказывания Пушкина, которые были в прошлом веке исключены по цензурным соображениям из «Истории Петра».

Эти строки Пушкина (опубликованные нами в 1950 году[2]) уясняют вторую существенную сторону выработанной Пушкиным концепции: Пушкин делит царствование Петра на два различных периода, подчеркивая отличие второго периода от первого. Характеризуя в строках, о которых мы говорим, один из петровских указов, изданных в 1719 году (какой именно — неизвестно, так как наименование его осталось в не дошедшей до нас тетради), Пушкин оценивает его как *«указ весьма благоразумный с малой примесью самовластия и,* — обобщает Пушкин в этой связи, — *с тою вольною системою, коей ознаменовано последнее время царствования Петра»*[3].

---

[1] Уточняем данный пушкинский текст на основании «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», 1840 г. (ЦГИА, ф. 1066, ед. хр. 904). Как видно из хранящегося в названном «деле» реестра Сербиновича, то есть выписок, воспроизводящих строки пушкинской рукописи, признанные в 1840 г. нецензурными (с одновременным указанием вводимых в них цензурных изменений), слово *«нередко»,* ограничивающее в печатавшемся ранее тексте пушкинскую характеристику «временных» указов Петра (*«жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом»*), принадлежат не Пушкину, а Сербиновичу. Между тем во всех изданиях сочинений Пушкина — до издания, выпущенного в 1959—1962 гг. в 10-ти т. Гослитиздатом (где ошибка эта нами исправлена; см. т. 8. М., 1962, с. 323), — слово «нередко» ошибочно вводили в пушкинский текст, следуя первой неточной публикации П. В. Анненкова. Кроме того, в данном пушкинском тексте курсивом ошибочно выделялись слова, подчеркнутые не Пушкиным, а Сербиновичем (в знак того, что они подлежали исключению по цензурным причинам).

[2] См.: И. Л. Фейнберг. Неизвестные строки Пушкина. — «Вестник Академии наук СССР», 1950, № 8, с. 49—55.

[3] Это замечание Пушкина введено ныне в «Справочный том» к Полн. собр. соч. в 16-ти т. (разд. «Дополнения и исправления») (М., 1959, с. 55) и в последующие издания текста «Истории Петра».

Чем же, с точки зрения поэта, могло определяться различие между двумя явно разграничиваемыми им таким образом периодами царствования Петра и чем «система», ознаменовавшая последний период царствования Петра (которую Пушкин называет здесь «вольной»), отличалась от первого периода?

Современники указывали, что Пушкин ставил перед собой задачу проследить развитие характера Петра — «от вспыльчивости в молодости до снисходительности его в возмужалости». Пушкин в самом деле стремился дать образ Петра в развитии. Говоря, например, о смерти любимого царем трехлетнего наследника, рожденного ему Екатериной, Пушкин заметил: «Смерть сия сломила, наконец, железную душу Петра» (412).

Но перемена в царствовании Петра, о которой говорит Пушкин в новых для нас строках своей «Истории», не сводилась, по его мысли, к изменению, наступившему с годами в крутом характере Петра. В отличие, например, от Карамзина, объяснявшего перелом, совершившийся в царствовании Ивана IV, изменением характера царя, Пушкин ясно говорит об изменении «системы» царствования Петра.

Не может быть сведена эта перемена, с точки зрения Пушкина, также к существенному изменению свойственных Петру приемов управления государством. Пушкин подчеркивал в «Истории Петра», что и в последние годы жизни Петр нередко писал свои указы по-прежнему — «кнутом»: указы с большой, а не только «малой примесью самовластия» он продолжал издавать и при новой, «вольной системе», ознаменовавшей, по словам Пушкина, последние годы его царствования (11 января, записал, например, Пушкин под 1722 годом, Петр «издал указ, превосходящий варварством все прежние...», 415).

Наконец — и это самое важное, — вольная, по выражению Пушкина, система последних лет царствования Петра ни в какой степени не означала вольности для народа.

Еще за полвека до того, как Пушкин приступил к своей «Истории Петра», Радищев, несмотря на то что видел в Петре «мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно», говорил, что «мог бы Петр славнее быть», «утверждая вольность частную»[1].

Крепостная деревня даже век спустя после смерти Петра мало чем отличалась от допетровской деревни. В пушкинском «Путешествии из Москвы в Петербург» полемизирующий с Радищевым путешественник вынужден это признать. «Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, как русская деревня в 1833 году», — говорит он, имея в виду, конечно, не один только наружный вид крепостной русской деревни[2].

---

[1] А. Н. Радищев. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего. — А. Н. Радищев. Избр. соч. М. — Л., 1949, с. 13—14.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 289.

«История Петра» «1722 г.» (*«Петр был гневен...»*).
Рукопись Пушкина. Фрагмент.

В чем же заключалась в таком случае, с точки зрения Пушкина, перемена в системе царствования Петра? Ответ на этот вопрос помогают дать суждения Пушкина, не предназначавшиеся для печати, но сохранившиеся в его исторических заметках и черновиках 30-х годов. В них, так же как в подготовительном тексте своей «Истории Петра», Пушкин высказывался, не задумываясь о печати и цензуре; поэтому они представляют для нас особый интерес.

Еще до того, как поэт создал подготовительный текст «Истории Петра», в одной из своих статей он писал, как мы видели, о «крутом и кровавом перевороте, произведенном мощным самодержавием Петра»[1]. Говоря далее (в черновиках той же статьи) о Петре, Пушкин пишет о «мерах *революционных»,* которые были предприняты им «по необходимости, в минуту преобразования, и которые не успел он отменить...»[2]. Пушкин ставил здесь, таким образом, вопрос о том, что Петр, совершив кровавыми средствами крутой переворот (в других местах Пушкин прямо называет этот переворот «революцией»), перешел в последний период царствования к решению новой задачи. Пушкин пишет об этом и в своих упомянутых уже исторических заметках 30-х годов, смысл которых раскрывается теперь с большой ясностью. «Средства, которыми достигается революция, — проницательно указывает он в этих заметках, — недостаточны для ее закрепления». И тут же выразительным сравнением поясняет свою мысль: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)»[3].

Сравнивая Петра не только с Робеспьером, но и с Наполеоном (самовластно закреплявшим только выгодные крупной буржуазии результаты Французской революции), Пушкин считал, что Петр — «гений всеразрушительный и всесозидающий» — закреплял с помощью новых средств во второй период своего царствования результаты совершенного им ранее переворота, хотя делал это, с точки зрения Пушкина, недостаточно последовательно. Различный характер этих последовательно решаемых исторических задач и определял, видимо, то существенное различие между двумя периодами петровского царствования, о котором говорят новые для нас строки пушкинской «Истории». «Вольная система», ознаменовавшая последнее время правление Петра, соответствовала в глазах Пушкина периоду закрепления основных результатов переворота, совершенного ранее царем при помощи крутых, «революционных» мер.

Дописав подготовительный текст своей «Истории», изучив и продумав в ходе своей работы новый обширный историче-

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 497.
[2] Там же, с 497—498.
[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 537; см. также с. 751.

ский материал, Пушкин снова вернулся к этому кругу мыслей. В дошедших до нас черновиках программного письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 года Пушкин указывает, против кого была направлена, по его мнению, «революция» Петра и в чем заключался исторический, социальный смысл этой произведенной самодержавием «революции». Он указывает, что Петр «уничтожил» — затем зачеркивает это слово и пишет «укротил» — дворянство, «опубликовав *Табель о рангах*», и духовенство, «отменив патриаршество»[1]. Под «дворянством» Пушкин разумеет здесь наследственную земельную аристократию[2]. Это дворянство и духовенство и являлись как раз «двумя первыми сословиями», сломленными Французской буржуазной революцией 1789 года, с которой Пушкин сравнивал ранее «крутой и кровавый переворот», совершенный Петром.

Но Французская буржуазная революция, историю которой Пушкин начал было писать, прежде чем перешел к работе над историей Петра I, уничтожила тяготевшие над крестьянами феодальные повинности. Ничего подобного этому «революция» Петра не совершила.

Говоря о произведенном Петром «перевороте», Пушкин возвращается в черновиках программного письма Чаадаеву к мысли о том, что «одно дело произвести революцию, другое дело... закрепить ее результаты»[3]. Однако на этот раз Пушкин подчеркивает другую сторону своей мысли: он дает понять, что Петр не успел или не сумел закрепить во второй период своего царствования совершенный им переворот, продолжая и в этот, требовавший новых средств, период применять — наряду и в противоречии с новыми средствами — прежние средства (о которых Пушкин сказал: средства, необходимые для совершения революции, не те, которыми ее закрепляют). «...До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того чтобы ее упрочить», — писал Пушкин 19 октября 1836 года Чаадаеву[4].

Пушкин-историк сожалел об этом, указывая в том же письме: «Вот уже 140 лет», как изданная Петром «Табель о рангах» «сметает дворянство». «Табель о рангах» была опубликована в 1722 году. Пушкин, таким образом, имел в виду не год издания «Табели», а тот, новый, лишь окончательно регламентированный и закрепленный «Табелью» порядок, введенный Петром в начале его царствования, в силу которого старое, родовитое дворянство было оттеснено новым дворянством, выдвинувшимся на государственной службе.

Пушкин считал, как известно, что независимое от царя родо-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 421—423.

[2] В поэме «Езерский» поэт вспоминал: «...усмиренное боярство — Петра могучею рукой...» (там же, т. V, с. 401).

[3] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 421—423.

[4] Там же.

витое дворянство могло и должно было являться противовесом неограниченной власти самодержавия, принимая на себя тем самым функцию защиты общенародных интересов.

Говоря то о «подавлении», то об «истреблении» Петром дворянства, Пушкин имел в виду удар, нанесенный Петром принципу наследственности дворянства, то есть ослабление родовитой аристократии и предоставление новым людям возможности становиться дворянами не по праву рождения, а путем получения введенных Петром чинов.

Предвосхитить марксистско-ленинское понимание Петровской эпохи Пушкин, разумеется, не мог. Но нельзя не видеть, как смело он опередил своих современников и большинство последующих дореволюционных историков, сумев разглядеть в Петре не только великого человека, но и «самовластного помещика».

Располагавший рукописью «Истории Петра» Анненков считал, что работа Пушкина приостановилась в связи с «раздвоенным психическим состоянием», в какое пришел великий поэт, когда он понял отрицательные стороны личности и деятельности Петра. Между тем изучение показывает, что Пушкин не только сознавал противоречивость Петра, — он строил изображение Петра на раскрытии противоречия, которое так ярко проявлялось, на взгляд поэта, во всей деятельности царя.

Марксистско-ленинская наука объясняет это поражавшее Пушкина противоречие классовой эксплуататорской природой государства, реформированного Петром. Энгельс называл Петра «действительно великим человеком»[1], подчеркивая его заслуги в области внешней политики. Маркс в своей работе «Секретная дипломатия XVIII века» отметил, что Россия, вернув себе в результате победоносно оконченной Петром Северной войны Балтийское побережье, овладела тем, что было абсолютно необходимо для нормального развития страны.

Но вместе с тем Энгельс указывал, что со времени Петра I наряду с ростом русской внешней торговли развивалось крепостное право и помещики получали возможность «все более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался»[2].

Преобразования Петра, осуществляемые, по словам Пушкина, крутыми и кровавыми средствами, не являлись, вопреки взгляду поэта, «революцией» (или «переворотом»). Классовая природа реформируемого Петром абсолютистского государства не изменялась, хотя «русское самодержавие XVII века с боярской Думой и боярской аристократией, — как указывал Ленин, — не похоже на самодержавие XVIII века с его бюрокра-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 22, с. 20.
[2] Там же, т. 20, с. 645.

тией, служилыми сословиями, с отдельными периодами «просвещенного абсолютизма», и от обоих резко отличается самодержавие XIX века, вынужденное «сверху» освобождать крестьян...»[1].

Российская империя петровского времени являлась государством помещиков с бюрократическими учреждениями, причем ряд особенностей реформируемого Петром государства нельзя понять, не учитывая значения нарождавшегося класса торговцев и промышленников, которому Петр оказывал деятельное содействие.

В пропавших тетрадях «Истории Петра» содержалась еще одна, остававшаяся до последнего времени неизвестной, заметка Пушкина о Петре[2]. В заметке этой, также изъятой Сербиновичем, Пушкин, касаясь событий 1721 года, писал, что Петр *«в Синоде и Сенате объявил себя президентом»*.

Подобного рода утверждение, резко выраженное Пушкиным («объявил себя президентом»), с точки зрения царской цензуры — и духовной и светской — было, разумеется, недопустимо. Дело, однако, никак не сводится к резкости этого пушкинского утверждения. Существенный смысл его раскрывается при сравнении с другими, примыкающими к нему заметками Пушкина, изъятыми цензурой из «Истории Петра» и рисующими отношения между Петром, с одной стороны, синодом и сенатом — с другой. Заметки Пушкина, кроме того, необходимо сопоставить с историческими источниками, на основе изучения которых они возникли.

Рассказав об учреждении синода и приведя утвержденный Петром «Регламент» его, Голиков писал: «Простой народ (говорит государь) не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но... помышляет, что таковый правитель (то есть патриарх. — *И. Ф.*) есть вторый государь, самодержцу равносильный, или еще и больший его...»[3]

Объяснив таким образом действительную причину отмены патриаршества, Голиков замечает далее, что «знатное тогдашнее духовенство... от самыя смерти последнего патриарха скучало государю о избрании на его место нового; но монарх, предположивший уничтожить сию власть, обыкновенно отговаривался недосугами своими». После этого Голиков рассказывает о том, как «прогневавшийся по справедливости за сие монарх» отвечал синоду на просьбу об избрании патри-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 346.

[2] Опубликована нами в «Вестнике Академии наук СССР», 1950, № 8, с. 53. Вошла в «Справочный том» к Полн. собр. соч. Пушкина в 16-ти т. (разд. «Дополнения и исправления») М., 1959, с. 55 и в последующие издания текста «Истории Петра».

[3] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VII. М., 1789, с. 209—210.

[4] Там же, с. 232.

арха[1]. Пушкин приводит этот рассказ в своей «Истории», отбросив оговорки Голикова, рассчитанные на то, чтобы смягчить и оправдать в глазах читателя необыкновенный ответ Петра на просьбу синода.

«По учреждении Синода, — пишет Пушкин, — духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников — графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «Вот вам патриарх» (413).

Сцену эту, так ярко рисующую не только отношение царя к синоду, но и образ Петра, Пушкин вспомнил еще раз, позднее, в черновике своего письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 года. Говоря о нем, что Петр, отменив патриаршество, «укротил» духовенство, Пушкин снова вспомнил шпагу (у Голикова «кортик») Петра, показанную царем синоду.

Раскрывая смысл отмены Петром патриаршества, Пушкин в том же письме заметил, что столетие спустя в разговоре с русским царем Наполеон сказал Александру: «Вы сами у себя *поп*, это совсем не так глупо». (Не вернее ль читать: «Вы сами у себя *папа*»?[2]) Наполеон, которому долго пришлось враждовать с папой, прежде чем побежденный им Пий VII увенчал его императорской короной[3], оценил, как подчеркивает Пушкин, важность отмены патриаршества, осуществленной Петром.

Повествуя в «Деяниях Петра Великого» о том, как сенат и синод поднесли Петру титулы «Всероссийского императора», «великого» и «отца отечества», Голиков пишет, что «смиренно-мудрый государь» отказывался от них и лишь после того, как синод и сенат «со слезами» умоляли его принять эти титулы, согласился — «по долгом, однако ж, сопротивлении»[4]. Пушкин вместо того заметил: «Петр недолго церемонился и принял их» (413).

После длинного описания церемонии, сопровождавшей провозглашение Петра императором, Голиков живописует:

«Весь Сенат провозгласил трикратно виват, а за ним и весь народ, внутрь и вне церкви в великом множестве находившийся, с великим воплем трикратно же повторил оное»[5]. Пушкин же в рукописи своей «Истории Петра» написал: «Сенат (то

---

[1] Рассказ этот, приведенный в первом издании «Деяний Петра Великого», был исключен — явно по цензурным соображениям — из второго издания «Деяний», вышедшего после смерти Пушкина.

[2] То есть «pape», а не «pope», как прочитано это слово французского черновика Пушкина в акад. изд. (см. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 260—262 и 421—423).

[3] «Сей всадник, //Папою венчанный», — сказал Пушкин в своих стихах о Наполеоне.

[4] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VIII. М., 1789, с. 6.

[5] Там же, с. 9—10.

есть 8 стариков) прокричал три раза vivat». И замечает: «Петр отвечал речью гораздо более приличной и рассудительной, чем это все торжество»[1].

«Весь сенат» у Голикова — в глазах Пушкина всего только восемь стариков, кричащих к тому же по случаю торжества, которое Пушкин признает малоприличным, а о народе, который, по словам Голикова, «в великом множестве» приветствовал Петра вслед за сенатом, нет у Пушкина — по крайней мере в дошедших до нас строках — ни слова. Это место в «Истории Петра» заставляет вспомнить слова, которыми Пушкин окончил «Бориса Годунова»:

«...Что же вы молчите? Кричите: да здравствует царь...

Народ *безмолвствует»*.

В незаконченном романе «Арап Петра Великого» и в «Полтаве» — произведениях, созданных за семь-восемь лет до «Истории Петра», — перед читателем является написанный гениальным пером Пушкина портрет Петра Великого, который призван был стать образцом для его царствующего правнука, обещавшего в те годы осуществить новое преобразование России.

Противоречивость же, которую Пушкин увидел в исторической деятельности — и в образе Петра, — нашла, как известно, поздней глубокое раскрытие в «Медном всаднике».

Лев Толстой отказался от попытки написать роман о Петре, потому что эта эпоха — говорил он — слишком отдалена от нас, и поэтому «трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас»[2].

Пушкин, не прибегая в своей «Истории» к средствам художественного вымысла, стремится понять и изобразить характер, «душу» Петра. Он рисует Петра в действиях, выражающих его личность, идет ли речь о государственных делах или о событиях личной жизни царя, неотделимых от них. Смерть царевича Алексея, процесс первой жены Петра, женитьба его на Екатерине и казнь Монса — все это Пушкин хочет понять, чтобы полнее изобразить исторического деятеля и человека, в душе которого мощно сталкивались и боролись противоречивые начала. Задача эта была смелой — напечатать такую книгу во времена Николая I было невозможно, — однако Пушкин не отказался от решения этой задачи.

Говоря о том, что в пушкинской «Истории» проступает уже образ Петра, мы говорим не об отдельных (хотя бы и замеча-

---

[1] Уточняем печатный текст этих пушкинских строк на основании «Дела о рукописи А. С. Пушкина «Материалы для Истории Петра Великого», 1840 (ЦГИА, ф. 1066, ед. хр. 904)

[2] «Толстовский ежегодник». М., 1912, с. 63.

тельных) образных выражениях Пушкина-историка. Когда он пишет о том, что многие указы Петра были, «кажется, писаны кнутом», слова эти красноречиво выражают пушкинскую мысль. Однако подобные образные выражения могли бы встретиться и в «Истории», автор которой не ставит перед собой задачу создать *образ* Петра.

Но вот в записи под тем же 1721 годом (приведенной выше в другой связи) мы читаем у Пушкина: «Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «Вот вам патриарх». Здесь перед нами одна из сцен, рисующих образ Петра, и мы вправе говорить уже не только об отдельных выразительных оборотах Пушкина-историка.

С первых страниц незавершенной пушкинской книги перед нами в живом изображении является юный Петр. Пушкин показывает его после усмирения одного из стрелецких бунтов, противопоставляя Петра царствовавшему с ним вместе брату Иоанну: в то время как стрельцы «стояли по обеим сторонам дороги, падая ниц перед государями, — Иоанн оказывал тупое равнодушие, но Петр быстро смотрел на все стороны, оказывая живое любопытство» (32).

Изображая Петра, едва не ставшего жертвой нового заговора, когда он во время суда над заговорщиками «занемог горячкою», Пушкин говорит: «Многочисленные друзья и родственники преступников хотели воспользоваться положением государя для испрошения им помилования... Но Петр был непреклонен: *слабым, умирающим голосом* отказал он просьбе и сказал: надеюсь более угодить богу правосудием, нежели потворством» (58. Курсив наш. — *И. Ф.*).

Пушкин подчеркивает противоречие между целями, осуществляемыми Петром, и средствами, которые он применял для их достижения.

«Когда народ встречался с царем, — читаем мы в «Истории Петра» под 1703 годом, — то по древнему обычаю падал перед ним на колена. Петр Великий в Петербурге, коего грязные и болотистые улицы не были вымощены, запретил коленопреклонение, а как народ его не слушался, то Петр Великий запретил уже сие *под жестоким наказанием, дабы,* пишет Штелин, *народ ради его* не марался в грязи» (116).

Мы видим любовь царя к строящемуся Петербургу. И вместе с тем Пушкин показывает, как выражается в проявлении этой любви своеобычный характер Петра:

«Петербург, по обстоятельствам утвержденный уже надежно за Россией, быстро отстраивался. Петр прибыл прямо на Васильевский остров, который должен был быть обстроен на манер Амстердама.

Заметя, что каналы у́же амстердамских, и справясь о том у резидента Вильда, он закричал: «Все испорчено» — и уехал во дворец в глубокой печали.

Петр жестоко пенял за то Меншикову, — пишет Пушкин.— Архитектор Леблонд советовал сломать дома и завалить каналы и строить все вновь. «Я это думал», — отвечал Петр и после уж никогда о том не говорил...» (396).

Пушкин приводит изречения, передающие широту характера Петра, — из Польши Петр писал Апраксину: «Здесь еще все дело, как брага, бродит, и не знаем, что будет. Но ежели несчастия бояться, то и счастия не будет» (180). Он рисует черты великодушия Петра и в то же время пишет (в связи с делом первой, постриженной в монахини жены Петра, которая была высечена кнутом): «Петр хвастал своей жестокостью: «Когда огонь найдет солому, — говорил он поздравлявшим его, — то он ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает» (390).

Пушкин изображает Петра, женившегося на «мариенбургской девке» (Екатерине), которую он полюбил, и пишет о том, как Петр повез Екатерину, когда она изменила ему, вокруг эшафота, на котором торчала голова ее любовника Монса. Пишет, наконец, о том, что, «кажется, при смерти помирился он с виновною супругою» (461).

Мы видим — многое для создания образа Петра взято Пушкиным не из панегирически представленных читателю Голиковым «Деяний Петра Великого». Но и тогда, когда Пушкин широко пользуется источниками, собранными в этом своде, мы вправе, говоря о том, что Пушкин сделал с ними, вспомнить слова, которые любил Чехов: «Ведь сделать из мрамора лицо — это значит удалить из этого куска то, что не есть лицо».

На страницах незавершенной пушкинской книги перед нами является образ времени и Петра, каким его видел Пушкин в последние годы своей жизни.

О своей исторической трагедии «Борис Годунов» Пушкин писал, что он стремился в ней «облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории»[1]. Драма самой истории открывается нам в его «Истории Петра», облекаемая в ряде мест уже в формы строго исторического и вместе с тем художественно строящегося повествования.

Пушкин намечает изображение Петра в действии, в противоречиях, в борьбе с врагами и препятствиями. Образ Петра создавал историк, не прибегающий к средствам художественного вымысла, но обогащенный художественным опытом прозаика и драматурга.

Пушкин — историк Пугачева написал *историю* Пугачева и *роман* «Капитанская дочка». В «Истории Петра» наметился син-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 164.

тез исторической прозы и прозы художественно-исторической. Этот синтез отвечал требованиям развития новой, создаваемой великим писателем-реалистом классической русской литературы.

В русской литературе непосредственным предшественником Пушкина в области художественной истории был Карамзин. Но от «Истории» реакционно мыслившего Карамзина, в глазах которого русская государственность была неотделима от самодержавия, незавершенную книгу Пушкина отличает прежде всего прогрессивность пушкинского патриотизма. Отличительной чертой его является глубокий критицизм, в силу которого незавершенный труд поэта опубликован быть не мог.

Пушкин не разделял исторических взглядов Карамзина, но видел в «Истории Государства Российского» «создание великого писателя»[1]. Высоко ценил Пушкин старую «Историю Руссов», приписываемую в то время перу Георгия Конисского. Множество мест в этой книге, замечает Пушкин, «суть картины, начертанные кистию великого живописца»[2].

В сознании читателей пушкинского времени жанр художественной истории требовал от автора не только исторических картин, но и драматического повествования о событиях изображаемой эпохи. Недаром в одной из своих статей Пушкин говорит о предисловии Карамзина, «столь много критикованном и столь еще мало понятом», приводя из него слова об «истории, где ищем действия и характеров».

Достаточно, однако, сравнить замечательный, хотя и не до конца завершенный Пушкиным рассказ о смерти Петра или строки, посвященные им делу царевича Алексея, с изображением смерти Грозного или сценой сыноубийства в «Истории» Карамзина, и мы увидим, что, несмотря на литературные достоинства этих страниц Карамзина, они представляют собой по сравнению с незавершенной исторической прозой Пушкина то же, что историческая мелодрама в сравнении с трагедией.

Тема «Пушкин в работе над Историей Петра» не может быть сведена к проблеме Пушкин-историк, она включает в себя историко-литературную проблему: Пушкин — историк-художник. «История Петра» должна была явиться новым словом в развитии жанра художественной истории; в ней сказались реализм исторического мышления Пушкина и глубоко раскрывающее действительность реалистическое искусство, создателем которого являлся великий русский поэт. В том же 1835 году, когда Пушкин создавал «Историю Петра», Белинский в статье «О русской повести...» писал, задумываясь о будущем литературы: «...кто знает? Может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменит роман так, как роман сменил эпопею?..»

---

[1] А. С. Пушкин. Полн, собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 68.
[2] Там же, т. VII, с. 336.

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ

Каков же был круг исторических источников, к которым Пушкин обратился, работая над созданием «Истории Петра»? И верно ли, что «до конца своей жизни Пушкин считал себя плохо ориентированным в литературе, касающейся эпохи Петра I»?[1]

Для ответа на этот вопрос, то есть для того, чтобы установить круг печатных источников, с которыми ознакомился Пушкин, мы имеем возможность обратиться к изучению сохранившейся библиотеки поэта.

Нужно, кроме того, осветить вопрос об архивных источниках, охваченных Пушкиным. Мы располагаем сведениями о том, в какие архивы допущен был Пушкин для работы над «Историей Петра». Сохранились до нашего времени и самые архивные дела, скрывавшиеся в этих архивах. Важнейшие дела петровского времени находятся ныне в Москве, в Центральном Государственном архиве древних актов. И мы можем в нужных случаях, — например, для ответа на вопрос, видел ли Пушкин подлинное дело царевича Алексея и воспользовался ли он почерпнутыми в петровских архивах данными, — сличить текст пушкинской «Истории Петра» с этими архивными делами.

Известно, что Пушкин получил с разрешения Николая I доступ в библиотеку Вольтера, хранившуюся в императорском Эрмитаже и в то время никому не доступную. Необходимо поэтому выяснить, воспользовался ли Пушкин редкими рукописями, собранными Вольтером в период его работы над своей «Историей России в царствование Петра Великого», которые поступили в Петербург вместе с купленной Екатериной II библиотекой Вольтера.

Пушкин обращался, кроме того, к частным собраниям исторических материалов. Ему могло быть доступно, например, собрание Погодина, получившее в дальнейшем известность под именем «Древлехранилища», которое находится ныне в

[1] См.: П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 476.

Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. В состав погодинского «Древлехранилища» входило «Собрание книг, печатанных при Петре Великом» и целый ряд рукописных источников по истории петровского времени, в том числе упомянутый уже нами дневник Патрика Гордона в рукописном немецком переводе Стриттера, «выпиской» из которого пользовался Пушкин[1].

Многие из этих материалов находились в собрании Погодина уже в те годы, когда Пушкин работал над «Историей Петра», и Погодин, которого Пушкин стремился привлечь к совместной работе над подготовкой архивных исторических материалов, вероятно, ознакомил Пушкина с рукописями своего собрания. Когда «Древлехранилище» разрослось, Погодин опубликовал в «Московских ведомостях» его состав и объявил его открытым «для всех занимающихся историей»[2].

Как видим, база для выяснения вопроса о том, с каким кругом источников ознакомился Пушкин, достаточно широка. Попытаемся установить круг этих источников.

---

[1] См. реестр погодинского «Древлехранилища», под № 2038.

[2] См.: Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. X. СПб., 1896, с. 442.

БИБЛИОТЕКА ПУШКИНА

Библиотека Пушкина является украшением Пушкинского Дома Академии наук; больше полувека назад вышло в свет прекрасное библиографическое описание ее, составленное Б. Модзалевским. Между тем, несмотря на появление за последние годы новых работ о ней, изучена она до сих пор недостаточно; с интересующей же нас точки зрения библиотека Пушкина не была изучена совсем.

В статье «Исторические воззрения Пушкина», написанной вскоре после выхода из печати описания пушкинской библиотеки, специалист в области русской историографии В. Иконников верно заметил, что занятия поэта «историей Пугачевского бунта и Петра Великого... обозначаются приобретением важнейших сочинений, относящихся к этим эпохам, имеющихся в русской и иностранной литературе»[1]. Место, занимаемое сочинениями, касающимися истории Петра, в библиотеке Пушкина, как видим, обратило на себя внимание источниковеда уже при ознакомлении с каталогом ее.

Большая часть книг, входивших в состав библиотеки поэта, уцелела, хотя до начала нынешнего столетия, когда библиотека была приобретена Академией наук, она хранилась плохо. К 1900 году библиотека «оказалась в довольно плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами», и «в ней сохранилось далеко не все, чего можно было ожидать: многих книг, вне всякого сомнения бывших у Пушкина, в ней не оказалось»[2].

В наше время все сохранившиеся книги пушкинской библиотеки тщательно реставрированы. А обнаруженная в дальнейшем опись ее, составленная вскоре после смерти поэта, дала возможность опубликовать перечень книг, в ней ныне отсутствующих, но входивших в состав библиотеки при жизни

---

[1] В. Иконников. Исторические воззрения Пушкина. — «Военно-исторический вестник», 1911, кн. 9—10, с. 21.

[2] Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиогр. описание. Предисл. к сб.: Пушкин и его современники. Материалы и исследования. СПб., 1910, вып. IX—X, с. XI—XX. (Далее сокращенно: Библиотека Пушкина с указанием номера книги.)

поэта[1]. В этом перечне мы также встречаем сочинения, относящиеся к истории Петра.

В состав библиотеки Пушкина входили кроме печатных старинные рукописные книги[2]. Это также следует иметь в виду; сохранившиеся счета букинистов дают нам возможность установить, что Пушкин приобретал для своей библиотеки и рукописные книги о Петре и Екатерине, стоившие много дороже печатных. Кроме названной в одном из таких счетов «Истории Петра I» Феофана Прокоповича и печатного же описания коронации Екатерины в счетах этих названы: рукописная «Жизнь Петра» — «писанная» (цена 50 рублей) и «Жизнь Екатерины» — «писанная» (цена 50 рублей)[3].

Помимо книг о Петре, входивших в состав библиотеки поэта, мы располагаем сведениями о редких книгах, Пушкину не принадлежавших, которые поэт имел возможность достать и изучить. К тому времени, когда он начал свой труд, литература о Петре была уже весьма обширна.

Пушкин выработал свои — глубоко оригинальные — взгляды на Петра, зная взгляды, высказывавшиеся писателями, русскими и иностранными, необходимость критического отношения к которым он так ясно подчеркнул в словах, сказанных им незадолго до смерти Д. Е. Келлеру: «Одно из затруднений составить историю его (Петра) состоит в том, что многие писатели, недоброжелательствуя ему, представляли разные события в искаженном виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия». Кто же были эти — известные Пушкину — писатели и каковы были их взгляды на Петра?

Ломоносов в «Слове похвальном Петру Великому»[4], произнесенном в 1755 году, писал: «Приняла новый вид Россия... Отверсты внутренности гор сильною и трудолюбивою его рукою. Проливаются из них металлы». Петр создал новое войско и новый флот: на всех морях «видим распущенные российские флаги» и «чудные крепости, летающие чрез волны». «Основаны науки и художества». Петр с «простыми людьми, как простой работник трудился»; войско видело «лицо его, пылью и потом покрытое». «Не могу сам себя уверить, что один везде

---

[1] Л. Б. Модзалевский. Библиотека Пушкина. Новые материалы. — «Литературное наследство», № 16—18, 1934, с. 1005 и след.

[2] См. письмо В. А. Жуковского к Бенкендорфу (февраль — март 1837 г.), где он сообщает о «рукописных старинных книгах», которые «принадлежат библиотеке» Пушкина. Опубл. в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы» (изд. 3-е, с. 243).

[3] См. счета букинистов, поданные Пушкину 22 февраля и 5 мая 1833 г. и 6 сентября 1835 г. (напечатаны в «Литературном архиве», т. I. Изд-во АН СССР, 1938, с. 39).

[4] В сохранившемся в пушкинской библиотеке собрании сочинений Ломоносова «Слово похвальное...» находится в т. II, на с. 365—412 (Библиотека Пушкина, № 218).

Петр», а не многие, говорит Ломоносов, удивляясь всеобъемлющей деятельности Петра.

Вдохновенные строки Ломоносова отозвались в пушкинских стихах. Но в своем «Слове» Ломоносов именует Петра человеком, «Богу подобным». И Пушкин, сознавая историческое значение «Слова», не мог не относить его, конечно, к числу произведений тех писателей, которые, по словам великого поэта, с пристрастием осыпали похвалами все действия Петра.

Оценка Петра с позиций революционных получила выражение в радищевском «Письме к другу...», напечатанном в 1790 году и, по-видимому, известном Пушкину, строки из которого мы уже приводили[1]. Взгляды декабристов на Петра находили себе во времена Пушкина главным образом устное выражение. Главным образом, но не исключительно. В 1941 году нашлась остававшаяся больше ста лет неизвестной рукопись лекции, прочитанной В. Кюхельбекером в Париже в 1821 году. «Петр I, — говорится в ней, — которого по многим основаниям назвали Великим, опозорил цепями рабства наших землепашцев»[2].

Декабрист Фонвизин позднее писал в своих записках, что «гениальный царь не столько обращал внимание на внутреннее благосостояние народа, сколько на развитие исполинского могущества империи», «и не только ничего не сделал для освобождения крепостных, но... еще усугубил тяготившее их рабство»[3].

Кроме критики революционной существовала также критика, осуждавшая Петра с позиций реакционных, нашедшая свое выражение в рукописных «рассуждениях» князя Щербатова, в запретных записках княгини Дашковой и в неизданной «Записке о Древней и Новой России» Карамзина.

Пушкину известна была не только карамзинская критика — та «нерасположенность» историографа к Петру, о которой упоминала, касаясь работы Пушкина над «Историей Петра», вышедшая в год смерти поэта книга Кенига — Мельгунова. Он хорошо был знаком с записками Дашковой, содержащими страницы, резко критикующие Петра и те методы, при помощи которых Петр совершал свои преобразования. Записками Дашковой Пушкин пользовался, как мы знаем, работая над статьей о Радищеве (выдержки из запрещенных записок ее сохранились в бумагах поэта[4]).

Что касается неизданных сочинений князя Щербатова, высоко ценившего Петра, но вместе с тем критиковавшего его

---

[1] А. Радищев. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего. СПб., 1790.

[2] См.: «Литературное наследство», 1954, № 59, с. 380. Рукопись обнаружена была в Ульяновске Н. М. Никольским.

[3] М. Фонвизин. Обозрение проявлений политической жизни в России. — В кн.: Общественные движения в России в первую половину XIX века, т. I, СПб., 1905, с. 109 и 111.

[4] См.: Дневник А. С. Пушкина. М.—Пг., 1923, с. 191.

со «стародворянских» позиций, то весьма вероятно, что Пушкин мог знать о них от Чаадаева (родного внука князя Щербатова), с которым вел долгие беседы и споры о Петре. Пушкина, не разделявшего взглядов Щербатова, должны были привлечь самая резкость его критики и сообщаемые им исторические данные и черты, о которых умалчивала официальная историография; вспомним, что рассуждение Щербатова «О повреждении нравов в России» (так же как и записки Дашковой) было напечатано впервые Герценом в «Вольной русской типографии»[1].

Пушкину были хорошо известны взгляды на Петра, высказанные Вольтером, Монтескье, Мабли и Руссо. Изложение взглядов французских просветителей мы находим и в голиковских «Деяниях Петра Великого»: с писателями этими Голиков спорит там, где они критикуют Петра. Изложению и критике взглядов Мабли, например, он отводит в «Деяниях Петра Великого» целых 50 страниц[2].

Вольтер всецело защищал Петра и его преобразования, возражая тем писателям, которые, как язвительно замечает он, видели в Петре только варвара, размахивающего топором: то — чтоб рубить головы, то — чтоб рубить леса. Но Мабли, высоко оценивая Петра, упрекает его в том, что он принял Западную Европу за образец, не подумав, заслуживает ли она такой чести.

Монтескье в своем «Духе законов» сочувствует стремлению Петра просветить русский народ и двинуть его вперед по пути цивилизации, но пишет вместе с тем о тиранстве Петра и коренном непонимании Петром средств, какими следовало осуществлять смело поставленные им исторические задачи. Монтескье считал, что если Петр и добился существенных исторических результатов, то это произошло независимо от варварских приемов, к которым он прибегал, ибо русские отнюдь не нуждались в царской дубинке.

Был известен Пушкину, разумеется, и безнадежный, нигилистический взгляд на Петра, высказанный в «Общественном договоре» Руссо. «Энциклопедия» Дидро, признавая большие достоинства Петра, достаточно ясно указывала на существеннейшие недостатки его деятельности. Сочинения виднейших представителей французского Просвещения сохранились в библиотеке Пушкина, и нет необходимости доказывать ссылками на тома и страницы знакомство Пушкина с ними.

---

[1] Рукопись Щербатова «Примерное времяисчислительное положение, во сколько бы лет при благополучнейших обстоятельствах могла Россия сама собою, без самовластия Петра Великого, дойти до того состояния, в каком она ныне есть в рассуждении просвещения и славы» и его же «Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого» увидели свет еще позже, так как были после 1812 г. затеряны.

[2] См.: И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. IX, М., 1789, с. 415—464.

Основой для выработки взглядов Пушкина было изучение первоисточников, к которым он обратился, подготовляя «Историю Петра». Какие же печатные источники сохранились в библиотеке Пушкина, помимо широчайшим образом использованного им голиковского свода, вопрос о котором будет рассмотрен нами, ввиду важного значения его для работы Пушкина, в особой главе?

Это прежде всего «Журнал, или Поденная записка... Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира»[1].

«Журнал Петра Великого», изданный князем Щербатовым полвека спустя после смерти Петра, является, по словам историков, сочинением, на которое мы имеем право смотреть как на труд самого Петра[2]. «Журнал» этот представляет собой не что иное, как Историю Свейской (то есть шведской) войны, которую Петр вел на протяжении большей части своего царствования.

Над подготовкой этой «Истории» трудились Феофан Прокопович, барон Гюйссен, кабинет-секретарь Макаров, Шафиров и некоторые другие ближайшие сотрудники Петра. В архиве Кабинета Петра Великого хранились восемь предварительных редакций этого труда, из которых пять правлены рукой самого Петра.

Ознакомившись по возвращении из Персидского похода с редакцией «Гистории Свейской войны», подготовленной в результате четырехлетней работы Макаровым, Петр «с свойственным ему жаром и вниманием прочитал все сочинение с пером в руке и не оставил в нем ни одной страницы неисправленною... Немногие места работы Макарова уцелели; все важное, главное принадлежит самому Петру, тем более что и статьи, оставленные им без изменения, выписаны редактором из его же черновых бумаг или из журналов, правленных его собственною рукою»[3]. Петр придавал этому труду большое значение и, занимаясь им, назначил для своих исторических занятий особый день — субботнее утро.

Из сказанного нетрудно понять важность, какую представляло для Пушкина знакомство с «Журналом» Петра. Заметим, что А. Н. Вульф видел «Журнал Петра Великого» на

---

[1] «Часть первая. В Санкт-Петербурге. При императорской Академии наук. 1770» и «Части второй Отдел 1-й», вышедший в 1772 г. (сохранились в библиотеке Пушкина, № 433 и 434).

[2] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, СПб., 1858, с. XXXV; Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, примеч., с. 10.

Уточняя, С. Пештич называет Петра «главным редактором» и «одним из основных авторов» «Журнала». См. его книгу «Русская историография XVIII века», ч. I. Изд. Ленингр. ун-та. Л., 1961, с. 173—174.

[3] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, с. XXXV

ЖУРНАЛЪ

или

ПОДЕННАЯ ЗАПИСКА,

блаженныя и вѣчнодостойныя памяти

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

ПЕТРА ВЕЛИКАГО

СЪ 1698 ГОДА,

ДАЖЕ ДО ЗАКЛЮЧЕНІЯ НЕЙШТАТСКАГО МИРА.

НАПЕЧАТАНЪ СЪ ОБРѢТАЮЩИХСЯ ВЪ КАБИНЕТНОЙ АРХИВѢ СПИСКОВЪ, ПРАВЛЕННЫХЪ СОБСТВЕННОЮ РУКОЮ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ

при Императорской Академіи Наукѣ 1770 года.

«Журнал Петра Великого». СПб., 1770.
Титульный лист. Книга сохранилась в библиотеке Пушкина.

рабочем столе поэта уже в Михайловском, в сентябре 1827 года.

Важнейшим источником должно было явиться для Пушкина собрание писем Петра. «Он, — вспоминал Леве-Веймар, общавшийся с поэтом в 1836 году, — разыскал переписку Петра Великого включительно до записок... которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания»[1].

И хотя из полутора тысяч писем Петра, напечатанных в голиковских «Деяниях», в библиотеке поэта сохранились только первые 445 писем, вошедших в десятый том «Деяний», нет никакого сомнения, что Пушкин ознакомился и с остальными письмами Петра, опубликованными в XI и XII томах «Деяний Петра Великого».

«Большую часть писем сих, — замечает Голиков, — великий государь писал, будучи в воинских походах — морских и сухопутных, в путешествиях своих внутрь и вне государства — и на почте при перемене лошадей, даже и при самых сражениях с неприятелями, и словом, отовсюду, где он ни находился, не отлагая встречающихся ему мыслей до другого времени или места»[2].

Вслед за тем Голиков указывает, где почерпнул он публикуемые им письма Петра, поскольку он далеко не ограничился перепечаткой писем, ранее уже изданных, каковы, например, письма Петра к Шереметеву (значительная часть которых — до середины 1709 года — вошла в издание Голикова). «Всех паче обогатил собрание мое, — говорит Голиков, — Александр Петрович Курбатов, который переписал своей рукой с оригиналов более 900 писем Петра Великого»[3]. Предисловие Голикова облегчало Пушкину возможность ориентироваться в источниках, содержащих многочисленные письма Петра. Это следует отметить, так как Пушкин не только знал напечатанную переписку Петра, но и стремился ознакомиться с подлинными письмами его. Известно, что Пушкин получил подлинники четырех писем Петра к князю В. В. Долгорукову от одного из потомков последнего[4].

---

[1] Перевод статьи Леве-Веймара, напечатанной в «Журналь де деба» 3 марта 1837 г., см. в кн.: П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е. с. 416.

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. X. М., 1788, предисл., л. 2-об.

[3] Там же, л. 3-об.

[4] Пушкин знал, вне сомнения, письма Петра к Шереметеву, напечатанные в 1774 г.: в «Истории Петра» он ссылается на Миллерову «Историю Шереметева» (с. 367), называя так жизнеописание Шереметева, напечатанное Миллером в виде обширного введения к собранию писем Петра Великого к Шереметеву. А на изданные в 1778—1779 годах в четырех частях письма Шереметева к Петру Великому Пушкин указывает, отмечая необходимость использовать их при изображении пребывания Карла XII в Бендерах; найдя у Голикова ссылку на эти письма, он пишет: «Смотри... письма Шереметева. Ч. III...» (313).

Вышедшее в 1830 году «Полное собрание законов Российской империи» в библиотеке поэта не сохранилось. Но известно, что Николай I прислал его Пушкину в подарок. Сохранилось письмо Бенкендорфа Пушкину от 17 февраля 1832 года и ответное письмо Пушкина от 24 февраля, где он указывает, что подарок этот будет использован им «для совершения предпринимаемого... труда» (то есть для написания «Истории Петра»)[1]. На страницах «Полного собрания законов» с большой полнотой отражена деятельность Петра, многие законы писались под его диктовку или даже его рукой.

Если мы вспомним, что в подготовительном тексте «Истории Петра» Пушкин перечисляет, начиная с 1698 года вплоть до конца петровского царствования, под каждым годом важнейшие указы Петра с целью использовать их в окончательном тексте своей «Истории», то убедимся в важном значении, какое должно было иметь для Пушкина «Полное собрание законов Российской империи» как источник исторический[2].

Воспоминания современников, близко стоявших к Петру, именуемые большей частью на языке того времени историческими анекдотами, привлекали, как известно, особое внимание Пушкина. Мы приводили уже свидетельства о том, что «его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего (то есть XVIII. — *И. Ф.*) столетия» и что Пушкин любил рассказывать такие анекдоты о Петре. О записанных Голиковым «неизданных повествованиях», составивших в его «Дополнении к Деяниям Петра Великого» целый том «Анекдотов, касающихся до сего великого государя»[3], будет сказано более подробно в главе об использовании Пушкиным голиковских «Деяний». Помимо голиковского собрания анекдотов о Петре Пушкин знал, конечно, анекдоты, записанные Штелином. В библиотеке поэта сохранилось третье «вновь исправленное» издание «Подлинных анекдотов о Петре Великом, собранных Яковом Штелиным» в четырех частях (Москва, 1830)[4]. В первых двух частях этого издания помещены действительно анекдоты, собранные Штелином. В третьей же и четвертой частях перепечатаны анекдоты, изданные Голиковым (почему-то без упоминания его имени).

Приехав в Россию через десять лет после смерти Петра, Штелин прослужил в России полстолетия, став профессором и секретарем Академии. Он писал о театре и музыке, печатал географические статьи, но главной работой его оказалось обширное собрание анекдотов, записанных им со слов здравствовавших еще в то время современников и сподвижников

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 12, 14.

[2] Указы, изданные при Петре I, входят в тома II, III, IV, V, VI и VII «Полного собрания законов Российской империи».

[3] Т. XVII. М., 1796.

[4] Библиотека Пушкина, № 432.

845
ка

ПОДЛИННЫЕ

353.

АНЕКДОТЫ

О

ПЕТРѢ ВЕЛИКОМЪ

947
Ш-89

СОБРАННЫЕ

ЯКОВОМЪ ШТЕЛИНЫМЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ ВНОВЬ ИСПРАВЛЕННОЕ.

МОСКВА

ВЪ ТИПОГРАФІИ РѢШЕТНИКОВА.

1830.

«Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным».
Часть первая. Москва, 1830 г.
Титульный лист. Книга сохранилась в библиотеке Пушкина.

Петра. Штелин указывает в каждом случае, с чьих слов записаны им эти рассказы. Не все в них достоверно, но многое соответствует истине и потому привлекло внимание Пушкина.

Перечисляя в своей «Истории Петра» «особ, доставивших важнейшие сведения Голикову», Пушкин называет на первом месте Неплюева (11). Записки («Журнал») его Голиков опубликовал в «Дополнении к Деяниям Петра Великого» — в томе «Анекдотов, касающихся до сего великого государя» (т. XVII, с. 416—441. Воспоминания Неплюева о Петре были напечатаны, кроме того, в «Отечественных записках» в 1823—1826 годах (части 16, 19—21, 23—25). Из них части 19—21 и 23—25, вышедшие в 1824—1826 годах, сохранились в библиотеке поэта[1]. Рассказы Неплюева о Петре, таким образом, были несомненно хорошо знакомы Пушкину. В одном из них Неплюев, как известно, вспоминает свое представление царю после возвращения вместе с другими гардемаринами из-за границы:

«...я стал на колени, а государь, обратив руку правою ладонью, дал мне поцеловать и при том изволил молвить: «видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того: показать вам пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству»[2].

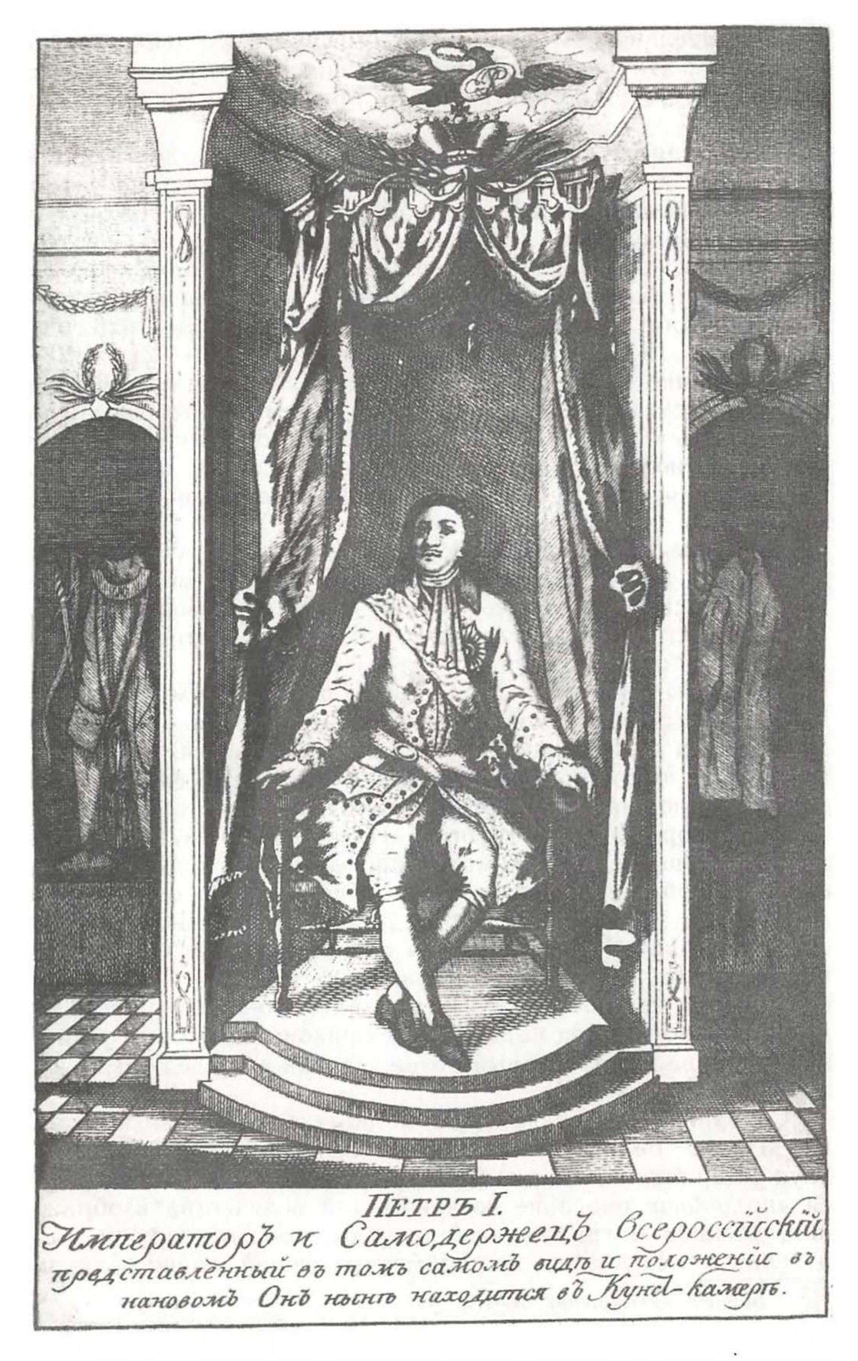
Анекдоты о Петре, записанные по собственным воспоминаниям главным токарем и механиком Петра Великого Андреем Нартовым и пополненные впоследствии его сыном рассказами, взятыми из других источников, появились в 1819 году в «Сыне отечества» под названием «Достопамятные повествования и речи императора Петра Великого». «Повествования», или анекдоты эти, Пушкин, по-видимому, прочел и, конечно, запомнил еще в Петербурге, до ссылки на юг. Многое из них он вспомнил, когда работал впоследствии над подготовительным текстом своей «Истории Петра», встречая у Голикова эпизоды, переданные в «Достопамятных повествованиях» Нартова. Таковы рассказы о том, как досадовал Петр, найдя, что каналы, построенные в Петербурге под надзором Меншикова, оказались узкими, как чествовал Петр первый ботик, назвав его «дедушкой русского флота», и проч.

Сохранилась в пушкинской библиотеке также книга «Кабинет Петра Великого», изданная императорской Академии наук унтер-библиотекарем Осипом Беляевым[3]. В ней содержится «подробное описание воскового его величества изображения, военной и гражданской одежды, собственноручных его изделий и всех вообще достопамятных вещей, лично великому

[1] Библиотека Пушкина, № 489—491.

[2] «Сын отечества», 1825, ч. 21, с. 439, Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XVII, 1796, с. 429—430.

[3] Библиотека Пушкина, № 58.



Восковое изображение Петра I.
Гравюра из книги О. Беляева «Кабинет Петра Великого» СПб., 1800, сохранившейся в библиотеке Пушкина.

сему монарху принадлежавших и ныне в Санктпетербургской императорской Академии наук кунсткамере сохраняющихся». В книге этой помещено изображение Петра, сидящего на троне, гравированное изображение лошади и двух собак его.

Восковую статую Петра, одетую в голубой кафтан, Пушкин видел несомненно в Петербургской кунсткамере. Рассказывая о Каспийском походе 1722 года, Пушкин в своей «Истории» заметил: «Петр обрезал свои длинные волосы и сделал из них парик, ныне видимый на его кукле» (429). (Ее можно видеть в Государственном Эрмитаже и поныне.)

Лошадь Петра, чучело которой также сохранилось в кунсткамере, — тот самый конь, который был под Петром в Полтавской битве. «Лошадь сия, — сказано в книге Беляева, — есть жеребец персидской породы, на которой государь был во многих сражениях». «Ежели верить некоторых преданию, лошадь сия, кроме стройного и красивого своего стана, была толико крепкого сложения, что могла в один день перебегать 150 верст без всякого при том себе труда и надсады»[1]. «Шерсть на ней бурая; станом тонковата и невысока... Стремена железные, едва на полфута от земли висящие, кои служат доказательством, сколь величественного государь был роста»[2].

В «Журнале Петра Великого», в письмах Петра, в указах его, помещенных в собрании законов, в анекдотах о нем, записанных со слов его сподвижников, говорят о себе потомству сам Петр и его сторонники.

В 1831 году вышла в свет под названием «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий...» книга Ивана Кирилова, который является, по словам его биографа, «одним из оригинальнейших и замечательных деятелей, выдвинувшихся в эпоху Петра Великого»[3]. Эта изданная Погодиным век спустя после того, как она была написана, и хорошо известная Пушкину книга сохранилась в его библиотеке[4]. Старая «статистика» Кирилова дает ясное обозрение состояния России, преобразованной реформами Петра. Напечатана она была по рукописи, принадлежавшей некогда Голикову и находившейся в его библиотеке. Если мы вспомним, что программа «Введения» в «Историю Петра», написанная Пушкиным, содержит такие пункты, как «Россия внутри, Подати, Торговля»

[1] О. Беляев. Кабинет Петра Великого. Отделение первое. СПб., 1800, с. 183.

[2] Там же, с. 181 и 182—183.

[3] См. статью П. П. Павлова-Сильванского в «Русском биографическом словаре» (СПб., 1897, т. «И—К», с. 666—668).

[4] Библиотека Пушкина, № 186.

и проч., то увидим, каким важным источником исторических сведений должна была послужить Пушкину книга Кирилова.

В библиотеке Пушкина сохранился целый ряд печатных источников, знакомство с которыми было необходимо ему для изучения сменявших друг друга периодов и событий петровского царствования.

В десятитомном «Собрании разных записок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и деятельности Петра Великого», составленном Ф. Туманским[1], Пушкин мог прочесть работы Г. Миллера о рождении, воспитании и «первом воцарении» Петра Великого. «О венчании царским венцом» Иоанна и Петра, а также «Известие о начале Преображенского и Семеновского полков гвардии»[2].

В разговоре с Келлером Пушкин, упомянув о работах Миллера, сказал: «Весьма часто делал я себе вопросы об исторических фактах и находил им разрешение в бумагах этого ученого. К сожалению, многие произведения до сих пор не вышли в печать»[3], — добавил Пушкин. Не приходится сомневаться поэтому, что напечатанные статьи Миллера Пушкин знал (как и его «бумаги»).

В том же сборнике Туманского напечатаны говорящие о стрелецких мятежах записки Сильвестра Медведева, жаркого сторонника царевны Софьи, который был казнен как «единомышленник князя Андрея Хованского», и записки графа Матвеева — сына знаменитого боярина, погибшего в начале мятежа. Автор этих записок граф Андрей Артамонович — воевода и посол Петра при европейских дворах — был, в отличие от Медведева, приверженцем Петра и потому освещает события, разумеется, совсем иначе, нежели Сильвестр Медведев.

Рукописная записка Матвеева вместе с рукописным же «Описанием дел Петра Великого» П. Крекшина и донесением датского резидента Бутенанта фон Розенбуша о событиях, совершившихся в Москве в середине мая 1682 года, послужили Ломоносову источником при составлении им «Описания стрелецких бунтов и правления царевны Софьи». Эта работа Ломоносова, напечатанная впервые только в 1952 году в советском академическом издании его сочинений, представляет собой «эк-

---

[1] Библиотека Пушкина, № 392. В библиотеке поэта сохранились ч. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Сб. вышел в Петербурге в 1787 г. В рукописи своей «Истории Петра» Пушкин ссылается на часть пятую сборника Туманского, что, по верному замечанию П. Попова, указывает на неправильность мнения Б. Л. Модзалевского, считавшего пушкинский экземпляр сборника «совершенно нечитанным» (см. «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 471).

[2] Эти работы перепечатаны Туманским из «Опыта трудов вольного российского собрания» в ч. 5 его сборника, на который ссылается Пушкин, и в ч. 7.

[3] Соч. А. С. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII, с. 587.

стракт», пересланный из России Вольтеру в период подготовки последним его «Истории России в царствование Петра Великого»[1].

«Включенная в «Историю» Вольтера работа Ломоносова стала достоянием широких читательских кругов Западной Европы», поскольку «во многих случаях текст Вольтера почти дословно воспроизводит сочинение Ломоносова»[2]. Хорошо зная книгу Вольтера, Пушкин имел, таким образом, возможность почерпнуть и в ней сведения о стрелецких мятежах, собранные Ломоносовым на основе записок Матвеева и других источников.

Рукописное сочинение Крекшина Пушкин читал в Государственном архиве (и, по-видимому, брал к себе на дом). Вслед за Голиковым Пушкин излагает некоторые сведения, попавшие в «Деяния Петра Великого» из рукописи Крекшина. Но в то время как Голиков повторяет эти сведения, Пушкин относится к ним критически. «Голиков слепо поверил выдумке Крекшина», замечает Устрялов, приводя рассказ последнего о том, как десятилетний Петр, присутствовавший при знаменитом «словопрении» о вере, «повеле изгнати еретиков вон»[3]. Пушкин же, рассказав о том, что стрельцы вошли в церковь «с налоем, и свечами, и с каменьями за пазухой», и о том, как начался этот «феологический спор», пишет: «Настает шум, летят каменья (сказка о Петре, будто бы усмирившем смятение). Бояре, — поясняет Пушкин, — при помощи стрельцов-нераскольников изгоняют, наконец, бешеных феологов» (то есть теологов; 25).

В библиотеке Пушкина есть книга, им разрезанная, в которой сохранилось оставленное нам современником изображение одиннадцатилетнего Петра. В книге этой помещено описание путешествия Мейерберга по России в средине XVII столетия[4]. Но в приложении даны выдержки из дневника Кемпфера, назначенного в 1681 году секретарем при шведском посольстве в Россию и Персию.

Кемпфер видел в Москве юного Петра при представлении посольства царям Иоанну и Петру в 1683 году: «Оба их величества сидели не посредине... залы... на двух серебряных епископских креслах... Старший сидел почти неподвижно,

---

[1] См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. VI. М.-Л., 1952, с. 132–161. Ред. тома — Б. Д. Греков и А. И. Андреев. Работа Ломоносова напечатана по рукописи посланного Вольтеру французского перевода ее, так как русский оригинал не сохранился.

[2] См.: М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. VI, с. 570; коммент. В. Р. Свирский.

[3] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. 1, с. 288.

[4] Библиотека Пушкина, № 235. «Барон Меерберг и путешествие его по России. С присовокуплением рисунков, представляющих виды, обряды, портреты и т. п., в продолжение сего путешествия собранных». Издана Федором Аделунгом. Пер. с нем. СПб., 1827.

с потупленными, совсем почти закрытыми глазами, опущенною низко шапкою; младший, напротив того, взирал на всех с открытым прелестным лицом, на коем, при обращении к нему речи, беспрестанно играла кровь юношества...»[1]. Кемпфер описывает Кремль, вид, вооружение и знамена стрельцов[2]; картина эта, разумеется, не могла не заинтересовать Пушкина.

Истории Азовских походов посвящены две книги, сохранившиеся в пушкинской библиотеке. Одна из них носит название, достаточно ясно передающее ее содержание: «Поход боярина и большого полку воеводы Алексея Семеновича Шеина к Азову, взятие сего и Лютика города и торжественное оттуды с победоносным воинством возвращение в Москву... Издал в свет Василий Рубан»[3].

При описании в этой книге азовского триумфа, когда вслед за победителями провезен был по Москве изменивший Петру под Азовом офицер-иностранец Якоб Янсен (выданный турками после сдачи Азова), на странице 192 мы читаем:

«Телега намощена тесом, и поставлены рели, а на релях по столпам воткнуты по обе стороны два топора, два ножа, повешены два хомута, десять плетей, двои клещи, два ремня, а Якушка в турецком платье, голова в чалме обвита по-турецки, руки и около поясницы окован цепями, на шее петля, на грудях бумажное зерцало, на перекладе веревка петлею и ложена на шею... На зерцале на груди написано: *«злодей»*.

Пушкин внес в свою «Историю Петра» эту выразительную деталь азовского триумфа, которую мог почерпнуть из приведенного описания[4].

Вторая сохранившаяся в библиотеке поэта книга, посвященная Азовским походам, называется «Кратким описанием всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу». Книга эта, к которой приложен «План осады и взятия Азова в 1696 году», представляет собой сделанный И. К. Таубертом перевод труда академика Байера, использовавшего не изданный еще дневник генерала Патрика Гордона[5].

Дневник, который вступивший в русскую службу в 1661 году шотландец Патрик Гордон вел на протяжении четырех десятилетий, является важным источником для начального периода истории петровского царствования. Заслуги Гордона в Азовскую кампанию и решительность, проявленная им при разгроме

---

[1] См. названную книгу, изданную Аделунгом, с. 337—338.
[2] Там же, с. 334—341.
[3] Книга издана в Санкт-Петербурге в 1773 г. (Библиотека Пушкина, № 334).
[4] Как и в сб. Туманского (ч. 5, с. 43), на который указывает П. Попов (см. «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 471).
[5] Книга вышла в Санкт-Петербурге в 1738 г. (Библиотека Пушкина, № 198).

мятежных стрельцов в 1698 году, ставили Гордона в круг ближайших друзей и помощников молодого Петра.

В библиотеке Пушкина сохранилась биография Гордона, написанная Голиковым и изданная им вместе с жизнеописанием Лефорта в 1800 году[1]. Но обширный дневник Гордона, чрезвычайно интересовавший Пушкина, оставался неизданным; лишь отдельные отрывки из него появились в печати. Оценив значение этого исторического источника, Пушкин стремился получить доступ к нему и ознакомиться с ним.

На дневник Гордона, точнее, на возможность ознакомиться с ним в рукописной английской копии обратил внимание Пушкина Александр Тургенев, как только ему стало известно, что Пушкину поручено написать историю, или биографию, Петра Великого. 16 сентября 1831 года Тургенев сообщал Жуковскому: «Для биографа Пушкина нужен и журнал шотландца (то есть дневник Гордона. — *И. Ф.*), служившего у нас...»[2] Сообщая в письме, написанном из Лондона 10 мая 1831 года[3], что ему удалось купить там английскую копию дневника Гордона «с генваря 1684 до 1699 года», Тургенев подчеркивал: «Эта рукопись — точно историческая драгоценность, об истинных государственных делах, как тогда их разумели, а не о предметах одного ученого или антикварного любопытства»[4].

Перевод дневника Гордона на немецкий язык выполнен был еще в XVIII веке академиком Стриттером, и выписка из немецкого перевода, оставшегося также в то время неизданным, была, как мы знаем из записи Келлера, получена и использована Пушкиным (при описании бегства Петра в Троицкий монастырь).

Но ни немецкий перевод дневника Гордона, который был доступен Пушкину в извлечении, ни возможность ознакомиться с английской копией, купленной Тургеневым, не удовлетворили Пушкина. Вот почему он, узнав, что подлинный дневник Гордона вытребован, по распоряжению царя, из Московского архива и что Келлеру поручено перевести его с подлинника для русского издания, с таким нетерпением стремился увидеться с Келлером.

Пушкин встретился с ним в конце декабря 1836 года на балу у Е. Ф. Мейендорфа, где, узнав о данном Келлеру поручении, «нетерпеливо» спрашивал: ну где ж он, где ж он? «Егор Федорович (Мейендорф. — *И. Ф.*) нас познакомил, — сообщает Келлер. — Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Пушкин удивился, когда узнал, что у меня шесть томов

---

[1] Библиотека Пушкина, № 99.

[2] См. «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 105.

[3] См.: Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 185—186.

[4] Купленная Тургеневым английская копия дневника Гордона находится ныне в Рукописном отделе Гос. Публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ин-кварто, и сказал: «Государь говорил мне об этом манускрипте, как о редкости, но я не знал, что он столь пространен». Пушкин «спросил, не имею ли других подобных занятий в виду, по окончании перевода, и упрашивал навещать его». Вторую запись Келлера (сделанную им вскоре после смерти поэта), где подробно рассказывается о его следующей встрече с Пушкиным, мы уже цитировали. Здесь добавим, что, касаясь перевода рукописи Гордона, поэт на этот раз сказал Келлеру: «Продолжайте им заниматься, вы окажете большую услугу»[1].

Все это говорит о глубоком интересе Пушкина к дневнику Гордона, до нашего времени еще по-русски полностью не изданному, и о постоянном стремлении Пушкина к знакомству с подлинными рукописными источниками там, где дело шло об источниках действительно важных. Ныне подлинный дневник Патрика Гордона в старинных переплетах тисненой кожи хранится в Центральном Государственном военно-историческом архиве, помещающемся в том самом дворце Лефорта, где Патрик Гордон не однажды встречался с Петром. Последняя запись в дневнике сделана была Гордоном 31 декабря 1698 года. Он умер в следующем, 1699 году.

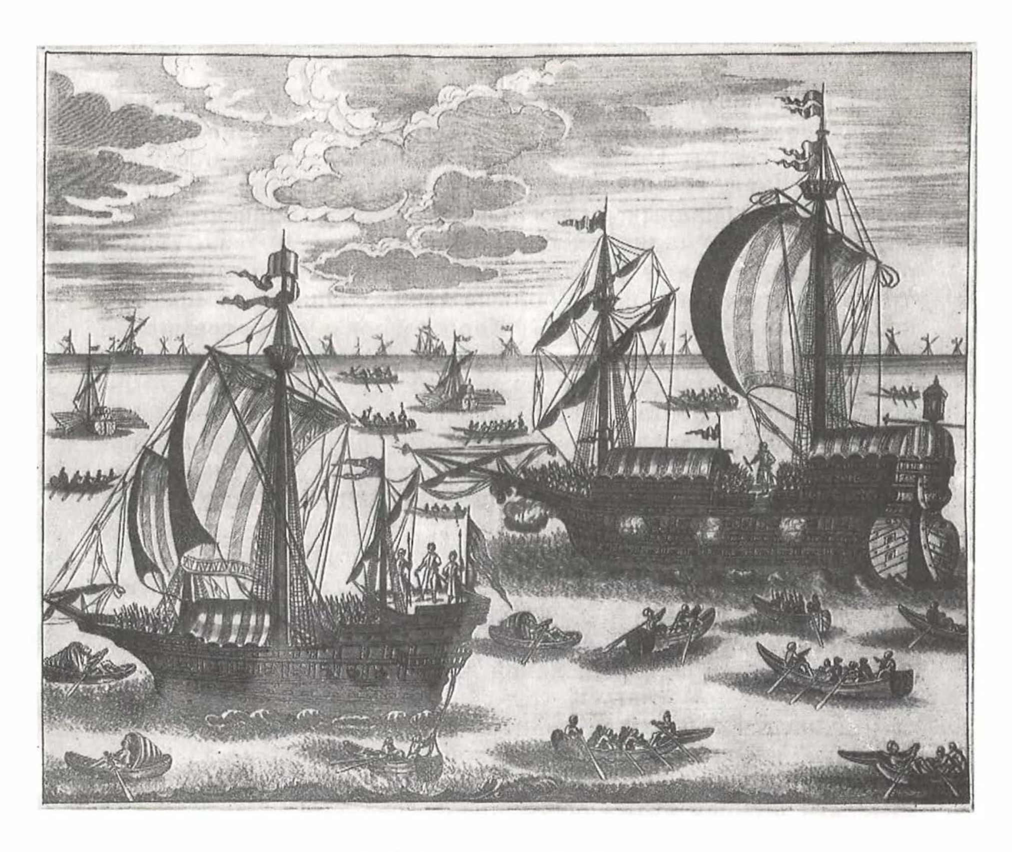
О «Большом посольстве» и первом путешествии Петра за границу говорит «Записная книжка любопытных замечаний великой особы, странствовавшей под именем дворянина Российского посольства в 1697 и 1698 году». Дневник этот напечатан был в 1830 году в журнале «Отечественные записки» (ч. 43), сохранившемся в библиотеке Пушкина[2], где он назван был — без достаточных оснований — «путевыми записками, веденными самим государем Петром Великим». В том же году дневник этот напечатан был и в «Московском вестнике» (1830, ч. VI), где Погодин назвал его «журналом, веденным одним из чиновников посольства...». В «Московском вестнике» Пушкин принимал ближайшее участие и потому бесспорно знал дневник, о котором мы говорим, и в этой журнальной публикации.

Известно ему было и «Путешествие» Шереметева, описанное последним. Шереметев путешествовал за границей в 1697 году. Дневник его содержится в томе V «Древней российской вивлиофики», изданной Новиковым, все двадцать томов которой сохранились в библиотеке Пушкина[3] (и о которой поэт намерен был напечатать статью в своем «Современнике»).

О пребывании Петра в Голландии много сведений, полученных от потомков тех лиц, с которыми Петр общался в Голландии, — и архивных данных — опубликовал Якоб Схельтема

---

[1] См.: Соч. А. С. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII, с. 587.
[2] Библиотека Пушкина, № 495.
[3] Библиотека Пушкина, № 135.



Корабли Азовского флота. 1696.
Гравюра из книги Корба «Дневник путешествия в Московское государство». Вена, 1700 г.

в своем труде, вышедшем в Амстердаме[1]. Корнилович, к работам которого, посвященным Петру, Пушкин относился, как известно, с большим вниманием, напечатал в 1822 году в «Сыне отечества» (ч. 82) очерк «Петр I в Заандаме», в котором приведены материалы, найденные им у Схельтемы[2]. Этот номер «Сына отечества» в библиотеке поэта не сохранился, но в нем была напечатана статья Вяземского о поэме Пушкина «Кавказский пленник», и мы можем с уверенностью утверждать, что Пушкин прочел напечатанный здесь очерк Корниловича и таким образом познакомился с историческими данными, опубликованными в труде Схельтемы.

«Дневник поездки в Московское государство в 1698 году» Иоанна Корба, являющийся важным источником для истории

---

[1] «Russland en de Nederlanden...», t. II, 1817.

[2] См.: А. Грум-Гржимайло. Декабрист А. О. Корнилович. Жизнь и литературная деятельность. — В сб.: Декабристы и их время, т. II, М., 1932, с. 335.

этого страшного, по словам Пушкина, года, Пушкин прочел очень внимательно: упоминая, например, в «Истории Петра» о кончине сестры Петра Наталии, он называет ее «любимой сестрой» царя, ссылаясь на Корба (331)[1]. На глазах Корба происходил кровавый стрелецкий розыск; он присутствовал на Красной площади при совершении казней и даже «измерил, — как сам пишет, — шагами длину плах», причем нашел, что ширина их была вдвое больше длины[2]. Описывая «шестую казнь 27 октября 1698 года», Корб говорит: «Эта громадная казнь могла быть исполнена потому только, что все бояре («сенаторы царства», — поясняет он), думные и дьяки, бывшие членами совета, собравшегося по случаю стрелецкого мятежа, по царскому повелению были призваны в Преображенское, где и должны были взяться за работу палачей. Каждый из них наносил удар неверный, потому что рука дрожала при исполнении непривычного дела... Сам царь, — добавляет Корб, — сидя на лошади, смотрел на эту трагедию»[3].

О четвертой казни, 21 октября 1698 года, когда стрельцов вешали на бревнах, воткнутых в бойницы крепостных стен, Корб замечает: «Едва ли столь частый частокол ограждал какой-либо другой город, какой составили стрельцы, перевешанные вокруг Москвы»[4].

Наконец, Корб, ссылаясь, правда, в этом случае не на собственные впечатления, а на чужие слова, сообщает, будто 14 февраля 1699 года сам царь «отрубил мечом головы восьмидесяти четырем мятежникам, причем боярин Плещеев приподымал за волоса их, чтоб удар был вернее»[5].

Вот о чем вспоминал Пушкин на страницах, посвященных им в «Истории Петра» 1698 году, где он пишет сначала о том, как Петр, узнав «о разбитии стрельцов», «продолжал свой путь, готовясь к ужасному предприятию» (73), а потом, сопровождая свои слова выразительным многоточием, замечает: «Начались казни... Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя»[6].

Знакомство Пушкина с дневником Корба отразилось в

---

[1] Дневник Корба в десятитомном акад. изд. соч. Пушкина, вышедшем в 1949 г. (т. IX, с. 512), назван в числе «немногочисленных источников», которыми, по мнению комментатора, пользовался Пушкин. Для чего воспользовался Пушкин дневником Корба, при этом не устанавливалось.

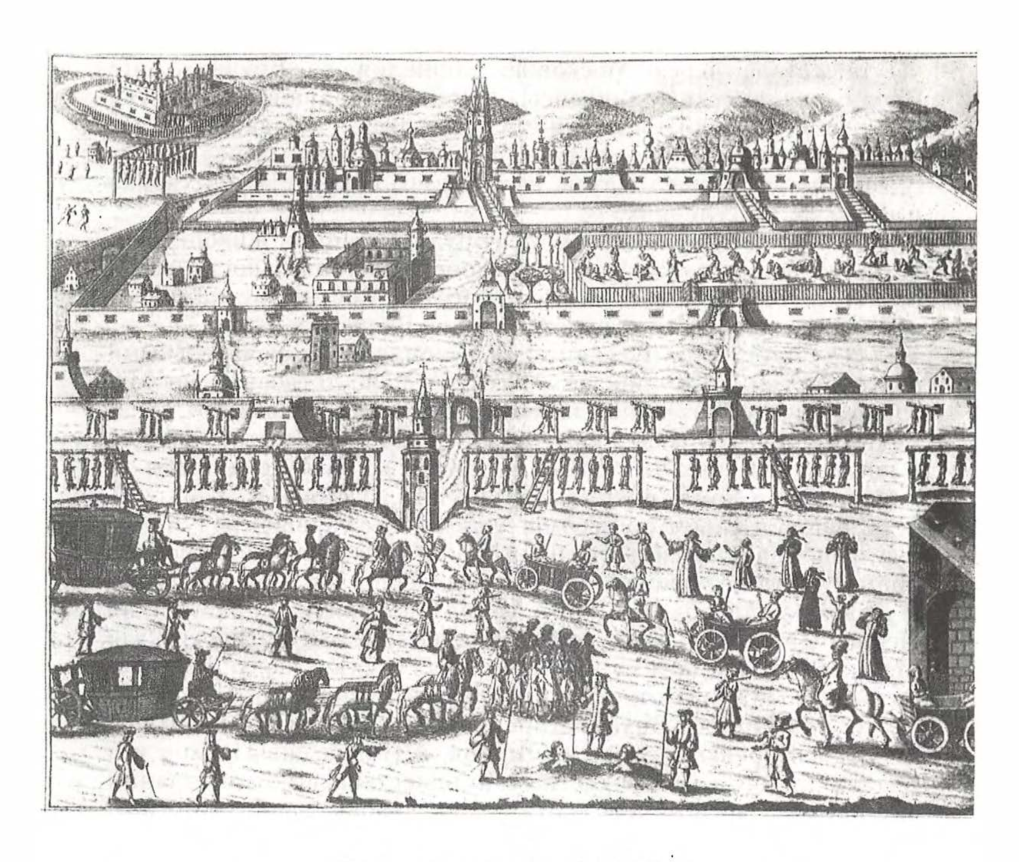
[2] Цитаты из дневника Корба, вышедшего в Вене в конце 1700 г., приводим по русскому переводу: «Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоаном Георгом Корбом». Перевод с лат. М., 1867. Приведенные строки см. на с. 141 русского изд.

[3] См. указ. перевод дневника Корба, с. 228—229.

[4] Там же, с. 228.

[5] Там же, с. 143.

[6] Уточняем пунктуацию по рукописи Пушкина. Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР (№ 392, л. 20).



Казнь стрельцов. Октябрь 1698 г.
Гравюра из книги Корба «Дневник путешествия в Московское государство». Вена, 1700. Фрагмент.

скупых строках «Истории Петра», посвященных стрелецким казням, хотя Пушкин на Корба здесь не ссылается и даже не упоминает о нем. Это ясно показывает, что знакомство Пушкина с источниками, о которых Голиков умалчивает, находило отражение на страницах «Истории Петра» и там, где Пушкин на эти, хорошо ему известные источники почему-либо не ссылался.

Корб пишет в своем дневнике не только о стрелецких казнях, — он сидел часто за царским столом, слышал суждения Петра о государственных делах и отзывается о царе и его речах с большим уважением. Тем не менее дневник Корба был, по требованию представителей Петра, запрещен, и непроданные экземпляры его были уничтожены австрийским правительством.

Совсем иной интерес, нежели дневник Корба, должно было представлять для Пушкина сохранившееся в его библиотеке

«Путешествие через Московию Корнилия де Бруина»[1]. Де Бруин, голландский живописец, путешествовавший по России и Востоку, отправился морем в Архангельск и в январе 1702 года приехал по зимнему пути в Москву, где пробыл целый год. Здесь он часто видел Петра, написал его портрет и участвовал в царских увеселениях.

В «Путешествии» своем де Бруин остается живописцем. Петр позволил ему зарисовать достопримечательности своей столицы. Де Бруин восхищался красотой Москвы и вспоминает вид, открывающийся с высоты Ивана Великого.

Он пишет, что русский народ обладает замечательными способностями, а о приказах, то есть о присутственных местах, говорит неодобрительно, замечая, что они помещаются в каменных палатах, где сидит постоянно множество писцов в покоях, похожих на тюрьмы. Главные же чины сидят там за длинными столами, покрытыми красным сукном.

Де Бруин пишет об огромном колоколе, упавшем в 1701 году. Описывает насильственное брадобритие, совершаемое по приказу Петра. Наконец, подробно изображает торжественную шутовскую свадьбу Шанского, отпразднованную в присутствии Петра. Царя де Бруин, увидев впервые, узнал по портрету и отличил его еще потому, что Петр ехал в санях почти не украшенных, в отличие от свиты, сопровождавшей его.

Из Москвы де Бруин отправился по Волге, в Астрахань, оттуда в Персию и далее на Восток, в Индию, на Цейлон и в Батавию. После четырехлетнего путешествия по этим странам он, проехав назад через Астрахань, вновь увидел Москву. И через два года, по возвращении в Амстердам, издал описание своего путешествия, украсив его множеством сделанных им самим по дороге рисунков.

Едва ли можно сомневаться в том, что Пушкин вспоминал яркое описание де Бруина, отмечая, например, в «Истории Петра» «свадьбу шута царского Шанского» (105). Картины Москвы в самом начале нового, XVIII столетия, сохраненные в книге де Бруина, вероятно, запомнились Пушкину еще при чтении больших отрывков из записок де Бруина, напечатанных в 1829 году в «Отечественных записках». Здесь мы находим и страницы, посвященные описанию свадьбы царского шута.

Но Пушкин этим неполным переводом не удовольствовался и приобрел для своей библиотеки пятитомное французское

[1] Библиотека Пушкина, № 677. Мы не приводим здесь, как и в дальнейшем, полных, зачастую весьма пространных названий книг русских и иностранных, сохранившихся в библиотеке поэта. Читатель найдет эти полные названия в библиографическом описании библиотеки Пушкина, составленном Б. Л. Модзалевским («Пушкин и его современники», вып. IX—X). Номера же, под которыми значатся в библиотеке поэта книги, о которых мы говорим, нами повсюду указаны.

издание «Путешествия» де Бруина, третий и пятый тома которого посвящены России. В каждом из этих томов много иллюстраций и карт.

В составленном для Вольтера в России хронологическом перечне важнейших событий петровского царствования, переписанном рукой Пушкина, ссылки на де Бруина встречаются не раз. Но де Бруин, конечно, понадобился Пушкину, в отличие от составителя этого хронологического перечня, не только для того, чтобы датировать постройку монетного двора или открытие в Москве первой аптеки. Колорит петровской Москвы, ярко переданный в «Путешествии» де Бруина, должен был привлечь внимание Пушкина, который имел в виду создание в дальнейшем не только подготовительного чернового, но и окончательного текста своей «учено-художественной» «Истории Петра».

Корб, писавший в своем дневнике о стрелецких казнях, был секретарем австрийского посольства в Москве. Де Бруин писал как путешественник и художник. Возвратившись из русского плена, шведский офицер Табберт, получивший от шведского короля дворянство и фамилию Страленберг, издал в Стокгольме в 1730 году на немецком языке книгу «Северо-восточная часть Европы и Азии», где писал о России петровского времени.

Полемикой со Страленбергом открывает свои «Деяния Петра Великого» Голиков. Пушкин законспектировал в подготовительном тексте «Истории Петра» это полемическое введение Голикова, отметив: «Страленберг говорит о двух сторонах, существующих в России, за и против Петра I». Вслед за тем Пушкин записал по пунктам сущность этих разногласий (9—10). Не довольствуясь этим, он приобрел книгу Страленберга для своей библиотеки, где она и сохранилась до нашего времени[1].

Ключом при оценке отношения Пушкина к показаниям иностранцев, писавших по личным впечатлениям о петровской России, является мысль, высказанная им в предисловии к «Запискам бригадира Моро де Бразе», отрывок из которых, касающийся Прутского похода 1711 года, Пушкин перевел, признавая его «важным историческим документом».

Говоря о том, что «в пристрастных и вместе искренних сказаниях современника и свидетеля» можно часто найти «множество любопытных подробностей», Пушкин заметил: «Моро не любит русских и недоволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него поневоле»[2]. Критическое отношение к источникам и необыкновенная проницательность

[1] Библиотека Пушкина, № 1413.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 399—400.

позволяют Пушкину использовать для выяснения истины свидетельства пристрастные (и даже враждебные).

О том, как «исправляет» Пушкин свидетельства, содержащиеся в записках Моро де Бразе, необходимо будет сказать в дальнейшем подробнее в связи с тем, что Пушкин побывал в местах, где совершались военные события, описанные Моро.

Книга Моро была издана в 1716 году на французском языке — «в Веритополисе, у Жана Дизанвре» (то есть «в Истинно-граде, у Ивана Правдивого»). Имя автора также было скрыто под инициалами, и на титульном листе указано лишь, что он был «полковником Казанского драгунского полка и бригадиром войск его царского величества».

Автор записок был впоследствии установлен, очевидно было и то, что он являлся участником Прутского похода. Подвергалось все же сомнению: не присваивал ли Моро себе слишком высокий чин?[1] Но предположение это отпадает теперь, когда найден подлинный «пас» с государственной печатью красного воска, заготовленный для бригадира Бразе в августе 1711 года и подписанный Петром I собственноручно[2].

Из числа других сохранившихся в библиотеке Пушкина записок иностранцев, писавших о Петре, необходимо назвать книгу Вебера «Преобразованная Россия». Следует упомянуть еще «Записки» графа Дона, изданные на французском языке в Берлине в 1833 году, так как Пушкин использовал их в своей «Истории», описывая под 1709 годом свидание царя с прусским королем после Полтавской победы, а из иностранных сочинений позднейшего времени, на которые Пушкин ссылается в «Истории Петра», — книги Дюкло и Лемонте, где содержатся сведения о пребывании Петра в Париже[3].

Историю Карла XII, написанную Нордбергом, капелланом короля, состоявшим при шведском войске, и книгу Мотрея (де ла Мотрэ), находившегося в Бендерах во время Прутской кампании[4], Пушкин знал еще с того времени, когда в 1824 году побывал в Бендерах вместе с Липранди, который пишет об этом в своих воспоминаниях.

Материалы для изучения Северной войны содержатся в общих источниках по истории петровского времени, собранных Пушкиным в его библиотеке. Следует добавить, что

---

[1] Предположение это повторено было в первых изданиях настоящей книги, поскольку Р. Минцлов, разыскивавший в свое время имя Моро де Бразе в списках старших офицеров петровской армии, его там не обнаружил. См.: Р. Минцлов. Петр Великий в иностранной литературе. СПб., 1872, с. 132.

[2] Документ этот опубликован в издании «Письма и бумаги императора Петра Великого», т. XI, вып. 2, под ред. Б. Кафенгауза, А. Андреева и Л. Никифорова (М., 1964, с. 64).

[3] См.: Библиотека Пушкина, № 1476, 887, 888, 1088. Три последние книги указаны в комментариях к «Истории Петра». См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 513.

[4] «Voyages du Sr. de La Motraye...», Za Haye, 1727, v. 2.

Пушкин знал бесспорно «Рассуждение» Шафирова о причинах Северной войны (хотя книга Шафирова в библиотеке Пушкина не сохранилась). Книга его представляет собой блестящее публицистическое произведение, в котором доказывается законность и неизбежность этой многолетней войны. В «заключении к читателю» (входящем в состав «Рассуждения»), которое было написано самим Петром, проводится мысль о необходимости продолжать войну до тех пор, пока Россия не утвердит за собой побережье Балтийского моря[1].

Сохранился в библиотеке Пушкина и «Журнал Гизена» (то есть Гюйссена), занимающий тома III и VIII в десятитомнике Туманского. Трудно представить себе, что Пушкин не обратил на этот «Журнал» внимания, в особенности если мы вспомним, что в своей «Истории Петра», упоминая о том, что Гизен состоял при царевиче Алексее, Пушкин счел нужным отметить: «Сей Гизен написал Историю Петра 1-го, но не кончил оной» (15). «Журнал» этот доведен до 1710 года, и в нем содержится много подробностей из истории Северной войны, в том числе и подробности, не вошедшие в «Журнал Петра Великого».

Сохранилось, наконец, в библиотеке Пушкина издание мирного договора, заключенного в 1721 году в Нейштадте и окончившего Северную войну[2].

Мы не ставим здесь задачей дать исчерпывающий перечень печатных источников по истории петровского времени, собранных Пушкиным в своей библиотеке. Материалы, с которыми Пушкин ознакомился, изучая историю царевича Алексея, мы рассмотрим в главе, говорящей о работе Пушкина над делом царевича. А сейчас перейдем от печатных источников, касающихся отдельных событий и периодов Петровской эпохи, к сохранившимся в библиотеке поэта историческим сочинениям, посвященным истории петровского царствования.

Из числа ранних исторических сочинений, посвященных Петру, следует назвать прежде всего книгу Феофана Прокоповича «История императора Петра Великого от рождения его до Полтавской баталии и взятия в плен остальных шведских войск при Переволочне включительно...». Книга Феофана, Пушкину хорошо известная, была издана по «обретающемуся в Кабинетской архиве... списку, правленному рукою самого сочинителя»[3].

---

[1] П. Попов, касаясь одного из текстов пушкинской «Истории Петра», относящегося к 1707 г., замечает, что Пушкин «заглянул» в книгу Шафирова (см. «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 472).

[2] Библиотека Пушкина, № 394.

[3] Книга эта была в библиотеке Пушкина (2-е изд. М., 1788), но не сохранилась в ней.

РАЗСУЖДЕНІЕ

КАКІЕ ЗАКОННЫЕ ПРІЧІНЫ

ЕГО ВЕЛІЧЕСТВО

ПЕТРЪ ВЕЛІКІИ

ІМПЕРАТОРЪ и САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІИСКІИ,

И протчая, и протчая, и протчая; Къ начатію воины протівъ Короля Карола 12, Шведского 1700 году имѣлъ: и кто изъ сіхъ обоіхъ потентантовъ, во время сеи пребывающея воины, болѣе умѣренности и склонности къ прімиренію показывалъ, и кто въ продолженіи онои, съ толь велікимъ разлітіемъ крови Хрістіянской, и разореніемъ многіхъ земель віновенъ; и съ которои воюющеи

страны

П. П. Шафиров. «Рассуждение, какие законные причины... Петр Великий... к начатию войны против короля Карола 12, Шведского 1700 году имел...» СПб., 1722 г. (3-е изд.).

Титульный лист.

В «Истории» Феофана широко использована «Книга Марсова» — богато иллюстрированное собрание реляций о действиях русских войск против шведов, ближайшее участие в подготовке которой принимал сам Петр.

В подготовительном тексте своей «Истории Петра» Пушкин упоминает о сочинении Феофана неоднократно. Он отмечает также, что Феофана Петр «узнал» в Киеве, приехав туда после Полтавской победы. «Речь его, — пишет Пушкин, — понравилась Петру, и он принял его в свою особую милость» (223).

Из сочинений, вышедших в странах Западной Европы вскоре после смерти Петра Великого, в библиотеке Пушкина сохранилась книга Антонио Катифоро «Житие Петра Великого», где были использованы изданные к тому времени записки Вебера и Перри, иностранцев, близко наблюдавших деятельность Петра, а также страницы, посвященные Петру Вольтером в «Истории Карла XII»[1].

«История России в царствование Петра Великого», написанная Вольтером, так же как и его «История Карла XII», входит в состав 42-томного собрания сочинений Вольтера, сохранившегося в библиотеке Пушкина[2]. Ряд страниц в этих книгах Вольтера разрезан Пушкиным, в ряде мест им положены закладки. И так как одна из последних представляет собой обрывок письма, поддающегося датировке (1834—1836 годы)[3], то не вызывает сомнения, что Пушкин перечитывал эти книги Вольтера в период своей работы над созданием «Истории Петра».

Задачей написанной Вольтером, при поддержке петербургского правительства, книги, посвященной петровскому царствованию, было рассеять неправильные представления о Петре, распространенные в тогдашней европейской литературе, — и в этом отношении книга его сыграла несомненно положительную роль. Однако книга эта, написанная историком, который смотрел на Россию сочувственно, но со стороны, без внимательного, глубокого проникновения в ее историческую жизнь, не могла удовлетворить передовых

[1] «Жизнь Петра Великого» Антонио Катифоро вышла впервые в Венеции в 1736 г. В библиотеке Пушкина сохранилось (под № 712) 3-е итальянское издание ее, вышедшее в Венеции в 1748 г., и русский перевод, изданный в Петербурге в 1772 г., выполненный С. Писаревым (Библиотека Пушкина, № 145). Перевод этот сделан был мастерски, но «сбивался на компиляцию... переводчик дополнял авторский текст». — См.: С. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. I. Л., Изд. Ленингр. ун-та, 1961, с. 203.

[2] Библиотека Пушкина, № 1491. Издание это выходило в Париже в 1817—1820 гг.

[3] Закладки зарегистрированы Б. Л. Модзалевским (датировавшим письмо Сергея Львовича Пушкина, обрывок которого поэт использовал для одной из своих закладок). См.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина. Библиогр. описание. — В кн.: Пушкин и его современники. СПб., 1910, вып. IX—X, с. 362.



«Житие Петра Великого».
Фронтиспис и титульный лист русского издания книги Антонио Катифоро в переводе С. Писарева. СПб., 1772 г., сохранившейся в библиотеке Пушкина.

русских читателей: внешний интерес и занимательность исторического повествования были достигнуты Вольтером в книге о Петре за счет пренебрежения исторической конкретностью, а иногда и достоверностью рассказа. Недостатки ее с сердцем критиковал Ломоносов — не только как ученый, но и как русский писатель-патриот. Отрицательную оценку дали ей впоследствии Денис Давыдов и Вяземский. Источником исторических сведений книга Вольтера о Петре в целом для Пушкина служить не могла.

Чрезвычайно заинтересовали его, однако, исторические материалы, частью посланные Вольтеру из России, частью собранные самим Вольтером за границей, так как Вольтер использовал в своей книге эти ценные рукописные материалы далеко не полностью. Пушкин внимательно прочел письма Вольтера к Шувалову, пересылавшему Вольтеру исторические материалы, и многие из этих писем отметил закладками[1]. Заинтересовавшись судьбой собранных Вольтером

[1] Переписка Вольтера с Шуваловым напечатана в т. XXXIII и XXXIV принадлежавшего Пушкину собр. соч. Вольтера. Закладки зарегистрированы Б. Л. Модзалевским в его библиогр. описании библиотеки поэта.

рукописей, Пушкин решил обратиться к этим ценным источникам, использовать которые Вольтер по различным причинам не пожелал или не смог.

Пушкин отметил своими закладками письма Вольтера, касающиеся процесса и смерти царевича Алексея. Но не мог, разумеется, довольствоваться высказываемой Вольтером радостью по поводу того, как удачно удалось пройти ему в своей «Истории» «по этим горячим угольям». Чтобы узнать правду о деле царевича, Пушкин счел необходимым обратиться к недоступному Вольтеру подлинному архивному делу царевича Алексея.

Для выяснения истории воцарения Екатерины, то есть смутных обстоятельств, связанных со смертью Петра, Пушкин счел нужным обратиться к бумагам Вольтера. И, как увидим, не ошибся в своих расчетах.

Сохранилась в библиотеке Пушкина «Венецианская история» Петра, на титульном листе которой значится: «*Житие и славные дела государя императора Петра Великого*... Ныне первее на славенском языке списана и издана. Часть вторая. В Венеции. В типографии Димитрия Феодозия. 1772»[1].

В книге этой, на которую часто ссылается Голиков и автором которой принято было считать издателя ее Димитрия Феодози, указано, что сочинитель ее пользовался русскими источниками и материалами, полученными им из России от историка Миллера. Упоминая в своем предисловии о писателях иностранных, автор книги подчеркивает «осторожность», с какой он пользовался их сочинениями: он «их всех справливал с российскими писателями».

Говоря в связи с этим, что «Житие» Петра, изданное Феодози, не следует считать сочинением «безусловно иностранного происхождения», Е. Шмурло, как и некоторые другие историки, относил его, однако, к числу переводных, называя «писанным не по-русски»[2].

Между тем история Петра, изданная Феодози, не только основана в значительной мере на русских материалах, — она написана, как и указано на титульном листе ее, «на славенском языке». «Житие» Петра Великого не представляет по своему языку сколько-нибудь существенных отличий от того славяно-русского языка, на котором писались и издавались в то время многие русские книги[3].

Дело в том, что Феодози был только издателем этой кни-

---

[1] Библиотека Пушкина, № 146.

[2] Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, с. III и 103—104.

[3] В посвящении автор называет язык, на котором он написал свою книгу, «иллирическим диалектом» в связи с тем, что он вводит в славяно-русский язык некоторые сербские слова и обороты.

ЖИТІЕ
И СЛАВНЫЯ ДѢЛА
ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА
ПЕТРА ВЕЛИКАГО
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО

съ предложеніемъ краткой Географической
и политической Исторіи

О РОССІЙСКОМЪ ЦАРСТВѢ,

Нынѣ первѣе на Славенскомъ языкѣ списана
и издана

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ВЪ ВЕНЕЦІИ
Въ Типографіи Димитрія Ѳеодосія.
1772.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

«Житие и славные дела государя императора Петра Великого».
Часть вторая. В Венеции. В типографии Димитрия Феодозия. 1772 г.
Автором ее является сербский писатель Захария Орфелин.
Титульный лист. Книга сохранилась в библиотеке Пушкина.

ги о Петре. Автором же является сербский писатель Захария Орфелин[1].

Почти все экземпляры «Венецианской истории» Петра вышли в свет без имени автора: австрийское правительство недружелюбно смотрело на книги сербских писателей, отражавшие тяготение их к России и связь с русской культурой. Д. Руварацу удалось, однако, найти экземпляр «Венецианской истории» Петра с титульным листом, на котором прямо указано, что книгу эту «сочинил Захария Орфелин». Посвящение в найденном экземпляре также подписано не издателем Феодози, а автором ее — Захарием Орфелином. Такой же именно редчайший экземпляр с гравюрами работы Захарии Орфелина хранится ныне в Москве в Государственной Публичной исторической библиотеке.

Не лишним будет заметить, что Голиков, часто ссылаясь в «Деяниях Петра Великого» на «Венецианскую историю» Петра, нигде не называет Феодози автором ее, а всюду пишет «Сочинитель в Венеции изданной Истории Петра Великого» и т. п.[2]. Мы остановились на вопросе о происхождении этой книги в связи с тем, что Пушкин почерпнул в ней, по-видимому, некоторые сведения, в том числе сведения о жестоком наказании («бичевании»), которому была подвергнута первая жена Петра, царица Евдокия.

В 1782 году во Франции начала печататься пятитомная «История России» Левека, а в 1783 году — «История естественная, нравственная, гражданская и политическая Древней и Новой России» Леклерка, в состав которой входит история царствования Петра I.

Что касается книги Левека, то в библиотеке Пушкина сохранилось только изданное тем же автором в 1783 году «Продолжение» ее под названием «История различных народов, обитающих под властью России, или Продолжение Истории России»[3]. Помимо этого «Продолжения» была у Пушкина несомненно и самая «История России», написанная Левеком и пользовавшаяся большой известностью (которую Пушкин знал, вне сомнения, вероятно, еще с лицейской скамьи).

«История» Левека дала повод Денису Давыдову пылко высказаться в защиту Петра в статье «О России в военном отношении», написанной в 1831 году. Он сочувственно противопоставляет в ней Левеку труд «нашего Голикова», «который, невзирая на тяжелый слог свой, невольно приковывает внимание читателя к тучным десяти томам...»[4].

---

[1] Димитриjе Руварац. «Ко je писац књге: «Житiе и славныя дѣла государя императора Петра Великого...»?» — «Гласник српскога ученог друштва». Белград. 1891, кн. 72, с. 193—200.

[2] См., напр., Деяния Петра Великого, т. I, М., 1788, с. 159; т. V, с. 379.

[3] Библиотека Пушкина, № 1098.

[4] Денис Давыдов. Военные записки, ред. Вл. Орлова. М., 1940, с. 414—415.

Сочинение Леклерка в библиотеке Пушкина сохранилось[1], но ни один из шести томов его не разрезан. Зато мы находим в библиотеке поэта под № 48 книгу Болтина «Примечания на Историю Древния и Нынешния России г. Леклерка...», изданную в 1788 году.

Болтин не только отвергает ряд общих утверждений Леклерка, указывая на неблагоприятную для России тенденцию, ясно выраженную в его сочинении. Труд Болтина являлся вкладом в русскую историческую науку, так как автор вводит в состав своих «Примечаний на Историю Леклерка» результаты собственных исторических изучений, представляющих самостоятельный интерес.

В первом томе своей книги, сохранившемся в библиотеке Пушкина, Болтин отводит много места начальному периоду жизни и царствования Петра, причинам и событиям Северной войны, а также делу царевича Алексея (с. 481—609).

Во втором томе, в библиотеке Пушкина не сохранившемся, Болтин оправдывает (на с. 393—394) закон Петра о престолонаследии, резко осуждаемый Пушкиным, который в «Истории Петра» под 1722 годом замечает: «5 февраля Петр издал манифест и указ о праве наследства (устанавливающий, что царствующий император вправе сам назначить себе преемника. — *И. Ф.*), то есть уничтожил всякую законность в порядке наследства и отдал престол на произволение самодержца» (415). По всей вероятности, в библиотеке Пушкина был и этот второй том книги Болтина, теперь в ней отсутствующий.

Шеститомная «История Петра Великого» Бергмана, переведенная с немецкого Е. Аладьиным, сохранилась в библиотеке поэта в издании 1833—1834 годов[2].

В предисловии к своей «Истории» Бергман указывает, что он «заимствовал большую часть известий из книги Голикова» (т. I, с. II). Поэтому сочинение Бергмана в целом не могло иметь большого значения для работы Пушкина, которому голиковские «Деяния Петра Великого» были как нельзя лучше известны. В одном месте своей «Истории Петра» Пушкин упоминает о Бергмане, выясняя дату задуманного Соковниным, Федором Пушкиным и Цыклером в 1697 году покушения на жизнь Петра[3].

Но, поскольку обширное сочинение Бергмана основано было все же не только на «Деяниях» Голикова, Пушкин разрезал в нем страницы, посвященные казни стрельцов, измене Мазепы, Прутскому походу Петра, делу царевича Алексея, биографии Меншикова и биографическому сообщению об Абраме Петровиче Ганнибале. Если не говорить о послед-

[1] Библиотека Пушкина, № 1081, 1082.
[2] Библиотека Пушкина, № 25.
[3] См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 375.

ней заметке, представлявшей для Пушкина личный интерес, можно заметить, что разрезал он в обширном сочинении Бергмана только те разделы, где рассчитывал найти сведения, у Голикова отсутствующие и привнесенные Бергманом из других источников.

Разделы, которые привлекли к себе внимание Пушкина, посвящены, как нетрудно видеть, замалчиваемым тогдашней официозной историографией сторонам и событиям царствования Петра. При описании стрелецких казней Бергман использует, например, дневник Корба[1] и приводит, кроме того, из него большие латинские цитаты. Бергман мог натолкнуть Пушкина и на записки Моро де Бразе, которые он также цитирует, указывая, что записки Моро представляют для историка Прутской кампании большой интерес[2]. Из числа зарубежных книг, охватывающих историю царствования Петра и вышедших в первой трети XIX столетия, в библиотеке Пушкина мы находим двухтомное сочинение графа Сегюра, изданное в 1829 году в Брюсселе[3].

Сохранившаяся в библиотеке Пушкина книга «Материалы о жизни Петра Великого», напечатанная в Лондоне в 1832 году, представляет собой один из выпусков «Семейной библиотеки»[4]. Но, несмотря на то что она не претендует, таким образом, на внимание исследователей, книга эта могла заинтересовать Пушкина, так как в ней цитируется касающееся процесса и смерти царевича Алексея «Путешествие» Кокса и некоторые другие сочинения, в то время в России запрещенные.

Весьма важным источником для изучения военной истории петровского царствования являлась для Пушкина сохранившаяся в его библиотеке «Военная история походов россиян в XVIII столетии» Д. Бутурлина[5]. В библиотеке поэта сохранились четыре тома ее. Из них первый и второй содержат в себе «Полное описание походов императора Петра Великого против шведов и турок, предшествуемое введением, представляющим картину постепенного возрастания могущества России». Третий том представляет собой «Дополнения к первым двум томам», а четвертый содержит «Планы и карты к военной истории походов россиян в XVIII столетии».

Тридцатого ноября 1833 года Пушкин сделал в своем дневнике запись о встрече с Бутурлиным, в которой, между прочим, указывает: «Мы смотрели карту постепенного рас-

---

[1] См. указ. соч. Бергмана, т. I, с. 302.

[2] Там же, т. III, с. 153—155.

[3] Библиотека Пушкина, № 1381.

[4] Библиотека Пушкина, № 1150. Автором этой книги, имя которого в данном издании ее не было указано, является Барроу.

[5] Библиотека Пушкина, № 55, 56 и 57.

пространения России, составленную Бутурлиным»[1]. В примечаниях к запискам Моро де Бразе, говоря о Прутском походе, Пушкин обнаруживает прекрасное знание «Истории русских походов» Бутурлина[2].

Бутурлин написал свой труд по-французски, так что его пришлось переводить на русский язык, и автору дано было, отмечаемое Пушкиным в дневнике, прозвище — «Жомини». Но ценность труда, о котором мы говорим, связана в значительной мере с тем, что ближайшее участие в подготовке его принимал Корнилович. Бутурлин, не отличавшийся трудолюбием, поручил ему делать выписки из архивных источников, хранившихся в Петербургском и Московском архивах Иностранной коллегии[3]. Роль Корниловича в подготовке «Военной истории» Бутурлина несомненно значительна, несмотря на то что будущий декабрист был тогда еще совсем молодым человеком.

В своей «Истории Петра» Пушкин ссылается под 1722 годом на книгу Д. Н. Бантыша-Каменского «История Малой России»; в библиотеке поэта сохранилась третья часть ее (изд. 2-е, 1830), из которой Пушкин считал нужным почерпнуть сведения об уничтожении гетманства Петром I и об учреждении Малороссийской коллегии[4].

В числе книг, посвященных царствованию Петра, в библиотеке Пушкина сохранилась изданная в 1808 году в Петербурге «*Жизнь,* анекдоты, военные и политические деяния российского генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича *Шереметева,* любимца Петра Великого и храброго полководца...». А из подробных жизнеописаний других ближайших сподвижников Петра мы находим в библиотеке поэта «*Историю о князе Якове Федоровиче Долгорукове...*», составленную Евдокимом Тыртовым, и, наконец, упоминавшееся уже нами ранее в связи с записками Патрика Гордона и изданное Голиковым в 1800 году вместе с жизнеописанием последнего «Историческое изображение жизни и всех славных дел... Франца Яковлевича *Лефорта...*». Сюда же следует отнести книгу Берха «Жизнеописания первых российских адмиралов...», в которой использованы материалы, собранные умершим в 1780 году адмиралом Нагаевым[5].

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 29.

[2] Там же, с. 443. О Турецком (Прутском) походе 1711 г. см. т. II (ч. первой), с. 452—508 книги Бутурлина.

[3] Сведения об этом приводятся в работе А. Грум-Гржимайло «Декабрист А. О. Корнилович» (сб. Декабристы и их время, т. II. М., 1932, с. 326—327).

[4] Библиотека Пушкина, № 15.

[5] Библиотека Пушкина, № 142, 393, 99, 29.

В статье Г. Г. Ариель-Залесской «К изучению истории Библиотеки Пушкина» дополнительно указано несколько сохранившихся в ней изданий, относящихся к Петровской эпохе (сб. Пушкин. Исследования и материалы, т. II. М.—Л., 1958, с. 336—369).

Рассмотрение пушкинской библиотеки показывает, что Пушкин собрал в ней — с большим знанием предмета — целую коллекцию источников и сочинений о Петре и его эпохе. Каким же образом могло возникнуть мнение, будто Пушкин сам считал себя плохо ориентированным в литературе о Петре? (Добавим, что мнение это не вызывало возражений.) Возникновению этого ошибочного мнения (которое повело к тому, что библиотека поэта оставалась недостаточно обследованной) способствовало недоразумение, основанное на превратном понимании письма, посланного Пушкиным Корфу.

В конце 1836 года Пушкин разговаривал об «Истории Петра» с этим своим лицейским товарищем, который по выходе из лицея задался мыслью составить «каталог иностранных книг, содержащих в себе сведения о России», и «постоянно делал библиографические заметки на особых листках о подобных сочинениях, им прочитанных или его интересовавших»[1]. «Последний наш разговор о великом твоем труде, — писал Пушкину Корф 13 октября 1836 года, — припомнил мне эту работу. Из разрозненных ее остатков я собрал все то, что было у меня в виду о Петре Великом, и посылаю тебе, любезный Александр Сергеевич, ce que j'ai glane sur ce champ (то, что я подобрал на этой ниве. — *И. Ф.*)...

...Это одна голая, сухая библиография, и легче было выписывать заглавия, чем находить самые книги, которых я и десятой части сам не видал, — признавался Корф. — В этой выборке нет ни системы, ни даже хронологического порядка: я выписывал заглавия книг так, как находил их в своих заметках...»[2].

Перечень иностранных сочинений, относящихся к эпохе Петра, присланный Корфом Пушкину, напечатан в академическом издании «Истории Петра»[3], но рассмотрен по существу не был, и потому действительное значение книг, перечисленных Корфом, не было выяснено. Пушкин на другой же день, 14 октября 1836 года, отвечал Корфу:

«Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником. Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка. Не надеюсь тебя заменить. Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитованных книг мне неизвестна. Употреблю всевозможные старания, дабы их достать...»[4]

---

[1] А. Бычков. Граф М. А. Корф. — «Древняя и Новая Россия», 1876, № 4, с. 337.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 165.

[3] Там же, т. X, с. 466—478.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 594—595.



ПИСЬМА
ПЕТРА ВЕЛИКАГО
ПИСАННЫЯ
КЪ
ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛУ, ТАЙНОМУ
СОВѢТНИКУ,
МАЛТІЙСКОМУ, С. АПОСТОЛА АНДРЕЯ,
БѢЛАГО ОРЛА, И ПРУССКАГО ОРДЕНА
КАВАЛЕРУ,
ГРАФУ БОРИСУ ПЕТРОВИЧЮ
ШЕРЕМЕТЕВУ,
ПО БОЛЬШОЙ ЧАСТИ СОБСТВЕННОЮ ГОСУДАРЕВОЮ РУКОЮ, А ИНЫЯ
СЪ ПОДЛИННИКОВЪ ХРАНЯЩИХСЯ ВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ
КАБИНЕТСКОЙ АРХИВѢ СПИСАННЫЯ, СКОЛЬКО
ОНЫХЪ НАШЛОСЬ
У ЕГО СІЯТЕЛЬСТВА
ГОСПОДИНА ОБЕРЪ-КАМЕРГЕРА, ГЕНЕРАЛЪ-АНШЕФА, СЕНАТОРА,
ОРДЕНОВЪ С. АПОСТОЛА АНДРЕЯ, С. АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО,
БѢЛАГО ОРЛА, И С. АННЫ
КАВАЛЕРА,
ГРАФА ПЕТРА БОРИСОВИЧА
ШЕРЕМЕТЕВА,
КОТОРАГО
ЖЕЛАНІЕМЪ И СТАРАНІЕМЪ
ОНЫЯ
НЫНѢ НА СВѢТЪ ИЗДАНЫ, И СЪ ПРЕДИСЛОВІЕМЪ
О ПРОИСХОЖДЕНІИ И О СЛУЖБАХЪ ПРЕДКОВЪ ШЕРЕМЕТЕВЫХЪ,
ОСОБЛИВО ЖЕ О СЛАВНЫХЪ ДѢЛАХЪ ФЕЛЬДМАРШАЛА
ГРАФА БОРИСА ПЕТРОВИЧА И О ПОТОМКАХЪ ЕГО.

НАПЕЧАТАНЫ ВЪ МОСКВѢ
При Императорскомъ Университетѣ 1774.

«Письма Петра Великого Б. П. Шереметеву». Москва, 1774 г.
Титульный лист.



Б. П. Шереметев.
Гравюра П. Антипьева с портрета И. Аргунова.

Из этих слов Пушкина комментаторы «Истории Петра» и сделали вывод, что Пушкин «до конца своей жизни... считал себя плохо ориентированным в литературе эпохи Петра I»[1]. Между тем, как показывает изучение работы Пушкина над «Историей Петра» и ознакомление с библиотекой Пушкина, все существенное из числа книг, перечисленных Корфом, было Пушкину известно; Корф был библиофилом, не входившим в оценку содержания книг, названия которых он выписывал, большей частью не читая их, и которых, по собственным его словам, он даже «и десятой части сам не видал»; в особенности ценил он книжные редкости, вне зависимости от того действительного интереса, какой они могли представлять для историка Петровской эпохи.

«Громкие деяния Петра, как при жизни, так и по смерти его, — верно заметил в свое время Устрялов, — вызвали, в особенности за границею, целую толпу компиляторов, которые, не зная ни России, ни русского языка, не имея доступа к главным историческим материалам, частию из немногих обнародованных документов, частию из скудных известий двух или трех очевидцев, еще более из газетных объявлений, один за другим составляли жалкие сочинения о Петре, дополняя недостаток исторических известий более или менее неудачными предположениями, даже явными выдумками»[2].

Слова Пушкина в письме к Корфу о том, что большая часть «цитованных» Корфом книг поэту неизвестна, относятся к подобного рода иностранным сочинениям о Петре, без разбора включенным Корфом в библиографический список, который он послал Пушкину и в котором нет, по собственным словам Корфа, «ни системы, ни даже хронологического порядка», ибо Корф только «выписывал заглавия книг так, как находил их в своих заметках». Поэтому утверждать, основываясь только на ответе Пушкина Корфу, будто Пушкин считал себя плохо ориентированным в исторической литературе, относящейся к эпохе Петра, у нас так же мало оснований, как и принимать всерьез обращение Пушкина к Корфу: «Право, жалею, что государственная служба отняла у нас историка» («Не надеюсь тебя заменить», — добавляет, не довольствуясь еще этой фразой, Пушкин).

Между тем ответ Пушкина ввел в заблуждение его комментаторов: печатая в академическом издании список, включающий книги о Петре, которых сам Корф не видел,

[1] П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 476.

[2] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, с. XLVII—XLVIII.

а Пушкин не читал, они не сочли нужным выяснить, какие же книги о Петре Пушкин знал и собрал в своей библиотеке.

Мы приводили уже свидетельства близко стоявших к работе Пушкина знатоков русских исторических источников: М. П. Погодина, который отметил, что Пушкин «с усердием перечитал... все сочинения... писанные» о Петре Великом, и А. И. Тургенева, оценивавшего «начитанность» Пушкина о России, «особенно о Петре», чрезвычайно высоко. Изучение библиотеки Пушкина подтверждает, как видим, обоснованность этих свидетельств.

«ДЕЯНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Созданный на протяжении 1835 года подготовительный текст «Истории Петра» Пушкин писал, несомненно «имея перед глазами» голиковские «Деяния Петра Великого». Но, как ни странно, редакторы пушкинского труда не считали нужным установить с достаточной точностью: 1) что же, собственно, представляют собой составленные Голиковым «Деяния Петра Великого», 2) когда Пушкин впервые ознакомился с ними и 3) каким образом и для чего воспользовался он ими в 1835 году?

Сожалея о том, что преждевременная смерть Пушкина надолго лишила Россию надежды иметь учено-художественную историю Петра, Белинский заметил, что «из прежних попыток сделать что-нибудь для истории Петра Великого достоин величайшего уважения только бескорыстный и простодушный труд Голикова».

«Прекрасное, отрадное явление в русской жизни этот Голиков! — писал Белинский. — Полуграмотный курский купец, выучившийся на железные гроши читать и писать, чувствует сильную потребность во что бы то ни стало узнать историю Петра Великого. Недостаток в средствах лишает его возможности собирать материалы; однако он делает для этого всевозможные пожертвования, урывками от коммерческих занятий и житейских забот читает он все, что попадется ему под руку о Петре, делает выписки и таким образом полагает начало своему труду, огромности которого и сам не предчувствует».

Белинский рассказывает читателю о том, как Голиков оказался в тюрьме, а потом был освобожден «вследствие милостивого манифеста по случаю открытия в Петербурге монумента Петру Великому», как, упав перед ним на колени, он дал обет составить Историю Петра. «*Тридцать томов* остались памятником его благородного рвения, и в безыскусственном, беспорядочном его рассказе нередко заметно одушевление, достойное предмета, его возбудившего», — замечает Белинский, указывая, что труд Голикова недостаточно оценен был в тогдашней России. «Явись Голиков у англичан,

французов, немцев — не было бы конца толкам о нем, не было бы счета его биографиям...»[1]

«Деяния Петра Великого» изданы были сначала в двенадцати томах в 1788—1789 годы Новиковым, а в последующее время (и в те годы, когда университетская типография была у него отобрана, а сам Новиков был посажен по приказу Екатерины в крепость) собранные Голиковым восемнадцать томов «Дополнения к Деяниям Петра Великого» печатались (в 1790—1797 годах) в той же типографии, сданной новым владельцам.

Что же представляет собой тридцатитомный труд Голикова?

«Из предисловия к первому тому «Деяний Петра Великого», — указывает сам Голиков, — публика видела, что я нимало не имею дерзости присвоить себе имя историка или втесниться в пресловутое сословие так называемых авторов, но что только усердный я собиратель материалов, относящихся ко славе нашего отечества, и приводитель оных в хронологический порядок»[2].

В предисловии этом Голиков скромно и правдиво говорит о задачах своего труда, называя его «собранием материалов, могущих послужить со временем к изображению по достоинству важнейшей эпохи в российской истории». К тому же Голиков признавал, что он «не искусен в историческом слоге»[3]. В соответствии со сказанным он и озаглавил свой труд: «Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам».

«Пушкин делал свои записи по *мере чтения Голикова,* а не после изучения книги», — утверждал редактор «Истории Петра» П. Попов[4]. Утверждение это повторяется и в Малом академическом издании сочинений Пушкина[5]. Поэтому у читателя может создаться впечатление, что Пушкин, впервые читая «Деяния Петра Великого» (или по крайней мере впервые серьезно знакомясь с ними) в 1835 году, конспектировал тут же новый для него — и огромный поистине — исторический материал, содержащийся в многотомном труде Голикова. Между тем в действительности Пушкин ознакомился с этим монументальным трудом еще в Михайловском. В своей статье «Прогулка в Тригорское» М. Семевский, побывавший там в 1866 году, сообщал:

---

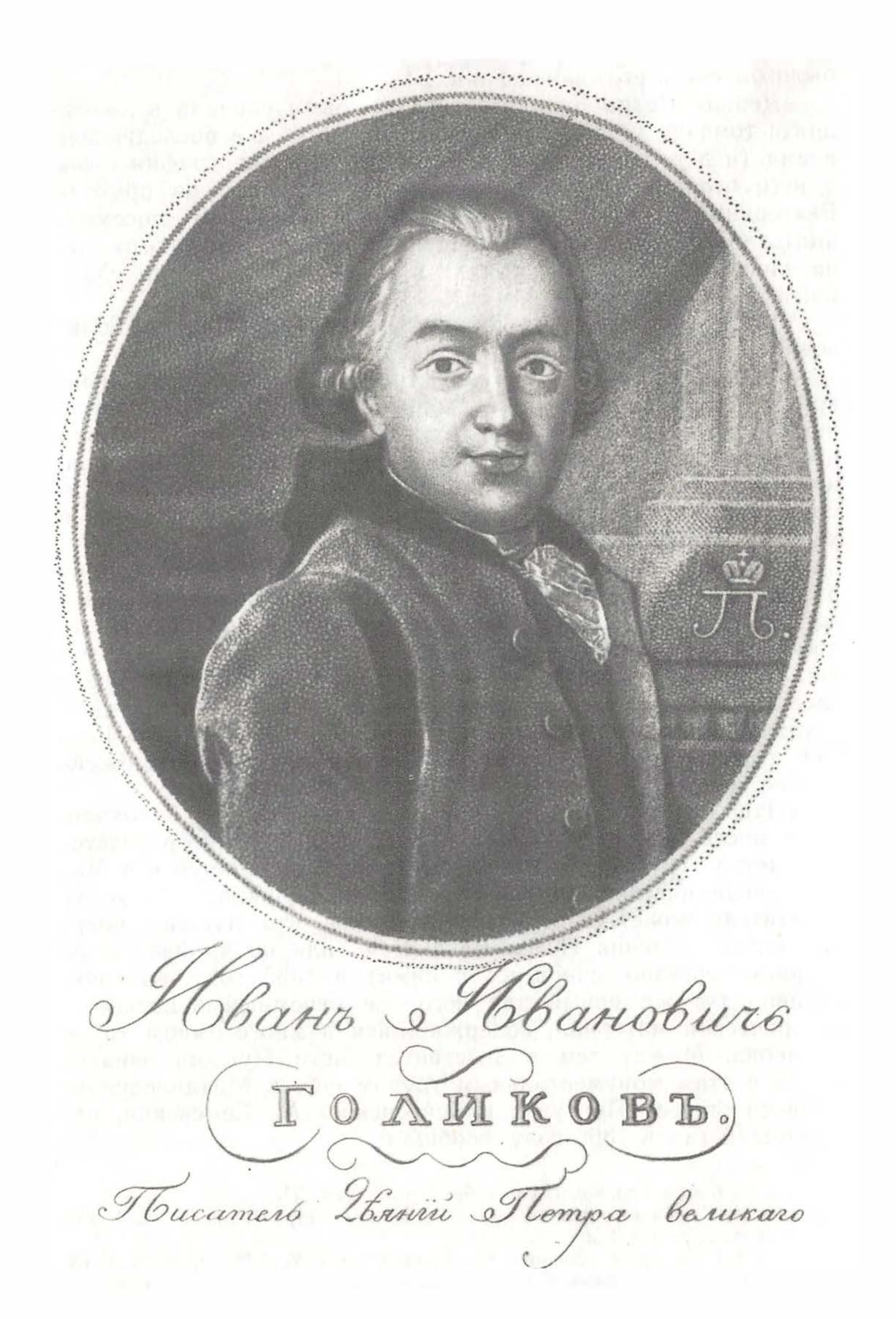
[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. V, с. 94.

[2] И. И. Голиков. Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. I. М., 1790, предисл., л. 3 и 3-об.

[3] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. I. М., 1788, предисл., с. IX.

[4] П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 476 (курсив наш. — *И. Ф.*).

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 51, 512.



Гравюра Розанова.

«...В небольших старинных шкапчиках помещается библиотека Тригорского; новых книг здесь не много, но зато я нашел здесь не мало изданий новиковских, довольно много книг по русской истории... первое издание «Деяний Петра 1-го», творение Голикова, и проч. Между прочим, по этому экземпляру, и именно в этой самой комнате, Пушкин впервые познакомился с жизнью и деяниями монарха, историю которого, как известно, Пушкин взялся было писать в последние годы своей жизни»[1].

13 ноября 1825 года в письме к Александру Бестужеву, посланном из Михайловского, Пушкин упоминает о «голиковской прозе»[2], упоминание это было, по-видимому, отзвуком недавнего чтения «Деяний Петра Великого» (содержанию которых Пушкин придавал такое серьезное значение, иронизируя над голиковским слогом).

Во всем этом нет, разумеется, ничего неожиданного, — удивительно было бы, если б Пушкин, так глубоко интересовавшийся Петром и уже во второй половине 20-х годов задумавший написать его историю, не был к 1835 году достаточно хорошо знаком с голиковскими «Деяниями Петра Великого». Сочинение это в то время «читали в глухой помещичьей деревне, не было оно забыто и представителями высших классов», которые «в каждом из многочисленных своих имений держали по экземпляру голиковских «Деяний»[3].

Печатая отрывки «Арапа Петра Великого», Пушкин ссылался на Голикова[4], в «Полтаве», как отмечено уже было исследователями поэмы, Пушкин также использовал исторический материал, найденный им у Голикова.

Это «первый старательный и обильный свод фактов» и «попытка систематизировать их», — замечает о голиковском труде исследователь посвященной Петру исторической литературы. «Достоинством книги, — поясняет он, — является то, что, с точки зрения построения, было, в сущности, ее недостатком: поверхностная обработка материала, переданного в руки читателя почти в нетронутом виде... Чем дальше, тем изложение все более и более переходит в погодное размещение сырого материала — обстоятельство... несомненно имевшее выгодную сторону: оно обеспечило труду Голикова вплоть до нашего времени значение первоисточника»[5].

---

[1] «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 139, 24 мая.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 191.

[3] Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства. СПб., 1912, с. 94.

[4] См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII, кн. 2, с. 533.

[5] Е. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства, с. 92—93, 94.

Какие же источники собрал и опубликовал Голиков в своем многотомном своде? Он перечисляет их в начале своего труда (с. XI—XII), печатая «Роспись книгам, из которых выбраны предлагаемые здесь Деяния Петра Великого». Голиков имеет в виду прежде всего книги рукописные, а затем печатные.

Охватив в первых девяти томах своего труда в строго хронологическом порядке жизнь и царствование Петра, Голиков напечатал в следующих трех томах около полутора тысяч писем Петра. Среди восемнадцати томов «Дополнения к Деяниям Петра Великого» мы находим два тома (XV—XVI), содержащие «полное описание славной Полтавской победы и предшествовавшей измены Мазепы», а также том, содержащий, как мы уже упоминали, записанные Голиковым «анекдоты» о Петре Великом.

В подготовительном тексте своей «Истории» Пушкин использовал первые девять томов голиковских «Деяний», охватывающих, как сказано, все царствование Петра, но бесспорно знал и следующие за ними три тома писем Петра, как и составленное Голиковым «Дополнение к Деяниям Петра Великого». «Дополнение», посвященное подробному описанию Полтавской победы и измены Мазепы, например, Пушкин читал, работая над «Полтавой»[1].

Собранные Голиковым «анекдоты» о Петре Пушкин, будучи сам знатоком и собирателем такого рода исторических рассказов, не только знал, но и исправлял[2]. «Славный анекдот об указе, разорванном князем Яковом Долгоруким, рассказан у Голикова ошибочно и не вполне», — говорит Пушкин, записывая со слов кн. А. Н. Голицына этот «славный анекдот». Со слов того же Голицына записал Пушкин и другой анекдот о Петре («Некто отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу...»)[3].

«Под названием Анекдотов, — говорит Голиков в предисловии к тому записанных им анекдотов о Петре, — разумеются такие повествования, которые в свет не изданы и которые, следовательно, немногим только известны. Достоверность же таковых преданий, — поясняет он, — зависит от следующего: 1) ежели повествуемое в них взято из подлинных записок или частных журналов тех времен; 2) ежели особы, предавшие их словесно, были или очевидцами повествуемого, или удостоверены о истине того от современников,

---

[1] См.: Н. В. Измайлов. К вопросу об исторических источниках «Полтавы», — «Пушкин. Временник», т. 4—5. М.—Л., 1939, с. 444.

[2] «Хорошо знакомым Пушкину» называет Голикова, касаясь изданных им исторических анекдотов, Л. П. Гроссман в своей работе «Искусство анекдота у Пушкина». (Этюды о Пушкине. М.—Пг., 1923).

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 90—91.

заслуживающих уважение. И таковые Анекдоты по справедливости заслуживают историческую достоверность»[1].

Множество «анекдотов» о Петре (опубликованных ранее Я. Штелином) Голиков поместил в основных томах своих «Деяний». Пушкин часто упоминает об этих анекдотах в подготовительном тексте «Истории Петра», несомненно имея в виду использовать некоторые из них в окончательном тексте ее.

Помимо «неизданных повествований» о Петре, как называет Голиков собранные им «анекдоты», Голиков широко использовал собранные им и им же впервые опубликованные записки и устные рассказы современников Петра. Пушкин отмечает это. «Особы, доставившие важнейшие сведения Голикову, — говорит он, — были И. И. Неплюев, адмиралы А. И. Нагаев, С. И. Мордвинов, И. Л. Талызин, комиссар Крекшин и московские купцы Сериков, Евреинов, Полуярославцев и Ситников и олонецкий купец Барсуков»(11).

«Он спас для будущего историка, — писал о Голикове в своей «Истории царствования Петра Великого» Устрялов, — многие изустные рассказы, которые без него погибли бы невозвратно; также немало и документов, едва ли уцелевших в частных архивах»[2]. Этого рода материалы, собранные Голиковым, представляли для Пушкина, конечно, большой интерес; они сохраняют значение первоисточника и поныне, хотя нуждаются (как и все другие, приводимые Голиковым) в критической оценке.

Что касается огромного числа печатных источников, собранных в своде Голикова, то нет никакого сомнения в том что свод этот существенно облегчал подготовительную работу Пушкина, поскольку в голиковских «Деяниях» собрано было большинство известных тогда в печати источников, освещавших события петровского царствования. Важнейшие из них Пушкин знал не только по своду Голикова — он читал их в том виде, в каком они были изданы, — по-русски и на других языках, — и собрал, как мы видели, в своей библиотеке достаточно широкий круг печатных источников, относящихся к эпохе Петра.

Там, где Пушкин в подготовительном тексте своей «Истории Петра» «близок к Голикову», он близок попросту к источникам, собранным в голиковском своде. Этому ничуть не мешает то, что Голиков время от времени прерывает текст приводимых (или весьма близко пересказываемых) источников своими панегирическими рассуждениями. Пушкин не

[1] Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XVII. М., 1796, предисл., с. 2 («Частными журналами» Голиков называет дневники современников).

[2] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, с. XLVI.

обращает внимания на эти «простодушные», по его словам, рассуждения Голикова.

Когда Пушкин пишет в своей «Истории», что в ответ на угрозы шведов Петр ответил: «*...брат мой Карл хочет быть Александром* — etc.», — это означает, что Пушкин прекрасно помнил ответ Петра, зная о нем вовсе не только из Голикова, но и из ряда других источников. Об ответе этом Пушкин знал, в частности, из книг Вольтера, который приводит этот ответ Петра и в «Истории Карла XII» и в своей «Истории России в царствование Петра Великого», а также из книги Антонио Катифоро «Житие Петра Великого», сохранившейся в библиотеке Пушкина и на итальянском и на русском языках, где можно прочесть о том, как «Великий Петр... выговорил сии слова: «*Изрядно! брат мой Карл хочет всегда так поступать, как Александр, однако я надеюсь, что не найдет он во мне Дария*»[1].

Когда Пушкин при описании взятия Нарвы Петром близко следует, казалось бы, Голикову[2] (создавая в действительности страницы новой военно-исторической прозы), он следует на самом деле вовсе не Голикову, а достаточно хорошо известным ему источникам, использованным Голиковым. Ибо Голиков основывается здесь на хорошо известном Пушкину «Журнале Петра Великого».

К сведениям, взятым из «Журнала» Петра, Голиков добавляет сцену, описание которой заимствовано им из книги Штелина «Любопытные и достопамятные сказания о Петре Великом»: Петр показывает взятому в плен шведскому коменданту Нарвы свою шпагу, обагренную кровью. Но и книга Штелина была хорошо известна Пушкину[3].

Помимо названного Голиковым Штелина Пушкин знал об этой сцене из книги Вольтера[4], который основывался на записках Вебера, рассказывавшего, что при проезде его через Нарву — пятнадцать лет спустя после взятия ее Петром — ему показывали тот самый стол, на который царь бросил свою окровавленную шпагу[5]. Книга Вебера также сохранилась в библиотеке Пушкина; заинтересовался же он ею еще в 1833 году, когда писал А. С. Норову: «Нет ли у тебя сочинения Вебера о России (*Возрастающая Россия* или что-то подобное)?»[6]

Кроме материалов, включенных в «Деяния Петра», Пуш-

---

[1] «Житие Петра Великого...». Перевел Стефан Писарев. СПб., 1772, с. 258.

[2] См.: И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. II, М., 1788, с. 134—141.

[3] Третье издание ее, «вновь исправленное», вышедшее в Москве в 1830 г., сохранилось в библиотеке Пушкина.

[4] Вольтер. История Карла XII. Пер. с франц. в 4-х ч., ч. II, М., тип. Платона Бекетова, 1803, с. 33.

[5] См. «Das Veränderte Russland...», t. 1. Frankfurt und Leipzig, 1744, S. 67.

[6] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 457.

кин нашел у Голикова важные библиографические ссылки, которые должны были его заинтересовать.

Стремление Голикова охватить источники в возможной полноте оказывалось иногда сильнее его апологетической тенденции. Неверным является, кроме того, утверждение, будто Голиков, «не зная иностранных языков... иностранные источники не привлекал почти вовсе»[1]. Как отметил еще Устрялов, Голиков «извлек при пособии наемных переводчиков некоторые сведения из писателей чужеземных»[2].

Находя в голиковских «Деяниях Петра Великого» ссылки на печатные источники, Пушкин не только отмечает их, он обращается к ним и достает книги — русские и иностранные, — не довольствуясь ссылками и цитатами, приводимыми Голиковым. Так, например, изображая Каспийский поход Петра, Пушкин пишет: «Переход был труден. Жар, вихрь и пыль были несносны. Петр весь день был верхом. См. Беля, III—171» (428). Эта ссылка дана Пушкиным по Голикову[3]. Но в библиотеке Пушкина мы находим и французское издание «Путешествия» Белла, вышедшее в трех томах в Париже в 1776 году[4].

Ссылка на Белла в «Деяниях Петра Великого» — ссылка, с цензурной точки зрения, невинная. Но вот Пушкин касается в своей «Истории Петра» процесса первой жены Петра Евдокии и пишет: «Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу» (390). Между тем в соответствующем месте у Голикова сказано только: «Что касается до бывшей царицы (говорит венецианского издания истории монаршей писатель), она отдана была духовному суду, от которого дарована ей жизнь, после отвезена она в Новую Ладогу в монастырь».

Но, ограничиваясь как будто этими сведениями, Голиков ссылается на «венецианское издание» «Истории Петра» не только в приведенных строках, — в сноске к ним[5] он указывает на вторую часть названной им книги, отсылая читателя к той странице ее, где можно найти сведения о наказании, которому была подвергнута бывшая царица.

Эта глухо указанная Голиковым страница гласит: «По учиненном розыске отдана была она духовному суду, от которого хотя и пожалована животом, однако по приговору была бичевана двумя монахинями, а потом отвезена в Новую Ладогу под караул».

---

[1] П. Попов. Пушкин в работе над «Историей Петра I». — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 472.

[2] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, с. 10, 5.

[3] См.: И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VIII. М., 1789, с. 244, примеч.

[4] Библиотека Пушкина, № 591.

[5] См.: И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VI, М., 1788, с. 44—45.

ДѢЯНІЯ

ПЕТРА ВЕЛИКАГО,

МУДРАГО

ПРЕОБРАЗИТЕЛЯ

РОССІИ;

СОБРАННЫЯ

Изъ достовѣрныхъ источниковъ

и расположенныя по годамъ.

ЧАСТЬ IX.

МОСКВА,

Въ Университетской Типографіи, у Н. Новикова,

1789.

«Деяния Петра Великого»,
изданные И. И. Голиковым в 1788—1797 гг. Том IX. Москва, 1789 г.
Титульный лист.

Итак, Голиков о «сечении» царицы умалчивает, но ссылается на «венецианское издание», где сообщается о бичевании, которому подверглась первая жена Петра. Книга эта сохранилась в библиотеке Пушкина, и указание Голикова могло помочь ему найти в ней сведения о том, что бывшая царица была *«высечена»*[1].

«Невидимая» часть «Деяний» Голикова, скрывающаяся за ссылками на источники, привести которые полностью Голиков не мог, являлась для Пушкина важной: пользуясь подобными ссылками, Пушкин искал и находил не слишком заметно, но достаточно точно указанные Голиковым запретные источники.

Повествуя о судьбе царевича Алексея, Голиков приводит обширные извлечения из записок Брюса, а также из «Путешествия» Кокса. Пушкин отмечает это, указывая в подготовительном тексте «Истории Петра»: «см. *Брюса:* описание царевича, и *Кокса*» (386). Вслед за тем Пушкин имел возможность прочесть у того же Голикова, что в книге Кокса есть «выражения, которые сколько бы было дерзко, столь и стыдно и вносить сюда»; после чего Голиков, однако, указывает в сноске, где именно можно найти эти раскрывающие роль Петра в деле царевича Алексея «дерзкие выражения» (повторять которые Голикову «стыдно»). «О сих местах, — говорит он в сноске, — смотри в помянутой Коксовой книге главу 5, страницу 67 и 73»[2] и т. д. Нет сомнения, что, находя у Голикова подобного рода указания, Пушкин не мог не заинтересоваться ими и стремился достать упомянутые Голиковым книги.

Что касается «Записок» Брюса, рассказывающего, как и передает Голиков, будто царевич был отравлен по приказу Петра, то из письма А. Я. Вильсона к Пушкину от 18 декабря 1835 года мы узнаем, что Пушкину удалось достать эту книгу[3]. «Вместе с сим получить изволите, — писал Пушкину Вильсон, — Записки капитана Брюса, в которых найдете много любопытства достойного»[4]. Книгу эту Пушкин, как сейчас увидим, не только получил, но и прочел.

---

[1] «Житие и славные дела... Петра Великого». Часть вторая. В Венеции. В типографии Димитрия Феодозия, 1772, с. 156 (курсив наш. — *И. Ф.*) (Библиотека Пушкина, № 146).

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VI. М., 1788, с. 153, 154.

[3] Книга эта была издана на английском языке под названием «Memoirs of Peter Henry Bruce, Esq., a military officer, in the Services of Prussia, Russia and Great Britain, containing an account of his travels in Germany, Russia, Tartary, Turkey, the West-Indies, etc. as also several very interesting private anecdotes of the Czar Peter I of Russia», London. MDCCLXXXII.

В следующем, 1783 г. в Дублине вышло под тем же названием новое издание ее.

Достоверность сведений о России, сообщаемых в ней, давно взята под сомнение русскими исследователями исторических источников петровского времени.

[4] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 67.

Мы упоминали уже о разговоре Пушкина с Д. Е. Келлером, записанном последним в своем дневнике, а также о том, что Келлер зачеркнул в своей записи некоторые строки; в связи с этим они печатались до сих пор в следующем неполном виде:

«Он раскрыл мне страницу английской книги... о Петре Великом, в которой упоминалось о смерти Алексея Петровича...»

«Я сам читаю теперь эту книгу, но потом, если желаете, и Вам пришлю»[1] (сказал Пушкин Келлеру). Что это была за книга, установить в свое время, то есть при публикации записи Келлера, исследователям не удалось, так как строки, зачеркнутые Келлером, не поддавались прочтению.

Обратившись к подлиннику дневника Келлера[2], нам удалось разобрать, что в зачеркнутых им строках речь идет именно о записках Брюса, на которые Пушкин сослался в «Истории Петра» вслед за Голиковым и которые прислал ему А. Я. Вильсон.

Чтение наше подтверждалось и тем, что Келлер в своей записи сообщает о книге, где говорится не просто «о смерти» царевича Алексея (как печатали до сих пор), а об отравлении его; версия же об отравлении царевича излагается именно в «Записках» Брюса.

Правильность такого чтения была окончательно установлена специалистами Центральной криминалистической лаборатории, которым удалось путем специального фотографирования прочесть интересующее нас место в дневнике Келлера полностью.

Келлер, как теперь можно считать установленным, писал в нем, вспоминая о своей встрече с Пушкиным: *«Он раскрыл мне страницу английской книги, записок Брюса о Петре Великом, в которой упоминается об отраве царе[вича] Алексея Петровича, приговаривая: «Вот как тогда дела делались»*. Я сам читаю теперь эту книгу, но потом, если желаете, ее вам пришлю»[3].

Мы получаем теперь возможность не только установить, какую книгу показал Келлеру Пушкин, но и определить, какую страницу ее поэт прочел ему. Вот она:

«Маршал Вейде, выйдя из крепостного бастиона, где заточен был Алексей (рассказывает Брюс. — *И. Ф.*), приказал мне пойти к господину Бэру, аптекарю, чья лавка находи-

---

[1] Соч. А. С. Пушкина, под ред. П. Ефремова, т. VIII, с. 587.

[2] ЦГВИА, ед. хр. 1150 (ф. Военно-ученого архива Главного штаба), с. 40—41.

[3] Заключение Центральной криминалистической лаборатории Высшего института юридических наук Министерства юстиции СССР от 24 ноября 1953 г. за подписью выполнившей расшифровку записи Келлера ст. науч. сотр. В. Ф. Орловой (курсив наш. — *И. Ф.*)

Пушкинъ и обѣщалъ доставить
книгу изъ Гордона на Англицкомъ
языкѣ о Стрѣлецкихъ бунтахъ. Онъ
раскрылъ мнѣ страницу Англиской
книги, записокъ Брюса о Петрѣ Вели-
комъ, въ которой упоминается
объ отравѣ царевича Алексея Петрови-
ча приговореннаго. Вотъ какъ тогда было
дѣлаемо.

Дневник Д. Е Келлера. 1837 г. Запись о встрече с Пушкиным.
Зачеркнутые строки.

Онъ
раскрылъ мнѣ страницу Англиской
книги, записокъ Брюса о Петрѣ Вели-
комъ, въ которой упоминается
объ отравѣ царевича Алексея Петрови-
ча приговореннаго. Вотъ какъ тогда было
дѣлаемо.

Дневник Д. Е. Келлера. Зачеркнутые строки,
прочитанные с помощью специального фотографирования.
Восстановленный текст.

лась поблизости, и сказать ему, чтобы он приготовил то питье, которое было ему заказано, ибо царевич тяжко болен. Когда я передал это известие господину Бэру, он побледнел, затрясся, задрожал и показался мне совершенно растерявшимся. Все это настолько удивило меня, что я попросил его объяснить, что с ним происходит. Но он не способен был что-либо ответить.

В это время пришел сам маршал, который был почти в таком же состоянии, как и аптекарь. Маршал сказал ему, что он должен поторопиться, так как состояние царевича стало после приключившегося с ним апоплексического удара крайне опасным. В ответ на это аптекарь передал маршалу серебряный сосуд, закрытый крышкой, и маршал ушел с ним в помещение царевича; ушел он шатаясь, как пьяный»[1].

Рассмотренный случай с большой ясностью говорит о том, что Пушкин доставал даже книги, весьма трудно доступные, не довольствуясь тем, что приводит из них в своем своде Голиков.

Он изучал рукописные сочинения (а не только документы), касающиеся истории Петра, найденные им в Государственном архиве. После смерти поэта Нессельроде писал Бенкендорфу о том, что Пушкин не возвратил в архив перевод дневника Корба. (В черновике этого письма Нессельроде первоначально было сказано: «Не возвращены же им две рукописи: 1-я, описание «Путешествия» Корба и 2-я — «История Петра Великого, писанная Крекшиным»[2].)

Изображая «крутой и кровавый переворот», совершенный Петром, Пушкин располагал источниками, которых Голиков не знал или не смел использовать. Существенно, что к таким запретным в его время источникам Пушкин обращался в важнейших местах своей «Истории». К источникам труднодоступным — и даже совсем недоступным тогда другим историкам — поэт, как было сказано, обратился, исследуя дело царевича Алексея, которое Голиков назвал «камнем претыкания» для историка Петра. Этим путем Пушкин возмещал неполноту голиковского свода.

Исторические источники приведены Голиковым в хронологическом порядке; имея в пору своей работы перед глазами голиковский свод и следуя тому же порядку в своем подготовительном тексте, Пушкин *в этом смысле* следовал Голикову. С глубокой, поражающей и сегодня проницательностью читая страницы многотомных «Деяний Петра Великого», он сумел всемерно, критически воспользоваться собранным в голиковском своде обширным историческим ма-

---

[1] См. указ. нами изд. «Записок» Брюса, с. 185—186 (пер. наш. — *И. Ф.*).
[2] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 16, № 123.

териалом. Но, создавая подготовительный текст своей «Истории Петра», Пушкин не «конспектировал» найденные им у Голикова источники. Закрепляя результаты изучения петровского времени, основанные на критическом чтении источников, Пушкин стремился установить, как совершались в действительности важнейшие исторические события освещаемой им эпохи, и потому оставил нам труд, много более высокий по своему значению, нежели «выписки-конспекты» (как принято было называть до недавнего времени подготовительный текст его «Истории Петра»)[1].

Историческая точка зрения Пушкина определяла новую перспективу в изображении Петра и его эпохи, и поэтому почерпнутый им в своде Голикова материал приобретал на страницах пушкинской «Истории Петра» новое качество — историческое и художественное.

Отношение народа к Петру — тема первостепенного значения. Голиков старается не замечать остроты ее. В книге Пушкина ей предназначается важное место.

Так, например, описав взятие Нарвы Петром, Пушкин заканчивает страницы, посвященные событиям 1704 года, изображением последовавшего за взятием Нарвы торжественного въезда Петра в Москву. У Голикова, сводом которого воспользовался Пушкин, говорится, что «множество народное», наблюдавшее триумфальный въезд Петра, начало «узнавать пользу преображенного своего воинства в вид, суеверию их казавшийся неприятным»[2].

Пушкин пишет не только о преобразовании войска, о его новом виде, который раньше «суеверию» казался «неприятным». Он остается *как будто* очень близок к Голикову, когда говорит: «Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями» (129). Но в отличие от своего источника, говоря, что народ *начинал мириться с нововведениями,* Пушкин намечает здесь узел одной из главных линий «Истории Петра»: речь идет о насильственном характере петровских преобразований и об отношении к ним народа. Описание Нарвского триумфа у Пушкина становится поэтому не только концовкой намечающейся главы, в которой описано взятие Нарвы, но и важным — тематически и компози-

[1] Следует отметить, что «выписки» в пушкинском подготовительном тексте вообще встречаются сравнительно редко: в тех случаях, когда Пушкину необходим был для будущей «Истории» текст (а не только сущность) какого-нибудь исторического документа, он, не переписывая его, обычно отмечал в своей рукописи лишь том и страницы голиковского свода, на которых воспроизведен нужный ему документ.

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. II, М., 1788, с. 158.

ционно — моментом построения всей книги о Петре. Это становится ясно, если сравнить с пушкинским описанием Нарвского триумфа пушкинское же описание триумфа, последовавшего за Полтавской победой.

В то время как Голиков при описании полтавского триумфа пишет лишь о пушечной пальбе, колокольном звоне, военной музыке, барабанном бое и «радостном от неисчетного народа восклицании сих слов: *здравствуй, государь, отец наш!*»[1], Пушкин пишет, что после Полтавской победы Петр вступил в Москву при «восклицании, *наконец, с ним примиренного народа: здравствуй, государь, отец наш!*» (230. Курсив наш. — *И. Ф.*)

Эти строки говорят о том, как переменилось, на взгляд Пушкина, отношение к Петру народа, который пять лет назад, после Нарвской победы, только «начинал мириться с нововведениями».

Немногими чертами, иногда двумя-тремя словами, Пушкин решительно меняет освещение найденных им в своде Голикова фактов, рисующих личность Петра. Под 1698 годом Пушкин пишет: «В начале года Петр отправился в Англию на яхте и на трех английских военных кораблях, присланных от короля с частию своего посольства» (69). «А господина Лефорта», говорит в этом месте Голиков, Петр «оставил в Амстердаме, при разлучении с которым, яко с верным другом, прощался со слезами»[2]. Пушкин же пишет: «Лефорта оставил он в Амстердаме и, расставаясь с ним, плакал (вероятно, будучи пьян)» (69). Последнее замечание сделано Пушкиным, видимо, «про себя» и не предназначалось для включения в окончательный текст «Истории Петра».

Рассказывая о пребывании Петра в Голландии, Пушкин говорит о его работе на кораблестроительной верфи. С фактической стороны он здесь следует Голикову, который упоминает о том, что Петр был «по искусству своему в работе назван Питер-Басом, то есть Петром-мастером, которое название было ему приятнее тогда всех титулов величества»[3].

Пушкин вместо того написал: «Корабельные мастера звали его Piter Bas[4], и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь» (63). У Голикова нет, разумеется, ничего подобного этим словам Пушкина, которые так выразительно характеризуют молодость Петра.

Даже тогда, когда Пушкин кажется близким к Голикову, он по мысли нередко очень далек от него.

В примечании к «Медному всаднику» Пушкин пишет:

---

[1] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. III, с. 148.
[2] Там же, т. I, с. 316.
[3] Там же, с. 303.
[4] Петр-мастер.

«Альгаротти где-то сказал: «Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу»[1]. Не повторяя этого пассивного созерцательного образа («Россия *смотрит* в Европу»), Пушкин сказал:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

И мысль стала другой, ибо одно дело — смотреть в окно, другое — рубить его. Изменением одного слова Пушкин меняет иногда смысл не только взятого им из книг материала. Так бывало и при работе Пушкина над своими стихами. В черновике «Медного всадника», там, где в окончательном тексте поэмы теперь сказано:

Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам, —

Пушкин сначала написал:

И *заторгуем* на просторе!

Изменив затем последний стих, Пушкин сказал:

И *запируем* на просторе!

Переменой этой поэт сказал, что в глазах Петра, создающего морскую столицу, торговля была не целью, а средством к достижению великих исторических целей. Перемена эта, разумеется, для Пушкина не случайна. Недаром в «Арапе Петра Великого», изображая строительство Петербурга, Пушкин писал о Петре, «утверждающем морское величие России». А позднее сказал: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек...». Все в этих словах великого поэта передает мощь и стремительность России, которая вошла в Европу победами в труде и в бою. И древняя, давно стершаяся метафора — «корабль государства» — приобретает под пером Пушкина новый, действенный смысл.

Эти примеры, взятые из произведений Пушкина, помогают нам понять, как в свете исторических идей поэта совершалось в «Истории Петра» превращение устарелой голиковской прозы (там, где Голиков не просто приводит, а перелагает исторические источники) в пушкинскую историческую прозу, и показывают, насколько обманчива близость Пушкина к Голикову даже там, где на поверхностный взгляд видны только сокращение и перевод архаических по слогу материалов голиковского труда на язык Пушкина.

---

[1] Стилевое преобразование, которому Пушкин подверг в «Медном всаднике» слова Альгаротти, включая их в речь Петра, тонко проанализировано В. В. Виноградовым. (Стиль Пушкина. М., 1941, с. 388—389.)

Гоголь восхищался отличающей Пушкина «чрезвычайной быстротой описания» и его «необыкновенным искусством немногими чертами означить весь предмет». Это необыкновенное искусство Пушкина мы узнаем и на страницах «Истории Петра». Даже там, где Пушкин «только сокращает» материал, найденный у Голикова, Пушкин гениально меняет пропорции, создавая новую перспективу в изображении воссоздаваемых им событий. Говоря о слоге Пушкина, Гоголь заметил: «Рисует ли он боевую схватку... слог его... летит быстрее самой битвы». В движении живой пушкинской мысли создается ничем не напоминающий Голикова новый ритм и темп повествования, и перед нами открываются новые страницы создающейся пушкинской прозы.

Голиков протоколирует исторические события, Пушкин стремится изобразить их — он создает в своем повествовании драматическое движение как при изображении общего хода событий, обнимаемых его незавершенной книгой, так и внутри каждого из намечавшихся разделов будущей «Истории Петра».

Пушкин создавал новую по идейной и художественной структуре великую книгу, и потому даже там, где он меняет, по видимости, используемый им исторический материал только «чуть-чуть», он меняет его чрезвычайно сильно, как меняется все, что видит наблюдатель, если чуть-чуть повернуть линзы телескопа.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ

Современники поэта свидетельствуют о том, что Пушкин перечитал «все» «сочинения» о Петре Великом. Но почему же Александр Тургенев находил его знания «редкими, единственными»? Потому, видимо, что они основаны были на знакомстве не только с печатными источниками, но и с архивами, недоступными другим историкам.

До сих пор не изжито представление, будто обращение Пушкина к архивным делам петровского времени ограничилось получением им от царя разрешения «рыться в старых архивах»[1]. Приводя письмо Пушкина к Блудову от 20 января 1832 года, где Пушкин писал: «Буду ожидать приказания Вашего, дабы приступить к делу, мне порученному»[2], Л. Модзалевский комментирует: «Дело, мне порученное, — история Петра», — но при этом утверждает, будто бы «предварительные сношения Пушкина этим и ограничились, и работой над историей Петра он занялся лишь в 1835 году»[3].

Распространению подобного представления несомненно способствовал Устрялов, которому Николай I поручил после смерти великого поэта написать вместо него «Историю Петра». Устрялов подчеркивал, что в государственных архивах, открытых ему «по высочайшему соизволению», нашел он средства узнать «то, что другим историкам было недоступно». «Последним историком Петра, имевшим доступ к государственным архивам, был, — по его утверждению, — курский купец Иван Иванович Голиков»[4]. О Пушкине Устрялов умалчивает.

Даже в статье П. Софинова «Работа А. С. Пушкина в архивах», посвященной главным образом работе поэта над историей Пугачева и содержащей много верного, повторено мнение, будто «в работе над «Петром» Пушкин избрал дру-

---

[1] Дела III Отделения об А. С. Пушкине. СПб., 1906, с. 120.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 402.

[3] Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского, М.—Л., «Academia», 1935, с. 470 и 471.

[4] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, с. IX и XLIII.

гой метод исторического исследования»: «решил вначале написать историю по печатным материалам и уже после исправлять на основе документальных данных»[1]. Названный нами исследователь, в отличие от остальных, отмечает все же, что «знакомство с архивным материалом» давало Пушкину «все больше и больше отрицательных фактов о Петре I, так что, — пишет он, — Пушкин в своем конспекте книги Голикова вносил одно за другим возражения, характеризующие Петра в нелестных для последнего выражениях»[2]. Сколько-нибудь конкретно вопрос о работе Пушкина над «Петром» в архивах, однако, не ставился.

Между тем изучение сохранившихся материалов позволяет нам не только установить, к каким архивам обратился Пушкин, изучая эпоху Петра, и представить себе с внешней стороны картину этой его работы. Необходимо выяснить, к каким фондам архивных источников должен был обратиться — и обратился действительно — Пушкин и получил ли он доступ к секретным делам петровского времени, так его интересовавшим.

Уже в своих «Материалах» для биографии Пушкина Анненков, как мы упоминали, писал, что «с зимы 1832 года» поэт «стал посвящать все свое время работе в архивах, куда доступ ему был открыт еще в прошлом году. Из квартиры своей в Морской (дом Жадимеровского) отправлялся он каждый день в разные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1832 года... Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся пешком оттуда каждый день в архивы, возвращаясь таким же образом назад»[3].

Принято считать почему-то, что эти занятия Пушкина, вопреки ясным указаниям современников поэта и прямым документальным свидетельствам, целиком или почти целиком посвящены были изучению архивных материалов о Пугачеве. Между тем Анненков верно указывал: «При собирании документов для истории Петра Великого Пушкин встретился с материалами, которые показались ему столь важными, что он положил их в основание побочного исследования (то есть «истории Пугачева». — *И. Ф.*), нисколько не упуская из вида главного предмета своих розысков»[4]. Понимая, как важны были для Пушкина пугачевские материалы, Анненков подчеркивает, что Пушкин изучал их, «нисколько не упуская из вида» материалов петровского времени. Перечислив с большой

[1] «Архивное дело». М., 1936. № 4 (41), с. 95.
[2] Там же.
[3] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 359.
[4] Там же, с. 360.

точностью различные архивы, материалами которых пользовался Пушкин, Анненков замечает: «с сокровищами Государственного архива он познакомился под руководством и наблюдением» графа Блудова[1].

Что же представляли собой хранившиеся в Государственном архиве Российской империи исторические «сокровища» и почему работа, которой Пушкин предался, по словам Анненкова, «с жаром, почти со страстью», была поставлена под наблюдение Блудова?

В Государственном архиве хранились «акты и бумаги, относящиеся до особенных внутренних дел и важнейших происшествий империи»[2]. Николай I по своем восшествии на престол, говорит Пушкин в предисловии к «Истории Пугачева», приказал привести их в порядок: «...сии сокровища вынесены были из подвалов, где несколько наводнений посетило их и едва не уничтожило»[3].

«Создав для борьбы с нарастающим революционным движением целую систему охранительных органов, Николай I создал и специальное секретное хранилище, в котором должны были быть сосредоточены все документы, касающиеся царской фамилии, борьбы вокруг трона, борьбы самодержавия с революционным движением, — словом, все документы особой политической для самодержавия значимости»[4].

Сюда были переданы из «Кабинета его величества» бумаги Петра I. В 1829 году из всех этих фондов был создан в помещении Министерства иностранных дел архив, получивший с 1834 года название Государственного[5]. В архив этот и был допущен для занятий Пушкин.

После смерти Пушкина Нессельроде сообщал Бенкендорфу, что «покойный камер-юнкер Пушкин занимался в самом доме Министерства иностранных дел прочитыванием и деланием выписок из бумаг, касающихся до царствования императора Петра Великого, и из дел о бунтовщике Пугачеве, для чего отведена была ему особая комната. По мере прочитывания он возвращал даванные ему бумаги»[6]. Документ этот подтверждает, что Пушкин не только читал «даванные ему бумаги», но и делал из них выписки. Какие именно выписки сделал он в Государственном архиве из бумаг петровского времени,

---

[1] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина, с. 360.

[2] В. Иконников. Опыт русской историографии, т. I, кн. I. Киев, 1891, с. 438.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 145.

[4] И. Л. Маяковский. Очерки по истории архивного дела в СССР. — В кн.: История архивного дела в СССР до Октябрьской социалистической революции, ч. I. М., 1941, с. 231.

[5] Там же, с. 231—232.

[6] Дела III Отделения об А. С. Пушкине, с. 199. (Подлинный черновой отпуск этой бумаги от 6 февраля 1837 г. в Архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 16, № 123.)

мы установить сейчас не можем, так как материалы, которые Пушкин, по собственным словам его, «скоплял» и «приводил в порядок» в 1834 году, не дошли до нас[1].

Умалчивая в своих воспоминаниях о работе Пушкина в Государственном архиве, Устрялов дает нам тем не менее возможность представить себе обстановку, в которой очутился Пушкин, работавший в этом архиве, поскольку порядки, в нем заведенные, за годы царствования Николая I почти не менялись, а директором архива в период работы Устрялова являлся все тот же В. А. Поленов, с которым вынужден был раньше иметь дело великий поэт.

Государственный архив, «который открывался очень немногим», «находился, — вспоминает Устрялов, — там же, где и теперь, — в Главном штабе, в верхнем этаже, в Отделении Министерства иностранных дел». Что касается начальника его Поленова, то «человек он был старый, тяжелый, большой формалист». Ознакомление с архивом надо было начинать с изучения реестров, то есть перечней хранящихся в нем документов и дел петровского времени: это были, во-первых, документы, написанные или подписанные самим Петром; во-вторых — донесения и просьбы, ему адресованные. Реестры, в которых документы эти были перечислены, «состояли, — пишет Устрялов, — из трех огромных фолиантов, переплетенных в сафьян еще в царствование Екатерины II»[2].

Громада писем и бумаг Петра I столь обширна, что начатое в 1872 году полное издание их, выходящее поныне отдельными томами, к настоящему времени доведено только до 1711 года. Чтение почерка Петра представляет к тому же большую трудность, ибо почерк этот (как и отмечал Устрялов) «неправилен и в высшей степени неразборчив»[3]. Следует напомнить в этой связи, что в бумагах Пушкина сохранились четыре письма Петра I, факсимильно воспроизведенные Пушкиным, который старался, по-видимому, освоить таким способом почерк Петра[4].

Изучение бумаг Петра I, хранившихся в Государственном архиве, Пушкин должен был начать, разумеется, с обозрения их, то есть со знакомства с описями их. В бумагах Пушкина сохранилась действительно рукописная опись (писанная двумя

---

[1] «Фонды черновых материалов, относящихся к работе Пушкина над «Историей Пугачева» и «Историей Петра», сохранились далеко не полностью», — верно отмечает Ю. Оксман (Пушкин в работе над «Капитанской дочкой». — «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 239, примеч.).

[2] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни. — «Древняя и Новая Россия», 1880, август, с. 629.

[3] Там же.

[4] Эти письма Петра к кн. Вас. Влад. Долгорукову (1667—1746) напечатаны в Полн. собр. соч. Пушкина в 16-ти т., т. X, с. 456—457 (с некоторыми мелкими неточностями). Пушкин получил подлинники этих писем от кн. Вас. Вас. Долгорукова (1787—1858), как указано в сб. «Рукою Пушкина» (М.—Л., 1935, с. 594—595).

Копия, снятая Пушкиным с письма Петра I В. В. Долгорукову (вверху), воспроизводящая почерк Петра.

лицами, нам неизвестными), воспроизведенная в десятом томе академического издания сочинений Пушкина без выяснения вопроса о том, что представляет собой по существу этот документ: он опубликован под заголовком, данным ему в подлиннике и оставшимся нерасшифрованным, — «Дела под названием «Архив императора Петра I»[1]. Между тем документ этот, имеющий для нас существенное значение, представляет собой не что иное, как опись важнейших дел, входящих в состав бумаг Петра I; дела эти поступили в основном в Государственный архив, где работал Пушкин. В описи этой значатся:

«1. Двадцать книг с указами, письмами и прочими бумагами императора Петра I-го и императрицы Екатерины I-й».

«2. Семьдесят две книги, содержащие в себе историю государя Петра I».

«Почти все сии книги содержат собственноручные императора Петра I поправки», — сказано в этой же описи. В ней по пунктам перечислены важнейшие из этих семидесяти двух книг, в состав коих входит рукопись «Истории Северной войны», написанной под руководством Петра и собственноручно им редактированной; она была издана, как мы знаем, в царствование Екатерины II Щербатовым под названием «Журнал, или Поденная записка Петра Великого». Пушкина должны были заинтересовать, конечно, страницы, собственноручно вписанные в нее Петром.

В той же описи назван «Журнал путешествий его царского величества с 1702 по 1711», «Тетради записные его императорского величества Петра I-го» (изданные князем Щербатовым только за 1704—1706 годы) и другие ценные материалы, включая «Тринадцать записных книжек императора Петра I-го, писанные карандашом или грифелем на аспидных дощечках». Своеобразные записные книжечки Петра должны были заинтересовать Пушкина, знавшего уже, вероятно, содержание их, опубликованное Голиковым в «Дополнении к Деяниям Петра Великого»[2].

В сохранившейся у Пушкина архивной описи указаны были также дела о бунтах петровского времени — стрелецком, Мазепы и проч. Эта опись позволяла Пушкину ориентироваться в важнейших исторических материалах, хранившихся в Государственном архиве среди «Кабинетных» бумаг Петра I; вместе с тем опись говорила о том, какие из этих материалов и где именно были опубликованы, что облегчало Пушкину изучение их.

«Кабинетные» бумаги, то есть бумаги, хранившиеся ранее в архиве «Кабинета» Петра и поступившие при Николае I

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 458—462.

[2] И. И. Голиков. Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XVI, с. 436 и след.

в Государственный архив, находятся ныне в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве (разряд IX, Кабинет Петра I). Вместе с ними хранится и составленный князем Щербатовым «Реэстр разобранным в архиве... Петра Великого... делам и письмам, переплетенным в книги в 1769, 1770, 1771, 1774 и 1777 годах». Сопоставление с этим реестром описи, уцелевшей в бумагах Пушкина, подтверждает указанное нами значение ее для архивной работы Пушкина, который достаточно ясно представлял себе состав «Кабинетных» бумаг Петра (или «Архива императора Петра I», как названы они были в принадлежавшей Пушкину описи). Опись эта не дает, однако, ответа на вопрос о том, получил ли Пушкин доступ к делам, хранившимся в Секретном отделении Государственного архива, наиболее недоступным из которых было дело царевича Алексея.

Когда Пушкин, желая привлечь в помощь себе для работы в архивах М. П. Погодина, обратился с такой просьбой к царю, Погодину были открыты все архивы, «кроме тайного»[1]. И Погодин, досадуя, писал Пушкину: «Важные секреты чай в Петерб[урге] — но какие же секреты для истории? Ведь это смешно. — Ну пусть отпоют меня, ну пусть отрежут язык на столько линий, сколько угодно!»[2] Это следует отметить потому, что Нессельроде, которому подчинен был Государственный архив, по-видимому, стремился истолковать данное Пушкину царем разрешение «рыться в старых архивах» также ограничительным образом.

Двенадцатого января 1832 года Нессельроде счел необходимым обратиться к царю с докладом, в котором сообщал, что «во исполнение высочайшей воли» им уже сделано «распоряжение» о допущении Пушкина в архивы. «Но при том я осмеливаюсь испросить, — писал Нессельроде, — благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, чтобы титулярному советнику Пушкину открыты были все секретные бумаги времен императора Петра I, в здешнем архиве хранящиеся, как-то: о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; также дела бывшей Тайной канцелярии»[3]. На подлиннике этого запроса сохранилась помета: «Докладывано в С.-Петербурге. Генваря 12-го дня 1832 года»[4].

Три дня спустя Нессельроде извещал Блудова: «Его императорское величество... повелел... чтобы из хранящихся в здешнем Архиве дел секретные бумаги времен императора

---

[1] См. письмо Пушкина к Погодину от 5 марта 1883 г. (Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 53).

[2] Письмо Погодина от 29 марта 1833 г. (там же, с. 57).

[3] Сб. Пушкин. Документы Государственного и С.-Петербургского Главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831—1837 гг. Сост. Н. Гастфрейнд. СПб., 1900, с. 17—18.

[4] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 16, л. 3.

Петра I открыты были г. Пушкину не иначе, как по назначению Вашего превосходительства и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом»[1].

Снискавший своим участием в суде над декабристами полное доверие Николая I Блудов получил в свое ведение и важнейшие политические дела прошлых царствований. «Он имел по высочайшему разрешению возможность ознакомиться со всеми документами тайных архивов и знал в то время лучше и обстоятельнее всех дело царевича Алексея», — свидетельствует Погодин[2].

Когда по вступлении на престол Николая I министр императорского двора Волконский представил ему описи дел Кабинетного архива, между прочими делами в них под № 5 значились «два сундука больших с неизвестными делами, запечатанные». Николай I поручил Блудову их распечатать, осмотреть и донести...

В сундуках этих Блудов нашел, «во-первых, дела по царевичеву розыску и, во-вторых, дела Тайной канцелярии петровского времени»[3].

Дела эти, хранившиеся сначала в Петропавловской крепости и затем перешедшие, как сказано, в архив «Кабинета его величества», поступили в 1827 году, после того, как Блудов распечатал их, в архив Коллегии иностранных дел; дела «Тайной розыскных дел канцелярии» помещались с этого времени в здании Главного штаба и «разбирались по картонам под ближайшим наблюдением» его[4]. Все это в достаточной мере объясняет, почему Николай I признал необходимым, чтобы «секретные бумаги времен императора Петра I открыты были Пушкину не иначе, как по назначению» графа Блудова.

Через неделю после того, как царь принял свое решение и Нессельроде известил о нем Блудова, сам Блудов сообщил обо всем Пушкину письмом от 19 января 1832 года[5].

---

[1] Сб. Пушкин. СПб., 1900, с. 18.

[2] М. Погодин. Петр I. Трагедия в 5-ти действиях. Послесл. М., 1873, с. 157.

[3] В. Веретенников. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910, с. 102—103.

[4] М. И. Семевский. Очерки и рассказы из русской истории XVIII века. Слово и дело. 1700—1725. Изд. 3-е. СПб., 1885, с. 5.

[5] Письмо это, остававшееся до последнего времени неизвестным, опубликовано было в 1958 году в парижской газете «Русская мысль» (номер от 12 августа):

«Его благородию А. С. Пушкину.

Милостивый государь, Александр Сергеевич,

Г-н вице-канцлер сообщает мне, что по всеподданнейшему докладу его о дозволении вам пользоваться находящимися в архивах Министерства иностранных дел матерьялами для сочинения истории императора Петра Пер-

Месяц спустя К. С. Сербинович, занимавшийся разбором и описанием бумаг Петра Великого под руководством Блудова, по поручению последнего сообщал поэту: «Дмитрий Николаевич поручил мне уведомить Вас, милостивый государь Александр Сергеевич, что он будет сегодня в Архиве иностранной коллегии в час пополудни. Посему не угодно ли будет и Вам туда приехать. А я, кончив некоторые дела, отправлюсь туда же прямо и постараюсь упредить Вас, чтобы предуведомить Василия Алексеевича Поленова»[1]. Блудов и Сербинович, по-видимому, направились туда в этот день, чтобы открыть Пушкину доступ к секретным делам времен Петра Великого.

Но воспользовался ли Пушкин полученным разрешением и какие из этих секретных дел были открыты ему «по назначению» Блудова? Устрялов в предисловии к изданному четверть века спустя шестому тому своей «Истории» утверждал, что из документов, входящих в состав опубликованного им дела царевича Алексея, «наибольшая часть оставалась недоступной для историков». В число никому не доступных до него архивных материалов он включал «допросные пункты, писанные рукою Петра» и «ответы и показания царевича»[2].

Уверенность в том, что Пушкин не получил доступа к этим секретным историческим документам, была так велика, что исследователи не заметили даже прямой ссылки на архивное дело царевича Алексея, сделанной Пушкиным в рукописи «Истории Петра». «14 июня, — пишет он, — Петр прибыл в Сенат и, представя на суд несчастного сына, повелел читать выписку из страшного дела (см. *подлинник*)» (398. Курсив наш. — *И. Ф.*).

Подлинное дело царевича Алексея сохранилось и находится теперь в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве. Изучив его страницы и сопоставив с ним обнародованный в наше время пушкинский труд, мы получаем возможность убедиться в том, что Пушкин читал подлинное дело царевича и воспользовался в своей «Истории Петра» почерпнутыми в нем данными.

вого его императорское величество изъявил на сие высочайшее соизволение с тем, чтобы вообще чтением вверяемых вам бумаг того времени и выписками из оных вы занимались в самом Архиве и чтобы из числа помянутых бумаг секретные были открываемы вам по моему назначению.

Уведомляя вас, милостивый государь, о сей высочайшей воле, я буду ожидать первого с вами свидания для объяснения, каким удобно образом вам приступить к рассмотрению хранящихся в Архиве Коллегии иностранных дел бумаг времени Петра Великого или относящихся к оному.

Имею честь быть с истинным почтением и преданностью вам, милостивый государь,

Д. Блудов

№ 7, 19 генваря 1832 года».

[1] Письмо К. С. Сербиновича от 18 февраля 1832 г. (см.: Пушкин. Полн собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 13).

[2] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. V СПб., 1859, с. 6.

Касаясь событий 1716 года, Пушкин ссылается на печатный сборник документов, относящихся к процессу царевича Алексея, который был обнародован по приказу Петра тотчас же после окончания суда над царевичем[1]. Сборник этот, ставший большой редкостью, так как при Петре II (сыне царевича Алексея) экземпляры его отбирались под страхом жестокого наказания, был перепечатан Погодиным в 1829 году в журнале «Московский вестник». Предисловие Погодина начиналось словами «Суд над царевичем...»[2]. На это печатное издание Пушкин и ссылался в «Истории Петра» под 1716 годом, указывая: «См. суд над царевичем» (356).

Но, ссылаясь — под 1718 годом — на «выписку из страшного дела», Пушкин имеет в виду (как он и пишет) архивный подлинник. Ибо в печатном издании, Пушкину хорошо известном, пропущены были все содержащиеся в подлинной выписке указания на пытку, которой был подвергнут царевич. В подлиннике же, на который в данном случае прямо ссылается Пушкин, не только содержатся все эти указания, но и отмечены те места, которые не могли появиться в печатном издании процесса царевича. «Не печатать», — помечено на полях в ряде мест этой сохранившейся до нашего времени в архиве подлинной выписки (см., напр., л. 72 и 72-об., 150, 151, 151-об. и 153)[3]. Голиков, следуя печатному изданию ее, старается представить дело так, будто «розыск», которому подвергся царевич, не означал пытки. «Слово розыск, как то мы неоднократно изъясняли, — пишет он в «Дополнении к Деяниям Петра Великого», — не означало телесного наказания, но значило рассмотрение, или розыскание дела...»[4]

Между тем Пушкин не только пишет о пытке, которой был подвергнут царевич, и не только указывает, когда именно пытали царевича, — он, как уже было сказано, упоминает о показаниях царевича, писанных раньше «твердою рукою», «а потом (22 июня 1718 г. — *И. Ф.*) — после кнута дрожащею» (399). Этот документ, по утверждению Устрялова, никому из историков до него не доступный, был, как видим, известен Пушкину (он хранится теперь вместе с другими в Центральном Государственном архиве древних актов)[5].

---

[1] «Объявление розыскного дела и суда по указу его царского величества на царевича Алексея Петровича, в Санктпитербурхе отправленного, и по указу его величества в печать, для известия всенародного, сего июня в 25 день, 1718 выданное».

[2] «Московский вестник», 1829, ч. V, с. 7.

[3] ЦГАДА, фонд Гос. архива, разр. VI, д. № 33, ч. I: «Суд над царевичем Алексеем Петровичем и выписки из розыска о нем 1718 г.».

[4] Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XII. М., 1794, с. 63, примеч.

[5] Фонд Гос. архива, разр. VI, 1718, д. № 32, л. 107—110-об. («Допросы и ответы царевича Алексея Петровича, также Ефросиньи Федоровны с 3 февраля по 25 июня 1718 г.»).

Ни в одном из существовавших во времена Пушкина печатных источников подобного рода конкретных сведений о пытке, которой был подвергнут царевич, Пушкин найти не мог. Законодательство петровского времени предусматривало применение пытки; жестокие казни были публичными. Но источники того времени молчат о пытке, которой подвергся царевич, — потому что дело шло о наследнике русского престола и Алексей пытан был по приказу отца. В силу сказанного официальные историки не могли касаться этой запретной темы. Вольтер в своей «Истории России в царствование Петра Великого» также молчит о ней.

Приводя в «Деяниях Петра Великого» извлечения из запрещенных в то время в России книг Брюса и Кокса, касающиеся таинственных обстоятельств смерти царевича, Голиков не упоминает о тех строках «Путешествия» Кокса, где сказано: «Бьющие в глаза расхождения между показаниями царевича на первом следствии в Москве (которое, по словам Кокса, протекало более гласно. — *И. Ф.*) и на петербургском процессе, который велся в большой тайне Петром и ближайшими его сотрудниками, заставляют думать, что по отношению к царевичу применены были пытки»[1].

Левек в своей «Истории России», вышедшей в Париже в 1782—1783 годах, на которую Голиков также ссылается[2], замечает, что признания, которые царевич сделал перед судьями, стремившимися его погубить, «производят впечатление сделанных по глупой неосторожности или вырванных силой»[3].

Но ни в книге Кокса, о прямом знакомстве Пушкина с которой у нас нет достаточных данных[4], ни в «Истории» Левека (Пушкину несомненно известной) по вопросу о том, подвергся ли пытке царевич, не содержится ничего, кроме предположений и догадок. Приводимые Пушкиным конкретные данные можно было найти лишь в подлинном следственном деле царевича, хранившемся в глубокой тайне в Секретном отделении Государственного архива империи.

Только предвзятая мысль о том, что дело царевича Алексея осталось Пушкину недоступным, мешала заметить следы знакомства Пушкина с этим «страшным» (по собственным словам его) делом. Но, сумев благодаря своей страстной настойчивости

---

[1] William Coxe. Travels in Poland, Russia, Sweden and Denmark. London, 1802, v. II, p. 308. Перевод наш: дан по 5-му лондонскому изд. книги Кокса.

[2] См.: Деяния Петра Великого, т. VI. М., 1788, с. 154, примеч.

[3] Levesque. Histoire de Russie. Paris, 1782, v. IV, p. 442.

[4] В библиотеке Пушкина сохранилась книга «A Memoir of the Life of Peter the Great», в гл. XII которой, посвященной процессу и смерти царевича Алексея, приводятся извлечения из «Путешествия» Кокса. Автором этой книги — в первом издании ее, принадлежавшем Пушкину, неназванным — являлся, как было сказано, Барроу (Библиотека Пушкина, № 1150).

исследователя получить, несмотря на все возникшие препятствия, доступ к секретному делу о Пугачеве, Пушкин добился доступа и к другому, не менее секретному делу царевича Алексея[1].

Относящиеся к делу царевича Алексея и хранившиеся в Государственном архиве империи документы многочисленны. И мы в заключение должны постараться ответить на вопрос: все ли они были показаны Пушкину?

Документы о пытке, которой подвергся царевич во время следствия, Пушкин видел, но в своей «Истории Петра» он пишет, что «царевич умер отравленный» (399). Между тем Устрялов дает понять, что царевич умер, не выдержав новых пыток, которым был подвергнут по приказу Петра уже после объявления смертного приговора. Петр опасался, по-видимому, что приговоренный к смерти царевич унесет с собой имена сообщников, еще им не названных. Нам известно, что Тайная канцелярия и сам Петр долго еще разыскивали их после смерти царевича.

Официальная версия гласила, что царевич по выслушании смертного приговора «почувствовал во всем теле своем ужасную судорогу, от которой на другой день и умер»[2]. Вольтер в своей «Истории России в царствование Петра Великого» рассказывает, будто Петр явился на зов умиравшего Алексея, «и тот и другой проливали слезы, несчастный сын просил прощения» и «отец простил его публично»[3]. Но примирение запоздало, и Алексей скончался от постигшего его накануне апоплексического удара. Сам Вольтер этой версии не верил и 9 ноября 1761 года, в период работы над своей книгой о Петре, писал Шувалову: «Люди пожимают плечами, когда слышат, что двадцатитрехлетний принц умер от удара при чтении приговора, на отмену которого он должен был надеяться»[4].

Секретный документ, позволяющий судить о причине смерти Алексея, не был показан ни Пушкину, ни, позднее, Устрялову. И лишь воспоминания последнего, напечатанные в 1880 году, открывают нам, откуда Устрялов почерпнул свои сведения. Когда печатание шестого тома устряловской «Истории»,

[1] Во второе (1958) и третье (1965) акад. изд. соч. Пушкина в 10-ти т. после опубликования нами в «Вестнике Академии наук СССР» (1955, № 1) исследования «Пушкин и дело царевича Алексея» введено указание о том, что Пушкин использовал в «Истории Петра» архивное следственное дело царевича.

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VI. М., 1788, с. 146.

[3] Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого. Перевел С. Смирнов, ч. II, кн. 2, 1809, с. 42.

[4] Письмо это напечатано в 34-м т. 42-томного собр. соч. Вольтера, вышедшего в Париже в 1817—1820 гг. и сохранившегося в библиотеке Пушкина. В т. 33-м и 34-м, где напечатана переписка Вольтера с Шуваловым, сохранились закладки Пушкина (Библиотека Пушкина, № 1491).

посвященного делу царевича Алексея, уже «было в полном ходу, — говорит в своих воспоминаниях Устрялов, — я отправился к доброму и умному К. И. Арсеньеву», чтобы «узнать у него *наверное,* как умер царевич?»[1].

Это был тот самый Константин Иванович Арсеньев, с которым четверть века назад встречался Пушкин. «Я лично не могу до сих пор забыть того поражающего впечатления, которое произвела на меня обширность сведений Арсеньева, когда я в конце 1834 года увидал его впервые в доме у П. А. Плетнева беседующим с Пушкиным о лицах и событиях времен Петра Великого, историю которого собирался тогда писать великий поэт. О лицах этих и их отношениях между собою — родственных и служебных — говорил Арсеньев с такими подробностями, точно был современником им и близким человеком»[2],— вспоминал позднее В. В. Григорьев. Арсеньев состоял сначала профессором университета, а потом преподавал русскую историю цесаревичу Александру (будущему Александру II) и был допущен к занятиям в Государственном архиве.

«Я рассказал ему, — передает, вспоминая состарившегося Арсеньева, Устрялов, — все, как у меня написано, то есть что царевич умер в каземате от апоплексического удара, как свидетельствует Вебер.

Арсеньев мне возразил: «Нет, не так! Когда я читал историю цесаревичу, потребовали из Государственного архива документы о смерти царевича Алексея. Управляющий архивом Поленов принес бумагу, из которой видно, что царевич 26 июня в 8 часов утра (то есть после объявления ему смертного приговора. — *И. Ф.*) был пытан в Трубецком раскате, а в 8 часов вечера колокол возвестил о его кончине».

Эту бумагу прочли, — передает Устрялов слова Арсеньева, — запечатали и отдали Поленову, «который не сказал мне о том ни слова»[3].

Узнав от Арсеньева о содержании этого секретного архивного документа, Устрялов получил возможность внести содержавшиеся в нем сведения в свою «Историю». Пушкин же об этом строго секретном документе из архива Санктпетербургской крепости так и не узнал.

Какое значение придавал Пушкин архивам, показывает его письмо к Погодину, которому он 5 марта 1833 года писал: «Сколько отдельных книг можно составить тут! сколько творческих мыслей тут могут развиться!»[4]

---

[1] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни, с. 680.

[2] В. В. Григорьев. История Санкт-Петербургского университета, 1870. Ссылки, примеч. и доп., с. 8.

[3] Н. Устрялов. Воспоминания о моей жизни, с. 680.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 428—429.

ПУШКИН В БИБЛИОТЕКЕ ВОЛЬТЕРА

В составе библиотеки Вольтера, хранящейся ныне в Ленинграде, стоят и сейчас пять фолиантов в переплетах коровьей кожи, в которых содержатся рукописные исторические материалы о Петре, собранные Вольтером. Они, как помнит читатель, вместе с купленной Екатериной II библиотекой Вольтера привезены были после смерти его в Петербург, и вслед за тем библиотека Вольтера помещена была в императорском Эрмитаже.

24 февраля 1832 года Пушкин обратился через Бенкендорфа к царю с просьбой «о дозволении» ему «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его «Истории Петра Великого»[1]. Пять дней спустя Бенкендорф извещал Пушкина, что он доложил его просьбу «государю императору, и его величество всемилостивейше дозволил» Пушкину «рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера» (о чем и сообщено министру императорского двора)[2]. Таким образом, для Пушкина сделано было исключение, поскольку Николай I, как известно, строжайше запретил кому бы то ни было читать книги Вольтеровой библиотеки и делать из них выписки. Пушкин был единственным русским читателем, которому удалось в то время преодолеть этот запрет[3].

О содержании сохранившихся в библиотеке Вольтера исторических материалов Пушкин знал, как уже сказано, из напечатанной переписки Вольтера с Шуваловым[4].

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 14.

[2] Там же, с. 15.

[3] См.: В. Люблинский. Библиотека Вольтера. — «Исторический журнал», 1945, № 1—2, с. 85.

[4] В 1961 г. вышел в свет каталог книг, входящих в состав библиотеки Вольтера, хранящейся в Ленинграде (с содержательной вступ. статьей академика М. П. Алексеева): «Библиотека Вольтера». М.—Л., 1961. «Описание рукописной части фонда библиотеки Вольтера не входит в задачу каталога», — указывается в нем (с. 84). Обозрение рукописных материалов, относящихся к истории России при Петре I, сохранившихся в библиотеке Вольтера, содержится в кн.: Р. Минцлов. Петр Великий в иностранной литературе. Подробный каталог иностранных сочинений о России... СПб., 1872 (*на франц. яз.*).

В одном из своих писем Вольтер сообщал, что помимо материалов, полученных им из России, он «собирал рукописи по всей Европе и встретил помощь, на какую не смел и надеяться». «По счастливой случайности, — указывает он в этом же письме, — я получил мемуары послов» (аккредитованных при дворе Петра I)[1]. Таким образом, Пушкин мог рассчитывать найти в библиотеке Вольтера помимо русских материалов записки иностранных послов при петровском дворе.

Насколько недоступными оставались для историков материалы, собранные Вольтером, можно судить по замечанию, сделанному Устряловым во введении к «Истории царствования Петра Великого»; он считал, что материалы, посланные Вольтеру, пропали. «Не жаль потери золотых медалей и дорогих мехов (присланных из России в подарок Вольтеру. — *И. Ф.*), — пишет он, — но жаль материалов, которые частию посланы были в подлиннике и утратились невозвратно»[2]. Слова Устрялова могут быть объяснены только тем, что он был введен в заблуждение: не желая допустить историка к интересовавшим его рукописям, министерство двора, по-видимому, сообщило ему, что материалы эти не сохранились.

Третьего марта 1832 года Придворная контора по предписанию министра императорского двора известила академика Е. Е. Келлера, начальника 1-го отделения Эрмитажа, о том, что Пушкин «допущен по высочайшему повелению к занятиям в библиотеке Вольтера»[3]. «Несомненно, что именно с Е. Е. Келлером Пушкин и имел дело, посещая Эрмитаж для своих занятий», — пишет Л. Модзалевский, комментируя это письмо, и добавляет: «К сожалению, нам неизвестно, когда и сколько раз он там был. Известно только, что библиотеку Вольтера он рассматривал 10 марта, о чем оставил запись в своей записной книжке»[4].

В этой записной книжке[5] уцелел рисунок Пушкина, изображающий статую Вольтера работы Гудона, которую Николай I приказал поставить в никем не посещаемую библиотеку Вольтера. (Под рисунком этим Пушкин и сделал помету: «10 марта 1832 г. Библиотека Вольтера».)

Кроме рисунка в записной книжке Пушкина сохранилось несколько кратких, беглых заметок. «Ни одна из них, — пишет Д. Якубович, рассматривая эти заметки в своей статье «Пушкин в библиотеке Вольтера», — не оправдывает мотивировки,

---

[1] Письмо от 9 ноября 1761 г.

[2] Н. Устрялов. История царствования Петра Великого, т. I, с. XL.

[3] Отношение Придворной конторы по 2-й экспедиции от 3 марта 1832 г., № 22. — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 910.

[4] Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 480—481.

[5] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 840.



Статуя Вольтера работы Гудона.
Рисунок, сделанный Пушкиным в библиотеке Вольтера 10 марта 1832 г.

данной Пушкиным для получения права входа в Эрмитаж. Все они, наоборот, нисколько не связаны со строгими занятиями официального историка. Несомненно, — замечает названный исследователь, — были здесь и другие работы и иные, более значительные, важные и обширные записи, выписки. Вероятно, прежде всего, чтобы оправдать свое официальное заявление, обращался Пушкин к петровским богатым материалам»[1]. Но сам Д. Якубович ограничился, как сказано, изучением только беглых, побочных по отношению к этим петровским материалам заметок Пушкина. «Надо полагать, — говорит

[1] «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 920.

он в своей статье, — что многое из материалов, оставшихся в бумагах Пушкина после его смерти, еще будет приведено в связь с библиотекой Вольтера». Какие именно материалы имел он при этом в виду, недостаточно ясно. Между тем необходимо поставить вопрос, основной для нас: ознакомился ли Пушкин в библиотеке Вольтера с интересовавшими его историческими материалами о Петре? И если ознакомился, то что нашел в них?



Вольтер.
Рисунок Пушкина. 1836 г.

В академическом издании сочинений Пушкина вслед за «Историей Петра» напечатан сохранившийся в бумагах Пушкина «Хронологический перечень главных событий царствования Петра I», представляющий собой список, сделанный Пушкиным с французской рукописи, находящейся среди бумаг библиотеки Вольтера; документ этот был составлен для Вольтера в России «историком Миллером лично или под его наблюдением»[1].

В этом переписанном Пушкиным «хронологическом перечне» содержатся среди прочего ссылки на сочинения современников Петра — Корба и де Бруина, — издавших записки о петровском времени, с которыми Пушкин ознакомился. Но особенно важное значение этот перечень приобретает для нас потому, что он является прямым доказательством использования Пушкиным петровских материалов, сохранившихся в библиотеке Вольтера. Эта сделанная Пушкиным обширная выписка является единственной дошедшей до нас. Но возможно ли предположить, что, получив доступ ко всем пяти томам материалов по истории Петра, собранных Вольтером, Пушкин прочел из них один только переписанный им перечень и тем ограничился, не обратив внимания на все остальное?

Рукописные материалы, о которых мы говорим, переплетены в пять томов и легко обозримы. Пушкин знал об их ценности. Перед ним были не только малодоступные другим историкам источники, уже собранные в коллекцию, — рукописи, лежавшие перед ним, соединяли всю заманчивость редкости с доступностью книги, ибо записки современников Петра, в том числе

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 443—445; перевод — с. 492—502, примеч. — с. 488—489

№ 6.

Abrégé chronologique

des événements les plus remarquables du règne de Pierre I

Naissance de Pierre le grand 30 mai 1672.

Mort du Tsar Al. Mich. 30 Janvier 1676

1682.

Mort du Tsar Fedor Alex. 27 avril

Pierre I nommé successeur au trône

Conspirations des Strelets

Les Tsars Iwan et Pierre Alex. regnent ensemble

Couronnement de l'un & de l'autre 25 juin

Les deux Tsars se refugient pour la premiere fois au monastère de Troitza à cause de la conspiration des Strelzes 2 septembre

1683

Création des deux regiments aux gardes Preobrajenski et Semenofskoi, sous prétexte d'amuser les Tsars

Nombre de Strelzes envoyés en exil.

1684

mariage du Tsar Iwan Alex. avec Prascovia Fedorovna Soltikof 9 janvier

Arrivée d'un Embassadeur Imperial à Moscou, ainsi de mai

1685

Les Tsars se retirent pour la second fois au Mon. de Troitza à cause de la rebellion des Strelzes

1686

Paix avec la Pologne

Départ du Boyard Boris Petrovitsch Scheremetof pour l'Ambassade de Vienne et autres lieux.

Переписанный Пушкиным в библиотеке Вольтера «Хронологический перечень главных событий царствования Петра I» (на французском языке).

Первая страница. Фрагмент.

и записки, написанные по-немецки, были переведены для Вольтера на французский язык, которым Пушкин так блестяще владел, и каллиграфически переписаны; чтение их не требовало поэтому от Пушкина ни большого труда, ни чрезмерной затраты времени. Следует добавить, что важнейшие из записок, собранных Вольтером, не могли не обратить на себя внимание Пушкина уже своим внешним видом. Две рукописи должны были сразу же привлечь его внимание.

Это прежде всего записки Бассевича, рассказывающего о чрезвычайно интересовавших Пушкина событиях, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Вольтер, как было известно Пушкину, основывается в своей книге о Петре на записках Бассевича, но до последней крайности смягчает его рассказ. Пушкин, касаясь в своей «Истории Петра» казни Монса, счел нужным, что важно для нас, отметить: *«Вольтер ссылается на Бассевича... бывшего тогда в Петербурге»* (458). Рукописью записок Бассевича открывается третий том материалов Вольтера.

Во втором фолианте обращает на себя внимание роскошная по своему виду рукопись: «Анекдоты о русском дворе и царствовании Петра I и его второй супруги Екатерины». Автором ее назван на титульном листе Вильбуа — «командир русской эскадры». Авторство последнего давно уже поставлено под сомнение: в литературе, посвященной изучению источников петровского времени, было высказано предположение, что действительным автором этих записок являлся французский посол при дворе Петра I Кампредон.

Но независимо от вопроса о том, кто является в действительности автором этих исторических анекдотов о Петре и Екатерине, независимо даже от степени достоверности всех рассказов, входящих в их состав, несомненно, что рукопись, о которой мы говорим, содержит в себе рассказы очевидца, имевшего возможность следить в последние годы царствования Петра за отношениями, сложившимися между Петром и Екатериной. В рукописи этой много занимательных, а отчасти и достоверных сведений и черт, характеризующих петровский двор. Она должна была тем более заинтересовать Пушкина, что на ней основывались Кастера и Сегюр, писавшие о деле Монса, рассказ которых Пушкин получал возможность сопоставить с рукописью, содержавшей мемуары, которые являлись для этих французских историков главным источником.

Сказанное не означает, конечно, что Пушкин оставил без внимания остальные материалы, собранные Вольтером[1], но мы

---

[1] В упомянутой уже вступительной статье («Библиотека Вольтера в России») академик М. П. Алексеев коснулся вопроса о возможности знакомства Пушкина с рукописными материалами о Петре, собранными Вольтером, упомянув о соображениях и выводах, изложенных нами в предыдущих изданиях настоящей книги (см. «Библиотека Вольтера», с. 48).



Вольтер. Под ним автопортрет Пушкина.
Рисунок Пушкина. 1825 г.

остановимся только на записках Бассевича и «Анекдотах» Вильбуа и постараемся показать, что́ именно Пушкин имел возможность почерпнуть в них.

Записками Бассевича (министра герцога Гольштейнского, указывает Пушкин в «Истории Петра») начинается третий из фолиантов Вольтера, и на рукопись эту, как сказано, невозможно не обратить внимания даже при беглом ознакомлении с этим фолиантом.

Письмо Вольтера Шувалову от 8 июня 1761 года, из которого видно, что он считал нужным использовать мемуары Бассевича, отмечено в собрании сочинений Вольтера закладкой Пушкина. Уже по всему этому трудно сомневаться в том, что Пушкин, увидев среди бумаг Вольтера рукопись записок Бассевича, прочел ее. Но дело не сводится только к внешним данным, указывающим на возможность знакомства Пушкина с рукописью Бассевича, точнее говоря — с французским извлечением из нее, сохранившимся в бумагах Вольтера.

Рассказав в своих записках о борьбе сторонников возведения на престол малолетнего Петра — сына царевича Алексея (стремившихся к восстановлению допетровских порядков) против партии Меншикова и Екатерины, Бассевич пишет: «Меншиков, Бассевич и кабинет-секретарь Макаров в присутствии императрицы после того с час совещались о том, что оставалось еще сделать, чтобы уничтожить все замыслы против ее величества...

Император скончался на руках своей супруги утром на другой день... Сенаторы, генералы и бояре тотчас же собрались во дворец...» Бассевич сказал Ягужинскому: «Уведомляю вас, что казна, крепость, гвардия, Синод и множество бояр находятся

в распоряжении императрицы». «Передайте это тем, в ком вы принимаете участие, и посоветуйте им сообразоваться с обстоятельствами, если они дорожат своими головами...» Весть эта быстро распространилась между присутствующими. Когда Бассевич увидел, что она обежала почти все собрание, он подошел и приложил голову к окну, что было условленным знаком, и вслед за тем раздался бой барабанов обоих гвардейских полков, окружавших дворец...»

Меншиков говорил сначала от имени императрицы, а потом отвечал ей от имени собравшихся. «Все целовали ей руку, а затем открыты были окна. Она показалась в них народу, окруженная вельможами, которые восклицали: «Да здравствует императрица Екатерина!» Офицеры заставляли повторять эти возгласы солдат, которым князь Меншиков начал бросать деньги пригоршнями...»[1]

Записки Бассевича были бесспорно важнейшим источником для историков, изображавших смерть Петра и воцарение Екатерины. Они были опубликованы в 1775 году Бюшингом в издававшемся им в Германии «Сборнике новой истории и географии»[2]. В книге, изданной в 1831 году в Петербурге под названием «Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления Елисаветы Петровны — сочинение А. Вейдемейера», в первой же главе, где описывается смерть Петра, автор ссылается на записки Бассевича, приводя «подробности вступления на престол Екатерины I, изложенные большею частию по запискам графа Бассевича, очевидца сего происшествия и одного из главных действовавших в оном лиц»[3]. Изложение записок Бассевича в этой книге, однако, смягчено.

Голиков в «Деяниях Петра Великого» утверждает, будто сам он не знал действительных обстоятельств, сопровождавших возведение на престол Екатерины I, ибо, говорит он, я «не имею точных о сем в собрании моем записок»[4]. Поэтому он также приводит основанный на записках Бассевича, но бледный, как мы уже говорили (то есть чрезвычайно смягченный), рассказ Вольтера, чем и ограничивается.

Пушкин, в отличие от этого, изобразив в своей «Истории»

---

[1] См. рукописные материалы для «Истории России в царствование Петра Великого», т. III, л. 95—100, хранящиеся в составе библиотеки Вольтера в Гос. Публ. биб-ке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Перевод дан по изд.: Записки о России при Петре Великом, извлеченные из бумаг графа Бассевича. М., 1866, с. 176—177 и 180—181.

[2] Однако данными о том, что эта публикация была известна Пушкину, мы не располагаем.

[3] См. с. 3, 5, 6 и 14. Книга эта сохранилась в библиотеке Пушкина, но разрезано в ней лишь немногое. См.: Б. Л. Модзалевский. Библиотека А. С. Пушкина, Библиогр. описание. — Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1910, с. 19.

[4] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. IX. М., 1789, с.204

смерть Петра, кратко и вместе резко указывает: «Екатерина провозглашена императрицей (велением Меншикова, помощию Феофана и тайного советника Макарова)». В этой краткой записи, которую Пушкину предстояло еще, конечно, развернуть в исторический рассказ, отразилась осведомленность Пушкина о действительном ходе событий, представленных Вольтером в его книге в столь смягченном виде, что даже Голиков счел возможным привести в своем апологетическом своде эти страницы Вольтера.

Резкость пушкинских строк объясняется не тем только, что он «обострял выражения» Вольтера и Голикова, а тем, что осведомленность его о событиях, сказавшаяся в «Истории Петра», основывалась по всем данным на знакомстве с записками Бассевича, найденными Пушкиным в библиотеке Вольтера. В записках этих, несмотря на то что Бассевич являлся сторонником Екатерины и Меншикова, роль последнего представлена, как мы видели, с достаточной ясностью. И не случайно Анненков, напечатавший в свое время пушкинский рассказ о смерти Петра, принужден был исключить из него строки Пушкина, говорящие о том, что Екатерина провозглашена была императрицей «велением Меншикова...».

В «Записках», приписываемых Вильбуа, «командиру русской эскадры», содержатся сведения о чрезвычайно интересовавшем Пушкина деле Монса[1].

Екатерина, говорится в этой рукописи, достигнув всего, что только доступно честолюбию, изменила Петру, вступив в связь с камергером своего двора Монсом. Автор записок говорит, что он подозревал об этой любви, имея возможность видеть Екатерину и Монса вдвоем, хотя не был никем предупрежден об их романе.

Увидев Екатерину и Монса в обществе, то-есть в кругу придворных, он окончательно убедился в правильности своих подозрений.

Когда Екатерина почувствовала, что ее ожидает, как сказано в записках, падение с высоты трона в пропасть, она испугалась и захотела прибегнуть к содействию графа Толстого и графа Остермана. Ибо царь, получив неопровержимые доказательства неверности Екатерины, желал судебного процесса, стремясь открыто погубить ее. Он говорил о своем плане с Толстым и Остерманом; тот и другой бросились на колени, стремясь отговорить Петра. Они доказывали, что разумнее будет скрыть происшедшее, иначе невозможен станет брак дочерей Петра —

[1] См. рукописные материалы для «Истории России в царствование Петра Великого», собранные Вольтером, т. II, с. 56—60 по пагинации, данной переписчиком. Извлечение из этой рукописи было издано в Лондоне в 1870 г. под названием «Anecdotes secrétes de la cour du Czar Pierre le Grand et de Catherine son epouse...». Но сведений о том, что Пушкин был знаком с этим редким изданием, у нас нет.

Анны и Елизаветы, которые должны были вскоре вступить в супружество с европейскими принцами.

Петра удалось удержать от задуманного им мщения, и он отомстил иначе: публично отрубив голову любовнику Екатерины (Монс был осужден за должностные преступления, действительно им совершенные).

Автор «Записок» рассказывает, что обезглавленный труп Монса выставлен был на площади вместе с его отрубленной головой и Петр заставил Екатерину проехать вместе с ним в открытых санях мимо самого эшафота. Петр глядел на нее пристально, но Екатерина сумела удержаться от слез и скрыть свои чувства.

В записках рассказывается о приступе ярости, овладевшей Петром, но автор отвергает предположение, что Екатерина отравила Петра; он указывает, что Петр умер от давней своей болезни.

Бассевич в своих «Записках» также упоминает о том, что Петр провез Екатерину мимо столба, к которому пригвождена была голова Монса, но умалчивает о том, что Екатерина и Монс (сторонником которых был Бассевич) находились между собой в тайной связи. «Завистники, — пишет он, — очернили в глазах императора» отношения к императрице сестры Монса госпожи Балк и ее брата.

Вольтер, знавший и рукопись, приписываемую Вильбуа, и записки Бассевича, не решился рассказать в своей книге действительную историю казни Монса. Он глухо говорит о «семейственных печалях, которые, может быть, причинили» смерть Петру; пишет, что «у Екатерины был один молодой камергер — Монс де ля Круа, родившийся в России от фамилии фландерской», который «был очень пригож», пишет, что Монс и сестра его посажены были в тюрьму «за то, что они принимали подарки», несмотря на то что это запрещено было чиновникам под страхом смертной казни. «Монса, — сообщает Вольтер, — присудили на смерть, а его сестре — любимице императрицы, определили одиннадцать ударов кнутом...»[1] Голиков в «Деяниях Петра Великого» о действительной причине казни Монса, разумеется, также умалчивает.

В печати о деле Монса рассказывал Кастера, основываясь на рукописи, приписываемой Вильбуа, и упрекая Вольтера в своей «Истории Екатерины II» за то, что прославленный писатель не решился использовать источники, которыми располагал. Позднее о казни Монса и разрыве Петра с Екатериной писал, как мы уже упоминали, Сегюр в своей «Истории России и Петра Великого».

Пушкин же в своей «Истории Петра I» говорит:

[1] Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого, ч. II, кн. 2, 1809, с. 128—129.

«В сие время камергер Монс де ла Круа и сестра его Балк были казнены. Монс потерял голову; сестра его высечена кнутом. Два ее сына — камергер и паж — разжалованы в солдаты. Другие оштрафованы.

Императрица, бывшая в тайной связи с Монсом, не смела за него просить, она просила за его сестру. Петр был неумолим».

И, как помнит читатель, продолжает:

«Оправдалась ли Екатерина в глазах грозного супруга? По крайней мере ревность и подозрение терзали его. Он повез ее около эшафота, на котором торчала голова несчастного. Он перестал с нею говорить, доступ к нему был ей запрещен. Один только раз, по просьбе любимой его дочери Елизаветы, Петр согласился отобедать с той, которая в течение 20 лет была неразлучною его подругою...» (458)

Пушкин был прекрасно осведомлен о деле Монса и об обстоятельствах, сопровождавших смерть Петра и воцарение Екатерины I. Он основывался, видимо, не только на печатных источниках и знаком был с рукописными мемуарами, которые прочел в библиотеке Вольтера.

ПАРИЖСКИЕ БУМАГИ

Даже в предшествовавший дуэли последний месяц Пушкин продолжал работать над своей «Историей Петра». В конце декабря 1836 года он сообщал, что «Петр Великий» отнимает у него «много времени». Ему удалось преодолеть в начале работы недоступность секретных исторических материалов, хранившихся в русских государственных архивах. Ознакомиться с историческими документами, находившимися в иностранных архивах, Пушкин, которого Николай I не выпускал из России, казалось, не мог.

Между тем изучение приведенных нами в начале книги записей Александра Тургенева, содержание которых оставалось нераскрытым, показывает, что незадолго до своей смерти Пушкин получил, как мы уже говорили, возможность ознакомиться с донесениями французских послов при дворе Петра I и его ближайших преемников и другими чрезвычайно интересными историческими материалами, которые А. И. Тургенев извлек из парижских архивов и в 1836 году доставил в Петербург.

Публикуя извлечения из дневника А. И. Тургенева за время с 25 ноября 1836 года по 19 марта 1837 года в своей книге «Дуэль и смерть Пушкина», П. Щеголев отмечал, что ему с самого начала работы «была ясна ценность записей Тургенева, относящихся ко времени преддуэльному, но необычайная трудность чтения тургеневского почерка помешала использованию дневника в широком объеме»[1]. Подготавливая новое издание своей книги, исследователь, как ему казалось, извлек из него все, что могло бы иметь какое-либо касательство к Пушкину.

Замечательные по своему содержанию и объему дневники Александра Ивановича Тургенева, те «журналы-фолианты», в которые он день за днем, из года в год «прилежно записывал каждый свой шаг, каждую встречу, каждое слово, им слышан-

[1] П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 272.

ное»[1], остаются, к сожалению, до сих пор в своей большей части неизданными[2]. Трудность чтения их объясняется, однако, как нам кажется, не столько особенностями тургеневского почерка, сколько тем, что Тургенев записывал многое для самого себя, часто не раскрывая ясного ему значения букв и кратких упоминаний, какими он обозначал в своем дневнике имена, события и собранные им исторические материалы.

Используя затем в письмах свои краткие записи, Тургенев нередко сам раскрывает их содержание. В других случаях понять записи, сделанные им в дневнике, помогают многочисленные документы, сохранившиеся в тургеневском архиве. К числу поддающихся раскрытию тургеневских записей относятся и записи его от 9 и 26 января 1837 года, говорящие о «французских», или «парижских», бумагах и выписках, показанных им Пушкину.

Обратившись к подлинному дневнику А. И. Тургенева за 1836—1837 годы, мы обнаруживаем между записями от 5 и 7 марта 1837 года неопубликованное черновое письмо его к Павлу Ивановичу Кривцову[3], определяющее, какие «французские бумаги» привез в Россию А. И. Тургенев в 1836 году из Парижа. Я приехал, пишет он, с «богатыми и важными приобретениями, в Парижских архивах мною сделанными: особливо в Архиве Мин[истерства] ино[странных] дел, где я списал почти все, относящееся до России, с оригинальных бумаг, начиная с первых сношений наших с Францией прежде Петра 1 — до первых двух годов царствования им[ператрицы] Ел[изаветы] Петр[овны] включительно»[4].

Обнаруженный нами среди бумаг тургеневского архива документ под названием *«Выписки из архива французского Министерства иностранных дел»*[5] представляет собой (как можно убедиться, сопоставив его с приведенным выше письмом Тургенева к Кривцову) более развернутое описание этих привезенных Тургеневым из Парижа в 1836 году исторических материалов.

Касаясь этих «французских бумаг», А. И. Тургенев в том же 1836 году писал А. И. Булгакову: «Вот третий пакет... В нем и полпуда нет, хотя полвека нашей истории в нем уписалось»[6].

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, с.482.

[2] Записи А. И. Тургенева, относящиеся к Пушкину, за 1831—1834 г. опубликованы теперь М. Гиллельсоном в журн. «Русская литература» (1964, № 1, с. 125—134). Им же подготовлено ценное издание: А. И. Тургенев. Хроника Русского. Дневники (1825—1826). М., 1964.

[3] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 316, л. 77-об., 78 и 78-об.

[4] Там же, л. 78.

[5] Там же, ф. 309, № 1135. Ниже мы приведем в извлечении этот интересный документ, сохранившийся в копии, писанной рукой неизвестного нам переписчика.

[6] Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 194.

Доставленные им в Петербург «драгоценные донесения иностранных резидентов о царствованиях Петра I» и его ближайших преемников «прольют свет на эту часть нашей истории», — писал в «Воспоминании об А. И. Тургеневе» М. Погодин[1]. «А. И. Тургеневу, — заметил в «Опыте русской историографии» В. Иконников, — принадлежит честь первого систематического извлечения документов о России из французских архивов»[2].

В продолжение многих лет путешествуя по Европе, он имел случай обозреть знаменитейшие библиотеки и хранилища рукописей; всюду старался отыскивать письменные памятники, относящиеся к русской истории; не щадил ни трудов, ни издержек на собирание их», — читаем мы в предисловии к появившемуся еще при жизни его «Обозрению известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым из разных актов и донесений французских посланников при русском дворе». «В одном Парижском архиве найдено им девятнадцать фолиантов дипломатических сношений Франции с Россиею, принадлежащих к царствованию Петра Великого, и еще три фолианта объемлют сношения от вступления на престол Екатерины I до ее кончины[3]. К этому можно добавить, что одни только относящиеся к 1740—1742 годам донесения французского посла в Петербурге маркиза де ля Шетарди, извлеченные в 1836 году А. И. Тургеневым из архива французского министерства иностранных дел, привезенные им в Россию и изданные позднее в русском переводе, составили целую книгу[4].

А. И. Тургенев начал свою службу вместе с другими тогдашними «архивными юношами» — Блудовым, Вигелем, братьями Булгаковыми — в Московском архиве Коллегии иностранных дел; здесь развился в нем впервые глубокий интерес к русской истории и ее источникам. «Он любил, — писал об Александре Ивановиче с вольностью давнего друга Вяземский, — присваивать себе, натурою или списыванием, все возможные бумажные редкости и драгоценности. Недаром говорили в Арзамасе (ибо всем участникам этого литературного общества давались шутливые прозвища. —*И. Ф.*), что он не только *Эолова арфа*... но что он и *«две огромные руки»*, как сказано в одной из баллад Жуковского. В самом деле это не две, а сотни... рук захватывали направо и налево, вверху и внизу все мало-мальски замечательные рукописи, исторические, политические, литературные и т. д.»[5].

---

[1] «Русский архив», 1910, кн. 3, с. 461.

[2] В. Иконников. Опыт русской историографии, т. I, кн. 2. Киев, 1892, с. 1492.

[3] «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, январь, отд. II, с. 2—3.

[4] Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов. Перевод рукописных депеш франц. посольства в Петербурге. Издал с примеч. и доп. П. Пекарский. СПб., 1862.

[5] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 282—283.

А. И. Тургенев был не только страстным любителем и добытчиком рукописей, знатоком и издателем русских исторических источников. «Науки оставались любимым его занятием», — свидетельствовал М. Погодин, добавляя: «Карамзин с тех пор, как начал писать Историю, все нужные для себя книги получал посредством Тургенева, который посылал ему иные даже без его указания и тем содействовал очень много успеху его труда»[1]. Тургенев «был самым верным исполнителем его поручений» и «сообщал ему всякие новости... об исторических сочинениях и предприятиях по всей Европе»[2].

По первому слуху о том, что «Пушкин назначен историографом Петра Великого», Тургенев вызвался помогать ему, как раньше помогал Карамзину. В 1831 году он, как уже упоминалось, сообщал Жуковскому, что Пушкину следует воспользоваться списком дневника Патрика Гордона, случайно купленным Тургеневым в Лондоне. Позднее он в печати заметил: «Возвращая рукопись сию России, желаю, чтоб она послужила материалом для будущего историка преобразований Петра I»[3]. Работа Тургенева во французских архивах чрезвычайно интересовала Пушкина. Письма из Парижа, в которых Тургенев много внимания уделял своим архивным разысканиям, читались в присутствии Пушкина на субботах у Жуковского. А когда начал издаваться «Современник», Пушкин стал широко печатать в своем журнале парижские письма-корреспонденции Тургенева.

В Петербург Тургенев возвратился в конце ноября 1836 года, и два последних месяца своей жизни Пушкин провел в самом тесном общении с ним. «Пушкин мой сосед. Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое было прежде столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы», — писал А. И. Тургенев через месяц по приезде в Петербург[4]. «Я видался с ним почти ежедневно», — сообщал он брату Николаю 31 января 1837 года[5]

Пушкин был очень откровенен с Александром Тургеневым. Еще в 1831 году он читал ему отрывки из сожженной части своего «Онегина», «где он описывает, — как сообщал затем

[1] Воспоминания М. П. Погодина об А. И. Тургеневе. — «Русский архив», 1910, кн. 3, с. 461.

[2] М. Погодин. Н. М. Карамзин. Материалы для биографии, ч. II. М., 1866, с. 319.

[3] «Современник», 1837, кн. V, с. 32.

[4] Письмо к Е. А. Свербеевой от 21 декабря 1836 г. (оригинал по-французски) («Московский пушкинист», вып. 1. М., 1927, с. 23—24).

[5] Письмо от 31 января 1837 г. — «Новые материалы для биографии Пушкина (из Тургеневского архива)». Публ. А. А. Фомина (Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 59)

А. И. Тургенев брату, — возмущение 1825 года». «В этой части, — пояснил Александр Иванович, — у него есть прелестные характеристики России и русских, но она останется надолго под спудом»[1]. К истории восстания 14 декабря Пушкин и Тургенев возвращались в своих беседах и в последние месяцы жизни поэта[2].

Через год после того, как Николай I зачеркнул ряд стихов в рукописи «Медного всадника», а против других поставил вопросительные знаки, Пушкин прочел А. И. Тургеневу свою поэму, и тот сообщил 24 октября 1834 года Вяземскому: «Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена и потому не печатается. Пугачевщина уже напечатана и выходит»[3]. «Само по себе разумеется, что Пугачев явится к вам первому, как скоро выйдет из печати», — писал незадолго до этого Пушкин Тургеневу[4]. В декабре 1836 — январе 1837 года, свидетельствуют записи в дневнике А. И. Тургенева, он беседовал с Пушкиным о новой истории России и источниках ее не однажды. И счел возможным ознакомить поэта с материалами о Петре Великом, извлеченными им только что из парижских архивов.

«Он занимался на Западе извлечением из государственных архивов документов и актов, касающихся русской истории, — заметил П. Щеголев об А. И. Тургеневе, — и в гораздо большей мере, чем кто-либо из петербургских приятелей, мог соответствовать историческим интересам Пушкина»[5]. Но ни Щеголев, опубликовавший извлечения из дневника А. И. Тургенева за время с 25 ноября 1836 года по 19 марта 1837 года[6], ни Сабуров в своем очерке, посвященном А. И. Тургеневу[7], к сожалению, не обратили внимания на свидетельства тургеневского дневника, относящиеся к данной теме.

9 января 1837 года Тургенев, как помнит читатель, записал: «Я зашел к Пушкину... Потом он был у меня и мы рассматривали фр[анцузские] бумаги...» 26 января Тургенев снова записывает: «Я сидел до 4-го часа, перечитывал мои письма» (это были, как увидим, письма о работе в парижских архивах, которые печатались в пушкинском «Современнике». — *И. Ф.*), а затем

---

[1] Письмо А. И. Тургенева от 11 августа 1832 г. (В. М. Истрин. Из документов архива братьев Тургеневых. — «Журнал Министерства народного просвещения», 1913, кн. 3. отд. 2, с. 16—17).

[2] См. записи в дневнике А. И. Тургенева от 15 декабря 1836 г. и от 9 января 1837 г. (П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 278—285).

[3] «Остафьевский архив», т. III. СПб., 1899, с. 262.

[4] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 189.

[5] П. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 272.

[6] Там же. «Из дневника А. И. Тургенева», с. 272—300. В дальнейшем, ссылаясь на данную публикацию, имеем в виду названное издание труда П. Щеголева.

[7] См.: Письма Александра Тургенева Булгаковым. Вступительная статья и комментарии А. А. Сабурова. М., 1939.

говорится: «Успел только прочесть Пушкину выписку из пар[ижских] бумаг...»[1]

Записи эти показывают, что знакомство Пушкина с работой Тургенева во французских архивах не ограничилось чтением тургеневских писем-корреспонденций: Тургенев ознакомил Пушкина с содержанием наиболее интересовавших его «парижских бумаг» прежде, чем представил их Николаю I.

Работа А. И. Тургенева в иностранных архивах не только обогащала русскую науку новыми историческими источниками, но и должна была оправдать слишком частое, на взгляд царя, пребывание А. И. Тургенева за границей. Александр Иванович, как известно, не отрекся от брата Николая, который, находясь во время восстания 14 декабря за пределами России, отказался явиться по вызову Николая I в Петербург и за участие в движении декабристов был заочно приговорен к смертной казни. Александр Тургенев не однажды ездил к брату и доставлял ему из России средства к существованию. Поэтому, когда Александр Иванович возвратился в 1836 году в Петербург с материалами, извлеченными из парижских архивов, при дворе его встретили с настороженностью.

Собираясь представить Николаю I «парижские бумаги», он готовил, кроме того, для царя «экстракт», или «записку», содержащую извлечения из них, сопровождаемую кратким обозрением этих исторических материалов. «Записка» должна была заключить в себе все наиболее интересное из привезенных Тургеневым бумаг, которые становились благодаря ей легко обозримыми. Составлением такой «записки» он и занялся в Петербурге с помощью уже известного нам К. С. Сербиновича.

25 января 1837 года, возвратившись домой, Александр Иванович «нашел записку из дел Сербиновича»[2] (о которой через несколько дней в письме к брату заметил: «Записка почти готова из рукописей»[3]). Эту «почти готовую» «выписку из парижских бумаг Серб[иновича [, кот[орый], — поясняет Тургенев, — затем был у меня и унес их», он и «успел... прочесть Пушкину» накануне дуэли[4].

На другой день после нее, 28 января, Александр Иванович писал сестре, как 27-го на вечере у князя Щербатова услышал он, «что Пушкин ранен, и очень опасно». «Я все не думал о поэте Пушкине, — говорит Тургенев, — ибо видел его накануне, на бале у графини Разумовской, накануне же, т. е. третьего дня, провел с ним часть утра; видел его веселого, полного жизни... Третьего и четвертого дня также я провел с ним большую часть

[1] Из дневника А. И. Тургенева. Записи от 9 и 26 января 1837 г.

[2] Из дневника А. И. Тургенева. Запись от 25 января 1837 г.

[3] А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 31 января 1837 г. (Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 60).

[4] Из дневника А. И. Тургенева. Запись от 26 января 1837 г.

Записка Пушкина Александру Тургеневу от 26 января 1837 г.
«Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов».

утра, мы читали бумаги, кои готовил он для пятой книжки своего журнала»[1].

25-го утром, стало быть, Тургенев занят был с Пушкиным чтением писем, говоривших о работе в парижских архивах (которые появились на страницах «Современника» после смерти поэта), а на другой день, 26-го утром, Тургенев прочел ему свою выписку из «парижских бумаг».

«Выпиской из парижских бумаг» и самими бумагами Тургенев продолжал заниматься и 31 января, в день, когда он вместе с другими друзьями поэта перевез его гроб в Конюшенную церковь, где пропели «за упокой», и 2 февраля, когда Тургенев «рано поутру» отправил в Париж с д'Аршиаком, секундантом Дантеса, письмо о смерти Пушкина. В этот день, записал Александр Иванович, «Жуковский приехал ко мне с известием, что государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его». Вслед за тем мы читаем: «К Сербиновичу: условились о бумагах...»[2]. Это были все те же «парижские бумаги».

Похоронив в Святых Горах Пушкина, А. И. Тургенев возвратился в Петербург и передал через князя А. Н. Голицына царю свои «бумаги» и «записки». Сообщая об этом брату, Александр Иванович писал: «11 февраля представил мои портфели с Римскими и Парижскими бумагами князю и прочел ему сделанные из них Сербиновичем каталоги и записки»[3].

На другой же день после того, как они были представлены, царь с большой похвалой отозвался об исторических «приобретениях» А. И. Тургенева, говорил о них с Бенкендорфом и с французским послом — историком Барантом «с большим интересом» и, сообщает А. И. Тургенев в том же письме, «прочитав мои записки, начал читать самые акты»; день спустя «увидел он меня на бале у французского посла, громко подозвал меня к себе и сказал вслух, во услышание всех предстоявших... «Тургенев, благодарю тебя, очень благодарю. Я читал твои

---

[1] Письмо А. И. Тургенева А. И. Нефедьевой от 28 января 1837 г. (Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 48).

[2] Из дневника А. И. Тургенева. Записи от 31 января и 2 февраля 1837 г.

[3] Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 82—83.

бумаги с вел[иким] удоволь[ствием]... Теперь благословляю тебя; поезжай, куда хотел, но прошу тебя об одном: *другим не занимайся*»[1]. Недоверие к Тургеневу, которого царь снова отпускал за границу, исчезло не вовсе. «Один едва знакомый человек, — пишет Александр Иванович, — не слыхав и не видав, что государь говорил со мною, заметил кому-то: «Странно, что к Тургеневу все подходят и разговаривают сегодня. Прежде этого не случалось»[2].

Государь, записал тогда же в дневнике А. И. Тургенев, «хвалил мои труды, желал бы напечатать; но опасается неудовольствия со стороны французского правительства»[3]. Исторические документы, извлеченные Тургеневым из французских архивов, даже век спустя после событий, которых они касались, продолжали считать не подлежащими оглашению.

Предостерегая А. И. Тургенева и «прося» его «другим не заниматься», царь имел в виду не только связи последнего с зарубежным окружением его брата-декабриста. Николай I опасался разглашения секретных исторических материалов, компрометирующих царствующий дом.

По рассказу Герцена, издавшего за границей «Записки Екатерины II» (несмотря на принятые против этого царским правительством чрезвычайные меры), именно А. И. Тургеневу удалось в 1818 году снять копию с записок императрицы[4], и «отсюда пошли все списки, существовавшие в России». Изъятие списков началось, когда «Тургенев проговорился Николаю, что знает» эти мемуары. Список их, принадлежавший Пушкину, был изъят, как известно, после смерти поэта из его бумаг по распоряжению императора и обнаружен только в 1949 году при разборе рукописей, входивших в состав библиотеки Зимнего дворца[5].

Через несколько лет после смерти Пушкина А. И. Тургенев, продолжавший свои заграничные разыскания, был срочно вызван Бенкендорфом в Петербург, куда он немедленно выехал и где принужден был дать пространные показания. Обвинение заключалось в том, что он ознакомил князя П. В. Долгорукова с так называемыми бумагами Кальяра — секретаря французского посольства в Петербурге, относящимися к первым годам царствования Екатерины II. Эту обширную секретную в то время рукопись Тургенев приобрел за границей и в 1838 году, находясь в Петербурге, дал читать Долгорукову. Не отрицая это-

---

[1] А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 19 февраля 1837 г. (Пушкин и его современники, вып. VI, СПб., с. 83—84.

[2] Там же, с. 84.

[3] Из дневника А. И. Тургенева. Запись от 16 февраля 1837 г.

[4] Список «Записок Екатерины II», принадлежавший А. И. Тургеневу, сохранился, как мы имели возможность выяснить, среди его бумаг. Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 2001.

[5] В. Н. Шумиловым.

го, Тургенев заверял, будто он «всегда умел беречь тайну, будет уметь делать это и впредь»[1].

В действительности же Александр Иванович не относился так строго к секретным историческим материалам, которыми располагал. Он показал их вскоре по приезде в Петербург Пушкину и широко ознакомил с ними своего брата, опубликовавшего впоследствии некоторые из этих материалов в своей книге «Россия и русские». А в 1858 году в Берлине анонимно издана была книга «Русский двор сто лет тому назад», содержащая извлечения из депеш французских и английских послов в Петербурге, материалы для которой также успел в свое время подготовить А. И. Тургенев[2]. В России эта книга вышла только в 1907 году[3], но на нее был наложен арест, и по определению суда из нее вырезали некоторые страницы.

Подозрения III Отделения по отношению к А. И. Тургеневу, таким образом, были небезосновательными. А к числу заслуг последнего мы должны, как теперь выясняется, присоединить попытку ознакомить Пушкина с извлеченными из французских архивов документами, относящимися к царствованию Петра Великого.

Напечатанные в пушкинском «Современнике» письма-корреспонденции Тургенева раскрывают картину его работы в парижских архивах. Прочитав последнюю, третью часть «Хроники Русского», как были названы в «Современнике» парижские письма-корреспонденции А. И. Тургенева, Пушкин 16 января 1837 года писал ему: «Вот вам ваши письма... Думаю дать этому всему вот какое заглавие: Труды, изыскания *такого-то,* или *А. И. Т.* в Римских и Парижских архивах. Статья глубоко занимательная»[4].

В письме из Парижа от 31 мая/12 июня 1835 года, вошедшем в состав этой глубоко заинтересовавшей Пушкина «статьи» (или «Хроники»), Тургенев писал: «В самый день моего приезда я был в отделении рукописей Королевской библиотеки... Разбор оных занимает меня с того времени ежедневно».

Разрешение заниматься в архиве французского министерства иностранных дел было получено Тургеневым тогда же. «В сем архиве *старые дела,* имеющие токмо одно *историческое* достоинство, — сообщает он в том же письме, — не почитаются государственною тайною, и главный архивариус, историк Минье (Mignet) с разрешения министра обещал уже отобрать для ме-

---

[1] М. Лемке. Князь П. В. Долгоруков в России. В кн.: Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. В. канцелярии, изд. 2-е, СПб., 1909, с. 536—537.

[2] «La cour de la Russie il y a cent ans, 1725—1783». С 1858 по 1860 год она издана была на франц. яз. трижды.

[3] «Русский двор сто лет тому назад. 1725—1783». По донесениям английских и французских посланников. Первый русский перевод с берлинского изд. СПб., типография «Освобождение», 1907.

[4] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 218.

ня все бумаги, в коих могут встретиться документы по сношениям Франции с Россией в царствование Петра I и прежде его бывшим»[1].

Занявшись «сим делом с усердием, соразмерным важности и богатству сих исторических материалов»[2], Тургенев уже 22 августа/3 сентября 1835 года писал: «Вчера начал я рассмотрение 19-го фолианта, до восшествия на престол императрицы Екатерины I простирающегося»[3]. Сначала Тургеневу «одному и без писца» было «позволено в самом архиве разбирать оригинальные документы», и он должен был «рассматривать, отмечать и выписывать сам все любопытное и достопримечательное в сношениях Французского двора с Россиею»[4]. Три месяца спустя он пришел к мысли о необходимости «переписать все сии акты»[5], что в дальнейшем и было выполнено под его руководством. Но он много «работал своею рукою» («князь Голицын представлял государю и мои собственноручные толстые выписки из архива», — заметил впоследствии А. И. Тургенев)[6].

Работа его в архиве французского министерства иностранных дел продолжалась и в 1836 году.

«Я бы не огорчился нимало отставкой Тьера и Гизо, — писал он из Парижа, — если б она привела их к отставной любовнице — Истории; но вряд ли. Они останутся людьми политическими и возвратятся скорее снова к портфелям, нежели к перу»[7]. Воскресенье — приемный день и Тьера и Гизо, и Тургенев посещает их — «экс-министров» и виднейших представителей «новой школы французских историков», труды которых Пушкин хорошо знал, так же как сочинения Минье.

В связи с переменами во французском министерстве А. И. Тургенев пишет: «И для моих трудов в архиве эта перемена не без хлопот. Я должен был еще и прежде кончить работу; но не без надежды идти далее 1742 года, или по крайней мере кончить его. Теперь хотя Минье и остается главным архивистом, но кто будет министром? Да и согласится ли Минье допускать меня в архив? Я домогаться этого не буду. Они и без того едва не раскаиваются, что впустили козла в огород. — А сколько капусты! Чем дальше в лес, тем больше дров! Лес вековой, но еще полный жизни исторической!»[8]

16 февраля Тургенев сообщает: «Вчера расплатился я с писцами в архиве и унес из моей каморки все мои бумаги!»[9]

«Я разбираю теперь собранные мною в двух архивах сокро-

---

[1] «Современник», 1837, кн. V, с. 29.
[2] Там же, с. 32.
[3] Там же, с. 38.
[4] Там же, с. 32.
[5] Там же, с. 39.
[6] Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 84.
[7] «Современник», 1836, кн. I. с. 262.
[8] Там же, с. 260. (Имя Минье написано Тургеневым по-французски.)
[9] Там же, с. 272.

вища и привожу их в порядок». Тургенев замечает, что начальство архива изъяло несколько листов и отказалось выдать ему некоторые копии. Но, говорит он, «некоторые из сих бумаг известны мне по содержанию; другие я сам переписал в свои тетради, и следовательно потеря почти ничтожная...». «Все списки на большой бумаге, самой огромной величины, какую я найти мог; писано довольно мелко — и конечно более двухсот листов, а если считать все переписанное, то дойдет и до четырехсот. Сверх того есть и другие акты»[1].

Часть тургеневских материалов, писанных действительно «на большой бумаге, самой огромной величины», хранится ныне в Москве в Центральном Государственном архиве древних актов.

«История, — писал А. И. Тургенев 22 августа/3 сентября 1835 года, касаясь своей работы в парижских архивах, — представляется здесь совсем в ином виде, нежели в обыкновенных обозрениях главных событий в государствах: ясно видны тайные политические замыслы, первые, так сказать, зародыши важных исторических происшествий, пружины, коими приводили тогда в действие государственные машины; талант действовавших лиц и правила кабинетов.

Для нас, русских, рисуются тени — столь слабо обозначенные в наших собственных исторических материалах — Головкиных, Ягужинских, Меншиковых, Остерманов и, наконец, Петра, о коем говорят иностранцы: правители и министры, послы и агенты всякого рода, не всегда с равным беспристрастием, но всегда с каким-то невольным, вынужденным энтузиазмом к необыкновенному, великому... Европейские кабинеты вдруг заговорили о нем, о России уже, а не о *Московии*!»[2]

Тургеневские письма помогают установить, какие именно относящиеся к Петровской эпохе исторические материалы привез и показал Пушкину в этот свой приезд из Парижа А. И. Тургенев. Он не ограничивается в своих письмах общей характеристикой их, выделяя те донесения французских послов при русском дворе, которые показались ему наиболее интересными.

Выделяемые им — в качестве важнейших — «парижские бумаги» с еще большей точностью указаны в упомянутом уже, непубликовавшемся документе, обнаруженном нами в тургеневском архиве. «Собрание выписок из архива министерства иностранных дел, — говорится в этом, предназначенном для царя документе, — объемлет собою время с 1660 по 1742 год... Оно состоит большей частию из депешей французских, аккредитованных при Российском дворе особ, которые уведомляли свое правительство... о состоянии Российского государства, об отношениях его к прочим державам, о причинах государствен-

---

[1] «Современник», 1836, кн. 1, с. 277 и 278 (Письмо от 18 февраля 1836 г.)
[2] «Современник», 1837, кн. V, с. 40—41.

ных переворотов и даже о всех любопытных публичных и частных событиях... так что читающий сии депеши может получить верное и ясное понятие как [об] обычаях и нравах того времени, политике двора и свойствах всех приближенных к нему особ, так и о главных причинах, содействовавших возвышению России посреди самых запутанных ее дел.

Исчислять все любопытные и примечательные для истории подробности, которыми изобилуют сии выписки, было бы неудобно, и потому представляется здесь только в кратком очерке содержание тех, кои заслуживают особенное пред прочими внимание»[1].

Называя документы, представляющие наибольший исторический интерес, приводимая записка на первое место среди них ставит депеши французского посла в Петербурге Кампредона за 1725 год, касающиеся «обстоятельств смерти Петра I», «провозглашения Екатерины I императрицею» и происхождения ее. Затем названы донесения Кампредона за 1726 год, характеризующие «власть князя Меншикова», борьбу с ним его противников, а также «стремление русских вельмож к ограничению монархической власти». Далее выделены «депеши посла Маньяна» за 1727 и следующие годы. Здесь отмечены: «Выписка из завещания Екатерины» и рассказ о падении и ссылке Меншикова. Под 1729 годом отмечено «известие о смерти Толстого [Петра Андреевича], сосланного в Соловецкий [монастырь]», то есть «биографическая записка о нем датского министра, содержащая много любопытных подробностей как из жизни Толстого, так и вообще о его времени».

Что касается последующего периода, то важнейшими среди донесений записка признает депеши, сообщающие об «избрании императрицы Анны Иоанновны» и «главных пружинах нового переворота», о кондициях, то есть условиях, принятых этой императрицей, ограничивающих самодержавную власть, и последовавшем тут же «уничтожении [ею] прежних условий».

Записка кончается указанием на депеши маркиза де ля Шетарди, относящиеся к первым годам царствования Елизаветы Петровны и представлявшие, как мы знаем, на взгляд А. И. Тургенева, особый интерес (многие из этих донесений, можно заметить в скобках, в самом деле читаются как роман).

«Выписки из парижских бумаг», кратким обозрением которых является приведенная выше рукописная записка, легли в основу напечатанного еще при жизни Александра Ивановича подробного «Обозрения известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым из разных актов и донесений французских посланников и агентов при Русском дворе»[2] и «Обозрения современных известий о замечательнейших

---

[1] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 1135.

[2] «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, январь, отд. II (статья 1), с. 1—29, и март (статья 2), с. 145—183.

лицах в царствование Петра I и Екатерины I» (извлеченных Тургеневым из тех же источников)[1].

Происхождение этих печатных «Обозрений» с полной несомненностью устанавливается сохранившимся в архиве А. И. Тургенева письмом к нему К. С. Сербиновича от 1 декабря 1842 года, где читаем: «Теперь думаю напечатать в журнале министерства народного просвещения обозрение сведений, заключающихся в сделанных Вами выписках из Парижских архивов о Петре Великом»[2]. «Обозрения» эти появились действительно в редактируемом Сербиновичем журнале: они были приготовлены к печати бывшим секретарем Тургенева Борисом Федоровым, которому Александр Иванович передал свои «выписки о Петре I»[3].

«Обозрения» эти — краткое рукописное и подробное печатное — с достаточной точностью указывают, какие донесения, извлеченные Тургеневым из парижских архивов, представляли для историка наибольшую важность. Самые донесения французских послов, о которых говорится в парижских письмах Тургенева и в составленных под его руководством «выписках» и «обозрениях», сохранились до нашего времени и в конце XIX столетия были, как уже сказано, полностью опубликованы[4]. Попытаемся поэтому выяснить, сопоставляя сохранившиеся документальные материалы, с какими извлечениями из них А. И. Тургенев ознакомил Пушкина.

Это были, надо думать, прежде всего донесения французского посла в Петербурге Кампредона, достоверно и ярко рисующие смерть Петра и исторические обстоятельства, ее сопровождавшие, то есть борьбу за престол между сторонниками Екатерины и старой знатью, стремившейся возвести на трон малолетнего Петра (сына царевича Алексея).

О впечатлении, какое произвели эти донесения на Тургенева, когда он впервые прочел их в парижском архиве, говорят письма, вошедшие в «Хронику Русского», которую Пушкин назвал, как помнит читатель, «глубоко занимательной». Основываясь (в чем нетрудно убедиться, обратившись к донесениям Кампредона о болезни и смерти Петра I) на депешах, отправленных в Париж 6 и 10 февраля 1725 года (н. ст.) французским послом[5], Тургенев, не называя имени последнего, писал 22 августа/3 сентября 1835 года:

«Приближенные не надеялись, но страшились и за него

[1] «Журнал Министерства народного просвещения», 1844, февраль, отд. II, с. 85—129.

[2] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 1077.

[3] Там же, см. письмо К. С. Сербиновича к А. И. Тургеневу от 22 февраля 1843 г. (а также письмо А. И. Тургенева к Сербиновичу из Парижа от 5/17 февраля 1841 г. — «Русская старина», 1882, апрель, с. 179).

[4] В Сборниках Русского исторического общества, т. 34, 40, 49, 52.

[5] Эти донесения Кампредона опубликованы полностью в Сборнике Русского исторического общества, 1886, т. 52, с. 420—423, 427—448.

(Петра. — *И. Ф.*) и за столицу, ибо войско давно уже не получало жалованья. При дворе были партии; хотя Петр и короновал незадолго перед тем Екатерину, но не все были за нее: хотели регентства...»[1]

«Будущее России решилось в этой эпохе на долгое время. Главными действующими лицами [были] Голстинский принц и министр его Бассевиц, Меншиков, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский и страх двора — командовавший войсками в Украйне фельдмаршал князь Голицын», — замечает Тургенев в письме от 6/18 сентября 1835 года[2].

В «Обозрении известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым из... донесений французских посланников и агентов при Русском дворе» донесения, отправленные в Париж 6 и 10 февраля 1725 г. (н. ст.) Кампредоном, приведены — уже с упоминанием имени последнего — в чрезвычайно смягченном по цензурным соображениям виде и с переводом даты их на старый стиль[3]. Но это именно те самые, получившие впоследствии заслуженную известность донесения, о которых Соловьев писал в своей «Истории России»: «Мы в своем рассказе (о смерти Петра. — *И. Ф.*) следуем преимущественно донесениям французского посланника Кампредона, отличающимся полным согласием с обстоятельствами»[4].

А. И. Тургенев, которому принадлежит заслуга извлечения депеш Кампредона из архива французского министерства иностранных дел, оценил их значение. Он ознакомил с ними и своего брата — Николая Тургенева (который впоследствии поместил в третьем томе книги «Россия и русские» два извлечения из донесений Кампредона от 15 января и 23 февраля 1726 года[5], связанные со «стремлением русских вельмож к ограничению монархической власти»). И мы едва ли ошибемся, полагая, что А. И. Тургенев обратил внимание Пушкина прежде всего на эти важнейшие донесения Кампредона, которым, как было отмечено выше, он отвел первое место в своем обозрении «французских бумаг».

Донося 10 февраля (н. ст.) королю Людовику XV о смерти Петра I, Кампредон писал о том, как «перепугалось все население, опасавшееся каких-либо беспорядков. Опасения эти, — пояснял он, — имели тем большее основание, что никакого определенного распоряжения насчет престолонаследия не было, мнения вельмож по этому вопросу разделились, войско шестнадцать месяцев уже не получало жалования и доведено было

---

[1] «Современник», 1837, кн. V, с. 41—42.

[2] Там же, с. 44.

[3] «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, март, отд. II, с. 178—183.

[4] История России, изд. 3-е, т. XVIII. М., 1884, с. 365.

[5] «La Russie et les Russes». Paris, 1847, III, p. 418—421.

до отчаяния непрестанными работами, а ненависть народа к иностранцам достигла до последней степени.

По всем человеческим предвидениям казалось, что счастью вдовствующей императрицы (Екатерины. — *И. Ф.*) наступил конец и что приближенных ее: кн. Меншикова, Толстого и др. постигнет та же участь». Между тем, доносил Кампредон, «всемогущему угодно было сделать возможным то, что людям представлялось невозможным». «Орудием всего этого, — пояснял Кампредон, — явился кн. Меншиков, склонивший на сторону императрицы гвардейский полк». Далее он сообщает: «Во время совещания некоторые гвардейские офицеры в сильном волнении кричали, что если совет будет против императрицы, то они размозжат головы всем старым боярам. Так кончился этот памятный день...»

«Одно, что еще несколько тревожит двор, это кн. Голицын, находящийся в Украйне во главе шеститысячного войска, ибо он большой сторонник прежнего порядка престолонаследия и юного великого князя»[1]. (Его-то и назвал А. И. Тургенев «страхом двора», прочитав это донесение Кампредона.)

В письме, отправленном Кампредоном в тот же день графу де Морвилю, о борьбе дворцовых партий и стараниях Меншикова и Толстого рассказывается более подробно. Здесь сообщается также, что «Ягужинский и государственный секретарь Макаров должны были... действовать согласно видам царицы, ибо оба только и могли держаться при ее правлении...».

Когда наступили последние минуты Петра, «царица находилась у его постели, заливаясь слезами и делая вид, будто ничего не знает о том, что только что произошло», а между тем она заранее приняла все необходимые меры и «имела предусмотрительность заранее послать в крепость деньги для уплаты жалования гарнизону... Гвардии она дала слово заплатить все, ей следуемое, из собственных денег...». «Закрыв глаза царю, своему супругу, царица отправилась в залу совета и там, проливая потоки слез, обратилась с речью к сенаторам» и т. д. и т. д.[2]. Опасность вооруженной борьбы между партиями, образовавшимися во дворце, была все же предотвращена.

Пушкина, а по некоторым имеющимся данным и самого А. И. Тургенева, издавна чрезвычайно интересовали остававшиеся нераскрытыми обстоятельства, связанные с бегством царевича Алексея за границу и внезапной смертью его. Из донесений Ла-Ви, французского консула в Петербурге, А. И. Тургенев почерпнул целый ряд интересных сведений о деле царевича. В посвященном последнему разделе «Обозрения современных известий о замечательнейших лицах в царствование Петра I и Екатерины I, извлеченных А. И. Тургеневым» мы читаем:

---

[1] Сборник Русского исторического общества, 1886, т. 52, с. 427—432.
[2] Там же, с. 433—448.

«Президент сената князь Долгорукий и его приверженцы очень преданы царевичу Алексею Петровичу.

Говорят шепотом, что царевич (который, как думают, в Неаполе) писал отцу своему, что не возвратится в Московию, пока князь Меншиков не будет удален от двора.

Слышно, что царевич, по возвращении своем, будет жить в заключении. В нем хотят погасить надежду к получению короны»[1].

Ла-Ви пишет, читаем мы в «Обозрении известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым...», что «казнь (царевича Алексея. — *И. Ф.*) не прекращает смут, но усиливает их. Виновные обвиняют невиновных; судьи в замешательстве. Сам Петр редко бывает спокоен, и это увеличивает беспокойство судей...»[2]. Здесь изложено с осторожностью донесение Ла-Ви от 28 ноября 1718 года (н. ст.)[3].

«В декабре 1718 г., — читаем мы далее в «Обозрении известий о России... извлеченных А. И. Тургеневым...», — казнили пятерых государственных преступников: Авраама Феодоровича Лопухина, дядю царевича; священника Якова Пустынного, Ивана Афанасьева, его (царевича. — *И. Ф.*) гофмаршала и поверенного во всех делах; Дубровского, его камергера, и Воронова, его дворецкого. Тела казненных, с головами, положенными под руки их, были три дня выставлены перед народом; после чего отрезаны руки у трупов, положены на колеса, а головы на столбах. Чрез час после совершения казни Петр собрал Сенат... Учреждено судилище для разыскивания виновных в лихоимстве. Это судилище, под председательством генерала Вейде, заставляет трепетать знаменитейшие лица в империи... Толстой, Румянцев и Ушаков получили награды по делу о царевиче Алексие Петровиче...»[4] Все это взято из донесения Ла-Ви от 23 декабря 1718 года (н. ст.), впоследствии также полностью увидевшего свет[5].

Тревога Петра после смерти царевича Алексея свидетельствует о том, какую опасность продолжала представлять собой в глазах царя реакционная оппозиция, знаменем которой был погибший царевич.

Исторические материалы, привлекшие Тургенева, представляли бесспорно для Пушкина не только научный, но и худо-

---

[1] «Журнал Министерства народного просвещения», 1844, февраль, отд. II, с. 87—88. (Сведения эти извлечены из донесений Ла-Ви от 7 октября и 25 декабря 1717 г., опубликованных впоследствии в Сборнике Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 246—250, 257—260, 273—276.)

[2] Там же, 1843, март, отд. II, с. 154.

[3] Полностью оно опубликовано в Сборнике Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 391—393

[4] «Журнал Министерства народного просвещения», 1843, март, отд. II, с. 154—155.

[5] См. Сборник Русского исторического общества, 1881, т. 34, с. 395—398.

жественный интерес; нет сомнения, что устные рассказы Тургенева, с ними связанные, чрезвычайно интересовали его.

Напечатанное во втором томе пушкинского «Современника» объяснение «От редакции», признавая, что Тургенев писал свои парижские письма, не думая о печати, прекрасно характеризует манеру Тургенева-рассказчика: «Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом *про себя,* когда следовало бы ему писать *про других...*»[1] Эти строки с большой точностью передают впечатление, какое производили на Пушкина, Вяземского и их друзей рассказы Тургенева.

Особенное внимание Пушкина должен был привлечь бесспорно интереснейший исторический документ, о котором А. И. Тургенев сообщал из Парижа 21 сентября/3 октября 1835 года: «Сегодня прочел я биографию графа Толстого, которую написал датский министр, при дворе Петра I, Екатерины I и Петра II долго находившийся. Он снабдил ею и тогдашнего французского агента при нашем дворе. Автор был отчасти сам свидетель повествуемых им происшествий и знавал лично тех, коих характер и действия описывает. *Я еще ничего не читал любопытнее сей записки о сей эпохе*»[2]. Едва ли можно сомневаться в том, что Пушкин заинтересовался этим кратким «жизнеописанием» Петра Андреевича Толстого, которое Тургенев нашел самым любопытным из всего, что ему пришлось читать об эпохе Петра, — в связи с чем отметил его и в предназначавшемся для царя обозрении «парижских бумаг».

«Записка» эта была составлена 5 мая 1729 года (н. ст.) датским послом в России Вестфаленом по получении известия о смерти Петра Андреевича Толстого. Французский консул в Петербурге Виллардо отредактировал эту «Записку», дополнил некоторыми деталями и отправил в Париж, где ее и нашел век спустя А. И. Тургенев. «Записка» Вестфалена увидела свет только в 1889 году[3], а в обработке Виллардо она появилась — на русском языке — в самом конце прошлого столетия[4].

В «жизнеописании» этом рассказывается о переходе Толстого на сторону молодого Петра, долго еще относившегося с подозрительностью к бывшему стороннику его врагов, который

---

[1] «Современник», 1836, кн. II, с. 311.

[2] «Современник», 1837, кн. V, с. 46. Курсив наш. — *И. Ф.*

[3] См. Сборник Русского исторического общества, 1889, т. 66, с. 71—87; она была использована ранее Н. Поповым в статье «Из жизни П. А. Толстого» («Русский вестник», 1860, т. XXVII, с. 319—346).

[4] Краткое описание жизни Петра Андреевича Толстого. Соч. французского консула Виллардо. — «Русский архив», 1896, кн. I. Оригинал, т. е. французский текст Виллардо, опубликован проф. Андре Мазоном в «Analecta Slavica». Amsterdam, 1955, p. 19—35.

стал одним из его ближайших сотрудников. «Рассказывают, — говорится в «Записке», — будто его величество за несколько недель до своей кончины, перечисляя добрые и дурные стороны своих министров, сказал: «Петр Андреевич во всех отношениях человек очень ловкий, только, имея дело с ним, не мешает держать добрый камень в кармане, чтобы разбить ему зубы, в случае если бы он вздумал кусаться»[1].

В «Записке» Вестфалена — Виллардо сообщаются чрезвычайно интересные сведения о роли Толстого в деле царевича Алексея. Подобных сведений Пушкин не мог почерпнуть даже в подлинном следственном деле царевича. В «Записке» этой о Петре говорится: «Он отправил Толстого к беглому сыну, поручив ему обещать царевичу прощение, если он возвратится. Толстой едет в Неаполь с гвардии капитаном Румянцевым... Еще до отъезда из Амстердама он составил себе план действий, именно положил сблизиться с любовницей, которую царевич увез с собой из Петербурга — смышленой и довольно хорошенькой чухонкой. Толстой воспользовался слабой стрункой ее — с самыми горячими и низкими клятвами обещал выдать ее замуж за младшего своего сына и дать за ним 1000 душ крестьян, если только она убедит царевича немедля вернуться в Россию»[2].

Наконец о Екатерине и деле Монса «Записка» сообщает: «В первом порыве гнева, вызванном этим событием, царь сжег свое завещание в пользу царицы»[3].

Чрезвычайно любопытные сведения содержатся в последней части этой «Записки» и о царствовании Екатерины I, обстоятельствах ее смерти и деле Девиера. Все это заставляет признать, вслед за Тургеневым, «Записку» документом, представлявшим для писателя-историка выдающийся интерес.

Таким образом, хотя Пушкин не имел возможности работать в зарубежных архивах, он благодаря содействию А. И. Тургенева получил в последние месяцы жизни возможность узнать из привезенных Тургеневым копий, из записок и устных рассказов его содержание исторических документов, оставшихся долго недоступными и использованных русскими историками лишь много поздней. Из привезенных А. И. Тургеневым материалов черпал впоследствии и Устрялов — автор «Истории Петра Великого», которому Николай I поручил написать этот труд после смерти Пушкина, и Соловьев — в «Истории России». Нет сомнения, что, если бы жизнь Пушкина не пресеклась так внезапно, он воспользовался бы в своей «Истории Петра» материалами, с которыми Тургенев начал его знакомить.

Сделать это Пушкину не было суждено, но раскрывающаяся

---

[1] Сборник Русского исторического общества, 1889, т. 66, с. 75.
[2] Там же, с. 79
[3] Там же, с. 81.

перед нами страница из истории последних недель его жизни представляет бесспорно интерес для творческой биографии поэта, знакомившегося до последнего дня с источниками, бросающими свет на историю Петровской эпохи.

Тургенева поразили исторические знания поэта о России. Удивление его вполне понятно. Он привез из Парижа донесения Кампредона о смерти Петра и имел благодаря этому возможность, как сказано, ознакомить Пушкина с неизвестными тогда русским историкам обстоятельствами, сопровождавшими борьбу, поднятую вокруг умирающего царя. Тургенев имел, вне сомнения, уже к этому времени возможность рассказать Пушкину и «анекдоты» о Петре и Екатерине, содержащиеся в так называемых записках Вильбуа, хранившихся в парижской Королевской библиотеке, которым придавалось тогда большое значение[1]. Князь П. В. Долгоруков, например, заявил в своих объяснениях, данных в III Отделении, что мнение его о Петре Великом (который в начатой им раньше «Русской Истории» был «изображен полубогом») «изменилось чтением разных книг о той эпохе и чтением записок адъютанта Петра Великого, Вильбуа»[2].

Между тем Пушкин знал эти «Анекдоты» по рукописи, хранившейся в императорском Эрмитаже в составе библиотеки Вольтера.

Несколько лет спустя после встреч и разговоров Пушкина с Тургеневым III Отделение, не зная о том, что рукопись можно найти, не выезжая из Петербурга, стремилось приобрести ее через своих литературных агентов в Париже. 3 августа 1843 года Яков Толстой писал оттуда Дубельту: «Спешу послать вашему превосходительству... копию рукописи, будто бы составленной Вильбуа». «Случай свел меня с некиим Летелье, переписчиком Королевской библиотеки, предложившим мне снять копии с самых секретных документов, которые, — утверждал Я. Толстой, — не выдаются для просмотра никому из иностранцев... в том числе и Александру Тургеневу...»[3]

Пушкин прочитал в библиотеке Вольтера не только рукописные «Анекдоты Вильбуа». Прочитанные им там же записки Бассевича раскрывали многие из обстоятельств, касающихся смерти Петра и описанных в донесениях Кампредона, привезенных Тургеневым. Но удивление Тургенева вызвано было,

---

[1] 17 ноября 1835 года А. И. Тургенев записал в своем парижском дневнике: «Был в библиотеке, взял оттуда переписанное для меня и отдал Анекдоты Вильбуа» (Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 305, с. 148).

[2] М. Лемке. Князь П. В. Долгоруков в России. — В кн.: Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения собств. Е. И. В. канцелярии, изд. 2-е. СПб., 1909, с. 538.

[3] Там же, с. 541.

конечно, не только неожиданным для него знакомством Пушкина с подобного рода иностранными источниками и редкими рукописями, найти которые, казалось, можно было только в Париже.

Поразили Тургенева не только знания Пушкина, основанные на глубоком изучении русских исторических источников. Много сделавший сам для познания прошлого России, Тургенев оказался в состоянии оценить лучше многих глубину, проницательность и верность исторических взглядов Пушкина — способность его «судить», как «никто» другой в эти годы, о новой истории России. Обо всем этом Тургенев писал на другой день после смерти Пушкина, сожалея о нем как об историке, не завершившем своего труда:

«...Вчера в $2^3/_4$ мы его лишились, лишилась его Россия и Европа... Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нём сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные.

Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие; но потеря, конечно, незаменимая. Никто так хорошо не судил Русскую новейшую историю: он созревал для нее и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения. Великая потеря!»[1]

[1] Письмо А. И. Тургенева к И. С. Аржевитинову («Русский архив», 1903, кн. I, с. 143).

ПО СТРАНИЦАМ «ИСТОРИИ ПЕТРА»

Голиковский свод лежал у Пушкина перед глазами. Множество других — книжных и иных — источников Пушкин использовал и собирался еще использовать в своем труде. Но Пушкин знал Россию и историю изучаемой эпохи не только по книгам и запискам петровского времени.

Поэт знал не только древнюю и новую, созданную Петром, столицу России. Описывает ли он Персидский поход Петра, в его рассказе сказывается знание Кавказа и опыт «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года»; мы знаем: Пушкин видел войну и скакал «с саблею наголо против турок, на него летящих»[1]. Пишет ли Пушкин о Турецкой войне 1711 года, то есть о Прутском походе, он говорит об этих местах как очевидец, поправляя Моро де Бразе, иностранного офицера русской службы, участника Прутского похода Петра, рассказавшего о нем в своих записках. Моро пишет: «Жары нестерпимы в сих местах, где видно только небо да горы раскаленного песку, без деревьев, без жителей и без воды». Пушкин поправляет рассказчика: «Степи Буджацкие не песчаные: они стелются злачной, зеленой равниною, усеянною курганами... Правда, что в 1711 году эти степи были голы: трава съедена была саранчою»[2].

Исправляет Пушкин не только географию Моро, в которой тот пользуется, по ироническому выражению поэта, «правом рассказчика»[3]. Вместе с тем Пушкин ценит и считает нужным использовать его «Записки», видя в них исторический рассказ участника Прутской кампании, который «не должно смешивать с нелепыми повествованиями иностранцев о нашем отечестве»[4].

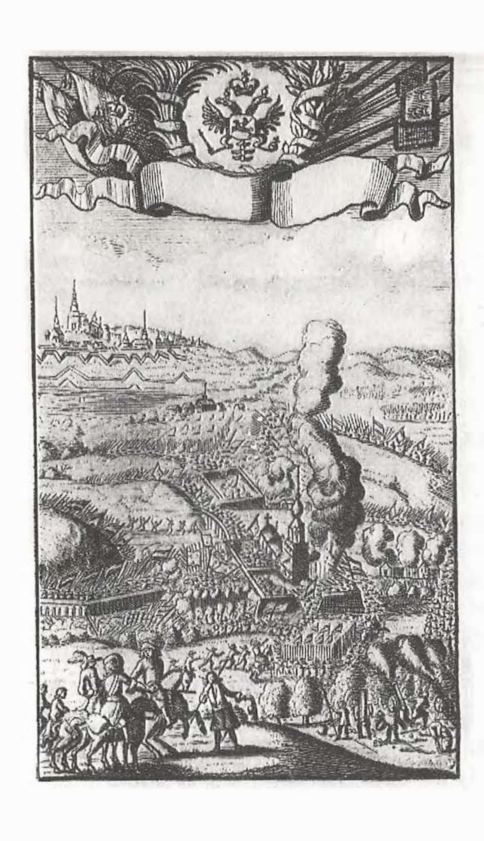
«Рассказ Моро де Бразе о походе 1711 года, лучшее место изо всей книги, отличается умом и веселостию беззаботного бродяги; он заключает в себе множество любопытных

[1] М. И. Пущин. Встреча с Пушкиным за Кавказом. — «Русский вестник», 1893, № 9, с. 161.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 418.

[3] Там же.

[4] Там же, с. 396.



MEMOIRES
POLITIQUES,
AMUSANS
ET
SATIRIQUES,
DE MESSIRE
J. N. D. B. C. de L.
Colonel du Regiment de Dragons de
Caſanski & Brigadier des Armées
de Sa M. Czarienne.
TOME PREMIER.



A VERITOPOLIE,
Chez JEAN DISANT VRAI.
M. DCC. XVI.

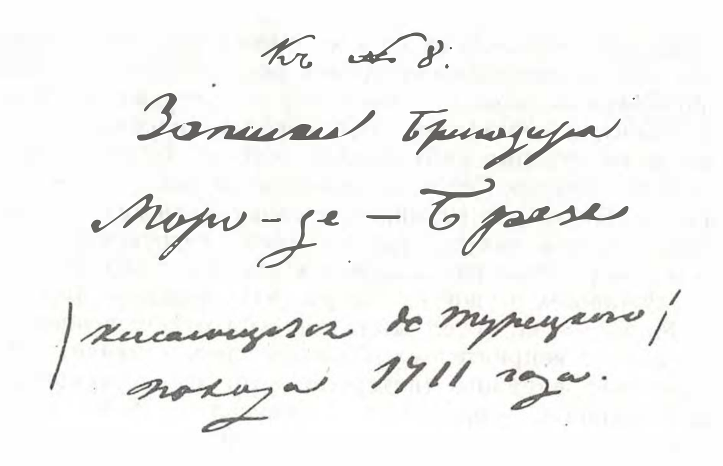
«Записки Моро де Бразе», изданные в 1716 г. без имени автора
(Пушкин перевел из них описание Прутского похода Петра I.)
Фронтиспис и титульный лист.

подробностей и неожиданных откровений, которые можно подметить только в пристрастных и вместе искренних сказаниях современника и свидетеля», — замечает Пушкин.

В своей «Истории» он остается объективным и при описании неудачного для Петра Прутского похода, но чувство патриота сказывается даже в оборотах и интонациях Пушкина. У Голикова в описании Прутского похода приведена цитата из «Журнала Петра Великого», где изложение ведется от первого лица, и мы читаем: «Перед нашим войском», «с нашей стороны», «а у нас кроме рогаток, ничего не было» и т. д.[1]. Замечательно, что Пушкин в своей рабочей записи, не ссылаясь на «Журнал Петра», пишет: «Всего *нас* было 31 554 пехоты, да 6 692 конницы и *то почти бесконной*»[2] (268). Эта фраза дана Пушкиным

---

[1] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. III. М., 1788, с. 361 и 362.
[2] Курсив наш. — *И. Ф.*



Начало перевода Пушкиным отрывка
из книги Моро де Бразе.
Рукопись Пушкина. 1835 г. Фрагмент.

в конце описания дневного боя — от первого лица: Пушкин выразительно передает в ней впечатление неравенства сил малочисленной русской армии, стоявшей против войска турок.

По поводу же мнения Моро де Бразе о причинах неудачи Прутского похода Пушкин пишет: «Как заметно, что здесь говорит иностранец, приверженный к своей партии»[1].

В подготовительном тексте «Истории Петра» многих чрезвычайной важности вопросов Пушкин коснулся лишь вскользь или даже совсем не успел коснуться, несмотря на то что сознавал их значение. Однако даже отрывочные примечания Пушкина к запискам Моро де Бразе выразительно говорят нам о его отношении к борьбе, которую русским приходилось вести против «партии» иностранцев, призванных на службу Петром.

С борьбой иностранной и русской партий в генералитете Петра связано и следующее замечание Пушкина по поводу рассказа Моро де Бразе о Прутском походе. Пушкин пишет: «Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что и Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали партии русской»[2].

В конце своего царствования Петр предпринял, как известно, некоторые меры для того, чтобы ослабить влияние призванных им в Россию иностранцев. Одну из таких мер Пушкин под

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 413.
[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 312.

1722 годом отметил: «Петр повелел принимать иностранных офицеров с понижением чина против российских etc.» (416). Эти меры Петра оказались — мы знаем — запоздалыми. Реакционное значение иностранных наемников самодержавия и их «партии» в «императорский» период русской истории, последовавший за смертью Петра, слишком известно.

Моро де Бразе рассказывает о своих записках о Прутском походе, о том, как русские гренадеры «просились на коней, дабы... выручить» ввязавшихся в схватку с турками венгерцев, служивших в войске Петра. «Но генерал Янус, — говорит Моро, — не хотел взять на себя ответственность и завязать дело с неприятелем». Пушкин здесь замечает: «Кажется, русские варвары (интересно, что слово «варвары» Пушкин в рукопись — иронически — вписал. — *И. Ф.*) в этом случае оказались более жалостливыми, нежели иностранцы, ими предводительствовавшие»[1].

Указывая, что записки Моро де Бразе, касающиеся Прутского похода, представляют собой «важный исторический документ и едва ли не единственный (опричь Журнала самого Петра Великого)»[2], Пушкин, как помним, поясняет: «Моро не любит русских и не доволен Петром; тем замечательнее свидетельства, которые вырываются у него поневоле»[3].

Но вот Пушкин вспоминает не о рассказе «беззаботного бродяги», «наемного храбреца» Моро, а об исторических трудах прославленного французского писателя.

Ссылки на Вольтера в тексте пушкинской «Истории Петра» относятся главным образом к «Истории Карла XII», написанной Вольтером задолго до его книги о Петре по горячим следам событий. Вольтер имел еще возможность лично расспрашивать ближайшего сподвижника Карла XII графа Понятовского и португальского доктора Фонсека — шведского агента, тайно доставлявшего в Константинополь письма, побуждавшие Турцию к войне с Петром. Поэтому книга Вольтера о главном противнике Петра, разгромленном в России, могла иметь для Пушкина значение исторического источника там, где в «Истории Петра» на сцену должен был явиться Карл.

В книге Пушкина, как показывает ее подготовительный текст, Карл должен был быть представлен не только как исторический деятель, враг России и противник Петра. Фигура Карла служила в то же время Пушкину средством контрастной характеристики Петра. Уже в эпилоге «Полтавы» Карл является как «герой безумный»; Мазепа накануне Полтавского сражения говорит о нем:

---

[1] П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 317 и 432.
[2] Там же, т. XVI, с. 69.
[3] А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 400.

ŒUVRES

COMPLÈTES

DE VOLTAIRE.

NOUVELLE ÉDITION.

HISTOIRES

DE CHARLES XII ET DE L'EMPIRE DE RUSSIE.

A PARIS,

Chez { LEFÈVRE, Libraire, rue de l'Éperon;
DETERVILLE, Libraire, rue Hautefeuille.

M. DCCC. XVII.

«История Карла XII» и «История России в царствование Петра Великого»
том 15-й принадлежавшего Пушкину Собрания сочинений Вольтера (Париж, 1817 г.).

Как полк вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном...

В «Историю Петра» поэт имел в виду включить эпизоды, рисующие Карла как отважного, жестокого и взбалмошного до безумия воина-авантюриста. Мы знаем, что Пушкин в своей «Истории» ничуть не скрывает отрицательных черт Петра. Но нигде, разумеется, поэт не говорит о нем в том уничтожающем тоне, какой сказывается в строках, посвященных Карлу. Пушкин пишет, например, рассказывая о неудачном для шведского короля исходе одного из сражений с русскими: «Карл был в бешенстве, он рвал на себе волоса и бил себя кулаками по щекам» (195). Несколько ниже Пушкин говорит: «Карл по своему обыкновению везде совался, чуть не попался в плен и имел под собою лошадь убиту» (196).

Для эпизодов «Истории Петра», которые должны были обрисовать поведение Карла в «странном, — по словам Пушкина, — Бендерском деле» и при осаде Стральзунда и рассказать о смерти короля, Пушкин имел в виду привлечь фактический материал, содержащийся в Вольтеровой «Истории Карла XII».

Когда Карл, едва спасшись после полтавского разгрома, бежал в Турцию, Бендерский «паша принял его с пушечной пальбою», — читаем мы в «Истории Петра» (225).

«После своего поражения Карл отправил послов в Константинополь, и Порта повелела Бендерскому сераскиру условиться во всем с шведским королем; несколько пашей получили повеление идти в Бендеры. Верховный визирь Али-паша писал Карлу, что Порта с радостию приемлет предлог начать войну с Россиею.

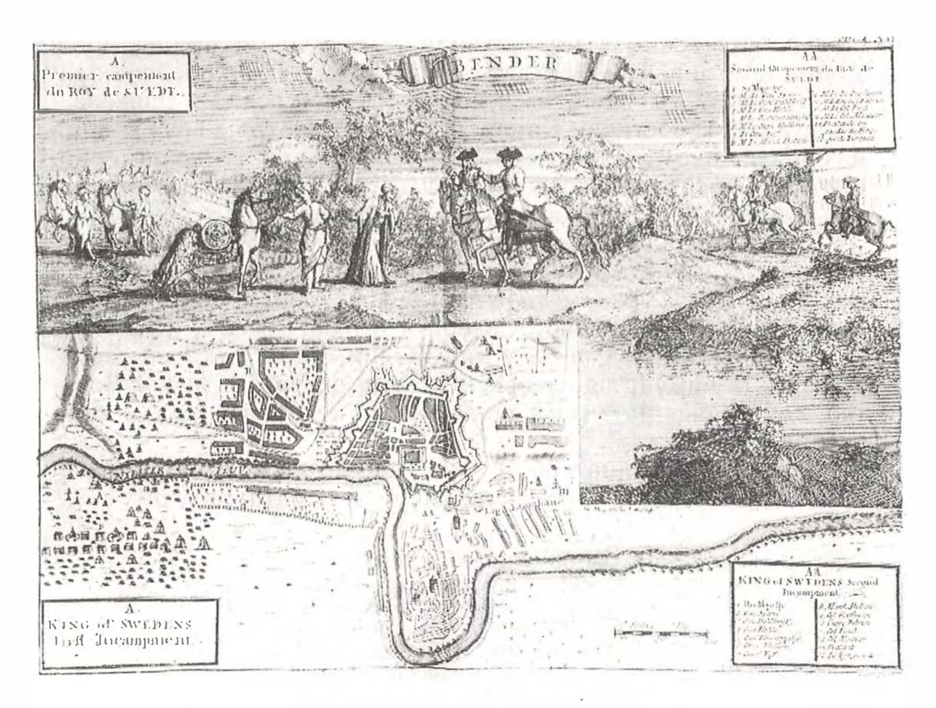
Карл сыпал деньги, доставляемые ему Мазепой. (Вольтер говорит — визирем, — замечает здесь в скобках Пушкин; обнаруживая прекрасное знание «Истории Карла XII».) Агент его (Карла XII. — *И. Ф.*) Понятовский сильно за него действовал в Константинополе...»

«Петр, — пишет Пушкин, — требовал у Порты уничтожения причины к нарушению мира», «т. е., отпущения Карла XII, обещая ему свободный пропуск через Польшу...

Притом 2 000 мешков шведских денег были Толстым выданы верховному визирю, что весьма подкрепило его дипломатические рассуждения...» (246).

«Но, — продолжает Пушкин под 1711 годом, — Карл не думал из Турции выезжать. Он в Бендерах строил дома для зимовья» (274), не теряя надежды вновь поднять турок на войну с Россией.

В «Истории Карла XII» Вольтер рассказывает о том яростном сопротивлении, какое оказал своим друзьям — туркам раздраженный король, когда он, «видя себя некоторым образом выгоняемым из земель султанских, решился не выезжать вов-



Встреча Карла XII в Бендерах.
Внизу план Королевского лагеря близ Бендер.
Гравюра из «Путешествия» де ла Мотрэ, изданного в 1727 г., которую Пушкин рассматривал, находясь в 1824 г. в Бендерах и Варнице.

се»[1]. Происшествие это, замечает Голиков, было «столь странно, что, как говорит о сем аббат Милот, если бы в действительности оного сомневаться было можно, то должно бы почесть оное за какое-нибудь приключение славного испанского рыцаря Дон-Кишота...»[2]. (Вольтер в одном из своих писем также назвал действия Карла XII после полтавского разгрома поведением Дон Кихота.)

Касаясь этого исторического эпизода, Пушкин в «Истории Петра» пишет: «Здесь произошло странное Бендерское дело», и вслед за тем в скобках указывает: «Смотри Вольтера...» (313). Обратимся поэтому к «Истории Карла XII», которую Пушкин считал нужным использовать как источник при описании «странного Бендерского дела».

Сначала турки думали принудить Карла к выезду, и он был лишен ежедневно доставляемых съестных припасов и корма лошадям. Но король велел перестрелять двадцать арабских ло-

---

[1] Вольтер. История Карла XII. Пер. с франц. в 4-х ч., ч. III. М., тип Платона Бекетова, 1804, с. 120.

[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. IV. М., 1788, с. 204.

шадей, подаренных ему султаном, и со своими офицерами и тремястами шведских солдат решил готовиться к обороне против двадцати тысяч татар и шести тысяч турок. Он приказал, читаем мы в «Истории Карла XII», вырыть окопы вокруг дома и, обратившись к своим секретарям и слугам — кондитерам, возчикам, поварам, обещал произвести в офицеры каждого, кто будет храбро сражаться вместе с ним.

Карл отбивался, защищая комнату за комнатой даже после того, как янычары ворвались в дом. Турецкая пуля оторвала ему край уха. Турки, «чтобы принудить короля сдаться», «велели бросить на кровлю, в двери и в окна стрелы, обернутые зажженною пенькой; в одну минуту дом объят был пламенем». «Двадцать янычар вдруг бросились» на Карла, и, пишет Вольтер, «он кидает на воздух шпагу свою, чтобы избавиться прискорбия отдать ее»[1].

Пушкин вспоминал об этом — еще до того, как приступил к своей «Истории Петра» — в эпилоге «Полтавы»:

Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный
И бросил шпагу под бончук...

Рассказ Вольтера о жизни Карла в Варнице, близ Бендер, где король вынужден был находиться после полтавского разгрома, Пушкин собирался теперь дополнить и проверить русскими источниками: Пушкин ссылается, например, на письма Шереметева (см. «Историю Петра», 313). Но книги не были бы и здесь для Пушкина единственным источником исторических сведений. Мы знаем, что Пушкин побывал в Бендерах сам (задолго до того, как стал писать «Историю Петра») и в Варнице осматривал остатки старых укреплений. Липранди — спутник Пушкина в этой поездке — вспоминает разговор поэта со 135-летним казаком Искрой, который помнил еще Карла XII:

«Мы отправились на место бывшей Варницы, взяв с собой второй том Нортберга и Мотрея, где изображен план лагеря, окопов, фасады строений, находившихся в Варницком укреплении, и несколько изображений во весь рост Карла XII. Рассказ Искры о костюме этого короля поразительно был верен с изображением его в книгах. Не менее изумителен был рассказ его о начертании окопов, ворот, ведущих в оные; и некоторые неровности в поле соответствовали местам, где находились бастионы и т. д.; но не это занимало Пушкина: он добивался от Искры своими расспросами узнать что-либо о Мазепе,

---

[1] Вольтер. История Карла XII, пер. с франц., ч. III, М., тип. Платона Бекетова, 1804, с. 129, 139, 152—153, 155—156.

а тот не только что не мог указать ему желаемую могилу или место, но и объявил, что такого и имени не слыхал. Пушкин не отставал, толкуя ему, что Мазепа был казачий генерал и православный, а не басурман, как шведы, все напрасно. Спрашивал, нет ли еще таких же стариков, как он, Искра; нет ли старинных церквей поблизости, и получил в ответ, что старее его нет никого, что церкви еще прежде были «спалены татарами» и т. п.»[1].

Впрочем, Искра был уже «добрым хлопцем», когда мать посылала его в Варницкий лагерь шведов с творогом, молоком, маслом и яйцами. «Он описывал короля (Карла XII), которого видел почти каждый раз, и впервые принял его даже и не за офицера, а за слугу, потому что он, выйдя из занимаемого им домика, каждое яйцо брал в руку, взвешивал его и смотрел через оное на солнце»[2].

Касаясь осады Стральзунда, Пушкин в «Истории Петра» указывает: «О взятии Стральзунда и о бегстве Карла в Швецию смотри Вольтера» (353).

На рассказ Вольтера об осаде Стральзунда Пушкин ссылался еще в примечаниях к «Полтаве», приводя ответ Карла секретарю, испуганному бомбой («Ах, ваше величество! бомба!..» и проч.). Вольтер в «Истории Карла XII» пишет действительно: «Однажды, как король диктовал письма в Швецию своему секретарю, бомба упала на дом, пробила кровлю и разорвалась подле самой королевской комнаты. Половина пола была раздроблена... перо выпало из рук секретаря. «Что такое? — спросил король спокойно. — Что ты не пишешь?» — «Ах, государь, бомба!» — едва только мог промолвить секретарь его. «Ну что ж, — прервал король, — какую связь имеет бомба с письмом, которое я диктую тебе? Продолжай»[3].

В своей «Истории» Пушкин счел нужным использовать «Историю Карла XII» для описания осады Стральзунда шире, как источник исторический. «Город Стральзунд, сделавшись в Европе славным осадою, которую там выдержал король шведский, — читаем мы в книге Вольтера, — есть самое крепкое место в Померании... Сухим путем достигнуть до него можно только по узкой плотине, защищаемой цитаделью и укреплениями, почитавшимися за неприступные. В нем было около девяти тысяч гарнизону и сверх того сам король шведский».

Карл XII сражался до последней возможности, «всякую минуту ожидая всеобщего приступа», и был «до самой полночи на

[1] И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. — «Русский архив», 1866, с. 1464.

[2] Там же, с. 1460.

[3] Вольтер. История Карла XII, ч. IV, с. 99—100.

малом равелине, вовсе разрушенном бомбами и ядрами; через день после этого главные офицеры заклинали его не оставаться в таком городе, который нельзя было уже защищать, но отступ сделался столько же опасен, как и самое место... 20 декабря 1715 сел он в шлюпку только с десятью человеками. Надобно было колоть лед, покрывавший море в пристани. Адмиралы неприятельские получили строгий приказ не выпускать Карла XII из Стральзунда и взять его живого или мертвого. По счастию они были под ветром и не могли настичь его. Но еще большей опасности подвергся он, проезжая в виду острова Рюгена... где датчане построили батарею о двенадцати пушках. Они стреляли в короля. Матросы работали и парусами и веслами, чтобы удалиться скорее; однако ядро убило двух человек подле Карла XII, другое раздробило мачту шлюпки. Среди сих опасностей король достиг до двух кораблей своих, разъезжавших по морю Балтийскому. На другой день Стральзунд сдался, гарнизон сделан военнопленным, и Карл XII пристал к Истеду в Скандинавии, а оттуда переехал в Карлскрону, совсем в другом положении, нежели как за пятнадцать лет перед сим выехал оттуда на корабле 120-ти пушечном, выехал давать законы Северу»[1].

Наконец, под 1718 годом Пушкин в своей «Истории Петра» снова указывает: «Смотри «Историю Карла XII» Вольтера[2] (410). Это указание имело в виду будущий текст «Истории Петра», куда Пушкин думал, по-видимому, включить строки о смерти Карла XII.

Карл, пишет он, «не опасаясь Петра по причине зимы, пошел противу датчан в Норвегию, и в ноябре осадил Фридерихсгаль.

Там 30 ноября (11 декабря) вечером в траншее убит был картечью Карл XII на 37 году своей жизни (см[отри] «Histoire de Charles XII» Voltaire)» (410). Последуем указанию Пушкина и прочтем строки, посвященные Вольтером смерти шведского короля:

«11 декабря в день святого Андрея в девятом часу вечера Карл XII пошел осмотреть траншею и, нашедши, что параллель не столько продолжена, как ему хотелось, казался очень недовольным. Г-н Мегрет[3], французский инженер, который вел осаду, уверял его, что город взят будет в восемь дней. «Увидим!» — сказал король и продолжал осматривать работы с инженером. Он остановился в одном месте, где траншея составляла угол с параллелью, стал на колени на внутреннем скате и, опершись локтями на парапет, несколько времени смотрел на работников, которые продолжали рыть траншеи при сиянии звезд...

Король почти до половины тела был открыт ударам пушечной батареи, построенной прямо против того угла, где он нахо-

---

[1] Вольтер. История Карла XII, ч. IV, с. 86—87 и 102—105.
[2] В оригинале ссылка дана Пушкиным по-французски.
[3] В оригинале — Megret.

дился... В эту минуту Сикиер[1] и Мегрет увидели, что король упал на парапет с тяжким вздохом: подошли, и он был уже мертв. Тяжелое полуфунтовое ядро пришло ему в правый висок и сделало отверстие, в которое можно было вложить три пальца: голова его была опрокинута на парапет, левый глаз вдался внутрь, а правый совсем почти выскочил. Минута раны его была минутой смерти, однако он имел столько сил, что, умирая так внезапно, по натуральному движению схватился рукою за эфес шпаги и оставался еще в таком положении... Сикиер тотчас побежал уведомить об этом графа Шверина. Они решились вместе скрывать от солдат смерть Карла XII до тех пор, пока уведомят принца Гессенского. Тело завернули в серый плащ, Сикиер надел свой парик и шляпу на короля, и в таком состоянии пронесли Карла XII под именем капитана Карлесберга мимо войска, которое, видя проносимого короля своего, совсем не думало, чтобы это был он... Так погиб на тридцать седьмом году Карл XII — король шведский...»

Опустим характеристику, данную здесь Карлу Вольтером, и приведем только следующий за нею портрет короля: «Карл XII имел красивый и благородный стан, прекрасный лоб, большие голубые глаза, исполненные кротости, очень хороший нос, но нижнюю часть лица неприятную, очень часто обезображиваемую смехом, выражавшимся только на губах; он не имел почти ни бороды, ни волос; говорил очень мало и часто отвечал одним смехом, к которому привык»[2].

Говоря о смерти Карла в своей «Истории», Пушкин заметил, что «Петр оплакал его кончину» (410). Голиков пишет об этом с простодушием, добавляя, что Петр, получив известие о смерти шведского короля, отирал платком слезы, которые потекли у него по лицу, и «жалостным голосом сказал: «Ах, брат Карл! как мне тебя жаль!»[3]. Может быть, нелишним будет вспомнить поэтому, что Пушкин, рассказав — под предшествующим, 1717 годом — о провале авантюристических планов Карла, заметил: «Петр радуется исподтишка»: «Не правда ль моя, — пишет он Апраксину, — что я всегда за здоровье сего начинателя пил? никакою ценою не купишь, что сам сделал...» (373). О том же доносил французский консул в Петербурге вскоре после смерти Карла: недавно, писал он, один из любимцев царя спросил, зачем его величество пьет за здоровье своего врага, на что Петр «ответил, что тут его собственный интерес, так как покуда король жив, он постоянно будет ссориться со всеми»[4].

---

[1] В оригинале — Siquier (адъютант Карл XII).
[2] Вольтер. История Карла XII, ч. IV, с. 154, 158 и 161.
[3] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. VI. М., 1788, с. 264.
[4] Донесение Ла-Ви от 20 января 1719 г. (Сборник Русского исторического общества, т. 40, 1884, с. 8).

Вопреки этим полным сарказма словам, отношение Петра к Карлу XII в минуту получения известия о смерти короля было более сложным. В это время близились к концу начатые втайне на Аландском конгрессе мирные переговоры между Россией и Швецией. Война между ними должна была смениться миром и взаимной поддержкой во внешней политике, направление которой, как и указывал Пушкин, должно было с заключением Аландского договора во многом измениться: «Быть дружбе и союзу» между Россией и Швецией — гласили первые статьи «сего славного трактата» (402).

Внезапная смерть Карла противоречила в этот поворотный момент внешнеполитическим интересам Петра и не могла не огорчить его. В Швеции одержали верх противники мира. Герц, министр Карла XII, проводивший новую политику по отношению к России, был арестован в Стокгольме, «прежде нежели узнал о смерти короля», и казнен. «С ним рушились его замыслы»,— пишет Пушкин в строках, идущих в «Истории Петра» сразу вслед за словами о том, что Петр оплакал кончину Карла XII (410—411).

Мы лучше поймем, чем успела стать «История Петра» в процессе работы над ней Пушкина, если уясним себе вопрос о том, какие стороны пушкинского труда остались неосуществленными или недоработанными.

Александр Тургенев — человек больших исторических знаний — отмечал, что в особенности хорошо знаком был Пушкин с эпохами бурь и переломов русской истории. Первым большим трудом Пушкина-историка недаром была «История Пугачева» (которую Николай I предписал переименовать в «Историю Пугачевского бунта», указав, что бунтовщик не может иметь истории).

Современник Пушкина Вяземский писал:

«Труд его не столько История Пугачевского бунта, сколько военная история этого бунта. Автор свел в одно стройное целое военные реляции, военные дневники и материалы. Из них составил он боевую картину свою. Но в историю события, но в глубь его он почти не вникнул, не хотел вникнуть или, может быть, что вероятнее, не мог вникнуть по внешним причинам, ограничившим действие его...»[1]. Яснее сказать было почти невозможно: «по внешним причинам, ограничившим» Пушкина, то есть в силу цензурных условий николаевского времени «История Пугачева» явилась в значительной степени военной историей восстания.

В «Истории Петра», которая должна была стать огромным, несравненно более широким, чем «История Пугачева», исто-

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II, СПб., 1879, с. 375.

рическим полотном, Пушкин решал более обширные и сложные исторические и художественные задачи: Пушкин имел в виду изобразить эпоху Петра в целом, но в большей мере смог и успел изобразить в «Истории Петра» *военную* историю эпохи.

В «Очерке введения» к пушкинской «Истории Петра» мы читаем:

«*Введение* — Россия извне
Россия внутри
Подати
Торговля
Военная сила
Дворянство
Народ
Законы
Просвещение
Дух времени» (7).

Несомненно, все эти важнейшие стороны исторической эпохи должны были быть освещены Пушкиным не только при изображении кануна Петровской эпохи, но и при описании эпохи Петра.

Далеко продвинувшись в своей работе, Пушкин, однако, все больше убеждался, что напечатать создаваемую им «Историю Петра» в николаевской России не удастся.

Едва ли возможно представить себе, например, что Пушкин, автор «Истории Пугачева», говоря в «Истории Петра» о народных восстаниях, ограничился бы в окончательном тексте ее изложением фактов военной истории этих восстаний по источникам, где они представлены только как историческое препятствие делу Петра.

Но разработать и осветить историю народных восстаний Пушкин в своей книге о Петре не мог. Мы знаем, что даже о вышедшей в свет с разрешения Николая I «Истории Пугачева» личный враг Пушкина министр Уваров — автор известной впоследствии реакционной формулы «православие, самодержавие и народность» — «кричал», по словам поэта, «как о возмутительном» (то есть революционном) сочинении.

Не разработал Пушкин в своей книге и ряд других сторон Петровской эпохи. Сравнительно мало представлены на страницах его незавершенного труда сподвижники Петра, хотя им и отношению к ним Петра посвящен Пушкиным ряд замечательных строк. Среди последних есть записи, писанные заведомо не для печати. Вот, например, как начинаются страницы, посвященные событиям 1723 года:

«Петр застал дела в беспорядке. Он предал суду, между прочих, князя Меншикова и Шафирова; последний обвинен и осужден на лишение чинов, имения и жизни.

Что было их преступление? Одна ли непослушность и высокомерие? Должно исследовать. А за то, что Шафиров при всем Сенате разругал по-матерну обер-прокурора Скорнякова-Писарева... кажется, на смерть осудить нельзя... Он был помилован уже на плахе и сослан в Сибирь со всем семейством.

У Меншикова отняли деревни, приписанные к городу Почепу, коим он владел уже 11 лет...

Шафирова Петр неоднократно увещевал и наказывал келейно, что случалось со всеми его сподвижниками, кроме Шереметева и, может быть, князя Якова Долгорукова» (439—440).

В пушкинской «Истории Петра», так же как и в поэзии Пушкина, сказалась «воинственная судьба» России. Когда мы читаем слова Пушкина: «Суровый был в *науке славы* ей дан учитель...» — мы вспоминаем суворовскую «Науку побеждать».

Вольтер в своей книге о Петре «просит извинения у читателя-философа», «если в описании сражений и взятия городов, похожих на другие сражения или осады, сочинитель вошел в некоторые подробности...»[1]. Чтоб избежать повторений, о взятии Петром Нарвы Вольтер рассказывает в трех строках; желая остроумно обойти трудность изображения осады, он говорит: «Сей город был укреплен тремя славными бастионами, по крайней мере по одним названиям; они назывались: *«Победа, Честь и Слава»*. Петр I взял их с мечом в руке...»[2].

Пушкин не извинялся перед русским читателем за подробные описания сражений, и в его изображении они вовсе не кажутся похожими одно на другое. Недаром в статье, написанной в то время, когда он работал над «Историей Петра», Пушкин с таким сочувствием вспоминал об авторе старой книги, посвященной истории Украины: «Он любит говорить о подробностях войны и описывает битвы с удивительною точностию»[3].

Пушкин-историк изучал блестяще написанные реляции Суворова, который сказал как-то, что если б он не стал полководцем, то был бы писателем. А говоря об учителях Пушкина, которых он превзошел в своей военно-исторической прозе, нельзя не вспомнить о Денисе Давыдове, три славы которого — славу воина, славу поэта и славу «отличного прозаического писателя» — вспоминал Белинский, говоривший, что «как прозаик Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими про-

[1] Вольтер. История Российской империи в царствование Петра Великого. Перевел С. Смирнов, ч. I, кн. 1, 1809, с. XXV.

[2] Там же, ч. I, кн. 2, с. 134.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 336.

заиками русской литературы»[1]. Недаром, видимо, посылая Денису Давыдову «Историю Пугачева», Пушкин в стихотворном послании назвал его своим отцом и командиром по трудной писательской службе[2].

Изображая «воинственную судьбу» России, Пушкин показывает в своей незавершенной книге историческое значение побед Петра.

Интерес к нему Европы, встревоженной созданием нового могущественного государства, был необычаен. Даниель Дефо, автор «Робинзона», написал «Беспристрастную историю жизни и деятельности Петра Алексеевича, нынешнего царя Московии», называя его еще «царем Московии». А во второй части своего прославленного романа, где Дефо описывает возвращение Робинзона на родину через Сибирь, Петр получает совет прекратить войну с «воинственными шведами» и направить свои силы на завоевание Востока. Современник Петра Джонатан Свифт (заставивший Гулливера высадиться на берегу страны великанов в год основания Петербурга) напечатал в 1711 году памфлет, в котором писал об опасностях, возникающих будто бы для Англии в результате побед Петра над Швецией и усиления России[3].

Даже через три десятилетия после смерти Петра Вольтер, понимавший, что России необходимо было приобрести выход к морю, писал тем не менее Шувалову: «Признаюсь, я не вижу в войне Петра I с Карлом XII иных побудительных причин, кроме удобного расположения театра военных действий, и я не постигаю, почему он пожелал разбить шведов у Балтийского моря, когда его первоначальным намерением было укрепиться на Черном море»[4].

Пушкин ясно и верно понимал исторический смысл борьбы Петра за Балтику, он широко освещает эту борьбу в своей «Истории». На страницах ее мы видим Петра — строителя флота, создателя морской столицы России, победителя на суше и на море.

«Ни одна великая нация, — по словам Маркса, — не существовала и не могла существовать в таком удалении от всех морей, в каком пребывала вначале империя Петра Великого... Россия не могла оставить в руках шведов устье Невы,

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IV, с. 369. Связь пушкинской (и лермонтовской) прозы с прозой Давыдова отметил Вл. Орлов (см. его статью в кн.: Денис Давыдов. Военные записки. М., 1940, с. 26).

[2] На это обратил внимание В. В. Виноградов, указывая на несомненную связь пушкинской прозы с прозаическим языком Давыдова (Стиль Пушкина. М., 1941, с. 409 и 530).

[3] См. сб. «Петр Великий» под ред. А. И. Андреева, т. I. М.—Л., 1947, с. 404—405.

[4] В парижском изд. соч. Вольтера, которым пользовался Пушкин, выходившем в 1817—1829 гг., это письмо, датированное 17 июля 1758 г., напечатано в т. 33, с. 454—455.



Медаль *«Владычествует четырьмя»,* выбитая в ознаменование соединения в 1716 г. четырех флотов — русского, датского, английского и голландского — под главным командованием Петра I.

которое являлось естественным выходом для сбыта продукции»[1].

«Только в результате превращения Московии из чисто континентальной страны в приморское государство, — указывал Маркс, — московская политика могла выйти из своих традиционных границ»[2].

Государственные мысли историка (Пушкин сказал однажды, что они необходимы автору исторической трагедии) определяли создание исторической прозы, становление которой мы видим в не завершенной поэтом «Истории Петра».

Образ допетровской Москвы, Москвы детства и юности Петра, с ее стрелецкими бунтами и казнями, открывается нам на страницах незавершенной пушкинской книги. Действие переносится из Москвы в Голландию, где Петр с топором в руках работает на верфях, и в Англию. Первый безуспешный Азовский поход сменяется вторым, победоносным, и взятием Азова. С азовских берегов Петр устремляется к берегам Балтики. Города Польши и поля Украины, степи Буджака и волны Балтики, Париж и границы Персии — таково огромное пространство действия, представленное нам в намечающемся повествовании Пушкина.

Рукопись «История Петра» начинается рождением и картиной детства Петра и кончается его смертью. Историческая последовательность, сохраняемая Пушкиным на страницах его

---

[1] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. (Цитата дана в переводе по кн.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова и др., т. I, М., 1948, с. 546.)
[2] Там же, с. 553.

рукописи, не помешала поэту-историку наметить в ней план книги, где эпоха Петра открывалась бы читателю в смене исторических картин, образующих содержание предполагаемых глав его «Истории».

Содержание и драматическое движение первой, близкой к завершению главы пушкинской «Истории» определено борьбой за власть, которую вели против Петра бояре и правительница Софья. В этой главе изображены бунты стрельцов, троекратное бегство Петра в Троицкий монастырь и его победа над мятежниками.

Пушкин пишет о детстве Петра:

«Рассказывают, будто бы на третьем году его возраста, когда в день имянин его, между прочими подарками, один купец подал ему детскую саблю, Петр так ей обрадовался, что, оставя все прочие подарки, с нею не хотел даже расставаться ни днем, ни ночью. К купцу же пошел на руки, поцеловал его в голову и сказал, что его не забудет. Царь пожаловал купца гостем, а Петра, при прочтении молитвы духовником, сам тою саблею опоясал. При сем случае были заведены *потешные*...» (19).

«Зотов по утрам обучал царевича грамоте и закону, а после обеда рассказывал ему российскую историю. Покои дворца были расписаны картинами, изображавшими главные черты из истории, главные европейские города, здания, корабли и проч.» (20).

Сказав об избрании на царство десятилетнего Петра, Пушкин пишет о возмущении стрельцов:

«Стрельцы, отпев в Знаменском монастыре молебен с водосвятием, берут чашу святой воды и образ божьей матери, предшествуемые попами, при колокольном звоне и барабанном бое, вторгаются в Кремль».

Назвав поименно убитых в тот день стрельцами бояр — сторонников малолетнего Петра и его матери — царицы Наталии Кирилловны, Пушкин замечает:

«Стрельцы, разбив Холопий приказ, разломали сундуки, разорвали крепости и провозгласили свободу господским людям. Но дворовые к ним не пристали» (23).

Далее мы читаем:

«Стрельцы вручили царевне Софии правление, потом возвели в соцарствие Петру брата его Иоанна» (24).

После нового возмущения стрельцов юный Петр удалился в село Преображенское и умножил число потешных. О роте потешных говорится: «Петр был в ней барабанщиком и за отличие произведен в сержанты. Так начался важный переворот, впоследствии им совершенный: истребление дворянства и введение чинов» (26). (Пушкин имеет в виду, как мы говорили уже, оттеснение родовитого дворянства.)

Выразительно сменяются под пером Пушкина сцены новых стрелецких мятежей. Говоря о бунте, связанном с именем Хован-

ских, Пушкин пишет о том, как стрельцы «громко грозились пойти к Троице», где тогда находился Петр, и добавляет: «...в сие самое время, пишут летописцы, дана Петру отрава, от которой страдал он целую жизнь» (31). Узнав о казни Хованских, стрельцы «пришли в робость» и выдали зачинщиков бунта; они «сверх того отрядили из всех полков десятого на казнь. Выборные шли, двое неся плаху, а третий топор» (31).

В заключение главы Пушкин пишет о том, как, подавив новый бунт и свергнув «главную виновницу» мятежей правительницу Софью, «Петр выехал из монастыря и отправился в Москву. В селе Алексеевском встретили его все чины московские при бесчисленном множестве народа. Стрельцы от самого села до Москвы лежали по дороге *на* плахах, в коих воткнуты были топоры, и громко умоляли о помиловании. Петр въехал в Москву 10 сентября и прямо прибыл к собору. От заставы до самого собора стояло войско в ружье. Петр за спасение свое отслужил благодарственное моление. Перед царским домом встретил его Иоанн. Оба брата обнялись, и старший в доказательство своей невинности уступил меньшому все правление и до самой кончины своей (1696 г.) вел жизнь мирную и уединенную.

Отселе царствование Петра единовластное и самодержавное» (46—47).

Эта знаменательная сцена с заключающей ее итоговой фразой (выделенной Пушкиным в отдельный абзац) звучит как концовка главы.

В следующем дошедшем до нас разделе пушкинской рукописи действие переносится на берега Азовского моря. Страницы эти гораздо дальше от завершения, чем первая глава, но и по ним можно судить, как намечалось у Пушкина изображение первого Азовского похода — неудачного из-за отсутствия флота и измены начальника русской артиллерии голландца Якова Янсена (который «ночью, заколотя пушки, бежал в Азов») — и как описание первого похода сменяется у Пушкина изображением второго, победного похода и взятия Азова. Описание торжества, ознаменовавшего взятие Азова, Пушкин кончает словами о том, что триумф этот «украшен» был выданным Петру после капитуляции Азова изменником Янсеном, «который ехал под виселицей, обвешанной кнутами» (53).

После сцены азовского триумфа Пушкин пишет: «В честь сего похода выбита медаль с изображением Петра и с надписью: *молниями и водами победитель»*[1] (53).

«Когда государственные чины пришли поздравлять государя с победою,— пишет далее Пушкин, — то он сказал им, что победу сию должно приписать флоту, им выстроенному, хотя и в малом числе. Он тут же объявил о намерении своем умно-

[1] Так в тексте Пушкина (на медали: *«молниями и волнами»*).



Медаль «На взятие Азова». 1696 г.

жить его шестьюдесятью шестью новыми кораблями, расписал им математический размер» и т. д. «В три года, несмотря на общий ропот, — подчеркивает Пушкин, — флот был выстроен, снащен и вооружен...» (53—54).

Отъезд Петра за границу и его пребывание там должны были явиться содержанием следующего раздела «Истории Петра». Драматическое начало этих страниц определяется сопротивлением, которое вызвало в России небывалое намерение царя, и обидами, причиненными Петру и его посольству шведским губернатором в Риге.

«В сие время, — пишет Пушкин под 1696 годом, — Петр назначил 35 боярских и дворянских детей, которых и отослал в чужие края для изучения инженерству, корабельному искусству, архитектуре и другим наукам...

Отсылая молодых дворян за границу, Петр, кроме пользы государственной, имел и другую цель. Он хотел удержать залоги в верности отцов во время своего собственного отсутствия. Ибо сам государь намерен был оставить надолго Россию, дабы в чужих краях учиться всему, чего недоставало еще государству, погруженному в глубокое невежество.

Скоро намерение государя сделалось известно его подданным и произвело общий ужас и негодование... Обнаружился заговор, коего Петр едва не сделался жертвою» (55—56).

«Окольничий Алексей Соковнин, стольник Федор Пушкин и стрелецкий полковник Цыклер сговорились убить государя на пожаре...» — пишет Пушкин под 1697 годом (57). Заговор этот окончился неудачей: Петр узнал о готовившемся покушении. Заговорщики были казнены («четвертованием», говорит, в отличие от Голикова, Пушкин, обнаруживая знание истории заговора, за участие в котором казнен был один из предков поэта).

Рассказывая о пребывании Петра в Риге, Пушкин пишет:

«Однажды Петр поехал осматривать голландские корабли, с намерением нанять один из них для переезда, а как дорога шла около контрэскарпа, то расставленные на валу часовые закричали ему, чтоб он мимо крепости не ездил, и хотели в него стрелять. Им отвечали, чтоб они показали другую дорогу, другой дороги не было, и государя, наконец, пропустили. Губернатор жаловался, говоря, что люди русские, идучи мимо крепости, снимали с нее чертеж, и грозился, что в подобном случае впредь прикажет по них стрелять. В это время известили Петра, что губернатор намерен его задержать и что уже заказано никого из русских за реку не перевозить. Петр, оставя посольство, нанял за шестьдесят червонцев два малые бота и тайно выехал в опасное время оттепели в Курляндию...» (60).

Пушкин пишет о пребывании Петра в Голландии:

«Приехав, нарядился он со своею свитою в матросское платье и отправился в Саардам на ботике; не доезжая, увидел он в лодке рыбака, некогда бывшего корабельным плотником в Воронеже; Петр назвал его по имени и объявил, что намерен остановиться в его доме. Петр вышел на берег с веревкою в руках и не обратил на себя внимания. На другой день оделся он в рабочее платье, в красную байковую куртку и холстинные шаровары и смешался с прочими работниками. Рыбак, по приказанию Петра, никому не объявил о его настоящем имени; Петр знал уже по-голландски, так что никто не замечал или не хотел дать вид, будто бы его замечает. Петр упражнялся с утра до ночи в строении корабельном. Он купил буер и сделал на нем мачту (что было его изобретением), разъезжал из Амстердама в Саардам и обратно, правя сам рулем, между тем как дворяне его исправляли должность матросскую. Иногда ходил закупать припасы на обед и в отсутствии хозяйки сам готовил кушание. Он сделал себе кровать из своих рук и записался в цех плотников под именем Петра Михайлова. Корабельные мастера звали его Piter Bas[1], и сие название, напоминавшее ему деятельную, веселую и странную его молодость, сохранил он во всю жизнь» (62—63).

Под следующим, 1698 годом Пушкин пишет:

«В начале года Петр отправился в Англию на яхте и на трех английских военных кораблях...» (69).

О пребывании Петра в Англии мы читаем:

«Между тем он неусыпно учился морской архитектуре. Время провожал он, как и в Голландии. Король подарил ему 25-ти пушечную яхту и модель военного корабля и велел дать морское примерное сражение...»

«Потом, — пишет Пушкин о Петре, — ездил он в Гордервик и видел там такие же морские эволюции. На возврат-

[1] Петр-мастер.

«История Петра» «1697 г.».
Рукопись Пушкина. Фрагмент.

ном пути претерпел он бурю, Петр, ободряя с ним бывших, говорил им: «слыхали ль вы, чтоб царь когда-либо утонул?» (69—70).

Рассказ о первом заграничном путешествии царя Пушкин заканчивает словами: «Петра ожидали в Италию, как вдруг получил он через посланного из Москвы гонца известие о новом стрелецком бунте, и государь поспешил возвратиться в Россию с Лефортом и с Головиным, поруча Возницыну присутствовать с цесарскими и венецианскими министрами на Карловицком конгрессе» (72).

Упомянув о том, что стрельцы, «стоявшие в Великих Луках и по границе литовской, свергнув начальников и избрав новых, пошли к Москве, надеясь возмутить и тамошних стрельцов», Пушкин пишет: «На дороге Петр узнал о разбитии их Шеиным и Гордоном. Но он продолжал свой путь, готовясь к ужасному предприятию...» (73).

Далее читаем: «Разбитие стрельцов происходило 18-го июня у Воскресенского монастыря. Мятежники, отслужив молебен и освятя воду, не внемля увещеваниям, пошли на войско, состоявшее из 2000 пехоты и 6000 конницы. Попы несли впереди иконы и кресты, ободряя мятежников. Генералы, думая их устрашить, повелели стрелять выше голов. Попы закричали что сам бог не допускает оружию еретическому вредить право

славным, и стрельцы, сотворив крестное знамение, при барабанном бое и с распущенными знаменами, бросились вперед. Их встретили картечью, и они не устояли. 4000 положено на месте и в преследовании. Прочие бросили оружие и просили помилования» (73—74).

Прибыв в Москву, Петр «в доме Лефорта дал публичную аудиенцию австрийскому послу фон Квариенту» (74). Секретарем этого посольства был Корб (записки которого о казни стрельцов Пушкин, как мы знаем, читал с большим вниманием).

«Следствие началось. Мятежники, — пишет Пушкин, — признались, что имели намерение сжечь Москву, истребить немцев и возвести на престол царицу Софию до совершенного возраста царевича Алексея. Они думали также в помощники ей взять из заточения Голицына. О царе сказано было им, что он за границею умер. Заводчицею мятежа оказалась царевна, имевшая переписку с стрельцами посредством нищей старухи, которая носила письма, запеченные в хлебах. Царя положено было, на возвратном пути его, убить.

Начались казни... Лефорт старался укротить рассвирепевшего царя...

Государь в то же время сослал и супругу свою Евдокию Федоровну в монастырь» (74).

Рассказав об усмирении нового бунта и о казни стрельцов, Пушкин переходит к событиям следующего, 1699 года. «Петр, — пишет он, — занялся внутренними преобразованиями» (76).

«Примером своим (и указами? — замечает Пушкин в скобках) уменьшил он число холопей. Он являлся на улице с одним или тремя денщиками, скачущими за ним» (76).

Мы читаем далее о заведении регулярного войска: «Рекрут набрано было до 32 032. Петр из оных составил 29 полков пехоты и конницы... Офицеры взяты из русских дворян, а отданы на обучение иностранцам. Войско одето было по немецкому образцу. Пехота имела мундиры зеленые с красными обшлагами, камзолами и штанами. А конница — синие с красными же, etc.

Петр, рассматривая роспись боярам и дворянам и видя многих неслужащих, повелел всех распределить по полкам, а других во флот, послав в Воронеж и в Азов для обучения морской службе. Петр обнародовал, чтоб никто не надеялся на свою породу, а доставал бы чины службою и собственным достоинством.

Шведский резидент Книпер-Крон, — замечает Пушкин, — в сильной ноте спрашивал о причинах заведения регулярного войска. Ему отвечали, что по уничтожении стрельцов нужно было завести новую пехоту» (76).

Заключительные строки, посвященные Пушкиным 1699 году, намечают, по-видимому, конец главы: «Повелено с наступаю-

щего года вести летосчисление с рождества Христова, а уже не с сотворения мира, а начало году считать с 1-го января 1700 года, а не с 1-го сентября...» (81).

Под 1700 годом мы читаем:

«Петр указом от 15 декабря 1699 года обнародовал во всем государстве новое начало году, приказав праздновать его торжественным молебствием, пушечной и ружейной пальбою, а в Москве для украшения улиц и домов повелел заготовить ельнику etc.

Накануне занял он московскую чернь, ропщущую на всякую новизну, уборкою улиц и домов. В полночь началось во всех церквах всенощное бдение, утром обедня с молебном при колокольном звоне. Между тем из разных частей города войско шло в Кремль с распущенными знаменами, барабанным боем и музыкою. Петр выстроил его на Ивановской площади и со всем своим двором слушал в Успенском соборе обедню, которую служил первенствующий митрополит рязанский Стефан. По окончании обедни митрополит говорил проповедь, в коей доказывал необходимость и пользу перемены в летосчислении... Петр поздравил всех с новым годом.

Потом государь угощал как духовных, так и светских знатных особ: придворные с женами и дочерьми были в немецком платье... Для народа перед дворцом и у трех триумфальных ворот, нарочно для торжества сооруженных, поставлены были столы и чаны с вином. Вечером весь город был освещен, сожжены были фейерверки при беспрерывной пушечной пальбе — и торжество заключилось во дворце балом и ужином» (85—86).

«Народ, однако, роптал, — пишет Пушкин. — Удивлялись, как мог государь переменить солнечное течение, и веруя, что бог сотворил землю в сентябре месяце, остались при первом своем летосчислении...» (86).

«Петр, — читаем мы далее, — послал в чужие края на казенный счет не только дворян, но и купеческих детей, предписав каждому являться к нему для принятия нужного наставления... Возвращающихся из чужих краев молодых людей сам он экзаменовал. Оказавшим успехи раздавал места, определял их в разные должности. Тех же, которые по тупости понятия или от лености ничему не выучились, отдавал он в распоряжение своему шуту Педриеллу (Pedrillo?), который определял их в конюхи, в истопники, несмотря на их породу» (86—87).

«Петр указал, чтоб женщины и девицы имели в обращении с мущинами полную свободу, ходили бы на свадьбы, пиршества и проч., не закрываясь. Он учредил при дворе и у бояр столы, балы, ассамблеи etc., повелел быть в Москве театральным представлениям, на коих и сам всегда присутствовал.

Жениху и невесте прежде брака повелено иметь свидания и запрещены браки по неволе...» (87).

Описав внутренние преобразования, совершенные Петром,

Пушкин переходит к изображению внешнеполитических событий.

«Крымский хан старался всеми силами воспрепятствовать миру между Россией и Турцией. Он писал к султану, что Петр, ниспровергая древние обычаи и самую веру своего народа, утверждает все на немецкий образец, заводит новое многочисленное войско, строит флот и крепости на Днепре и на других реках, что ежели султан не заключит мира, то сей опасный нововводитель непременно погибнет от своих же подданных...» и т. д. (88).

«...Султан под влиянием Швеции готов уже был объявить войну. Однако же наш посланник Возницын, подкрепленный английским и голландским (посланниками. — *И. Ф.*), успел заключить тридцатилетний мир, по коему Азов со старыми и новыми городками оставлен за Россиею. Петр торжественно праздновал заключение сего мира 18 августа» (88).

На другой же день он решил объявить войну Швеции.

Петр требовал (писал Пушкин ранее) удовлетворения за обиды, причиненные шведским губернатором в Риге русскому посольству, и возврата России города Нарвы либо Нейшанца (Канцы) с окрестной землею (место, где был построен впоследствии Петербург) (79). Пушкин в своей «Истории» неоднократно подчеркивает, что Петр желал «единственно иметь порт на Балтийском море» (155 и др.). На требования эти, предъявленные Петром в 1699 году, король — ответ которого был получен уже в 1700 году — «отвечал, что рижский губернатор был совершенно прав, а жалобы русского двора неосновательны. В требовании же пристани на Балтийском море отказано» (79—80).

«19-го августа Петр повелел шведскому резиденту Книпер-Крону через месяц выехать из Москвы, а кн. Хилкову объявить войну с объяснением причин оной и выехать в Россию. Объявив о том же во всех европейских странах через своих резидентов, Петр, однако, присовокуплял, что он готов утвердить мир», если шведский двор удовлетворит «праведные требования» его и его союзников (89).

«Карл вспыхнул, — читаем мы далее. — Кн. Хилков был задержан, все служители от него отлучены, серебряная посуда отдана на монетный двор, секретарь посольства и все русские служители арестованы. То же воспоследовало со всеми русскими купцами, с их приказчиками и работниками (несколько сот человек). Имения их конфискованы, а сами они, лишенные способов к пропитанию, были употреблены в тяжкие работы. Все почти умерли в темницах и в нищете. В объявлении о войне Карл называл царя вероломным неприятелем etc.

Петр, — пишет Пушкин, — был столь же озлоблен; и когда английский и голландский министры вздумали было от войны его удерживать, то он, в ярости выхватив шпагу (см. Кати-

форос)[1], клялся не вложить оной в ножны, пока не отомстит Карлу за себя и за союзников. Если же их державы вздумают ему препятствовать, то он клялся пресечь с ними всякое сообщение...» (89).

Начало Северной войны и описание Нарвского сражения должны были составить содержание следующих страниц книги Пушкина.

«23 сентября, — пишет он, — Петр со своею гвардией прибыл под Нарву и повелел делать апроши и батареи...

...Нарву бомбардировали. Несколько раз она загоралась. Надеялись на скорую сдачу города. Но у нас оказался недостаток в ядрах и в порохе. По причине дурной дороги подвозы остановились. Открылась измена. Бомбардирский капитан Гуморт, родом швед, бывший в одной роте первым капитаном с государем, ушел к неприятелю. Петр, огорченный сим случаем, всех шведских офицеров отослал внутрь России, наградив их чинами, а сам 18 ноября наскоро отправился в Новгород, дабы торопить подвоз военных снарядов и припасов, в коих оказывалась уже нужда. Главным под Нарвой оставил он герцога фон Кроа, а под ним генерала комиссара князя Якова Федоровича Долгорукова...

...Между фон Кроа и Долгоруким произошло несогласие. Осажденные, будучи хорошо обо всем извещены через изменника Гуморта, послали гонца к Карлу, уверяя его в несомненной победе и умоляя его ускорить своим прибытием» (90—91).

«Карл прибыл 18 (?) ноября с 18 000 (?) отборного войска и тотчас напал на наших при сильных снеге и ветре, дующем нашим в лицо...» — пишет Пушкин, отмечая вопросительными знаками необходимость проверить день прибытия Карла и численность его армии[2]. Вслед за тем Пушкин указывает: «Все описание Нарвского сражения в Голикове ошибочно» (91). Указание это ясно свидетельствует об осведомленности Пушкина и критическом отношении его к сведениям, сообщаемым Голиковым в «Деяниях Петра Великого». Опустим здесь этот отвергаемый Пушкиным материал и посмотрим, на что считает он нужным обратить внимание в истории Нарвской битвы.

Рассказав об измене Гуморта (Гуммерта), Пушкин говорит о последовавшей сдаче в плен главнокомандующего русскими войсками герцога де Кроа. Он и вместе с ним другие иностранные генералы и офицеры «при первом нападении шведов, выехав из укреплений, сдались полковнику графу Штейнбоку.

---

[1] «Жизнь Петра Великого» Антонио Катифоро (на которую ссылается в «Деяниях» Голиков) сохранилась, как сказано выше, в библиотеке Пушкина и в итальянском издании, и в русском переводе.

[2] Карл прибыл 18 ноября и расположился в десяти верстах от крепости; сражение началось на другой день утром. Шведов было, по одним сведениям, 8000, по другим — 12 000.

Феофан и Щербатов, — замечает Пушкин, — называют это изменою» (92).

Русское войско, несмотря на стойкое сопротивление петровской гвардии, было разгромлено. Однако Карл, подчеркивает Пушкин, вынужден был утвердить следующие условия перемирия:

«1) Всем русским генералам, офицерам и войску с шестью полевыми пушками свободно отступить.

2) С обеих сторон обменять пленных и похоронить тела.

3) Всю тяжелую артиллерию и всю остальную полевую оставить шведам, все же прочее, багаж полковой и офицерский etc., свободно с войском отвести...

Наши генералы хотели слышать подтверждение договора из уст самого короля: Карл на то согласился. Условия повторены были в его присутствии, и в соблюдении договора король дал руку свою князю Долгорукому» (93).

До сих пор изложение Пушкина носит строгий, деловой характер, но вслушайтесь в интонацию его рассказа о том, как сдержал Карл XII свое слово:

«Гвардия и вся дивизия Головина с военной казною, с оружием, с распущенными знаменами и барабанным боем перешли через мост, остальные последовали за ними сквозь шведское войско. Тогда шведы на них напали, обезоружили, отняли знамена — и потом отпустили за реку. Обоз был ограблен, даже некоторые солдаты были ими раздеты. Наши хотели противиться. Произошло смятение. Множество русских было убито и потоплено. Выговоренные пушки и амуниция были захвачены. Все генералы, многие офицеры и гражданские чиновники под различными предлогами удержаны в плену. Их обобрали, заперли в Нарве в холодном доме и, целый день продержав их без пищи, послали в Ревель, а потом и в Стокгольм, где вели их в триумфе по улицам до тюрем, им определенных.

Петр протестовал...» (93—94).

Строки, посвященные Пушкиным деятельности Петра после нарвского разгрома, заставляют вспомнить слова Маркса: «Нарва была первым серьезным поражением поднимающейся нации, умевшей даже поражения превращать в орудия победы»[1].

В пушкинской «Истории Петра» мы читаем: «Петр, получив известие о поражении, в то время как он спешил под Нарву с 12 000 войска с амунициею и с военными снарядами, не упал духом и сказал только: «Шведы, наконец, научат и нас, как их побеждать» (95).

«5 декабря уже писал он строгое письмо Шереметеву, повелевая ему идти на неприятеля... «Болота замерзли, — писал Петр, — людей довольно; отговариваться нечем, разве болез-

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 10, с. 589.

нию, полученной меж беглецами — из коих майор** на смерть осужден» (95).

Пушкин пишет далее о том, что Петр «наградил свою гвардию, не положившую ружья даже по лишению своих начальников...», повелел в Новгороде «беспрерывно обучать новые полки», приказал перелить в пушки часть монастырских и городских колоколов, а на Волге, в глубоком тылу, готовить новые драгунские полки.

В связи с изменой под Нарвою иностранных офицеров, служивших в армии Петра, Пушкин пишет в последних строках, посвященных 1700 году: «Все полковники, вновь назначенные, были уже русские, кроме двух новогородских полков» (95—96).

Страницы, посвященные поражению под Нарвой, сменяются у Пушкина изображением — под 1702 годом — осады и взятия Нотебурга — древнего Орешка.

«Сентября 26 государь прибыл под Ноттенбург и в ожидании войска приказал делать шанцы.

27 прибыло Ладожским озером и остальное войско на 50 судах. На пути оно прогнало к Выборгу шведские суда. Лагерь, приуготовленный Петром, был занят. Суда повелено через лес на $^1/_2$ мили перетащить в Неву (что 27 и исполнено).

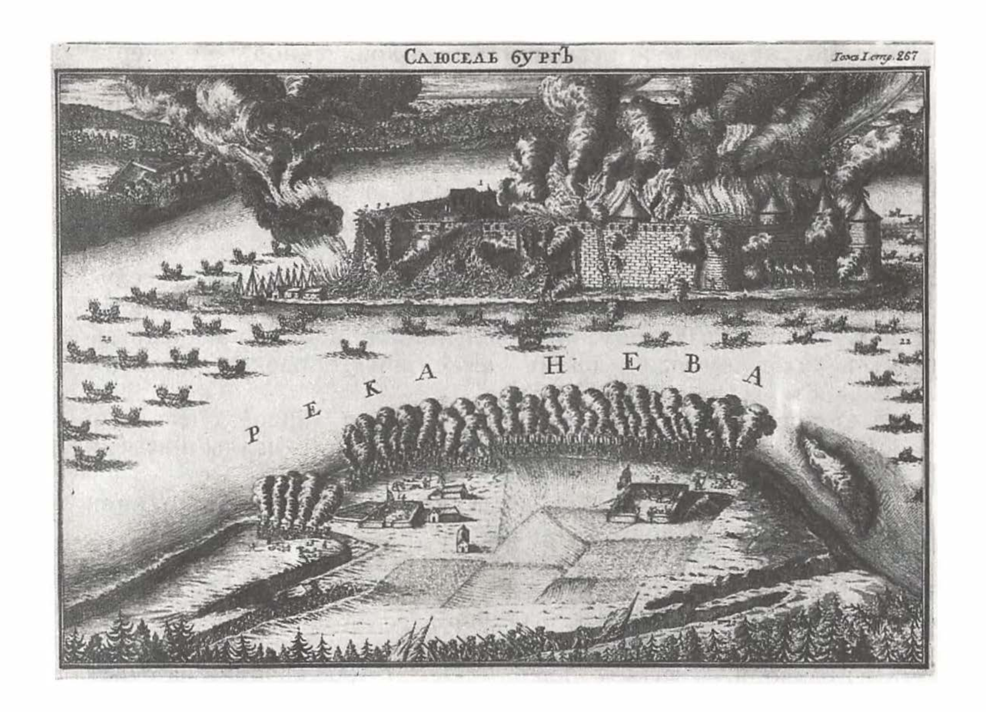
1 октября, — читаем далее, — Петр с 1000 гвардии на судах переправился на остров. Шведы, дав залп, оставили шанец, который без потери был нашими занят. Крепость осаждена со всех сторон. Прежде бомбардирования Петр предложил коменданту сдаться на честных условиях. Комендант просил четыре дня сроку и дозволения дать знать о том нарвскому обер-коменданту. Вместо ответа загремели наши пушки и полетели в город бомбы. Осажденные послали барабанщика... к Шереметеву с письмом от *комендантши* и всех офицерских жен, просящих о позволении выйти из крепости» (107—108). Эпизод этот привлек внимание Пушкина.

«Барабанщик, — пишет он, — приведен был на батарею к бомбардирскому капитану между крепостью и нашими апрошами. Петр отправил его с письменным ответом, в коем сказывал, что «не может допустить его до фельдмаршала, ибо он верно не захочет опечалить супругов разлукою. Ежели же благоволят они выехать, то пускай с собою выводят и мужьев».

«Из крепости, — замечает здесь Пушкин, — целый тот день стреляли по батарее Петра» (108).

«Наконец, крепость после отчаянного супротивления, приведенная в крайность (в стене сделаны были три пролома, и наши были уже почти на стенах), сдалась 11 октября. Петр позволил всему гарнизону выдти с воинскими почестями и со всем имуществом, на что дал им три дня, дозволя и караулу их остаться в крепости» (108).

Получив на другой день известие о том, «что генерал Кро-



Взятие Нотебурга (Шлиссельбурга) в 1702 г.
Гравюра А. Шхонебека. 1703 г.

ниорт идет на помочь Ноттенбургу», «Петр явился в проломе, объявил о том генерал-майору Чамберсу, повелев немедленно шведские караулы по городу сменить... Чамберс и Петр пошли по стенам для смены караула, первый направо, другой налево и сами расставили караулы. Потом комендант и гарнизон (шведский. — *И. Ф.*) вышли из крепости сквозь пролом с распущенными знаменами, барабанным боем, с пулями во рту и с четырьмя железными пушками. Им даны суда, и они отпущены к Канцам (Нейшанц)» (109).

«Петр явился в проломе...» В описании Пушкина передан воинский ритм, и мы, кажется, видим развод караула на крепостной стене и церемониальный выход из крепости капитулировавшего шведского гарнизона.

Медаль, выбитая в честь возвращения старой русской крепости, изображала портрет Петра, а на другой стороне, записывает Пушкин, «город бомбардированный с надписью — *Был у неприятеля 90 лет*» (111). После победы, пишет он, Петр назвал взятый город Шлиссельбургом (ключ-городом), видя в нем «ключ, коим отопрутся и другие лифляндские города» (109).

Следующий за взятием Шлиссельбурга — 1703 год явился



Медаль *«На заложение Санкт-Петербурга» 1703 г.*

годом основания Петербурга. Строки, посвященные Пушкиным рассказу об этом важнейшем историческом деле Петра (115), могли бы явиться в книге Пушкина началом новой главы:

«Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об основании гавани, которая открыла бы ход торговле с северо-западною Европою и сообщение с образованностию. Карл XII был на высоте своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, 16 мая заложил крепость С.-Петербург» (*«одной рукою заложив крепость, а другой ее защищая...»* — говорит в скобках Пушкин, ссылаясь на Голикова).

Мы читаем дальше о прибытии в Петербург первых голландских кораблей:

«Петр всегда посещал корабельщиков на их судах. Они угощали его водкой, сыром и сухарями. Он обходился с ними дружески. Они являлись при его дворе, угощаемы были за его столом...» (До сих пор Пушкин остается как будто близок к источнику). «Их уважали и, — добавляет Пушкин, — вероятно, не любили» (117). Как меняют все дело эти слова Пушкина!

Осада и взятие Нарвы Петром — исторический ответ на нарвский разгром, ознаменовавший начало Северной войны, — изображаются Пушкиным вслед за основанием Петербурга. Через четыре года после поражения под Нарвой «Петр, отпраздновав победу (то есть взятие Дерпта. — *И. Ф.*), — на шведских фрегатах со шведскими знаменами и штандартами — Чудским озером возвратился под Нарву».

«Артиллерия была привезена. Петр в воинском совете положил сделать пролом с Ивангородской стороны в бастионе, именуемом *Виктория*. В тот же час построены батареи и *кетели*».

Далее мы читаем: «30 июля, после молебствия, началась канонада и тот бастион и бомбардирование города. Произош-



Медаль «На построение Кроншлота» 1703 г.

ли пожары; лаборатория с треском была взорвана. В девять дней сделан был в бастионе широкий пролом. С другой стороны бастион *Гонор* был обрушен и засыпал собою ров...

...В сей крайности Петр предложил через дерптского коменданта Шките о сдаче города на условие...

...Ответ Горна, пришедший на другой день, был гордый и обидный отказ. Петр повелел его прочесть перед войском. Озлобленные солдаты требовали; чтоб их вели на приступ. Военный совет определил быть приступу.

8 августа *приступные* лестницы тайно принесены в апроши. Все гренадеры посланы туда с повелением при начале приступа метать гранаты на бастионы. Против Виктории сделана новая батарея. — 9-го армия вся выступила из лагеря к апрошам. В ров с лестницами, по повелению Петра, посланы солдаты, бывшие в бегах и заслужившие казнь. Им приказано ставить их к обрушенному бастиону, по данному знаку лестницы были поставлены, и солдаты под начальством генерал-поручика Шенбека и генерал-майора Чамберса и Шарфа полезли со всех сторон на стены. Осажденные открыли огонь, взорвали подкоп и осыпали русских бочками, бревнами и каменьями. Русские не хладели, и в три четверти часа со всех сторон взошли на стены и погнали шведов до самого *старого города,* куда Горн скрылся вместе с ними. Он запер ворота и в знак сдачи повелел ударить в барабаны. Но рассвирепевшие солдаты ничего не слышали. Горн сам кулаками бил в барабан. Солдаты наши лезли на стену и кололи шведских барабанщиков. Другие устремились за бегущими до самых Ивангородских ворот и менее нежели в два часа овладели всеми около него укреплениями. В Нарве поднялся грабеж. Солдаты били по улицам всех, кто им ни попадался, не слушая начальников, повелевающих пощаду. Петр кинулся между ими с обнаженной шпагою и заколол двух ослушников. Потом, сев на коня, обскакал нарвские улицы, гроз-

но повелевая прекратить убийства и грабеж, расставил повсюду караулы (особенно по церквам и лучшим домам) и прибыл к ратуше, наполненной трепещущими гражданами. Петр, между ими увидев и Горна, в жару своем дал ему пощечину и сказал с гневом: «Не ты ли всему виноват? Не имея никакой надежды на помочь, никакого средства к спасению города, не мог ты давно уже выставить белого флага?» Потом, показывая шпагу, обагренную кровью, «смотри, — продолжал он, — это кровь не шведская, а русская. Я своих заколол, чтоб удержать бешенство, до которого ты довел моих солдат своим упрямством» (122—124).

Рассказ о событиях 1704 года заканчивается описанием триумфального въезда Петра в Москву, последовавшего за нарвской победой. Взятый в плен комендант Нарвы проведен был по улицам Москвы. Пушкин пишет об этом, называя число пленных, именуя трофеи: «Ведены были генерал-майор Горн и 159 офицеров, несено 40 знамен и 14 морских флагов, везено 80 пушек... Знатнейшие люди всех сословий поздравляли государя. Народ смотрел с изумлением и любопытством на пленных шведов, на их оружие, влекомое с презрением, на торжествующих своих соотечественников и начинал мириться с нововведениями» (129).

Мы вправе предполагать, что это описание должно было стать заключением одной из намечавшихся глав «Истории Петра».

Исторический канун Полтавы составляет содержание следующих разделов пушкинской рукописи. Это время было для Петра критическим. Говоря о событиях 1707 года, Пушкин пишет:

«Порта[1] вошла тогда в сношение с Карлом, возмущаемая польским послом. Кубанские народы также шевелились. Карл хвалился явно, что придет в Москву и возмутит русских, уже готовых к бунту» (181).

Описание событий 1707 года Пушкин заканчивает знаменательными строками, которые мы уже приводили. Шведы, как помнит читатель, надеялись не только победить Петра и свергнуть его с престола, но и «выгнать» русский народ «со света», — даже не силой оружия, а «плетьми». Заканчивающий эти строки исторический ответ Петра на угрозы Карла XII: «Брат мой Карл хочет быть Александром» (то есть Александром Македонским), обозначил бы собой, вероятно, в композиции пушкинской книги канун Полтавы.

Петр заранее готовился встретить шведов. Он, пишет Пушкин на первой же странице «Истории Петра», посвященной событиям 1707 года, «дает указ, чтоб от границ на 200 верст поперек и в длину от Пскова, через Смоленск, до Черкасских го-

[1] Турция.



«Панорама Петербурга». Лист из серии
Гравюра А. Зубова, 1716 г.

родов — хлеба на виду ни у кого не было, а зарывать его в ямах или скрывать в лесах». И далее: «Петр определил в Польше генерального сражения не давать; если же обойтиться без него будет невозможно, то сразиться при своих границах. В Польше же стараться только о вреде неприятелю партизанскою войною» (179).

Весной 1707 года, пишет Пушкин, «Петр послал бомбардирского капитана Корчмина с повелением укрепить Кремль и Китай» (то есть Китай-город) (181).

«10-го сентября, — читаем мы в «Истории Петра» под 1708 годом, — Петр получил известие, что Карл перешел через Сожу и устремился к Украйне. В то же время узнали, что

и Левенгаупт поспешно от Риги идет на соединение с Карлом». В воинском совете, пишет Пушкин, решено было: «...Шереметеву вслед за королем идти в Украйну; самому же Петру с гвардией и с несколькими кавалерийскими полками идти как можно поспешнее противу Левенгаупта, ибо главным делом было воспрепятствовать соединению» (Левенгаупт шел к королю с артиллерией и боевыми припасами). «Гвардия посажена была на лошадей».

«Наконец 27 сентября Петр увидел Левенгаупта, стоящего у деревни *Долгие Мхи* за рекою...» «Ночью Петр переправился и нагнал его о полудни под Лесным, стоящего за болотами в месте неприступном» (195—196).

Описав ход сражения и рассказав о разгроме шведов, Пушкин замечает: «Победу под Лесным Петр называл потом матерью полтавской победы, последовавшей через 9 месяцев» (199).

«Мазепа, — читаем мы далее, — утешал шведского короля и обнадеживал его победою... Дабы отвратить от себя подозрение и между тем и для заготовления для шведов запасов, — он обнародовал универсалы, в коих увещевал жителей зарывать хлеб, деньги и имущество; в церквах повелел молиться о избавлении Малороссии от нашествия врагов православия. Эта излишняя хитрость повредила ему. Карл усумнился в искренности предателя, и народ, устрашенный и взволнованный, возненавидел шведов и остался тверд в своем подданстве.

Карл в недоумении остановился лагерем на берегу Десны и оставался без действия».

«Петр, — пишет Пушкин, — имел подозрение на старого гетмана... Мазепа хитрил и медлил...

...Он в укрепленном Батурине оставил своих единомышленников... а сам отправился к Десне. Перешед оную, он выстроил свое войско в виду приближавшихся шведов, и, когда все ожидали сражения, он вдруг, обратясь к малороссиянам, произнес сильную речь, в которой открыл настоящее свое намерение. Малороссияне, не приуготовленные ни к чему, испугались и один за другим обратились в бег. Осталось при гетмане около 2000 наемных его сердюков, с коими он и явился к шведскому королю» (199—200).

После этого Петр известил Апраксина «о измене Мазепы, 21 год верного и при гробе ставшего предателем». Князю Долгорукому на Дон Петр пишет: «Слава богу, что в замысле его и пяти человек нет». «...Многие из сообщников Мазепы оставили его...» — читаем мы в «Истории Петра». «Города прислали к Петру своих депутатов; мужики приносили русскому начальству письма Мазепы: даже нападали на шведов etc.» (201—202).

«Зима была жестока. Шведы терпели великую нужду, — чему, — замечает Пушкин, — виновен был и Мазепа, свезший весь

провиант в укрепленные места, подпавшие в руки русских». Говоря о занятии русскими Ромны, Пушкин добавляет: «Сие было в декабре, в жестокие морозы, когда и птицы мерзли в воздухе» (203).

Петр «не думал, чтоб зима прошла без главного сражения» («а сия игра в божиих руках», — приводит Пушкин его слова).

«...Узнав из перехваченных писем, что Карл и Мазепа звали Станислава[1], Петр сказал: «Желал бы я, чтоб и он подоспел, тогда бы угостили мы трех королей» (204).

Наконец под 1709 годом в «Истории Петра» мы читаем:

«Петр получил известие, что Полтава осаждена, что Карл несколько раз уже приступал к городу и в сильной блокаде его держит, и 31 мая по почте поехал в армию.

Мазепа уверял Карла, что взятие Полтавы привлечет к нему Малороссию. В ней заготовлены были магазейны (в коих шведы нуждались). Взятие Полтавы, — говорит Пушкин, — открывало королю сообщение с поляками, казаками и татарами и дорогу в Москву. Карл не сомневался в своем счастии, в кое он всегда верил...»[2] (213—214).

«Нам необходимо было усилить Полтавский гарнизон», — замечает Пушкин, рассказывая далее о том, как 7 мая русские с боем ввели в осажденную шведами Полтаву вспомогательный отряд. Осада города, однако, длилась весь май, она продолжалась в июне; наконец «осажденные письмами, бросаемыми в пустых бомбах, дали знать, что у них недостаток в порохе и что неприятель уже вкопался сквозь вал и в полисад.

Петр собрал совет 16-го июня. В нем положено, перешед реку, дать генеральное сражение, как единственный способ освободить город» (216).

Указав, как Петр расположил свои силы, готовясь к сражению, Пушкин пишет:

«25-го Карл, осматривая сам наш лагерь, ранен был в ногу etc.». Что скрывается под этим «etc.», объясняет нам одно из примечаний Пушкина к «Полтаве»: «Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу».

«26-го Петр осматривал положение мест, располагая план сражения. Но Карл его предупредил» (216).

«27 июня до восхождения солнечного неприятель тронулся с намерением атаковать нашу конницу...» — пишет Пушкин в «Истории Петра», намечая вслед за тем на основе «собранных из достоверных источников» «Деяний Петра Великого» ход Полтавского сражения.

---

[1] Избранного по указанию Карла на польский престол.

[2] «По наущению Фрелинга, веровавшего в предопределение» (говорит в скобках Пушкин, ссылаясь на Голикова).

В стихах «Полтавы» бой изображен был Пушкиным поэтически-обобщенно, и один из современников, недовольный поэмой, простодушно критиковал описание Полтавского боя — за недостаток точности.

«Военный человек, — писал он, — скажет на это: если кавалерия своя и неприятельская рубятся между собой, то ядра не могут между ними прыгать и разить потому, что в толпу неприятеля, смешанного с своими, стрелять не станут. Ядра могут шипеть в крови, когда раскалены, но раскаленными ядрами в полевых сражениях не стреляют. Скрежету в битвах поныне не слыхивали, а прочее все благополучно и нового ничего нет, о чем донесть честь имею»[1]. Этому критику «Полтавы» нравились, видимо, описания сражений, о которых еще в сатире пушкинских времен было сказано: «В стихах реляция!..»

Правда, в черновиках «Полтавы» среди стихов, посвященных Полтавскому бою, можно прочесть:

Сраженья общего предтечи
Повсюду частные бои..

Однако эти слишком точные определения, вернее термины, уместные в реляции или в специальном, военно-историческом описании, но выпадавшие из поэтического строя поэмы, Пушкин оставил в черновой рукописи «Полтавы».

В «Истории Петра» ход Полтавского боя еще только намечен Пушкиным, но намечен, в отличие от поэмы, конкретно, и мы читаем: «Главная шведская армия пробивалась сквозь редуты, наша конница сбивала неприятельскую (взяв 14 штандартов и знамен). Неприятель беспрестанно подкреплял свою конницу, а нам сие делать было невозможно; предводитель оной, храбрый Рен, ранен был в бок. Петр повелел Боуру (заступившему Рена) отступить справа от нашего ретраншемента, с наблюдением, чтоб гора была у него во фланге, а не назади (дабы неприятель не мог утеснить ее под гору). Боур стал отступать, а неприятель его преследовать. Тогда шведы очутились под огнем нашего укрепления и приняты были пушками во фланг. Они отступили на пушечный выстрел и выстроились в боевом порядке» (217).

Сохраненные в нашей памяти только гениальными стихами поэта имена разбитых шведских генералов («Уходит Розен сквозь теснины, //Сдается пылкий Шлиппенбах») появляются пред нами вновь на страницах «Истории Петра», где читаем: «Неприятель был порублен. Генерал-майор Шлиппенбах сдался, а генерал-майор Розен отступил к полтавским апрошам» (218).

Сказав о том, как Петр «вывел из укрепления свою армию и выстроил ее», Пушкин продолжает: «Петр объехал со своими генералами всю армию, поощряя солдат и офицеров, и повел

[1] «Сын отечества и Северный архив», 1829, т. III, № XVI, с. 109.



Медаль *«На Полтавскую баталию». 1709 г.*

их на неприятеля. Карл выступил ему навстречу: в 9-м часу войска вступили в бой. Дело не продолжалось и двух часов — шведы побежали» (218—219).

В «Истории Петра» Пушкин приводит точные, сухие цифры, перечисляя потери шведов, трофеи и пленных. Он пишет: «На месте сражения сочтено до 9234 убитыми. Голиков погибшими полагает 20 000, на три мили поля усеяны были трупами». О шведах же, оставшихся в живых, сказано: «Левенгаупт с остальными бежал, бросая багаж и коля своих раненых...»

«Карл, упавший с качалки, был заблаговременно вынесен и увезен к Днепру. Он соединился с войском своим под Переволочною; тут оставил он его и бежал в турецкие границы с несколькими сот драбантов и с генералами Лангерскроном и Шпаром» (219). Это был тот самый Шпар (Спарре), который был заранее уже назначен Карлом «московским губернатором».

Вскоре «Карл прислал Мардофельда в Полтаву...». «Карл, — читаем мы в «Истории Петра», — присылал его с предложением о мире на тех условиях, кои (ранее, до Полтавского боя. — *И. Ф.*) предлагал Петр. Ему отвечали, что уже поздно...» (221).

Сказав о том, что ставленник Карла на польском престоле Лещинский и Крассов бежали после полтавского разгрома в Померанию, Пушкин пишет: «Сначала они рассеивали ложные слухи о Полтавской битве; наконец Лещинский в Померании отказался от короны». И добавляет: «Польские вельможи отовсюду съезжались к Петру с поздравлениями...» (224).

«23 сентября, — читаем мы далее, — Петр прибыл в Варшаву...» (225).

«26-го... встретил его Август» — прежний союзник Петра, вступивший после ряда своих поражений в соглашение с Карлом, но теперь снова объявленный Петром законным королем

Польши. «Король при встрече с царем смутился и изменился в голосе и в лице. Петр, поздравляя его, сказал ему, что прошедшего поминать не должно, что он знает, что за необходимость заставила короля поступить вопреки собственной пользы; но между тем, — замечает Пушкин, — Петр имел на себе ту самую шпагу, которую Август подарил Карлу XII» (225).

П.А. изображая далее свидание Петра с Фридрихом, королем прусским, Пушкин приводит свидетельство современника-мемуариста, рассказывающего, что «Петр подарил Фридерику шпагу, которую носил он под Полтавою, и, несмотря на то, что она была тяжела, длинна и неловка, король все время носил ее на себе» (228).

Рассказ о двух этих шпагах выразительно характеризует отношения между Петром-победителем и королями, искавшими теперь союза с ним.

Сразу же после полтавской победы, говорится в «Истории Петра», Петр «объявляет Колычеву за тайну о будущей морской кампании...» (222—223).

Завоевание Прибалтики, взятие Выборга и Риги сменяется в «Истории Петра» описанием Турецкой кампании, неудачного Прутского похода Петра.

Пушкин отвергает рассказы о том, что находившаяся в лагере Петра при Пруте Екатерина отослала, будто бы «тайно от Петра», «деньги и алмазы в подарок визирю...», чтобы купить этой ценой мир и избавить Петра и его армию от угрожающего разгрома. «Все это вздор», — замечает Пушкин (269).

Рассказав о том, как Карл прискакал из Бендер «о дву конь» к визирю, когда мирный трактат «был уже разменен», Пушкин пишет: «Визирь встретил его за лагерем как будто нечаянно. Карл грозно выговаривал ему, как смел он без его ведома кончить войну, начатую за него; турок отвечал, что войну вел он и кончил для пользы султана. Карл требовал от него войска, обещая русских разбить и теперь. Визирь отвечал: «Ты уже их испытал, и мы их знаем. Коли хочешь, нападай на них со своими людьми, а мы заключенного мира не нарушим». Карл, — пишет Пушкин, — разорвал шпорою платье хладнокровного турки, поскакал к крымскому хану, а оттуда в Бендеры...» (270).

Неудача Прутского похода не смогла помешать укреплению России на Балтике.

Изображение Гангутского боя — «морской Полтавы» — должно было составить содержание одного из важных эпизодов «Истории Петра», в которой Пушкин отдал так много внимания превращению России в великую морскую державу.

Страницы, которые должны были быть посвящены сражению при Гангуте, только намечены Пушкиным. Под 1714 годом мы читаем:

«16 июля, осматривая новоприбывший из Голландии корабль, Петр получил от Апраксина известие, что шведский флот

у Ангута, а что адмиралу пройти туда невозможно. Апраксин требовал от господина шаутбенахта[1] или диверсии, или его прибытия во флот...

...20-го числа прибыл Петр в Твердеминд к Апраксину; на другой день осмотрел неприятеля...

...Твереминдская гавань имеет узкий выход. Вывести из оной флот в глазах неприятеля было опасно, к тому же неприятель мог оный и запереть. Петр положил до 80 легких галер перетащить через перешеек и воспользоваться диверсией» (334).

«...27 июля весь наш галерный флот выступил, дабы пробиться сквозь шведский (на коем было до 1127 пушек). Он прошел благополучно под страшным огнем; одна только галера села на мели и взята. Апраксин соединился с Змаевичем и послал к командиру шведской эскадры... чтоб он сдался. Получа отказ, Петр с генералом Вейдом напал на эскадру; бой продолжался от третьего до пятого часа, эскадра была взята, командир оной шаутбенахт Эрншильд был взят в шлюпке, на которой хотел уйти...» (335).

Пушкин пишет: «Сия победа и завоевание Аланда привели в ужас Швецию...» (336).

«...Петр торжествовал морскую победу свою, как Полтавскую» (337).

После громких побед, одержанных на суше и на море, когда дело Петра казалось уже обеспеченным прочно, возникает процесс царевича Алексея, который должен был явиться содержанием чрезвычайно важной главы пушкинской книги о Петре. Страницы, посвященные истории царевича и суду над ним, раскрывают перед нами творческую работу Пушкина-историка. На страницах этих проступают куски прозы, которые вошли бы, по-видимому, в окончательный текст «Истории Петра» без изменений или почти без изменений. Но многое записано здесь Пушкиным только для себя, — тем интереснее в ряде случаев эти записи, опубликование которых в пушкинские времена было немыслимо.

Уже в первой, вступительной тетради пушкинской «Истории Петра» мы читаем:

«Царевич Алексей Петрович родился [в] 1690 году, февраля 29. До 1699 года находился он при матери своей, царице Евдокии Федоровне, когда была она заключена в Суздальский монастырь. Суеверные мамы и приставники ожесточили его противу отца, а духовные особы при обучении его православию вкореняли в нем ненависть к нововведениям. При чтении священных книг останавливали его при некоторых текстах, выводя разные из оных политические заключения etc. Петр до самого того времени не имел времени им заняться. По истреблении же

[1] То есть от Петра, который носил в это время звание шаутбенахта (контр-адмирала).

стрельцов и заключении царицы, обратил он на него свое внимание и приставил к нему двух господ Нарышкиных, ошибочно полагая их к себе приверженными. В 1701 году Петр назначил Меншикова обер-гофмейстером к царевичу, а гофмейстером министра своего статского и военного советника фон Гизена (или Гуйссена). Сей Гизен написал «Историю Петра 1-го», но не кончил оной. Петр дал ему письменную инструкцию (от 3 апреля 1703 года), чему должен он обучать царевича; между тем ожесточенный отрок выучился только притворствовать. Потом Петр произвел его сержантом гвардии, брал его с собою в походы; в разных сражениях, при взятии Ноттенбурга (Шлиссельбурга), Копорья, Ямбурга и Нарвы, царевич находился при нем, но в безопасности. Он сопровождал отца во время его путешествий в Польшу, в Архангельск etc. Петр употреблял его и в государственные дела, а перед турецким походом поручил ему и главное правление» (15—16).

Говоря под 1718 годом в «Истории Петра» о деле царевича Алексея, Пушкин подчеркивает вначале, что Петр *«уважал его ум»* и «несколько раз давал ему важные поручения, в 1708 при Долгоруком посылал на бунтующий Дон, в 1711 — в Польшу» (385). Сообщая далее, что Петр «женил его на принцессе Волфенбительской» (386), Пушкин замечает: «Она, кажется, изменила мужу с молодым Левенвольдом. Царевич ее разлюбил и взял себе в наложницы чухонку...» (там же). «Чухонке» этой — Ефросинии — суждена была, как известно, плачевная роль в судьбе царевича Алексея.

Не становясь как историк на сторону Алексея, Пушкин стремился выяснить действительную картину связанных с процессом и смертью царевича событий, многие из которых представлялись современникам поэта таинственными и долго еще оставались неизвестными.

В «Истории Петра» под 1718 годом мы читаем:

«Царевич был обожаем народом, который видел в нем будущего восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царем, обращало на него все свои надежды. Петр ненавидел сына, как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания» (385—386).

Пушкин, как видим, подчеркивает, что ненависть Петра к сыну возникла не сразу — и по причинам государственным, а не личным.

Мы читаем далее о том, как бежавший за границу царевич «привезен был в Москву в конце января Толстым и Румянцевым.

3 февраля велено было гвардейским полкам и двум ротам гренадер занять все городские ворота. Знатные особы, — пишет Пушкин, — собрались *в столовой Кремлевского* дворца. Туда прибыл и Петр. Царевич без шпаги был приведен и, пав к ногам

отца, подал ему повинное письмо, в коем просил помилования» (386).

Петр принял письмо и объявил сыну прощение, но, читаем мы в «Истории Петра», «приказал ему объявить о всех обстоятельствах побега и о всех лицах, советовавших ему сию меру или ведавших об оной. Буде же утаит, то прощение будет не в прощение» (386).

После этого царевич объявлен был «от наследства престола отрешенным», и знатные особы, духовенство и народ присягнули в Успенском соборе новому наследнику — малолетнему Петру Петровичу (сыну Екатерины).

В тот же день обнародован манифест, указывает Пушкин, называя том и страницы голиковских «Деяний», где напечатан манифест («Деяния Петра Великого», т. VI. М., 1788, с. 3), и отмечая тем самым необходимость использовать этот замечательный документ в окончательном тексте «Истории».

В манифесте Петр не только лишил своего «перворожденного сына» престола, но и в сознании своей правоты обнародовал всю историю царевича, не желавшего «следовать нашей воле и обучаться тому, что наследнику государства пристойно...».

Манифест Петра говорил о распре Алексея с отцом и побеге его за границу, где, отдавшись под покровительство австрийского императора, царевич просил не только скрыть его от отца, но чтоб цесарь ему «оборону свою против нас и вооруженною рукою дал».

«4-го, — пишет Пушкин, — начался суд.

Петр предложил несчастному следующие запросы, угрожая уже лишением живота:

1) Притворно намереваясь постричься, с кем стал советоваться и кто про то ведал?

2) Во время болезни царя не было ли *слов для забежания* к царевичу, в случае кончины государя?

3) Давно ли стал думать о побеге и с кем? — с кем и для чего писал *обманное* письмо? Не писал ли еще кому?..

6) Какое письмо писал из Неаполя и кто из цесарцев принуждал его оное написать?» (Ранее Пушкин указывает, что царевич «объявил о двух своих письмах, писанных им из Неаполя будто бы по наущению Карла VI, — одно Сенату, другое архиереям».)

В заключение Петр предлагал царевичу «объявить сие и все, что есть на совести, или впредь не *пенять*» (387).

Вслед за тем Пушкин приводит ответы царевича на вопросы Петра, рассказывает о московском следствии, во время которого Алексей содержался в Преображенском, и пишет о том, что «начался розыск» над сообщниками царевича.

«Дворецкий И. Афанасьев показал, что царевич гневался на графа Головкина и его сына Александра да на князя Трубец-

кого за то, что навязали они ему *жену чертовку,* грозясь посадить их на кол и проч.

Федор Еварлаков донес на неохоту, с которой царевич ездил в поход.

Царевич оправдывался тем, что был пьян, когда то говорил — в прочем во всем признался» (389).

О любовнице Алексея — Ефросинии — Пушкин пишет: «Девка царевича не была еще привезена» (389).

Далее мы читаем:

«В сие время другое дело озлобило Петра: первая супруга его, Евдокия, постриженная в Суздальском Покровском монастыре, привезена была в Москву... Оба следственные дела спутались одно с другим. Бывшая царица уличена была в ношении мирского платья, в угрозах именем своего сына, в связи с Глебовым; царевна Мария Алексеевна в злоумышлении на государя; епиcком Досифей в лживых пророчествах, в потворстве распутной жизни царицы и проч.

15 марта казнены Досифей, Глебов, Кикин казначей и Вяземский...

...Царица высечена и отвезена в Новую Ладогу» (390).

«...Государственные дела шли между тем своим порядком» (там же).

«Дело царевича, казалось, кончено. Вдруг оно возобновилось...» — пишет Пушкин, сопровождая свои строки выразительным многоточием. «Петр велел знатнейшим военным, статским и духовным особам собраться в Петербург (к июню)» (397). Петр с самого начала объявил сыну, что если тот не признается во всех своих винах, «то прощение будет не в прощение». Теперь, когда дело царевича было, «казалось, кончено», неожиданно выяснилось, что он утаил во время московского следствия некоторые обстоятельства и документы, имевшие большую важность в глазах Петра.

После окончания московского следствия «дьяки представили черновые письма царевича к сенаторам и архиереям», писанные из Неаполя (398). Между тем царевич утверждал, что письма эти он писал прямо набело.

«В мае, — сообщает Пушкин, — прибыл обоз царевича, а с ним и Афросиния», скрывавшаяся во время побега царевича вместе с ним за границей (397). «Изветы ее... были тяжки, царевич отпирался. Пытка развязала ему язык; он показал на себя новые вины» (398).

Пушкин проявляет таким образом осведомленность о самых тайных обстоятельствах возобновившегося следствия. «Царевич, — продолжает он, — более и более на себя наговаривал, устрашенный сильным отцом и изнеможенный истязаниями» (398).

Алексей и духовник его, протопоп Яков, признались, что царевич желал смерти отцу. Но особенно тревожила Петра воз-

можная связь царевича и его сторонников с оппозиционными вельможами и духовенством и надежды Алексея, связанные с недовольством находившихся в Мекленбурге гвардейских полков.

Касаясь подготовки судебного приговора над царевичем, Пушкин замечает: «Гражданские чины, порознь, объявили единогласно и беспрекословно царевича достойным смертной казни. Духовенство, как бабушка, сказало надвое» (399).

«24 июня, — читаем мы далее, — Толстой объявил в *канцелярии* Сената новые показания царевича и духовника его (расстриги) Якова» (399).

Упомянув о данных, как мы знаем, под пыткой показаниях царевича от 19 и 24 июня 1718 года, которые Толстой объявил 24 июня Сенату, Пушкин поясняет: «Он представил и своеручные вопросы Петра с ответами Алексея своеручными же (сначала — твердою рукою писанными, а потом после кнута — дрожащею) (*от 22 июня*)[1].

И тогда же приговор подписан.

25-го (июня. — *И. Ф.*) прочтено определение и приговор царевичу в Сенате.

26-го царевич умер отравленный.

28-го тело его перенесено из крепости в Троицкий собор.

30-го погребен в крепости в присутствии Петра.

Есть предание, — пишет Пушкин, — в день смерти царевича торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшного 1698 года» (399).

Рассказав о смерти царевича, Пушкин замечает: «Петр между тем не прерывал обыкновенных своих занятий» (399).

Мы видим, как важны государственные заботы Петра: экспедиция Бековича в Среднюю Азию, строительство флота и Петербурга, мирные переговоры со Швецией («Петр прибыл к Аланду с флотом 2 августа, — пишет Пушкин, — дабы ускорить ход переговоров» — 401) — вот важнейшие из числа этих дел.

Пушкин не скрывает жестокости Петра, но показывает, что судьба Алексея определена была не ею. В отличие от Вольтера, рисующего мелодраматическую сцену запоздалого примирения Петра с виновным сыном и оправдывающего Петра в своей книге о нем рассуждениями и примерами из римской истории, Пушкин не только говорит о государственной необходимости, вызвавшей процесс и смерть царевича Алексея, но, как великий писатель-реалист, конкретно показывает историческое значение дел Петра, ход которых могла бы остановить реакционная оппозиция, видевшая в царевиче свою надежду.

---

[1] Исправляем в приводимой цитате на слово «сначала» слово «сказали». На ошибку, допущенную писцом в этом слове при переписывании в 1840 г. подлинной тетради Пушкина, указал нам С. М. Бонди. В вышедшем позднее, в 1956 г., втором издании десятитомного акад. собр. соч. Пушкина (т. IX, с. 399) и в последующих изданиях «Истории Петра I» ошибка эта исправлена.



Петр. I
Гравюра А. Шхонебека. Голова Петра выполнена А. Зубовым. 1721 г.

Содержанием важной главы «Истории» должен был явиться Персидский поход Петра (1722 г.), которому Пушкин посвятил замечательные страницы. Мы приводили уже из них строки, представляющие собой образец исторической прозы Пушкина, посвященной Востоку. Глава эта в целом далеко не обработана и не завершена, но в подготовительном тексте Пушкина сказывается глубокое постижение Востока, и мы узнаем автора «Подражаний Корану» и «Путешествия в Арзрум», как в строках «Истории Петра», посвященных войне с Карлом и измене Мазепы, узнаем автора «Полтавы».

Пушкин пишет, например, о том, как «Рящинский» (то есть рештский) визирь старался задержать шахского посла Изма-



Сражение при Гренгаме 27 июля 1720 г.
Гравюра А. Зубова. 1721 г.

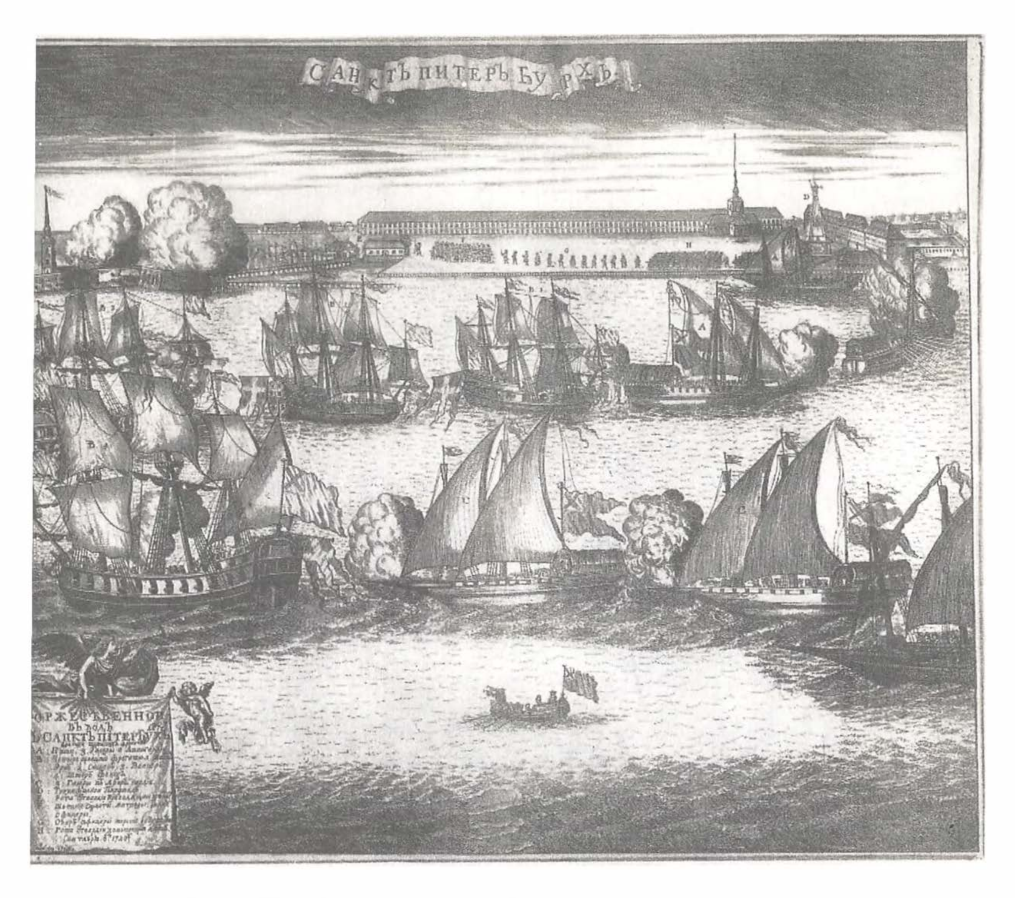
илбека, чтобы воспрепятствовать заключению выгодного для России мира. Русский консул Аврамов и Шипов помешали визирю.

Мы читаем: «Рящинский визирь помышлял сделаться самовластным и независимым. Он боялся сношений Тахмаса с Петром и всячески задерживал Измаил-бека, надеясь заставить шаха переменить мысли свои. Аврамов это проник, и Шипов предложил послу перебраться на судно и ехать в Астрахань.

Визирь ожидал уже от шаха повеления послу остаться. Аврамов поехал навстречу курьера, дождался его и задержал, сколько нужно было времени. А Соймонов между тем выпроводил посла под предлогом счастливого положения звезд; и Измаил поехал в начале января 1723 года, и визирь получил указ шаха уже поздно» (437).

«...Петр, — пишет Пушкин, — 27 июля прибыл в Петербург, куда прибыл и посланник шаха Измаил-бек... 10-го августа...

...12-го заключен с Персиею трактат.



Ввод в Петербург взятых при Гренгаме шведских фрегатов.
Гравюра А. Зубова. 1723 г.

Дагестан, Ширван, Гилань, Мезандеран и Астрабат уступлены России... 14-го сентября дана послу отпускная аудиенция — и тогда же Петр получил известие о взятии Баку» (445—446).

Завоевывая побережье Каспийского моря, Петр искал торгового пути в Индию. В последние дни жизни Петр, пишет Пушкин, назначил капитана Беринга «для открытия пути в Восточную Индию через Ледовитый океан» (460).

Смертью Петра заканчивается пушкинская «История» (в том виде, как она дошла до нас). Описание ее предварено Пушкина рассказом о том, как, спасая тонущий бот, «Петр выскочил и шел по пояс в воде, своими руками помогая тащить судно», отчего возобновилась его старая болезнь (457).

Описание смерти Петра было опубликовано более ста лет назад Анненковым, принявшим его за программу будущего исторического рассказа, в то время как оно относится к числу заме-



Екатерина I

Гравюра Дюпена с портрета работы Натье. 1717 г.

чательных, хотя не во всем доработанных еще страниц пушкинской прозы.

Пушкин изображает предсмертные страдания Петра, избавляя этим себя, в отличие от Голикова, от необходимости доказывать, что Петр не был отравлен Екатериной; мы видим, что смерть его наступила от давней болезни.

Как выразительно изображает Пушкин умирающего Петра, уже лишенного речи, недавно еще мощного, а теперь бессильного выразить свою волю! Петр, который самовластно отменил древний порядок престолонаследия и должен был сам избрать и назначить наследника, умирает без завещания, не в силах будучи даже произнести имя своего преемника и оставляя государство на произвол борющихся между собой за власть дворцовых партий.

«Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла, но он уже не мог ничего говорить» (462). В первый раз эта фраза Пушкина звучит как сообщение, важное для смысла повествования. Во второй раз, едва измененная, та же фраза передает трагизм совершающейся смерти Петра: *«Он уже не сказал ничего»*. Интонация этих слов звучит теперь с новой силой.

Когда же безмолвному, но не впавшему еще в беспамятство Петру предложили в последний раз причаститься, «Петр, — пишет Пушкин, — *в знак согласия приподнял руку»*.

Вот страницы, посвященные Пушкиным смерти Петра:

«16-го января Петр начал чувствовать предсмертные муки. Он кричал от рези.

Он близ своей спальни повелел поставить церковь походную.

22-го исповедывался и причастился.

Все петербургские врачи собрались у государя. Они молчали; но все видели отчаянное состояние Петра. Он уже не имел силы кричать и только стонал, испуская мочу.

При нем дежурили 3 или 4 сенатора.

25-го сошлись во дворец весь Сенат, весь генералитет, члены всех коллегий, все гвардейские и морские офицеры, весь Синод и знатное духовенство.

Церкви были отворены: в них молились за здравие умирающего государя. Народ толпился перед дворцом.

Екатерина то рыдала, то вздыхала, то падала в обморок, она не отходила от постели Петра и не шла спать, как только по его приказанию.

Петр царевен не пустил к себе. Кажется, при смерти помирился он с виновною супругою.

26-го утром Петр... повелел освободить всех преступников, сосланных на каторгу (кроме двух первых пунктов[1] и убийц), *для здравия государя.*

---

[1] То есть кроме осужденных за важнейшие государственные преступления.



Петербург. Вид на Петропавловскую крепость.
Гравюра А. Зубова. 1727.

Тогда же дан им указ о рыбе и клее (казенные товары).

К вечеру ему стало хуже. Его миропомазали.

27-го дан указ о прощении не явившимся дворянам на смотр. Осужденных на смерть по Артикулу по делам Военной коллегии (кроме etc.) простить, дабы молили они о здравии государевом.

Тогда-то Петр потребовал бумаги и перо и начертал несколько слов неявственных, из коих разобрать было можно только сии: «отдайте все»... Перо выпало из рук его. Он велел призвать к себе цесаревну Анну, дабы ей продиктовать. Она вошла. Но он уже не мог ничего говорить.

Архиереи псковский и тверской и архимандрит Чудова монастыря стали его увещевать. Петр оживился, показал знак, чтобы они его приподняли, и, возведши руки и очи вверх, произнес засохлым языком и невнятным голосом: *«сие едино жажду мою утоляет; сие едино услаждает меня...»*



Медаль *«На погребение Петра Великого». 1725.*

...Присутствующие начали с ним прощаться. Он приветствовал всех тихим взором. Потом произнес с усилием: *«после...»* Все вышли, повинуясь в последний раз его воле.

Он уже не сказал ничего. 15 часов мучился он, стонал, беспрестанно дергая правую свою руку, левая была уже в параличе. Увещевающий от него не отходил, Петр слушал его и несколько раз силился перекреститься.

Троицкий архимандрит предложил ему еще раз причаститься. Петр в знак согласия приподнял руку. Его причастили опять. Петр казался в памяти до четвертого часа ночи. Тогда начал он охладевать и не показывал уже признаков жизни. Тверской архиерей на ухо ему продолжал свои увещевания и молитвы об отходящих. Петр перестал стонать, дыхание остановилось — в 6 часов утра 28 января Петр умер на руках Екатерины.

Екатерина провозглашена императрицей (велением Меншикова, помощию Феофана и тайного советника Макарова).

В тот же день обнародован манифест.

Полкам в Петербурге роздано жалование. Генерал-майор Дмитриев-Мамонов послан в Москву к сенатору графу Матвееву.

2 февраля напечатана присяга и разослана по всему государству.

Труп государя вскрыли и бальзамировали. Сняли с него гипсовую маску.

Тело положено в меньшую залу. 30 января народ допущен к его руке.

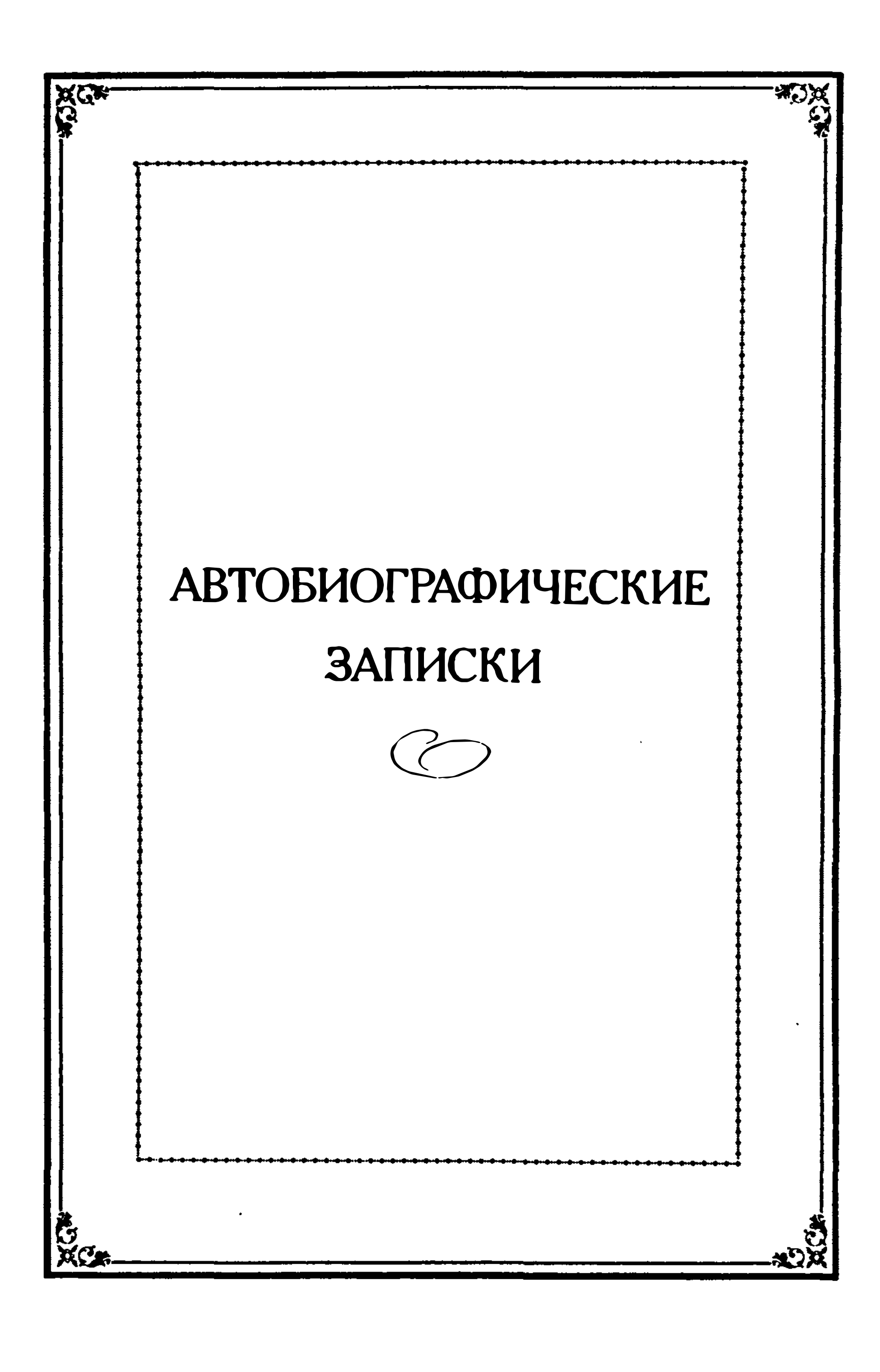
4 марта скончалась 6-летняя царевна Наталья Петровна. Гроб ее поставлен в той же зале.

8 марта возвещено народу погребение. Через два дня оное совершилось...» (460—463).

Так кончается рукопись незавершенной «Истории Петра».

Современники признавали «Историю Петра» важнейшим трудом Пушкина в последние годы его жизни. Он успел в эти годы подготовить черновую конструкцию своей будущей книги, собрав, изучив и предварительно обработав поистине огромный исторический материал. Общие контуры его великой книги были уже ясны: в ней различимы пушкинская обрисовка эпохи и создаваемый им новый образ Петра. Написанный Пушкиным подготовительный текст давал ему возможность быстро, «в год или в течение полугода», закончить книгу. Пушкин, по всей видимости, предполагал перенести в окончательный текст своей «Истории» содержавшиеся уже в подготовительном тексте ее готовые — или почти готовые — страницы; в то же время он думал развернуть с большой быстротой содержавшиеся в том же подготовительном тексте рабочие программы, — во многом определявшие содержание его будущей книги, — композиционно перегруппировать и восполнить подготовленный им материал и превратить таким образом весь свой текст в законченный исторический рассказ. Выполнить эту задачу Пушкин надеялся за короткий срок потому, что программы его были подкреплены глубоко изученным им и творчески переработанным историческим материалом, освещающим эпоху Петра, и с достаточной ясностью намечали содержание и построение многих разделов его незавершенной «Истории».

Надежды Пушкина не сбылись, смерть оборвала его работу, и великий труд остался незавершенным.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ

Начало новых «Записок» Пушкина. 30-е годы. *(«Несколько раз принимался я за ежедневные записки...»)*. Первая страница рукописи, где Пушкин сообщает, что он сжег после 14 декабря 1825 г. свою «Биографию».

СОЖЖЕННЫЕ «ЗАПИСКИ» ПУШКИНА



втобиографические записки Пушкина представляют собой важнейшее не дошедшее до нас произведение поэта. О судьбе их Пушкин писал: «В 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь сии записки»[1].

Это было, по-видимому, большое произведение. Пушкин указывает, что своей «Биографией» он «занимался» «несколько лет сряду». Вместе с нею поэт уничтожил и свои «Ежедневные записки», служившие ему материалом для «Биографии». Вспоминая об уничтожении всего этого труда в целом, Пушкин пишет, что он «принужден был сжечь свои *тетради»* (во множественном числе)[2]. Наконец, за три месяца до сожжения своей «Биографии» Пушкин сообщал одному из друзей, что переписывает ее набело[3]. Таким образом, большой труд этот, по крайней мере в части, написанной Пушкиным к концу 1825 года, был накануне восстания 14 декабря близок уже к завершению.

С уничтожением этих «Записок» «русская литература понесла невознаградимую утрату»[4], — писал первый биограф Пушкина Анненков, сознававший масштаб и значение утраченного пушкинского труда.

А между тем в посвященной изучению Пушкина литературе вопрос о судьбе «Записок» поэта не был изучен: исследований о них, несмотря на обширность этой литературы, мы не встречали.

В подробном «Путеводителе по Пушкину» нет поэтому о них даже заметки; и если мы поищем в ней сведений на слово «Автобиография» или «Записки», то найдем только заметку о за-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 310.
[2] Там же, с 432. (Курсив наш. — *И. Ф.*).
[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 180 (письмо к Катенину).
[4] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 309.

писках Моро де Бразе (потому что Пушкин переводил их) и заметку о записках парижского палача Сансона (потому что Пушкин возмущался возможностью появления их в печати). Но в справочном издании по Пушкину мы не найдем статьи, посвященной «Запискам» самого Пушкина. Их не изучали, поскольку принято было считать, что от «записок» поэта ничего — или почти ничего — не сохранилось и их следует относить к числу погибших литературных памятников.

Уверенность в совершенной невозможности изучения судьбы «Записок» Пушкина была так велика, что обоснованности ее никто не счел нужным даже проверить. Но достаточно ли обоснованна подобная уверенность? Не последовал ли отказ от изучения судьбы «Записок» без достаточно критического выяснения вопроса о том, использованы ли или, наоборот, действительно исключены все возможности подобного изучения?

Разгром восстания 14 декабря 1825 года привел к уничтожению (и сокрытию) ряда памятников декабристской литературы, подобно тому как всего лишь тринадцатью годами ранее вражеское нашествие и пожар Москвы уничтожили в 1812 году единственную рукопись «Слова о полку Игореве» и — по счастию также небезвозвратно — древнейший русский летописный свод — Троицкую летопись. Текст последней, несмотря на гибель рукописи, погиб не целиком: он дошел до нас в многочисленных выдержках, приведенных Карамзиным в первых пяти томах его «Истории», написанных до московского пожара 1812 года (Пушкин в одной из своих статей упомянул о том, что Карамзин ссылался «на сгоревший Троицкий список»[1]). А почти век спустя найдена была Симеоновская летопись, текст которой совпадает на значительном протяжении с текстом погибшего Троицкого свода[2]. И это дало возможность восстановить в наше время содержание, а во многих случаях даже подлинный текст сгоревшей Троицкой летописи[3].

Даже несомненная гибель рукописи, как видим, не всегда означает, что произведение целиком погибло в огне вместе с рукописью. Но блестяще оправдавшие себя методы изучения и частичного восстановления утраченных памятников[4] применялись, как сказано, по отношению к литературным памятникам древности. Не следует ли поставить вопрос о возможности приме-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 141.

[2] См.: А. А. Шахматов. Симеоновская летопись XVI века и Троицкая начала XV века. — «Известия II отделения Академии наук», 1900, т. V, кн. 2.

[3] См.: М. Д. Приселков. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., 1950.

[4] См.: Д. С. Лихачев. Шахматов как исследователь русского летописания. — В сб.: А. А. Шахматов. М., 1947, с. 259; и его же вступ. статью к «Повести временных лет», ч. II, серия «Лит. памятники». М., 1950, с. 155.

нения сходных (если не тождественных) методов при изучении погибших памятников новой литературы? И, поскольку речь идет сейчас о политически запретных записках Пушкина, начать с вопроса о том, были ли «Записки» сожжены Пушкиным действительно целиком?

Утверждение Пушкина о том, что он сжег свои «Записки», носит, казалось бы, безоговорочный характер. Но известно, что утверждение автора о сожжении рукописи не всегда является достаточным доказательством действительной гибели ее.

Лев Толстой, например, записал в дневнике (в мае 1897 года): «Вырезал, сжег то, что написано было сгоряча». Но уничтоженные, казалось бы, страницы толстовского дневника уцелели, так как Буланже, которому Толстой передал их с просьбой сжечь по прочтении, сохранил их. В другом подобном же случае подлинная запись, сделанная Толстым в дневнике 12 января 1897 года, была, по просьбе Толстого, уничтожена Чертковым; но последний, прежде чем уничтожить подлинник, сфотографировал его, и потому текст этой (действительно сожженной) страницы из дневника Толстого также дошел до нас[1].

Страницы дневника, которые Толстой считал сожженными, уцелели случайно, вопреки его воле. Когда мы говорим о возможности сохранения отрывков, входивших в состав сожженных «Записок» Пушкина, вопрос следует ставить не о случайном, а о сознательном сохранении Пушкиным подобных отрывков, поскольку мы знаем, что таким именно образом поступил Пушкин, сжигая X главу «Онегина». Сделав в октябре 1830 года запись о сожжении ее[2], Пушкин одновременно зашифровал запретные строки этой главы с целью сохранить их для будущего. И этот шифрованный листок, как мы знаем, уцелел, хотя только век спустя был расшифрован исследователями.

Поскольку перед нами, когда мы говорим о «Записках» Пушкина, стоит вопрос о судьбе запретного литературного произведения, нужно рассмотреть его в свете всего, что нам известно о судьбе скрытых и уцелевших памятников декабристской литературы.

Вспомним, что «Русская Правда» Пестеля и «Конституция» Никиты Муравьева, вопреки утверждениям декабристов, заявлявших на следствии, что рукописи эти «истреблены», были

---

[1] Лев Толстой. Три листа из дневника 3—18 мая 1897 г. Ред. и коммент. Н. Н. Гусева. — «Летописи Государственного Литературного музея», 1938, кн. 2, с. 19.

[2] Эта запись («19 октября сожжена X песнь») сделана Пушкиным на полях «Метели», оконченной, по датировке самого Пушкина, 20 октября 1830 г. См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII, кн. 2, с. 622 и 1052.

втайне сохранены ими[1]. «Русскую Правду» декабристы скрыли, закопав в землю (невдалеке от села Кирнасовка) и распустив слухи об ее уничтожении; рукопись ее была обнаружена во время следствия, выкопана из земли и доставлена Николаю I. Издана же «Русская Правда» впервые была только после революции 1905 года.

«Конституция» Никиты Муравьева, переписанная рукой Рылеева, сохранена была друзьями декабристов в запертом портфеле и возвращена П. А. Вяземским И. И. Пущину, когда тот три десятилетия спустя вернулся из Сибири. Между тем автор «Конституции» Никита Муравьев не только показал на следствии, что сжег свою рукопись, но, кроме того, на прямой вопрос: «Не осталось ли у кого-либо списка оной?» — ответил: «Я не полагаю, чтобы осталась у кого-либо копия Конституции, писанной мною»[2].

Таким образом, важнейшие памятники декабристской литературы уцелели: декабристы скрыли их в надежде сохранить для будущего рукописи произведений, политическое и историческое значение которых они хорошо сознавали. Сходным образом поступил (что особенно важно для нас) сам Пушкин с десятой главой «Онегина». Естественно поэтому предположить, что он мог сохранить каким-нибудь образом и отрывки своих сожженных в 1825 году «Записок». Предположение это, если учесть все сказанное выше, не может не казаться правдоподобным; но одного этого, разумеется, недостаточно — необходимо установить, произошло ли все в действительности так, как мы считаем возможным предполагать, проводя аналогию между судьбой сожженной десятой главы «Онегина» и судьбой сожженных «Записок» поэта.

До сих пор не было твердо установлено даже, когда именно и каким образом сжег Пушкин свои «Записки». Некоторые исследователи упоминают как о чем-то само собой разумеющемся, что Пушкин сжег их тотчас по получении известия о разгроме восстания 14 декабря.

---

[1] См. показания Пестеля в ответ на вопросы Следственной комиссии, предъявленные ему 13 января 1826 г (Восстание декабристов. Материалы, т. IV, М.—Л., 1927, с. 113). О судьбе «Русской Правды» см. предисл. П. Е. Щеголева в кн.: П. И. Пестель. «Русская Правда». СПб., Книгоизд-во «Культура», 1906, с. XIII, и специальную статью С. Н. Чернова «Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля» («Известия Академии наук СССР. Отд-ние обществ. наук», 1935, № 7, с. 661—703). В труде М. В. Нечкиной «Движение декабристов» судьбе рукописи «Русской Правды» посвящены в т. II с. 208—214 и 217. Полное науч. изд. «Русской Правды», подготовленное к печати А. А. Покровским, вышло под ред. М. В. Нечкиной (Восстание декабристов. Документы, т. VII. М., 1958).

[2] Восстание декабристов, т. I, 1925, с. 297 и 303. О судьбе рукописи «Конституции» см. в кн.: Н. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933, с. 150—154.

В комментариях к десятитомному академическому изданию сочинений Пушкина уничтожение «Записок» отнесено, однако, уже не к концу 1825 года, а к 1826 году[1]. А в одной из более поздних работ говорится — на основании рассказа П. В. Нащокина, — что «при неожиданном появлении в Михайловском в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года фельдъегеря, приехавшего за поэтом, Пушкин, не ожидавший для себя ничего доброго, поспешно бросил в огонь часть своих рукописей, в частности свои автобиографические записки»[2]. То есть сожжение «Записок» отнесено не к моменту получения Пушкиным известия о разгроме восстания 14 декабря и даже не к началу 1826 года, а к последним минутам пребывания поэта в Михайловском.

Когда же сжег Пушкин в действительности свои «Записки»? И верно ли, что от них «случайно сохранился только один листок (точнее — обрывок листка. — *И. Ф.*) с датой 19 ноября 1824 года»[3] и фрагмент, посвященный поэтом выходу в свет «Истории» Карамзина?[4]

«Записки свои Пушкин сжег (как сам он указывает в предисловии к новым «Запискам», которые начал через несколько лет) после получения известия о разгроме восстания 14 декабря «в конце 1825 г. при открытии несчастного заговора»[5]. О восстании 14 декабря поэт узнал на третий или четвертый день и с этого дня ожидал ареста. «Все-таки я от жандарма еще не ушел», — писал он месяц спустя (20 января 1826 года)[6]. Трудно поэтому даже понять, что заставляет некоторых исследователей некритически принимать рассказ Нащокина, по которому Пушкин, зная о возможности обыска и ареста, а также о том, что «Записки» его, оказавшись в руках властей, могли бы «замешать многих и, может быть, умножить число жертв», медлил больше восьми месяцев, для того чтобы сжечь наконец свои «Записки» в самый момент приезда за ним фельдъегеря. Эта версия опровергается и тем, что 14 августа 1826 года, то есть за полмесяца до того, как за ним наконец приехали, Пушкин сообщал Вяземскому: «Из моих записок сохранил я только несколько листов»[7]. Какие именно листы имел при этом в виду Пушкин, постараемся выяснить далее.

О том, что Пушкин имел время заранее подготовиться к приезду «жандарма», свидетельствует даже внешний вид его со-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 521.

[2] Д. Благой. Пушкин в 1826 году. — В сб.: А. С. Пушкин. Материалы юбилейных торжеств. 1799—1949. М., 1951, с. 160.

[3] См.: Пушкин. Письма, т. I, ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, с. 365.

[4] См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 521. (Об отрывке, посвященном встрече с Державиным, см. ниже, с. 309—312 наст. изд.)

[5] Там же, с. 76.

[6] Там же, т. X, с. 198.

[7] Там же, с. 211.

хранившихся черновых тетрадей. В числе немногочисленных замечаний, касающихся «Записок» поэта, можно отыскать в литературе — и отметить как верное — указание Н. Лернера: «В черновых тетрадях Пушкина встречается немало вырванных страниц; в числе их, вероятно, были черновики тех воспоминаний, которые Пушкин переписывал набело в 1825 г.; сжегши беловую рукопись и боясь тщательного обыска, он не пожалел и черновых листов»[1].

Следовательно, Пушкин, сжигая свои «Записки», уничтожал их с разбором. Всякий, кто видел черновые тетради поэта, знает, что он вырывал из них листы не подряд, а сохранял, где можно, не только целые страницы, но и части страниц, вырывая из них отдельные полосы, на которых находились те именно строки, какие он хотел уничтожить.

Точно так же, то есть не целиком, мог он поэтому уничтожить (и действительно уничтожил) свою «Биографию», поскольку вовсе не был поставлен в необходимость бросить ее в огонь внезапно, в момент появления в Михайловском фельдъегеря. Вспомним о случаях, подобных рассматриваемому нами (например, об обстоятельствах ареста Якушкина и Грибоедова), и возможность сохранения Пушкиным отдельных страниц при сожжении «Записок» перестанет казаться нам всего только маловероятной счастливой случайностью.

Якушкин ожидал ареста в Москве. Московский полицмейстер явился за ним 10 января 1826 года, то есть почти через месяц после разгрома восстания. «Он требовал от меня моих бумаг, — говорит в своих «Записках» Якушкин. — Я объявил ему, что у меня никаких бумаг нет, а что если бы и были такие, которые могли быть для него любопытны, то я бы имел время их сжечь»[2].

Однако Якушкин не сжег их, хотя действительно «имел время их сжечь». Бумаги, находившиеся в его смоленском имении, доставлены были раньше, чем там произведен был обыск, в подмосковную, принадлежавшую матери его жены, «которая, зная их опасную важность, хранила их под полом своего кабинета, чтобы передать их отцу, когда он вернется из ссылки», — рассказывает сын декабриста Е. И. Якушкин. И только «незадолго до смерти, боясь, что бумаги эти попадут кому-нибудь в руки, она сожгла их»[3]. Таким образом, бумаги Якушкина, вопреки сделанному им при аресте заявлению, были спрятаны.

Приказ об аресте Грибоедова был 22 января 1826 года доставлен в крепость Грозную, где остановился на походе Ермолов с сопровождавшими его лицами, в числе которых находился

[1] Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. Пг.—М., 1923, с. 107.
[2] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 61.
[3] Там же, с. 483—484.

Грибоедов. «Генерал разорвал конверт, — говорит очевидец, — бумага заключала в себе несколько строк; но когда он читал», адъютант его «поймал на глаз фамилию Грибоедова. Алексей Петрович [Ермолов], пробежавший быстро бумагу, положил [ее] в боковой карман сюртука и застегнулся...»[1].

«По воле государя императора, — писал военный министр Ермолову, — покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству»[2].

На следующий же день Ермолов секретно донес об исполнении высочайшего повеления. «Он взят таким образом, — сообщал он о Грибоедове, — что не мог истребить находящихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. Если же бы впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю»[3].

В действительности же знавший о замыслах декабристов Ермолов, «желая спасти себя, — спас Грибоедова». Он, узнав о готовящемся аресте Грибоедова, «предварил его за два часа». Об этом рассказывал позднее сам Пушкин Александру Тургеневу, записавшему рассказ поэта в своем дневнике[4]. «Ермолов, — сообщает в своих записках Денис Давыдов, — желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Грибоедов, предупрежденный обо всем адъютантом Ермолова Талызиным, сжег все бумаги подозрительного содержания. Спустя несколько часов послан был в его квартиру подполковник Мищенко для произведения обыска и арестования Грибоедова, но он, исполняя второе, нашел лишь груду золы, свидетельствующую о том, что Грибоедов принял все необходимые для своего спасения меры»[5].

«Алексаша», то есть Александр Грибов, камердинер Грибоедова, и слуга (или денщик) Н. В. Шимановского, одного из адъютантов Ермолова, успели разобрать чемоданы Грибоедова и «не более как в полчаса времени все сожгли», а «чемо-

---

[1] Н. В. Шимановский. Арест Грибоедова. — «Русский архив», 1875, т. VII, с. 342.

[2] П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и декабристы (по архивным материалам). — В сб.: Декабристы. М. — Л., 1926, с. 104.

[3] Там же, с. 106.

[4] Из дневника А. И. Тургенева. Запись сделана им 9 января 1837 г. См.: П. Щеголев Дуэль и смерть Пушкина. Исследование и материалы, изд. 3-е, с. 285.

[5] Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные. Лондон—Брюссель, 1863, с. 44—45.

даны поставили на прежнее место»[1], в одном из них при аресте Грибоедова найдена была рукопись «Горя от ума». На вопрос же, нет ли еще каких бумаг, Грибоедов отвечал, что больше бумаг у него нет[2].

За Пушкиным фельдъегерь послан был только восемь месяцев спустя после восстания, когда следствие по делу декабристов было закончено и приговор над ними приведен в исполнение. Фельдъегерь этот, посланный с предписанием сопровождать поэта «не в виде арестанта» в Москву, задержан был губернатором в Пскове. И потому в Михайловское за Пушкиным вообще не приезжал.

«Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остается здесь до прибытия вашего, — писал Пушкину 3 сентября 1826 года псковский губернатор барон фон Адеркас. — Прошу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне». Это письмо губернатора послано было Пушкину в Михайловское с нарочным вместе с копией присланного по высочайшему повелению предписания, в котором говорилось: «...г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного штаба его величества»[3].

Но нарочный, посланный в Михайловское с этим предписанием и письмом губернатора, Пушкина не застал; сохранились сведения о том, что поэт находился в этот день у соседей в Тригорском и задержался там до позднего вечера.

«Погода стояла прекрасная, — вспоминала одна из младших дочерей владелицы Тригорского — М. И. Осипова. — Мы долго гуляли, Пушкин был особенно весел. Часу в одиннадцатом сестры и я проводили Пушкина по дороге в Михайловское. Вдруг рано на рассвете является к нам Арина Родионовна... Из расспроса ее оказалось, что вчера вечером, незадолго до прихода Александра Сергеевича в Михайловское, прискакал какой-то — не то офицер, не то солдат (впоследствии оказалось — фельдъегерь, — ошибочно поясняет записавший приводимый рассказ М. И. Семевский. — *И. Ф.*)[4]. Он объявил Пушкину повеление немедленно ехать с ним в Москву. Пушкин успел взять только деньги, накинуть шинель, и через полчаса его уже не было.

---

[1] Н. В. Шимановский. Арест Грибоедова. — «Русский архив», 1875, т. VII, с. 343.

[2] Там же. История ареста Грибоедова и уничтожения им своих бумаг подробно рассмотрена в книге М. В. Нечкиной «А. С. Грибоедов и декабристы» (М., 1947, с. 462—470).

[3] Письмо фон Адеркаса Пушкину и прилож. к нему см. в кн.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 293.

[4] Анненков же верно указывает: «Это был посланный Адеркаса». — См.: Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 322.

«Что ж, взял этот офицер какие-нибудь бумаги с собой?..» — «Нет, родные, никаких бумаг не взял, — отвечала на расспросы старая няня Пушкина. — И ничего в доме не ворошил. После только я сама кое-что поуничтожила». — «Что такое?» — «Да сыр этот проклятый, что Александр Сергеевич кушать любил, а я-то терпеть его не могу, и дух-то от него, от сыра-то этого немецкого — такой скверный»[1].

Рассказ М. И. Осиповой о памятных для всей семьи друзей поэта событиях, совершившихся в Михайловском 3—4 сентября 1826 года, как и запомнившийся ей простодушный рассказ няни, в слезах прибежавшей на рассвете в Тригорское, по-видимому, верно передает обстоятельства отъезда Пушкина из Михайловского.

По словам же Нащокина, когда «нарочный прискакал к Пушкину», поэт будто бы находился в Михайловском, и «в то время сидел перед печкою, подбрасывал дров, грелся. Ему сказывают о приезде фельдъегеря. Встревоженный этим и никак не ожидавший чего-либо благоприятного, он тотчас схватил свои бумаги и бросил в печь: тут погибли его «Записки»... и некоторые стихотворные пиесы»[2].

Но в момент приезда нарочного Пушкина в Михайловском не было. И он уже по одному этому не мог, услышав о приезде фельдъегеря, «тотчас схватить свои бумаги и бросить их в печь». Рассказ няни, свидетельницы всего происшедшего в ночь с 3 на 4 сентября в Михайловском, подтверждается — и в этом его отличие от рассказа Нащокина — содержанием дошедших до нас официальных документов, привезенных нарочным в Михайловское.

Обыск в Михайловском произведен не был, так как нарочный не был уполномочен на производство его. Поэтому он, как верно рассказывала няня, «никаких бумаг не взял и ничего в доме не ворошил» («посланный,— подчеркивает Анненков, — ничего не осматривал в деревне, ничего не ворошил, нигде не рылся»[3]). Уничтожен был тогда — и то после отъезда Пушкина — только не любимый няней «немецкий», лимбургский сыр.

Мы видели, как поступили в ожидании ареста со своими бумагами Якушкин и Грибоедов (последний несмотря даже на то, что был предупрежден о приезде фельдъегеря всего за несколько часов до ареста), Пушкин, по получении известия о разгроме восстания, располагал в Михайловском временем, вполне достаточным для того, чтобы разобрать свои «Записки» и сохранить из них хотя бы некоторые отрывки. Возможностью этой Пушкин

---

[1] М. И. Семевский. Прогулка в Тригорское. — «С.-Петербургские ведомости», 1866, № 163, 17 июня.

[2] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах, ред. М. Цявловского, 1925, с. 34.

[3] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 322—323.

и воспользовался. Перед нами случай вовсе не исключительный, а закономерный; следовало только (для того чтобы это стало нам ясно) изучить его, поставив в исторически соответствующий ему ряд случаев, то есть поступков и событий, последовавших за разгромом восстания 14 декабря.

Четырнадцатого августа 1826 года Пушкин писал Вяземскому: «Из моих записок сохранил я только несколько листов и перешлю их тебе, только для тебя»[1]. Слова эти прямо свидетельствуют о том, что Пушкин сохранил какие-то листы своих «Записок». Но что же это за листы? Говорит ли Пушкин в письме к Вяземскому только об отрывке, посвященном Карамзину и его «Истории», как полагают некоторые исследователи? И является ли этот отрывок действительно единственным, сохраненным поэтом?

Листы, посвященные Карамзину, бесспорно являются уцелевшим отрывком сожженных «Записок» Пушкина. Единственным же он является разве в том смысле, что его только Пушкин счел возможным прямо признать сохраненным отрывком их[2]. На то, что перед нами сохраненный отрывок последних, Пушкин и указал в письме к Вяземскому. А затем, исключив из этого отрывка места, которые не могли быть пропущены николаевской цензурой, напечатал его в «Северных цветах на 1828 год», включив в «Отрывки из писем, мысли и замечания» с пояснением: «Извлечено из неизданных записок»[3].

Сжигая «Записки», Пушкин сохранил, как постараемся показать, и отрывки политически опасного содержания, сохранил, но умолчал об этом. Где же могут скрываться в таком случае эти отрывки?

Спрятать рукопись или отдельные части ее можно, конечно, по-разному, и не только зашифровав содержание рукописи (как зашифрована была Пушкиным десятая глава «Онегина») или зарыв ее в землю, как зарыта была «Русская Правда». Никита Муравьев, например, скрыл — и притом успешно — свои запретные записки иначе. До нас дошло свидетельство декабриста Якушкина о том, что «Никита Михайлович Муравьев задумал еще в Петровском заводе составить подробные записки о Тайном обществе, и чтобы они не попались в руки правительства, он писал их в форме отдельных заметок на полях

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 211.
[2] Мысль о том, что Пушкин, сжигая после 14 декабря свои «Записки», уничтожил их, по-видимому, не полностью, была впервые высказана и аргументирована в докладе, прочитанном автором настоящей книги 5 марта 1939 г. на заседании Пушкинской секции Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.
[3] «Отрывки из писем, мысли и замечания» Пушкин напечатал без подписи. Печатный текст отрывка «Записок», посвященного Карамзину, см. в кн.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 61—63.



П. А. Вяземский (вверху), ниже слева — Пестель, вправо — Трубецкой и Рылеев, внизу повторяется женский профиль (В. Ф. Вяземской?). *Рисунки Пушкина. 1826 г.*

книг. Библиотека Никиты Муравьева досталась его брату Александру, который собрал из книг заметки брата и назвал их «Mon journal» (то есть «Мои записки». — *И. Ф.*)[1].

Как видим, Никита Муравьев скрыл свои записки, разобщив их с этой целью на отдельные заметки. Сходным образом мог поступить Пушкин и с сохраненными отрывками своих сожженных «Записок». Где же можно искать указаний на судьбу этих

[1] См. «Замечания на «Записки» («Mon journal») А. Муравьева, записанные со слов декабриста И. Д. Якушкина его сыном и проверенные затем самим И. Д. Якушкиным и некоторыми другими декабристами (Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. М., 1931, с. 137 и 142); а также: И. Д. Якушкин. Записки, статьи и письма. М., 1951, с. 160.

сохраненных отрывков? Искать их следует прежде всего, конечно, в рукописном наследстве Пушкина.

Как же можно искать их в бумагах поэта, спросит читатель, если рукописи Пушкина давно изучены и никаких относящихся к его «Запискам» шифрованных текстов (подобных, например, листку, на котором поэт зашифровал строки десятой главы «Онегина») в его бумагах не обнаружено? Обнаружить подобные указания до сих пор в самом деле не удалось. Следует ли, однако, из этого, что их в рукописях Пушкина действительно нет?

Вспомним, что листок с зашифрованными строками десятой, запретной главы «Онегина» скрывался много десятилетий именно среди бумаг Пушкина и содержащиеся в нем строки оставались нераскрытыми, несмотря на простейший характер примененного поэтом шифра (Пушкин прибегнул к перестановке стихотворных строк, чтобы нарушить их смысловую последовательность). Содержание зашифрованных Пушкиным стихов оставалось на протяжении десятилетий нераскрытым, хотя листок с этими стихами побывал в руках жандармов, чрезвычайно интересовавшихся бумагами Пушкина и поставивших даже на этом листке свой регистрационный номер. Не было раскрыто содержание его и исследователями Пушкина вплоть до 1910 года, когда листок этот был наконец расшифрован П. О. Морозовым.

История этого пушкинского листка показывает нам, что неизвестные, точнее — нераскрытые, строки Пушкина оказалось возможным обнаружить даже в составе, казалось бы, давно изученного рукописного наследства поэта. Что касается указаний на судьбу «Записок» Пушкина, то такие указания следует искать прежде всего в новой для нас, недостаточно изученной еще, хотя и опубликованной, части его рукописного наследства.

Изучение подготовительного текста «Истории Петра» позволило обнаружить в этом обширном черновом труде Пушкина остававшиеся незамеченными страницы исторической прозы. Такого рода страницы Пушкина представляют, как мы видели, большой исторический и литературный интерес. Но даже встречающиеся в черновиках различных произведений поэта тексты, лишенные самостоятельного литературного значения и притом кратчайшие по размеру (иногда в одно-два слова), могут иметь для нас в некоторых случаях весьма важное значение. Сказанное можно прямо отнести к изучению вопроса о сожженных «Записках» Пушкина.

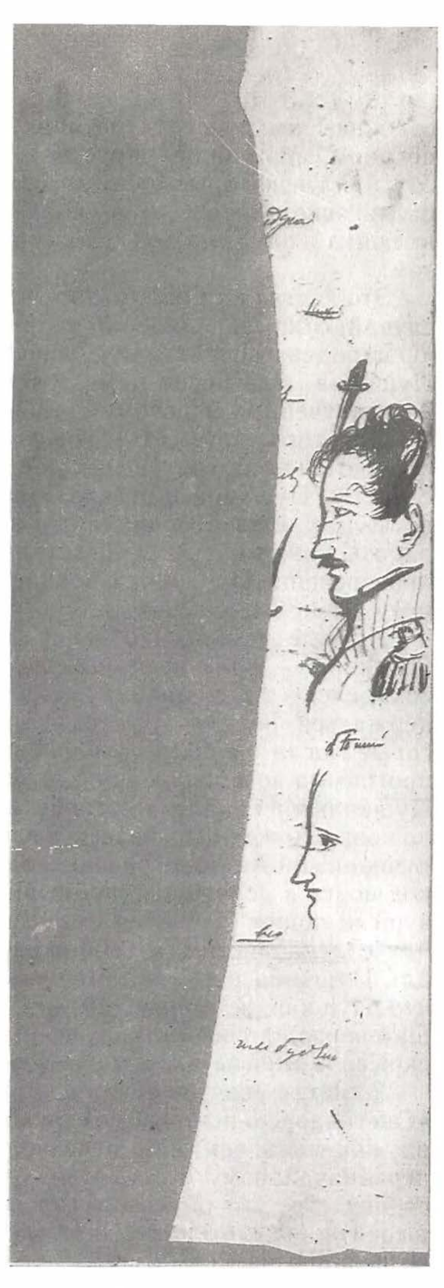
К числу недостаточно изученных пушкинских текстов относятся черновики записки «О народном воспитании», написанной поэтом в ноябре 1826 года. А между тем в черновиках этой адресованной Николаю I записки Пушкин *трижды* ссылается на свои, будто бы полностью уничтоженные годом раньше,

«Записки»[1], ссылается и неожиданным образом использует сохраненный им отрывок не дошедших до нас «Записок».

Анализ черновиков записки «О народном воспитании», в которых сохранились эти пушкинские ссылки, позволяет определить содержание чрезвычайно интересного отрывка, сохраненного каким-то образом Пушкиным при сожжении своих «Записок». Отрывок этот, как показывают слова самого Пушкина, ясно читающиеся в черновике записки «О народном воспитании», касался истории царствования Александра I и вопроса о развитии в России «революционных идей». Отрывок, о котором мы говорим, мог быть сохранен Пушкиным, поскольку речь шла в нем не о декабристах, а о декабризме. И потому эти страницы «Записок» (в отличие от уничтоженных Пушкиным) не могли бы «умножить число жертв», оставаясь опасными по своему содержанию лишь для самого поэта.

Сохранение Пушкиным этого отрывка, о котором мы имеем теперь возможность судить только по черновикам записки «О народном воспитании», показывает, что прежние «Записки» поэта были

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 311, 313 и 314.



Декабрист Лунин (предлагал убить императора Александра I). Над профилем его Пушкин изобразил кинжал — эмблему цареубийства. *Рисунок Пушкина 1819 г. (сохраненный Пушкиным остаток уничтоженного листа)*

сожжены им после 14 декабря (как мы и предполагали) не целиком. Мы видим вместе с тем, что Пушкин не только сохранил некоторые отрывки сожженных «Записок», но и старался использовать их в своих новых произведениях. И даже включал их туда — иногда самым неожиданным для нас образом.

Это заставляет задуматься над вопросом о том, является ли случай, открывающийся нам при изучении черновиков записки «О народном воспитании», единственным в творческой практике Пушкина. Или перед нами только один из ряда подобных же, но неизученных и потому еще не понятых нами случаев?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть под интересующим нас углом зрения литературное наследство Пушкина в целом. Задача эта является сложной, но, поскольку есть основания думать, что выполнение подобной работы может дать нам представление о важнейшем утраченном произведении Пушкина, сложность задачи не должна вести к отказу от ее выполнения.

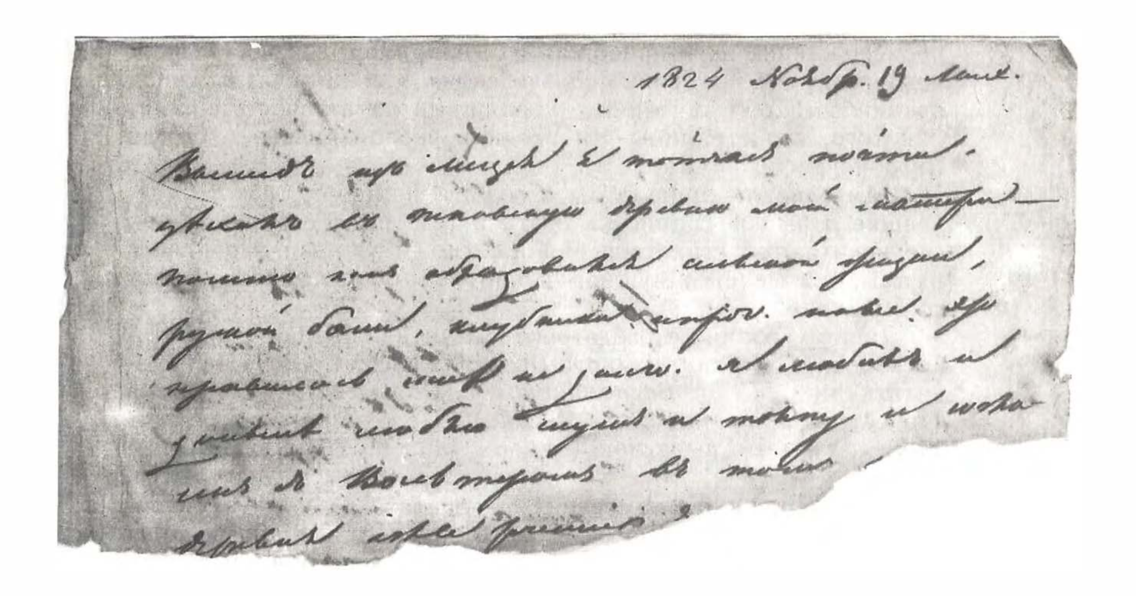
Прежде чем искать какие-либо политически опасные для Пушкина — и тем не менее сохраненные им — отрывки «Записок», следует подумать о том, что в последних должен был содержаться, наряду с запретными страницами, ряд страниц, которые могли бы быть опубликованы поэтом. Дошедшая до нас программа возобновления сожженных «Записок», составленная Пушкиным в начале 30-х годов, и написанное им тогда же начало новых Автобиографических записок показывают, что в состав пушкинской Автобиографии входили, например, портреты предков поэта и портреты современников, не подпадавшие под цензурный запрет (в отличие от воспоминаний Пушкина о его встречах с декабристами). Достаточно вспомнить о незабываемой для Пушкина встрече с Державиным, чтобы убедиться в том, что Пушкин не только должен был воссоздать этот важнейший эпизод в своей «Биографии», но и не имел никакой нужды скрывать многие входившие в ее состав страницы.

В состав уничтоженной поэтом политически запретной части «Онегина» входила, кроме «декабристской» десятой главы романа, как мы знаем, еще одна политически запретная глава (по первоначальному счету — восьмая). Пушкин сам признавался печатно, что он «выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России»[1]. Но только недавно нам стало известно, что за причины («важные для него, а не для публики»[2], — как глухо указал в печати сам поэт) заставили его уничтожить эту главу романа.

В 1940 году обнаружено было не оставляющее никаких сомнений в достоверности сообщенных в нем сведений письмо

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. V, с. 199.
[2] Там же, с. 200.



Уцелевший обрывок беловой рукописи автобиографических записок Пушкина.
(«Вышед из лицея, я тотчас почти уехал в псковскую деревню моей матери...») 1824 г.

одного из друзей Пушкина, поэта Катенина, из которого мы узнали, что глава, посвященная путешествию Онегина по России, была уничтожена Пушкиным потому, что она заключала в себе смелое описание аракчеевских военных поселений.

Но, уничтожая эту главу «Онегина», Пушкин сохранил из нее те строфы, которые не представляли опасности и могли даже быть напечатаны при жизни поэта. Сохранив эти строфы, Пушкин затем напечатал их в приложении к своему роману в качестве «Отрывков из «Путешествия Онегина». Сходным образом мог он поступить, разумеется, и тогда, когда писал свои Автобиографические записки, политически опасные в целом, но не содержавшие ничего запретного в отдельных своих частях.

Нет поэтому ничего невозможного в том, что Пушкин еще до сожжения «Записок», то есть еще до того, как разгром восстания 14 декабря поставил его в необходимость уничтожить их, мог готовить к печати (или даже печатать) отдельные, цензурные по содержанию, отрывки своих незаконченных «Записок». Так оно, постараемся показать, и было в действительности.

Где же можно искать такого рода сохраненные Пушкиным страницы «Записок»? Да всюду, то есть почти во всех томах собрания сочинений Пушкина, потому что он, как увидим, печатал отрывки своих «Записок», не указывая на действительное

происхождение их и приобщая их (например, в качестве приложения) к другим своим произведениям, или же печатал их под временными обозначениями, уводящими читателя от понимания того, что страницы эти входили первоначально в состав Автобиографии поэта.

Нам едва ли пришло бы в голову, например, искать уцелевшие отрывки «Записок» поэта в тех томах его сочинений, где печатаются стихотворения и поэмы Пушкина. Но искать их там, оказывается, нужно. Говорит нам об этом письмо самого Пушкина.

Давая указания о подготовке к печати собрания своих стихотворений, Пушкин 27 марта 1825 года писал брату: «Не напечатать ли в конце *Воспоминания в Царском Селе* с Noto'й (то есть с примечанием. — *И. Ф.*), что они написаны мною 14-ти лет — и с выпискою из моих Записок (об Державине), ась?».

Отказавшись от намерения напечатать в подготавливаемом сборнике это юношеское стихотворение, Пушкин не смог поэтому поместить в качестве приложения к нему и «выписки» из своих «Записок» («об Державине»). Но мыслью о возможности печатать отрывки из своих «Записок» в виде приложений к своим стихотворениям Пушкин воспользовался.

Если бы отрывок из «Записок» поэта, посвященный Державину, был — как первоначально предполагал Пушкин — напечатан в качестве приложения к его юношескому стихотворению, он, конечно, сильно выделялся бы среди примечаний, которыми поэт сопровождал свои стихотворные произведения. Выделялся бы не просто по размеру — Пушкин давал иногда в качестве примечаний или приложений довольно большие выдержки из сочинений других писателей, — нет, отрывок из «Записок» поэта, посвященный Державину, выделялся бы среди такого рода примечаний и качественно, являясь, в отличие от них, законченным, полным, хотя и по-пушкински сжатым, рассказом, представляющим самостоятельный — и притом выдающийся — литературный интерес. О таком именно характере этого рассказа мы можем судить не только потому, что нам известен написанный в тот же период Пушкиным отрывок его «Записок», относящийся к Карамзину, но и потому, что отрывок, который посвящен был Державину в сожженных «Записках» Пушкина, дошел до нас в более поздней редакции. На листках, датируемых 30-ми годами, Пушкин восстановил этот важный эпизод в соответствии с составленной им в эти годы программой возобновления своих сожженных «Записок».

Еще раньше, чем у Пушкина явилась мысль о возможности напечатать в качестве приложения к «Воспоминаниям в Царском Селе» отрывок из своих «Записок», посвященный

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 134.

Державину, поэт напечатал другой отрывок этих же «Записок», приобщив его под видом «примечания» к первой главе «Евгения Онегина», вышедшей в свет в феврале 1825 года.

Среди примечаний, которыми Пушкин сопроводил первое издание первой главы «Онегина», резко выделяется вполне законченный рассказ поэта о его прадеде Абраме Петровиче Ганнибале. Напомним прежде всего читателю этот рассказ.

«Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою Лагань, плывшую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18-ти лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостию климата, он самовольно возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири. Елисавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа, на 92 году от рождения.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит бесспорно к числу отличнейших людей екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию»[1].

Показать, что страницы эти — хотя Пушкин напечатал их без ссылки на свои «Записки» — являются отрывком из них, не так трудно, поскольку, приступив в 30-е годы к возобновлению своих сожженных «Записок», поэт повторил в начале

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. V, с. 512—513.

новой Автобиографии свой рассказ об Абраме Петровиче Ганнибале (с некоторыми только, главным образом стилистическими, отличиями).

Все это подтверждает, что рассказ об Абраме Петровиче Ганнибале не только должен был входить, но и входил в состав сожженных «Записок» Пушкина и что Пушкин еще до того, как он вынужден был сжечь свои «Записки», напечатал содержавшийся в них рассказ о своем знаменитом прадеде, использовав в качестве предлога возможность включить этот отрывок своих «Записок» в первое издание первой главы «Онегина» под видом «примечания».

После этого нас не удивит, что страницы «Записок», посвященные воспоминаниям о Крыме и написанные в конце 1824 года (то есть месяцем позже, чем страницы «Записок», посвященные Абраму Петровичу Ганнибалу), Пушкин напечатал также в качестве приложения (к поэме «Бахчисарайский фонтан»), не указывая и на этот раз, что отрывок представляет собой в действительности страницы его «Записок».

Для того чтобы убедиться в том, что перед нами и в данном случае отрывок «Записок» поэта, достаточно, собственно говоря, внимательно прочесть его. Пушкин поместил этот отрывок в приложении к своей крымской поэме, и это, пожалуй, даже облегчает нам возможность распознать, что перед нами страницы крымской главы его «Записок», поскольку мы убедились в том, что «примечания» или «приложения» к стихам являлись, по мысли Пушкина, пристанищем для тех страниц его «Записок», которые он стремился провести, так или иначе, в печать.

Но если бы Пушкин и не напечатал отрывок из крымской главы своих «Записок» в качестве приложения к своей крымской поэме[1] и он появился бы в печати только под видом «Отрывка из письма к Д.» (под таким заголовком отрывок этот был впервые напечатан Пушкиным в «Северных цветах на 1826 год»), это также не помешало бы нам понять действительный характер рассматриваемого отрывка.

Пушкин сам помог нам обнаружить отрывок из его «Записок», напечатанный им под видом примечания к «Онегину», высказав в письме к брату мысль о возможности печатать отрывки из «Записок» в качестве приложения к собственным стихам. Поэт сам подсказывает нам также мысль о возможности обнаружить отрывки «Записок» среди страниц, напечатанных под видом его писем. Совет писать Автобиографические записки «в виде писем» Пушкин высказал в письме к Нащокину. «Что твои мемории? — писал он ему 2 декабря 1832 года. — На-

---

[1] Это было 3-е изд. поэмы «Бахчисарайский фонтан», вышедшее в 1830 г. С тем же приложением поэма была напечатана в 1835 г. в собрании «Поэм и повестей» Пушкина.

деюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде писем ко мне. Это будет и мне приятнее, да и тебе легче. Незаметным образом вырастет том, а там поглядишь — и другой»[1]. Нащокин последовал совету Пушкина, и в бумагах поэта сохранилось «письмо», представляющее собой отредактированное Пушкиным начало автобиографических записок Нащокина[2].

Мемуары (или «Записки») в эпистолярной форме писал не только Нащокин — по совету Пушкина. В виде писем, обращенных к вымышленному приятелю, написаны были, например, знаменитые «Записки» Болотова. До нас дошли автобиографические письма декабриста Батенькова («Вот вам моя чуть не биография»[3], — говорит он в начале их). В эпистолярной форме написана, если говорить о временах, более близких нам, часть воспоминаний И. Е. Репина[4].

Мысль о возможности писать Автобиографические записки «в виде писем» (точнее — под видом писем) Пушкин не только высказал, но и осуществил. Под видом письма он и напечатал впервые в «Северных цветах» отрывок из своих «Записок», посвященный воспоминаниям о Крыме. В заключительном абзаце этого «письма» (который был позднее исключен Пушкиным при перепечатке отрывка в качестве приложения к «Бахчисарайскому фонтану») поэт прямо указал, что «письмо» его представляет собой воспоминания о прошлом. «Растолкуй мне теперь, — писал он, — почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую?.. Или воспоминание — самая сильная способность души нашей?»[5]

Автобиографическое «письмо» это рассказывает о важном в жизни Пушкина времени. Обозначения, даваемые Пушкиным отрывку, менялись; существо отрывка от этого, конечно, не изменялось: перед нами явно автобиографическая проза поэта. То, что отрывок этот является напечатанным под видом письма произведением (а не личным письмом Пушкина к Дельвигу), в наше время не вызывает сомнений. Но не установлено было, каким именно произведением, точнее говоря — частью какого произведения являются эти страницы Пушкина.

В Большом академическом издании сочинений поэта страницы этого «письма» напечатаны не только в томе переписки, но и в томе художественной прозы Пушкина, где отрывок

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 423.

[2] Там же, т. VII, с. 602—610. (Это «письмо»-записки Нащокина не следует смешивать с началом его же Автобиографии, написанным Пушкиным под диктовку Нащокина.)

[3] См.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. II. М., 1933, с. 120.

[4] См.: И. Е. Репин. Далекое близкое. Ред. К. Чуковского. М., 1937, с. 8.

[5] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 252.

помещен в разделе «Путешествия»[1]. Но если о «Письмах русского путешественника» Карамзина Вяземский заметил, что «они не только *Письма Путешественника,* но настоящие мемуары, исповедь человека, картина эпохи»[2], то есть если «Письма» Карамзина Вяземский считал по существу мемуарами, то пушкинский «Отрывок из письма к Д.», в отличие от карамзинских «Писем», является отрывком из мемуаров (точнее из «Записок» поэта) и по существу и по форме. Об этих страницах Пушкина нельзя сказать даже, что они написаны в форме письма — в них нет признаков этой формы. Риторическое обращение к предполагаемому адресату, с которого начинались первоначально эти автобиографические страницы Пушкина, не могло превратить их в письмо, как не становится письмом глава романа, даже если автор начинает свое повествование обращением к «любезному читателю».

Все это настолько явно, что один из исследователей писем Пушкина чуть было не догадался, что «Отрывок из письма к Д.» представляет собой отрывок из «Записок» поэта; он заметил: «Это письмо, по форме своей — путевой очерк или глава из записок»[3]. Но, несмотря на чуткость к форме, проявленную в этом замечании, исследователь не сделал, к сожалению, единственно правильного вывода о том, что «Отрывок из письма к Д.» действительно, а не только по своей форме, является отрывком из «Записок» Пушкина. Под видом письма этот отрывок напечатан был поэтом лишь в силу необходимости мотивировать внешним образом появление в печати страниц, относящихся к его Автобиографическим запискам.

Таким образом, некоторые отрывки «Записок» Пушкина сохранились потому, что поэт подготовил к печати отдельные извлечения из них еще до того, как принужден был сжечь свой труд: напечатал он до сожжения «Записок» отрывок о Ганнибале, хотел напечатать отрывок, посвященный встрече с Державиным, и напечатал в 1826 году отрывок из крымской главы «Записок», назвав его «Отрывком из письма к Д.».

Некоторые же запретные страницы «Записок», как увидим, сохранены были Пушкиным при сожжении рукописи.

После сожжения «Записок» Пушкин возобновил работу над созданием своей Автобиографии, и потому, кроме отрывков, уцелевших от сожженных «Записок» Пушкина, до нас дошли, как постараемся показать, и отдельные отрывки новых Автобиографических записок поэта.

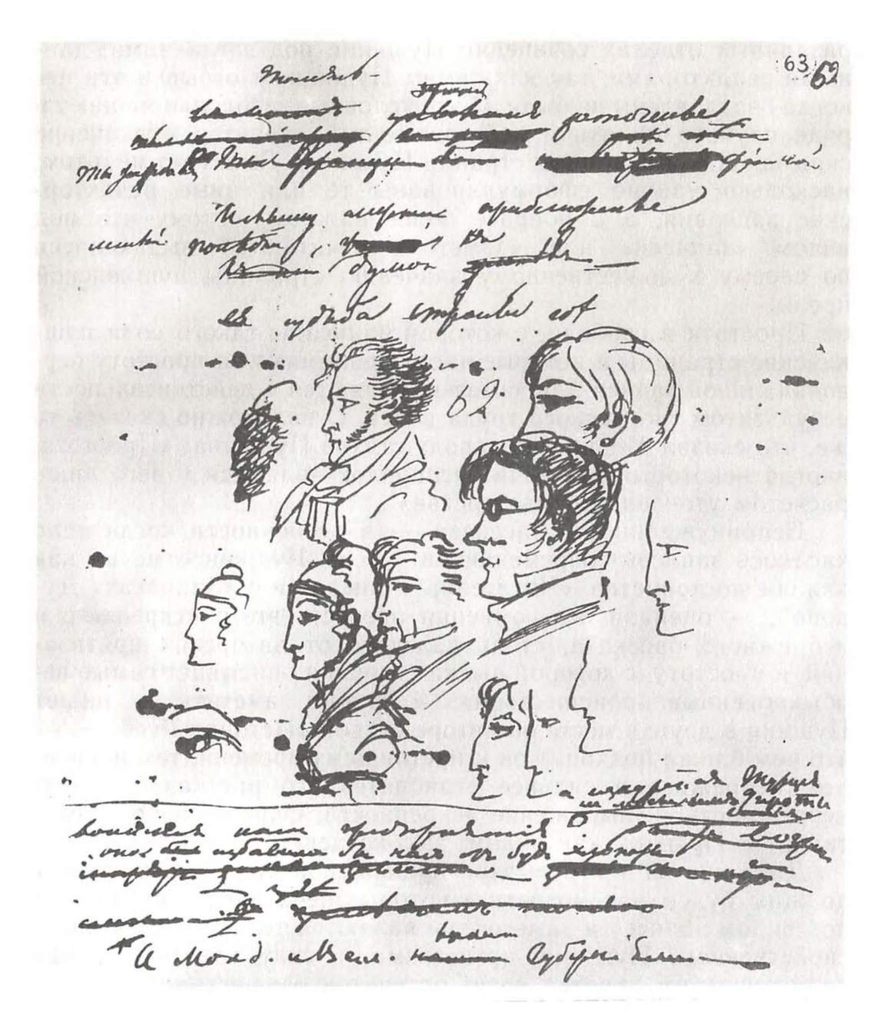
Неопознанными эти отрывки остаются главным образом вследствие глубокой, но необоснованной уверенности в том,

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII, кн. 1, с. 437—439.

[2] П. Вяземский. Полн. собр. соч., т. X. СПб., 1886, с. 177.

[3] Б. Казанский. Письма Пушкина. — «Литературный критик», 1937, № 2, с. 101.



Страница с остатками черновика «Отрывка № 1», входившего в состав «Записок» с рисунками и строками, относящимися к царствованию Екатерины. Внизу страницы — уцелевшие строки этого черновика. У левого края — корешки страниц, вырванных Пушкиным из тетради. Вверху страницы, в первом ряду профилей Пушкин нарисовал Н. С. Алексеева (которому посвятил «Гавриилиаду»).

что работа Пушкина над новыми «Записками» пресеклась в самом начале, и потому от них, так же как и от первых сожженных «Записок» его, ничего или почти ничего не могло дойти до нас.

В собрании сочинений Пушкина печатается до сих пор под названием «записей» или «заметок» целый ряд отрывков, вышедших из-под пера великого поэта. Их печатают в самых

различных отделах сочинений Пушкина под заглавиями, данными редакторами, так как самим Пушкиным отрывки эти никогда озаглавлены не были. И эти условные заголовки мешают в ряде случаев понять и действительный характер и значение скрывающихся под ними страниц Пушкина. Речь идет не о том, насколько удачно сформулированы те или иные редакторские заглавия, а о вопросе более важном, потому что под видом «записей» или «заметок» печатаются выдающиеся по своему художественному значению страницы пушкинской прозы.

Простота и свобода, с которой написаны такого рода пушкинские страницы и которые часто принимают за простоту первоначальной записи или заметки, являются в действительности результатом творческого труда поэта. О них можно сказать то же, что сказал Мериме по поводу стихов Пушкина: «Простота, иногда некоторый внешний беспорядок являются у него лишь расчетом утонченного мастерства»[1].

Непринужденность рассказа — в особенности когда дело касалось записок современников — сам Пушкин отмечал как важное достоинство. «Читатели, — писал он о «Записках» Дуровой, — оценили без сомнения прелесть этого искреннего и небрежного рассказа, столь далекого от авторских притязаний, и простоту, с которой пылкая героиня описывает самые необыкновенные происшествия»[2]. «Должно заметить, — пишет Пушкин в другом месте об авторе старой «Истории Руссов», — что чем ближе подходит он к настоящему времени, тем искреннее, небрежнее и сильнее становится его рассказ»[3]. Такую небрежность — выражение искренности, силы и свободы рассказа — Пушкин, как видим, высоко ценил.

Достоинства тех отрывков пушкинской прозы, которые мы должны будем рассмотреть и которые печатаются до сих пор под видом записей и заметок, не являются только выражением свойственного Пушкину артистизма, в силу которого любая написанная им заметка носит отпечаток изящества.

В том, что многие из этих страниц являются страницами пушкинской прозы (а не записями или заметками), можно убедиться не только путем более внимательного чтения, — это можно и доказать. В них налицо все признаки художественности, проявляющейся в прозе Пушкина не менее явно, чем в его стихах. До нас дошли черновики этих пушкинских отрывков; рукописи поэта показывают, как настойчиво работал он над этими страницами своей прозы; варианты к превосходному отрывку, который печатается под видом «Заметки о холере», занимают, например, в рукописи Пушкина не меньше места, чем

---

[1] П. Мериме. Александр Пушкин. Пер. А. К. Виноградова, — М., «Б-ка «Огонька», 1936, № 52, с. 10—11.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 487—488.

[3] Там же, с. 336.

окончательный текст этого отрывка[1]. Рукописи позволяют нам в данном случае понять не только наличие, но и характер художественной задачи, решаемой Пушкиным в процессе его творческой работы.

Печатая разобщенные отрывки гениальной пушкинской прозы под видом записей или заметок, редактор не только мешает читателю понять, что представляет собой в действительности каждый из этих пушкинских отрывков, — он уводит нас вместе с тем от вопроса о возможной связи каждого такого отрывка с другими вышедшими из-под пера Пушкина отрывками, поскольку записью или заметкой мы называем часто тексты изолированные, созданные писателем в силу того или иного случая и не связанные друг с другом общим замыслом.

Даже те два отрывка, которые помещают иногда в разделе автобиографической прозы Пушкина (отрывок о холере и отрывок, посвященный Державину), печатаются там обыкновенно под видом записей или заметок, то есть их, вопреки очевидности, не относят к «Запискам».

Опознать уцелевшие отрывки «Записок» мешает не только ложная мысль о том, что эти страницы Пушкина дойти до нас не могли. Помимо условных названий, уводящих от понимания природы этих отрывков и не отвечающих действительной сущности и форме их, опознать их мешает невыясненность профиля и содержания погибших «Записок» Пушкина.

Изучая этот труд, мы увидим прежде всего Пушкина-портретиста, запечатлевшего на страницах своих «Записок» образы современников. Рассказ поэта о своем времени и о себе не сводился при этом к рассказу о встречах с «лицами историческими». «Записки» Пушкина должны были отражать пережитые им исторические и литературные события, которые являлись важнейшими событиями в жизни поэта. Недаром, составляя программу возобновления сожженных «Записок», Пушкин написал на середине страницы «1812» и обвел эту памятную дату особой чертой.

В состав «Записок» входили страницы, воссоздающие историю поколения, к которому принадлежал поэт, отражавшие былое и думы Пушкина. В них входили страницы, обосновывавшие его политическое мировоззрение, которые мы вправе называть страницами высокой художественно-политической прозы Пушкина. Великий поэт создавал книгу, которой можно было бы дать название «Пушкин и его время». Между тем об этом как-то забывают, и это мешает понять, что целый ряд отрывков, в которых Пушкин пишет не о себе

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 308—310 и с. 429—432. В коммент. к Малому (десятитомному) акад. изд. 1949 г. отрывок этот назван «Записью о холере» (см. т. VIII, с. 524).

или не о себе одном, относились тем не менее к его Автобиографическим запискам.

Отрывки, о которых мы говорим, сами по себе известны, — они известны, поскольку содержатся в составе дошедшего до нас пушкинского текста. Но так как они разобщены, не опознаны в своем действительном качестве и потому не изучены, уцелевшие страницы «Записок» поэта не привлекли до сих пор заслуженного внимания со стороны исследователей и читателей Пушкина.

Страницы «Записок» Пушкина печатаются не только под видом приложений к стихам поэта; они печатаются вперемежку с историческими анекдотами, записанными Пушкиным; печатаются в томе критики, если речь идет в этих отрывках о судьбе произведений Пушкина, печатаются даже в разделе исторической прозы поэта.

Но отрывки «Записок» Пушкина, попавшие в силу тех или иных обстоятельств на места, для них не предназначенные и нередко малоподходящие, выделяются на своих новых местах. Это помогает нам обнаружить их и понять происхождение и характер подобных отрывков. Достаточно взглянуть на эти разобщенные отрывки и задуматься над возможной связью их друг с другом, и мы увидим стилевое единство их, определяемое не только общностью происхождения этих отрывков, но и художественной манерой, характерной для «Записок» поэта и во многом отличающейся от манеры Пушкина-беллетриста.

К «Запискам» Пушкина, как видно из предисловия к начатой им новой Автобиографии, относились прежде всего созданные поэтом портреты современников; задумавшись над тем, что эти портреты относятся к кругу его работ над Автобиографическими записками, мы убеждаемся в необходимости поставить и изучить тему Пушкин-портретист. Существуют интересные исследования, посвященные рисункам поэта[1]. Но работ, изучающих Пушкина как писателя-портретиста, до сих пор нет[2]. Таким образом, тема боковая, хотя и представляющая бесспорный интерес (рисунки поэта), изучена, в то время как тема первоочередная для исследователей творчества писателя — не поставлена. Между тем изучение литературных портретов, созданных Пушкиным, раскрывает перед нами гениальное реалистическое мастерство и особенности Пушкина-портретиста.

Художественное единство пушкинской прозы, созданной в процессе работы над Автобиографическими записками, обнаруживается со всей очевидностью, если мы соберем разобщенные отрывки этой прозы и посмотрим на них как

[1] Работы А. Эфроса и Т. Цявловской.

[2] Речь идет об изучении творчества Пушкина-мемуариста.

на уцелевшие части погибшего и незавершенного, но все же дошедшего до нас во фрагментах великого произведения Пушкина. Вместе с тем изучение этих недостаточно оцененных страниц пушкинской прозы приближает нас к пониманию замысла и общего содержания утраченных «Записок» поэта.



И. Н. Инзов — наместник Бессарабской области. *Рисунок Пушкина 1821 г.*

«Биографию» свою Пушкин начал писать (как он сам отметил, рассказывая о судьбе своих сожженных записок) в 1821 году. «Ежедневные записки», послужившие материалом для этой «Биографии», он вел уже в лицее, и часть этих лицейских записок дошла до нас вместе с небольшим, но чрезвычайно важным отрывком «ежедневных записок» Пушкина, относящихся к 1821 году.

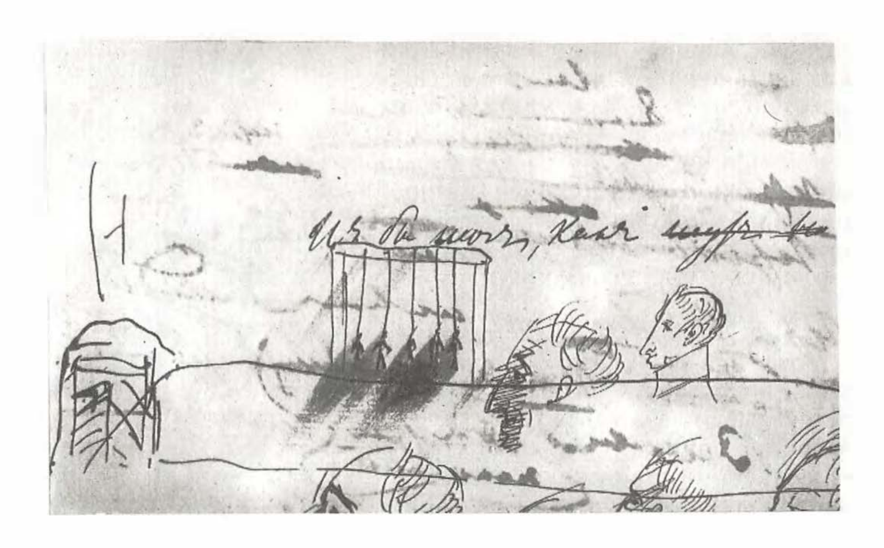
Касаясь того периода жизни и творчества Пушкина, к которому относится работа его над «Записками», первый биограф поэта указывал, что «тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821—1824 гг. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь всю жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера...»[1]. Едва ли к какому-либо другому произведению Пушкина могут быть отнесены эти строки Анненкова с бóльшим основанием, чем к Автобиографическим запискам поэта. Именно в «Записках», перестав быть только «потаенной струей» творчества, пробивающейся наружу в виде отдельных, втайне записываемых мыслей и заметок, широко и полно отразилось в эти годы «общественное, политическое» и «исповедническое» творчество Пушкина. Сочетание этих начал характеризует действительно «Записки» поэта.

Работе над Автобиографией предшествовала работа Пушкина над «ежедневными записками» и автобиографическими письмами, которая и привела его к мысли написать свою «Биографию».

Начав работать над ней в 1821 году, Пушкин, по соб-

---

[1] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху. СПб., 1874, с. 165.



Казнь декабристов. На этом листе Пушкин дважды нарисовал виселицу с пятью казненными декабристами и написал: *«И я бы мог...»* *Рисунок Пушкина 1826 г. Фрагмент.*

ственным его словам, «несколько лет сряду занимался ею»[1]. Труд его далеко продвинулся в период михайловской ссылки, где он в течение года (с осени 1824 года по конец 1825 года) работал над своими «Записками».

«Знаешь мои занятия? — сообщал он брату в ноябре 1824 года, — до обеда пишу «Записки» («обедаю поздно»[2], — добавлял он при этом). Вскоре Пушкин снова писал брату: «Образ жизни моей все тот же, стихов не пишу, продолжаю свои «Записки»[3]. Два месяца спустя поэт опять извещал его: «Стихов новых нет — пишу «Записки»[4]. И, наконец, в сентябре 1825 года сообщал Катенину: «Стихи покамест я бросил и пишу свои mémoires (мемуары. — *И. Ф.*), то есть, — пояснял он шутливо, — переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь»[5]. Работа над Автобиографическими записками к этому времени продвинулась настолько, что Пушкин переписывал их уже набело.

Друзья Пушкина — писатели, с которыми он состоял в переписке, — интересовались ходом этой работы. «Что твои записки?»[6] — спрашивал Пушкина Рылеев в письме 25 марта 1825 года. «Сестра твоя сказывала, — писал Пушкину

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. III, с. 76.
[2] Там же, т. X, с. 108.
[3] Там же, с. 110.
[4] Там же, с. 124.
[5] Там же, с. 180.
[6] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 157.

Вяземский 31 июля 1826 года, вскоре после смерти Карамзина, — что ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно до Карамзина. Жду их с нетерпением»[1]. «Лев мне сказывал, — писал поэту, ссылаясь на слова его брата, Плетнев, — что у тебя есть прелюбопытные примечания к *Воспоминаниям в Царском селе*. Пришли их...»[2] Плетнев имел в виду отрывок «Записок», посвященных Державину, который Пушкин думал поместить в собрании своих стихотворений в качестве приложения к «Воспоминаниям в Царском Селе».

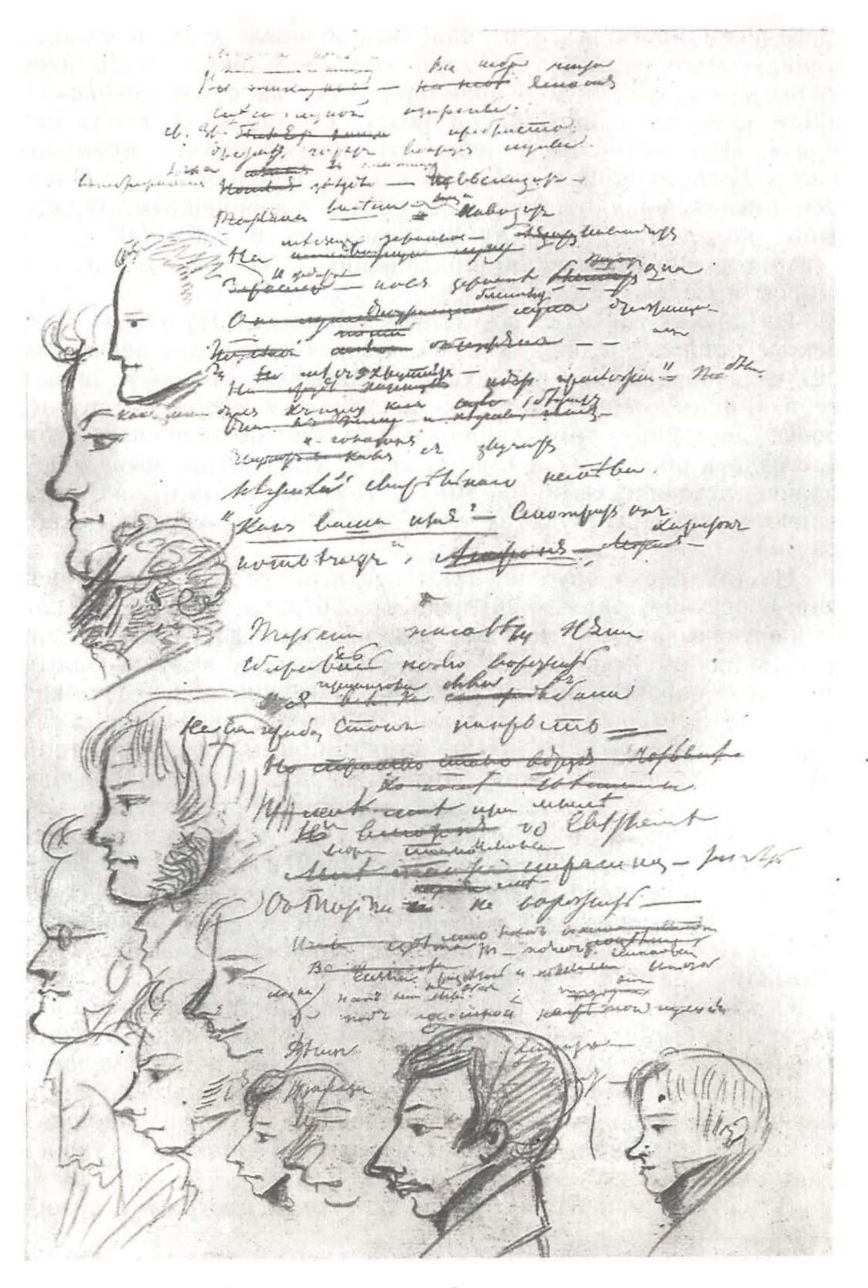
Но друзья так и не дождались «Записок» Пушкина: поэт вскоре принужден был их сжечь. Приступив через несколько лет к возобновлению их, Пушкин указывал, что он избирает себя «лицом, около которого» постарается «собрать другие, более достойные замечания», и что он намерен при этом воссоздать образы людей, которые, по его словам, ныне «сделались историческими лицами»[3]. Такими лицами, как ясно видно из предшествующих слов Пушкина, он считал декабристов.

Не так давно опубликованы неизвестные раньше показания Горсткина, данные 28 января 1826 года, в которых, как верно указывает М. Нечкина, мы получаем достоверное свидетельство об участии Пушкина в собраниях «Союза благоденствия», происходивших у Ильи Долгорукова, где Пушкин зимой 1819/1820 года читал свои запретные «ноэли». До сих пор мы располагали только стихотворным свидетельством об этом самого Пушкина, сохранившимся в случайно уцелевших строках десятой главы «Онегина». Прослушав эту главу «Онегина», Вяземский назвал ее в своем дневнике «славной хроникой». Теперь мы убеждаемся в том, что, говоря в этой хронике о себе и о своих связях с декабристами, Пушкин был исторически точен, не считая в этом отношении возможным прибегать к художественному вымыслу — или домыслу — даже в романе[4].

О знакомстве Пушкина с Пестелем достаточно ясно говорят известные строки в уцелевшем отрывке кишиневского дневника поэта: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова... Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»[5] (запись от 9 апреля 1821 года).

В составленной Пушкиным в 30-е годы программе возоб-

[1] П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 289.
[2] Там же, с. 234—235.
[3] А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 76.
[4] См.: М. В. Н е ч к и н а. Новое о Пушкине и декабристах. — «Литературное наследство», 1952, № 58, с. 159.
[5] А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 17.



Профили декабристов в рукописи «Евгения Онегі
Пушкин дважды нарисовал на левом поле этого .
(второй и третий профили сверху вниз). Между
профилями Пущина Пушкин изобразил себя и затем заштриховал свой профиль. В правом нижнем углу страницы — профили Кюхельбекера и Рылеева.

новления сожженных «Записок» мы читаем: «Орлов»... «Каменка» (Каменка, как известно, являлась важнейшим центром декабристов). В Кишиневе, который значится в той же программе возобновления «Записок», поэт тесно общался с «первым декабристом» Владимиром Раевским, Михаилом Орловым и другими членами Тайного общества.

В своих черновых тетрадях Пушкин рисовал себя среди профилей декабристов, рисовал вождей движения — Пестеля и Рылеева и своих ближайших друзей — Пущина и Кюхельбекера, рисовал Лунина, Михаила Орлова и других декабристов. Но признание, сделанное Пушкиным в начале 30-х годов в предисловии к возобновляемым «Запискам», позволяет нам утверждать с несомненностью (а не только гипотетически), что великий поэт изобразил декабристов не в одних зарисовках, сохранившихся на полях его рабочих тетрадей, и не только в быстрых строфах десятой главы «Онегина». В сожженных Автобиографических записках, то есть в первом же своем написанном в прозе большом произведении, Пушкин создал портреты революционеров своего времени, о которых писал, по собственным словам, «с откровенностию дружбы или короткого знакомства».

В те же годы, когда Грибоедов создавал «Горе от ума», и еще до того, как Некрасов создал поэмы, посвященные памяти декабристов, Пушкин запечатлел в своих Автобиографических записках революционеров своего времени, лучших людей из дворян, как назвал век спустя декабристов Владимир Ильич Ленин.

Созданные Пушкиным портреты декабристов не дошли до нас. Это одна из великих утрат, понесенных русской литературой в борьбе с самодержавием. Портреты эти обречены были самодержавием на гибель, как обречены были на гибель сами декабристы. Наше представление о галерее созданных Пушкиным образов из-за этого остается поневоле неполным. И так как недошедшее с годами забывается, начинает казаться несуществовавшим, необходимо разыскать по крайней мере сохранившиеся отрывки и свидетельства, которые могут помочь нам представить себе хоть отчасти, что же истребил в литературном наследии Пушкина огонь, уничтоживший страницы его «Записок».

Задача эта является осуществимой, конечно, только до известной степени. Но мы видели, что Пушкин сжег свои «Записки» не целиком, и, как ни значительно было место, занимаемое в них портретами декабристов, содержание «Записок» великого поэта не сводилось к этим не дошедшим до нас портретам.

Поэт использовал материал, содержавшийся в его погибших «Записках», и для других своих замыслов. По словам Анненкова, он собирался в «Русском Пеламе» «провести под



А. П. Керн.
Рисунок Пушкина 1829 г.

покровом романа собственные свои воспоминания» и «воскресить под предлогом описания жизненной обстановки» героя «собственные свои записки, некогда им истребленные»[1]. (Пушкин не только пытался, но — чего не знал Анненков — и воскресил из них многое в своем романе в стихах, то есть в написанной им — и затем также сожженной — запретной части «Онегина».)

От «Записок» Пушкина до нас дошли, по счастью, не только фрагменты. Сохранились, как мы уже говорили, составленные поэтом в начале 30-х годов программы возобновления «Записок», проливающие до известной степени свет и на содержание его погибших «Записок».

Поневоле вытесненные из «Записок» поэта страницы находили себе место в других произведениях Пушкина; поэт воскрешал многое из своих «Записок» не только «под покровом романа»; до нас дошли предназначавшиеся первоначально для Автобиографических записок Пушкина, но включенные им по необходимости в другие произведения портреты современников, при работе над которыми поэт не прибегал к художественному вымыслу.

Все это, в особенности изучение сохранившихся отрывков «Записок» и программ Пушкина, позволяет нам составить известное представление о не дошедшем до нас автобиографическом труде поэта и даже уяснить себе место, которое занимали или должны были занять в нем дошедшие до нас отрывки, представляющие собой разобщенные части незавершенного, но единого по замыслу произведения.

---

[1] П. Анненков. Литературные проекты А. С. Пушкина. — В сб.: П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 457.

ЗАПИСКИ О КОРОТКОМ ВРЕМЕНИ

«Биография» была первым большим прозаическим произведением поэта.

«С прозой — беда! Хочу попробовать этот первый опыт», — сказал Пушкин в 1824 году о своих не дошедших до нас повестях из молдавской старины[1]. Создаваемая им в те же годы автобиографическая проза удовлетворяла Пушкина, по-видимому, в гораздо большей степени, чем его первые повести.

Говоря о пути, которым Пушкин шел к созданию своей прозы, вспоминают часто о письмах Пушкина, не без основания называя работу поэта над ними лабораторией его прозы. О погибших же Автобиографических записках Пушкина при этом забывают, и забывают, как увидим, напрасно.

«Лета к суровой прозе клонят», — сказал Пушкин в шестой главе своего «Онегина». Поэт, вероятно, имел в виду здесь прежде всего свою Автобиографию: в черновике — к словам «Лета к суровой прозе клонят» и следующим за ними — есть вариант, который говорит, что «лета» «гонят» не «рифму» только, но и «вымысел»[2]. Вариант этот дает понять, что «лета» клонят поэта не просто к прозе (в отличие от стихов), а к «суровой» прозе — без «вымысла». Такой прозой и были незадолго перед тем созданные «Записки» поэта. Гибель этого произведения заставляет исследователей забывать не только о самих «Записках», но и о важном значении их для формирования прозы Пушкина. Между тем мы вправе сказать, что путь, которым Пушкин шел к созданию своей прозы, вел его прежде всего от писем и «ежедневных записок» к большой автобиографической прозе, то есть к созданию «Записок».

Письма Пушкина отражали действительность непосредственно, художественность не связана была для него в этом жанре с художественным вымыслом. Подобного рода произведением, только произведением большой формы, являлись

---

[1] И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. — «Русский архив», 1866, с. 1410.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VI, с. 135 и 408.

«Записки» поэта. И потому вопрос о связи их с эпистолярной прозой Пушкина приобретает для нас не только формальное значение. С путями становления пушкинской прозы, о которых мы говорим, связан характер не только автобиографической, но и всей последующей повествовательной прозы Пушкина — «поэта действительности» (как он сам впоследствии определил себя). Большой интерес поэтому представляет уяснение вопроса о том, как пришел двадцатидвухлетний Пушкин к мысли о создании своей «Биографии».

Письма служили Пушкину прежде всего важнейшим материалом для нее. В 1833 году, то есть как раз в то время, когда Пушкин работал над возобновлением своих сожженных в 1825 году «Записок», Плетнев жаловался Жуковскому, что Пушкин «ничего не делает, как только утром перебирает в гадком сундуке своем старые к себе письма»[1]. А говоря о так называемом «Дневнике», который Пушкин вел в середине 30-х годов, один из исследователей «Дневника» поэта с некоторым удивлением заметил, что если сравнить последний «с материалами пушкинских писем к жене и друзьям за то же время», то мы увидим, что письма эти и являются, «собственно, подлинным дневником» Пушкина[2].

Николай Николаевич Раевский-старший, посылая жене письмо, содержащее описание путешествия Раевских на юг (куда Пушкин отправился вместе с ними), называет это свое пространное письмо «родом журнала»[3]. Дневником (или журналом, как тогда говорили) называют свои письма Вяземский и Боратынский[4].

Но письма были для Пушкина не только материалом, который он мог — и должен был — использовать, работая над своей «Биографией». Существуют, как мы говорили уже, не только письма-дневник, существуют письма-воспоминания, то есть мемуары, написанные в эпистолярной форме.

Необходимо при этом учесть, что письма-воспоминания могут писаться не только много лет спустя после событий. «Я перевариваю воспоминания, — писал Пушкин Дельвигу 23 марта 1821 года (в тот год, когда он начал свою «Биографию»), — и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями»[5]. Намекая в том же письме на свое намерение при-

[1] Пушкин. Письма, т. I, ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, с. VIII.

[2] Д. Якубович. Дневник Пушкина. — В сб.: Пушкин. 1834 год. Л., 1934, с. 46.

[3] См.: М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951, с. 752.

[4] См.: П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX. СПб., 1884, с. 120; А. Е. Боратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. М., 1951, с. 529.

[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 25.

нять участие в начавшемся восстании греков против турецкого владычества («скоро оставляю благословенную Бессарабию, — есть страны благословеннее. Праздный мир не самое лучшее состояние жизни»[1]), Пушкин думал, «набирая» новые воспоминания, вскоре же ввести их в начатую им Автобиографию.

Но еще до того, как начать ее, Пушкин написал два письма, резко выделяющиеся среди других его писем, — мы говорим об известном письме Пушкина к брату, где описывается пребывание поэта на Кавказе и в Крыму[2], и о письме, написанном им в марте 1821 года, в котором изображено начало греческого восстания. Эти письма поэта можно было бы назвать, в отличие от других его писем, относящихся к тому же периоду, «записками о коротком времени», как назвал позднее свои «Письма из Франции и Италии» Герцен. «Они составляют необходимую часть моих «Записок», — писал он в «Былом и думах», поясняя: «что же, вообще, письма, как не *записки* о коротком времени»[3].

Письмо Пушкина к брату, о котором мы говорим, рассчитано было, как отмечалось уже в литературе, на читателей и — добавим — на распространение в списках. «Вот копия с письма его к меньшему брату его, после кавказского путешествия», — писал Александр Тургенев (сам автор предназначавшихся для распространения в публике писем), пересылая Сергею Тургеневу копию пушкинского письма[4].

Недостаточно, однако, в данном случае указать на то, что письмо Пушкина к брату является написанным в эпистолярной форме произведением, предназначавшимся для распространения и призванным ознакомить не одних только родственников Пушкина с путевыми впечатлениями поэта. Относить это письмо к числу «писем-путешествий» едва ли правильно: оно представляет собой несомненно один из первых законченных образцов высокой автобиографической прозы Пушкина.

Страницы Пушкина, о которых мы говорим, охватывают период пребывания его на Кавказе и в Крыму ретроспективно. В них нет текущих, ежедневных или недельных подробностей, свойственных обычно письму. События в нем взяты в масштабе биографии поэта. И это настолько сближает рассматриваемое письмо с «Записками», что оно во многом предвосхищает страницы, которые должны были войти в

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 25.
[2] Там же, с. 17—20.
[3] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. X. М., 1956, с. 17.
[4] См. письмо А. Тургенева от 21 марта 1821 г. («Пушкин. Временник», т. I. М.—Л., 1936, с. 199).

Автобиографические записки поэта. Перед нами как бы ранний вариант кавказской (и частью крымской) главы «Записок» Пушкина — вариант, написанный еще до того, как он начал писать свою «Биографию».

«Начинаю с яиц Леды, — писал Пушкин в этом письме. — Приехав в Екатеринославль, я соскучился, поехал кататься по Днепру, выкупался и схватил горячку, по моему обыкновенью...». Рассказав о встрече с Раевскими, которые пригласили его отправиться вместе с ними для леченья на Кавказ, Пушкин далее пишет: «Я лег в коляску больной: через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе... Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся облаками, разноцветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной...» «Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях, — пишет Пушкин. — Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними...»

«Вокруг нас, — продолжает он, — ехали 60 казаков, за нами тащилась заряженная пушка, с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа — они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нравится мечтательному воображению». Последние строки, заметим в скобках, предвосхищают интонацию лермонтовской прозы.

Пушкин пишет про «тень опасности» со стороны черкесов, на которых нельзя положиться. Но подчеркивает, что вынужден умолчать об опасности, которая грозила правительству со стороны казаков. «Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков — теперь не скажу об них ни слова», — пишет он со значением. «Замечания» Пушкина, до нас не дошедшие, касались, конечно, волнений, охвативших земли донского казачества в 1818—1820 годах. В движении этом участвовало больше сорока пяти тысяч человек.

«Донцы были недовольны правительством и особенно Чернышевым» (который руководил жестоким усмирением их). «Они до одного все восстали бы», — писал впоследствии один из декабристов, вспоминая 1825 год и осуждая Ермолова за то, что тот не пожелал воспользоваться возможностью под-

нять казаков и двинуть их на Петербург, чтобы поддержать выступление декабристов[1].

С Кавказа Пушкин отправился вместе с Раевскими в Крым. «Морем, — пишет он далее в том же письме, — отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды в *Юрзуф,* где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию...»



Автопортрет. *1821 г.*

Пушкин не упоминает о юной Марии Раевской, которую тогда полюбил, в письме его дан портрет Раевского-старшего, прославленного участника Отечественной войны 1812 года, он пишет: «Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив...»[2]

Пушкин пишет в своем письме о Кавказе и Крыме, говорит о России и Востоке, представляет нам Раевского в кругу семьи, называя время, которому посвящено письмо, «счастливейшими минутами» своей жизни. Если Вяземский видел в «Письмах» Карамзина «не только *Письма Путешественника,* но настоящие мемуары», то письмом-мемуарами мы с не меньшим основанием вправе назвать (если говорить о жанре) письмо Пушкина к брату. Не следует забывать только, что дорога на юг была для Пушкина дорогой в ссылку, о чем он должен был умалчивать в своем письме, предназначавшемся, как мы уже говорили, для распространения.

Высланный в том же 1820 году из Петербурга на Кавказ приятель Пушкина Александр Ардалионович Шишков противопоставил письмам Карамзина описание своего «Путешествия» «в полуденную Сибирь». Вспоминая «наших Иориков», то есть подражателей, которые, говорит он, едут «Ронять,

---

[1] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I, М., 1931, с. 264.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 19.



Александр и Екатерина Раевские.
Рисунки Пушкина.
1821 г.

как новый Стерн,// Жемчужную слезу на шелковичный дерн, — Шишков писал: «Путешествовать на быстрых фельдъегерских конях, без малейшего желания путешествовать, и не знать, когда возвратишься под сень родимой кровли, даже не иметь к тому ни малейшей надежды, это не легко...»[1]

Еще больше, чем письмо Пушкина к брату, выделяются среди пушкинских писем того же времени страницы, посвященные поэтом греческой революции.

«Греция восстала и провозгласила свою свободу, — писал в марте 1821 года Пушкин в первом из этих так называемых писем (адресуемых предположительно В. Л. Давыдову). — Теодор Владимиреско, служивший некогда в войске покойного князя Ипсиланти, в начале февраля нынешнего года вышел из Бухареста с малым числом вооруженных арнаутов и объявил, что греки не в силах более выносить притеснений и грабительств турецких начальников, что они решились освободить себя от ига незаконного...

[1] Сочинения и переводы капитана А. А. Шишкова в 4-х частях, ч. I, СПб., 1834, с. 113, 114.

...21 февраля генерал князь Александр Ипсиланти с двумя из своих братьев и с князем Георгием Кантакузеном — прибыл в Яссы из Кишинева, где оставил он мать, сестер и двух братий...

...Известие о возмущении поразило Константинополь...

...Восторг умов дошел до высочайшей степени, все мысли устремлены к одному предмету — к независимости древнего отечества. В Одессах, — продолжает Пушкин, — я уже не застал любопытного зрелища: в лавках, на улицах, в трактирах — везде собирались толпы греков, все продавали за ничто свое имущество, покупали сабли, ружья, пистолеты, все говорили о Леониде, об Фемистокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти...



Н. Н. Раевский-старший.
Рисунок Пушкина. 1821 г.

...Ипсиланти идет на соединение с Владимиреско. Он называется Главнокомандующим северных греческих войск и уполномоченным Тайного Правительства. Должно знать, что уже тридцать лет составилось и распространилось тайное общество, коего целию было освобождение Греции. Отдельная вера, отдельный язык, независимость книгопечатания, с одной стороны — просвещение, с другой — глубокое невежество — все покровительствовало вольнолюбивым патриотам...

...Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен. Он счастливо начал и — мертвый или победитель — отныне он принадлежит истории — 28 лет, оторванная рука, цель великодушная! — завидная участь. Кинжал изменника опаснее для него сабли турков...

...Важный вопрос: что станет делать Россия; займем ли мы Молдавию и Валахию под видом миролюбивых посредников; перейдем ли мы за Дунай союзниками греков и врагами их врагов? Во всяком случае буду уведомлять...»[1]

Эти блестящие страницы Пушкина не являются, конечно,

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 22—24.

письмом, несмотря на то что их печатают среди писем поэта. К какому же роду произведений они относятся? «И историю пытался Пушкин писать, первоначально... в эпистолярной форме», — отвечает на этот вопрос Г. Винокур, касаясь пушкинского письма о греческой революции[1]. Но страницы эти посвящены Пушкиным не просто истории, а истории своего времени и написаны о начавшемся греческом восстании против турецкого владычества, то есть о событиях, в которых Пушкин горячо стремился тогда принять участие.

Кроме того, как верно заметил Б. Казанский, «это письмо» «не имеет ничего эпистолярного; если бы не содержащееся в начале его обращение («Уведомляю тебя о происшествиях») и не фраза в середине: «Ты видишь простой ход и главную мысль...», оно «было бы» отличной страницей записок»[2],— говорит этот исследователь. Но условное обращение к предполагаемому (неконкретизируемому) адресату, с которого начинаются эти страницы Пушкина, не превращают их, конечно, в письмо. «Письмо», о котором мы говорим, не только «было бы», но и является отличной страницей, вернее — написанными под видом письма страницами записок Пушкина о греческой революции, начатых поэтом в тот же год, когда он начал писать свою «Биографию».

Страницы этого пушкинского «письма» сохранились только в черновой тетради поэта. «И нет даже твердой уверенности, кому оно адресовано», — отмечает один из исследователей[3]. Адресат в нем не указан — и оно написано без всякого обращения к какому бы то ни было конкретному адресату, видимо, потому, что адресовано Пушкиным читателям, а не отдельному лицу (хотя, написав эти страницы и предназначая их для распространения, Пушкин мог, конечно, приурочить их потом к какому-нибудь из своих адресатов).

Пересылка подобного рода письма адресату являлась во времена Пушкина только предлогом, или средством, для распространения написанного. Вспомним хотя бы о письмах Александра Тургенева, автора и неутомимого распространителя такого рода эпистолярных произведений. Вяземский вспоминает, что, когда Тургенев приехал с одним из своих приятелей в Англию, приятель этот, «расстроенный переездом, усталый... бросился на кровать, чтоб немного отдохнуть». Тургенев же «сейчас переоделся», «узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтобы изготовить письмо». «Да кому же хочешь ты писать?» — спросил его приятель. «Тут Тургенев немножко смутился и призадумался:

---

[1] См.: Пушкин. Письма, т. I, ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Л., 1926, с. XXXII.

[2] Б. Казанский. Письма Пушкина. — «Литературный критик», 1937, № 2, с. 103.

[3] А. С. Пушкин, Соч., ред. Б. Томашевского, Л., 1937, с. 951.

«Да, в самом деле, — сказал он, — я обыкновенно переписываюсь с тобою, а ты теперь здесь. Но все равно: напишу одному из почтдиректоров, или московскому Булгакову, или петербургскому». И тут же сел к столу и настрочил письмо в два или три почтовые листа»[1]. Адресовать письмо московскому *или* петербургскому почтдиректору — известным тогда «вестовщикам» было почти то же, что напечатать его.



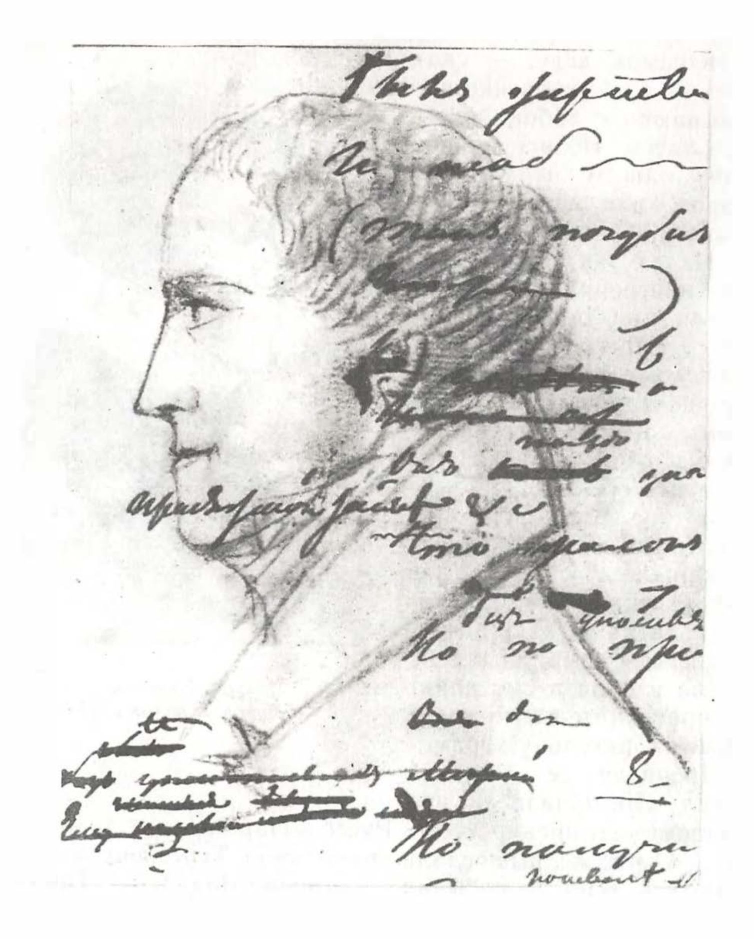
П. А. Вяземский.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

Тот же Вяземский писал в своей «Старой записной книжке»: «Тютчев забавно рассказывает о письме Чаадаева к Тургеневу. Он однажды заманил к себе Тютчева и прочел ему длинную, нравоучительную и несколько укорительную грамоту. Прочитав ее, Чаадаев спросил: «Не правда ли, что это напоминает письмо Ж.-Ж. Руссо к Парижскому архиепископу?» — «А что же, вы послали это письмо к Тургеневу?» — спросил Тютчев. «Нет, не посылал, — отвечал Чаадаев»[2]. Таким образом, литературное письмо могло распространяться, даже не будучи посланным.

Письмо Пушкина о греческой революции не осталось единственным. Заметим, что оно кончается словами: «Во всяком случае буду уведомлять...» Продолжением задуманной Пушкиным серии писем о греческой революции и являются — на наш взгляд — два отрывка, написанные Пушкиным позднее, когда отношение его ко многим участникам греческого восстания — но не к делу греков — изменилось (датируются июнем 1823 г. — июлем 1824 г.). Они печатаются в собрании сочинений Пушкина в качестве отрывков из писем, адресованных, как и первое большое письмо, предположительно тому же В. Л. Давыдову.

Первый из отрывков, о которых мы говорим, начинается словами: «С удивлением слышу я, что ты почитаешь меня

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII, СПб., 1883, с. 283.
[2] Там же, с. 288.



П. Я. Чаадаев.
Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1824 г.

врагом освобождающейся Греции и поборником турецкого рабства». А кончается этот пушкинский отрывок словами: «Ничто еще не было столь *народно,* как дело греков, хотя многие в их политическом отношении были важнее для Европы»[1].

Второй отрывок Пушкин кончает словами: «...дело Греции вызывает во мне горячее сочувствие, именно поэтому-то я и негодую, видя, что на этих ничтожных людей (Пушкин говорит здесь о недостойных участниках движения. — *И. Ф.*) возложена священная обязанность защищать свободу»[2].

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 98.
[2] Там же, с. 765 (подлинник по-французски).

То, что отрывки эти, наряду с первым письмом Пушкина, посвященным греческой революции, печатаются как отрывки из писем, адресованных поэтом предположительно все тому же В. Л. Давыдову (хотя они были написаны Пушкиным два-три года спустя после первого «письма»), является следствием сознаваемой, но только неверно понимаемой редакторами связи, существующей между страницами. посвященными Пушкиным делу греков.

Каким образом использовал бы Пушкин впоследствии письмо (или письма) о греческой революции в своих Автобиографических записках — вопрос другой. Но мы знаем, что, приступив в 30-е годы к возобновлению своей сожженной после разгрома восстания 14 декабря «Биографии», Пушкин включил в программу своих новых «Записок» раздел «Греческая революция»[1]. Напомним также, что Герцен не только отсылает читателя «Былого и дум» к своим «Письмам» о революции во Франции и в Италии, он не только использует и цитирует их в «Былом и думах», но и замечает: «Они составляют необходимую часть моих «Записок».

Изучение автобиографического письма Пушкина к брату и письма поэта о начале греческой революции дает нам возможность понять предысторию «Записок» Пушкина. Мы видим, насколько подготовлен был переход Пушкина от автобиографических писем (и писем, представляющих собой «записки о коротком времени») к созданию Автобиографических записок.

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 75.

УЦЕЛЕВШИЕ ОТРЫВКИ

КАРАМЗИН

Посвященные выходу в свет «Истории» Карамзина листы «Записок» Пушкина были напечатаны без подписи в сильно сокращенном по цензурным соображениям виде полтора года спустя после смерти автора «Истории государства Российского» с указанием: «Извлечено из неизданных записок». Отрывок этот приходится печатать теперь в собрании сочинений поэта дважды: настолько отличается от печатного рукописный текст его.

Сохраненные листы оторваны были Пушкиным от других, не дошедших до нас листов и начинаются поэтому обрывком фразы, в которой Пушкин говорил о своих вольнолюбивых стихотворениях, написанных им до ссылки.

Содержание этих страниц, вырванных Пушкиным из рукописи «Записок» (а не одно только признание, сделанное поэтом в письме к Вяземскому), показывает, что они являются бесспорно сохраненными при сожжении, а не вновь написанными после смерти Карамзина страницами «Записок» Пушкина. Между тем в Большом академическом издании сочинений поэта отрывок, посвященный Карамзину, датировался временем не ранее июня 1826 года, то есть признавался написанным после смерти Карамзина[1], а в некоторых других изданиях указывается, что отрывок этот только «по-видимому» представляет собой фрагмент уничтоженных «Записок» поэта[2]. Необходимо со всей определенностью установить, что перед нами сохраненный Пушкиным отрывок их.

Сравнив сохраненные поэтом листы с напечатанным им позднее извлечением из них, мы увидим, насколько политически острыми, и потому внецензурными, являлись страницы, посвященные Карамзину в «Записках» Пушкина.

---

[1] См. т. XII, 1949, с. 471. В справочном томе к этому изданию, вышедшем в 1959 г., в отделе «Дополнения и исправления» (с. 63) отрывок передатирован (1821—1825 гг.).

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 521. См. также: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти т., т. IX, «Academia», 1937, с. 782.


Автопортрет. *1823 г.*

«Ты хотел прислать мне извлечения из записок своих относительно до Карамзина. Жду их с нетерпением», — писал Пушкину 31 июля 1826 года (то есть после смерти Карамзина) Вяземский. «Ты часто хотел писать прозою,— говорит он, обращаясь к Пушкину в том же письме, — вот прекрасный предмет! Напиши взгляд на заслуги Карамзина и характер его гражданский, авторский и частный. Тут будет место и воспоминаниям твоим о нем. Можешь, — предлагал Вяземский, — издать их в виде отрывка из твоих записок»[1].

Вяземский знал, что страницы «Записок», посвященные Карамзину, уже существуют, и просил Пушкина переслать ему эти страницы. Но одновременно советовал Пушкину написать, в связи со смертью Карамзина, другое, новое произведение — «Взгляд на заслуги Карамзина и характер его»: «Тут (то есть в этом произведении. — *И. Ф.*) будет место и воспоминаниям твоим о нем», — указывал Вяземский. Пушкин не последовал этому совету и, вместо того чтобы использовать свои воспоминания для создания нового произведения о Карамзине, обещал переслать Вяземскому сохраненные при сожжении «Записок» листы, посвященные выходу в свет «Истории» Карамзина. Эти сохраненные листы сожженных «Записок» Пушкин и напечатал полтора года спустя, исключив из них места, которые не могли быть пропущены цензурой. Кроме вырванных самим поэтом из рукописи сожженных «Записок». листов, сохранился еще один, отдельный листок (тут Пушкин вспоминает о своих политических спорах с Карамзиным), который печатается теперь обычно как продолжение страниц, вырванных поэтом из беловой рукописи «Записок».

В уцелевшем отрывке Пушкин вспоминает об опасной болезни, которую он перенес весной 1818 года: «Лейтон (известный врач — *И. Ф.*), — говорит он, — за меня не отвечал. Семья моя была в отчаяньи; но через шесть недель я выздоровел». Рассказав, как он «с жадностью и со вниманием» прочел в своей постели первые восемь томов только что появившейся «Истории» Карамзина, Пушкин вспоминает о том, каким событием явился выход в свет этой книги: «3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример един-

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 289.

ственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Коломбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили»[1].

Пушкин отбросил в печати строки, рассказывавшие, каким событием явилось в его писательской жизни появление «Истории государства Российского», и оставил только рассказ о нем как о событии общественном. В свой рассказ Пушкин принужден был внести, как мы говорили уже, значительные цензурные изменения, поскольку он упоминал на страницах своих «Записок» о резкой критике, которой подвергли «Историю» Карамзина писатели-декабристы при выходе в свет первых ее восьми томов. Пушкин должен был отбросить в печати и ту, отдельно сохранившуюся, страницу «Записок», где он говорит о своих политических спорах с Карамзиным. «Однажды, — вспоминает Пушкин, — начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспаривая его, я сказал: «Итак, вы рабство предпочитаете свободе».

«Любимые парадоксы» Карамзина, против которых так резко спорил Пушкин, заключались, как известно, в утверждении, что «самодержавие есть палладиум России» и «целость его необходима для ее счастия»[2]. Карамзин настаивал на сохранении в России крепостного права.

«Настоящее, — писал он в 1811 году, — бывает следствием прошедшего. Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее...»[3] И, доказывая необходимость самодержавия, написал свою «Историю государства Российского». Своей тенденции Карамзин не скрывал. Через несколько лет после смерти его, говоря в «Обозрении русской словесности 1829 года» о значении «Истории» Карамзина, И. Киреевский поэтому заметил: «Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории»[4].

Вспоминая в 1836 году появление «Истории» Карамзина, князь Вяземский, перешедший к этому времени на сторону реакции, указывал:

«Часть молодежи нашей, увлеченная вольнодумством... замышляла в то время несбыточное преобразование России. С чутьем верным и проницательным, она тотчас оценила важность книги, которая была событие, и событие, совершенно противодействующее замыслам ее... Медлить было нечего. Колкие отзывы, эпиграммы, критические замечания... посыпа-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 66—67.

[2] Н. М. Карамзин. Записка о Древней и Новой России. СПб., 1914, с. 126 и 83.

[3] Там же, с. 1

[4] Альманах «Денница» на 1830 г., изд. М. Максимовичем, с. 23.

лись на книгу и на автора из среды потаенного судилища... Им не хотелось самодержавия; как же им было не подкапываться под творение писателя, который... доказывал, что мудрое самодержавие спасло, укрепило и возвысило Россию»[1].

На фоне этих рассуждений понятным становится, какой смелостью было со стороны Пушкина вспоминать в печати — через два года после разгрома декабристов — спор их с Карамзиным, даже если Пушкин во многом не солидаризировался с критикой, которой декабристы подвергли тогда «Историю» Карамзина.

«Никита Муравьев, молодой человек умный и пылкий, — говорит Пушкин в своих «Записках», — разобрал предисловие или введение: предисловие!..» (к «Истории» Карамзина). Пушкин считал, что труд Карамзина требует от критика большего, нежели разбора одного только предисловия. Возражение, казалось бы, важное. Но предисловие Карамзина было декларативным и имело несомненно самостоятельное значение. «История народа принадлежит царю», — писал Карамзин, посвящая свой труд Александру I. «История принадлежит народам», — отвечал Никита Муравьев. Выступление его было выступлением политическим, для которого разбор декларативного предисловия Карамзина являлся достаточным основанием.

Таким образом, Пушкин вспоминал в печати о рукописи Никиты Муравьева, в которой тот чрезвычайно резко, с декабристских позиций, критиковал политическую тенденцию Карамзина. Имя Никиты Муравьева, находившегося в это время на каторге в Сибири, Пушкин должен был, разумеется, заменить в печати первой буквой его имени. Но он смело назвал этого «государственного преступника» «человеком умным и пылким», зная, что рукопись Муравьева достаточно широко известна, так как распространялась в списках и бесспорно дошла до сведения правительства. Это тем более замечательно, что точка зрения Пушкина на «Историю» Карамзина, выраженная в «Записках», не совпадала, как мы уже говорили, с точкой зрения Никиты Муравьева. Но как и в чем она не совпадала с нею? «Молодые якобинцы, — писал Пушкин, имея в виду декабристов, критиковавших Карамзина, — негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения». Фразу эту, совершенно невозможную в подцензурной печати, Пушкин вынужден был, разумеется, исключить, поскольку он подчеркивал в ней, что «верный рассказ событий» опровергает размышления Карамзина «в пользу самодержавия».

Вслед за упоминанием о критике, которой подвергли де-

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1879, с. 216—217.

кабристы карамзинскую «Историю», мы читаем у Пушкина в печатном тексте: «Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина». В рукописи «Записок» Пушкин этим не ограничился: он раскрывает смысл этой пародии. «Римляне времен Тарквиния, не понимающие *спасительной пользы самодержавия,* — подчеркивает он, — и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, *ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностию,* конечно, были очень смешны». Слог историка, как видим, пародировался — в этом суть дела — с целью вскрыть и осмеять политические установки Карамзина. Сразу вслед за строками этой пародии Пушкин замечает: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм», подразумевая, вероятно, известную эпиграмму на Карамзина[1].

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Говоря, что эпиграмму эту ему «приписали», Пушкин оценивает ее, как видим, высоко — и едва ли только с литературной стороны: слова его в споре с Карамзиным («Итак, вы рабство предпочитаете свободе») чрезвычайно близки по смыслу к этой эпиграмме, хотя сказаны они, может быть, были Пушкиным и не по поводу самой «Истории» Карамзина, а по поводу политических взглядов, в ней обоснованных.

Но, резко расходясь с Карамзиным и вспоминая свои споры с ним, Пушкин и в рукописи, и в печатном тексте своих «Записок» называет его исторический труд «созданием великого писателя» и «подвигом честного человека». И это требует, конечно, объяснения.

Некоторые резко осуждавшие «Историю» Карамзина декабристы отдавали должное художественной стороне его труда. Александр Бестужев в своем «Взгляде на старую и новую словесность в России» писал: «Время рассудит Карамзина, как историка, но долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее»[2]. И даже наиболее резкая из эпиграмм, вызванных появлением «Истории» Карамзина, признавала:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

---

[1] См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти т., т. IX. «Academia», 1937, с. 775 (коммент.)

[2] «Полярная звезда на 1823 год», с. 15.

Пушкин относился к прозе Карамзина критически. «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе. Ответ — *Карамзина,* — писал он в набросках 1822 года, поясняя: — Это еще похвала не большая...»[1] Что касается «Истории» Карамзина, то последние тома ее Пушкин оценил, как известно, много выше, чем первые.

Называя труд Карамзина «подвигом», Пушкин подчеркивал, что труд этот открыл читателям историю древней России, «дотоле им неизвестную». Ноты русской истории (то есть исторические источники, широко охваченные Карамзиным и изданные им в качестве приложений к своей «Истории». — *И. Ф.*) свидетельствуют, по словам Пушкина, обширную ученость Карамзина. Одним этим нельзя было бы объяснить оценку, которую дает Пушкин его труду. Но следует вспомнить, что столь сведущий и принципиальный критик, как Лунин, один из самых выдающихся писателей-декабристов, также отдавал должное историческим разысканиям Карамзина.

Даже в историческом очерке, написанном позднее декабристом Фонвизиным и прямо направленном, как правильно отметил в свое время В. Семевский, против реакционной «Записки о Древней и Новой России» Карамзина, мы читаем: «Карамзин первый начал разрабатывать... источники с знанием дела и собрал много до него неизвестных сведений и актов в примечаниях к своей истории, занимающих половину его книги. Это — главная его заслуга»[2]. «В его время, — поясняет Фонвизин,— многое ныне обнародованное валялось еще в архивах и монастырях, покрытое вековою пылью, и вовсе было неизвестно занимающимся нашею историей и древностями»[3].

Эта бесспорная заслуга историографа, повторяем, не могла бы сама по себе объяснить высокую оценку, данную Пушкиным его труду. Оценку эту один из исследователей Пушкина объясняет следующим образом: «Пушкин мог написать эпиграмму на первые восемь томов («Истории» Карамзина. — *И. Ф.*), но IX том с яркими картинами тиранства Иоанна IV, но X и XI томы с изображением «смутного времени», дававшие декабристам богатейший материал применений к современной им политической действительности, вносили существенные коррективы» в этот тенденциозный труд[4]. Пушкинская оценка объясняется здесь, как видим, впечатлением, которое произвели на поэта — и на читателей-декабристов — последние тома «Истории» Карамзина.

В самом деле, вспоминая о впечатлении, произведенном появлением IX тома ее, декабрист Лорер передает: говорили, что

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 16.

[2] Общественные движения в России в первую половину XIX века, т. I, СПб., 1905, с. 83.

[3] Там же, с. 100.

[4] Н. Бродский. Пушкин. М., 1937, с. 454.

в те дни была «в Петербурге оттого только такая пустота на улицах, что все углублены в царствование Иоанна Грозного»[1]. «В своем уединении, — писал в 1821 году Рылеев, — прочел я девятый том Русской истории... Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»[2].

«...Девятый том Истории государства Российского, смелыми, резкими чертами изобразивший все ужасы неограниченного самовластия и одного из великих царей открыто наименовавший тираном», писал декабрист Штейнгель, «феномен небывалый в России»[3]. Изображение царствования Ивана IV, данное Карамзиным и так восхищавшее Рылеева и некоторых других декабристов, едва ли могло, однако, удовлетворить Пушкина.

О последних двух томах «Истории» Карамзина Пушкин заметил: «Это злободневно, как свежая газета»[4]. Но нет надобности доказывать, что Пушкин, автор «Бориса Годунова», смотрел на историю России иначе, чем Карамзин.

«Читая его труд, — сказал Пушкин о Карамзине Ермолову, — я был поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное». В другой записи, передающей со слов Ермолова это суждение Пушкина, слова поэта о Карамзине звучат еще резче: «Говоря о зверствах Иоанна Грозного, — заметил Пушкин, — он так ужасается, так удивляется, как будто такие дела и поныне не составляют самого обыкновенного занятия наших царей»[5].

В «Истории» Карамзина Пушкина привлекало то, что «он, — по словам поэта, — везде ссылался на источники»[6], а «верный рассказ событий», по мнению Пушкина, «красноречиво опровергал» сопровождающие его «размышления» Карамзина «в пользу самодержавия». Выступая в своих «Записках», сожженных после 14 декабря, как противник самодержавия, Пушкин считал, таким образом (был ли он прав в этом — вопрос другой), что «История» Карамзина не только открывала читателям «древнюю Россию», «дотоле им неизвестную», но и — вопреки политической тенденции историографа — свидетельствовала языком событий против исторической необходимости сохранения самодержавия в России.

---

[1] Записки декабриста Н. И. Лорера. М., 1931, с. 67.

[2] К. Ф. Рылеев. Полн. собр. соч. Л., «Academia», 1934, с. 450. Письмо от 20 июля 1821 г.

[3] Из писем и показаний декабристов, ред. А. Бороздина, СПБ., 1906, с. 67.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., в 10-ти т., т. X, с. 173 и (перевод) с. 780.

[5] См.: Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные. Лондон — Брюссель, 1863, с. 34; Г. Шторм. Новое о Пушкине и Карамзине, — «Известия АН СССР. Отд-ние литературы и языка», т. XIX, вып. 2, 1960, с. 147.

[6] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 68.

ОТРЫВОК «№ 1»

До нас дошел переписанный Пушкиным набело отрывок, датированный 2 августа 1822 года. Этот отрывок в рукописи не озаглавлен. Дата и оканчивающий последнюю страницу его пушкинский росчерк подчеркивают цельность отрывка, представляющего собой в то же время часть более обширного целого, поскольку над отрывком этим рукой Пушкина поставлено: «№ 1». Помета «№ 1» заставляет предполагать, что продолжением его должен был явиться отрывок № 2 (а может быть, и дальнейшие, следующие по порядку номеров отрывки).

Дошедший до нас отрывок «№ 1» печатается в собраниях сочинений Пушкина под названием «Заметки по русской истории XVIII века», данным ему редакторами. В «Путеводителе по Пушкину» эти страницы названы даже «отрывочными заметками Пушкина по поводу прочитанного и передуманного». А между тем страницы эти являются тщательно обработанным и переписанным набело уцелевшим отрывком «Записок» Пушкина. Это казалось очевидным при первых публикациях данного отрывка: в «Библиографических записках», где он сто лет назад впервые увидел свет, эти страницы Пушкина названы были «отрывком, сохранившимся из его прежних (то есть сожженных. — *И. Ф.*) записок, в котором «Пушкин бегло излагает свой взгляд на царствования преемников Петра I»[1]. Публикуя в 1880 году этот отрывок в более полном виде, П. А. Ефремов писал: мы «печатаем здесь собственноручную рукопись А. С. Пушкина, не имевшую заглавия, но, очевидно, составляющую отрывок из его записок...»[2]. Впоследствии, однако, понимание действительного характера этого отрывка было утрачено, и вопрос о том, частью какого произведения Пушкина он является, даже не ставился.

Страницы, о которых мы говорим, не получили в годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря, известности, какую приобрели широко распространявшиеся декабристами стихи поэта; в отличие от стихов Пушкина они не распространялись в списках; их не знал Белинский; не оценены по достоинству они и поныне, и это связано в значительной степени с тем, что они печатаются под не отвечающим содержанию и литературной форме их ошибочным заголовком.

Так называемые «Замечания» Пушкина «не являются в собственном смысле историческими, — признает Б. Томашевский, — они обосновывают политическое мировоззрение фактами ближайшей истории России»[3].

Страницы Пушкина, о которых мы говорим, охватывают

---

[1] «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 130—131.
[2] «Русская старина», 1880, декабрь, с. 1043.
[3] А. С. Пушкин. Соч. Л., 1937, с. 940.

«императорский» период русской истории, начиная с Петра I. В конце отрывка появляется Павел I, и речь идет уже, как увидим, об Александре I, воцарившемся после убийства Павла. Нетрудно догадаться, что содержанием последующих страниц должен был являться очерк царствования — и характеристика — Александра I. Так оно, постараемся показать, и было в действительности. Отрывок «№ 1» являлся началом: продолжением его был отрывок (который мы можем условно назвать отрывком «№ 2»), использованный частично Пушкиным в его позднейшей записке «О народном воспитании» и касающийся царствования Александра I.

Перед нами вовсе не «Заметки по русской истории XVIII века», как ошибочно называют обычно рассматриваемый нами отрывок. Дело не только в том, что в отрывке этом Пушкин касается самых острых политических вопросов современности и явно прибегает в данном случае к рассмотрению недавнего прошлого с целью дать ответ на сегодняшние, еще не решенные исторические вопросы. Дело в том также, что страницы, о которых мы говорим, никак нельзя признать «замечаниями» или «заметками». Подчеркивая это, мы спорим не о словах, а стремимся выяснить действительный характер блестящих страниц пушкинской прозы, по недоразумению только именуемых до сих пор заметками.

«Все, что является портретом или картиной, сделано блестяще, величественно», — писал Пушкин в 1831 году Чаадаеву, критикуя одно из его «философических писем»[1].

Это свидетельствует о значении, какое придавал поэт искусству историка, способного не только излагать события и анализировать прошлое, но и воссоздать его. Если цель пушкинского отрывка, именуемого «Заметками по русской истории XVIII века», — показать необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права, то средством, к которому Пушкин прибегает здесь для достижения своей цели, является, как увидим, не только исторический анализ, но и создание резких исторических портретов Петра I, Екатерины II и их преемников. Вместе с тем Пушкин блестяще анализирует прошлое, стремясь в немногих строках развернуть картину исторического состояния России в «императорский», «петербургский» период ее истории.

«По смерти Петра I, — пишет он, — движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки; воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ, упорным постоянством удержал бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 834.

бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались; иностранцы, в то время столь нужные, пользовались прежними правами; схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали нередко появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностию подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось ненарочно, между тем как азиатское невежество обитало при дворе». «Доказательства тому, — поясняет Пушкин, — царствование безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елисаветы»[1].



Автопортрет. 1823 г.

Для того чтобы увидеть, как близка эта проза Пушкина к его — ближайшей по времени создания — художественной исторической прозе, достаточно сравнить приведенные только что строки «Записок» поэта со страницами «Арапа Петра Великого», на которых Пушкин рисует (ссылаясь на свидетельство исторических записок того времени) эпоху Регентства, то есть воссоздает историческую картину из жизни Франции XVIII столетия, картину очень близкую по времени той, которую Пушкин изобразил в своих так называемых «Заметках по русской истории XVIII века».

«По свидетельству всех исторических записок, — читаем мы в «Арапе Петра Великого», — ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен... алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и рассеянности; име-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., в 10-ти т., т. VIII, с. 121—122.

ния исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей».

Близость сравниваемых нами отрывков пушкинской прозы, если говорить о характере и стиле ее, не вызывает сомнения.

Что касается настойчивой работы Пушкина над содержанием и формой мнимых «Заметок по русской истории XVIII века», с полной очевидностью показывающей процесс создания этих страниц пушкинской прозы, то о ней ясно свидетельствуют черновики их, часть которых Пушкин сохранил, уничтожая свои «Записки». К черновым вариантам, относящимся к рассматриваемому нами отрывку, мы должны будем поэтому вскоре вернуться.

«Ничто так не озарило ума моего, — писал декабрист Штейнгель, — как прилежное чтение истории с размышлением и соображением... Сто лет от Петра Великого до Александра I столько содержат в себе поучительных событий к утверждению в том, что называется свободомыслием!»[1] Этому именно столетию, точнее политическому обозрению его (с целью указать на события прошлого, служащие «утверждению в том, что называется свободомыслием»), и посвящены рассматриваемые нами страницы «Записок» Пушкина. Характерно, что в «Записках» декабриста Александра Поджио также есть ряд страниц, обосновывающих обзором исторического прошлого современные политические требования. «К чему, скажите, еще возвращаться к... прошедшему...» — спрашивает он. И отвечает, что принужден сделать это с целью подвергнуть «разбору самую державную власть» (самодержавие. — *И. Ф.*), хотя и не станет «разыскивать зарождения начала и всего исторического хода этой власти»[2]. «История должна (то есть нужна. — *И. Ф.*) не только для любопытства или умозрений, — писал Лунин в своем «Розыске историческом», — но путеводит нас в высокой области политики»[3]. Все это, кажется, достаточно объясняет нам, почему страницы, именуемые «Заметками по русской истории XVIII века», входили в состав сожженных «Записок» Пушкина[4].

---

[1] В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, с. 219.

[2] А. В. Поджио. Записки. — В кн.: Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. М., 1931, с. 81 и 82.

[3] М. С. Лунин. Сочинения и письма. Пг., 1923, с. 82.

[4] Этот вывод был обоснован нами в исследовании «О «Записках» Пушкина» («Вестник Академии наук СССР», 1953, № 5). В работе «Историзм Пушкина», напечатанной в 1954 г. в «Ученых записках Ленингр. гос. ун-та» (серия филол. наук, вып. 20), Б. В. Томашевский пришел к тому же выводу. Некоторые, близкие к высказанным нами в упомянутом исследовании положения, касающиеся рассматриваемого пушкинского отрывка, содержатся, как можно с удовлетворением отметить, и в вышедшем позднее труде Б. В. Томашевского «Пушкин» (М.—Л., 1956. Кн. 1-я (гл. III, разд. 29.)

«Петр I, — пишет в них Пушкин, — не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения...» (в отличие от Александра I, конечно, которого постоянно сравнивали с Петром Великим писатели-льстецы). Петр I назван здесь Пушкиным — в отличие от его «ничтожных наследников», как мы уже говорили, — «сильным человеком», «исполином», но вместе с тем Пушкин пишет о нем: «История представляет около его всеобщее рабство... все состояния, окованные без разбора, были равны пред его *дубинкою*»[1]. Пушкин отдает должное всему, что «приносит великую честь необыкновенной душе самовластного государя». Но сохранение «деспотизма», то есть самодержавного образа правления, не может быть, по мысли Пушкина, оправдано какими бы то ни было личными достоинствами царствующего государя.

Вслед за характеристикой личности и исторической деятельности Петра I Пушкин резкими чертами — и притом гораздо более развернуто — изображает Екатерину II.

«Царствование Екатерины II, — пишет он, — имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в сем отношении Екатерина заслуживает удивление потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве...

...Екатерина, — говорит Пушкин, — уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением; Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского («домашний палач кроткой Екатерины», — поясняет Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фонвизин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность»[2].

Последние строки показывают, насколько важным было

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 122.
[2] Там же, с. 123—125.

в глазах Пушкина политическое значение русской литературы. Перед нами, как видим, не «заметки», а резкий сатирический портрет Екатерины, которую Пушкин называет в заключение «Тартюфом в юбке и в короне»[1].

«Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою», — замечает Пушкин в конце отрывка. «Царствование Павла, — говорит он, — доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции»[2].

«Шутка», о которой вспоминает Пушкин, — слова, сказанные названной им писательницей Александру I: «Государь, ваш характер является конституцией для вашей империи, а ваша совесть служит гарантией ее». — «Если бы это и было так, — сказал в ответ Александр I, — я не был бы ничем иным, как счастливою случайностью»[3].

Споря в своих «Записках» с «русскими защитниками самовластия», Пушкин не склонен был, как видим, соглашаться с тем, чтобы конституция заменялась в России хорошим характером царствующего императора. Можно добавить, что к 1822 году, когда Пушкин писал эти строки, с полной очевидностью выяснилось, чего стоила на деле «гарантия» законности, представляемая совестью Александра I.

Не соглашался Пушкин также с тем, что, если на престол снова взойдет самодержец, подобный Павлу I, не существующую в России конституцию можно будет с успехом заменить «удавкой», то есть дворцовым переворотом и тайным убийством царя.

Декабристы с негодованием отвергали «серальный» — то есть дворцовый — переворот. Но некоторые члены Союза благоденствия, писал впоследствии декабрист Фонвизин в своих записках, «припоминая случаи русской истории, что императоры не раз умирали насильственной смертью (Петр III, Павел), называли такие примеры радикальными средствами преобразования России»[4]. Лунин, как известно, еще в 1817 году выступил с предложением убить Александра I (о чем Пушкин вспоминал позднее, в десятой главе «Онегина»). В этой связи становится понятным, насколько актуально было замечание Пушкина, относящееся в черновике рассматриваемого нами отрывка его «Записок» как будто только к Петру I: «Мы видим заговоры противу жизни государя, но не противу его

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 127.

[2] Там же.

[3] См.: Б. Томашевский. Заметки о Пушкине. — В кн.: Пушкин и его современники. Пг., 1923, вып. XXXVI, с. 86.

[4] Михаил Фонвизин. Обозрение проявлений политической жизни в России. — В кн.: Общественные движения в России в первую половину XIX века, т. I. СПб., 1905, с. 190.

власти»[1]. Пушкин — автор «Кинжала» — не отождествлял, конечно, дворцового переворота (и «удавки», являющейся обычным орудием его) с казнью Александра I, о необходимости которой вели между собой споры декабристы. Но считал нужным прежде всего ограничить «власть государя», не признавая, в отличие от некоторых декабристов, убийство его «радикальным средством преобразования России».

Вторым важнейшим вопросом, рассматриваемым в том же отрывке «Записок» Пушкина, является вопрос об освобождении крестьян и о «состоянии» русского дворянства. «Мы видели, — замечает он, дав очерк царствования Екатерины II, — каким образом Екатерина унизила дух дворянства». И говорит далее: «Отселе» произошло «совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа»[2]. Таким образом, Пушкин стремится исторически объяснить в своих записках «состояние» и «дух» современного ему дворянства.

Особо рассматривает он попытки «аристократии» ограничить самодержавие. Если б «неудачное борение аристократии с деспотизмом»[3] (то есть самодержавием. — *И. Ф.*) после смерти Петра окончилось ее победой, утверждает Пушкин, «владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния... Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство, нынче же политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян...»[4].

Следует подчеркнуть близость тогдашних взглядов Пушкина на роль аристократии со взглядами Пестеля (с которым поэт провел утро 9 апреля 1821 года и имел «разговор метафизический, политический, нравственный и проч.»). Я «обратил также мысли и внимание на положение народа, — сказал Пестель на следствии, — причем рабство крестьян всегда сильно на меня действовало, а равно и большие преимущества аристократии, которую я считал, так сказать, стеною, между монархом и народом стоящею...»[5]. Близость тогдашних взглядов Пушкина со взглядом Пестеля на роль современной «аристократии» не вызывает сомнений.

Так же как Пушкин, желавший уничтожения крепостного права без «страшного потрясения», Пестель надеялся уничтожить крепостное право без «ужасных происшествий, бывших во Франции во время революции»[6]. Характеристика политической действительности в рассматриваемом нами отрывке дана

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 289.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 124, 125.
[3] Там же, с. 123.
[4] Там же, с. 122—123.
[5] Восстание декабристов, т. IV. М.—Л., 1927, с. 90.
[6] Там же.

Пушкиным, как верно заметил Д. Благой, в радищевских тонах, но — и эта черта отделяет Пушкина от Радищева — поэт ставит задачу уничтожения крепостного права без «бунта от мужиков» — «в духе декабристов»[1]. В этом важнейшем вопросе взгляды Пушкина и Пестеля были также близки между собой.

Пушкин считал, как мы только что говорили, что «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян» и «желание лучшего соединяет все состояния против общего зла». Здесь нельзя не вспомнить слова Николая Тургенева, который писал: «Когда я замечал в людях, с которыми говорил, желание политической свободы без освобождения класса крепостных, то негодование овладевало мною...»[2]. С годами Пушкин, как известно, отказался от мысли о возможности осуществить в условиях самодержавно-крепостнической России 20—30-х годов освобождение крестьян путем «мирного единодушия», на которое надеялся в 1822 году.

В Кишиневе, где был написан Пушкиным в 1822 году рассматриваемый нами отрывок «Записок», поэт тесно общался с «первым декабристом» Владимиром Раевским. До нас дошли написанные последним блестящие страницы политической прозы — рассуждение «О рабстве крестьян». «Несмотря на незаконченность рассуждения, — замечает опубликовавший его впервые полностью В. Базанов, — оно уже имело хождение, и, может быть, Пушкин был одним из первых его читателей»[3]. Последнее предположение является более чем вероятным.

«Александр в речи своей к полякам, — писал Владимир Раевский, — обещал дать конституцию народу русскому. Он медлит, и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры...

...Дворянство русское, погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии, не требует перемен, с ужасом смотрит на необходимость потерять тираническое владычество над несчастными поселянами. Граждане! Тут не слабые меры нужны, но решительный и внезапный удар!»[4]

Рассматриваемый нами отрывок «Записок» Пушкина отнюдь не во всем совпадает по мысли с «Рассуждением» Владимира Раевского. Но отрывок Пушкина, как и «Рассуждение», представляет собой дошедший до нас образец декабристской прозы и свидетельствует о гениальных возможностях боевой художественно-политической прозы Пушкина.

«Он, — пишет в своих воспоминаниях Пущин, — всегда согласно со мною мыслил о деле общем (res publica), по-своему проповедовал в нашем смысле — и изустно, и письменно, стихами и прозой»[5]. Строки эти принадлежат ближайшему

---

[1] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина. М.—Л., 1950, с. 290.
[2] Н. И. Тургенев. Россия и русские, т. I. М., 1915, с. 80.
[3] В. В. Базанов. Владимир Федосеевич Раевский. М.—Л., 1949, с. 119.
[4] Там же, с. 109.
[5] Записки И. И. Пущина о Пушкине. СПб., 1907, с. 45.

другу поэта, не бросавшему слов на ветер и всегда точному в своих воспоминаниях о нем. Декабристская проза Пушкина почти не дошла до нас — большая часть страниц ее погибла вместе с «Записками», сожженными поэтом после 14 декабря. Важнейшим из сохранившихся отрывков ее мы должны признать страницы «Записок» поэта, печатающиеся под видом его «Заметок по русской истории XVIII века».



В. Ф. Раевский.
Рисунок Пушкина 1822 г.

Беловой, окончательный текст этого отрывка известен в печати давно благодаря тому, что текст его сохранился случайно в бумагах Н. С. Алексеева, кишиневского приятеля поэта, которому Пушкин дал переписать его задолго до того, как принужден был уничтожить свой запретный труд.

Но, после того как текст был опубликован (вначале, разумеется, с большими цензурными купюрами), в печати стали появляться — сперва в очень неполном и неточном виде — черновые варианты к нему, сохранившиеся, как оказывается, в известной Кишиневской тетради поэта (где содержатся текст поэмы «Кавказский пленник» и черновики некоторых других произведений Пушкина)[1].

Между листами этой тетради, перенумерованными после смерти поэта красными жандармскими чернилами, можно заметить корешки вырванных и уничтоженных самим Пушкиным страниц. После разгрома восстания 14 декабря Пушкин, сжегши беловую рукопись своих «Записок», «не пожалел, — как было упомянуто, — и черновых листов». Так поступил он со своей Кишиневской тетрадью, куда входил черновик рассматриваемого нами отрывка пушкинских «Записок», в котором истори-

[1] Рассматриваемая тетрадь хранится в Архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 831.



И. И. Пущин.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

чески обосновывалась необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права.

Вырывая из тетради черновик отрывка, Пушкин уничтожил, однако, этот свой черновик не полностью, сохранив в тетради те страницы его, которыми особенно дорожил. В тетради поэта уцелели, оказывается, три такие страницы: одна содержит варианты, характеризующие Петра I; две другие пощаженные поэтом страницы вносят некоторые новые штрихи в характеристику, данную Пушкиным Екатерине II[1]. Страницы эти также подтверждают, что Пушкин, сжигая свои «Записки», сохранил некоторые отрывки их.

В числе черновых вариантов, относящихся к характеристике Екатерины II и ее царствования, обращает на себя внимание слово «*тиранство*», отсутствующее в окончательном беловом тексте рассматриваемого отрывка. Зачеркнутое Пушкиным в посвященном Екатерине черновике слово *«войско»* (там, где он вспоминает «народ, угнетенный ее наместниками, казну, расхищенную [любимцами] любовниками, войско» и проч.)

[1] Последние две страницы были опубликованы нами в статье «Неизданный черновик Пушкина» («Вестник Академии наук СССР», 1956, № 3).

дает, судя по контексту, основание предполагать, что Пушкин первоначально имел в виду упомянуть здесь о вопиющих недостатках, обнаружившихся к концу царствования Екатерины в обращении с солдатами и в управлении и обеспечении русской армии.

Критикуя влияние царствования Екатерины на «политическое и нравственное состояние России» и говоря о «важных ошибках ее в политической экономии», Пушкин не только с возмущением вспоминает о том, что Екатерина, уничтожив — на словах — звание «раб», щедро дарила своим фаворитам государственные поместья и закрепостила вольную Малороссию. Подчеркнув, что Екатерина вместе с государственными поместьями дарила приписанных к ним «свободных хлебопашцев», превращая в помещичью собственность государственных крестьян, Пушкин считает нужным указать и число их. В черновике он заметил, что Екатерина раздарила около 200 тысяч свободных хлебопашцев. Но затем, уточнив, указал в беловом, окончательном тексте, что Екатерина «раздарила около миллиона государственных крестьян»[1].

Это заслуживает внимания не потому только, что Пушкин проявил здесь стремление к исторической точности, но и потому, что окончательно установленная им цифра свидетельствует о несомненной осведомленности его. Говоря об усилении крепостного права в царствование Екатерины II, В. О. Ключевский позднее отметил, что «количество приведенных в известность крепостных, розданных в течение этого царствования в частное владение, простиралось до 400 тысяч ревизских душ, т. е. почти до миллиона действительных душ»[2]. Эту же цифру — «около миллиона» — назвал в своем окончательном тексте и Пушкин.

В беловом, приведенном нами ранее тексте отрывка мы читаем: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шешковского в темницу, где и находился до самой ее смерти»[3]. В своем примечании Пушкин назвал Шешковского «домашним палачом кроткой Екатерины». В черновых вариантах на листе 67 Кишиневской тетради сохранились, кроме того, оказывается, выразительные эпитеты, характеризующие Новикова и Шешковского; Новикова Пушкин назвал здесь «почтенным», а Шешковского — «кровавым»; «почтенный Новиков», — говорит он здесь, — «из рук кровавого Шешковского перешел во мрак темницы».

«Княжнин умер под розгами», — пишет Пушкин и в черновом и в окончательном тексте отрывка, повторяя предание о том, что Княжнин умер под пыткой в Тайной экспедиции.

В сохранившемся черновике Пушкина на листе 67 можно прочесть, кроме того, зачеркнутую, но чрезвычайно инте-

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 16.
[2] В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V, Пг., 1921, с. 94.
[3] Пушкин. Полн собр соч. в 16-ти т., т. XI, с. 16.

ресную по содержанию строку, обличающую лицемерие Екатерины: *«Знаю, что Кандид и Белый бык были напечатаны...»*

Эта недописанная и зачеркнутая Пушкиным фраза связана с тем, что названные повести Вольтера были опубликованы в России под покровительством самой Екатерины. Известно, что по желанию императрицы в 1768 году была учреждена «Комиссия для печатания на русском языке хороших иностранных книг», наметившая к изданию сочинения Вольтера. Его прославленный «Кандид» вышел в Петербурге в следующем, 1769 году[1]. «Белый бык» — вторая из названных Пушкиным философских повестей Вольтера — также была переведена и издана в России при ближайшем участии самой Екатерины[2].

В черновике своих «записок» Пушкин саркастически напоминает об этом. Ибо Княжнин, по его словам, умер под розгами в Тайной канцелярии, которая «процветала под... патриархальным правлением» той самой Екатерины, под высочайшим покровительством которой был издан в России «Кандид». Между тем как раз в этой своей повести Вольтер рассказывает о том, «как Кандид был высечен». Здесь именно, вспомнив любимую сентенцию своего учителя Панглоса об «этом лучшем из миров», только что высеченный Кандид, «испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий», произносит свою знаменитую фразу: «Если это лучший из возможных миров, то каковы другие?»[3] Эти известные слова Кандида, как и плачевная участь его, не могли не вспомниться читателям, которым Пушкин адресовал свои бичующие Екатерину строки.

Но заслуживает внимания и другое. В этом месте своего черновика Пушкин обращается к читателю от первого лица: «Знаю, что Кандид...» и т. д. Предание о том, что Княжнин «умер под розгами» в Тайной экспедиции, где он был в самом деле допрошен Шешковским, остается исторически не подтвержденным. Но Пушкин недаром дважды повторяет его в своем черновике и, не сомневаясь, по-видимому, в истинности его, сохраняет в окончательном тексте отрывка.

Эти строки Пушкин писал, вспоминая о собственной политической судьбе, повторявшей судьбу его предшественников. «Радищев, — замечает он здесь, — был сослан в Сибирь». В Сибирь грозил, как известно, сослать Пушкина и «достойный внук Екатерины» (свой «Воображаемый разговор с Александром I»

[1] Позднее «Кандид» дважды переиздавался в царствование Екатерины II. (См.: Д. Д. Языков. Вольтер в русской литературе. М., 1902, с. 6 и 14).

[2] «Белый бык» вышел впервые в русском переводе в 1779 г., как вспоминал в свое время М. М. Дмитриев. (См. его «Мелочи из запаса моей памяти», изд. 2-е. М., 1869, с. 49).

[3] Вольтер. Философские повести. М., 1954, с. 111—112.

Пушкин закончил, мы знаем, тем, что царь ссылает его в Сибирь).

Повторяя, что во времена Екатерины «Княжнин умер под розгами», Пушкин не мог не вспоминать распространявшийся его врагами слух, будто сам он также был «высечен» в Тайной канцелярии. «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространились сплетни, будто я был отвезен в Тайную канцелярию и высечен», — писал Пушкин из михайловской ссылки в 1825 году в своем неотправленном письме к Александру I. «До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении. Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой, или убить В.»[1], — писал далее Пушкин, признаваясь, что у него возникла в это время мысль о цареубийстве. Вот отчего с такой настойчивостью Пушкин возвращался в черновике своих «Записок» к судьбе Княжнина, повторяя глухое предание о том, что писатель этот «умер под розгами». В рассмотренном нами отрывке «№ 1», предназначавшемся, как мы убеждаемся, для Автобиографических записок поэта, Пушкин с необыкновенной смелостью обличал самодержавие, его отношение к литературе и русским писателям.

ОТРЫВОК «№ 2»

Пушкинская записка «О народном воспитании» — документ необычного назначения. Записка эта явилась письменным продолжением разговора, который состоялся в том же 1826 году между царем и вызванным им из ссылки поэтом.

Свой «Воображаемый разговор с Александром I» Пушкин написал в михайловской ссылке. Александр в «Разговоре» этом говорит Пушкину: «Признайтесь, вы всегда надеялись на мое великодушие?» А заканчивался «Воображаемый разговор» неожиданно: «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, — замечал в конце «Разговора» царь, — я бы рассердился и сослал его в Сибирь...»[2]

После казни декабристов между поэтом и новым царем состоялся действительный, а не только воображаемый разговор. Разговор этот окончился для Пушкина не Сибирью, а помилованием. Но хотя Николай сказал в этот день приближенным, что он «нынче долго говорил с умнейшим человеком в России», пояснив, что имеет в виду Пушкина, он добавил все же, что с поэтом «нельзя быть милостивым»[3]. Это замечание вызвано было, конечно, независимым поведением Пушкина во время данной ему аудиенции.

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 784.
[2] Там же. т. VII, с. 71.
[3] См.: «Русский архив», 1865, с. 96, и «Русская старина», 1874, № 8, с. 691.

В своей записке «О народном воспитании» Пушкин воспользовался предоставленной ему возможностью продолжить письменно разговор с царем и высказать ему многое из того, что не мог высказать в печати. С той же смелостью несколько лет спустя Пушкин послал царю «замечания», которые не могли, по словам поэта, войти в «Историю Пугачева». И в числе их послал важнейшее обобщение, опубликовать которое в печати было тогда, конечно, немыслимо. В этом своем «замечании» Пушкин писал царю: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства»[1].

Так же смело писали из крепости Николаю в 1826 году некоторые декабристы, несмотря на то что их ждала петля или каторга. В своих письмах из крепости они высказали новому царю очень многое из того, о чем говорили и писали, подготавливая вооруженное восстание против самодержавия.

Смысл этих обращений исторически понятен. Революции, совершаемой народом, декабристы страшились. Но революция без участия народа — вооруженное восстание, начатое 14 декабря, когда декабристы вывели на Сенатскую площадь только преданные и сочувствующие им войсковые части, — не удалась; сами они — вожди разгромленного восстания — были обречены на гибель.

Но вот перед ними неожиданно блеснула как будто новая надежда — надежда на «революцию сверху», которую обещает и может будто бы совершить новый царь, подобно тому как совершил, по представлению многих декабристов (и Пушкина), «революцию сверху» Петр I. В этом смысл так странно звучащих для нас теперь слов, которыми окончил Александр Бестужев написанное им в крепости письмо Николаю I: «Я уверен, что небо даровало в Вас другого Петра Великого...»[2]. В этом же, как указывают исследователи Пушкина, заключался смысл обращенных к новому царю «Стансов» поэта:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дел Петра
Мрачили мятежи и казни.

Стихотворение это — не что иное, как поэтически выраженная программа деятельности, обращенная к новому Петру, — им и должен был стать Николай I.

«Так обольстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли, — писал Герцен, — этот рассказ, когда Николай I призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненави-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 357.
[2] Из писем и показаний декабристов. Сб. под ред. А. Бороздина. СПб., 1906, с. 44.

дишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал. Но, верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться»[1].

Потребовалось, как известно, не так уж много времени для того, чтобы понять, чем кончились надежды, которые возбудил новый царь. 21 мая 1834 года Пушкин записал в дневнике: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»[2].

Но чтобы понять это, понадобилось все-таки несколько лет. Тогда же, в 1826 году, декабристы, в надежде на реформы, обещанные царем, стремились высказать ему в своих письмах из крепости все, что могло бы, на их взгляд, помочь новому царю совершить необходимое преобразование России.

В письмах этих дан резкий критический очерк состояния, в которое страна приведена была Александром I и его предшественниками. В этих письмах дается характеристика только что закончившегося царствования и объяснение причин возникновения — и «исторического хода» — «свободомыслия в России». Некоторые из таких «писем» представляют собой не только интереснейшие политические трактаты; так же как совпадающие с ними по своему содержанию и характеру главы записок (мемуаров) Якушкина и А. Муравьева (в той части, где последний использовал записки своего брата Никиты Муравьева); эти письма из крепости являются выдающимися по своим художественным достоинствам очерками истории своего времени. Они являются вместе с тем высокими образцами той декабристской прозы, которую мы вправе с полным основанием назвать русской художественно-политической прозой 20-х годов. Таково в первую очередь письмо из крепости Александра Бестужева и — едва ли не в большей еще степени — известное письмо Каховского, обращенное к царю.

Выдающимся образцом такого рода публицистической прозы является и адресованная царю пушкинская записка «О народном воспитании». В связи со сказанным понятным становится, почему Пушкин, объясняя в ней причины «последних происшествий», то есть восстания 14 декабря, использовал в первой (исторической) части этого предназначавшегося для царя документа сохраненный отрывок сожженных годом раньше «Записок». Неожиданное, на первый взгляд, использование их Пушкиным при обращении к царю оказывается, таким образом, исторически объяснимым и потому естественным и понятным.

«Сорок вопросительных и один восклицательный знак, поставленный Николаем I на полях пушкинской записки, — замечает один из исследователей ее, — достаточно красноречиво

[1] «Колокол», 1860, 1 марта, л. 64, с. 534.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 52 и 562.

свидетельствовали о недовольстве представленным ему документом». «Буквально по всем пунктам своей записки Пушкин пошел вразрез с внутренней политикой царского правительства», — указывает тот же исследователь. «Характеристики Пушкина злы и выразительны, — отмечает он. — И можно лишь поражаться тому, как долго игнорировались большинством наших исследователей эти, столь реалистические, полные острой иронии и бичующего сарказма зарисовки различных сторон николаевской России»[1].

Резкость этих пушкинских зарисовок связана с происхождением их: на страницы адресованной царю записки «О народном воспитании» они попали, как постараемся показать, из запретных «Записок» поэта. Об этом ясно свидетельствуют ссылки, сделанные Пушкиным в черновиках записки «О народном воспитании».

В первой из этих ссылок Пушкин отмечает: *«Любопытно видеть* etc *— из записок...»*[2]

Вторая ссылка Пушкина гласит: *«Александр (из записок)»*[3].

В третьей указано — *«Патриархальное вос* [*питание*] *из записок»*[4].

Работая над запиской «О народном воспитании», Пушкин использовал в ней, как можно убедиться, уцелевший отрывок сожженных «Записок».

Черновики записки «О народном воспитании» изучались до сих пор с целью лучше понять и объяснить содержание этого адресованного Пушкиным царю документа. Что же касается содержащихся в них ссылок Пушкина на сохраненные им страницы сожженных «Записок», то значение этих ссылок оставалось нераскрытым и неоцененным. Между тем изучение их дает возможность установить, каким образом использовал Пушкин в своей записке «О народном воспитании» уцелевшие страницы уничтоженных им после 14 декабря «Записок». Постараемся поэтому выяснить, какие места их Пушкин использовал в документе, адресованном Николаю I, и составить себе представление о том, каково было содержание использованного им в этом документе отрывка сожженных «Записок».

Комментарий к записке «О народном воспитании», помещенный в Малом академическом издании сочинений Пушкина, указывает только, что в черновиках ее «имеются ссылки на «Записки». И поскольку комментируемая записка Пушкина называется запиской «О народном воспитании», комментатор предполагает, что, работая над ней, Пушкин, по-видимому...

---

[1] А. Цейтлин. Записка Пушкина «О народном воспитании», — «Литературный современник», 1937, № 1, с. 267, 278, 284, 287.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 311 (Курсив наш. — *И. Ф.*)

[3] Там же, с. 313 (Курсив наш. — *И. Ф.*).

[4] Там же, с. 314 (Курсив наш. — *И. Ф.*)

Страница черновика записки «О народном воспитании» (ноябрь 1826 г.), где Пушкин ссылается на свои будто бы целиком сожженные ранее «Записки». См. пометы Пушкина: вверху страницы (начало первой строки): *«Александр — из записки»* и — в середине страницы (строка 18-я): *«Патриархальное воспитание из записок».*

воспользовался своими записками, не дошедшими до нас в части, характеризующей русское домашнее воспитание»[1].

На самом же деле в черновиках записки «О народном воспитании» Пушкин трижды ссылается — это надо установить с полной ясностью — на сохраненные им при сожжении страницы своих Автобиографических записок. И использует их вовсе не только для характеристики «русского домашнего воспитания» (о котором говорит лишь одна из трех интересующих нас пушкинских ссылок). В адресованной царю записке Пушкин использовал прежде всего то место своих прежних «Записок», где он писал о перемене, совершившейся в русском обществе после войны 1812 года.

Пушкин ссылается далее на те строки этих «Записок», которые касались введенных Александром I экзаменов на чин. Поэт придавал этой мере важное значение, «ибо она, — по его словам, — нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив все новое поколение в военную службу»[2].

И только в третьей из своих ссылок Пушкин касается действительно вопроса о дворянском воспитании. Но при этом вовсе не ограничивается вопросом «о домашнем воспитании», а имеет в виду воспитание молодого дворянина, определявшее во многом дух современного поэту дворянства.

Таким образом, Пушкин, касаясь в черновиках записки «О народном воспитании» вопросов, о которых он писал до 14 декабря в Автобиографических записках, отмечал своими ссылками необходимость использовать сохранившиеся страницы последних для предпринятой им теперь новой работы. Мы должны поэтому выяснить, каким образом он использовал в ней страницы прежних «Записок».

Изучение черновиков и окончательного текста записки «О народном воспитании» показывает, что в двух случаях (там, где сделанные Пушкиным в черновиках ссылки упоминают о введенных Александром I экзаменах на чин и о «патриархальном воспитании») Пушкин включил затем в представленную царю записку предусмотренные этими ссылками места из своих прежних «Записок». В одном же случае Пушкин уже в самом черновике записки «О народном воспитании» обращается к прежним «Запискам», на которые он тут же ссылается; но при этом не просто включает соответствующие строки их в новую записку, а именно использует их для краткого, но картинного изображения перемены, совершившейся в русском обществе в годы, предшествовавшие восстанию 14 декабря.

Записка «О народном воспитании» начинается с выяснения причин «последних происшествий», то есть восстания 14 декаб-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 664.
[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 45.

ря. И затем идет упомянутая нами картина, изображающая перемену, которая произошла в молодом поколении за время, отделяющее канун 1812 года от кануна 1825 года. В пушкинской записке с самого начала говорится, что «политические изменения» (которые, написал Пушкин сначала, «были любимою мечтою молодого поколения») «вдруг сделались у нас, — пишет он в окончательном тексте, вспомнив, кому вынужден адресовать эти строки, — предметом замыслов и злонамеренных усилий».

Вслед за этим в черновике записки «О народном воспитании» Пушкин пишет: «Любопытно видеть etc — из записок...»[1] То есть любопытно видеть, каким образом произошли в русском обществе эти изменения. Для этого Пушкин и считает необходимым обратиться к истории недавнего времени, воссозданной в его прежних «Записках».

«Возвращаясь вспять, напрасно стали бы мы искать причины в нашем отечестве»[2], — пишет он вслед за тем в черновике своей новой записки, повторяя сначала как будто официальную формулу. И, отделив при помощи тире эту вынужденно включенную фразу (которую в дальнейшем опровергает резкой критикой состояния современной ему России), продолжает:

«15 лет тому назад (стало быть, в 1811 году, — то есть накануне войны 1812 года. — *И. Ф.*) литература (тогда столь свободная, впоследствии столь угнетенная) не имела никакого направления; воспитание ни в чем не отклонялось от первоначальных предначертаний». Последняя фраза могла быть, конечно, написана Пушкиным лишь в 1826 году при составлении записки «О народном воспитании».

«Молодые люди, — пишет он, — занимались военной службой и старались отличиться французскими стишками и шалостями» (в одном из вариантов было сказано: «занимались службой и женщинами»).

«10 лет после (то есть около 1821 года, — напомним, что в этом году Пушкин начал писать свою «Биографию». — *И. Ф.*) мы видели разговоры исключительно политические, революционные идеи (сначала Пушкин написал «либеральные идеи», потом зачеркнул — с тем чтоб снова написать в окончательном тексте — «либеральные идеи». — *И. Ф.*), бывшие дотоле люб[имым] [?] etc необходимым условием, вывеской модного человека; литературу, подавленную бесп[ощадной] цензурой,

[1] П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 311. Вопросительный знак, которым академическое издание сопровождает это место пушкинской рукописи, означает, что предположительно читается номер главы «Записок», на которую ссылается здесь Пушкин. Самая же ссылка (т. е. слова: «из записок») читается совершенно ясно, в чем нетрудно убедиться, обратившись к подлинной рукописи Пушкина, хранящейся в Архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР (№ 836, л. 46-об. — карандашная пагинация).

[2] П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 311—312.

превращенную в рукописные пасквили и возмутительные песни и тайные общества, заговоры и замыслы, кровавые или безумные etc»[1].

Исследователи записки «О народном воспитании» отмечают, что Пушкин принужден был пользоваться в ней, при обращении к царю, официальной фразеологией, цитируя и посвоему используя выражения манифеста 13 июля 1826 года. Но, соглашаясь, как может показаться на первый взгляд, с мыслями Николая I о «просвещении», Пушкин — верно замечает один из исследователей — вслед за тем «придает его мысли такую направленность, что она начинает звучать в совершенно противоположном духе!»[2]. Сказанное можно отнести и к объяснению, которое дает Пушкин в записке «О народном воспитании» развитию декабристских идей.

«Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел», — утверждал манифест. «Революционный дух, внесенный в Россию горстью людей, заразившихся в чужих краях новыми теориями... внушил нескольким злодеям и безумцам мечту о возможности революции, для которой, благодаря бога, в России нет данных», — заявил на шестой день после восстания Николай I, принимая дипломатических представителей[3].

«Ясно, что походам 1813 и 1814 года, пребыванию наших войск во Франции и в Германии должно приписать сие влияние на дух и нравы того поколения, коего несчастные представители погибли в наших глазах», — написал Пушкин в окончательном, близком к черновику тексте адресованной царю записки о воспитании[4]. Но, повторив сначала официальную формулу (и только в возможной мере смягчив ее), Пушкин дает далее собственное, не совпадающее с правительственным объяснение развитию в России «революционных идей». «Не одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для нашего отечества, — подчеркивает он, прибегая к официальной фразеологии, но поясняя при этом,— воспитание, или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть корень всякого зла»[5]. И затем, под видом критики укоренившейся системы дворянского воспитания, резкими чертами рисует внутренний строй современной ему России. Черты эти, данные в адресованной царю записке порознь, сливались, как нетрудно догадаться, в «Записках» Пушкина, откуда они были взяты им, в цельную картину.

«Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Петр I, того требовало тогдашнее состояние России», — пишет

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 312 (черновик).

[2] А. Цейтлин. Записка Пушкина «О народном воспитании». — «Литературный современник», 1937, № 1, с. 277.

[3] См.: Н. К. Шильдер. Император Николай I, его жизнь и царствование, т. I. СПб., изд. А. С. Суворина, 1903, с. 342.

[4] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 43.

[5] Там же.

Пушкин в черновике записки «О народном воспитании». И вслед за тем делает ссылку: «*Александр из записок*»[1], отмечая — как ясно показывают дальнейшие строки черновика — свое решение включить в окончательный текст адресованной царю записки то место из своих прежних «Записок», которое касалось введенных Александром I экзаменов на чин. В другом черновом наброске, относящемся к записке «О народном воспитании», Пушкин также пометил: «Экзамены суть мера ошибочная. Александр»[2]. В соответствии с этим в окончательном тексте записки «О народном воспитании» мы и находим строки, видимо почерпнутые Пушкиным из его прежних «Записок».

Сначала Пушкин в тоне, требуемом обращением к высокому адресату, пишет: «Покойный император, удостоверясь в ничтожестве ему предшествовавшего поколения, желал открыть дорогу просвещенному юношеству и задержать как-нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и невежестве». И затем, с резкостью, свойственной его сожженным «Запискам», продолжает: «Отселе указ об экзаменах, мера слишком демократическая и ошибочная, ибо она нанесла последний удар дворянскому просвещению и гражданской администрации, вытеснив все новое поколение в военную службу. А так как в России все продажно, то и экзамен сделался новой отраслию промышленности для профессоров. Он походит на плохую таможенную заставу, в которую старые инвалиды пропускают за деньги тех, которые не умели проехать стороною»[3]. Не только сделанная Пушкиным в черновике ссылка, но и стиль этих строк выдает их происхождение. Они взяты из прежних «Записок» поэта и лишь слегка отредактированы им.

Последняя из трех ссылок, сделанных Пушкиным в черновике записки «О народном воспитании», гласит: «*Патриархальное воспитание из записок*»[4]. Нет сомнения, что Пушкин включил предусмотренные этой ссылкой строки своих прежних «Записок» в текст записки «О народном воспитании». Вот эти, так ясно проступающие в тексте последней, выразительные строки:

«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры («одни примеры гнусного рабства», — сказано в черновике), своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 313.
[2] Там же, с. 314.
[3] Там же, с. 45.
[4] Там же, с. 314.

нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим лучше: здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника...»[1].

Вслед за этими резкими строками Пушкин вынужден был включить в записку «О народном воспитании» (против своего желания, как он дал понять вскоре одному из друзей[2]) следующую фразу: «Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное». Если мы отбросим эту вынужденно включенную фразу и вновь обратимся к рассмотрению текста записки «О народном воспитании», то обнаружим в ней строки, явно связанные и по смыслу и по своему происхождению с только что приведенными нами пушкинскими строками, которые кончаются словами:

«Воспитание в частных пансионах не многим лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника»[3]. «В других землях молодой человек кончает круг учения около 25 лет, — пишет Пушкин, явно продолжая ту же мысль, — у нас он торопится вступить как можно ранее в службу, ибо ему необходимо 30-ти лет быть полковником или коллежским советником. Он входит в свет безо всяких основательных познаний, без всяких положительных правил...»[4].

Достаточно прочесть подряд приведенные Пушкиным в разных абзацах записки о воспитании, но несомненно связанные между собой — и потому сопоставляемые нами — строки, и мы увидим, что в не дошедших до нас «Записках», откуда явно взяты Пушкиным эти строки, они должны были составлять, повидимому, один кусок.

Необходимо подчеркнуть важность вопросов, о которых говорят страницы «Записок», использованные им в записке «О народном воспитании». Первая из этих страниц, использованных поэтом в адресованной царю записке, касалась, как мы видели, развития в России революционных идей после 1812 года, то есть после победы над Наполеоном. Иногда приходится слышать мнение, что во времена Пушкина не проводилось еще границы между идеями либеральными и революционными. Черновик пушкинской записки «О народном воспитании» показывает, что Пушкин разграничивал их. Удивляться тому, что различие между идеями либеральными, то есть в тогдашнем значении слова — освободительными, и идеями революционными было ясно Пушкину, нет никаких оснований. Собеседник поэта Михаил Орлов писал 29 декабря 1825 года Николаю I в своей «Записке о тайных обществах» о том времени, когда члены Союза благоденствия находились «исключительно под влияни-

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 44.

[2] См.: А. Н. Вульф. Выдержки из дневника. Запись от 16 сентября 1827 г. — «Русская старина», 1899, март, с. 512.

[3] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 44.

[4] Там же.

ем либеральных идей» и когда «в их головах еще не было ни одной революционной идеи»[1].

Второе использованное Пушкиным место, взятое им из его прежних «Записок» и включенное в записку «О народном воспитании», касалось, как сказано, вопроса об уничтожении введенных Петром I чинов и уничтожении экзаменов на чин, установленных Александром I[2]. Меры, принятые Александром I по отношению к дворянству, Пушкин считал дальнейшим развитием мер, предпринятых по отношению к родовитому дворянству Петром I. Можно указать, что и декабрист Александр Поджио, посвящая в своих позднейших «Записках» ряд страниц обоснованию своих политических взглядов, заметил, что он не кончил еще счетов с Петром, так же как с Александром[3].

В третьем использованном Пушкиным месте, взятом им из его прежних «Записок», говорилось о воспитании молодого дворянина с такой резкостью, что, касаясь строк, посвященных Пушкиным в записке «О народном воспитании» «патриархальному воспитанию», один из исследователей заметил: «Это было повторение мыслей, высказанных в начале века Радищевым, утверждавшим, что все воспитание, получаемое дворянином, «с самого детства учит поступать самовластно», что питомец «благородного сословия» растет, «имея перед глазами своими непрестанно рабов, с которыми учится повелевать и раболепствовать, а не управлять и повиноваться»[4].

Глава «Записок» Пушкина, использованная им в адресованной царю записке «О народном воспитании», так же как соответствующие ей по содержанию главы записок Якушкина и Муравьева и «письма из крепости», посланные Николаю I Каховским и Александром Бестужевым, представляла собой резкий очерк царствования Александра и касалась причин, обусловивших развитие в эту пору в России освободительных и революционных идей. Изучение вопроса о «Записках» Пушкина в связи с записками декабристов проливает свет не только на судьбу, но и на содержание сожженных «Записок» поэта.

Если мы вспомним о судьбе «Русской Правды» и о судьбе «Конституции» Никиты Муравьева, то есть основных памятников декабристской политической литературы, если мы вспомним о судьбе сожженной десятой главы «Онегина», станет ясно, что удивлять нас должно не то, что Пушкин мог, точнее — должен был, сохранить, и сохранил действительно, отрывки своих

---

[1] См. «Красный архив», 1925, т. 6 (31), с. 160.

[2] Соглашаясь с тем, что в записке «О народном воспитании» Пушкин использовал свои прежние сожженные «Записки», Ю. Г. Оксман отмечает, что Пушкин использовал в ней также «Записку о Древней и Новой России», представленную Карамзиным Александру I (см.: А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 451).

[3] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I, М., 1931, с. 47.

[4] И. Сергиевский. А. С. Пушкин. М., 1950, с. 85.

сожженных «Записок». Удивительней, что до нас дошло от них немногое.

Сохранившийся и расшифрованный только в XX веке листок, на котором Пушкин зашифровал запретные строки сожженной им в 1830 году десятой главы «Онегина», не всегда был единственным — он является только единственным уцелевшим листком[1]. Несомненно, должны были существовать еще три-четыре таких же листка — утверждает С. Бонди. Не исключено поэтому, что недостающий листок или листки, содержащие остальные зашифрованные Пушкиным строки десятой главы «Онегина», могут еще отыскаться.

Можно высказать предположение, что и неизвестные нам, сохраненные при сожжении страницы пушкинских автобиографических «Записок» могут скрываться еще где-нибудь и потому могут быть еще обнаружены. Вспомним, что в записке «О народном воспитании» Пушкин ссылается на сохраненный им при сожжении отрывок своих «Записок», который остается нам неизвестным (если не считать тех мест его, какие Пушкин использовал в тексте своей записки «О народном воспитании»). Однако возможность обнаружения в дальнейшем совершенно неизвестных страниц сожженных «Записок», втайне сохраненных Пушкиным, является при настоящем состоянии наших знаний лишь предположением. Задача настоящего исследования другая — обнаружить в составе литературного наследства Пушкина дошедшие до нас, но неопознанные — в силу судьбы, постигшей этот труд, — страницы «Записок» поэта.

---

[1] На это указал уже П. О. Морозов. См. его статью «Шифрованное стихотворение Пушкина» (Пушкин и его современники, вып. XIII. СПб., 1910, с. 12).

О ПОДЛИННЫХ И МНИМЫХ АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ НАБРОСКАХ

«УЧАСТЬ МОЯ РЕШЕНА...»

Отрывки Автобиографических записок Пушкина можно обнаружить, как мы убедились, даже в тех томах его сочинений, где напечатаны стихотворные произведения поэта (к которым он приобщал такого рода отрывки под видом приложений). Не могли ли попасть отрывки Автобиографических записок — или по крайней мере автобиографической прозы поэта — в тот раздел его сочинений, где печатаются романы и повести Пушкина?

В свое время было сделано немало попыток «биографического истолкования» художественных произведений Пушкина. Попытки эти начались еще при жизни поэта и вызвали с его стороны обоснованные возражения («Как будто нам уж невозможно //Писать поэмы о другом,// Как только о себе самом», — заметил он в «Евгении Онегине»). Пушкин даже нарисовал себя рядом с Онегиным — на берегу Невы, — и гравюра, выполненная по этому рисунку, помещена была, по его желанию, в качестве иллюстрации к роману. Рисунок этот был для Пушкина средством отделить себя от героя в глазах читателя.

Но в томе романов и повестей Пушкина печатаются два отрывка, заслуживающие при изучении автобиографической прозы поэта особого внимания. Первый из них начинается словами: «Участь моя решена. Я женюсь». Эти «наброски носят автобиографический характер и связаны с помолвкой Пушкина 6 мая 1830 г.», — указывается в комментариях. «Подробности (например, визит к больному дяде — умиравшему В. Л. Пушкину, описание черт холостой жизни, мысли о поездке за границу и т. д.) совпадают с фактами жизни самого Пушкина... Подзаголовок «С французского», — говорится в том же комментарии, — сделан Пушкиным с целью прикрыть личные черты, отразившиеся в отрывке»[1].

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI, с. 768.

Отрывок или наброски «Участь моя решена. Я женюсь», говорится в другом издании сочинений поэта, «имеют автобиографическое значение и отображают настроения и высказывания Пушкина в письмах в связи с помолвкою поэта с Н. Н. Гончаровой в мае 1830 года»[1].

«Набросок» озаглавлен «С французского», но носит столь явно и столь признанно автобиографический характер, — замечает о нем В. Вересаев в своей известной книге «Пушкин в жизни», — что мы сочли возможным в данном случае нарушить наше правило — не пользоваться для этой книги художественными произведениями Пушкина»[2]. Поэтому В. Вересаев включил этот отрывок пушкинской прозы в составленный им «систематический свод свидетельств» о жизни Пушкина.

Итак, набросок или отрывок, о котором мы говорим, носит «явно» и «признанно» автобиографический характер. А между тем мнение о таком характере его основано на смешении автобиографической — в прямом смысле слова — прозы Пушкина с произведениями, в которых можно отметить наличие автобиографических мотивов, но которые никак нельзя признать в целом автобиографическими.

В настоящей работе рассматривается автобиографическая проза Пушкина, автобиографическая в прямом смысле слова. В связи с этим необходимо ясно отграничить от нее отрывок «Участь моя решена. Я женюсь», нередко к ней относимый. Для этого нужно остановиться на причинах ошибки, допускаемой обычно при оценке этого пушкинского отрывка.

«Вообще, — писал в своем «Биографическом известии об А. С. Пушкине...» брат поэта, — он любил придавать своим героям собственные вкусы и привычки»[3]. Но герой отрывка «Участь моя решена. Я женюсь» (несмотря на наличие в этом отрывке ряда автобиографических черт и подробностей) — не Пушкин: отождествлять его с поэтом у нас нет оснований.

«Я женюсь, т. е. жертвую независимостию, моею беспечной прихотливой независимостию, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством»[4], — говорится в этом отрывке. В черновике было сказано: жертвую «вдохновением»[5], — но Пушкин затем удалил из текста отрывка все, что могло бы говорить о том, что перед нами рассказ о женитьбе поэта. Единственным глухим отзвуком остались, может быть, строки, касающиеся оглашения помолвки: «Это сего-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. IV, с. 478.
[2] В. Вересаев. Пушкин в жизни, изд. 6-е, т. II. М., 1936, с. 56.
[3] «Москвитянин», 1853, № 10, с. 58.
[4] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII, ч. 1, с. 406.
[5] Там же, т. VIII, ч. 2, с. 952.



Наталья Николаевна Пушкина.
Рисунок Пушкина. 1833 г.

дня новость домашняя, завтра — площадная. — Так поэма, обдуманная в уединении, в летние ночи при свете луны, продается потом в книжной лавке и критикуется в журналах дураками...»[1].

В окончательном тексте отрывка мы читаем: «Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством в жизни моей... Дело в том, что я боялся не одного отказа»[2].

Но опасения поэта, решившего искать в женитьбе «счастья на обычных путях»[3], не совпадали с опасениями тридцатилетнего жениха, от лица которого написан переведенный будто бы Пушкиным с французского отрывок. Утрата независимости, которая грозила Пушкину, никак не сводилась к утрате беспечной независимости богатого холостяка. «Нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писателя» — вот о чем скажет сам Пушкин через два года после женитьбы в

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII, ч. 1, с. 408.
[2] Там же, с. 406.
[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 338.

письме к Нащокину, поясняя: «Кружусь в свете, жена моя в большой моде... а труды требуют уединения»[1]. Но дело не сводилось к невозможности уединенья.

«Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости, — писал Пушкин жене через три года после женитьбы. — Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас»[2].

Известно, что Пушкин стремился порвать свою зависимость от двора, но сделать это Николай ему не позволил. Когда Пушкин подал в отставку, а затем вынужден был взять свою просьбу назад, царь написал Бенкендорфу: «Я ему прощаю, но позовите его, чтобы еще раз объяснить ему всю бессмысленность его поведения и чем все это может кончиться; то, что может быть простительно двадцатилетнему безумцу, не может применяться к человеку тридцати пяти лет, мужу и отцу семейства»[3].

Опасения поэта перед женитьбой, заставлявшие его бояться «не одного отказа» со стороны Натальи Николаевны или ее родных, были связаны вовсе не с заботами «любящего пожить» эгоиста. И об этих-то важнейших сомнениях ничего не говорится в отрывке, посвященном женитьбе светского человека, который начинает свои размышления словами: «Участь моя решена. Я женюсь».

В пушкинском отрывке нет ничего даже отдаленно подобного и тому, что написал поэт перед женитьбой в письме к матери своей невесты. «Бог мне свидетель,— писал Пушкин 5 апреля 1830 года в этом письме,— что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа,— эта мысль для меня — ад»[4]. Касаясь вслед за тем своих затруднений и ясно намекая на важнейшее из них, о котором Пушкин девять дней спустя писал Бенкендорфу («г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя...»[5]), поэт заключал письмо к матери своей невесты словами: «Вот в чем отчасти заключаются мои опасе́ния»[6].

Нет, подобных опасений не было у героя, от лица которого ведется рассказ в пушкинском отрывке «Участь моя решена. Я женюсь».

Какие бы отдельные автобиографические детали ни использовал Пушкин в этом своем отрывке, перед нами лишь

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 427.
[2] Там же, с. 489.
[3] Сб. «Старина и новизна», кн. VI. СПб., 1903, с. 10.
[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 279 и 805.
[5] Там же, с. 281 и 806.
[6] Там же, с. 280 и 805.

беллетристическое произведение, думая о судьбе которого Пушкин, как видим, не напрасно опасался личных «применений». Подзаголовок «С французского» дан был, конечно, Пушкиным этому отрывку для отвода «применений», которые читатели могли бы сделать, зная о женитьбе поэта. Но можно заметить, что прикрытие это носит весьма поверхностный характер: в отрывке, будто бы переведенном Пушкиным с французского, рассказывается о семействе, которое сидит за самоваром, отец говорит о саратовской деревне и благословляет жениха и невесту образом Казанской богоматери. Избежать «применений» Пушкину не удалось: наброски, найденные в его бумагах, были напечатаны и сочтены — без достаточно глубоких, в сущности, оснований — автобиографическими.

«НЕСМОТРЯ НА ВЕЛИКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА...»

Совсем другой характер носит весьма важный с интересующей нас точки зрения отрывок, печатаемый также в разделе романов и повестей Пушкина, который начинается словами: «Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы...» Отрывок этот был впервые напечатан вскоре после смерти Пушкина в четвертой книге «Современника» за 1837 год со следующим примечанием Плетнева: «Очерк и даже некоторые частности этого отрывка автор успел уже употребить в неоконченной повести своей, напечатанной... под названием «Египетские ночи». Издатели не считают за излишнее поместить здесь этот отрывок и в том виде, как он приготовлен был автором еще до назначения ему места в пьесе, как он набросан был в виде запасного материала».

Исследуя историю создания «Египетских ночей», С. Бонди пришел к выводу, что «Отрывок» (написанный, по словам Плетнева, Пушкиным «в виде запасного материала») «вовсе не связан был с «Египетскими ночами»: он представляет отдельный замысел, написан гораздо раньше и без всякой связи с повестью о Клеопатре и ее ночах...». «Заглавие «Отрывок» и примечание (которым Пушкин сопроводил его: «Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной *или* потерянной».— *И. Ф.*) показывают, что Пушкин думал его в таком виде напечатать...» «Отрывок», видимо, так и был задуман, как отдельный этюд, никакой «повести» предваряемой им, видимо, вовсе и не было»[1].

Напомним прежде всего читателю наиболее важные места этого отрывка. «Несмотря на великие преимущества,— пишет

[1] С. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931, с. 197 и 198.

Пушкин,— коими пользуются стихотворцы (признаться, кроме права ставить винительный вместо родительного падежа после частицы *не* и кой-каких еще так называемых стихотворческих вольностей, мы никаких особенных преимуществ за стихотворцами не ведаем) — как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям...» «Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца — есть его звание, прозвище, коим он заклеймен и которое никогда его не покидает. Публика смотрит на него, как на свою собственность, считает себя вправе требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы. Требуют ли обстоятельства присутствия его в деревне — при возвращении его первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь нового? — Явится ль он в армию, чтоб взглянуть на друзей и родственников, — публика требует непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляет он себя ждать. Задумается ли он о расстроенных своих делах, о предположении семейственном, о болезни милого ему человека — тотчас уже пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно изволите сочинять. — Влюбится ли он, — красавица его нарочно покупает себе альбом и ждет уже элегии. Приедет ли он к соседу поговорить о деле, или просто для развлечения от трудов, — сосед кличет своего сынка и заставляет мальчишку читать стихи *такого-то*, и мальчишка самым жалостным голосом угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще называется торжеством. Каковы же должны быть невзгоды? не знаю, но последние легче, кажется, переносить. По крайней мере один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии приветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно вынужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости и твердить себе, что эти добрые люди не имели, вероятно, намерения вывести его из терпения...

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постели с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтобы пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три, много месяц, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастие...

...Мы распространились о нашем приятеле,— замечает Пушкин,— по двум причинам: во-первых, потому, что он есть



Автопортрет.
Рукопись поэмы «Домик в Коломне». 1830 г.

единственный литератор, с которым удалось нам коротко познакомиться,— во-вторых — что повесть, предлагаемая ныне читателю, слышана нами от него»[1].

То обстоятельство, что поэт говорит в этом «Отрывке» будто бы не о себе, а о своем приятеле («единственном литераторе»,— с юмором замечает Пушкин,— с которым удалось ему «коротко познакомиться»), ничуть не меняет, конечно, сущности дела. Перед нами отрывок автобиографической прозы Пушкина — в точном смысле этого слова. Пушкинское примечание о том, что отрывок этот «составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной *или* потерянной» (кур-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI, с. 585—589.

сив наш. — *И. Ф.*), призванное, как мы видели, только мотивировать возможность появления этого отрывка в печати, не превращает его в начало повести. И потому печатать его в разделе повестей и романов Пушкина едва ли правильно.

Мы не вправе, конечно, утверждать, что «Отрывок» этот был бы включен Пушкиным в Автобиографические записки в том именно виде, в каком он дошел до нас. Но перед нами несомненно важнейший отрывок автобиографической прозы поэта, посвященный всегда занимавшему его вопросу о положении поэта в обществе, его окружавшем. И потому многое высказанное Пушкиным в этом отрывке должно было войти — может быть, в несколько иной только форме — в Автобиографические записки поэта.

НОВЫЕ «ЗАПИСКИ» ПУШКИНА

После сожжения «Записок» Пушкин решил возобновить свою погибшую Автобиографию и продолжить ее. В предисловии к новым «Запискам», датируемом началом 30-х годов, поэт кратко рассказал о судьбе и содержании своих погибших «Записок». Пушкин указывает далее, что, приступив к возобновлению своего автобиографического труда, он «избирает себя лицом, около которого постарается собрать другие» («более достойные замечания»[1],— скромно поясняет он). «Скажу,— говорит он вслед за тем,— несколько слов о моем происхождении». Таким образом, в состав новых «Записок» должны были войти прежде всего портреты предков и современников поэта.

«Пушкин не отступал до самой смерти своей от намерения представить картину того мира, в котором жил и вращался»[2], — писал Анненков. «Через всю жизнь Пушкина... проходят настойчивые, непрекращающиеся попытки создания собственных мемуаров»[3], — отмечает современный нам исследователь. Но работа Пушкина над созданием новых «Записок» оставалась также неизученной.

Принято было считать, что работа Пушкина над новыми «Записками» свелась к созданию одного только начального отрывка их, который посвящен рассказу о предках поэта, и потому начальный отрывок этот печатается в качестве единственного дошедшего до нас отрывка новых Автобиографических записок Пушкина. Но является ли он в самом деле единственным?

Подобное представление основано на предположении, в силу которого Пушкин приступил к возобновлению своих «Записок» только пять—семь лет спустя после сожжения своей первой «Биографии» и, начав свой труд заново, должен был писать все предназначавшиеся для него отрывки непременно подряд. Такое предположение, однако, ничем не обосновано.

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 76.

[2] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху, с. 309.

[3] С. Гессен. Вступ. статья к сб.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936, с. 5.

Выясняя судьбу сожженных «Записок» Пушкина, мы имели возможность убедиться в том, что ряд скрывающихся под случайными заголовками в собрании сочинений поэта прозаических отрывков представляет собой не что иное, как уцелевшие отрывки его сожженных «Записок». Поэтому нас едва ли удивит утверждение, что такого рода отрывки могли сохраниться и от возобновленных Автобиографических записок Пушкина.

Работа Пушкина над подготовкой новых «Записок» началась уже во второй половине 20-х годов. Вместе с тем, вопреки распространенному представлению, работа эта не прекратилась после создания им в начале 30-х годов отрывка, который должен был стать началом его новой Автобиографии и посвящен изображению предков поэта.

Характерно, что даже и этот начальный отрывок возобновленных «Записок» в течение долгого времени печатался в собрании сочинений поэта не как начало его новой Автобиографии, а в качестве самостоятельного отрывка под названием «Родословная Пушкиных и Ганнибалов». И это несмотря на то, что Пушкин в своем предисловии к возобновляемой «Биографии» достаточно ясно указал, что данный отрывок представляет собой вступительные страницы ее («скажу несколько слов о моем происхождении»,— замечает Пушкин), вслед за чем и должен идти написанный им отрывок о предках. Тем не менее отрывок этот только несколько лет назад стали наконец печатать как начало возобновленной Автобиографии, признав единственным дошедшим до нас отрывком ее.

В действительности, как мы уже говорили, Пушкин написал для своей новой «Биографии» помимо «Родословной» еще ряд отрывков. И несмотря на то что эти написанные им отрывки вовсе не должны были следовать в его Автобиографии один за другим, некоторые из них представляют собой вполне законченные эпизоды или портреты современников и должны были найти себе место в «Записках» поэта, для которых предназначались: тексты этих пушкинских отрывков известны, но не осознано было, что отрывки, о которых мы говорим, представляют собой разобщенные страницы новых «Записок» поэта.

В «Записках» этих должны были быть отражены (так же как и в сожженных «Записках») не только события личной жизни поэта, но и пережитые им исторические события. Об этом свидетельствуют сохранившиеся программы его новой Автобиографии.

«Жизнь наша лицейская,— писал в своих воспоминаниях о Пушкине его друг, декабрист Пущин,— сливается с политическою эпохою народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года». И добавляет: «...эти события сильно

План новых Автобиографических записок Пушкина.
Начало 30-х годов: *«Семья моего отца... Первые впечатления. Охота к чтению. Меня везут в Петербург. Езуиты. Тургенев. Лицей. 1811. 1812 1813... 1814 (Экзамен... Державин)».*

отразились на нашем детстве»[1]. Вот об этом-то слиянии лицейской жизни поэта «с политическою эпохою народной жизни русской» и говорит сохранившаяся программа Автобиографических записок Пушкина. Пушкин написал в ней посредине листа «1812» (год), а перечисляя вслед за тем дальнейшие события своей лицейской жизни, отметил «Известие о взятии Парижа»[2].

Неверным, однако, является утверждение, будто Пушкин считал невозможным писать в своих мемуарах «о самом себе». (Он, утверждает один из исследователей, никогда будто бы «не шел этим путем», во всех своих попытках создания мемуаров ставя себе задачей «описание современных происшествий»[3].) В программе новой «Биографии» Пушкин ясно указал, что собирается писать не только о пережитых им исторических событиях. Мы читаем в этой программе: «Ранняя любовь...», «Мои неприятные воспоминания...», «Отношение к товарищам», «Мое тщеславие» и т. д. Таким образом, Пушкин собирался писать о пережитом, не исключая при этом из своих «Записок» воспоминаний детства. Надо установить, как собирался писать — и писал — о себе Пушкин в своих «Записках».

«Писать свои Mémoires (мемуары. — *И. Ф.*). заманчиво и приятно», — признавался Пушкин Вяземскому еще во время работы над первыми «Записками» в 1825 году. «Но трудно», — добавлял он. «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? — говорит он в том же письме. — Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением», — поясняя: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего»[4].

Ту же мысль, которой он придавал существенное значение, Пушкин выразил в так называемых «Материалах к отрывкам из писем, мыслям и замечаниям», где, смягчив только резкость выражений, писал: «Одна из причин жадности, с которой читаем записки великих людей, есть наше самолюбие: мы рады, ежели сходствуем с замечательным человеком чем бы то ни было, мнениями, чувствами, привычками — даже слабостями и пороками. Вероятно, больше сходства нашли бы мы с мнениями, привычками и слабостями людей вовсе ничтожных, если б они оставляли нам свои признания»[5].

Наконец, несколькими годами позже, когда Пушкин подготовлял материалы для новых Автобиографических записок, он вновь, обобщая, заметил: «После соблазнительных *Испо-*

---

[1] Записки И. И. Пущина о Пушкине. СПб., 1907, с. 22.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., в 10-ти т., т. VIII, с. 75.

[3] С. Гессен. Вступ. статья к сб.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников, с. 8.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 190 и 191.

[5] Там же, т. VII, с. 65.

ведей философии XVIII века явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее»[1]. Пушкин резко возражал, как видим, против разжигаемого в то время европейской буржуазной печатью интереса к мемуарам, раскрывающим интимные стороны жизни великих людей. В своих собственных «Записках» поэт считал нужным писать о «лицах исторических» иначе, сознавая, конечно, что относится сам к их числу.

Пушкин заметил, что в царствование Александра I он имел на писателей больше влияния, чем правительство, несмотря на неизмеримое, казалось бы, неравенство средств, которыми поэт располагал по сравнению с самодержавной властью. А в своих предсмертных стихах пророчески сказал, что его нерукотворный памятник вознесся выше Александрийского столпа.

Все это определяло точку зрения Пушкина на события и на себя, точнее, на историческое значение своей деятельности. Эта историческая точка зрения и должна была определить характер «Записок» поэта, не мешая ему говорить в них о событиях своей внутренней жизни.

Вспоминая в предисловии к возобновляемой Автобиографии о своих сожженных «Записках», Пушкин заметил: «Не могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностию дружбы или короткого знакомства»[2]. При этом он с необыкновенной смелостью указывал, что декабристы (казненные или находившиеся в Сибири) должны были вновь явиться в его возобновляемых «Записках». Он обещал только быть «осмотрительнее» в своих «показаниях». И, смело признавая, что память участников 14 декабря окружает теперь «некоторая торжественность», которая, пояснял он, «вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей», обещал сохранить необходимое для биографа и историка своего времени критическое отношение к отошедшим в историю деятелям 14 декабря.

В своем «Путешествии из Петербурга в Москву», так хорошо знакомом Пушкину, Радищев писал о судьбе сожженных по приговору цензуры сочинений, вспоминая примеры древности (и предчувствуя, вероятно, участь своей книги): «Кассий Север, друг Лабиения, видя писания его в огне, сказал: «Теперь *меня* сжечь надлежит: ибо я их наизусть знаю»[3]. Пушкин помнил, конечно, все, о чем писал в своих сожженных «Записках». В своих новых «Записках» он вновь собирался писать о декабристах. Но его новая «Биография» не должна была стать, конечно,

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 104.
[2] Там же, т. VIII, с. 76.
[3] А. Н. Радищев. Избр. соч. М.—Л., 1949, с. 185.

простым возобновлением сожженных им в конце 1825 года «Записок».

Собираясь «воскресить, — по словам Анненкова, — собственные свои «Записки», некогда им истребленные», и «провести под покровом романа собственные свои воспоминания и суждения о том времени», Пушкин задумал в 30-е годы написать роман «Русский Пелам»[1]. В составленных им планах этого произведения, перечисляя героев его, Пушкин назвал Грибоедова и декабристов: Илью Долгорукого, Сергея Трубецкого и Никиту Муравьева[2]. Имена декабристов перечислены им при этом под рубрикой *«Характеры»*.

В пушкинском романе в стихах, как видно из дошедших до нас отрывков десятой главы «Онегина», декабристы также должны были явиться не только как «лица исторические»: в уцелевших строках этой главы «Онегина» лаконично, с пушкинской меткостью, даны характеры изображенных декабристов. Перед нами определенный Пушкиным одной чертой «меланхолический» Якушкин, «беспокойный» (в другом, сохраненном в записи современника варианте — «вдохновенный») Никита Муравьев, «осторожный» Илья Долгорукий, «дерзкий», предлагающий «свои решительные меры» Лунин и человек одной, всепоглощающей идеи Николай Тургенев («Одну Россию в мире видя...» — сказано о нем в стихах Пушкина). О Юшневском поэт говорит в той же десятой главе «Онегина», называя его «холоднокровным генералом», и характеристика эта как бы подчеркивает, что заговор декабристов не был только делом горячих голов и увлекающихся юношей.

Можно отметить, что и Александр I является перед нами в десятой главе «Онегина» не только как исторический деятель, но и как раскрываемый сатирически характер («Властитель слабый и лукавый, // Плешивый щеголь, враг труда...»).

В стихах своей «славной хроники» — как назвал Вяземский десятую главу «Онегина» — Пушкин изобразил себя среди декабристов; с именем Якушкина (который, по словам поэта, «Казалось, молча обнажал // Цареубийственный кинжал») Пушкин — автор «Кинжала» — смело срифмовал в десятой главе «Онегина» свое имя — в годы, когда Якушкин давно был уже каторжанином.

В возобновленных Автобиографических записках декабристы также должны были быть изображены, по-видимому, не только как исторические деятели, но и как характеры. Так именно изображены поэтом в новых «Записках» исторические лица, портреты которых он успел написать. Так изображены Пушкиным в этих «Записках» и лица, ничем себя в истории не ознаме-

---

[1] П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 457.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VIII, ч. 2, с. 974.

новавшие, портреты которых тем не менее также должны были войти в состав его «Записок».

Белинский назвал пушкинский роман в стихах не только «энциклопедией русской жизни»[1], но и «поэмой *исторической* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица»[2]. Великий критик не знал, что в зашифрованной Пушкиным главе «Онегина» появлялись «лица исторические», то есть декабристы и император Александр. Белинский указывал при этом на множество «вставочных портретов и силуэтов, вошедших в... поэму и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего»[3]. В возобновляемых «Записках» Пушкина должны были явиться на сцену не только «лица исторические» — декабристы и цари, не только прославленные писатели, но, так же как в «Онегине», и лица совсем не исторические, без которых, однако, картина времени не могла быть воссоздана, на взгляд Пушкина, с достаточной полнотой.

Противопоставляя декабристов основной дворянской массе, В. И. Ленин, вспоминая образы Герцена, писал, что из нее вышли не только «Бироны и Аракчеевы» и «бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых»[4]. Таким, однако, оставалось множество современных Пушкину дворян-помещиков, и поэт ставил перед собой задачу нарисовать на страницах своих Автобиографических записок портреты запомнившихся ему наиболее выразительных представителей этого дворянства.

В Петре I Пушкин сумел разглядеть в эти годы не только великого человека, но и «нетерпеливого самовластного помещика». А в знакомом ему псковском помещике — род маленького царя-тирана. В своем «Путешествии из Москвы в Петербург» (написанном в те же годы, когда Пушкин работал над «Историей Петра» и над своими новыми «Записками») поэт говорит: «Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого лет 15 тому назад. Молодой мой образ мыслей и пылкость тогдашних чувствований отвратили меня от него и помешали мне изучить один из самых замечательных характеров, которые удалось мне встретить. Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе и по убеждению — с целию, к которой двигался он с силою души необыкновенной и с презрением к человечеству, которого не думал и скрывать. Сделавшись помещиком двух тысяч душ, он нашел своих крестьян, как

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, с. 503.

[2] Там же, с. 432.

[3] Там же, с. 502.

[4] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 21, с. 255. Слова, поставленные Лениным в кавычки, взяты им из статьи Герцена «Концы и начала» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. XVI. М., 1959, с. 170).

говорится, избалованными слабым и беспечным своим предшественником. Первым старанием его было общее и совершенное разорение. Он немедленно приступил к совершению своего предположения и в три года привел крестьян в жестокое положение. Крестьянин не имел никакой собственности — он пахал барскою сохою, запряженной барскою клячею, скот его был весь продан, он садился за спартанскую трапезу на барском дворе, дома не имел он ни штей, ни хлеба. Одежда, обувь выдавались ему от господина, — словом, статья Радищева кажется картиною хозяйства моего помещика. — Как бы вы думали? Мучитель имел виды филантропические. Приучив своих крестьян к нужде, терпению и труду, он думал постепенно их обогатить, возвратить им собственность, даровать им права! — Судьба не позволила ему исполнить его предначертания. Он был убит своими крестьянами во время пожара»[1]. Написав этот незабываемый портрет, Пушкин сожалеет, что «молодой образ мыслей» и «пылкость чувствований», отвратив его от описанного им теперь помещика, помешали ему *«изучить* один из самых замечательных *характеров».* (Курсив наш. — *И. Ф.)* Как видим, в годы создания новых «Записок» Пушкин сознательно стремился к изучению и раскрытию характеров, взятых как характеры социальные.

В высшей степени замечательно, что, рисуя в начале новой Автобиографии своих предков, Пушкин изображает не только героические черты, прославившие Пушкиных и Ганнибалов, но и создает чрезвычайно острые социальные портреты своих дедов. Изображая своего деда с отцовской стороны — Льва Александровича Пушкина, поэт сообщает:

«Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе»[2] и т. д.

Пушкин, верно отметил Д. Благой, «с удивительным бесстрашием... рассказывает о самых потаенных чертах и поступках своих предков-крепостников»[3]. Гордясь славой своих предков, заслуживающих названия лиц исторических, Пушкин правдиво писал о тех представителях своего рода, которые оставили о себе иную, мрачную память.

Созданные Пушкиным портреты декабристов не сохранились, так как восстановить сожженные портреты их Пушкин не успел. А портреты других современников, предназначавшиеся для «Записок» поэта, оказались разобщенными. Некоторые из них сохранились в бумагах поэта, но остаются неопознанными,

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 305.

[2] Там же, т. VIII, с. 77.

[3] Д. Благой. Проблемы построения научной биографии Пушкина. — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 246.

другие, подготовленные им для новых «Записок» отрывки перешли в состав новых произведений (при этом Пушкин мог — и должен был по необходимости — вносить в них некоторые изменения).

Говоря о повести «Кирджали», П. И. Бартенев в свое время отметил, что «набросанное в ней Пушкиным описание дела под Скулянами имеет все достоинства подлинной исторической записки»[1]. Анненков считал, что рассказ о Кирджали Пушкин составил, «вероятно, тоже на основании теперь не существующих своих записок о греческом восстании»[2]. Содержащаяся в этой повести характеристика Александра Ипсиланти, заметил позднее В. Селинов, находилась, может быть, «в не дошедших до нас листах Кишиневского дневника» поэта[3]. И поскольку в дошедшей до нас программе новых «Записок» Пушкина мы читаем: «Ипсиланти... Греческая революция», а страницы, посвященные Пушкиным Александру Ипсиланти в повести «Кирджали», весьма походят действительно на страницы «Записок» поэта, мы едва ли ошибемся, предположив, что и характеристика Ипсиланти, и описание сражения под Скулянами являются — может быть, восстановленными Пушкиным по памяти — страницами, предназначавшимися для записок поэта и включенными им впоследствии в повесть «Кирджали».

Предназначавшимся, по-видимому, для «Записок» портретом является великолепное изображение Ермолова, дошедшее до нас в составе отрывков из «Путевых записок» (которые Пушкин вел в 1829 году). Отрывок о Ермолове включается в «Путешествие в Арзрум», написанное в 1835 году. Но портрет Ермолова, так резко очерченный поэтом в его «Путевых записках» 1829 года (и, как верно отметил в другой связи С. Бонди, писавшийся Пушкиным не для печати[4]), должен был, конечно, найти себе место и в Автобиографических записках Пушкина: встреча с Ермоловым являлась не только эпизодом пушкинского путешествия в Арзрум, но и важной в биографии поэта встречей с историческим лицом.

Точно так же, как встреча с Ермоловым, в новой «Биографии» Пушкина должна была быть изображена, конечно, и последняя встреча его с Грибоедовым. Описание встречи с гробом Грибоедова и следующая за этим описанием гениальная характеристика-портрет Грибоедова включены были Пушкиным в написанное через несколько лет после этой встречи «Путешествие в Арзрум»: Грибоедов погиб, и смерть его побуждала Пушкина включить в состав публикуемого произведения страницы, которые должны были войти впоследствии — в несколько,

---

[1] П. Бартенев. Пушкин в Южной России. М., 1914, с. 86.

[2] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху, с. 204.

[3] В. Селинов. Пушкин и греческое восстание. — В сб.: Пушкин. Статьи и материалы, вып. II, под ред. М. П. Алексеева. Одесса, 1926, с. 9.

[4] См.: С. Бонди. Новые страницы Пушкина. М., 1931, с. 141.

может быть, только измененном виде — в Автобиографические записки Пушкина.

Помимо портрета Ермолова и портрета Грибоедова, нашедших себе место в «Путешествии в Арзрум», в бумагах поэта сохранились отдельные отрывки, предназначавшиеся для Автобиографических записок и только по недоразумению к ним не относимые.

В составе рукописного наследства поэта после смерти его обнаружена была пачка написанных в разное время листков, собранных им самим в общую обложку, на которой Пушкин написал «Table talk» (т. е. «Застольные рассказы»). В пачке этой собраны листки самого различного вида и содержания. «В бумагах Пушкина листки» эти «расположены в совершенном беспорядке»[1], — отмечают исследователи. Большая часть этих листков занята историческими анекдотами, записанными Пушкиным. Но в той же пачке лежит и знаменитый рассказ поэта о встрече с Державиным. Рассказ этот так явно отличается по своему характеру от исторических анекдотов, среди которых он лежит в пушкинской пачке (и вместе с которыми обыкновенно печатается), что некоторые редакторы сочинений поэта перемещают его в раздел автобиографической прозы Пушкина, не замечая, однако, что страницы эти представляют собой не что иное, как отрывок из «Записок» поэта. В раздел автобиографической прозы помещает отрывок, посвященный Пушкиным Державину, Малое академическое издание сочинений поэта (следуя в этом отношении дореволюционному изданию под редакцией П. О. Морозова). Большое академическое издание не делает, к сожалению, даже и этого, печатая отрывок о Державине среди анекдотов, включенных в «Table talk». Между тем рассказ этот, как уже больше ста лет назад показал Анненков, представляет собой отрывок возобновленной Автобиографии Пушкина[2].

Определить действительный характер отрывка, о котором мы говорим, важно еще и потому, что выполнение этой задачи помогает нам обнаружить в пачке «Table talk» не один, а целых четыре отрывка, относящихся к «Запискам» поэта. Так

[1] См.: А. С. Пушкин. Соч., ред. Б. Томашевского. Л., 1937, с. 949.

[2] П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 20—21.

Мы считали необходимым установить правильность этого вывода в 1-м издании настоящей книги (М., 1955, с. 200 и 283).

В отличие от Малого академического издания 1949 года, где этот отрывок пушкинских «Записок» назван был просто «записью», относящейся «к концу 1835 г.» (т. VIII, с. 521), во втором (1958) и третьем (1965) изданиях того же академического десятитомника в комментариях признается, что отрывок о Державине, «по-видимому, представляет собой выписку» из сожженных «Записок» Пушкина (т. VIII, с. 526).

же, как и отрывок, посвященный Державину, все они нашли в пушкинской пачке только первое временное пристанище: мы говорим об отрывках, посвященных Пушкиным изображению Будри, Александра Давыдова и Дурова.

Исторические анекдоты, составляющие большую часть пачки «Table talk», записанные Пушкиным с чужих слов, передают, как это свойственно такого рода анекдотам, только отдельные характерные черты тех или иных исторических лиц либо отдельные характерные черты прошлого. Отрывки же, посвященные Пушкиным изображению Державина, Будри, Александра Давыдова и Дурова, представляют собой, в отличие от исторических анекдотов (с которыми они смешаны в пушкинской пачке), законченные, цельные портреты, написанные Пушкиным, как он сам подчеркивает, на основании личных впечатлений и воспоминаний.

Вполне естественно поэтому, что в первом научно изданном собрании сочинений Пушкина, встретившем такую высокую оценку со стороны Чернышевского и Добролюбова, отрывки, о которых мы говорим, были напечатаны Анненковым в качестве «Остатков записок (автобиографии) Пушкина»[1].

Не мог напечатать он из числа этих отрывков только отрывок, посвященный Будри — брату Марата, так как в 1855 году сделать это по цензурным условиям было невозможно. Но уже четыре года спустя после смерти Николая I отрывок этот появился в «Библиографических записках». Там же напечатан был в более полном виде и рассказ о Дурове, причем опубликовавший его Е. И. Якушин также признал его относящимся «к запискам Пушкина тридцатых годов»[2].

Следует отметить, что Анненков ввел в число «остатков настоящих записок (автобиографии) Пушкина» и отрывки из Кишиневского дневника поэта. Таким образом, он не отделял отрывки Автобиографических записок (Автобиографии) Пушкина от отрывков «Ежедневных записок» поэта. Но в целом первые редакторы Пушкина верней, чем последующие исследователи, судили о характере тех страниц пушкинской прозы, которые они с полным основанием признавали уцелевшими отрывками возобновленных в 30-е годы «Записок» поэта.

В наше время задача состоит не в том, конечно, чтобы попросту вернуться к высказанному век назад. Мы имеем ныне возможность составить гораздо более полное представление о судьбе и содержании «Записок» великого поэта. Но не следует забывать об указаниях современников и первых исследователей Пушкина: нужно вспомнить о них и внимательно отделить содержащиеся в этих свидетельствах верные указания от неверных.

---

[1] См.: А. С. Пушкин. Соч., т. V. СПб., 1855, с. 7 и след.
[2] См.: «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 133.

Кроме портретных отрывков, о которых мы сейчас говорили, печатающихся обычно в составе пушкинской пачки «Застольных рассказов» («Table talk»), к «Запискам» поэта относятся страницы, посвященные Пушкиным воспоминаниям о холерном годе. Этот замечательный отрывок печатается почему-то под видом «Записи» или «*Заметки* о холере»[1]. (Курсив наш. — *И. Ф.*) Объяснить сказанное можно, по-видимому, только слепой уверенностью в том, что от новых «Записок» Пушкина ничего, кроме начального отрывка, не дошло и не могло дойти до нас. Следует напомнить, что отрывок о холерном годе относится к «Запискам» поэта столь явно, что уже Бартенев, один из первых биографов Пушкина, упоминал об этом как о чем-то само собой разумеющемся[2].

Обнаружить уцелевшие отрывки новых «Записок» поэта помогают нам не только указания первых редакторов Пушкина, но прежде всего, конечно, изучение этих отрывков вместе с изучением замысла Пушкина.

Разобщенные отрывки новых «Записок» поэта, как и разобщенные отрывки сожженных «Записок» его, выделяются, как мы говорили, на несвойственных им местах, занимаемых ими нередко в силу случайных обстоятельств в различных томах сочинений Пушкина. Когда же мы устанавливаем связь этих отрывков с «Записками» поэта, обнаруживается, как уже сказано, не только общность их происхождения, но и стилевое единство их. Поэтому историко-литературное и литературно-критическое изучение этих отрывков пушкинской прозы является для нас не менее важным, нежели изучение судьбы Автобиографических записок поэта.

Если мы хотим обнаружить в литературном наследстве Пушкина уцелевшие отрывки, относящиеся к его новым «Запискам», мы должны (так же, как это было сделано нами при изучении вопроса о первых сожженных «Записках») учесть особенность судьбы и истории создания этого труда. Портреты современников должны были, конечно, найти себе место прежде всего в «Записках» Пушкина. Но и те портреты современников, которые вошли в состав других произведений его, помогают нам создать себе представление о характере «Записок» поэта и вместе с тем о мастерстве Пушкина-портретиста.

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 308—310.

[2] См.: П. Бартенев. Пушкин в Южной России. М., 1914, с. 136.

ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ

ДЕРЖАВИН

Отрывок, посвященный встрече с Державиным, принадлежит бесспорно к лучшим страницам автобиографической прозы Пушкина. Воссоздавая этот незабываемый эпизод своей биографии, Пушкин создал полную глубокого лиризма сцену, в которой является перед нами он сам и с ним «старик Державин».

«Державин был очень стар, — читаем мы в этом уцелевшем отрывке «Записок» Пушкина. — Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою». Приближая к нам лицо старого поэта — и рассматривая его вблизи, — Пушкин с необычайной резкостью показывает дряхлость Державина. «Лицо его было бессмысленно, — пишет он, — глаза мутны, губы отвислы». И добавляет: «Портрет его (где представлен он в колпаке и в халате) очень похож».

Ссылаясь на всем в то время известный старческий портрет прославленного поэта, Пушкин, как может показаться сначала, «цитирует» этот портрет, избавляя этим себя от необходимости подробно описывать на страницах своих «Записок» внешность Державина. Но это только так кажется сначала. Ссылка на известный портрет и необычайно резкое изображение черт дряхлости Державина служат Пушкину только средством, помогающим раскрыть вслед за тем образ старого поэта, образ более сложный (потому что противоречивый), нежели портрет, на котором живописец передал лишь одну из сторон этого образа, представив Державина всего только дряхлым стариком.

Напомнив читателям об этом портрете и подчеркнув, что портрет этот очень похож на Державина, каким показался он лицеистам в начале экзамена, Пушкин сразу же (и как будто неожиданно) вслед за тем пишет: «Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали» (между тем как до того «лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы»). «Он преобразился весь», — пишет Пушкин. И поясняет: «Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостию необыкновенной».

Дело, оказывается, вовсе не в одной только старости Державина, так поразившей сначала юного поэта. «Ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь», — сказал он о Державине в поэме «Тень Фонвизина» (написанной им в самый год лицейского экзамена), варьируя прославленный державинский стих: «Я — царь, — я раб, — я червь, — я бог!» В минуты поэтического восторга Державин «преображался весь». И вот эти минуты наступили.

«Наконец вызвали меня, — говорит Пушкин. — Я прочел мои «Воспоминания в Царском Селе», стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом...»

«Не помню, как я кончил свое чтение, — продолжает Пушкин после выразительной паузы, — не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»[1]

Как видим, в «Записках» Пушкина портрет Державина дан не статически. Сцена написана пером прозаика, являющегося вместе с тем лирическим поэтом и драматургом. Перед нами жизненная, полная драматического движения сцена, в которой раскрываются образы действующих лиц. Все способствует здесь глубокому раскрытию этих образов. Этой цели служит и вводная комическая сцена, где перед нами является любимый лицейский товарищ Пушкина Дельвиг — юный поэт и восторженный почитатель Державина.

«Как узнали мы, что Державин будет к нам, — вспоминает Пушкин, — все мы взволновались. Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую «Водопад».

Надо вспомнить, с каким восторгом читалась тогда эта величественная, великолепная ода, многие строфы которой производят сильное впечатление и в наше время («Не зрим ли каждый день гробов, // Седин дряхлеющей вселенной?..» Эти патетические строки Державина Пушкин ввел впоследствии в качестве эпиграфа в свою повесть о гробовщике).

И вот, продолжает Пушкин, вспоминая минуты, предшествовавшие началу лицейского экзамена, «Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение» (поцеловать руку Державина) и «возвратился в залу» («Дельвиг, — добавляет Пушкин, — это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию»).

Пушкин не побоялся, как видим, вспомнить об этой прозаической подробности в своем рассказе о дне, столь для него па-

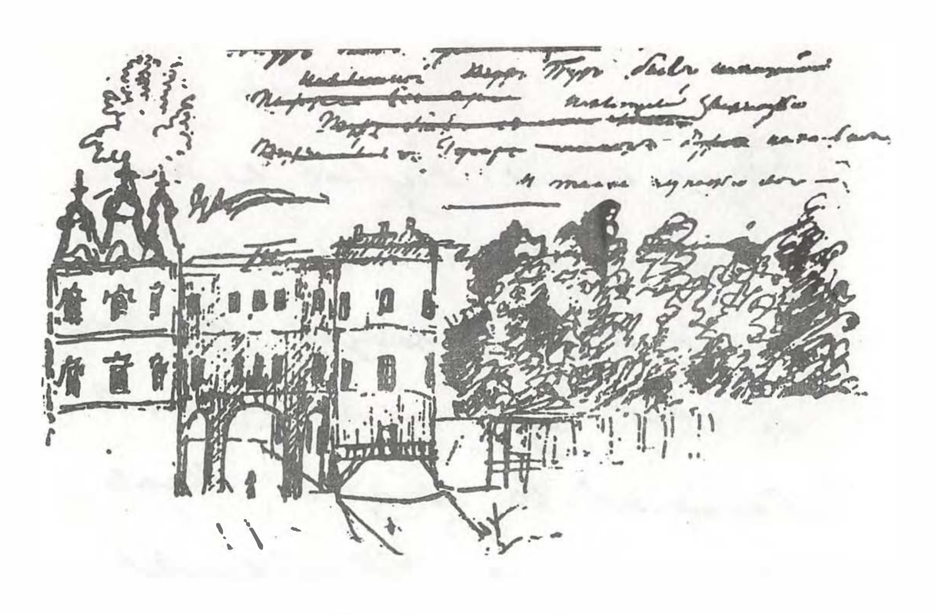
---

[1] А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 65—66.

2 97

* Державина видѣлъ я только
однажды въ жизни, но ни-
когда того не забуду. Это было
въ 1815 году, на публичномъ
экзаменѣ въ Лицеѣ. Какъ
10.
узнали мы, что Державинъ
будетъ къ намъ, всѣ мы
взволновались. Дельвигъ вышелъ
на лѣстницу, чтобъ дождать-
ся его и поцѣловать ему руку,
руку написавшую Водопадъ.
Державинъ пріѣхалъ. — Онъ
вошелъ въ сѣни и Дельвигъ
услышалъ какъ онъ спросилъ

Страница «Записок» Пушкина
(«Державина видел я только однажды...»).



Царскосельский лицей.
Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1829 г.

мятном и важном. Не побоялся потому, что под его пером хороши все средства, если они могут полнее, верней представить не только самого Державина, но и юного Дельвига, который так поражен был обращением Державина к швейцару. Ибо этой чертой характеризуется в рассказе Пушкина, собственно, не Державин, а Дельвиг.

И, несмотря на то что Пушкин не избегает в своем рассказе подробностей самых прозаических, несмотря на то что он не боится показать крупно, первым планом лицо Державина в минуты безразличия и старческой апатии, перед нами оживает Державин, поэт с головы до ног. Средствами прозы Пушкин рассказал нам в своих «Записках» об этом дне своей жизни («Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду...») полнее и едва ли не выразительней, чем в стихах, идущих в рукописи «Онегина» вслед за словами:

О торжество невинных дней!
Твой сладок сон душе моей.

БУДРИ — БРАТ МАРАТА

В той же пушкинской пачке («Table talk») кроме отрывка Автобиографических записок поэта, посвященного Державину, лежит отрывок, посвященный другому яркому лицейскому воспоминанию Пушкина, отрывок, относящийся также к «Запи-

скам» поэта. В этом нетрудно убедиться, прочитав его. Речь идет о строках, посвященных Пушкиным Будри.



Марат.
Рисунок Пушкина. 1821 г.

Будри — «брат знаменитого Марата, очень на него похожий лицом» — «с соизволения Екатерины II переменил фамилию, страшную в летописях истории», — пишет со слов Нащокина Бартенев, передавая запомнившиеся Нащокину рассказы Пушкина[1]. Он в течение десяти лет был профессором французской словесности в Царскосельском лицее.

Неудивительно, что Будри так запомнился поэту. «Он очень уважал память своего брата, — пишет Пушкин, — и однажды в классе, говоря о Робеспиере, сказал нам как ни в чем не бывало: «Это он тайно воздействовал на Шарлотту Кордэ (заколовшую Марата кинжалом. — *И. Ф.*) и сделал из этой девушки второго Равальяка»[2]. Равальяк был убийцей Генриха IV, но имя его стало в устах декабристов нарицательным. «Равальяки родятся веками», — сказал во время следствия Александр Бестужев. А Вильгельм Кюхельбекер признал, что горькая необходимость принудила его взять на себя «ролю Равальяка»[3].

Будри «сказывал, — продолжает Пушкин, — что брат его был необыкновенно силен, несмотря на свою худощавость и малый рост. Он рассказывал также многое о его добродушии, любви к родственникам, etc, etc.

В молодости его, чтоб отвадить брата от развратных женщин, Марат повел его в гошпиталь, где показал ему ужасы венерической болезни».

Марат является перед нами на страницах «Записок» поэта. И Пушкин — в отличие от того, что он писал о нем в стихотворении «Андрей Шенье», — не говорит о нем как о чудовище (это Бартенев называет имя Марата «страшным в летописях истории»). Пушкин вспоминает в своих «Записках», что Будри

[1] Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах, ред. М. Цявловского, 1925, с. 26.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 104 и 564. У Пушкина эта фраза Будри приведена по-французски.

[3] См.: М. В. Нечкина. А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1947, с. 378.



Куницын и Будри.
Рисунок лицеиста Илличевского.

рассказывал многое о добродушии Марата и о его любви к близким, между тем как едва ли не для всех других русских писателей того времени Марат и добродушие — «две вещи несовместные».

Немногими чертами Пушкин выразительно рисует и самого Будри, с такой свободой рассказывавшего о своем брате — и где же? — в Царскосельском лицее, бок о бок с дворцом. Приведя смелый рассказ Будри о Робеспьере, толкнувшем (по словам Будри) Шарлотту Кордэ на убийство Марата, Пушкин вслед за тем пишет: «Впрочем, Будри, несмотря на свое родство, демократические мысли, замасленный жилет и вообще наружность, напоминавшую якобинца, был на своих коротеньких ножках очень ловкий придворный».

И если нельзя утверждать, что отрывок, посвященный Будри, вошел бы в «Записки» Пушкина без всяких изменений, мы все же можем, не боясь ошибиться, считать его страницей, предназначенной для этих «Записок», хотя, может быть, и подлежавшей еще некоторой обработке или отделке.

«ФАЛЬСТАФ II»

В так называемой второй, также относящейся к 30-м годам программе «Записок», помещен был рассказ о Каменке, которая была в период пребывания Пушкина на юге важнейшим местом встреч для участников Тайного общества.

Говоря о своем пребывании в Каменке, поместье братьев Давыдовых — Василия Львовича, возглавившего затем Каменскую управу Южного общества, и его брата Александра,— Пушкин в конце 1820 года писал из Каменки: «Общество наше... разнообразная и веселая смесь умов оригинальных, людей известных в нашей России...»[1] В следующем году он обратился к В. Л. Давыдову с посланием, в конце которого сказал: «Ужель надежды луч исчез? — Но нет! — мы счастьем насладимся...» — и выражал надежду на скорую революцию в России.

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 20.

Нет сомнения, что, воссоздавая существовавший уже, вероятно, ранее в сожженных «Записках» рассказ о Каменке, Пушкин должен был воссоздать образы встречавшихся там декабристов, и прежде всего образ Василия Львовича Давыдова, которого побывавший в Каменке Якушкин называет в своих «Записках» «ревностным членом Тайного общества»[1].

«Все вечера мы проводили на половине у Василия Львовича, — вспоминает Якушкин, — и вечерние беседы наши для всех нас были очень занимательны. Раевский, не принадлежа сам к Тайному обществу, но подозревая его существование, — поясняет Якушкин, — смотрел с напряженным любопытством на все происходящее вокруг него»[2]. С таким же напряженным любопытством смотрел на все происходящее и находившийся в то время в Каменке Пушкин.

В своих «Записках» Якушкин передает сцену, теперь широко известную, во время которой «Пушкин с жаром доказывал всю пользу, которую могло бы принести Тайное общество России». Но так как обсуждение предпринято было действительными участниками Тайного общества лишь с целью доказать непосвященным, что такого общества не существует, Якушкин превратил весь разговор в шутку. «Разумеется, все это только одна шутка», — сказал он Раевскому, заявившему тут же о своем желании присоединиться к Тайному обществу.

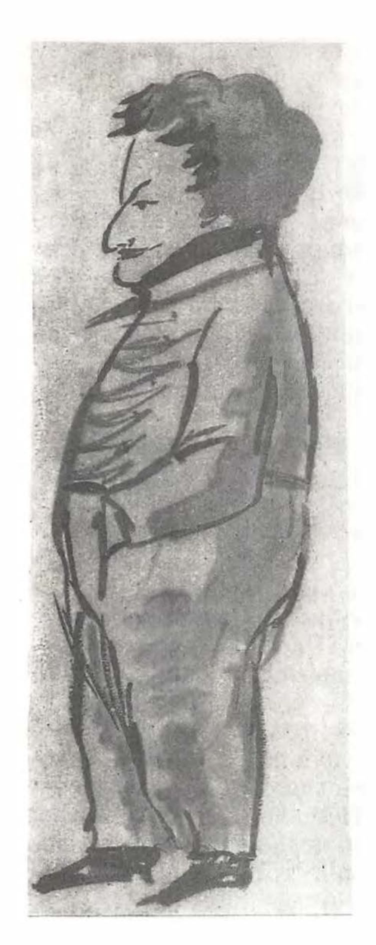
Все рассмеялись, пишет Якушкин, «кроме Александра Львовича, рогоносца величавого, который дремал, и Пушкина, который был очень взволнован». «Я никогда не был так несчастлив, как теперь, — сказал тогда Пушкин, — я уже видел жизнь мою облагороженною и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». «В эту минуту он был точно прекрасен»[3], — вспоминает Якушкин.

В числе участников этой запомнившейся Пушкину сцены был, как видим, брат декабриста Василия Львовича Давыдова — Александр Львович. Якушкин называет его «рогоносцем величавым» (как назвал его Пушкин в «Онегине»), не забывая отметить, что даже во время изображенной только что и так взволновавшей Пушкина сцены Александр Львович Давыдов «дремал». Комически контрастная всему происходившему тогда в Каменке, характерная фигура его запомнилась Якушкину навсегда. Запомнилась она не только ему, но и Пушкину.

В той же пачке «Table talk», где лежат относящиеся к «Запискам» Пушкина страницы, посвященные Державину и Будри, сохранился написанный Пушкиным сатирический портрет

---

[1] И. Д. Якушкин. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 40.
[2] Там же, с. 42.
[3] Там же, с. 42—43.



В. Л. Давыдов.
*Рисунок Пушкина
1826 г.*

Александра Львовича Давыдова, также относящийся, как можно думать, к «Запискам» поэта.

Портреты декабристов, созданные Пушкиным, не дошли до нас, и это, в связи с неизученностью пушкинского замысла, препятствует пониманию того, что портреты братьев этих героев — и не только братьев по классу, но попросту родных братьев их — представляют собой также страницы, которые должны были войти в состав «Записок» поэта. Важнейшей задачей для Пушкина в период работы над новыми «Записками», как мы уже говорили, было изображение характеров. И предназначавшиеся для этих «Записок» страницы, раскрывающие образ Александра Львовича Давыдова, начинаются по-пушкински глубоким анализом принципов, положенных Шекспиром и Мольером в основу изображения созданных ими характеров.

«Лица, созданные Шекспиром, — говорит здесь Пушкин,— не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока; но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков».

«Разбирая характер Фальстафа», Пушкин вслед за тем пишет: «В молодости моей случай сблизил меня с человеком, в коем природа, казалось, желая подражать Шекспиру, повторила его гениальное создание.*** (Александр Львович Давыдов — Пушкин заменяет здесь его имя тремя звездочками. — *И. Ф.*) был второй Фальстаф: сластолюбив, трус, хвастлив, не глуп, забавен, без всяких правил, слезлив и толст. Одно обстоятельство придавало ему прелесть оригинальную. Он был женат. Шекспир не успел женить своего холостяка. Фальстаф умер у своих приятельниц, не успев быть ни рогатым супругом, ни отцом семейства; сколько сцен, потерянных для кисти Шекспира!

Вот черта, — продолжает Пушкин, — из домашней жизни

моего почтенного друга. Четырехлетний сынок его, вылитый отец, маленький Фальстаф III, однажды в его отсутствие повторял про себя: «Какой папенька хлаблий! как папеньку государь любит!» Мальчика подслушали и кликнули: «Кто тебе это сказывал, Володя?» — «Папенька», — отвечал Володя»[1].

Перед нами вместо героя-декабриста — брат героя, которого Пушкин назвал в стихах величавым рогоносцем, а в прозе — вторым Фальстафом.

Сатирически рисуя в дошедшем до нас отрывке сожженных «Записок» портрет Екатерины II, Пушкин назвал ее «Тартюфом в юбке и в короне», сравнив ее неожиданным образом с лицом, созданным Мольером. Своего «нового Фальстафа» — Александра Львовича Давыдова — Пушкин сатирически сравнивает с шекспировским Фальстафом. Ссылка на прославленный литературный образ играет в данном случае у Пушкина роль, схожую отчасти со ссылкой его на известные всем портреты Державина и Ермолова; вспоминая их, Пушкин не повторял их, а, отправляясь от них, создавал на страницах своих «Записок» новые образы.

Можно заметить, что и в первых, сожженных «Записках» Пушкин не просто характеризует Екатерину II, называя ее «Тартюфом в юбке и в короне». Тартюф в юбке (а не в порфире) и притом в короне — образ разительный. Точно так же, не ограничиваясь тем, что он называет Александра Давыдова вторым Фальстафом, Пушкин говорит, что «четырехлетний сынок его, вылитый отец», был маленький Фальстаф III. Сатирическая характеристика «нового Фальстафа» — Давыдова этим новым, комически варьированным повторением образа обостряется. То есть литературное сравнение, как и ссылка на известные портреты героев, заново воссоздаваемых Пушкиным, служит Пушкину средством, позволяющим ему неожиданно — в данном случае сатирически — раскрыть действительный характер изображаемого лица.

ДУРОВ

К числу острых социальных портретов, созданных Пушкиным, относится портрет Дурова, несомненно подготовленный поэтом для своих «Записок» и лежавший в той же пачке «Table talk», где лежали портреты Державина, Будри и «второго Фальстафа» — Александра Давыдова. Перед нами снова брат героя (точней, героини), гениально изображенный Пушкиным.

«Дуров — брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в военную службу, заслужила Георгиевский крест и теперь издает свои записки». Так начинает Пушкин свой рассказ о

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 516—517.

Дурове, поясняя: «Брат в своем роде не уступает в странности сестре»[1].

«Милостивый государь, Василий Андреевич,— писал Дурову Пушкин 16 июня 1835 года.— Искренне обрадовался я, получа письмо Ваше, напомнившее мне старое, любезное знакомство»[2]. Чему же — и притом так искренне — обрадовался Пушкин, получив письмо Дурова?

«Я познакомился с ним на Кавказе, в 1829 г., возвращаясь из Арзрума,— вспоминает Пушкин в своем рассказе, написанном через четыре месяца после получения им от Дурова письма, напомнившего поэту «старое, любезное знакомство».— Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии,— пишет Пушкин,— и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске».

«Старое, любезное знакомство» с Дуровым, встреченным Пушкиным на возвратном пути из Арзрума, протекало в действительности не во всем так, как вспоминает в своем написанном шесть лет спустя рассказе Пушкин. Михаил Иванович Пущин (брат ближайшего друга поэта — Ивана Ивановича Пущина) говорит о знакомстве Пушкина с Дуровым, состоявшемся в Кисловодске, иначе.

«Тут явилась,— сообщает он,— замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина: Сарапульский городничий Дуров...

Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина; забота его была постоянная заставлять Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души; с утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним.

Приближалось время отъезда; он условился с ним ехать до Москвы; но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки; Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал: что Дуров оказался chevalier d'industrie (шулером. — *И. Ф.*); выиграл у него пять тысяч рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался, поскакал один в Москву, и, вероятно, с Дуровым никогда более не встретится»[3].

Дуров с его рассказами, «восхищавший» и «удивлявший» Пушкина своим «цинизмом», оказался, как характерный тип, так интересен Пушкину, что поэт в самом деле обрадовался, вспомнив о нем, и готов был даже простить ему, что тот, не совсем чисто играя в карты, обыграл его шесть лет назад.

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 109.

[2] Там же, т. X, с. 536.

[3] М. И. Пущин. Встреча с А. С. Пушкиным за Кавказом. — «Русский вестник», 1893, сентябрь, с. 166.

«Дуров,— рассказывает Пушкин,— помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей. Всевозможные способы достать их были им придуманы и передуманы. Иногда ночью в дороге он будил меня вопросом: «Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! как бы, думаете вы, достать мне сто тысяч?» Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия и благополучия, то я бы их украл. «Я об этом думал»,— отвечал мне Дуров.— Ну что ж? — «Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть».— Ну, так украдьте полковую казну.— «Я об этом думал».— Что же? — «Это можно бы сделать летом, когда полк в лагере, а фура с казной стоит у палатки полкового командира. Можно накинуть на дышло длинную веревку и припречь издали лошадь, а там на ней и ускакать, часовой, увидя, что фура скачет без лошадей, вероятно испугается и не будет знать, что делать... Но тут много также неудобства. Не знаете ли вы иного способа?» — Просите денег у государя.— «Я об этом думал».— Что же? — «Я даже и просил...» — Вы бы обратились к Ротшильду. — «Я об этом думал» и т. д.

«Последний прожект его был выманить эти деньги у англичан». Изложив этот «прожект», не уступающий в странности предыдущим, Пушкин добавляет: «Дуров просил меня похлопотать об этом в Петербурге через английского посланника, а свой прожект высказал мне не иначе, как взяв с меня честное слово не воспользоваться им...»

Читая эти пушкинские строки, вы невольно вспоминаете слова Брюллова: «Какой Пушкин счастливец! Так смеется, что словно кишки видны!»[1]

Но, читая отрывок, посвященный изображению Дурова, дальше, мы видим, что смех Пушкина здесь вовсе не безобиден. Пушкин пишет о Дурове: «Он готов был всегда биться об заклад, и о чем бы то ни было. Говорили ли о женщине,— «хотите со мной биться об заклад,— прерывал Дуров,— что через три дня я буду ее иметь?» Стреляли ли в цель из пистолета,— Дуров предлагал встать в 25 шагах и бился о 1000 р., что вы в него не попадете...»

Перед нами не двоюродный даже, а родной брат Ноздрева.

А читая страницы, посвященные Пушкиным Дурову, далее, вспоминаешь уже не героев Гоголя, а героев Щедрина.

«Страсть его к женщинам,— пишет Пушкин, рисуя Дурова,— была также очень замечательна. Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, как она была уже привязана к столбу,

[1] Из рассказов А. О. Россет про Пушкина. — «Русский архив», 1882, кн. I, с. 246.

а он по должности своей присутствовал при ее казни. Он шепнул палачу, чтоб он ее поберег и не трогал ее прелестей, белых и жирных, что и было исполнено, после чего Дуров жил несколько дней с прекрасной каторжницей»[1].

Эти строки предвосхищают страницы щедринской «Истории одного города»; вспомните глуповских городничих и эпизод с наложницей Аленкой, которую один из них приказывает высечь и, насмотревшись на ее «стыдобушку», берет после «экзекуции» к себе в дом.

Страницы, посвященные Пушкиным Дурову, имеют значение более важное, чем кажется на первый взгляд. Отрывки, посвященные «второму Фальстафу» — Давыдову и Дурову, представляют собой законченные, цельные портреты, написанные, как подчеркивает Пушкин, на основе личного знакомства с прототипами: они заслуживают глубокого изучения как образцы, в которых проявилось гениальное реалистическое мастерство Пушкина-портретиста.

Портреты эти рисуют — каждый в отдельности — не просто характерный и потому запомнившийся Пушкину персонаж. Изображая Александра Давыдова, Пушкин создает цельный сатирический портрет и для объяснения характера изображаемого им живого Фальстафа, как мы видели, глубоко анализирует принципы изображения характеров, созданных Шекспиром и Мольером. В «Дурове» Пушкин с необычайной выразительностью рисует открытый им социальный характер, гениально предвосхищая типы, созданные Гоголем и Щедриным. Не утрачивая черт индивидуального портрета, каждый из этих пушкинских героев возводится Пушкиным на степень обобщенного сатирического образа.

ЕРМОЛОВ

Противоречивость личности Ермолова (в котором Грибоедов готов был видеть «сфинкса новейших времен») отражена в написанном Пушкиным в 1829 году литературном портрете Ермолова.

До нас дошли портретные характеристики Ермолова, вышедшие из-под пера Дениса Давыдова и Вяземского. Портрет Ермолова в старости дан Герценом на страницах «Былого и дум».

«Самою внешностью своею, несколько суровою и величавою, головой львообразною,— пишет о Ермолове Вяземский,— складом ума, речью, сильно отчеканенною, он был рожден действовать над народными массами, увлекать их за собою и господствовать ими... В нем была замечательная тонкость и даже хитрость ума; но под конец он слишком перето-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 109—111.

нил и перехитрил. Этим самым дал он против себя оружие противникам своим...»[1] Стараясь — со своей точки зрения — защитить Ермолова, Вяземский замечает, что «мог он быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее», но «это было одно внешнее явление, которое многих обманывало...»[2].

Декабристы прочили Ермолова в члены временного правительства, которое должно было быть создано в случае успеха восстания, и после 14 декабря он был заподозрен и отстранен Николаем I. А так как Ермолов (который называл себя «проконсулом Кавказа») не решился выступить против самодержавия, несмотря на то что располагал большой властью, вооруженными силами и был чрезвычайно популярен в войсках, он разом потерял и доверие царя и доверие декабристов.

Вот почему даже много лет спустя после того, как декабристы обманулись в Ермолове, один из них с таким негодованием писал о нем: «Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и казнь пяти мучеников; мог бы дать России Конституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург. Тотчас же он имел бы прекрасный корпус легкой кавалерии донцов с их артиллерией, столько, сколько бы он захотел. Донцы были недовольны правительством... Они до одного все восстали бы. А об 2-й армии и об Чугуевских казаках и говорить нечего. Она вся была готова, лишь бы девизом восстания было освобождение крестьян от помещиков, десятилетняя военная служба и чтобы казна шла на нужды народа, а не на пустую политику самодержца-деспота. Помещики-дворяне не смогли бы пикнуть и все до одного присоединились бы к грозной армии, ведомой любимым полководцем... Но Ермолов... был всегда только интриган и никогда не был патриотом»[3]. Как выразительно передано здесь значение, какое вкладывали декабристы в слово «патриот»![4]

Противоречивость личности Ермолова, героя 1812 года, завоевателя и вместе усмирителя Кавказа, прославившегося своей жестокостью, отражена в написанном Пушкиным портрете. Пушкин не дает в этом портрете политической характеристики Ермолова, но, изображая внешность Ермолова, вскрывает средствами портретиста глубокую противоречивость его облика. Пушкин пишет:

---

[1] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 170—171.

[2] Там же, с. 71.

[3] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. М., 1931, с. 264.

[4] Вспомним, что Пушкин назвал в 1820 г. восставших против турецкого владычества греков «вольнолюбивыми патриотами».

«С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе»[1].

Создавая литературный портрет Державина, Пушкин показывает, как меняется внешность человека в зависимости от различных и даже противоположных состояний, выражающих в своей противоречивой совокупности действительный характер его. Упоминание о портрете Державина, портрете похожем, но передающем только одну из сторон его образа, является у Пушкина средством, помогающим ему раскрыть противоречивую сущность изображаемого лица. Совершенно такую же роль, какую играет ссылка Пушкина на портрет Державина («где представлен он в колпаке и в халате», то есть в сугубо домашнем, «прозаическом» виде), играет у Пушкина и ссылка на «поэтический» портрет Ермолова, «писанный Довом» (художником Доу).

Пушкин говорит, что Ермолов «разительно напоминает» этот портрет, только когда «он задумывается и хмурится» (на портрете этом Ермолов картинно изображен в бурке, на фоне снежных гор Кавказа). Таким Ермолов бывал и потому мог быть изображен художником. Но Пушкин стремится показать его не только в этом, свойственном Ермолову, но не единственно свойственном ему, «поэтическом» виде.

Денис Давыдов писал в своих записках: «Ермолов имеет голову, которая, будучи украшена седыми в беспорядке лежащими волосами и вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами, невольно напоминает голову льва»[2] («львообразной» назвал голову Ермолова и Вяземский).

Изображая Ермолова, Денис Давыдов, правда, не ограничивается простым сравнением головы Ермолова с головой льва: он пишет, что эта львиная голова «вооружена небольшими, но проницательными и быстрыми глазами». И изображение перестает быть слишком общим, приобретает характерность и сразу заставляет вспомнить, что «благородный» лев — зверь хищный; описание это позволяет нам, кажется, догадываться и о чертах хитрости Ермолова.

«Голова тигра», — пишет, изображая Ермолова, Пушкин. Это много дальше от обычного — «голова льва» и несравненно резче и смелее, чем изображение Ермолова, созданное Денисом

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI, с. 641—642.

[2] Д. Давыдов. Соч., т. I. СПб., 1895, с. 142.



Рисунки Пушкина, сделанные на Кавказе. 1829 г.
Вверху страницы — горцы, позади — горы и сакля.
Ниже — автопортрет (в папахе),
слева от него — профиль А. Н. Оленина, справа
Пушкин нарисовал Наполеона, ниже — Александр I.

Давыдовым. Чтобы пояснить это различие, вспомним, что, говоря о Мирабо, Пушкин сравнивает его со львом, противопоставляя Робеспьеру, которого — не по внешнему сходству, конечно, а стремясь охарактеризовать — называет «сентиментальным тигром»[1].

Пушкин не был апологетом Ермолова; высоко ценя его выдающиеся дарования, желая стать историком «его» кавказских войн и издателем записок Ермолова, Пушкин сумел, однако, увидеть противоречивость личности Ермолова и отметил (в том же «Путешествии в Арзрум») отрицательные черты его деятельности и его жестокость. В одном месте своего «Дневника» 30-х годов Пушкин назвал его даже «великим шарлатаном»[2]. Вот почему, напомнив о «поэтическом портрете» Ермолова, написанном Доу, Пушкин не ограничился, подобно этому портретисту, односторонним изображением Ермолова, а показал его в противоречии, выражающемся даже во внешности его, переданной Пушкиным с такой выразительностью в «Путевых записках» 1829 года. Портрет Ермолова был включен им позднее в «Путешествие в Арзрум». Напечатать же в нем эти страницы Пушкин из-за цензуры не смог.

ДЕЛЬВИГ

«Никто на свете не был мне ближе Дельвига», — писал Пушкин после смерти своего друга. «Боратынский собирается написать жизнь Дельвига, — сообщал он десять дней спустя Плетневу. — Мы все поможем ему нашими воспоминаниями... Я хорошо знаю... его первую молодость... Напишем же втроем жизнь нашего друга»[3].

Замысел этот остался неосуществленным. Плетнев обещал заняться подготовкой материалов, то есть своих воспоминаний о Дельвиге, думая переслать их сперва Пушкину «в цензуру», после которой Пушкин должен был передать их Боратынскому «с своими зачерками и вставками»[4]. Сам Пушкин по поводу напечатанной Плетневым в «Литературной газете» статьи-некролога о Дельвиге писал Плетневу: «Твоя статья о нем прекрасна... но надобно подробностей — изложения его мнений — анекдотов, разбора его стихов etc.»[5]. Такого рода черты и анекдоты, характеризующие Дельвига, Пушкин стал вспоминать и записывать; некоторые из них были опубликованы в «Современнике» в 1837 году в числе различных «Анекдотов

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 34.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 53.
[3] Там же, т. X, с. 334—336.
[4] Пушкин. Поли. собр. соч. в 16-ти т., т. XIV, с. 152.
[5] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 339.



Дельвиг.
Рисунок Пушкина. 1829 г.

и замечаний», сохранившихся в бумагах Пушкина[1]. «Дельвиг однажды вызвал на дуэль Булгарина. Булгарин отказался, сказав: «Скажите барону Дельвигу, что я на своем веку видел более крови, нежели он чернил». Другая, опубликованная тогда же, в 1837 году, заметка Пушкина гласит: «Дельвиг не любил поэзии мистической. Он говаривал: «Чем ближе к небу, тем холоднее»[2].

В «Материалах для биографии А. С. Пушкина» Анненков напечатал в 1855 году уже не заметку в две-три строки, а отрывок из воспоминаний Пушкина о Дельвиге, касающийся последней встречи и беседы их:

«Я ехал с Вяземским из Петербурга в Москву. Дельвиг хотел меня проводить до Царского Села. 10 августа 1830 [года] поутру мы вышли из городу. Вяземский должен был нас догнать на дороге.

Дельвиг обыкновенно просыпался очень поздно, и разбудить

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 450.
[2] Там же, с. 159.

его преждевременно было почти невозможно». («Он спал слишком много», — написал сперва Пушкин, вспоминая характерную особенность Дельвига, о которой не однажды говорили посвященные ему лицейские стихи.) «Но в этот день встал он в осьмом часу, и у него с непривычки кружилась и болела голова. Мы принуждены были зайти в низенький трактир. Дельвиг позавтракал. Мы пошли далее, ему стало легче, головная боль прошла. Он стал весел и говорлив. Завтрак в трактире напомнил ему повесть, которую намеревался он написать. Д [ельвиг] долго обдумывал свои произведения, даже самые мелкие. Он любил в разговорах развивать свои поэтические помыслы, и мы знали его прекрасные создания несколько лет прежде, нежели были они написаны. Но когда наконец он их читал, выраженные в звучных гекзаметрах, они казались нам новыми и неожиданными.

Таким образом, Русская его Идиллия, написанная в самый год его смерти, была в первый раз рассказана мне еще в лицейской зале, после скучного математического класса»[1].

Перед нами воспоминания о последней встрече с Дельвигом, представляющие собой вместе с тем рассказ, важный для биографии самого Пушкина. Рассказ этот предназначался, может быть, для биографии Дельвига, которую должен был написать Боратынский с помощью Пушкина и Плетнева. Писать ее Боратынский было начал, но не написал, и «записки Боратынского о Дельвиге... по-видимому, бесследно пропали»[2]. «Жизнь Дельвига не была закончена и не сохранилась»[3], — пишет современный исследователь.

Пушкин же свои воспоминания о Дельвиге обработал.

Дружба с Дельвигом и смерть его были важными событиями в жизни Пушкина, и рассказ о Дельвиге должен был, конечно, войти в «Биографию» великого поэта. Они были связаны в жизни так тесно, что Пушкин предполагал после смерти Дельвига соединить с его письмами свои письма к нему и издать их вместе[4].

В 1918 году в особняке князей Юсуповых найдена была рукопись Пушкина, написанная на бумаге с водяным знаком «1833». Рукопись эта содержит рассказ о юности Дельвига. И хотя академическое издание печатает этот отрывок в томе критической прозы Пушкина, а Малое академическое издание называет его «набросками неоконченной статьи о Дельвиге»[5],

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 338.

[2] Пушкин. Письма, т. III, ред. Л. Б. Модзалевского. М.—Л., «Academia», 1935, с. 189.

[3] См.: Е. Боратынский. Стихотворения, поэмы, проза, письма. Вступительная статья К. Пигарева. М., 1951, с. 20.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 366.

[5] Там же, т. VII, с. 702.

перед нами несомненно отрывок биографической — и вместе автобиографической — прозы Пушкина, прозы обдуманной, обработанной и совершенной, хотя Пушкин мог дополнить еще впоследствии свой отрывок.

Первый биограф поэта Анненков поместил этот отрывок (автограф которого затерялся и обнаружен был, как сказано, только в 1918 году) в состав «остатков настоящих записок (автобиографии) Пушкина, к числу которых относится, — справедливо подчеркивал Анненков, — и статья о Дельвиге»[1].

Смерть Дельвига открывала возможность появления в печати страниц, посвященных ему, еще при жизни Пушкина. Уцелевший отрывок сожженных «Записок», посвященный Карамзину, Пушкин напечатал после смерти Карамзина, устранив из текста отрывка все, что рассказывал в нем о самом себе. Точно так же мог Пушкин, конечно, напечатать свои воспоминания о Дельвиге, что не помешало бы ему в дальнейшем включить их в свои Автобиографические записки.

Отрывок, о котором мы говорим, посвящен изображению детства и отрочества рано умершего поэта. «Я знал его в лицее, — писал в одном из своих писем после смерти Дельвига Пушкин, — был свидетелем первого незамеченного развития его поэтической души и таланта... С ним читал я Державина и Жуковского — с ним толковал обо всем, что *душу волнует, что сердце томит...*»[2] Строки эти также говорят о том, что воспоминания о Дельвиге, содержащиеся в отрывке, написанном Пушкиным, не могли не войти в «Записки», возобновляемые в эти годы великим поэтом.

«Любовь к поэзии пробудилась в нем рано», — пишет о Дельвиге Пушкин, так верно назвавший себя «свидетелем первого незамеченного развития его поэтической души и таланта». Перед нами рассказ о детстве Дельвига, рассказ очень индивидуализированный, стремящийся показать своеобразие развития этого поэта. «Способности его развивались медленно. Память у него была тупа; понятия ленивы, — пишет Пушкин. — На 14-м году он не знал никакого иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. В нем заметна была только живость воображения». Дальше Пушкин рассказывает о случае, в котором ярко сказалась одаренность Дельвига. «Однажды, — вспоминает Пушкин, — вздумалось ему рассказать нескольким из своих товарищей поход 1807-го года, выдавая себя за очевидца тогдашних происшествий. Его повествование было так живо и правдоподобно и так сильно подействовало на воображение молодых слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. Слух о том дошел до нашего директора А. Ф. Малинов-

---

[1] П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 389.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 336.

ского, который захотел услышать от самого Дельвига рассказ о его приключениях. Дельвиг постыдился признаться во лжи, столь же невинной, как и замысловатой, и решился ее поддержать, что и сделал с удивительным успехом, так что никто из нас не сомневался в истине его рассказов, покаместь он сам не признался в своем вымысле». «В детях, одаренных игривостию ума, — замечает Пушкин, — склонность ко лжи не мешает искренности и прямодушию. Дельвиг, рассказывающий о таинственных своих видениях и о мнимых опасностях, которым будто бы подвергался в обозе отца своего, никогда не лгал в оправдание какой-нибудь вины, для избежания выговора или наказания»[1].

«...Дельвиг никогда не вмешивался в игры, требовавшие проворства и силы; он предпочитал прогулки по аллеям Царского Села и разговоры с товарищами, коих умственные склонности сходствовали с его собственными»[2], — читаем мы далее.

Вскоре после воспоминаний о детстве и юности Дельвига Пушкин написал очерк, в котором рассказывает о детстве Байрона: «В классах он был из последних учеников — и более отличался в играх. По свидетельству его товарищей, — пишет Пушкин о Байроне, — он был резкий, вспыльчивый и злопамятный мальчик, всегда готовый подраться и отплатить старую обиду»[3]. Далее Пушкин говорит о том, как переживания детства сказались на характере Байрона.

В те годы, когда был написан этот очерк, Пушкин готовился к созданию страниц, которые должны были быть посвящены им своему собственному детству. И потому страницы, говорящие о детстве и отрочестве Дельвига, как и очерк, посвященный Пушкиным детству Байрона, которые представляют собой самостоятельный литературный интерес, вместе с тем являлись, бесспорно, для Пушкина опытами биографических изучений в том смысле, в каком он назвал раньше «опытами драматических изучений» свои «Маленькие трагедии». Такого же рода опытом были для него записываемые и обрабатываемые им рассказы о детстве его друга Нащокина, которого он не однажды побуждал продолжать свои «мемории», то есть «Записки».

ВСТРЕЧА С КЮХЕЛЬБЕКЕРОМ

В 1859 году в «Библиографических записках» был впервые опубликован «набросанный, — как указывала редакция, — Пушкиным на клочке бумаги» отрывок из его «записок 1827 го-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VII, с. 314—315.
[2] Там же, с. 315.
[3] Там же, с. 318.

да»[1], посвященный встрече с Кюхельбекером. Фамилия Кюхельбекера при этом не была раскрыта и обозначена была (так же, как в рукописи Пушкина) начальной буквой.

14 октября 1827 года, возвращаясь из Михайловского в Петербург, Пушкин встретился на станции Залазы со своим лицейским другом, которого жандармы везли из Шлиссельбурга в Динабургскую крепость. На другой день, 15 октября, Пушкин писал об этой встрече:

«Вчерашний день был для меня замечателен... На... станции нашел я Шиллерова «Духовидца», но едва успел прочитать я первые страницы, как вдруг подъехали четыре тройки с фельдъегерем... Я вышел взглянуть на них.

Один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели... Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали...»[2]

Рассказ о встрече с Кюхельбекером (Пушкин назвал, как мы видели, эту встречу днем, для него замечательным) должен был войти, конечно, в Автобиографические записки поэта. Но рассказ этот представляет собой, несмотря на свою выразительность, все же заготовку, над которой Пушкину предстояло еще работать. «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили», — пишет Пушкин. Из рапорта фельдъегеря, отправившего в Главный штаб донесение о встрече Пушкина с Кюхельбекером, мы узнаем, какова была эта встреча. Фельдъегерь Подгорный писал:

«Отправлен я был сего месяца 12-го числа в гор. Динабург с государственными преступниками, и по пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытию в С.-Петербург в ту же минуту доложу его императорскому величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин, между угрозами, объявил мне, что он посажен был в крепость

---

[1] «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 132.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 20—21.

и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет»[1].

Год спустя после этой встречи, 10 июля 1828 года, Кюхельбекер писал Пушкину и Грибоедову из Динабургской крепости: «Любезные друзья и братья, поэты Александры. Пишу к вам вместе... Свидания с тобою, Пушкин, ввек не забуду... Простите! Целую вас. В. Кюхельбекер»[2].

Прошел еще год, и на горной дороге, близ крепости Гергеры, Пушкин встретился — в последний раз — с Грибоедовым.

ГРИБОЕДОВ

«Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. «Откуда вы?» — спросил я их. «Из Тегерана». — «Что вы везете?» — «*Грибоеда*». — Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова!..»[3]

Встреча эта была для Пушкина таким же событием, как встреча его с Кюхельбекером, которого везли из крепости в крепость жандармы и рассказ о которой должен был войти в Автобиографические записки поэта.

«Я расстался с ним, — пишет Пушкин, — в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей»[4]. «Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею»[5].

Пушкин продолжил в своем «Путешествии в Арзрум» эти строки другими (без которых невозможно представить себе рассказ о Грибоедове и в Автобиографических записках Пушкина). Перед нами портрет Грибоедова, глубокая характеристика его и вместе рассказ о его судьбе. «Мысли о всей

---

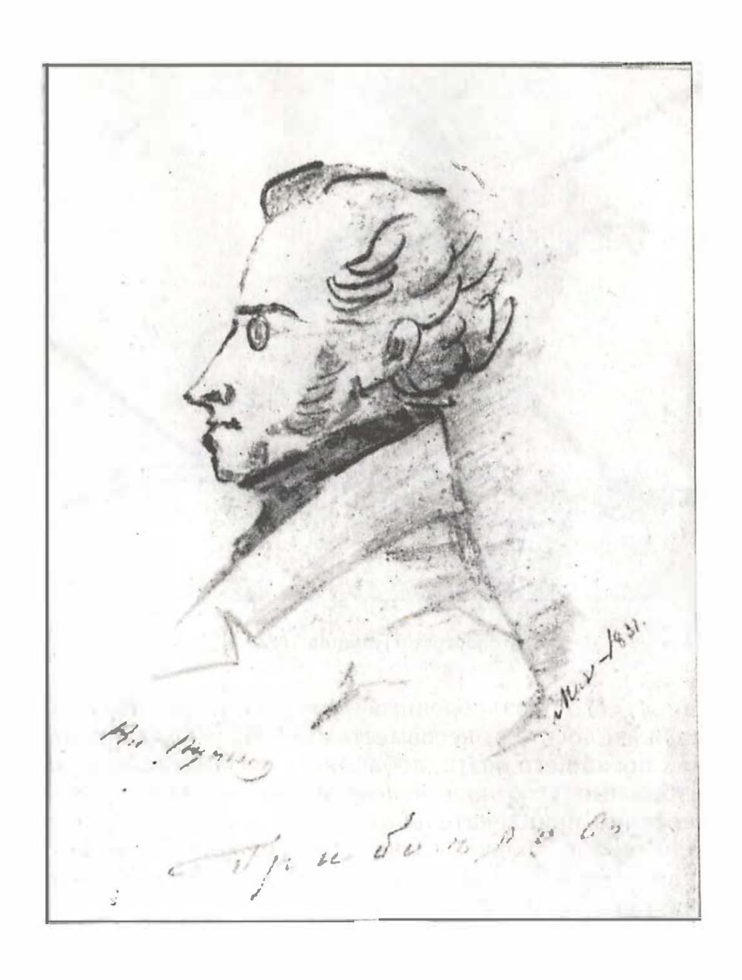
[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 493—494.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIV, с. 22.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI, с. 666.

[4] Там же, с. 666—667, и перевод с. 798 (у Пушкина слова Грибоедова приведены по-французски).

[5] Там же, с. 667.



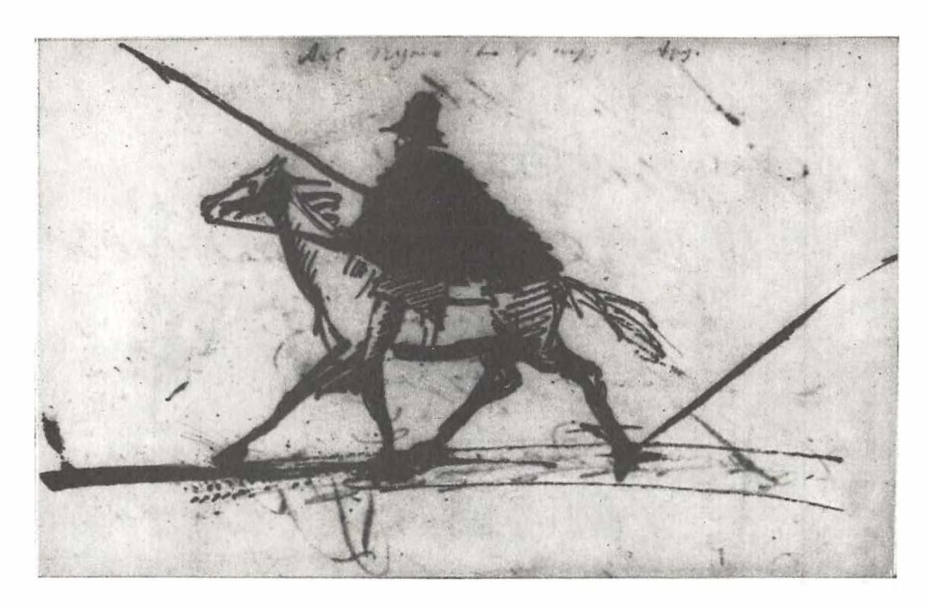
Грибоедов.
Рисунок Пушкина. 1831 г.

значительности фигуры Грибоедова пришли Пушкину в голову отнюдь не сейчас, у останков погибшего поэта», — справедливо подчеркивает один из комментаторов, приводя слова, сказанные Пушкиным о Грибоедове больше чем за год до встречи с его гробом: «Это один из самых умных людей в России»[1]. Пушкин вспоминает в своем рассказе о начале знакомства с ним.

Называя Грибоедова «человеком необыкновенным», Пушкин рисует сложный образ его и резко освещает контрасты, определяющие его. Пушкин вспоминает «меланхолический характер»

---

[1] А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников. Сб. под ред. Зин. Давыдова. Л., 1929, с. 332.



Автопортрет Пушкина. *1829 г.*

Грибоедова, его «озлобленный ум», «его добродушие» — свойства, казалось бы, несовместимые. И, не умалчивая о недостатках погибшего поэта, добавляет: «самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно».

«Люди верят только славе», — говорит Пушкин далее, вспоминая судьбу Грибоедова и годы, предшествовавшие признанию его таланта.

«Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан». (Дарования столь различные и редко соединяющиеся с таким блеском.)

«Даже его холодная и блестящая храбрость» (которая так ясно проявилась в час его гибели, когда он сражался с толпой убийц) «оставалась некоторое время в подозрении», — пишет Пушкин, подразумевая историю его отложенной петербургской дуэли.

Рассказав об отъезде Грибоедова на Кавказ (жизнь его, глухо говорит поэт, «была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств»), Пушкин поясняет: «Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь».

«Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом

в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума», — вспоминает Пушкин, — произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Через несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна»[1].



А. И. Якубович.
(В 1818 г. в Тифлисе дрался на дуэли с Грибоедовым.)
Рисунок Пушкина. 1829 г.

Рассказ о «завидной» судьбе и смерти Грибоедова овеян глубоким раздумьем Пушкина. Страницы, посвященные им Грибоедову, автобиографичны не только в том смысле, что знакомство с Грибоедовым — и даже смерть его — были важным событием в жизни Пушкина. Рассказ о Грибоедове выделяется в «Путешествии в Арзрум», как ни впечатляющи остальные страницы этого «Путешествия». Портрет Грибоедова дан здесь в масштабе историческом — в масштабе всей жизни Грибоедова (и Пушкина). Рассказ этот сопровождается раздумьем Пушкина о судьбах замечательных людей России — и о своей судьбе. «Как жаль, — пишет он, — что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»[2] (Вот о чем говорят эти часто неверно понимаемые слова Пушкина.) В этих строках отразились, конечно, размышления Пушкина и о судьбе своих «Записок». Строки эти помогают понять связь отрывка, посвященного Грибоедову — и включенного Пушкиным в «Путешествие в Арзрум», — с «Записками» Пушкина. Они чрезвычайно напоминают заключительные слова, которыми поэт сопроводил отрывок из своих «Записок», посвященный Абраму Петровичу

---

[1] А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10-ти т., т. VI, с. 667—668.
[2] Там же, с. 668.

Ганнибалу, напечатанный им под видом примечания к первой главе «Онегина». Там он также заметил, что «в России... память замечательных людей скоро исчезает, по причине недостатка исторических записок»[1], и, заявив о своем намерении «со временем... издать полную его биографию», включил рассказ о жизни своего прадеда в собственные Автобиографические записки.

Гроб Грибоедова он встретил на пути к Арзруму, к фронту русско-турецкой войны. Темой неназванной — и так ясно читающейся между строками пушкинского рассказа — оставалось 14 декабря и значение декабрьской катастрофы в судьбе погибшего поэта. «Переворот» в судьбе его — сначала счастливый, потом гибельный — Пушкин связывал с «неописанным действием», которое произвела «рукописная» (то есть декабристская) комедия Грибоедова.

Пушкин знал, что встретится в армии с друзьями-декабристами, которые сосланы были Николаем на Кавказ. От них надеялся он услышать о судьбе «братьев, друзей, товарищей», оставшихся в Сибири. В рассказах участников восстания, может быть, думал он найти правдивый источник для своих «Записок», где собирался писать о 14 декабря и его участниках, которые стали, по собственным его словам, историческими лицами.

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. V, с. 514.



ИСТОРИЯ МОЕГО ВРЕМЕНИ



«Эскизы разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года.»
На этом листе Пушкин в 1826 г. изобразил себя среди профилей декабристов: С. И. Муравьева-Апостола, Рылеева (см. верхний край листа), С. П. Трубецкого (слева над головой Пушкина, Н. Н. Раевского (ниже ее), И. И. Пущина (в середине листа) и других.

НЕИЗУЧЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПУШКИНА



До нас дошел так называемый «Дневник» Пушкина — тетрадь большого формата, заключенная в переплет, замыкающийся стальным замком, и содержащая записи, которые Пушкин день за днем заносил в нее в 1833—1835 годах, датируя каждую запись.

Записи Пушкина касаются не только текущей светской и придворной жизни Петербурга, но и минувших — хотя недавних — исторических событий: убийства Павла I, начала царствования Александра I, падения и ссылки Сперанского в 1812 году. Некоторые из них касаются 14 декабря 1825 года и 13 июля 1826 года, то есть дня казни декабристов, который Пушкин назвал в своем «Дневнике» историческим днем.

Содержание этих записей остается во многом не раскрытым, так как многое Пушкин записывал сокращенным, часто лишь для него самого понятным образом. Чтоб раскрыть содержание интересующих нас страниц пушкинского «Дневника», нужно попытаться выяснить сначала, для чего они предназначались.

Выполнить эту задачу не так просто, потому что «Дневник» Пушкина разнороден по составу — в него входят записи различного назначения. «Поэт тщательно собирал, — верно заметил один из исследователей, — все, что казалось ему важным, и думал использовать этот запас в разных отношениях — и для автобиографии, и для истории, и для беллетристики»[1].

Для какой, однако, «Истории» мог предназначаться собираемый Пушкиным в «Дневнике» материал? Было высказано предположение, что поэт собирал материал «для будущих историков»[2]. Другой исследователь говорил уже не только о будущих историках, замечая, что «Дневник» Пушкина должен был послужить «ему ли самому, или кому другому, как материал

---

[1] Н. Лернер. Проза Пушкина, изд. 2-е. Пг.—М., 1923, с. 108.
[2] А. С. Пушкин. Соч., ред. Б. Томашевского. Л., 1937, с. 949.

для истории его времени»[1]. Назначение записей Пушкина, таким образом, до сих пор точно не выяснено, а не определив его, трудно действительно понять, с какой целью и каким образом собирал Пушкин в своем «Дневнике» исторический материал. Мы должны поэтому постараться понять его замысел и установить: успел ли Пушкин сделать что-либо для его осуществления?

До нас дошло свидетельство о том, что уже во второй половине 20-х годов Пушкин задумал написать, наряду с «Историей Петра», историю своего времени. Через два года после восстания декабристов он сказал одному из своих друзей: «Я непременно напишу историю Петра I, а Александрову — пером Курбского». И добавил: «Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться. Теперь уже можно писать царствование Николая и об 14-м декабря»[2].

Таким образом, «историю Александрову» Пушкин решил писать как обличитель («пером Курбского»). И вместе с тем дал понять, что задуманный им труд может охватить со временем историю 14 декабря и «царствование Николая».

Рассказ об этом историческом замысле записал — на другой день после того, как услышал о нем от самого Пушкина, — А. Н. Вульф — приятель поэта, оставивший нам, по признанию исследователей, «авторитетнейшие, ценнейшие сообщения к характеристике литературной деятельности» Пушкина[3]. Но задуманная Пушкиным история своего времени осталась ненаписанной, и этот замысел поэта остается в тени. Необходимо раскрыть его.

«Непременно должно описывать современные происшествия, чтобы могли на нас ссылаться», — сказал Пушкин. Слова эти иногда приводят, касаясь «Дневника» поэта. Но одно дело «описывать современные происшествия» с целью оставить будущим историкам правдивые свидетельства современника, другое — писать историю своего времени. Это ясно сознавали современники поэта.

«Записки и история суть два рода сочинений, разнствующие во многом, — писал декабрист П. Н. Свистунов, подчеркивая различие между Записками и Историей своего времени. — Записки суть не что иное, как воспоминания частного лица или государственного мужа о событиях, близко его касающихся, которых он был очевидцем или в которых участвовал.

---

[1] А. С. Пушкин. Дневник (см. предисл. Б. Л. Модзалевского). М.—Пг., 1923, с. IV.

[2] А. Н. Вульф. Выдержки из дневника, запись от 16 сентября 1827 г. — «Русская старина», 1899, март, с. 512.

[3] См. вступительную статью П. Е. Щеголева к кн: А. Н. Вульф. Дневники. М., 1929, с. 69, а также комментарий С. Гессена в сб.: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936, с. 597.



Александр I.
Рисунок Пушкина. 1819 г.

История же есть труд ученый, требующий собрания многих документов и тщательного изучения их»[1].

В разговоре с А. Н. Вульфом Пушкин ясно указал на свой замысел — не ограничиться свидетельскими показаниями, то есть записками современника, а написать — наряду с «Историей Петра» — «историю Александрову». Смелый замысел поэта остался неосуществленным, но Пушкин, занятый в 30-е годы другими историческими работами («Историей Петра» и «Историей Пугачева»), не оставлял, по-видимому, мысли возвратиться к нему и написать историю своего времени,

[1] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. II, М., 1933, с. 283.

которую задумал еще в 1827 году. Поэтому он готовил материалы для нее.

Историю своего времени Пушкин собирался писать, черпая материалы из первоисточников, то есть прежде всего из рассказов и записок участников исторических событий; рассказы эти он и записывал на страницах своего «Дневника». Пушкин сам намекает на это и дает даже понять, что некоторые — наиболее проницательные — собеседники поэта могли догадываться о цели его расспросов. «*Вы и Аракчеев,* — сказал Пушкин, касаясь царствования Александра I, Сперанскому и занося свой разговор с ним в «Дневник», — *вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как Гении Зла и Блага»*. Сперанский, говорит Пушкин, «отвечал комплиментами и советовал мне писать Историю моего времени»[1].

Обращенные к Сперанскому слова поэта носили в известной мере комплиментарный характер. Но воспоминания Сперанского и Аракчеева бесспорно нужны были Пушкину как материал для истории (и характеристики) царствования Александра I. «Аракчеев... умер. Об этом во всей России жалею я один, — не удалось мне с ним свидеться и наговориться»[2], — писал (в той же связи, конечно) три недели спустя Пушкин жене.

Многое в своем «Дневнике» Пушкин записывал, как мы уже говорили, сжато, скупым, лишь для него самого понятным образом; и это также свидетельствует, что Пушкин собирал в «Дневнике» материал не только для «будущих историков» или «кого другого», а прежде всего для себя, то есть для осуществления своего исторического замысла.

После 14 декабря 1825 года Пушкину пришлось уничтожить свои «Записки». Внося теперь в свой «Дневник» записи, смело касающиеся событий современной ему политической истории, Пушкин должен был найти способы, которые облегчали бы ему возможность сберечь собираемый для новой работы исторический материал.

Подготовляя изображение исторического события, писать о котором было запрещено, Пушкин закреплял иногда в «Дневнике» лишь цензурную — на первый взгляд — часть задуманной картины. Закреплял, прямо подразумевая запретное целое; при этом он иногда осторожно касался в «Дневнике» собранного им изустно (или почерпнутого в записках современников) запретного исторического материала.. Такой способ работы облегчал ему возможность воссоздать в дальнейшем задуманную картину в целом.

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 324.
[2] Там же, т. X, с. 475.

Вот как записал он, например, в своем «Дневнике» рассказ о ссылке Сперанского.

История падения и ссылки Сперанского оставалась много лет под запретом. Когда в 1848 году Булгарин (даже Булгарин! — *И. Ф.*) решился коснуться ее в своих «Воспоминаниях», Николай I заметил, что они «как бы накидывают перед публикой тень на характер Александра», касаясь «подробностей такого дела, которое правительством доныне всегда оставляемо было под покровом тайны и слишком... близко к нашей эпохе, чтобы частное лицо дерзало... приподымать всенародно край этого покрова»[1].

Сперанский «рассказывал мне о своем изгнании в 1812 году»[2], — пишет Пушкин. Но из исторического рассказа Сперанского записывает в «Дневнике» только анекдот о том, что, когда «на одной станции не давали ему лошадей», сопровождавший Сперанского в ссылку полицейский чиновник «пришел просить покровительства у своего арестанта. — Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают...»[3].

Если мы вспомним, как важен был для задуманной Пушкиным «истории Александровой» рассказ Сперанского, то поймем, что, приводя в «Дневнике» из рассказа о ссылке его только запоминающуюся подробность, Пушкин записал, конечно, только часть вместо целого, о котором эта анекдотическая подробность должна будет напомнить ему, когда он обратится в своей «Истории» к изображению падения Сперанского.

Пример этот дает понятие о способе, применяемом Пушкиным не только когда он касается в своем «Дневнике» запретного материала: записывая интересный исторический анекдот, он имеет в виду и все то, что скрывается за записываемой им деталью. Если бы Пушкин записал подобным способом свое неизвестное нам стихотворение, попытка восстановить содержание последнего не могла бы рассчитывать на успех. Однако, когда речь идет об исторических записях поэта, положение существенно меняется. И мы можем в ряде случаев раскрыть, какие именно — во времена Пушкина запретные, а ныне хорошо известные нам — исторические факты он закреплял в своем «Дневнике».

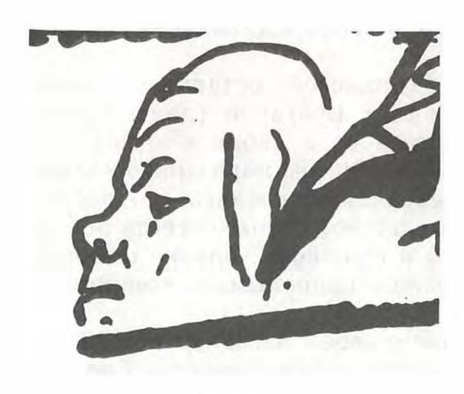
«Бросается в глаза», верно отметил один из исследователей, что «Дневник» Пушкина, «скользя по незначительным событиям светской жизни, настойчиво отмечает явления, связанные с двумя по-прежнему интересующими поэта датами.

---

[1] М. Лемке. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. СПб., 1904, с. 215.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 42.

[3] Там же.



Павел I.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

Одна из этих дат — 11 марта — убийство Павла. Вторая — 14 декабря»[1]. Однако ответа на вопрос, с какой целью касается Пушкин в «Дневнике» названных событий, исследователи не дают. Между тем на вопрос этот можно ответить: события эти Пушкин готовился воссоздать в задуманной им истории своего времени.

Писать об 11 марта значило, разумеется, писать не только о Павле, но и об Александре, перешагнувшем через труп отца. И мы находим действительно в «Дневнике» Пушкина сцену, изображающую Александра в первую ночь его царствования. Это место «Дневника» начинается рассказом о том, как вызван был ночью во дворец опальный Трощинский. Он не знает еще о совершившемся убийстве Павла. «Наконец видит он, что ведут его на половину великого князя Александра. Тут только, — пишет Пушкин, — догадался он о перемене, происшедшей в государстве...»[2] «Трощинский нашел государя в мундире, облокотившимся на стол и всего в слезах. Александр кинулся ему на шею и сказал: — Будь моим руководителем. — Тут был тотчас же написан манифест и подписан государем, не имевшим силы ничем заняться»[3].

Сцена кажется на первый взгляд невинной: так естественно, что молодой император «весь в слезах», — он только что лишился отца. Но прорисованные Пушкиным детали говорят, если вдуматься, о далеко не невинном характере этой сцены. Изображая Александра в ночь дворцового переворота, Пушкин подразумевает при этом другую, неотделимую предшествующую сцену — сцену убийства Павла.

С поражавшей современников смелостью поэт изобразил смерть Павла в строфах «Вольности». «Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою», — заметил он в своих «Записках» в начале 20-х годов. Страницы его «Дневника» говорят о собирании и изучении источников, знакомство с которыми давало Пушкину возможность исторически правдиво

---

[1] Д. Якубович. Дневник Пушкина. — В сб.: Пушкин. 1834 год. Л., 1934, с. 39.

[2] В действительности «перемена» эта не была для Трощинского неожиданной: он был осведомлен о том, что она готовилась, и, по некоторым сведениям, предложил заговорщикам проект манифеста, по которому Павел должен был признать Александра своим соправителем.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 55.

воссоздать в задуманной им «Истории» картину 11 марта во всей ее мрачной выразительности.

«Говорили многое о Павле I-м — романтическом нашем императоре», — записал Пушкин 2 июня 1834 года в «Дневнике», вспоминая вечер у Карамзиной, где собрались его друзья Вяземский, Жуковский и Полетика. «Я очень люблю Полетику»[1], — замечает Пушкин. Лишь за несколько дней до того поэт записал его рассказы о последних годах царствования Екатерины II. Свои воспоминания о Павле Полетика записал сам; обратившись к ним, мы узнаем, какого рода рассказы, живо рисующие обстановку последних лет павловского царствования, сообщал Полетика Пушкину и его друзьям.

«Это было в 1799 или 1800 году... — рассказывает Полетика. — Я завидел вдали едущего мне навстречу верхом императора и с ним ненавистного Кутайсова. Таковая встреча была для всех предметом страха... Я успел заблаговременно укрыться за деревянным обветшалым забором, который, как и теперь, окружал Исаакиевскую церковь. Когда, смотря в щель забора, я увидел проезжающего государя, то стоявший неподалеку от меня инвалид, один из сторожей за материалами, сказал: «Вот-ста наш Пугачев едет!» Я, обратясь к нему, спросил: «Как ты смеешь так отзываться о своем государе?» Он, поглядев на меня, без всякого смущения отвечал: «А что, барин, ты, видно, и сам так думаешь, ибо прячешься от него». Отвечать было нечего...»[2]

Не менее интересны и другие рассказы Полетики о Павле I, которые были опубликованы впоследствии в его записках. Но это все-таки лишь заинтересовавшие Пушкина рассказы современника, а не участника заговора 11 марта.

В течение первых дней после убийства Павла заговорщики открыто хвастали своим участием в нем. Но вскоре Александр, возведенный на престол заговорщиками, подверг их опале. Рассказы об 11 марта оказались под запретом, и самодержавная власть начала охоту за мемуарами участников заговора. «Наше правительство следит за всеми, кто пишет записки, и по смерти лица покупает их дорогой ценой у наследников» или попросту изымает, — сообщал декабрист Волконский, вспоминая судьбу записок и бумаг Бенигсена и Платона Зубова — виднейших участников убийства Павла[3].

В «Дневнике» Пушкин кратко фиксировал свое знакомство с запретными источниками, говорящими об истории загово-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 53.

[2] П. И. Полетика. Воспоминания. — «Русский архив», 1885, кн. III, с. 319—320.

[3] С. Г. Волконский. Записки. СПб., изд. М. С. Волконского, 1901, с 142.

ра. Поддающейся раскрытию записью являются, например, строки «Дневника», касающиеся записок генерала Болховского; строки эти представляют на первый взгляд только анекдотический интерес, а между тем значение их оказывается существенным, важным.

«Генерал Болховской хотел писать записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе, — указывает Пушкин, — он их мне читал). Киселев сказал ему: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать? Что ты видел?» — «Что я видел? — возразил Болховской. — Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет». «Начиная, — объяснил он, — с того», что он видел смерть Екатерины II, — и рассказал тут же о некоторых анекдотических подробностях ее смерти, очевидцем которой он был[1]. (О том, какой характер носили эти подробности, можно судить по тому, что, вспоминая этот рассказ Болховского, Пушкин в одном из своих сатирических стихотворных набросков упомянул, что Екатерина умерла, «садясь на судно».)

Перед нами, кажется, запись о глупом генерале, который ничего стоящего внимания в жизни не видел, а между тем пишет почему-то мемуары. И на вопрос: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать?» — в состоянии дать только анекдотический ответ.

Запись Пушкина действительно касается вопроса о том, что видел Болховской, — то есть Пушкин, упоминая о записках Болховского, имеет в виду содержание его воспоминаний (или записок), которые тот читал Пушкину в Кишиневе. Но, касаясь воспоминаний Болховского, Пушкин приводит, как видим, только начало их, то есть только «курьезное наблюдение», сделанное Болховским в день смерти Екатерины, ради которого Пушкин и внес, по мнению комментаторов[2], упоминание о записках Болховского в свой «Дневник».

Между тем рассказом о смерти Екатерины II Болховской мог бы, как он и ответил Киселеву, разве только начать свои записки: он стоял во дворце в карауле не только в день смерти Екатерины, но и в ночь смерти Павла и являлся участником его убийства. Когда имя Болховского произнесено было в присутствии Александра I, молодой император сказал: «Знаете ли вы, что это за человек? Он схватил за волосы мертвую голову моего отца, бросил ее с силой оземь и крикнул: «Вот тиран!»[3]

Болховской не скрывал своего участия в цареубийстве;

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 53.

[2] См.: Дневник А. С. Пушкина, ред Б. Л. Модзалевского. М.—Пг., 1923, с. 192.

[3] Об этом рассказывает в своих записках начальник тайной полиции при Александре I де Санглен. (См. сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., изд. А. С. Суворина, 1907, с. 367).

он, вспоминает друг Пушкина А. О. Смирнова, «этим хвастался»[1]. Пушкин знал о подробностях цареубийства из воспоминаний Болховского; приводя в своем «Дневнике» анекдотический рассказ его о смерти Екатерины, Пушкин вспоминал, конечно, его рассказ об убийстве Павла.



А. О. Смирнова-Россет.
Рисунок Пушкина. 1833 г.

О том, что поэт хорошо знал и помнил рассказ Болховского о цареубийстве 11 марта, ясно свидетельствуют воспоминания Липранди. «Умный разговор» и «известность» Болховского, пишет он, вспоминая пребывание поэта в Кишиневе, «очень нравились Пушкину, но один раз он чуть-чуть не потерял расположение к себе генерала», — когда после обеда, «приподнявшись несколько, произнес: «Дмитрий Николаевич! Ваше здоровье».— «Это за что?» — спросил генерал. «Сегодня 11-е марта», — отвечал Пушкин... Генерал вспыхнул». Отношения Пушкина с Болховским потом уладились, и поэт продолжал бывать у него, но, замечает Липранди, «как-то реже»[2]. В эти годы напоминание об 11 марта стало для Болховского, который прежде «хвастал» своим участием в цареубийстве, нежелательным и даже опасным. Строки воспоминаний Липранди дают, как видим, возможность не предположительно только, а с полной уверенностью утверждать, что, говоря в своем «Дневнике» о записках Болховского, Пушкин вспоминал не только рассказ его о смерти Екатерины, но и действительно важное свидетельство его о цареубийстве 11 марта.

Размышляя о том, как могли проникнуть в зарубежную историческую литературу чрезвычайно «верные и подробные известия» об умерщвлении Павла, Александра Осиповна Смирнова поясняла, что, помимо Болховского, «граф Ланжерон также способствовал разглашению этих ужасных подробностей» и «написал воспоминания об этой эпохе»[3].

«Революционною бурею выброшенный из своего отечества, он беззаботно и весело прожил век в чужой земле и дослужился

---

[1] А. О. Смирнова. Записки. М., 1929, с. 293.

[2] Характерно, что, печатая свои воспоминания почти полвека спустя после того, как произошел только что переданный эпизод, монархист Липранди исключил из печатного текста их рассказ о том, как Пушкин провозгласил здоровье Болховского в годовщину убийства Павла, и потому рассказ этот увидел свет только в советское время, впервые в «Летописи Государственного литературного музея». — «Пушкин». М., 1936, кн. I, с. 551—552; см. публ. и коммент. М. Цявловского.

[3] А. О Смирнова. Записки. М., 1929, с. 293.

у нас до высокого чина и голубой ленты», — писал о Ланжероне Вигель, мастер злых характеристик и карикатурных портретов. «С тех пор, как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видно не было»[1], — говорит он вдобавок. Репутация эта укрепилась за Ланжероном, и изучение отношений его с Пушкиным шло поэтому как-то по касательной: вспоминали большей частью, что граф мучил поэта чтением своих трагедий. Между тем столь нелестное представление о Ланжероне и о значении, какое имело для Пушкина знакомство с ним, являлось поверхностным. Пушкин сблизился с ним в Одессе и встречался позднее в Петербурге. Ланжерон был, конечно, для Пушкина необычайно интересным рассказчиком. Но, добавим, не только рассказчиком. Воспоминаниями об исторических событиях Ланжерон делился не только в беседах с друзьями: в эти годы он пересматривал и редактировал свои замечательные мемуары. Обращение к ним, — а они к изучению замыслов Пушкина до сих пор не привлекались, — открывает нам важный источник исторической осведомленности поэта.

Мемуары Ланжерона, записавшего в начале царствования Александра I воспоминания руководителей заговора — Палена и Бенигсена, с которыми он был в самых дружеских отношениях, — очутились после смерти Ланжерона в Париже. Как они попали туда, объясняет обнаруженная нами в бумагах Александра Ивановича Тургенева карандашная запись, набросанная на клочке бумаги[2]. Тургенев сообщает в ней, что рукопись своих обширных мемуаров Ланжерон оставил французскому консулу в Одессе, который предложил затем вдове графа издать их. И так как согласиться на это она не решилась, мемуары были пересланы консулом в парижский архив. Они стали поэтому сначала достоянием французских историков; записку «О смерти Павла I», целиком включенную Ланжероном в свои мемуары, впервые использовал Тьер в «Истории консульства и империи». В России же эта записка Ланжерона смогла увидеть свет лишь после революции 1905 года[3].

Но в своей карандашной записи А. И. Тургенев сообщает, что, прежде чем мемуары Ланжерона очутились в парижском архиве, они читаны были «многими лицами в Одессе, как при жизни графа Ланжерона, так и после смерти его».

С Пушкиным Ланжерон был так откровенен, что показывал ему письма Александра (наследника Павла), писанные незадол-

[1] Ф. Ф. Вигель. Керчь. Прилож. к седьмой части его «Записок». М., изд. «Русского архива», 1893, с. 41.

[2] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 4108 (оригинал на франц. яз).

[3] Сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников, СПб., изд. А. С. Суворина, 1907, с. 129—153.

го до 11 марта. В одном из этих писем наследник прямо признавался Ланжерону: «Я Вам пишу мало и редко, потому что я под топором». Эта фраза, вспоминает Пушкин в своем дневнике 21 мая 1834 года, «меня поразила». «Ланжерон был тогда недоволен, — добавляет поэт, — и сказал мне: «Вот как он... (Александр. — *И. Ф.*) писал; он обращался со мною, как с другом, все мне поверял, зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф...»[1] (Офицерским шарфом задушен был Павел.)

Как видим, Ланжерон, способствовавший разглашению «ужасных подробностей» смерти Павла, беседуя с Пушкиным, вспоминал с полной откровенностью о заговоре 11 марта и, пренебрегая всякой осторожностью, знакомил его с письмами Александра, которые поразили поэта. Едва ли можно сомневаться, что Ланжерон, дававший одесским друзьям читать свои мемуары, познакомил Пушкина и с включенными в их состав воспоминаниями Палена и Бенигсена об убийстве Павла. И потому обращение к мемуарам Ланжерона, сознававшего историческое значение этих воспоминаний, может помочь нам установить, что было известно Пушкину о заговоре 11 марта.

Писать об 11 марта значило писать об Александре I, перешагнувшем через труп отца. «Он мог снести все лишения, все страдания, все оскорбления. Только воспоминание о смерти отца, мысль о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводила в исступление»[2], — говорит в своих воспоминаниях об Александре монархист Греч.

Александр «окружен был убийцами его отца, — писал Пушкин, вспоминая 11 марта. — Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14-го декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины»[3]. Этой жестокой истиной было обвинение в соучастии Александра с заговорщиками.

Записанные Ланжероном воспоминания Палена содержат ясные доказательства виновности Александра. Не решаясь встречаться с наследником, Пален обменивался с ним записками. Но однажды, рассказывает Пален, Павел увлек его в свой кабинет, едва только он успел сунуть в карман записку великого князя. «Император заговорил о вещах безразличных; он был в духе в этот день, развеселился, шутил со мною, — вспоминал Пален, — и даже осмелился залезть руками ко мне в карман, сказав: — Я хочу посмотреть, что там такое, — может быть, любовные письма!..

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 51—52 и с. 561 (перевод французской фразы).

[2] Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 327.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 40.

— Как же выпутались вы из этого опасного положения? — спросил Ланжерон.

— А вот как, — ответил Пален, — я сказал императору: «Ваше величество! что вы делаете? оставьте! ведь вы терпеть не можете табаку, а я его усердно нюхаю, мой носовой платок весь пропитан; вы перепачкаете себе руки...» Тогда он отнял руки и сказал мне: «Фи, какое свинство! вы правы!..» Вот как я вывернулся».

За четыре дня до того, как удар был наконец нанесен, Павел спросил Палена в упор: «Вы были здесь в 1762 году?» (В этот год заговорщиками задушен был Петр III.) «Но почему, ваше величество, задаете вы мне подобный вопрос?» — спросил Пален. «Потому что хотят повторить 1762 год...»

— Да, ваше величество, хотят! Я это знаю и участвую в заговоре, — отвечал Пален, — и должен делать вид, что участвую... Ибо как мог бы я узнать, что намерены они делать, если не притворюсь, что хочу способствовать их замыслам?.. Я держу в руках все нити заговора, и скоро все станет вам известно...

На этом наш разговор, рассказывал Пален, и остановился; я тотчас же написал про него великому князю, убеждая его завтра же нанести задуманный удар; он заставил меня отсрочить его до 11-го дня, когда дежурным будет третий батальон Семеновского полка, в котором он был уверен еще более, чем в других остальных...»

Но, как рассказывал Пален Ланжерону, Александр потребовал обещания, что, устраняя Павла, заговорщики не станут покушаться на его жизнь. «Я дал ему слово, — сказал Ланжерону Пален, пояснив откровенно: — Я не был настолько лишен смысла, чтоб внутренне взять на себя обязательство исполнить вещь невозможную; но надо было успокоить щепетильность моего будущего государя...» По поводу этой лицемерной «щепетильности» Герцен недаром заметил, что отца Александр «позволил убить — только не до смерти...».

Пален не желал быть, как он и сказал Ланжерону, «ни очевидцем, ни действующим лицом» при умерщвлении Павла. Только «накануне дня, назначенного для выполнения его замыслов, он открыл мне их, — сказал Бенигсен Ланжерону, добавив: — Я согласился на все, что он предложил».

«В намеченный день, — продолжает Бенигсен свой рассказ, слово в слово записанный Ланжероном, — мы все собрались к Палену, я застал там трех Зубовых, Уварова, много офицеров гвардии: все были по меньшей мере разгорячены шампанским». Когда Бенигсен привел заговорщиков к дверям императорской спальни и они ворвались в нее, «Павел

забился в один из углов маленьких ширм, загораживавших простую без полога кровать, на которой он спал...

Как и все другие... — вспоминал Бенигсен, — я был в парадном мундире, в шарфе, в ленте через плечо, в шляпе и со шпагой в руке». Рассказав о пререканиях, в которые Платон Зубов вступил с императором, Бенигсен не пожелал описать сцену убийства. Заговорщики, сказал он Ланжерону, «теснясь один на другого, опрокинули ширмы на лампу, стоявшую на полу, посреди комнаты, лампа потухла. Я вышел на минуту в другую комнату за свечой, и в течение этого короткого промежутка времени прекратилось существование Павла».

На этом, пишет Ланжерон, Бенигсен кончил свой рассказ. И добавляет: «Бенигсен не захотел мне больше ничего говорить, однако оказывается, что он был очевидцем смерти императора, но не участвовал в убийстве...» Убийцы Павла, замечает Ланжерон, «не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы задушить его; говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел»[1].

Обо всем этом Пушкин имел возможность узнать от Ланжерона. Но и до знакомства с ним и поздней поэт старался проверить и дополнить собранные им сведения рассказами и записками других участников убийства Павла.

По свидетельству одного из современников, Болховской также хвалился, будто шарф его получил историческую известность, то есть рассказывал, что его шарфом задушен был Павел.

Но Пушкин продолжал расспросы. И 8 марта 1834 года, в том же году, когда он вспомнил о Болховском и его записках, Пушкин записывает в дневнике: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмон цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта. Они сели. В эту минуту входит государь с гр. Бенкендорфом и застает наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцею его отца! Скарятин, — замечает здесь Пушкин, — снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла 1-го»[2]. Рассказ Скарятина, как видим, также был известен поэту.

«Уваров, один из цареубийц 11-го марта, — записывает Пушкин в тот же день. — На похоронах Уварова покойный государь (Александр I. — *И. Ф.*) следовал за гробом. Аракчеев сказал громко: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит?..»[3]

Своеобразным источником для истории 11 марта были

[1] Из записок графа Ланжерона. — В сб.: Цареубийство 11 марта 1801 года, СПб., 1907, с 129—153.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 38.

[3] Там же, с. 39.

записки вдовы Павла — императрицы Марии Федоровны, которая, услышав, что Павел убит, выбежала босиком, в ночной сорочке, крича: «Я хочу царствовать!», а также записки Елизаветы Алексеевны — жены Александра I. Пушкин жалел, что они уничтожены. «Елисавета Алексеевна писала свои» записки, говорит он в дневнике, «они были сожжены ее фрейлиною; Мария Федоровна также, государь сжег их по ее приказанию. Какая потеря!»[1]

Декабристы с негодованием отвергали «серальный», то есть дворцовый переворот. Об убийстве Павла Пушкин в «Вольности» сказал:

Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

Поздней как историк он стремился воссоздать политическую историю заговора, окончившегося простой сменой царя, а не введением в России обещанной молодым Александром «хартии», то есть конституции, ограничивающей власть самодержца.

Ни Пален, стоявший во главе заговора, ни Бенигсен, руководивший исполнением его, не уделили в своих воспоминаниях внимания этой чрезвычайно важной для Пушкина исторической стороне вопроса. Ей посвящена запись, сделанная Пушкиным на отдельном листе, под которой помечено: «Слышал от Дмитриева».

Записками Дмитриева, поэта и министра, Пушкин воспользовался в своей «Истории Пугачева» (Дмитриев присутствовал при казни Пугачева). «Записки Дмитриева содержат много любопытного... — заметил друг Пушкина Вяземский. — Но жаль, что он пишет их в мундире. По-настоящему должно приложить бы к ним *словесные прибавления,* заимствованные из его разговоров, обыкновенно откровенных, особливо же в избранном кругу»[2]. Таким словесным прибавлением и является рассказ его, записанный Пушкиным. Вот этот рассказ.

«Дмитриев предлагал императору Александру Муравьева в сенаторы. Царь отказал начисто и, помолчав, объяснил на то причину. Он был в заговоре Палена. Пален заставил Муравьева писать конституцию, — а между тем произошло дело 11 марта. Муравьев хвастался, в последствии времени, что он будто бы не иначе соглашался на революцию (то есть на устранение Павла и возведение на престол Александра. — *И. Ф.*), как с тем, чтобы наследник подписал хартию. Вздор. — План был начертан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раскаясь и будучи осыпан милостями Павла. Падение Панина произошло оттого, что он сказал, что все произошло

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 31.
[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. IX. СПб., 1884, с. 36.

по его плану. Слова сии были доведены до государыни Марии Федоровны — и Панин был удален»[1].

Пушкин знал, таким образом, о первоначальном проекте заговорщиков: не только устранить Павла, но и потребовать от Александра «хартии», ограничивающей самодержавную власть. Знал историю падения Панина, которому принадлежали и первоначальный план заговора и мысль о конституции. Но, воспользовавшись плодами дворцового переворота, Александр обманул ожидания и не подписал обещанной «хартии».

«Властитель слабый и лукавый», — сказал о нем Пушкин в «Онегине»...

Если мы вернемся теперь к сцене, изображающей Александра I в первые часы его царствования, зная, что Пушкин подготовлял правдивое изображение убийства Павла, значение этой сцены предстанет перед нами в настоящем свете. Можно добавить, что Пушкин не случайно изображает Александра в эти первые часы таким же слабым (все делают за него другие), «не имевшим силы ничем заняться», каким новый император не раз обнаружил себя впоследствии в решающие дни своего царствования.

Рассказы, включенные Пушкиным в «Дневник», полны не только исторического, но и художественного смысла и не являются поэтому всего лишь сырым историческим материалом — простой записью событий. Пушкин намечает целые исторические сцены, попутно изображая иногда не только основных, но и второстепенных участников событий. Читая записанный Пушкиным в «Дневнике» рассказ, касающийся 11 марта, мы видим не только Александра I, но и вызванного во дворец Трощинского.

Перед нами не только портрет, но и пейзаж — исторический пейзаж, вправе сказать читатель. Пушкин изображает как будто только необходимые обстоятельства действия: фельдъегерь стучится в ворота спящего дома, будит его, отыскав камень в протаявшем снегу и пустив его в окошко, — и мы видим петербургскую мартовскую ночь, ночь убийства Павла.

Николай I в пушкинском «Дневнике» показан в минуту, когда ему доносят о только что совершенной казни декабристов.

Печатая «Записки» декабриста Якушкина, Герцен счел нужным дополнить строки, посвященные в них описанию казни, рассказом Дениса Давыдова, изображающим Николая I в ночь перед казнью. «Странный характер у нашего нынешнего государя... — писал Денис Давыдов. — Накануне казни

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 106—107.

главнейших заговорщиков 14 декабря он во весь вечер изыскивал все способы, чтобы придать этой картине наиболее мрачный характер: в течение ночи последовало высочайшее повеление, на основании которого приказано было барабанщикам бить во все время бой, какой употребляется при наказании солдат сквозь строй»[1]. «Какой нрав был у этого человека, еще совсем молодого в 1826 году»[2], — замечает по этому поводу Герцен.

Образ Николая, каким он предстает в ночь перед казнью, остановил на себе внимание Льва Толстого в пору его работы над романом о декабристах. Прочитав собственноручное повеление Николая, определявшее обряд казни декабристов, и обратив особенное внимание, как и Денис Давыдов, на приказ Николая — «когда их выведут, барабанам пробить мелкую дробь», Толстой заметил: «Для меня это ключ, отперший не столько историческую, сколько психологическую дверь»[3].

Денис Давыдов изобразил в своих «Записках» ночь приговорившего к казни. Пушкин показывает Николая в день казни. «13 июля 1826 года в полдень государь находился в Царском Селе, — пишет Пушкин, казалось бы бесстрастно фиксируя подробности исторического дня. — Он стоял над прудом, что за Кагульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег. В эту минуту слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец. Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним». «Фр[ейлина], — записывает Пушкин, — подняла платок в память исторического дня»[4].

Этот рассказ Пушкина также является ключом, отпирающим «не столько историческую, сколько психологическую дверь». Рассказ этот Пушкин записал со слов фрейлины А. О. Россет (Смирновой)[5]. Но сравните строки Пушкина с передачей того же рассказа, сделанной со слов А. О. Смирновой ее дочерью, и вы увидите, как Пушкин, не выходя (казалось бы) за пределы протокольного исторического свидетельства, немногими средствами создает выразительную сцену, точнее, одно из явлений задуманной им исторической

[1] Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные, Лондон—Брюссель, 1863, с. 42.

[2] А. И. Герцен. Полн. собр. соч. и писем, т. XX, под ред. М. Лемке. М.—Пг., 1923, с. 339 и 366.

[3] Б. Сыроечковский. Из записной книжки архивиста. — «Красный архив», 1926, т. IV (XVII), с. 178.

[4] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 38.

[5] Запись, сделанная позднее ею самою, является очень краткой. См.: А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. М., изд-во «Мир», 1931, с. 181. Сообщение о казни должно было быть доставлено в Царское Село утром — ранее полудня.

картины, посвященной казни декабристов.

«Не поддается перу, что во мне происходит, у меня какое-то лихорадочное состояние, которое я не могу определить...' — писал Николай I накануне казни императрице-матери. — Голова моя положительно идет кругом... Завтра в три часа утра это дело должно свершиться...»[1] Николай опасался новых волнений в столице или даже вооруженного сопротивления в день казни. После того как она свершилась, он, все еще не успокоившись, на полях присланного донесения о казни приказывал: «На сегодня и на завтра возможно более осторожности». И велел передать шефу жандармов, «чтобы он удвоил бдительность и внимание», добавив: «Тот же приказ — и по войскам»[2].



Николай I (в молодости). *Рисунок Пушкина. 1819 г.*

С нетерпением ожидая в Царском Селе известия о совершении казни, он стоял утром 13 июля над прудом в Царскосельском парке. И — читаем мы у Пушкина — «бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег». Хотел ли он отвлечься от того лихорадочного волнения, о котором писал накануне матери, не сознавал ли всей неуместности забавы, которой развлекался в час казни? Но Пушкин счел нужным показать его таким, каков он был в эту историческую минуту.

«В эту минуту, — пишет Пушкин, — слуга прибежал сказать ему что-то на ухо». (Известие о прибытии из Петербурга курьера с сообщением о совершившейся казни слуга не решается сообщить вслух и шепчет его царю на ухо.) В передаче О. Н. Смирновой лакей, так же как в рассказе Пушкина, «прибежал» к государю. Но государь, услышав известие о казни, не бежит: это было бы неприлично. «Государь, — пишет О. Н. Смирнова, — *направился большими шагами ко дворцу*»[3]. «Царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец», — пишет Пушкин. И заключает: «Собака, выплыв на берег и не нашед его, оставила платок и побежала за ним». У Пушкина бежит лакей, потом бежит Николай и, наконец, за ним, не

[1] См.: Вел. князь Николай Михайлович. Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 года и император Николай I. — «Исторический вестник», 1916, июль, с. 105.

[2] См. «Красный архив», 1926, т. IV (XVII), с. 81.

[3] Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895, ч. I, с. 89. (Смирнова-дочь передает этот эпизод от своего лица, ссылаясь на рассказ матери. Курсив наш. — *И. Ф.*).



Рылеев.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

найдя его на берегу, бежит собака. Этим — приобретающим пародийный характер — повторением в изображение всей сцены вносится сатирическая черта.

Можно добавить, что в рассказе О. Н. Смирновой — нам важно здесь увидеть тенденцию ее рассказа, независимо от того, происходило ли все так, как она сообщает, — Николай, расспросив курьера, доставившего известие о казни, «отправился в часовню и велел отслужить панихиду, на которой он присутствовал, а затем заперся в своем кабинете»[1]. Пушкин же кончает тем, что фрейлина подняла брошенный платок — «в память исторического дня».

В то время как Николай ожидал в Царскосельском парке, на валу кронверка Петропавловской крепости совершалась казнь. «Говорили, — вспоминал декабрист Лорер, — что с того момента, как нас выводили из казематов, каждые четверть часа скакали с донесениями в Царское Село фельдъегеря». Ожидали помилования. «Но, увы, — курьеры мчались в Царское Село, и обратного никого не было...»[2]

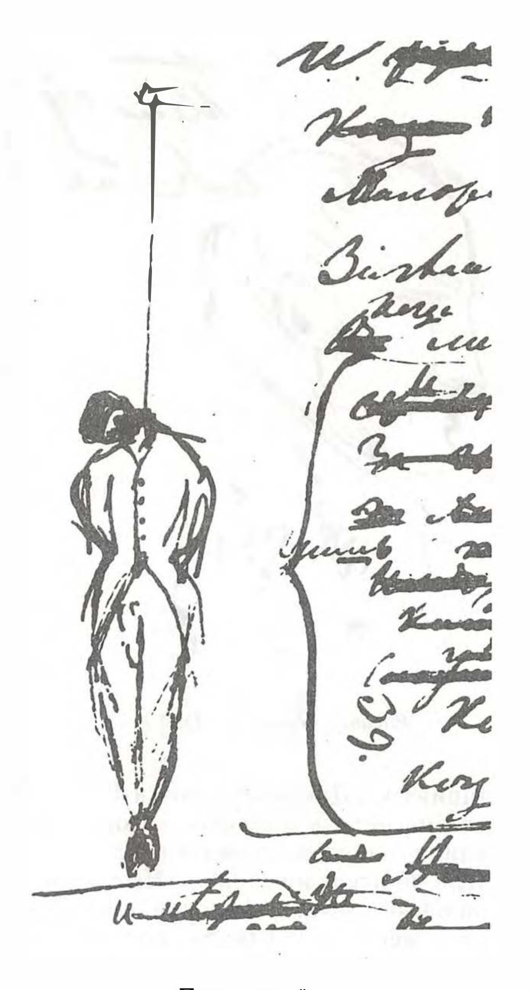
Пушкин не мог, конечно, ограничиться в своей «Истории» изображением Николая в день казни. День, в который Пушкин услышал о казни декабристов, он отметил криптограммой, записав начальными буквами: «Услышал о смерти Р⟨ылеева⟩, П⟨естеля⟩, М⟨уравьева⟩, К⟨аховского⟩, Б⟨естужева⟩»[3]. Графической записью о казни являются рисунки поэта[4]. Пушкин рисовал виселицу с пятью повешенными на ней декабристами и рядом с одним из этих рисунков написал: «И я бы мог...» Он знал «лютые подробности казни», которые через несколько дней после того, как она совершилась, сообщал в одном из своих писем Вяземский и о которых — нет сомнения — рассказал Пушкину, возвращенному вскоре из ссылки в Москву.

«...О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам,

---

[1] Записки А. О. Смирновой. СПб., 1895, ч. I, с. 89.
[2] Записки декабриста Н. И. Лорера. М., 1931, с. 114.
[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 20.
[4] А. Эфрос. Рисунки поэта. Изд. 2-е. М., 1933, с. 356—358. См. также статью А. Петрова в издании «Пушкинский праздник» (спец. вып. «Литературной газеты» и «Литературной России», 30 мая—6 июня 1969 г.), с. 18—19.

которые для меня из всей России сделали страшное лобное место. Знаешь ли лютые подробности сей казни? — писал жене Вяземский в этом письме. — Трое из них: Рылеев, Муравьев и Каховский еще заживо упали с виселицы в ров, переломали себе кости, и их после этого возвели на вторую смерть»[1].



Повешенный.
Рисунок Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г.

Рассказывали, что Рылеев, весь окровавленный, поднялся на ноги и, обратившись к Павлу Кутузову, главному распорядителю казни, сказал: «Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях...» На «неистовый возглас Кутузова»: «Вешайте их скорее снова!» — Рылеев ответил: «Дай же палачу твои аксельбанты, чтобы нам не умирать в третий раз!»[2] Знал ли об этом Пушкин? Да, знал, конечно. Все это (вспомним свидетельство жен декабристов А. Г. Муравьевой и Е. И. Трубецкой) «в тот же день» «рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова»[3].

Вопреки лживому рапорту Кутузова[4], доносившего Нико-

[1] Письмо к жене от 20 июля 1826 г. («Остафьевский архив», т. V, вып. II. СПб., 1913, с. 54).
[2] Воспоминания Бестужевых, ред. М. К. Азадовского. М.—Л., 1951, с. 337—338.
[3] Там же.
[4] См. «Былое», 1906, № 3, с. 232.



Пестель.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

лаю, что сорвавшиеся с виселицы («по неопытности наших палачей») Рылеев, Каховский и Муравьев «вскоре опять были повешены», «на вторую смерть» возвели их не «вскоре».

«Дай же палачу твои аксельбанты!» (вместо веревок) — бросил Кутузову Рылеев... «Запасных веревок не было, — вспоминал позднией начальник Петропавловского кронверка В. И. Беркопф, — их спешили достать в ближайших лавках, но было раннее утро, все было заперто, почему исполнение казни еще промедлилось...»[1].

«Когда Пушкин заносил ту или иную деталь на память потомству, — указывал в своих комментариях к «Дневнику» поэта П. Щеголев, — он смотрел на нее, как на деталь картины, которую нарисует в будущем на основании записей дневника или он сам, или неведомый читатель и исследователь... Необходимо, — делал Щеголев правильный вывод, — всякой записанной Пушкиным детали отыскать место в картине», поясняя: «Мы должны оправдать надежды, которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой «Дневник»[2].

Если мы поставим вопрос: частью какой картины должна была являться сцена, изображающая Николая в минуту получения известия о казни? — то поймем, что сцена эта представляет собой часть задуманной Пушкиным исторической картины, посвященной дню казни декабристов. Герцен, мы видели, считал необходимым, изображая день 13 июля, показать Николая I перед казнью. Пушкин показал его в час казни, точнее — в минуту получения известия о ней.

Задумав писать в истории своего времени «об 14-м декабря» (как писал он о «возмущении 1825 года» в X главе «Онеги-

[1] «Русский архив», 1881, кн. II, с. 345.
[2] Дневник А. С. Пушкина, ред. Б. Л. Модзалевского. М.—Пг., 1923, с. XIII—XIV.

на»[1], Пушкин не мог вместе с тем не писать о 13 июля. (Недаром же, записав впоследствии, как и Пушкин, со слов той же А. О. Смирновой, рассказ о Николае I в час казни, поэт Полонский невольно — вместо «13 июля 1826 года» — записал: «14 декабря 1825 года, собака, платок обыкновенный».) Пушкин готовился писать об историческом дне 13 июля в истории своего времени, как писал в дошедших до нас — пусть в искаженной передаче — стихах о казненном «пророке России», который является царю-«убийце» в «позорных ризах», «с вервием вкруг выи»...

Вспомнив все это, вспомнив все, что знал и писал Пушкин о казни[2], мы поймем действительный смысл закрепленной Пушкиным в «Дневнике» сцены, изображающей Николая в час казни декабристов.

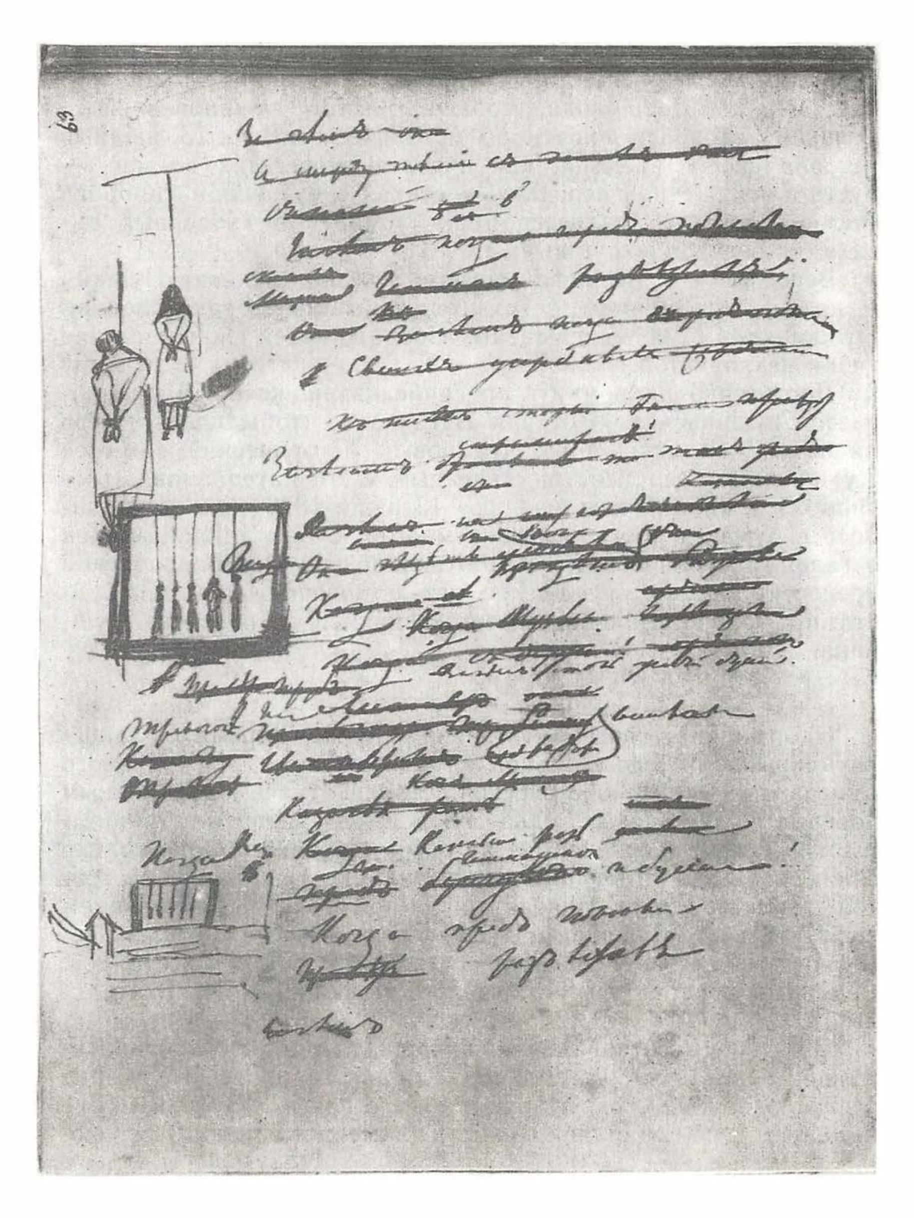
Достаточно припомнить описание казни, которым оканчивается пушкинская «История Пугачева», чтобы понять, чего лишились мы из-за того, что новый исторический замысел Пушкина остался неосуществленным и от материалов, относящихся к «историческому дню» 13 июля 1826 года, сохранилось в бумагах поэта только немногое: буквы тайной записи о казни, рисунки поэта, изображающие вал Петропавловской крепости, на нем виселицу с пятью повешенными декабристами и портрет Николая в день казни — в «Дневнике» Пушкина.

На страницах своего «Дневника» Пушкин стремился закрепить скрываемые официальной историографией черты кровавого императорского периода русской истории. Иначе как семейным портретом Романовых едва ли можно назвать страницы пушкинского «Дневника», из которых приводят обычно только заключительные строки, характеризующие Николая I. Между тем характеристика Николая является только завершением выразительно очерченного Пушкиным в немногих строках семейного портрета последних — для него — четырех царей. Семейный портрет этот открывается изображением Екатерины II.

«Конец ее царствования, — пишет Пушкин, — был отвратителен. Константин уверял, что он в Таврическом дворце застал однажды свою старую бабку с графом Зубовым. Все негодовали, но воцарился Павел, и (замечает Пушкин) негодо-

[1] Неизданную часть своего «Онегина», содержавшую описание «возмущения 1825 года», Пушкин читал, как уже говорилось, Александру Тургеневу, о чем тот сообщал брату Николаю в письме от 11 августа 1832 г.

[2] Рассказ о казни декабристов Пушкин мог слышать и от своего лицейского товарища В. Д. Вольховского, который в числе должностных лиц присутствовал при казни. (Пушкин встречался с Вольховским под Арзрумом в 1829 г. и в 1834 г. в Петербурге.)



Казнь декабристов.
Рисунки Пушкина в рукописи «Полтавы». 1828 г.

вание увеличилось». Лагарп, продолжает он, «показывал письма молодого великого князя (будущего императора Александра I. — *И. Ф.*), в которых сильно выражается это чувство... В Александре было много детского. Он писал однажды Лагарпу, что, дав свободу и конституцию земле своей, он отречется от трона и удалится в Америку». Пушкин приводит по этому поводу запомнившееся ему сравнение Александра с Николаем I, говорящее о «ложных идеях», свойственных не только Александру, но и более «положительному», то есть более трезво мыслившему, Николаю. И лишь после всего сказанного, сравнивая Николая I уже не с братом Александром, а с Петром Великим, на которого Николаю так хотелось бы походить, Пушкин заключает: «Кто-то сказал о государе: — В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»[1].

В «Дневнике» Пушкина, как видим, сохранились строки, изображающие разврат престарелой Екатерины, жизнь Александра — сначала при Павле, «под топором», а потом «окруженного убийцами его отца», и Николая — в час казни.

Установив замысел Пушкина, мы, при современном состоянии наших исторических знаний, можем не только понять назначение, но и раскрыть содержание многих, не поддававшихся до сих пор раскрытию записей в «Дневнике» поэта. Поняв в ходе изучения его работы над «Историей Петра» способы, пользуясь которыми Пушкин закреплял собранный исторический материал, и изучив приемы его исторической работы, мы получаем возможность видеть, как подготавливалось в «Дневнике» Пушкина изображение лиц и событий современной истории: на страницах этих проступают наброски или подготовительные этюды, которые должны были быть перенесены Пушкиным — после дальнейшей доработки — на полотно задуманной им исторической картины.

Ведя «Дневник», Пушкин подготовлял не «малую», «домашнюю» историю — хронику «большого света и двора» (пусть даже написанную пером сатирика, как думают некоторые исследователи), а большую Историю своего времени. Встречая при дворе и в петербургском свете участников исторических событий, Пушкин, собиравший в те же годы в архивах материалы для «Истории Петра» и «Истории Пугачева», собирал одновременно рассказы о сегодняшнем историческом дне.

Правдивой истории своего времени ждали декабристы. «Исчез обряд судить народу умерших царей своих

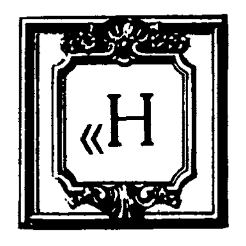
---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 51—52. Последняя фраза у Пушкина написана по-французски.

до их погребения, — писал Николаю I из крепости обреченный на смерть Каховский. — Но история предает дела их на суд беспристрастного потомства. Не все историки подобны Карамзину, деяния века нашего заслуживают иметь своего летописца Тацита. Кто знает, может быть, и есть он, но таится в толпе народа, работая для веков и потомства».

Декабристы ждали нового русского историка, который работал бы для веков, чтоб передать потомству «деяния века нашего». Таким историком готовился стать Пушкин: он готовил «Историю Петра», писал «Историю Пугачева» и не оставлял мысли написать Историю своего времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



«Наступило время пополнить литературу процензурованную литературой потаенной...— писал Огарев в своем предисловии к сборнику «Русская потаенная литература», изданному в 1861 году. — В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений».

Печатая стихотворные произведения русской потаенной литературы, Огарев добавлял: «Конечно, в задачу должен бы входить не только стихотворный отдел, но и проза». При этом он указывал, что русская потаенная проза скрывается прежде всего в записках и письмах: «Она разбросана в мемуарах и частных письмах, известных только немногим и тщательней скрываемых, чем стихи, из боязни слишком определенно подвернуться под долгую лапу жандарма...» «Отдел повестей, не пропущенных цензурой... не может быть обширен; но записки и письма, — замечает он, — дело великое». «...Покуда у нас нет средств добраться до прозаической потаенной литературы, мы начинаем наш сборник с стихотворного отдела и попытаемся проследить наше гражданское движение в стихотворной литературе»[1], — писал Огарев.

Силу и значение политической — в том числе художественно-политической — прозы сознавали обе борющиеся стороны: самодержавие и революция. Пушкин сказал в своем «Памятнике», что он восславил свободу «вослед Радищеву»; Радищев же, как известно, включил свою оду в «Путешествие из Петербурга в Москву». Фонвизина Пушкин назвал «другом свободы» не только за его всем известные комедии, но, конечно, и за его прославленное «Рассуждение о непременных государствен-

[1] Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы. «Б-ка поэта». Большая сер., т. I. Л., 1937, с. 294—295.

ных законах», которое декабристы распространяли в списках.

Не перебежавший еще в лагерь реакции Вяземский недаром заметил, что автор правительственного донесения о деле декабристов Блудов прославился этим своим литературным «прологом к действиям палачей». Но самодержавию не удалось противопоставить такого рода «прозу» политической прозе декабристов и их преемников. Вспомним хотя бы, с какой силой выступили Герцен и Огарев против раболепной книги Корфа, издавшего свою высочайше одобренную «историю» 14 декабря.

Герцен печатал за рубежом в «Вольной русской типографии» записки декабристов, стремясь как можно шире ознакомить русских читателей с прозаической потаенной литературой. «Мы не устраняем — как еще недавно было общепринятым мнением — возможность совпадения политического содержания с изящно-поэтической формой»[1], — писал Огарев. И эти слова его вполне могут быть отнесены к созданной декабристами мемуарной и художественно-политической прозе.

«Записки» Якушкина Герцен недаром назвал «шедевром»[2]. Политическая проза Лунина, его смелые «Письма из Сибири» представляют собой выдающееся литературное произведение. «...Письма Лунина — голос высокого духа и светлой мысли из могилы Акатуйского острога» — «совершенно вне конкурса в смысле слога, красоты изложения, поэтической и философской прелести»[3], — справедливо писал С. М. Волконский, внук декабриста.

Выдающимися литературными достоинствами отличаются записки Михаила Фонвизина, представляющие собой очерк политической истории того времени, необыкновенной живостью рассказа — «Записки» декабриста Лорера.

В наше время возможности публикации и изучения этого рода декабристской литературы несравненно расширились. Историки внимательно изучают ее. В предисловии к собранию «Воспоминаний и рассказов деятелей тайных обществ 1820-х годов», изданному в 1931—1933 гг., можно прочесть, что мемуары декабристов «интересны и как чисто литературные памятники» — «они не только знакомят читателя с зарождением первых русских революционных кружков», «но мастерски воссоздают и общий ход декабрьских событий и отдельные портреты, живые образы людей»[4]. Таким образом, записки декабристов являются в ряде случаев замечательными ли-

[1] Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, с. 295.

[2] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. XXVII, кн. 1. М., 1963, с. 270.

[3] Архив декабриста С. Г. Волконского, ред. С. М. Волконского и Б. Л. Модзалевского. Пг., 1918, т. I, ч. 1, с. XXXII.

[4] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. М., 1931, с. 6.

тературными — а не только историческими — памятниками.

Между тем вся эта отрасль потаенной когда-то декабристской прозы остается, в отличие от декабристской поэзии, малоизученной в историко-литературном смысле, хотя она, бесспорно, заслуживает такого изучения. Декабристы создали выдающуюся по своим идейным и художественным достоинствам мемуарную прозу, которая представляет собой в целом значительное явление русской литературы. На фоне ее, в ряду памятников декабристской прозы, исторически закономерным становится появление «Записок» Пушкина и вместе с тем выясняется не только судьба, но и содержание и литературный характер «Записок» великого поэта.

«Атмосфера тайных обществ, окружавшая некогда его существование, — писал о Пушкине Анненков, — сообщила впоследствии его слову ту прямоту, смелость и откровенность, с какими он отвечал на всякий вопрос, откуда бы он ни исходил»[1]. Окружавшая поэта «атмосфера тайных обществ» была воссоздана в его сожженных «Записках». Дошедшие от этого незавершенного пушкинского труда отрывки заставляют нас поставить вопрос о месте, которое занимала автобиографическая проза в творчестве Пушкина, подготовлявшего, — хотя ему не суждено было возобновить и закончить этот труд, — книгу, в которой он, так же как и в других своих произведениях, являлся основоположником новой русской литературы и прямым предшественником Герцена — создателя «Былого и дум».

Повести и романы занимают в десятитомном академическом издании сочинений Пушкина только один из пяти томов пушкинской прозы[2]. И называть, как часто делают, только эту часть пушкинской прозы художественной — неправильно.

В круг прозы Пушкина входит художественная история. «Историю Пугачева» Белинский ставил выше повестей и романов Пушкина, а незавершенную «Историю Петра», несмотря на то что знал о ней только по слуху, проницательно характеризовал как задуманное поэтом «учено-художественное» произведение.

В круг прозы Пушкина входили его Автобиографические записки, включавшие в свой состав, как мы старались показать, портретную и художественно-политическую прозу.

В круг пушкинской прозы входит эпистолярная проза. И давно признано, что над многими из своих писем Пушкин работал как над художественными произведениями.

В круг прозы Пушкина входит художественная публици

[1] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху, с. 117—118.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI.

стика, выдающимся образцом которой является его незавершенное «Путешествие из Москвы в Петербург», и его литературно-критическая проза. Художественный характер последней не случайно привлек к себе внимание современников поэта, «который, — как верно заметил И. Киреевский, — открыл средства в критике» «быть таким же необыкновенным, таким же поэтом, как в стихах».

Повести и романы представляют собой ту часть пушкинской прозы, которая, в отличие от большей части остальной прозы Пушкина, могла увидеть свет при жизни поэта. Большая же часть пушкинской прозы в условиях николаевской России напечатана быть не могла.

Выяснению значения пушкинской прозы, взятой в целом, препятствует то, что важнейшие произведения исторической и автобиографической прозы поэта остались вынужденно незавершенными или дошли до нас только во фрагментах. Тем более необходимо собрать и изучить все, что дошло до нас от этой запретной прозы Пушкина. Исследования, объединенные в настоящей книге, представляют собой только начало работы, о необходимости которой мы говорим. Лишь когда задача эта будет выполнена, мы окажемся в состоянии увидеть и оценить во всем ее объеме великую работу Пушкина — создателя русской прозы.



ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА



Автопортрет. *1829 г.*

№ 1.

По смерти Петра I движенiе переданное сильным человѣкомъ все еще продолжалось въ огромныхъ составахъ государства преобразованнаго. Связи древняго порядка вещей были прерваны на вѣки, воспоминанiя старины мало по малу исчезали. Народъ упорнымъ постоянствомъ удержавъ бороду и русской кафтанъ, доволенъ былъ своею побѣдою и смотрѣлъ уже равнодушно на нѣмецкiй образъ жизни обритыхъ своихъ бояръ. Новое поколѣнiе

воспитание подъ вліяніемъ Е-
-вропейскимъ часъ отъ часу болѣе
привыкало къ выгодамъ просвѣ-
-щенія. Гражданскіе и военные
чиновники болѣе и болѣе умножа-
-лись, иностранцы, въ то время
столь дорогіе, пользовались преж-
-ними правами, схоластической
педагогіи по примѣру прино-
-сили свою незамѣтную пользу
Отечественные таланты стали
мало по малу являться и щедро были

Начало беловой рукописи «Отрывка № 1», помеченной Пушкиным 2 августа 1822 г. (*«По смерти Петра I движение переданное сильным человеком все еще продолжалось...»*)



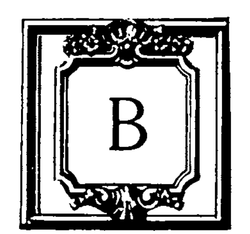
РАЗЫСКАНИЯ И НАХОДКИ

(упразднение названия) рабства; а сама раздарила
государственных
около крестьян (т. е. свободных
хлебопашцев) раз. и закрепостила
вольную Малороссию
Ек. уничтожила пытку и тайная
Канцелярия процветала под ее
патриархальным правлением —
Новиков, Радищев,
Княжнин умер под розгами.
Екатерина любила просвещение —
и Новиков, распространивший
первые лучи его, из рук
палача Шишковского, перешел в
темницу. Радищев
в Сибирь, Кн. умер под розгами —
и Фонвизин, которого она боялась,
не избегнул бы той же участи,
если б не чрезвычайная известность.

Ш. домашний палач кроткой Ек.

Страница «упущенного черновика отрывка «№ 1»
(из Кишиневской тетради Пушкина).

НЕВЕДОМАЯ КНИГА



1835 году Пушкин с увлечением продолжал изучение русской истории XVIII столетия, собирал в своей библиотеке книги об этом веке и обращался к знатокам эпохи за сведениями о труднодоступных почему-либо, то есть редких или запрещенных в те годы, исторических сочинениях и мемуарах.

В ответ на одно из своих обращений Пушкин получил в конце 1835 года от некоего Александра Яковлевича Вильсона две книги — это были записки иностранцев о России. В сопроводительном письме А. Я. Вильсон, как можно прочесть в Большом академическом издании сочинений поэта, писал Пушкину: «Милостивый государь Александр Сергеевич. Вместе с сим получить изволите Записки капитана Брюса, в которых найдете много любопытства достойного... Записки доктора Куна при сем же получить изволите»[1]. Вильсон поясняет, что последний жил в России в годы царствования Анны Иоанновны и императрицы Елизаветы, и кратко характеризует при этом каждую из посылаемых Пушкину книг.

Прочитал ли Пушкин эти книги и воспользовался ли он ими в своих исторических занятиях и работах?

Что касается первой из книг, посланных поэту Вильсоном, то, как сможет в дальнейшем убедиться читатель, Пушкин прочел и использовал «Записки Питера Г. Брюса, эсквайра, офицера прусской, русской и британской службы, содержащие отчет о его путешествиях по Германии, России, Татарии, Турции, Вест-Индии и проч., а также некоторые весьма интересные частные анекдоты о жизни русского царя Петра I». Книга эта вышла в Лондоне в 1782 году. Содержащийся в ней рассказ об отравлении царевича Алексея — поставленный потом под сомнение русскими историками — произвел на Пушкина, как мне удалось установить в свое время, глубокое впечатление.

Более подробный рассказ об этом читатель найдет в работе «Пушкин и дело царевича Алексея».

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIV, с. 67.

Итак, записки капитана Брюса о Петре I Пушкин получил и прочел. Ну, а «Записки доктора Куна», одновременно посланные ему Вильсоном? Пушкин нигде о них не упоминает, и поныне неизвестно, что это за книга, дошла ли она до Пушкина и имел ли он возможность прочесть ее. Обнаружить ее до сих пор не удавалось, и потому поставлено было под сомнение даже само существование ее.

Известный в свое время ученый, профессор И. А. Шляпкин, который впервые опубликовал в 1903 году в своей книге «Из неизданных бумаг Пушкина» интересующее нас письмо А. Я. Вильсона, долго и безуспешно разыскивал «Записки доктора Куна», посланные Пушкину при этом письме. В своих поисках он обращался к монументальному каталогу иностранных сочинений о России, хранившихся в императорской Публичной библиотеке («Rossica»), к подробному каталогу иностранных книг о Петре Великом, который издан был в 1872 году на французском языке в Петербурге Р. Минцловым, к трудам по истории медицины в России в XVIII столетии и пр. «Но, — писал после всех своих розысков профессор Шляпкин, — я не нашел доктора Куна»[1].

Все это и заставило его усомниться в том, что «Записки доктора Куна» вообще существуют на свете, Шляпкин заподозрил, что корреспондент Пушкина попросту «перепутал имена и факты», то есть, назвав почему-то посланную Пушкину книгу записками неведомого доктора Куна, послал в действительности Пушкину какую-то другую книгу, сообщив в своем письме ошибочные или даже выдуманные сведения о ней.

Вот что писал А. Я. Вильсон поэту об авторе посылаемых «Записок доктора Куна»: «Служба его при князе Голицыне, поездка с посольством в Персию, анекдоты об ученом, умном, но бессовестном Татищеве заслуживают некоторого замечания»[2].

Стремясь разгадать загадку, Шляпкин, исходя из сведений, пусть даже искаженных, сообщенных Пушкину А. Я. Вильсоном о содержании посланной книги, стал выяснять, не существует ли какой-нибудь книги, записок о России, в которых автор, врач-иностранец, состоявший на русской службе в середине XVIII столетия, описывает свое путешествие в Персию с посольством князя Голицына и сообщает анекдоты об историке Татищеве. Таким образом, Шляпкин стал разыскивать неведомую книгу, исходя из имеющихся сведений о содержании ее. Путь, казалось бы, разумный, и профессор Шляпкин в конце концов установил, какую именно книгу корреспондент Пушкина послал ему под видом «Записок доктора Куна».

---

[1] И. А. Шляпкин. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. Пб., 1903, с. 228.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 67.

Это были в действительности, полагал Шляпкин, «Записки доктора Лерхе», немецкого врача, который прибыл в Россию в 1731 году, прожил в ней полвека, ездил действительно в 1745—1747 годах с русским посольством в Персию в свите князя М. М. Голицына, описал это путешествие в своих записках и рассказывает в них анекдоты о Татищеве. Все это отвечает, по всей видимости, тому, что писал Вильсон Пушкину о содержании посылаемой книги.



А. Я. Вильсон.
Золотая медаль в честь пятидесятилетия его государственной инженерной службы.

Итак, книга, посланная Пушкину Вильсоном, действительно существовала, и автором ее был действительно врач-иностранец, оставивший любопытные записки о России, только не доктор Кун, а доктор Лерхе. В правильности этого вывода окончательно убеждало профессора Шляпкина то, что Пушкин знал о существовании «Записок доктора Лерхе», имя которого, как и сведения о Татищеве, извлеченные из записок Лерхе, содержатся в статье, которая печатается в собраниях сочинений Пушкина в разделе «Dubia», то есть среди приписываемых поэту произведений. Статья сохранилась в бумагах Пушкина в двух копиях и была если не целиком написана, то отредактирована им.

Вот что читаем мы в этой статье о докторе Лерхе и его записках: «Доктор Лерх, сопровождавший князя Михаила Михайловича Голицына в Персию, говорит о Татищеве: «Октября 27, 1744 года прибыли мы в Астрахань. Губернатором был там известный ученый Василий Никитич Татищев, который пред сим образовал новую Оренбургскую губернию. Он говорил по-немецки, имел большую библиотеку отличнейших книг и был в философии, математике, а особенно в истории весьма сведущ. Он написал Российскую историю, которая, по кончине его, досталась кабинет-министру барону Ивану Черкасову». Черкасов передал оную Ломоносову. Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей. Он был слабого здоровья, но сие не препятствовало ему быть деятельным и решительным в делах, он умел каждому дать полезный совет и помощь, а особенно купечеству...»[1]

В статье этой, написанной или редактированной самим

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 344.

Пушкиным, устранены, правда, все невыгодные для Татищева отзывы. «Татищев жил совершенным философом и имел особенный образ мыслей», — читаем мы в этой статье. В подлинных же «Записках доктора Лерхе» говорится: «И особливые имел понятия о законе (то есть о религии. — *И. Ф.*), почему, — добавляет Лерхе, — его многие не почитали за православного»[1]. В статье, сохранившейся в бумагах Пушкина, выпущены также все сообщения о корыстолюбии Татищева, которые содержатся в записках Лерхе. Между тем, сказав о том, что Татищев умел каждому дать полезный совет и помощь, а особенно купцам, Лерхе в подлинных своих записках поясняет: «Однако же даром он ничего не делал, почему и попал под ответ, и Сенат послал указ сменить его от должности».

Статья о Татищеве, вошедшая в собрание сочинений Пушкина, не доказывает, впрочем, что он знал подлинные «записки доктора Лерхе», посланные ему, по мнению Шляпкина, Вильсоном (они вышли на немецком языке в Галле в 1791 году), или хотя бы перевод из них, опубликованный в 1790—1791 годах в России в журнале «Новые ежемесячные сочинения». Статья, приписываемая Пушкину, основана главным образом на «Жизнеописании» Татищева, опубликованном в свое время В. Н. Берхом[2], и все цитаты из «Записок Лерхе» приводятся в ней в том же усеченном виде, в каком они даны были Берхом, а не в том виде, в каком мы читаем их в подлинных «Записках доктора Лерхе».

Содержание «Записок доктора Лерхе» подтверждало, по всей видимости, все же вывод профессора Шляпкина. Недоразумение было как будто выяснено: неведомая книга обнаружилась. Но откуда взялся все-таки в письме Вильсона доктор Кун? Хорошо было бы это как-нибудь выяснить. И полвека спустя после разысканий Шляпкина «доктор Кун» был каким-то образом обнаружен. В 1959 году вышел заключительный Справочный том Большого советского академического издания сочинений Пушкина, где указаны полное имя, звание, а также годы рождения и смерти доктора Куна. Здесь на странице 254 мы читаем о нем: «Кун (Kuhn), Иоганн Эрнст (?), доктор (1677—1759) (?)».

Значит, автором посланной Пушкину книги был все-таки не доктор Лерхе, определенный профессором Шляпкиным, а доктор Кун, обнаруженный в наше время редакторами нового академического издания. Впрочем, не было в том и теперь полной уверенности, поскольку имя доктора Иоганна Эрнста Куна, так же как и годы рождения и смерти его, сопровождают-

---

[1] «Новые ежемесячные сочинения», 1790, июнь, с. 74. («Известие о втором путешествии доктора Лерха в Персию. Переведено с немецкого Императорской Академии наук студентами Алексеем Клевецким и Михайлом Судаковым»).

[2] «Горный журнал», 1828, кн. 1, с. 95—134. См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти т., т. VIII. М., 1937, с. 800.

ся в академическом издании вопросительным знаком. Итак, твердого, бесспорного ответа покуда не найдено. В чем тут причина? И не было ли тут с самого начала исходной ошибки?

Трудно, в самом деле, поверить, что в ошибку впал сам Вильсон, человек, судя по его письму, весьма знающий, почему Пушкин и обратился к нему. С пониманием характеризует Вильсон посылаемые им поэту записки иностранцев в России. С определенностью указывает он и годы пребывания в России автора посланной им Пушкину и до сих пор не разысканной книги.

«Он жил в России с 1736 по 1750 год, — пишет Вильсон, — и по своим понятиям описывает все, что видел и что с ним приключилось». Перечислив все, что заслуживает, на его взгляд, внимания в посылаемых Пушкину записках, Вильсон заключает, что страницы эти «заслуживают некоторого замечания, кроме много других подробностей, относящихся до времени, о котором мало писали»[1]. Характеристика автора посылаемой книги является тут, как мы видим, результатом несомненного знакомства Вильсона с этой книгой и критического чтения ее. Поэтому трудно представить себе, что он мог впасть в такую грубую ошибку, какую приписывает ему Шляпкин, и исказил даже имя автора им же посланной поэту книги.

Необходимо было, конечно, обратиться прежде всего к подлиннику письма Вильсона и посмотреть своими глазами, что написано в нем его рукой. Может статься, текст письма Вильсона почему-либо был неправильно прочитан.

Интересующее нас место этого письма и в публикации Шляпкина, и в дореволюционном академическом издании переписки Пушкина под редакцией Саитова (т. III, 1911, с. 258—259), и в советском академическом издании (т. XVI, 1949, с. 67—68) печатается одинаково: «Записки доктора Куна при сем же получить изволите».

В примечании к новому, так называемому Большому академическому, изданию мы читаем, что письмо А. Я. Вильсона Пушкину от 18 декабря 1835 года «печатается по подлиннику». Подлинник же этот, как и вся переписка Пушкина, хранится в Пушкинском Доме. Туда я поэтому в свое время и обратился.

Архивом Пушкинского Дома в те годы заведовал Борис Викторович Томашевский, великий знаток Пушкина. Кабинетом ему служила библиотека поэта, по стенам которой стояли шкафы с книгами, собранными Пушкиным, — сохранилось из них около 3700 томов. В их числе можно обнаружить составленную Пушкиным коллекцию сочинений и исторических источников о Петровской эпохе. Обнаружить — путем исследования. Ибо книги Пушкина размещены в шкафах, как теперь это повсеместно принято, в алфавитном порядке. То есть, если су-

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVI, с. 67.

дить с точки зрения их содержания, книги Пушкина ныне размещены — тематически — в беспорядке.

Стоя у шкафов с книгами поэта, я обратился к Борису Викторовичу с просьбой показать мне подлинник письма Вильсона. И через минуту, не более, оно было снято с архивной полки и принесено в библиотеку Пушкина. Письмо это, написанное на четырех страницах хорошей почтовой бумаги в четвертку, сохранилось и читается отлично. Не вполне разборчива, пожалуй, только подпись А. Я. Вильсона. Из-за этого Шляпкин в свое время неверно прочитал ее и потому ошибочно опубликовал письмо А. Я. Вильсона к Пушкину в качестве письма А. В. Висковатова. Ошибка эта потом, в академических изданиях переписки поэта, была исправлена, и письмо стало печататься как и должно, то есть как письмо Вильсона к Пушкину.

Читая подлинник этого письма, нетрудно было убедиться. что и Шляпкин, впервые напечатавший это письмо, а вслед за ним редакторы и дореволюционного, и советского академического изданий переписки поэта неверно прочли имя автора книги, посланной Пушкину Вильсоном, который, оказывается, писал в своем письме: «Записки доктора Кука при сем же получить изволите».

Не доктор Кун, а доктор Кук...

Ошибка допущена была в одной только букве. Но так как она искажала имя автора книги, посланной Пушкину, все попытки обнаружить ее велись в ложном направлении и остались поэтому безуспешными.

Прочитав письмо в том самом кабинете, где стояла библиотека Пушкина, я повернулся к тому из шкафов, в котором размещены книги иностранных авторов, имена которых начинаются на букву «С» (соответствующую здесь русскому «К»), и сразу же увидел и снял с пушкинской полки «Записки» доктора Кука (John Cook), книгу, изданную в 1770 году в двух томах на английском языке в Эдинбурге и посланную действительно в декабре 1835 года Пушкину Вильсоном. Вот полное название ее в русском переводе: «Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части царства Персидского Джона Кука, доктора медицины».

Книга эта пробыла сначала много лет в одном из тех ящиков, в которые заколочена была после смерти Пушкина его библиотека, а потом простояла много десятилетий, не привлекая ничьего внимания, в шкафу в Пушкинском Доме, на одной из полок библиотеки поэта.

Книгу эту Пушкин прочел: в ней поныне лежат девять закладок, отмечающих те страницы «Записок доктора Кука», которые заинтересовали поэта. Закладки эти свидетельствуют о том, с каким вниманием Пушкин читал, точнее — изучал эту книгу. Да, это бесспорно та самая книга, которую послал Пушкину А. Я. Вильсон. Автор ее Джон Кук был в самом

VOYAGES

AND

TRAVELS

THROUGH

The Russian Empire, Tartary, and Part of the Kingdom of Persia.

By JOHN COOK, M. D. at *Hamilton.*

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

Si ad honestatem nati sumus, ea aut sola expetenda est, aut certe omni pondere gravior est habenda, quam reliqua omnia. Tul.

EDINBURGH:

Printed for the Author. M,DCC,LXX.

«Путешествия и странствия по Российской империи, Татарии и части царства Персидского Джона Кука, доктора медицины». Эдинбург. 1770 г. *Титульный лист.*
Книга сохранилась в библиотеке Пушкина.

деле доктором медицины, что и означено на титуле книги, где поставлен сверх того латинский эпиграф: «Если мы рождены для почести, то к ней одной нужно стремиться, или по крайней мере считать, что она весомей всего остального. *Туллий*» (то есть Марк Туллий Цицерон).

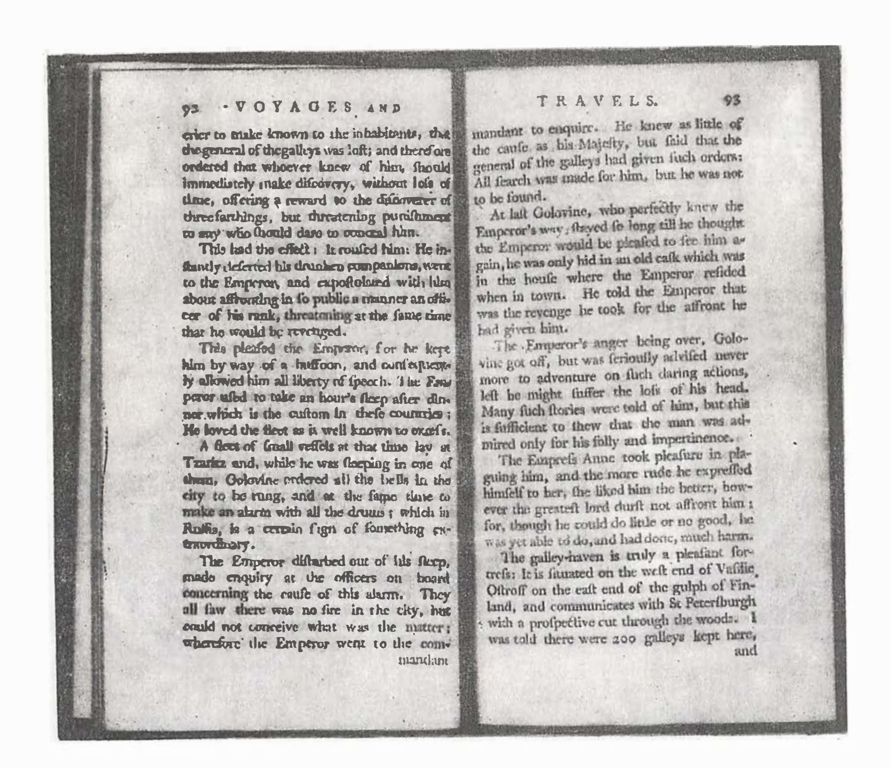
Знакомясь с «Записками доктора Кука», не трудно было убедиться, что Вильсон верно осветил содержание его книги в своем письме к поэту. Доктор Кук пишет в своих записках о России в годы царствования Анны Иоанновны и Елизаветы— времени, о котором, как справедливо заметил в письме к Пушкину А. Я. Вильсон, мало писали современники. Во втором томе ее описывается путешествие доктора Кука с посольством князя Голицына в Персию, а на страницах 81 и 115 этого тома доктор Кук говорит о Татищеве, с которым он близко познакомился в Астрахани.

«Ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное различение». Эти слова Эдмунда Бёрка, автора знаменитой книги «Размышления о Французской революции», сохранившейся в библиотеке поэта, Пушкин первоначально поставил эпиграфом к первой главе своего «Евгения Онегина». «Недостаточное различение», на опасность которого обращал внимание читателей своим эпиграфом Пушкин, стало причиной казуса, происшедшего с профессором Шляпкиным, смешавшим записки доктора Лерхе с записками доктора Кука.

Смешать их книги — вернее, счесть книгу одного книгой другого — было легко. Тот и другой врачи-иностранцы; оба оставили записки о России; оба вместе совершили путешествие в Персию с посольством князя М. М. Голицына и описали это путешествие; доктор Кук не раз упоминает в своих записках о докторе Лерхе; оба знали в Астрахани Татищева и писали каждый в своих записках об этом выдающемся человеке. Только немец доктор Лерхе состоял врачом посольства, а хирург шотландец Кук был врачом посла — князя Голицына. Вот почему профессор Шляпкин (а не корреспондент Пушкина Вильсон, как полагал профессор) «перепутал имена и факты».

Полвека спустя стали снова искать загадочную книгу и мнимого автора ее — «доктора Куна». И, мы видели, даже нашли его.

Таким образом, сначала в истории розысков загадочной книги появляется правдоподобная, казалось бы, но ложная разгадка — версия профессора Шляпкина. Потом другая — «доктор Кун» (в указателе к академическому изданию). Версия также ложная, поскольку не устранена была все еще исходная ошибка — искали несуществующую книгу доктора Куна. И только когда мы устранили эту ошибку, оказалось возможным обнаружить — и где же? — на одной из полок пушкинской библиотеки «неведомую книгу», посланную почти полтора века назад поэту А. Я. Вильсоном.



93 VOYAGES AND

crier to make known to the inhabitants, that the general of the galleys was loſt; and therefore ordered that whoever knew of him, ſhould immediately make diſcovery, without loſs of time, offering a reward to the diſcoverer of three farthings, but threatening puniſhment to any who ſhould dare to conceal him.

This had the effect: It rouſed him: He inſtantly deſerted his drunken companions, went to the Emperor, and expoſtulated with him about affronting in ſo public a manner an officer of his rank, threatening at the ſame time that he would be revenged.

This pleaſed the Emperor, for he kept him by way of a buffoon, and conſequently allowed him all liberty of ſpeech. The Emperor uſed to take an hour's ſleep after dinner, which is the cuſtom in theſe countries; He loved the fleet as is well known to exceſs.

A fleet of ſmall veſſels at that time lay at Tzarica and, while he was ſleeping in one of them, Golovine ordered all the bells in the city to be rung, and at the ſame time to make an alarm with all the drums; which in Ruſſia, is a certain ſign of ſomething extraordinary.

The Emperor diſturbed out of his ſleep, made enquiry at the officers on board concerning the cauſe of this alarm. They all ſaw there was no fire in the city, but could not conceive what was the matter; wherefore the Emperor went to the commandant

TRAVELS. 93

mandant to enquire. He knew as little of the cauſe as his Majeſty, but ſaid that the general of the galleys had given ſuch orders: All ſearch was made for him, but he was not to be found.

At laſt Golovine, who perfectly knew the Emperor's way, ſtayed ſo long till he thought the Emperor would be pleaſed to ſee him again, he was only hid in an old caſk which was in the houſe where the Emperor reſided when in town. He told the Emperor that was the revenge he took for the affront he had given him.

The Emperor's anger being over, Golovine got off, but was ſeriouſly adviſed never more to adventure on ſuch daring actions, leſt he might ſuffer the loſs of his head. Many ſuch ſtories were told of him, but this is ſufficient to ſhew that the man was admired only for his folly and impertinence.

The Empreſs Anne took pleaſure in plaguing him, and the more rude he expreſſed himſelf to her, ſhe liked him the better, however the greateſt lord durſt not affront him; for, though he could do little or no good, he was yet able to do, and had done, much harm.

The galley-haven is truly a pleaſant fortreſs: It is ſituated on the weſt end of Vaſilie Oſtroff on the eaſt end of the gulph of Finland, and communicates with St Peterſburgh with a proſpective cut through the woods. I was told there were 200 galleys kept here, and

Страницы, отмеченные закладкой Пушкина
в книге доктора Кука.

Шляпкин искал посланную Пушкину книгу, обращаясь к самым авторитетным каталогам и библиотекам. И не нашел ее, Куков же существует на свете великое множество. В «Генеральном каталоге» библиотеки Британского музея одних только Джонов Куков значится сорок пять. И в числе их в томе 43-м этого каталога на столбце 53-м значатся записки доктора Кука, изданные в Эдинбурге в 1770 году. Книга доктора Кука под № 1069 значится, разумеется, в известном каталоге иностранных сочинений о России («Rossica»), вышедшем в Петербурге в 1873 году. Упоминается она (безотносительно к Пушкину) и в книге М. Полиевктова «Европейские путешественники XIII—XVIII вв. по Кавказу», вышедшей в 1935 году в Тбилиси (на с. 99).

Библиотека Пушкина больше полувека назад была тщательно описана Б. Л. Модзалевским. В этом описании библиотеки поэта, вышедшем в свет в 1910 году, зарегистрированы были, конечно, и уцелевшие в ней записки доктора Кука, причем указаны были даже страницы, между которыми сохранились закладки, положенные Пушкиным. Но и это не навело на мысль



Иван Михайлович Головин (прозванный «Головин-Бас») — прапрадед А. С. Пушкина, упоминаемый в книге доктора Кука. (Петр I приказал написать его портрет в окружении кораблестроительных деталей.)
Гравюра из книги Цебера «Преображенная Россия», сохранившейся в немецком издании в библиотеке Пушкина.

прочесть книгу Кука или хотя бы страницы, отмеченные в ней пушкинскими закладками. Неверное прочтение имени автора этой книги в письме Вильсона было, таким образом, не единственной причиной ошибки.

Пушкин думал, мы знаем, написать «Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III», а позднее сообщал, что предполагает продолжить ее вплоть до Павла I. «Об этом веке он заботливо собирал сведения и знал много,— писал о Пушкине Ключевский. — Он мог рассказать о нем гораздо больше того, что занес в свои записки, заметки, анекдоты и т. п.»[1]. К этим пушкинским записям, заметкам и собранным им историческим анекдотам и к изучению их следует привлечь, конечно, и отмеченные пушкинскими закладками

[1] В. Ключевский. Очерки и речи. Второй сб. статей. М., тип. П. П. Рябушинского, б/г, с. 59.

страницы исторических записок, посвященных XVIII столетию. «Записки доктора Кука» наряду с целым рядом других, более важных источников могли послужить Пушкину материалом для задуманной им работы по русской истории XVIII века: на это предположение наводят закладки, положенные поэтом в книгу Кука.

Но отчего же его книга оставалась так долго неразысканной? История эта представляет собой, конечно, рассказ только об одном из множества случаев в вековой истории изучения Пушкина, изобилующей, как известно, и великими, и малыми достижениями. Случай относится к числу необычных и занимательных, а отчасти даже поучительных (впрочем, случаи подобного свойства в науке о Пушкине, разумеется, редки).

Что касается выводов, которые должны быть сделаны в итоге предлагаемого разыскания, то прежде всего надо, конечно, печатая переписку Пушкина, исправить ошибку в тексте письма Вильсона к поэту и вместо «Записки доктора Куна при сем же получить изволите» печатать: «Записки доктора Кука». А в Справочном томе Большого академического издания сочинений Пушкина вместо сведений о докторе Иоганне Эрнсте Куне дать сведения о действительном авторе этой книги, докторе Джоне Куке, служившем в России в 1736—1750 годах. И затем выяснить, что же заинтересовало Пушкина в «Записках доктора Кука», на что указывают положенные им в книгу закладки, что нашел Пушкин в ней нового — и мог почерпнуть для своей исторической работы.

1975

«ЗАСТУПНИКИ КНУТА И ПЛЕТИ...»

В одной из черновых тетрадей Пушкина сохранился с трудом читаемый набросок эпиграммы, написанной в михайловской ссылке. Сатирические стихи эти обращены против «заступников кнута и плети», а может быть, и против самого царя. Но кто эти «заступники кнута», которых гневно обличает Пушкин, в черновике поэта не сказано.

Спор об этой эпиграмме, о том, в связи с чем она возникла и «на кого» из современников поэта была написана, идет уже полвека, с тех пор, как пушкинский набросок, раньше никем не замеченный, был обнаружен (на полях рукописи стихотворения «Андрей Шенье»). Но так как строки наброска писаны наскоро, стремительно и многие слова в нем неясны, прочесть их возможно только предположительно. Поэтому многое в нем до сих пор остается непонятным. А между тем разъяснение загадки может, кажется нам, осветить яркую страницу политической биографии Пушкина.

Чтобы раскрыть сатирический замысел Пушкина, надо, конечно, уяснить прежде всего историческую обстановку, в которой родилась его смелая эпиграмма. И не только в общих чертах, — надо постараться выяснить, какие современные события заставили его в год, окончившийся восстанием 14 декабря, с таким негодованием восстать против «заступников кнута и плети».

I

«Сатирический бич, поистине, настигает современников поэта», — писал П. Е. Щеголев, обнаруживший в 1911 году не замеченный раньше пушкинский набросок, из которого ему удалось прочесть тогда лишь некоторые строки[1]. На вопрос о том, *кого* из современников разумела эпиграмма Пушкина, впервые попытался ответить Валерий Брюсов, решившись дать реконструкцию ее. Вот в каком виде он в 1919 году напечатал ее:

[1] См.: П. Е. Щеголев. Из жизни и творчества Пушкина, изд. 3-е. М.—Л., 1931, с. 326.

Заступники кнута и плети,
О благодетели мои!
Все наши женщины и дети
(Семья, жена моя и дети)
Вам благодарны навсегда.
Благодарить вас...
Не позабудем никогда.
. . . .
За вас молить я бога буду
И никогда не позабуду,
Когда для дела позовут
Меня на (царскую) расправу
За ваше здравие и славу
Влетит (царю) мой первый кнут!

«Повод к этим энергичным строкам не выяснен», — писал Брюсов. Слова «царю», «на царскую расправу» он прочел в пушкинском черновике по догадке, поскольку их в рукописи нет. Включая их в текст стихотворения (хотя и условно, в редакторских скобках), Брюсов утверждал тем самым, что стихотворение направлено против самого царя, которому Пушкин грозит кнутом, расправой[1].

Такое понимание пушкинской эпиграммы было принято позднее Большим академическим изданием сочинений поэта. Текст ее, предложенный Брюсовым, напечатан был в нем в 1949 году с некоторыми уточнениями, самым важным из которых было новое чтение начала пушкинского стихотворения. Теперь оно начиналось словами:

Заступники кнута и плети,
О знаменитые князья...[2]

Итак, оказывается, что сатира Пушкина обращена была против каких-то «знаменитых князей», «заступников кнута и плети» (которые по именам здесь Пушкиным не названы); кончается же она, как и в издании Брюсова, угрозой царю.

То есть, когда настанет день расправы над самодержавием, — а Пушкин в 1825 году, по-видимому, думал, что день этот наступит вскоре, — поэт клянется вспомнить князей — «заступников кнута и плети». И грозит:

За ваше здравие и славу
Я дам царю мой первый кнут!

Этот уточненный текст эпиграммы был принят академическим изданием, а вслед за ним и другими авторитетными изданиями сочинений Пушкина, после работ Т. Г. Цявловской, много потрудившейся над чтением спорного пушкин-

---

[1] См.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Под ред. В. Брюсова. М., 1919, с. 256.

[2] См.: т. II, кн. 1, с. 416. (Предположительность чтения была отмечена здесь вопросительными знаками редактора этого текста.)

ского наброска и над комментариями к нему. Сумев прочесть в нем строку «О знаменитые князья», исследовательница, естественно, задалась целью выяснить, кого имел в виду здесь Пушкин: что это за «князья»? И вывод, к которому она пришла, был принят, к сожалению, кажется, во всех комментированных собраниях сочинений Пушкина, изданных за последнее двадцатипятилетие.

Согласно этому общепринятому объяснению резкая эпиграмма Пушкина обращена против друзей, убеждавших поэта оставить мысль о побеге из михайловской ссылки, смириться и не отвергать «из упрямства и прихоти милости царской». А милость эта состояла в том, что Пушкину вместо лечения за границей, о котором он просил, предложено было лечиться во Пскове.

Смириться тогда советовали поэту вместе с Вяземским Плетнев и Жуковский. И вот, негодуя на них за то, что «дружба входит в заговор с тиранством», Пушкин пишет — будто бы на них — злую эпиграмму. Он иронически, «собирательно», по выражению Т. Г. Цявловской, называет всех их (вместе с Вяземским) «знаменитыми князьями». «Эх, вы... вяземские!» — как бы говорит, по словам исследовательницы, Пушкин. И называет в пылу негодования этих своих друзей «заступниками кнута и плети»...[1]

Б. В. Томашевский согласился в общем с этим мнением Т. Г. Цявловской, но сомневался все же, что Пушкин грозит кнутом в своей эпиграмме самому царю. О последнем стихе ее: «Я (?) дам (?) царю (?) мой первый кнут» — исследователь заметил, что стих этот «внушает большие сомнения, как по чтению неразборчивых слов, так и по смыслу: вряд ли можно полагать, что призванный на расправу может дать кнут своим обвинителям. Вернее предположить, что Пушкин иронически благодарит друзей за те истязания, которым он может подвергнуться со стороны царской политической полиции, во власти которой он, благодаря друзьям, остался»[2].

В статье «О принципах и приемах чтения черновых рукописей Пушкина» академик В. В. Виноградов убедительно опровергал догадку о том, что «знаменитыми князьями» Пушкин назвал в своей эпиграмме Вяземского, Жуковского и Плетнева — всех вместе. «Ведь князь П. А. Вяземский был один»[3],— замечает он. (Жуковский же и Плетнев были людьми весьма скромного происхождения.) Нет, пушкинская эпиграмма обращена не против друзей поэта...

Но кто же в действительности были эти «знаменитые

[1] См.: Т. Г. Зенгер (Цявловская). Из черновых текстов Пушкина. — В сб.: Пушкин — родоначальник новой русской литературы. М.—Л., 1941, с. 31—47.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. II с. 438.

[3] См.: Проблемы сравнительной филологии. М., 1964, с. 277—290.

князья», «заступники кнута и плети»? Попытаемся ответить на этот вопрос. А затем выяснить: метила ли эпиграмма Пушкина в царя?

II

«Его императорское величество, следуя благости сердца своего, еще в 1817 году изъявил желание свое, чтобы кнут, вырывание ноздрей и клеймение лица у преступников не были впредь употребляемы», — писал осенью 1824 года в одном из своих прославленных выступлений в Государственном совете адмирал Мордвинов[1], а 24 октября того же года в Государственном совете оглашено было его мнение «О кнуте, орудии наказания». Вот эта замечательная речь:

«С того знаменитого для человечества и правосудия времени, когда европейские народы отменили пытки, истребили они и орудия, коими мучения производимы были. Одна Россия сохранила у себя кнут, орудие, в употреблении бывшее при пытках, коего одно наименование поражает ужасом народ российский и дает повод иностранцам заключать, что Россия находится еще в диком состоянии, без просвещения и нравственных понятий о человеке, существе в высшей степени чувствительном.

Кнут есть мучительное орудие, которое раздирает человеческое тело, отрывает мясо от костей, мещет по воздуху кровавые брызги, и потоками крови обливает тело человека. Мучение лютейшее всех других известных, ибо все другие, сколь бы болезненны они ни были, всегда менее бывают продолжительны, тогда как для 20-ти ударов кнутом потребен целый час, и когда известно, что при многочислии ударов мучение несчастного преступника, иногда невинного, продолжается от восходящего до заходящего солнца.

Сила кнута есть столь велика, что возможно оным сокрушить каменную стену. Искусство палача дознается, когда он ударом кнута вырывает кирпич из стены; а тайным назначением, когда двумя ударами он может умертвить человека[2].

При кровавом, паче отвратительном зрелище таковаго мучения, пораженные ужасом зрители приводимы бывают в то исступленное состояние, которое не дозволяет ни мыслить о преступнике, ни рассуждать о соделанном им преступлении. Каждый зритель видит лютость мучения и невольно болезнует о страждущем, себе подобном. Меньшей степени было бы его поражение, менее лютейшим нашел бы он наказание, когда бы видел острый нож в руках палача, которым бы он разрезывал тело человеческое, вместо того, что он пролагает по-

[1] Архив графов Мордвиновых, т. V. СПб., 1902, с. 698.

[2] Данный абзац сохранился в первоначальной редакции настоящего «Мнения» в виде приписки. — *И. Ф.*

лосы ударами терзающего кнута. При наказании кнутом многие из зрителей плачут, многие дают наказанному милостыню, многие, если не все, трепещут и негодуют на жестокость мучения.

Кнут, по своему составу, по долговременности своего действия, по глубоким язвам, им соделываемым, и по преданию преступника на волю палача в умеренности и жестокости наказания, не долженствовал бы быть орудием исправительного наказания.

Он был и есть орудие мучения, которое доныне было частым и особым зрелищем для российского народа и которое потому только существовало, что высшие правительственные лица никогда не присутствовали при сих бесчеловечных и предосудительных для века нашего истязаниях.

Доколе кнут существовать будет в России, втуне мы заниматься будем уголовным уставом. С кнутом в употреблении напрасны будут уголовные законы, судейские приговоры и точность в определении наказания. Действие законов, исполнение приговора и мера наказания останутся всегда в руках и воле палача, который ста ударами соделает наказание легким, десятью жестоким и увечным, если не смертельным.

Как сила наказания зависит от палача, то обыкновенно он торгуется с присужденным к оному, и требования его всегда бывают велики...

...Адмирал Мордвинов предлагает уничтожить навсегда кнут, орудие наказания, не соответственное настоящей степени просвещения высших в отечестве нашем сословий и общему благонравию и мягкосердию российского народа...

При наказаниях чувства зрителей должны быть возбуждены к презрению преступника, к отвращению от злодеяний и к познанию пагубных от законопреступления последствий, без ожесточения сердец зрителей...

И для чего терзать тело того, кто лишается свободы, осуждается вечно в тяжкую работу и который с потерею всех прав гражданских и с расторжением всех свя́зей семейственных и родственных, из человека, которому природа предопределила наслаждения жизни, превращается в существо, как бы в составе своем сокрушенное, духом и телом уже страждующее и вечно на страдание осужденное? Все просвещенные народы оставили мучительные зрелища. Наступило и для нас время отменить оные при кротком царствовании Александра I, чадолюбивого отца подданных своих. Да скажут бытописания всех народов, что сиявший добродетелями великий монарх, положивший конец страданиям чуждых и отдаленных стран, еще более ознаменовал милосердия и величия души в отечестве своем»[1].

---

[1] Архив графов Мордвиновых, т. V, с. 684—687.

III

«Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию», — писал Пушкин весной 1824 года Вяземскому[1].

Его смелые «мнения», показал во время следствия над декабристами Николай Бестужев, ходили по городу как образцы государственного красноречия и любви к отечеству.

Мордвинова, как известно, декабристы прочили в состав Временного правительства в случае победы восстания. И он был единственным членом Верховного суда над декабристами, отказавшимся подписать смертный приговор вождям восстания. Это было удивительной смелостью в то время, когда Сперанский (так же, как и Мордвинов, намечавшийся декабристами в состав Временного правительства) играл во время суда над ними важнейшую роль и по поручению царя намечал жесточайшие казни и наказания тем же декабристам.

К этому нужно, конечно, добавить, что против введения в Уголовное уложение смертной казни Мордвинов выступал в Государственном совете еще до декабрьского восстания.

«Мнение» Мордвинова, столь красноречиво выражавшее взгляды противников кнута и плети, как мы убеждаемся теперь, знакомясь с эпиграммой Пушкина, стало известно ссыльному поэту. Но нашлись, видимо, в Государственном совете империи несогласные с отменою кнута — «заступники кнута и плети». Они, скажем заранее, взяли верх. Александр I, предполагавший еще в 1817 году отменить наказание кнутом, положил теперь, в 1824 году, проект об отмене кнута под сукно, и кнут в России был сохранен еще надолго.

Эта позорная страница в истории царствования «Александра благословенного» не нашла достойного отражения ни в казенной историографии, ни в истории Государственного совета империи, ни в трудах по истории телесных наказаний в России. Для того чтобы осветить эту мрачную историческую страницу александровского царствования, понадобилось обратиться к переписке современников и архивам, и прежде всего, конечно, к переписке и дневникам братьев Тургеневых — Александра и Николая Ивановичей. Оба они в свое время занимали видные места в Государственном совете: первый был в нем помощником статс-секретаря, а второй статс-секретарем, трудившимся к тому же над проектом реформы русского уголовного процесса.

В то время, когда проект об отмене кнута обсуждался в Петербурге, Николай Иванович Тургенев был подвергнут опале и путешествовал по странам Западной Европы. Это

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 91.

был тот самый «хромой Тургенев», о котором Пушкин, изображая декабристов, в своей сожженной, так называемой десятой главе «Онегина» сказал:

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян[1].

Дневник Николая Ивановича Тургенева за 1824 — 1826 годы сохранился только в двух печатных экземплярах (он должен был составить выпуск 7-й известного «Архива братьев Тургеневых» и выйти в свет в 1930 году, но по каким-то причинам не вышел).

Переписываясь с братом, Александром Ивановичем, оставшимся в Петербурге, Николай Иванович иногда писал в своем заграничном дневнике о новостях, которые становились ему известны из писем брата. Но о спорах, разгоревшихся в Государственном совете об отмене кнута, в дневнике Николая Ивановича нет ни слова...

Николай Иванович Тургенев, декабрист (так же, как Мордвинов и Сперанский, намечавшийся, как сказано, в случае победы восстания в состав Временного правительства), в дни восстания продолжал еще свое заграничное путешествие, он отказался, как известно, явиться в Петербург на суд, был заочно приговорен к смертной казни — и до старости прожил за границей.

В конце своей жизни он подготовил к печати изданные в Лейпциге в 1872 году письма брата, сбереженные им, но и в этой переписке нет ничего касающегося обсуждения в 1824 году в Государственном совете вопроса об отмене в России кнута и плети. Оставалось попробовать обратиться к неизданной части обширного архива братьев Тургеневых, хранящегося теперь в Ленинграде, в Пушкинском Доме. Письма Александра Ивановича к брату Николаю за 1824 год сохранились и тут, к сожалению, не полностью. Но среди них-то и отыскалось (я нашел его там в 1968 году) неизданное письмо Александра Ивановича к брату Николаю от 6 ноября 1824 года, содержащее интересующие нас сведения[2]. Вот оно:

«Теперь начались любопытные прения в нашем общем Собрании о кнуте, плетях и смертной казни. Мордвинов подал голос: умный, благородный и человеколюбивый. Большинство

---

[1] Курсив в стихах мой. Подчеркивания Пушкина оговариваются особо. — *И. Ф.*

[2] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 230-б, л. 10

за отмену кнута и смертной казни. Со временем прочтешь журнал и голоса (то есть «Журнал», или протокол общего собрания Государственного совета, и «голоса», т. е. мнения, поданные членами Совета. — *И. Ф.*). Для тебя не может быть это теперь тайной, ибо ты советский (т. е. числишься на службе в Государственном совете. — *И. Ф.*) и законодательный» (то есть состоишь в Департаменте законов того же Государственного совета. — *И. Ф.*). Итак, обсуждение вопроса об отмене кнута оставалось государственной тайной, и Александр Иванович Тургенев лишь очень осторожно писал обо всем этом брату за границу.

«Большинство за отмену кнута и смертной казни», то есть большинство членов Государственного совета, — сообщает в этом своем письме Александр Тургенев, не называя в своем письме «заступников кнута и плети». Но кто же составлял меньшинство? И нельзя ли установить имена «заступников кнута и плети», которые составили это меньшинство и выступили против смелого мнения Мордвинова? В литературе, связанной с историей русского уголовного права, мы встречаем при поисках ответа на этот вопрос только цифры, а не имена, к тому же разноречивые.

В «Лекциях по уголовному праву» Н. С. Таганцева мы читаем: «На основании представленной Мордвиновым записки о кнуте, как орудии казни, была большинством голосов (18 против 14) предложена отмена этого наказания»[1].

В книге Н. Евреинова «История телесных наказаний в России» читаем: «В Государственном Совете при голосовании отмены кнута и клеймения 13 членов высказались в пользу этой реформы, четверо были против, один воздержался. Но варварские истязания после такого решения Государственного Совета не уничтожились. Оно осталось лишь на бумаге, не имея никакого практического значения»[2].

Имена и «голоса», то есть «мнения», «заступников кнута и плети» следовало искать, казалось бы, в архиве Государственного совета империи. Но, как ни странно, отвечающих нам на вопрос исторических документов там нет. В печатном «Архиве графов Мордвиновых», изданном в начале нашего века, с примечаниями историка В. А. Бильбасова (т. V, СПб., 1902, с. 684), где собраны «мнения» адмирала Мордвинова, в том числе его мнение об отмене кнута, обсуждавшиеся в Государственном совете в 1824 году, мы читаем:

«В архиве Государственного Совета хранится «Дело Государственного Совета, общего собрания, об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей» (*Журналы,* № 3), причем никакого дела нет, а есть лишь следующая заметка на облож-

---

[1] Н. С. Таганцев. Лекции по уголовному праву. Часть общая. Вып. I. СПб., 1887, с. 170.

[2] Н. Евреинов. История телесных наказаний в России, т. I. СПб., с. 97.

ке: «В общем собрании 24-го октября 1824 года слушано внесенное графом Аракчеевым мнение комиссии, учрежденной в 1817 году для суждения об отмене наказания кнутом и вырывания ноздрей. По выслушании этого мнения положено: передать оное Члену Государственного Совета по департаменту Законов тайному советнику Сперанскому для присоединения к прочим бумагам по проекту от Комиссии Составления законов представленному. Исполнено по отношению к тайному советнику Сперанскому 2-го декабря 1824 г.»[1].

Итак, уже к началу нашего столетия «Дело», которое могло бы дать ответ на интересующий нас вопрос, в архиве Государственного совета империи отсутствовало. Оно исчезло оттуда, и от него осталась только его обложка... Ну, а теперь? Случается, что «дело», почему-либо исчезнувшее из архива или затерянное, много лет спустя возвращается на свое место, в тот же архив.

Со времен, когда Бильбасов обнаружил отсутствие этого архивного дела, прошло три четверти столетия. Следовало поэтому снова поискать его — прежде всего в том же архиве Государственного совета, который хранится теперь в составе Центрального Государственного исторического архива в Ленинграде. Архив этот помещается в великолепном доме графа Лаваля, который давно приобрел историческую известность — его можно назвать одним из архитектурных чудес старого Петербурга. Он стоит на набережной Невы, рядом со зданием Сената.

Итак, надо было подняться по великолепной гранитной лестнице дома Лаваля в читальный зал Центрального Государственного исторического архива. Потолочные плафоны этого прекрасного зала сохранили яркость своей изящной росписи. Архив огромен. Весьма обширен и являющийся ныне частью его архив Государственного совета империи.

«Дела», об отсутствии которого (как и об отсутствии в нем «журналов» Государственного совета за 1824-й и 1825 годы) сожалел еще в начале нашего века Бильбасов, в нем нет, как выяснилось, и поныне...

Но Бильбасов в свое время, как сказано, прочел на обложке этого пропавшего «Дела» заметку о том, что содержавшиеся в нем документы были пересланы Сперанскому 2 декабря 1824 года.

Оставалась, таким образом, надежда, что эти пропавшие исторические документы, до сих пор нам недоступные и неизвестные, могут обнаружиться среди бумаг Сперанского, которые хранятся ныне также в Центральном Государственном истори-

---

[1] Архив графов Мордвиновых, т. V, с. 684.

ческом архиве, где мне довелось вести свои розыски, — в том же особняке Лаваля.

И документы эти здесь действительно обнаружились — они нашлись в «Деле № 22», озаглавленном «Мнение Комитета относительно отмены наказания кнутом. Начато 1817 год. Кончено 1827 год. 36 листов». Архивный «Лист использования документов» в нем чист: никто, по-видимому, к этим документам, пролежавшим полтораста лет в бумагах Сперанского, до сих пор еще не обращался.

Среди этих бумаг и сохранились «Мнения, принадлежащие к журналу Государственного Совета о наказаниях; мнение адмирала Н. С. Мордвинова «О кнуте — орудии наказания» (от 6 октября 1824 года), мнение о том же князя Д. И. Лобанова-Ростовского от 20 октября 1824 года и другие пропавшие, казалось, документы, в том числе и извлечения из «журналов» Государственного совета, в которых запротоколированы были итоги обсуждения вопроса об отмене в России кнута и плетей...[1]

Здесь под заголовком «О казни кнутом», на листе 33-м этого архивного дела, и приведено было решение общего собрания Государственного совета, о котором сказано:

«По предложению адмирала Мордвинова, большинством голосов полагается казнь сию отменить, заменив ее самым большим числом ударов плетей и выставкою (преступника. — *И. Ф.*) на эшафод.

Три члена: князь Лобанов (надо читать «князья Лобановы»; как увидим, здесь явная описка писца. — *И. Ф.*) и г. Генерал Сукин полагают не отменять»[2].

А на следующем листе, 34-м, под заголовком «О плетях» читаем:

«...Два члена (князья Лобановы) полагают оставить плети по-прежнему». Это были два брата: князь Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский, министр юстиции, ставленник Аракчеева, и князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский, член Государственного совета, председатель Департамента законов этого Совета (и член Комитета министров).

Да, Пушкин, как мы убеждаемся, был обо всем этом деле осведомлен и исторически точен в своих стихах. Эти-то «знаменитые князья» Лобановы-Ростовские, «заступники кнута и плети», и были заклеймены поэтом.

Теперь приведем найденное нами в архиве «Мнение» князя Лобанова-Ростовского в защиту кнута, которое дошло, судя по всему, до Александра I и, вопреки решению большинством членов Государственного совета, одержало верх! Царь согласился, как мы убеждаемся, не с большинством Государствен-

---

[1] ЦГИАЛ, ф. 1251, оп. 1, д. № 22, л. 37, сл.
[2] См. названное выше «дело», л. 33.

ного совета, поддержавшим «мнение» Мордвинова о необходимости отмены кнута — орудия казни, а с мнением «заступников кнута и плети».

Вот это мнение министра юстиции князя Д. И. Лобанова-Ростовского (писарская копия, в конце которой означено: «подписал князь Лобанов-Ростовский» — «октября 20-го дня 1824 года»)[1].

«Читанное в здешнем Собрании, истинно трогательное описание действия кнута, тревожа всякого воображение, нудит и меня признаться в невежестве, в коем пребывал я о возможности разрушать тем поносным орудием каменные даже стены, и хотя постигнуть ту степень искусства я и поныне не умею, остерегусь однако все повествуемое о том опровергать, но признавая и сам то орудие жестоким, не могу не находить у нас его народу полезным, и в отмене его видеть соблазное преступникам послабление; ибо вдруг скрыть от глаз невежд (зрелище. — *И. Ф.*) страшились, на кое толико лет взирая, не перестали содрогаться, было б по мнение моему тоже, что борзому коню поводья бросить.

Добавить еще должен, что и просвещение, смягчая нравы, уменьшать может злодеев только число (л. 17), а не уничтожить оных появление, следственно, как правительству, к поражению их, не угрожать им самосильнейшей строгостью закона в то наипаче время, в коем повсеместно и само просвещение бессильно случилось отклонить порождение извергов всякого рода в таковом числе, что и среди сущего мрака больше их не бывало. Одним словом, где гроза, тут и честь; я, держась сей истины, заключаю, что не отмена кнута нужна, но лучшее только распределение случаев употребления его».

Александр I, как сказано, согласился с мнением, изложенным в этом поистине щедринском документе, и кнут, орудие жестокого наказания, отменен не был.

* * *

Находясь в сентябре 1825 года за границей и осматривая в Германии один из средневековых замков, Александр Иванович Тургенев видел выставленные там как «памятники невежества и ожесточения, между древностями» орудия пыток и казней и записал под впечатлением этого зрелища 13/1 сентября в своем дневнике:

«Мордвинов! Когда кнут будет у нас лежать с древностями, хотя бы и в Грановитой палате, то имя твое перейдет в потомство», «а кн. Л-Р — *х* (то есть князей Лобановых-Ростовских. — *И. Ф.*) герб украсится изображением кнута с деви-

[1] ЦГИАЛ, ф. 1251, оп. 1, д. 22, л. 17 и 17-об.

зом: близ царя — близ кнута! ...Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории — объяснит смысл сего девиза!»[1]

Эта обличительная запись показывает, что «подвиги подлости» князей Лобановых-Ростовских были А. И. Тургеневу хорошо известны. А обратившись к его подлинному дневнику, который хранится в Пушкинском Доме[2], в нем над словами этой записи: [«близ царя — близ кнута»] можно прочесть: «близ царя — близ грозы», и это показывает, что Тургенев, по-видимому, не только знал содержание «Мнения» в защиту кнута, но и читал его (поскольку в последнем было сказано: «где гроза, тут и честь» — и отмена кнута поэтому не нужна).

Нам остается объяснить значение пушкинского стиха, адресованного «заступникам кнута»: «Все наши женщины и дети Вам благодарны, как и я». Дело в том, что женщины, беременные или «питающие младенца грудью», по закону пытке и наказанию кнутом не подвергались[3]. Против этой льготы «знаменитые князья» не возражали, за что Пушкин саркастически и благодарит их. Впрочем, и эта «льгота» не всегда соблюдалась: об одном из таких ужасающих случаев, происшедшем во время следствия по делу об убийстве любовницы Аракчеева Настасьи Минкиной, вспоминал позднее в «Былом и думах» Герцен[4].

Когда Пушкин напечатал свою сатиру на графа Уварова, врага великого поэта и автора знаменитой формулы «православие, самодержавие и народность», Александр Тургенев заметил: «Другого бы забыли, но Пушкин заклеймил его бессмертным поношением. — Поделом вору и вечная мука!»[5]

«Бессмертным поношением» заклеймил он в своем так долго остававшемся загадочным наброске «заступников кнута и плети» — братьев Лобановых-Ростовских, имена которых стали нам теперь известны. Герб их, по слову Тургенева, должен был «украситься изображением кнута и девизом: «близ царя — близ кнута». Он, как помнит читатель, добавил: «Историк — ибо и подвиги подлости принадлежат иногда истории, — объяснит смысл сего девиза!» Смысл его теперь объяснился.

1968

---

[1] А. И. Тургенев. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). Под ред. М. И. Гиллельсона. М.—Л., 1964, с. 298—299.

[2] Дневник А. И. Тургенева с 8 августа по 4 сентября 1825 г. Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 309, № 3, л. 59 и 59-об.

[3] См.: Архив Государственного совета, т. IV, ч. 2. СПб., 1874, с. 859—862.

[4] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9. М., 1956, с. 88—89.

[5] А. И. Тургенев — П. А. Вяземскому, 9/21 марта 1836 г. — «Литературное наследство», т. 58, с. 120.

Выводы настоящей работы, как можно отметить в заключение, полностью приняты в новом десятитомном собрании сочинений Пушкина, выпускаемом издательством «Художественная литература» (т. II, 1974, с. 616—617. Примечания Т. Г. Цявловской); здесь указывается, со ссылкой на нашу работу, в связи с чем и на кого была в действительности написана эпиграмма «Заступники кнута и плети».

Мне кажется, что, не ограничиваясь этим верным, новым комментарием, нужно печатать теперь остававшуюся так долго загадочной пушкинскую эпиграмму под заголовком «На князей Лобановых-Ростовских».

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ ПУШКИНА

ЕКАТЕРИНА II И КНЯЗЬ X

Историческим анекдотом называли во времена Пушкина рассказ, характеризующий лицо историческое и сообщающий об эпизоде невымышленном, известном немногим, основанный на преданиях или неизданных исторических документах. Пушкин ценил, собирал и записывал эти предания. «Его голова была наполнена характеристическими анекдотами всех знаменитых лиц последнего столетия, и он любил их рассказывать»[1], — вспоминал близкий знакомый Пушкина Н. М. Смирнов, муж «черноокой Россети», приятельницы поэта.

«Два дня тому назад мы провели очаровательный вечер, — записал в дневнике 9 января 1837 года друг поэта Александр Тургенев. — Пушкин рассказывал нам анекдоты, черты Петра I и Екатерины II»[2]. Один из таких исторических рассказов Пушкин записал и в числе других положил в пачку, которой дал название «Table talk» («Застольные рассказы»). Вот он:

«Некто князь X., возвратившись из Парижа в Москву, отличался невоздержанностию языка и при всяком случае язвительно поносил Екатерину. Императрица велела сказать ему через фельдмаршала графа Салтыкова, что за таковые дерзости в Париже сажают в Бастилию, а у нас недавно резали язык, что, не будучи от природы жестока, она для такого бездельника, какой X., нрав свой переменять не намерена, однако советует ему впредь быть осторожнее»[3].

Суть рассказанного Пушкиным исторического анекдота состоит, разумеется, в том, что он призван охарактеризовать Екатерину. А между тем печатающийся в академическом издании комментарий неожиданным образом ставит это под сомнение, отрицая историческую достоверность пушкинского рассказа. Вот что читаем мы о нем в десятитомном академическом собрании сочинений Пушкина:

---

[1] Н. М. Смирнов. Из памятных записок. — «Русский архив», 1882, кн. I, с. 229.

[2] Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 204.

[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 93.

«Князь Х. — князь Хованский. В рукописи Пушкиным сделана зачеркнутая затем сноска о том, что это был князь Михаил Васильевич Хованский. На самом деле это — князь Никита Андреевич Хованский, упоминающийся среди прапорщиков, в 1731 г. уволенных в отставку; он вел крайне беспутный образ жизни и занимался тяжебными и судебными делами в такой степени, что был официально обвинен в ябедничестве, а 25 мая 1752 г. императрица Елисавета Петровна издала в связи с этим специальный указ об искоренении ябедничества. Таким образом, анекдот о Хованском относится ко времени царствования не Екатерины II, а Елисаветы Петровны»[1].

Кто же прав и кто допустил историческую ошибку — Пушкин или его ученые комментаторы?

Если верить этим комментаторам, Пушкин, в котором современники находили «сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные»[2], проявил в своем рассказе о Екатерине и князе Х. поражающее легковерие, записав какие-то россказни, в которых все искажено. Ибо действительно существовавший князь Никита Андреевич Хованский был будто бы совсем не тот Хованский, о котором почему-то рассказывает нам Пушкин; пострадал же настоящий Хованский вовсе не за то, что язвительно поносил Екатерину. Пушкин смешивает даже, по словам комментария, царствование Екатерины с царствованием Елизаветы, поделом наказавшей князя Н. А. Хованского. Превратно рассказанный Пушкиным анекдот, следовательно, не мог вообще иметь отношения к Екатерине.

Допустить историческую ошибку может, конечно, и Пушкин. Но степень отступления его от исторической истины здесь так высока, обращается он с ней так свободно, что мы могли бы даже заподозрить, будто перед нами не подлинный исторический анекдот, а вымышленный рассказ, созданный Пушкиным, по-видимому, с целью по-своему изобразить Екатерину. Известно, что Пушкин не чужд был жанру художественно-исторической мистификации. Достаточно вспомнить блестяще написанное самим Пущкиным — и выданное им за публикацию — мнимое письмо Вольтера к несуществовавшему Дюлису, «последнему из свойственников Иоанны д'Арк», который вызвал будто бы Вольтера на дуэль, прочитав «Орлеанскую девственницу» и оскорбившись этой кощунственной поэмой. Весь этот целиком вымышленный Пушкиным эпизод был великолепно стилизован им и выдан за эпизод подлинно исторический.

Не так же ли обстоит дело и с пушкинским рассказом о Екатерине и князе Х.? И нет ли возможности проверить, имел ли место в действительности этот исторический случай? Нельзя

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 537.

[2] Письмо А. И. Тургенева, 30 января 1837 г. — «Русский архив», 1903, кн. 1, с. 143.

ли обнаружить хотя бы источник пушкинского рассказа, то есть выяснить, откуда мог почерпнуть Пушкин весь сюжет его и приведенные в нем слова Екатерины? Скажем заранее: никакой мистификации здесь не было, не было и ошибки. В руках Пушкина, как мы сможем вскоре убедиться, было подлинное письмо Екатерины II о князе Хованском, которое Пушкин верно и точно пересказал в своем историческом анекдоте.

Но прежде, чем привести лежавшее еще во времена Пушкина под спудом секретное письмо императрицы, попытаемся выяснить, каким образом стало оно доступно поэту.

«ОСТАВИТЬ В ФАМИЛИИ...»

Кроме имени князя Х., то есть князя Хованского, и самой Екатерины в пушкинском анекдоте названо имя «фельдмаршала графа Салтыкова». Ему повелела Екатерина призвать к ответу князя Хованского. Кто же был этот Салтыков?

Не один, а три графа Салтыкова были лицами, близкими к Екатерине.

Граф Сергей Васильевич Салтыков, камергер, известный своей красотой, был ее фаворитом и, как думают, отцом Павла, будущего императора.

Другой Салтыков, граф Николай Иванович, впоследствии фельдмаршал, стал воспитателем внука Екатерины, будущего императора Александра I, и, по словам секретаря Екатерины Грибовского, долго был «первым почти при дворе лицом». Третий же Салтыков, граф Петр Семенович, герой Семилетней войны и победитель Фридриха при Кунерсдорфе, знаменитый фельдмаршал, был при Екатерине главноначальствующим в Москве. Ему слала туда из Петербурга письма и повеления Екатерина. Пушкин знал о его существовании, в отличие от своих комментаторов, и хотя граф П. С. Салтыков умер незадолго до Пугачевского восстания, имя его упомянуто поэтом в материалах к «Истории Пугачева».

В своем анекдоте Пушкин сообщает, что императрица повелела графу Салтыкову призвать Хованского к ответу после того, как тот возвратился из Парижа в Москву (где «язвительно поносил Екатерину»). Ему, как московскому генерал-губернатору, и должна была поэтому послать Екатерина повеление о князе Хованском. Повеление ее, следовательно, могло быть письменным.

Когда граф Петр Семенович Салтыков умер, императрица была озабочена судьбой адресованных ему, часто не терпящих дневного света секретных писем, о чем она писала в Москву 2 января 1773 года преемнику графа П. С. Салтыкова князю М. Н. Волконскому. У покойного графа, говорит Екатерина в этом письме, «я чаю, множество моих писем осталось по раз-

ным делам... И естьли оных найдут, то чтоб собрали их в одно место, а вы их своею печатью запечатайте.

Я не спорю, не замай, останутся в фамилии, но еще рано, чтоб иные в руки попались, кому до них дела нету. И прикажите оных писем после графу Ивану Петровичу (т. е. сыну покойного П. С. Салтыкова. — *И. Ф.*) отдать с тем, чтобы он их сохранял и они б, — повторяет Екатерина, — не попались всякому в руки»[1].

Пусть «останутся в фамилии»...

Желание императрицы было исполнено. Письма ее остались в семье наследников графа П. С. Салтыкова, а век спустя в печати было указано, что письма эти должны храниться у потомков его — Мятлевых.

КРЕСТНИК ИМПЕРАТРИЦЫ

След знакомства Пушкина с письмом Екатерины о князе Хованском обнаруживается в самом деле в переписке Пушкина с поэтом Мятлевым, крестником Екатерины II и правнуком графа П. С. Салтыкова, которому Екатерина повелела призвать и постращать князя Хованского.

Мятлев был приятелем Пушкина, который был с ним на «ты» и не только писывал с ним вместе шутливые стихи, но думал даже продать ему «медную бабушку», то есть колоссальную статую Екатерины II, принадлежавшую дедушке Натальи Николаевны А. Н. Гончарову, полученную Пушкиным взамен обещанного ему приданого.

«Мысль о покупке статуи еще не совершенно во мне созрела, — писал Пушкину по этому поводу Мятлев в марте 1832 года, — и я думаю, и тебе не к спеху продавать ее... Как помнится мне, в разговоре со мной о сей покупке... ты мне сказал: — *Я продам тебе по весу Екатерину...*»[2] Выбор пал, таким образом, на Мятлева не случайно.

Пушкин знал, оказывается, что к Мятлеву перешли по наследству письма крестной матери его, Екатерины II, к прадеду его, графу П. С. Салтыкову. Письмами этими Пушкин заинтересовался во время своих занятий «Пугачевым» и историей екатерининского времени. И Мятлев, не спеша купить у Пушкина медную статую своей крестной, охотно согласился ознакомить Пушкина с неизданными бумагами императрицы.

«Бумаги мои готовы и тебя ожидают, — писал он Пушкину 1 марта 1833 года, — когда ты прикажешь, мы за дело

[1] Это письмо Екатерины II было опубликовано только через сто лет в историческом сб. «Осьмнадцатый век», изд. П. Бартенева, кн. 1, 1868, с. 86, а письма ее к графу П. С. Салтыкову (за 1762—1771 гг.) — в «Русском архиве», 1886, кн. 3.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 16.

примемся»[1]. Что речь шла именно об этих екатерининских бумагах, подтверждает продолжение мятлевского письма. «Но и ты не можешь ли чем покормить душу? — спрашивает он Пушкина, — нет ли второго тома Храповицкого? (т. е. неизданных записок знаменитого в свое время секретаря Екатерины II. — *И. Ф.*). Нет ли чего-нибудь столь же интересного? Нет ли чего-нибудь великой жены? Ожидаю твоего ордера»[2] (т. е. приказания), прося Пушкина назначить день, когда они начнут вместе читать заинтересовавшие поэта бумаги Екатерины. Среди этих писем императрицы Пушкин и прочел письмо Екатерины к графу Салтыкову о дерзком князе Хованском. Вот оно:

«Секретно.

Граф Петр Семенович. Дошло до моих ушей, что некто именем князь Александр Васильев сын Хованской не пропускает случай, чтобы все мои учреждения и всех моих поступков не толковать злодейской дерзостию и дать им вид совсем моим намерениям противный. Он прежде сего был во Франции, но позабыл, знатно, что в Париже за то сажают в Бастилью, умалчивая о том, что за то прежде сего воспоследовало в России. Но как я склонности к жестокости не имею, а нрав свой для сего бездельника переменить не намерена, того для призовите его к себе и скажите ему от себя, что вы, вышеописанного услыша, оставляете о подлинности того исследовать до времени, а между тем хотите ему дать приметить, чтоб он мог воздержаться вперед; что подобным поведением он доведет себя до такого края, где и ворон костей его не сыщет. И после сей короткой аудиенции отпустите его домой, не принимая много оправдания от сего ябедника. — Впрочем остаюсь, как всегда, к вам весьма доброжелательна. ***Екатерина.***

Санкт-Петербург. 29 (месяца в подлиннике не означено. — *И. Ф.*) 1766»[3].

«И ВОРОН КОСТЕЙ НЕ СЫЩЕТ...»

Анекдот о Екатерине II Пушкин записал по памяти. Это видно из того, что имя князя Хованского — Александр (названное в письме Екатерины) — Пушкин с точностью вспомнить не мог, хотя запомнил отчество и фамилию князя. В текст же анекдота Пушкин внес два изменения по сравнению с письмом Екатерины:

«Императрица велела сказать ему... что за таковые дерзости в Париже сажают в Бастилию, а у нас недавно резали язык», — читаем мы у Пушкина. Между тем как в письме

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 52.
[2] Там же.
[3] «Русский архив», 1886, кн. 3, с. 51—52

Екатерины лишь глухо сказано: «В Париже за то сажают в Бастилью, умалчивая о том, что за то прежде сего воспоследовало в России». То есть Екатерина в своем письме только разумеет, что «за таковые дерзости» «у нас» (как прямо пишет, в отличие от императрицы, Пушкин) «недавно резали язык». Пушкин раскрыл фигуру умолчания, к которой многозначительно прибегла в своем письме Екатерина, выразил смысл ее пластически и резко обострил этим свой исторический рассказ.

Вслед за тем Пушкин приводит подлинные слова Екатерины, «что, не будучи от природы жестока, она для такого бездельника, какой Х., нрав свой переменять не намерена, однако советует ему впредь быть осторожнее».

Между тем в письме императрицы содержалась прямая угроза: она приказала передать князю Хованскому, что «подобным поведением он доведет себя до такого края, где и ворон костей его не сыщет».

Эту угрозу Пушкин опустил, может быть, по цензурным соображениям, предполагая напечатать свой анекдот.

Строки эти удивительны под пером «кроткой Екатерины», знающей цену ласковому, обходительному слову и лицемерной: она была так сильно раздражена отзывами князя Хованского, «дошедшими до ее ушей», что ей пришла на язык грозная пословица.

В постскриптуме же к своему письму Екатерина писала — по-французски — графу Салтыкову: «Постращайте его хорошенько, чтобы он сдержал отвратительный свой язык; ибо иначе я должна буду сделать ему больше зла, нежели сколько причинит ему эта острастка»[1].

Императрица здесь еще только грозит. Поздней, испуганная Пугачевским восстанием и Французской революцией, она показала свою жестокость. Молодой Пушкин поэтому писал о ней в 1822 году: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шешковского («домашний палач кроткой Екатерины», — поясняет здесь Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь»[2] (в край, «где и ворон костей не сыщет», которым грозила в свое время императрица князю Хованскому).

«БРАТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО»

Была ли все-таки допущена Пушкиным какая-нибудь ошибка в записи, точнее — в окончательном тексте его анекдота о Екатерине и князе Хованском? И почему Пушкин зачеркнул указанные им сначала в сноске имя, отчество и фамилию князя?

---

[1] «Русский архив», 1886, кн. 3, с. 52.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 125.

Ошибки не произошло. Сноску, именовавшую сначала князя Х. «князем Михаилом Васильевичем Хованским», Пушкин зачеркнул в рукописи целиком, решив от нее отказаться. Не потому только, может быть, что, помня фамилию и отчество Хованского, сомневался, верно ли запомнил он собственное имя князя (назвав Михаилом, в то время как его звали Александром). Вероятней, что Пушкин счел нужным в конце концов назвать лишь титул и указать инициал его, не раскрывая полностью его фамилию. Ибо могли быть еще живы близкие потомки князя, для которых нежелательно было бы оглашение фамилии его в историческом анекдоте.

К тому же для этого пушкинского рассказа о Екатерине имя, отчество и даже полностью раскрытая фамилия князя Хованского существенного значения не имели бы. Сказанное можно, мне кажется, пояснить наглядно, сравнив этот анекдот с другим анекдотом о Екатерине, который Пушкин занес в свой дневник 21 мая 1834 года. Начинается он сходно с анекдотом «Некто князь Х.»:

«Некто Чертков, человек крутой и неустойчивый, был однажды во дворце. Зубов (последний фаворит Екатерины. — *И. Ф.*) подошел к нему и обнял его, говоря: «Ах ты, мой красавец!» Чертков был очень дурен лицом. Он осердился и, обратясь к Зубову, сказал ему: «Я, сударь, своею фигурою фортуны себе не ищу». Все замолчали. Екатерина, игравшая тут же в карты, обратилась к Зубову и сказала: «Вы не можете помнить *такого-то* (Черткова по имени и отчеству), а я его помню и могу вас уверить, что он очень был недурен»[1].

Пушкин не помнил или не знал имени и отчества Черткова, записывая этот анекдот о нем (как не вспомнил раньше имени князя Хованского). Но так как по смыслу нового анекдота важно было пусть не самое имя и отчество Черткова, а то, что императрица помнила его и назвала по имени и отчеству, Пушкин, записывая слова императрицы, подчеркивает это, ибо в данном случае это было нужно и существенно.

Несмотря на то что возможная ошибка в личном имени князя Хованского, как мы убедились, была избегнута Пушкиным, зачеркнутая им в рукописи сноска вовлекла почему-то комментаторов пушкинского анекдота в странные заблуждения. Анекдот этот в дореволюционных изданиях не комментировался вовсе. Недоразумения начались в юбилейном издании сочинений поэта, вышедшем к столетию его гибели, где можно прочесть: «Рассказ относится не к князю Михаилу Васильевичу Хованскому, так как такого не существовало, а к одному из его братьев»[2]. Брат человека, которого не существовало... Вы-

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 51. Вместо слова «неустойчивый», очевидно, следует читать «неуступчивый». — *И. Ф.*

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 9-ти т., т. IX, с. 761.

ражение отчасти загадочное, но о каком же князе Хованском говорится в пушкинском анекдоте, в этом комментарии выяснено не было.

Не определив, кто был пушкинский князь Хованский (и неправильно указав вместе с тем, о каком графе Салтыкове говорится в пушкинском анекдоте), комментарий этот все-таки не отрицал, что анекдот представляет собой рассказ о Екатерине. В академическом десятитомном издании, вышедшем впервые к 150-летию со дня рождения Пушкина, отрицается, как помнит читатель, даже и это. Составители нового академического комментария не сочли нужным даже заглянуть в рукопись Пушкина, где весь анекдот сначала был попросту озаглавлен Пушкиным «О Екатерине II».

Этот ложный комментарий напечатан трижды — во всех трех изданиях академического десятитомника сочинений Пушкина. А между тем он начинает переходить в другие авторитетные собрания сочинений Пушкина[1].

Но исправлением ошибки в комментариях история пушкинского анекдота о Екатерине II и князе Хованском не кончается. Она, оказывается, имела неожиданное продолжение.

«СЕНО ВМЕСТО ШАРА»

Угомонился ли князь Хованский после того, как Екатерина пригрозила, что «он доведет себя до такого края, где и ворон костей его не сыщет»? Оказывается, нет. Екатерине пришлось возвратиться к Хованскому на следующий же год после полученной им жестокой острастки. Об этом говорит нам новое письмо разгневанной императрицы, написанное ею в день открытия «славной комиссии об уложении». «Фарса наших депутатов, столь непристойно разыгранная», — писал об этой екатерининской комиссии Пушкин... А знаменитый «Наказ», написанный для комиссии самой Екатериной, Пушкин назвал лицемерным, вызывающим праведное негодование[2].

Князь Александр Хованский стал, как мы узнаем, депутатом «славной комиссии» и по-своему воспользовался этим, ознаменовав торжество открытия ее неожиданной дерзостью.

Открытие «Уложенной комиссии» состоялось в чрезвычайно помпезной обстановке 30 июля 1767 года. После молебна в Успенском соборе, куда Екатерина прибыла в императорской мантии, с малой короной на голове, императрица приняла в Кремлевском дворце депутатов комиссии, стоя на тронном возвышении. По правую сторону ее на столе, покрытом красным бархатом, лежал «Наказ». На другой день, 31 июля,

---

[1] См.: А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти т., т. 7. М., 1962, с. 403.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 127.

депутаты были торжественно собраны в Грановитой палате Кремля и приступили к избранию маршала комиссии. Императрица из сделанного над Грановитой палатой старинного тайника следила за этими выборами.

Генерал-прокурор ударил жезлом, депутатам розданы были шары, и приступили к баллотированию. «Не можно было надивиться, с какой тишиною и благоговением все в сем столь многочисленном собрании происходило», — писал с умилением в тот же день статс-секретарь императрицы Козмин. Маршалом комиссии из числа знатнейших особ, получивших наибольшее число голосов, утвержден был императрицей Александр Ильич Бибиков, будущий усмиритель Пугачева.

Началось чтение «Наказа», который «был слушан с восхищением, многие плакали», — говорит дневная записка комиссии. И вот в этой торжественной обстановке один из депутатов совершил при избрании маршала дерзкую выходку, о которой тотчас было донесено императрице. Разгневанная Екатерина в тот же день писала графу П. С. Салтыкову, посылая ему вместе с письмом «напоминание», которое должно было быть прочитано им на другой день депутатам комиссии:

«К соблазну всего собрания усмотрено, что некто, невежа, дерзнул при вчерашнем торжественном первом акте употребить неистовую и непристойную шалость, и клал сено вместо бала... Я именем всего собрания даю ему знать то неудовольствие, которое на него пало, и сей раз, не исследывая далее, кто он таков, довольствуюся тем, чтобы сделать ему сей публичный при всех выговор... А впредь не могу я от него скрыть, что я, если он не уймется... по открытии его имени, предложу к выключению его из собрания». В заключение же Екатерина собственноручно по-французски добавила: *«Говорят, что дерзость эту сделал князь Александр Хованский»*[1].

(Исключение князя Хованского из состава Комиссии, которым грозила Екатерина, по-видимому, произошло, так как имя его в официально изданном списке ее членов не значится.) Это были уже не только словесные нападки Хованского, который и раньше «при всяком случае язвительно поносил Екатерину», а «неистовая и непристойная шалость», то есть дерзкая публичная демонстрация против императрицы и ее лицемерного «Наказа», демонстрация неуважения к верховной власти и всей «фарсе наших депутатов» (которая, по словам Пушкина, была «столь непристойно разыграна» Екатериной).

Пушкин знал, по-видимому, и об этом новом эпизоде, ибо прочел, вероятно, и второе письмо Екатерины о князе Хованском. Вместе с другими письмами императрицы к графу П. С. Салтыкову оно лежало в библиотеке ее крестника Ивана

---

[1] Письмо Екатерины II от 31 июля 1767 г. — «Русский архив», 1886, кн. 3, с. 60—61.

Мятлева, который так радушно пригласил Пушкина прочесть вместе с ним эти письма.

Прочитав новое письмо Екатерины, Пушкин мог бы дополнить свой анекдот о ней и князе Хованском, добавив, что князь не угомонился и после жестокой острастки. Мог бы дополнить. Но не сделал этого. Почему — нам не известно.

«ТАРТЮФ В ЮБКЕ И В КОРОНЕ»

В своих «исторических замечаниях о XVIII веке» Пушкин высказал резкий взгляд на Екатерину и ее царствование. Замечательно, однако, что, даже разоблачая ее лицемерие и другие «отвратительные пороки», называя добродетели ее «добродетелями Тартюфа в юбке и в короне», поэт судил о Екатерине так же, как судил о Петре I, — с присущей ему исторической объективностью, диалектически. Петра в рукописи своих «Исторических замечаний» называл он и «великим человеком», и «деспотом». А признавая «великие права Екатерины на благодарность русского народа» за исторические заслуги ее — укрепление международного положения и расширение границ России, получившей в годы ее царствования выход к Черному морю, — Пушкин обличал вместе с тем «жестокую деятельность ее деспотизма, под личиной кротости и терпения» и сказал, что ничто поэтому не избавит «ее славной памяти от проклятия России».

* * *

Такова история пушкинского анекдота о Екатерине II и князе Хованском. Как все исторические изыскания поэта, она говорит о серьезности, тщательности и добросовестности приемов его работы: перед нами образец мастерского использования и обработки документального источника. «Добросовестность труда — порука истинного таланта»[1], — писал Пушкин.

Великий писатель брал свое добро повсюду, где находил его, шла ли речь о работе над великими историческими полотнами — «Историей Пугачева» и незавершенной «Историей Петра» — или всего только о характерном эпизоде екатерининского царствования, отраженном в малой форме исторического анекдота.

1971

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 180.

УПУЩЕННЫЙ ЧЕРНОВИК

«СЛАСТОЛЮБИЦА ВОСЕМНАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ»

В числе пушкинских рукописей, собранных в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, находится Кишиневская тетрадь, переданная три четверти века назад сыном поэта Московскому Румянцевскому музею, где она и хранилась в течение многих лет под № 2365. В ней содержатся текст поэмы «Кавказский пленник», а также черновики и планы некоторых других известных произведений Пушкина[1].

Между листами этой тетради, перенумерованными красными жандармскими чернилами тотчас после смерти поэта, когда рукописи его были опечатаны по повелению Николая I, можно заметить корешки вырванных и уничтоженных самим Пушкиным страниц. Интересующая нас тетрадь уже в 1884 году была описана лист за листом В. Е. Якушкиным (внуком декабриста) в его известном труде «Рукописи А. С. Пушкина»[2].

Но, несмотря на то что рассматриваемая тетрадь многократно являлась предметом внимания исследователей, в ней содержатся, как можно убедиться, две черновые страницы, ускользнувшие по каким-то причинам от редакторов сочинений Пушкина. Содержащиеся на этих страницах черновые варианты не вошли в свое время и в том одиннадцатый Большого академического изданий сочинений поэта.

Страницы эти образуют ныне в пушкинской тетради разворот, левой стороной которого является лист 66 об., а правой стороной — лист 67. Они относятся к черновику прозаического отрывка, предназначавшегося для «Записок» поэта, которые были сожжены им после 14 декабря 1825 года.

Беловой, окончательный текст этого отрывка известен в пе-

Текст статьи впервые опубликован в «Вестнике Академии наук СССР», 1956, № 5, печатается полностью, хотя материал частично вошел в «Незавершенные работы Пушкина».

[1] Архив ИРЛИ (Пушкинского Дома) АН СССР, ф. 244, оп. 1, № 831.

[2] См.: «Русская старина», 1884, апрель, с. 87—110.

чати давно, благодаря тому, что текст его сохранился случайно в бумагах Н. С. Алексеева, кишиневского приятеля поэта: Пушкин отдал ему для переписки этот собственноручно написанный в 1822 году отрывок своих «Записок», задолго до того, как принужден был уничтожить свой труд[1].

Этот беловой отрывок был впервые опубликован — по цензурным условиям в чрезвычайно урезанном виде — в 1859 году Е. И. Якушкиным (сыном декабриста), который сообщал тогда в «Библиографических записках»: «В сборнике нашем ненапечатанных сочинений Пушкина есть несколько отрывков, важных для будущего биографа поэта...» «Начнем с записок Пушкина», — писал Е. И. Якушкин, публикуя рассматриваемый отрывок, в котором «Пушкин бегло излагает свой взгляд на царствования преемников Петра I»[2]. В более полном виде отрывок этот увидел свет лишь много лет спустя в «Русской старине», где помещен был под заголовком «Взгляд на царствования Петра I и Екатерины II»[3]. В собраниях сочинений Пушкина он печатается теперь обычно под условным названием «Заметки по русской истории XVIII века».

После того как отрывок был напечатан по копии белового автографа, уцелевшей в бумагах Н. С. Алексеева, в печати стали появляться — сначала, правда, в очень неполном и неточном виде — черновые варианты к нему, посвященные Пушкиным характеристике Петра I и обнаруженные на одной из страниц (л. 61) той именно Кишиневской тетради поэта, к которой мы должны ныне вернуться, поскольку в ней содержатся, как оказалось (на лл. 66 об. и 67), непубликовавшиеся пушкинские строки, посвященные характеристике Екатерины II.

После разгрома восстания 14 декабря Пушкин, сжегши беловую рукопись своих «Записок» и «боясь тщательного обыска... не пожалел и черновых листов». Так поступил он и с рассматриваемой нами Кишиневской тетрадью. Но, вырывая из нее черновик отрывка, в котором исторически обосновывалась необходимость уничтожения самодержавия и крепостного права, Пушкин уничтожил свой черновик не полностью. В тетради поэта уцелели, оказывается, три страницы черновика; опубликована же была из них, как сказано, лишь одна — содержащая варианты, относящиеся к Петру I.

Между опубликованными нами остальными двумя уцелевшими страницами пушкинского черновика виден корешок вырванного рукой Пушкина листа, на котором, так же как на этих уцелевших страницах, находилась часть текста, посвященная характеристике Екатерины II.

---

[1] Переданный Н. С. Алексееву беловой список отрывка датирован Пушкиным 2 августа 1822 года. — См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 14—17.

[2] «Библиографические записки», 1859, № 5, с. 130.

[3] См.: «Русская старина», 1880, декабрь, с. 1043 и след.

По содержанию эти страницы черновика близки к известному нам беловому тексту пушкинского отрывка. Вместе с тем они показывают, с какой настойчивостью Пушкин работал над создаваемыми им в кишиневский период историческими страницами своих «Записок» и какое значение придавал стилистической отделке их.

На л. 66 об. после зачеркнутого вверху двустишия («Овидий, я брожу...») читаем:

> «Униженная Швеция и уничтоженная Польша, [уни] [усмиренная Турция] — вот истинные права Екатерины на [нашу] благодарность Русского народа — но [время] [потомству] современем истина оценит влияние ее царствования на нравы, откроет [жестокость] жестокую деятельность, ее деспотизма, под маскою кротости и терпимости, [покажет] народ, угнетенный ее наместниками, казну расхищенную [любимцами] любовниками, [войско] (нрзбр) [тиранство], [откроет] покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, [мелочное шарлатанство] отвратительное фиглярство в сношениях [с Вольтером и] философами [сластолюбицы] 18 столетия»[1].

Этой странице пушкинского черновика соответствует в беловом печатном тексте отрывка абзац пятый. В числе приведенных черновых вариантов, относящихся к характеристике Екатерины и ее царствования, обращает на себя внимание слово «тиранство», отсутствующее в окончательном, беловом тексте отрывка. Зачеркнутое Пушкиным слово «войско» дает, судя по контексту, основание предполагать, что Пушкин первоначально имел в виду упомянуть здесь о вопиющих недостатках, обнаружившихся в управлении и обеспечении русского войска к концу царствования Екатерины II.

На листе 67-м мы находим черновой текст, соответствующий абзацу восьмому белового пушкинского текста[2]. Приведем этот черновой текст, начало которого говорит о том, что Екатерина уничтожила «звание» —

> «(справедливее [скорее] название) рабства; а [сама] [дарила государственные поместья] [государственных крестьян] раздарила около [300.000] [200.000 государственных крестиян (т. е. свободных [землепашцев] хлебопашцев). [Екатерина] уничтожила звание раб, и закрепостила [часть] вольную Малороссию, Екатерина

---

[1] Слова, зачеркнутые Пушкиным, заключены в приводимом тексте в прямые скобки; неразобранные слова и части слов обозначены пометкой «нрзбр».

[2] Счет абзацев указываем общий для всего печатного белового отрывка (а не по страницам его). Указанный абзац см.: П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 15—16.

уничтожила пытку, и тайна канцелярия процветала под ее патриархальным правлением —

[Новиков, Радищев, Княжнин] [Новиков и Радищев были] Княжнин умер под розгами [Шишковского][1].

Екатерина любила просвещение — и [почтенный Новиков, более всех] Новиков [первый] распространивший первые лучи его [был] из рук кровавого Шишковского перешел во мрак темницы. Радищев [находился] до конца жизни (?) ее (?) [был] [сослан] в Сибирь. Кн. <яжнин> умер под розгами — [Знаю, что Кандид и Белый бык были напеча<таны>] (нрзбр) и Фон-Визин, которого она боялась, не избежал бы той же участи, еслиб не чрезвычайная его известность».

Критикуя влияние царствования Екатерины II на «политическое и нравственное состояние России» и говоря о «важных ошибках ее в политической экономии», Пушкин не только с возмущением вспоминает о том, что Екатерина, уничтожив на словах звание «раб», щедро дарила своим фаворитам государственные поместья и закрепостила вольную Малороссию. Подчеркнув, что Екатерина вместе с государственными поместьями дарила приписанных к ним «свободных хлебопашцев», превращая в помещичью собственность государственных крестьян, Пушкин считает нужным указать и число их. В черновике он заметил, что Екатерина раздарила около 200 тысяч свободных хлебопашцев. Но затем, уточнив, указал в беловом, окончательном тексте, что Екатерина «раздарила около миллиона государственных крестиян»[2].

Это заслуживает внимания не потому только, что Пушкин проявил здесь стремление к исторической точности, но и потому, что окончательно установленная им цифра свидетельствует о несомненной осведомленности его. Говоря об усилении крепостного права в царствование Екатерины II, В. О. Ключевский позднее отметил, что «количество приведенных в известность крепостных, розданных в течение этого царствования в частное владение, простиралось до 400 000 ревизских душ, т. е. почти до миллиона действительных душ»[3]. Эту же цифру — «около миллиона» — назвал в своем окончательном тексте и Пушкин.

В беловом варианте читаем:

«Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первые лучи его, перешел из рук Шишковского («домашний палач кроткой Екатерины», — пояс-

---

[1] Против этих двух последних строк Пушкин поставил на полях знак, показывающий, что они должны быть использованы ниже.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 16.

[3] В. О. Ключевский. Курс русской истории, ч. V. П., 1921, с. 94.

няет Пушкин) в темницу, где и находился до самой ее смерти»[1].

В приведенных выше черновых вариантах к этому пушкинскому тексту сохранились, как видим, выразительные эпитеты, характеризующие и Новикова и Шешковского: Новикова Пушкин назвал в черновике «почтенным», а Шешковского — «кровавым».

«Княжнин умер под розгами», — пишет Пушкин и в черновом, и в окончательном тексте отрывка, повторяя предание о том, что Княжнин умер под пыткой. В черновике Пушкина, вслед за словами «Княжнин умер под розгами», можно прочесть зачеркнутую, но чрезвычайно интересную по содержанию строку, обличающую лицемерие Екатерины: «Знаю, что Кандид и Белый бык были напечатаны». Смысл этой недописанной и зачеркнутой фразы состоит в том, что названные Пушкиным повести Вольтера были опубликованы в России под покровительством самой Екатерины. Как известно, по желанию императрицы в 1768 году была учреждена «Комиссия для печатания на русском языке хороших иностранных книг», наметившая к изданию сочинения Вольтера. Его прославленный «Кандид» вышел в Петербурге в следующем, 1769 году[2]. «Белый бык» — вторая из названных Пушкиным философских повестей Вольтера — также был переведен и издан в России при ближайшем участии самой Екатерины[3].

Пушкин в своем черновике саркастически напоминает об этом. Ибо Княжнин, по его словам, умер под розгами в Тайной канцелярии, которая «процветала под... патриархальным правлением» той самой Екатерины, под высочайшим покровительством которой издан был в России «Кандид». Между тем как раз в этой повести Вольтер рассказывает, «как Кандид был высечен». Здесь именно, вспомнив любимую сентенцию своего учителя Панглоса об «этом лучшем из миров», только что высеченный Кандид, «испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий», произносит свою знаменитую фразу: «Если это лучший из миров, то каковы другие?» Эти всем известные слова Кандида, как и плачевная участь его, не могли не вспомниться читателям, которым Пушкин намерен был адресовать свои бичующие Екатерину строки.

Но заслуживает, пожалуй, внимания и другое: в этом месте своего черновика Пушкин неожиданно говорит от первого лица: «Знаю, что Кандид» и т. д. Предание о том, что Княжнин

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 16.

[2] Позднее «Кандид» дважды переиздавался в царствование Екатерины II. — См.: Д. Д. Языков. Вольтер в русской литературе. М., 1902, с. 6 и 14.

[3] «Белый бык» вышел впервые в русском переводе в 1779 году, как вспоминал в свое время М. А. Дмитриев. См. его «Мелочи из запаса моей памяти». Изд. 2-е. М., 1869, с. 48.

«умер под розгами» в Тайной канцелярии (где он был, в самом деле, допрошен Шешковским), остается исторически не подтвержденным. Но Пушкин недаром дважды повторяет его в черновике и, не сомневаясь, по-видимому, в истинности его, сохраняет в окончательном тексте отрывка.

Пушкин, когда писал эти строки, вспоминал, разумеется, и о своей политической судьбе, повторявшей судьбу его предшественников. «Радищев, — писал он, — был сослан в Сибирь». В Сибирь грозил сослать Пушкина и Александр I. «Воображаемый разговор» свой с Александром I Пушкин также закончил, как известно, тем, что царь ссылает его в Сибирь. А повторяя, что во времена Екатерины «Княжнин умер под розгами», Пушкин не мог не вспомнить распространявшийся его врагами слух о том, будто сам он также был «высечен» в Тайной канцелярии. «Необдуманные речи, сатирические стихи обратили на меня внимание в обществе, распространялись сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен», — писал Пушкин из михайловской ссылки в 1825 году в своем неотправленном письме к Александру I. «До меня позже всех дошли эти сплетни, сделавшиеся общим достоянием, я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении... Я размышлял, не следует ли мне покончить с собой или убить — «В»[1], — писал далее Пушкин, признаваясь, что у него возникла в то время мысль о цареубийстве. Вот отчего с такой настойчивостью Пушкин возвращался к судьбе Княжнина, повторяя глухое предание о том, что писатель этот был «высечен» в Тайной канцелярии.

Резко критикуя Екатерину и ее царствование, Пушкин, как видим, с необыкновенной смелостью обличал самодержавие, его отношение к литературе и русским писателям.

1956

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X. М., с. 784 (оригинал на франц. яз.).

«ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЗАПЯТОЙ...»

Судьба пушкинского рукописного наследства — точнее, запретной части его — была катастрофической, так же как судьба самого поэта. Дело не только в том, что некоторые рукописи Пушкина были в свое время уничтожены или потеряны. Даже когда удается обнаружить какие-нибудь из этих неизвестных рукописей, часто оказывается, что найденные пушкинские рукописи дошли до нас в таком состоянии, что остаются во многом недоступны читателю. Ибо Пушкин многое писал для себя, сокращенно, начерно или даже условным способом, закрепляя наскоро свои мысли. Для того чтобы расшифровать и понять эти страницы — а великое множество их содержится в исторических тетрадях поэта, — нужна еще большая работа, даже если эти рукописи уже появились в печати.

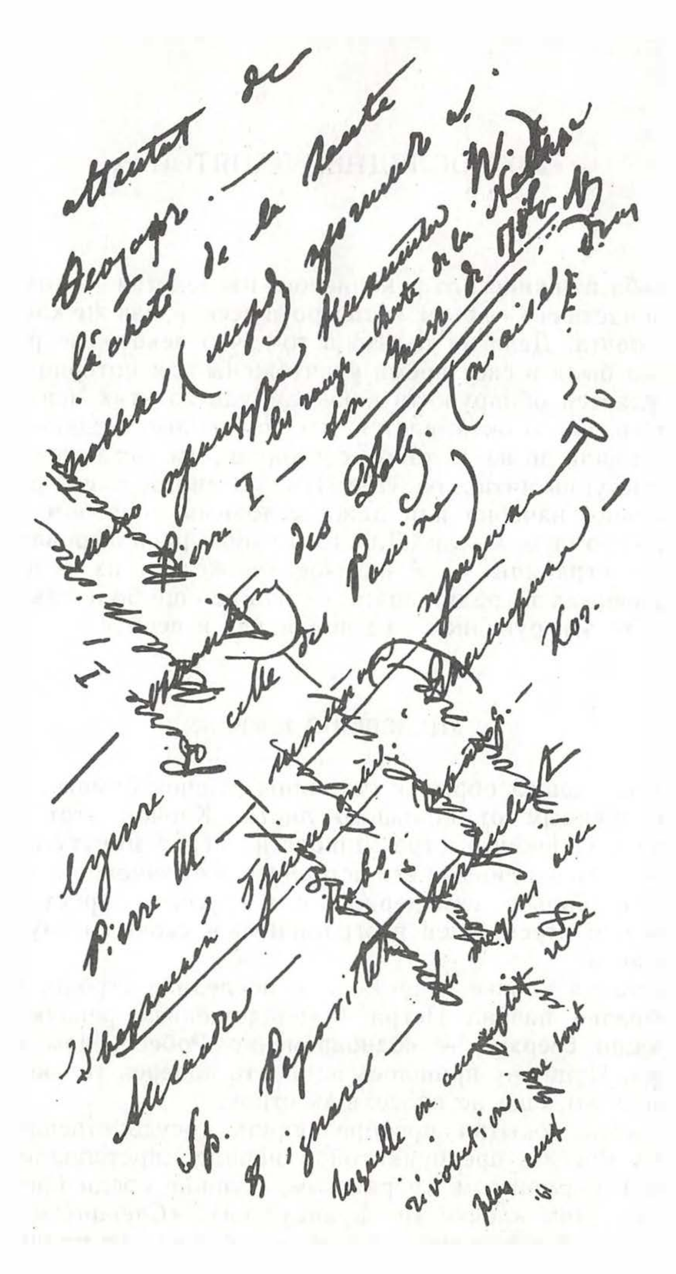
УЦЕЛЕВШИЙ КЛОЧОК

До нас дошел обрывок страницы, клочок бумаги, оторванный Пушкиным от большого листа. Клочок этот невелик, но важен. Пушкин быстро записал на нем в минуту вдохновения всю суть озарившей его исторической концепции: он решал вопрос о борьбе самодержавия с русской аристократией, безуспешно стремившейся ограничить в свою пользу верховную власть.

Места на клочке недостало, и последние строки, где поэт так образно назвал Петра I «воплощением революции» — революции сверху! — «одновременно Робеспьером и Наполеоном», Пушкину пришлось написать поперек только что написанных им, еще не просохших строк.

Касаясь попытки преобразования государственного устройства России, предпринятой в начале царствования Александра I знаменитым Сперанским, Пушкин среди прочего написал на этом клочке (по-французски): *«Сперанский, беспокойный и невежественный попович»*[1]. Слова эти написаны рукой Пушкина и принимаются обычно как выражение его мнения о Сперанском.

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 205 и 485 (перевод).



Уцелевший клочок рукописи Пушкина (на котором он написал по-французски: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон — воплощение революции»).

А между тем из дневника поэта мы знаем, что о Сперанском, человеке большого ума и огромных знаний, Пушкин был высокого мнения, и в комментариях к ученому изданию пушкинского дневника можно прочесть поэтому целое рассуждение, пытающееся объяснить, каким образом Пушкин мог назвать Сперанского в своем дневнике «Гением блага», стоящим в дверях царствования Александра I и вместе с тем считать его «беспокойным и невежественным поповичем». «Трудно согласовать столь различные суждения об одном и том же лице, относящиеся при этом приблизительно к одному и тому же времени»[1], — недоумевал в свое время комментатор пушкинского дневника профессор В. Ф. Саводник.

Но дело все в том, что никакого противоречия у Пушкина нет. Фраза о беспокойном и невежественном поповиче выражает, конечно, не мнение Пушкина, а записанное им мнение зубров-аристократов (вроде графа Растопчина, изображенного Толстым в «Войне и мире») и характеризует скорее этих аристократов, добившихся в конце концов падения и ссылки Сперанского.

Я остановился на этом случае так подробно, рассматривая уцелевший пушкинский клочок, чтобы показать сложность раскрытия этого рода текстов, писанных Пушкиным начерно, иногда без знаков препинания, таких, скажем, как кавычки, которые могли бы прямо указать на то, что Пушкин записал посреди своего чернового текста чужое мнение — мнение, с которым он не согласен и с которым думает, может быть, спорить.

Поэт не успел перебелить, то есть развернуть и отделать, свою краткую запись, с тем чтобы превратить ее в текст, предназначенный для читателя. И мысль, кратко закрепленная Пушкиным, в связи с этим долго оставалась непонятой, недоступной нам даже после того, как его уцелевший клочок был напечатан. Между тем раскрытие действительного отношения Пушкина к Сперанскому и его исторической роли представляет, конечно, немалый интерес.

ИСКАЖЕННЫЕ СТРОКИ

Важнейшие строки из пропавших тетрадей «Истории Петра», в которых нашли выражение глубокие исторические суждения Пушкина, неожиданным образом дошли до нас. Царская цензура запретила их в 1840 году в надежде скрыть эти строки от читателей. Но еще до того, как вся рукопись Пушкина была потеряна, П. В. Анненков скопировал эти строки и впоследствии напечатал — почти целиком. Но все же не целиком, как оказывается. В 1950 году мне довелось обнару-

[1] Дневник А. С. Пушкина (1833—1835 гг.). Труды Гос. Румянцевского музея, вып. 1. М., 1923, с. 247.

жить в архиве составленный в 1840 году цензурный реестр. в котором приведены были строки Пушкина, подлежавшие изъятию из рукописи его «Истории Петра». В реестре указывалось, следует ли исключить эти строки или только изменить; цензор указывал, каким именно образом должны быть искажены исторические суждения Пушкина, чтобы они получили приемлемый для царской цензуры вид.

Сличение цензорского реестра с печатным текстом «Истории Петра» дает поэтому возможность уточнить печатный текст запрещенных в свое время пушкинских строк. Важнейшими из его запретных исторических суждений о Петре являются, как известно, строки, в которых раскрыт был противоречивый характер петровского царствования. Пушкин сумел различить в Петре великого исторического деятеля и «самовластного помещика». Начало этой пушкинской мысли, где говорится о Петре как о великом человеке, цензуру удовлетворило. Продолжение же, где Пушкин замечает, что «временные» указы Петра были «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом» и что они «вырвались у нетерпеливого самовластного помещика», цензура решила исключить, цензор поэтому подчеркнул эти слова, указывая при этом на необходимость устранить их. Между тем даже в академических изданиях сочинений Пушкина в этом важнейшем тексте до сих пор печатаются курсивом слова, подчеркнутые не Пушкиным, а цензором — в знак того, что они подлежали исключению из «Истории Петра».

Пушкин сказал, что «временные« указы Петра были «жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом». Взамен этих обличительных слов цензор предложил написать, что эти указы были только «нередко» жестоки. И это предложенное цензором слово, смягчающее пушкинскую характеристику жестоких указов Петра, ошибочно печаталось как принадлежащее Пушкину[1].

Обнаружилось в том же цензурном реестре важное для понимания исторической концепции Пушкина и запрещенное цензурой неизвестное замечание его, из которого видно, что Пушкин делил царствование Петра I на два различных периода. Первый, в продолжение которого (по словам Пушкина, содержащимся в одной из его статей) Петр совершил «крутой и кровавый переворот». И второй период, характеризующийся, в отличие от первого, «малой примесью самовластья» и «тою вольною системою, коей ознаменовано последнее время царствования Петра»[2].

---

[1] Этот пушкинский текст восстановлен был в подготовленном мною к печати 8 т. Собр. соч. Пушкина, вошедшем в изд. «Художественная литература» в 1962 г., с. 323.

[2] Это замечание Пушкина было опубликовано в ст.: И. Фейнберг. Неизвестные строки Пушкина. — «Вестник Академии наук СССР», 1950, № 8.

Женился он в соборной церкви Св. Троицы на Катерине, Мариенбургской девке, бывшей за мужем за шведским трубачем, по толкам наложнице у Шереметева и М——а.

подчеркнутыя слова заменить следующими: 1. из Мариенбурга. 2. в услужении.

Достойна удивления разница между государственными учреждениями Петра В. и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторыя жестоки, своенравны и кажется писаны кнутом. Первыя были для вечной или по кр. мере для будущаго; вторыя вырвались в минуту у нетерпеливаго, самовластнаго помещика. Это внести в историю Петра, обдумав.

подчеркнутое заменено следующим образом:

1. нередко жестоки.

2. вырвались в минуту нетерпения.

Есть предание: в день смерти Царевны, торжествующий Меншиков увез Петра в Ораниенбаум и там возобновил оргии страшнаго 1698 года.

Исключено.

«Реестр Сербиновича». Слева запретные строки Пушкина, извлеченные из рукописи «Истории Петра I», справа — предлагаемые цензурой изменения. *Фрагменты.*

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПУШКИНА

От исторической тетради, посвященной Пушкиным 1719 году, сохранилось всего несколько строк: три заметки, изъятые царской цензурой до того еще, как вся рукопись его «Истории Петра» была потеряна. Одна из этих случайно уцелевших пушкинских заметок гласит: «1-го июля Петр занемог» («с похмелья», — добавляет Пушкин в скобках и ставит вопросительный знак).

Между тем в источнике, которому здесь, казалось бы, следует Пушкин, то есть в хорошо известных нам «Деяниях Петра Великого», изданных в конце XVIII столетия И. И. Голиковым, нет никаких указаний на причину болезни царя. Там сказано только:

«Июля 1 пред самым отбытием флота монарх весьма занемог; но как корабли к ходу уже вынимали якори, и ветер был способной, то, дабы не упустить оного, повелел оному идти под командою шаутбенахта Сиверса... Но по отбытии флота, на другой день, когда сделалось ему немного полегче, не дожидаясь выздоровления... последовал за флотом»[1].

Почему Пушкин думал или догадывался, что Петр занемог «с похмелья»? Занемог Петр 1 июля, Пушкин же помнил, что за два дня до того празднуется день святых апостолов Петра и Павла. Царь был именинником, и накануне именин (как прочел Пушкин несколькими страницами раньше у того же Голикова) Петр писал «государеву оку» Ягужинскому, которого звали Павлом: «Поздравляю вам завтрашними общими имянинами»[2].

Пушкин хорошо знал, как Петр праздновал свои именины. Праздновал так, что не только на другой день после них, но и на следующий еще бывал нездòров. Поэтому, конечно, Пушкин и подумал, что 1 июля Петр занемог с похмелья. Но, будучи историком осторожным, поставил тут все-таки знак вопроса. И, может быть, не зря, ибо, вскоре поправившись, Петр писал Ягужинскому, что «зело жестоко заболел, был жар и чаял той болезни долго быть», поясняя: «того для от флота корабельного отлучился, но слава богу долее трех дней не лежал»[3].

Вопросительный знак в конце заметки Пушкина, однако, отсутствовал в печатных изданиях его «Истории». Но сохранился в сводке замечаний, изъятых из нее больше века назад царской цензурой. И после того, как я разыскал в архиве эту сводку, пропавший вопросительный знак возвратился из безвестного отсутствия и встал на свое место, указывая на мимолетную догадку и сомнение Пушкина.

---

[1] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого. т. VI. М., 1788, с. 371.
[2] Там же, с. 368.
[3] Там же, с. 372.

В силу постигшей их катастрофической судьбы часть подлинных исторических тетрадей Пушкина, посвященных «Истории Петра I», так и не была найдена, и текст некоторых из этих пропавших тетрадей обнаружен был после революции лишь в виде копии, снятой после смерти поэта писцами. Сохранился даже счет, поданный опеке по делам Пушкина этими переписчиками. Но пушкинский текст понимали они недостаточно и не слишком тверды были в орфографии, особенно пунктуации.

В этих тетрадях-копиях встречается поэтому немало ошибок, иногда грубых, то есть искажающих смысл; к сожалению, не все они были вовремя исправлены, и некоторые искажения можно встретить доныне даже в печатных изданиях «Истории Петра». Так, во всех изданиях мы под 1709 годом читаем, будто после Полтавской победы «*Апраксина с флагманами произвел Петр в шаутбенахты*» (т. е. в чин контр-адмирала). И затем: «*Петр благодарил его из Киева от 13 августа*»[1].

Между тем дело обстояло обратным образом: генерал-адмирал Апраксин с флагманами, то есть вместе с высшими морскими чинами, произвел тогда царя в шаутбенахты. Известно, что Петр проходил военную и военно-морскую службу как бы на общих основаниях, повышаясь всякий раз из чина в чин за заслуги и подвиги, им совершенные. И на этот раз полтавский победитель, как и отметил Пушкин, благодарил Апраксина за то, что тот произвел его в шаутбенахты. «И так благодарит он за повышение свое чином, яко морской офицер своего адмирала, а не яко монарх подданного»[2], — пишет Голиков, поясняя это письмо Петра. Стало быть, в текст «Истории Петра» надо внести поправку и печатать: «*Апраксин с флагманами произвел Петра в шаутбенахты*», то есть печатать так, как и было, конечно, у Пушкина.

После Полтавской победы, в сентябре того же 1709 года, Петр отправился в Польшу, где ему готовилась торжественная встреча. Король Август выслал навстречу ему своего великого конюшего Фицтума и графа Флеминга. Но о встрече ими Петра на Висле мы читаем в академическом издании «Истории Петра» нечто странное: «Конюший Фицтум и генерал-фельдмаршал Флеминг были при нем в гребцах и конвое. Вятский полк при князе Алексее Голицыне...»[3]

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 223.
[2] И. И. Голиков. Деяния Петра Великого, т. III. М., 1788, с. 131.
[3] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 224.

Петр мог посадить на весла и заставить грести своих сенаторов и министров, царь мог грести сам. Но что могло бы заставить взяться за весла, даже встречая царя-победителя, первых вельмож короля Августа? Обратившись к источнику, которым здесь пользуется Пушкин, то есть к тем же «Деяниям Петра Великого», можно убедиться, что текст Пушкина здесь, конечно, искажен из-за ошибки в пунктуации.

Читать это место «Истории Петра» надо, бесспорно, следующим образом: *«Конюший Фицтум и генерал-фельдмаршал Флеминг были при нем* (то есть находились при Петре. — *И. Ф.*); *в гребцах и конвое — Вятский полк при князе Алексее Голицыне»*.

Вот еще один любопытный случай искажения пушкинского текста. В конце 1718 года на Аландском конгрессе втайне был согласован проект мирного договора между Россией и Швецией. Северная война, которую Петр вел против Карла XII на протяжении уже почти двух десятилетий, должна была теперь кончиться. Барон Герц, министр и любимец шведского короля, повез этот мирный договор ему на ратификацию. Но Карл XII неожиданно был убит, сражаясь в Норвегии, под Фридерихсгалем. В Швеции восторжествовала партия противников мира с Россией, а Герц был объявлен изменником. В академическом издании «Истории Петра» мы читаем:

«Герц в Стокгольме был арестован; прежде нежели узнал о смерти короля, он был казнен, приказав написать на своем гробе: «Смерть короля, верность королю — смерть моя» (Пушкин приводит текст этой эпитафии в подлиннике, по-латыни, здесь даем ее в русском переводе)[1]. Но каким образом Герц, если он был казнен, так и не узнав о смерти короля, мог перед своей казнью сочинить себе эпитафию, начинавшуюся словами: «Смерть короля, верность королю» — и так далее? Дело в том, что и тут переписчики исказили пушкинский текст, неправильно расставив знаки препинания.

Герц действительно был *арестован* в Стокгольме прежде, чем он узнал о смерти короля. Суди́м же и казнен он был, зная уже о смерти Карла XII, и потому написал о ней в сочиненной им себе латинской эпитафии. Печатать этот пушкинский текст, разумеется, надо так:

«Герц в Стокгольме был арестован прежде, нежели узнал о смерти короля; он был казнен, приказав написать на своем гробе: Mors Regis, fides in Regem, mors mea» («Смерть короля, верность королю — смерть моя»).

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 410—411.

* * *

Работа над текстом «Истории Петра», если мы хотим сделать его доступным читателям, конечно, не может быть сведена к устранению искажений. Большая часть подготовительного текста «Истории», как сказано, писана Пушкиным сжатым образом, для себя. Он часто не дописывает окончаний фраз, заменяя окончания пометкой «etc», то есть указывая: «И так далее». Такие места пушкинского текста необходимо раскрыть, ибо они остаются часто непонятыми. Приведу простой пример.

Под 1707 годом Пушкин говорит о надменном ответе Карла XII Петру, предложившему заключить мир. Пушкин пишет: «На сие Карл ответствовал: о мире буду с царем говорить в Москве, взыскав с него 30 миллионов за издержки войны. Министры шведские объявили намерение короля свергнуть Петра с престола, уничтожить регулярное войско и разделить Россию на малые княжества...»

«Известен, — пишет Пушкин, — отзыв Петра: «Брат мой Карл хочет быть Александром etc»[1]. Пушкин приводит здесь только начало ответа Петра шведскому королю, имея в виду, конечно, дописать историческую фразу Петра впоследствии — в беловом, окончательном, тексте своей «Истории». Этот ответ Петра в полном виде гласит: «Брат мой Карл хочет быть Александром (т. е. «Брат мой Карл хочет быть Александром Македонским»), но не найдет во мне Дария» (персидского царя, царство которого завоевал Александр). Надо ли говорить, что, издавая «Историю Петра», необходимо и в этом случае сообщить читателю полностью приводимую Пушкиным историческую фразу Петра.

Изучение подтвердило — теперь это признано, — что исторические источники петровского времени Пушкин знал глубоко. «Ученое сличение преданий, остроумное изыскание истины» он, по собственным словам его, высоко ценил в работе историка. И в высокой степени сам одарен был этой способностью.

1968

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. IX, с. 184.

АРАП ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Замечательный человек XVIII столетия

Абрам Петрович Ганнибал, воспитанник Петра Великого, прадед Пушкина со стороны матери, принадлежал, по словам поэта, к числу замечательных людей XVIII столетия. Считая его лицом историческим, Пушкин не только изобразил его в «Арапе Петра Великого», впервые в русской литературе сделав африканца главным героем классического романа. Поэт писал о нем в начале своей Автобиографии, собирал материал о нем и, стремясь стать биографом его, заявил в печати, что со временем надеется «издать полную его биографию»[1].

Между тем, несмотря на то что первый биографический очерк об А. П. Ганнибале (если не считать статей и заметок о нем в энциклопедических словарях), написанный М. Д. Хмыровым, появился в печати уже век назад[2], многое в биографии А. П. Ганнибала остается до сих пор неясным и даже загадочным. «Не вполне ясным представляется и весь вообще образ Ганнибала»[3], — справедливо замечает автор книги о предках Пушкина М. Вегнер. Все еще вызывает споры происхождение А. П. Ганнибала: спор идет о том, был ли он, как сообщал сам, эфиопом, притом княжеского происхождения, или негром (как думал Пушкин). Колебания продолжаются и в вопросе о времени его рождения, причем расхождения в датах довольно значительны. Объясняются эти колебания, на наш взгляд, тем, что будущий прадед Пушкина был не единственным «Аврамом-арапом» при Петре, у которого были и другие черные крестники, по крайней мере один из них назывался Абрамом (или Авраамом).

Недостаточно ясен нам даже внешний облик Абра-

---

[1] П у ш к и н. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VI, с. 655.

[2] М. Д. Х м ы р о в. Генерал-аншеф Авраам Петрович Ганнибал. «Арап Петра Великого» (Биографический очерк по документам). — В кн.: Исторические статьи М. Д. Хмырова. СПб., 1873.

[3] М. В е г н е р. Предки Пушкина. <М.>, 1937, с. 128.

ма Петровича, поскольку достоверность портрета, который принято считать его изображением, вызывает сомнения[1].

Судьба Ганнибала действительно легендарна.

Африканец, по рассказам его, в детстве похищенный или проданный и посланный в подарок турецкому султану, оказавшийся затем в России при Петре I, он стал, как известно, воспитанником царя и лицом, близким к Петру, исполнял при нем секретарские обязанности, стал хранителем чертежей, карт и книг «Кабинета» Петра Великого, неотлучно находился при нем в путешествиях, боевых походах и сражениях. Получил военно-инженерное образование во Франции и впоследствии, по словам рукописной немецкой биографии его, стал «первым и лучшим инженером России» — «генерал-инженером»[2], главой инженерного ведомства и генерал-аншефом.

Став по смерти Петра Великого учителем будущего Петра II, Абрам Петрович удален был Меншиковым в Сибирь, на границу с Китаем, где проектировал и строил крепости как военный инженер. Возвратившись в Европейскую Россию, много лет служил в Прибалтике, где стал обер-комендантом готического Ревеля.

По возвращении из Франции (то есть еще при жизни Петра I) Абрам Петрович был, как мы знаем, зачислен офицером в Преображенский полк (где сам Петр был командиром Бомбардирской роты), преподавал математику и написал двухтомный учебник геометрии и фортификации.

Не дошел до нас важнейший источник для биографии А. П. Ганнибала — его автобиографические записки, написанные им по возвращении из Сибири, которые он, по сообщению Пушкина, сжег «в припадке панического страха»[3], опасаясь нового ареста и ссылки. Биографии его, таким образом, с самого начала не посчастливилось. Зато биографом его пожелал стать великий поэт.

Хотя сохранилось множество документов, писанных или подписанных Арапом, знаем мы о нем очень мало. Достаточно сказать, что лишь относительно недавно был опубликован документ, из которого мы впервые узнали, что у Абрама Петровича был брат, Алексей Петрович, что Алексея Петровича, так же как и Абрама, крестил Петр, что

---

[1] Но достоверен великолепный портрет его сына Ивана Абрамовича Ганнибала «Наваринского» работы Левицкого, на которого Пушкин не похож, но он может дать представление об этническом типе (и происхождении) русских Ганнибалов и самого Пушкина.

[2] См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935, с. 54, 56.

[3] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 313.

он был взят на службу гобоистом в тот же Преображенский полк, куда взяли пушкинского Арапа барабанщиком.

Удивительно, что о нем нигде не упомянуто, даже в так называемой немецкой рукописной биографии Ибрагима Ганнибала[1]. Не знал о существовании брата Абрама Петровича и Пушкин.

Что за человек был Абрам Петрович? Верно ли понял его как человека Пушкин, верно ли изобразил его в своем романе? Существуют до сих пор большие разногласия в оценке личности Абрама Петровича. Так как Пушкин несколько прикрасил изображение его в своем историческом романе, в особенности жизнь его во Франции, то, как это бывает, из духа противоречия, начиная уж с умнейшего Анненкова, первого биографа Пушкина[2], пошла традиция, точней, тенденция развенчивать Арапа, указывать, что он в жизни был совсем не то, что в романе; он и скуп, что, по-видимому, отвечало действительности, он и трус, подверженный припадкам панического страха, он и ревнив и необыкновенно жесток, он искатель чинов и награждений денежных и прочих.

Неясность многих страниц жизни А. П. Ганнибала (а примеры таких неясностей можно было бы умножить) привела к резким расхождениям биографов, пытавшихся охарактеризовать и оценить в целом его личность.

В результате изучения биографии А. П. Ганнибала нельзя не убедиться, что в споре о нем, по существу, был прав Пушкин. Изучение по первоисточникам биографии Ганнибала приводит к выводу, что представление о нем (я имею в виду не только «Арапа Петра Великого», где поэт воспользовался, конечно, правами романиста) — представление, создавшееся в процессе предпринятых Пушкиным биографических изучений, — много ближе к истине, чем мнения позднейших биографов Ганнибала.

Рассмотрение и анализ не привлекшего раньше внимания документального материала позволяет нам ответить на некоторые неясные вопросы биографии «черного деда» Пушкина, как называл его сам поэт. Изучение неопубликованных автобиографических страниц, вышедших из-под пера А. П. Ганнибала, позволяет не только определить, скажем, дату его рождения, документально установить, что Петр Великий взял с собою «Абрама-арапа» во Францию, и выяснить, кому из первых лиц королевства он был рекомендован Петром (что дало Абраму возможность вступить во французскую службу и получить отлич-

[1] В. Козлов. Когда родился прадед Пушкина Ганнибал? — «Неделя», 1969, № 44, с. 19.

[2] См.: П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху, с. 4—6.

ное военно-инженерное образование). Автобиографический документ, о котором мы говорим, дает нам вместе с тем возможность представить себе конкретно личные отношения его с Петром (наперсником которого, как мы убеждаемся, не случайно называл его Пушкин), а главное, позволяет нам лучше представить себе человеческие качества, то есть черты личности, Арапа Петра Великого.

Ганнибал был прежде всего человеком Петровской эпохи, человеком, как и сам Петр, и многие из ближайших сподвижников его, противоречивым. Вспомним, что Пушкин с глубокой проницательностью увидел и раскрыл природу этой противоречивости, различив в Петре — вместе! — и великого человека, и «самовластного помещика», который, по словам поэта, кажется, писал свои жестокие указы кнутом. Как видим, возвысившись до диалектического подхода, Пушкин-историк раскрывает характер Петра как характер социальный.

Жестоким помещиком был и Абрам Петрович Ганнибал. Архивные данные свидетельствуют, что крестьяне бежали поэтому из его поместий во множестве. Жесток он был и по отношению к первой своей жене, как жесток был к своей первой жене и сам Петр (по приказу которого она была заключена в монастырь, а потом «бичевана»).

Многое в характере Ганнибала определялось к тому же его «чернотой» и вызываемым ею враждебным отношением к нему окружающих, особенно после смерти его покровителя, Петра Великого. Причину этой враждебности Арап сознавал и сам писал о ней. Уже первая жена его не хотела идти за него замуж и враждебно отнеслась к нему, «понеже арап и не нашей породы»[1]. Эту сторону вопроса, касаясь трудного характера Ганнибала, верно подчеркивает в своем труде о Пушкине Д. Д. Благой[2].

Несмотря на некоторые отрицательные стороны его характера, Пушкин с полным основанием видел в Ганнибале человека «замечательного», но, добавим, конечно же человека петровского времени.

Мы не ставим задачей изложить целиком биографию А. П. Ганнибала. Задача очерка — осветить некоторые неясные до сих пор вопросы его биографии и способствовать этим выяснению его образа.

---

[1] С. И. Опатович. Евдокия Андреевна Ганнибал. — «Русская старина», 1877, январь, с. 70. Статья эта написана на основании бракоразводного архивного дела Ганнибала в Петербургской духовной консистории, № 2, 466. Евдокия Андреевна была отправлена в Староладожский монастырь, а не в Тихвинский, как считал Пушкин.

[2] Д. Д. Благой. Творческий путь Пушкина (1826—1830). М., 1967, с. 269—270.

Крайней степени низкая оценка личности Абрама Петровича достигла в наше время под пером Владимира Набокова, который в комментарии к своему переводу «Евгения Онегина» на английский язык пишет:

«И хотя Абрам Ганнибал в своих униженных письмах к высокопоставленным лицам называл себя «бедным негром“, а Пушкин видел в нем негра „с африканскими страстями“, человека блестящего, с врожденным чувством собственного достоинства, — на самом деле Петр Петрович Петров — он же Абрам Ганнибал, был человек угрюмый, раздражительный, низкопоклонный, робкий, честолюбивый и жестокий. Возможно, он был хорошим инженером. Но человек — ничтожный, ничем не отличавшийся от типичных русских карьеристов того времени, образованных весьма поверхностно, грубых, из тех, что били жен, живших и действовавших в грубом скучном мире политических интриг, фаворитизма, немецкой военной муштры, страшной русской нищеты — под властью грудастых императриц, сменявших одна другую на бесславных тронах»[1].

Этот тенденциозный, страдающий не только односторонностью, но и попросту ложный взгляд возник у Набокова, поскольку ему как биографу чужд историзм, и потому в поверхностном суждении его о Ганнибале нет ни исторической, ни психологической правды. Набоков, конечно, очень талантлив, но высокомерен и очень субъективен. То, что он пишет, однако, всегда интересно. Но как он характеризует Арапа — это даже удивительно. Набоков упрекает Ганнибала даже за то, что, по его мнению, он вывез из Франции «маленькую библиотеку».

«Ганнибал привез из Франции маленькую библиотеку (69 названий), состоящую в основном из исторических сочинений, военных руководств, путешествий с вкраплением модной экзотики. Все эти книги он продал (в 1726 г.) в Императорскую библиотеку за 200 рублей, а в 1742 году выкупил их. Список вполне обычен, литературная часть представлена Боссю, Мальбраншем, Фонтенелем, Корнелем, Расином, очевиден повышенный интерес к литературе путешествий»[2].

Библиотека Арапа, как мы знаем, насчитывала 400 томов, а если учесть страшную бедность Ганнибала во Франции (о чем свидетельствуют его письма) и дороговизну того времени, то прав был Пушкин, который считал эту библиотеку свидетельством высокого уровня культуры Арапа.

---

[1] Eugene Onegin. A novel in verse by Alexander Pushkin translated from the Russian, with a commentary, by Vladimir Nabokov. Vol. 3. N. Y., 1964, p. 433.

[2] Там же, p. 431.

Вот вы переходите на другую сторону Невы, проходите мимо здания 12 петровских коллегий, где ныне университет, идете в Библиотеку Академии наук, в Отдел редкой книги, и там вы видите реконструированную библиотеку Петра Великого. Это великолепная библиотека. Она поражает числом книг и многообразием специальностей, по которым эти книги собраны. И внешним видом их.

Еще недавно двухтомный рукописный учебник геометрии и фортификации, написанный Абрамом Петровичем Ганнибалом (он в то время подписывался еще «Абрам Петров») и преподнесенный им после смерти Петра в 1726 году императрице Екатерине I, «яко во всех делех Петра Великого наследнице», считался утраченным. Мы знали, что существовала такая рукописная книга, потому что об этом сохранилось в Государственном архиве письмо, в котором Арап, поднося свою книгу императрице, просит призреть его, как иностранца, не имеющего иной защиты и опоры, кроме как в лице государыни, знавшей его с детства. Но самая рукопись еще в 1937 году считалась утраченной. Так, Д. Д. Благой писал тогда, что математическая рукопись, составленная Арапом, к сожалению, не сохранилась[1].

Оказывается, не пропала эта рукописная «Геометрия и фортификация», и лежит она в Библиотеке Академии наук в Ленинграде[2]. Книга эта вид имеет великолепный. Текст в ней начертан каллиграфически, в ней превосходнейшие, первоклассные по уровню чертежи, выполненные, по-видимому, самим Арапом, и предпослано этой книге посвящение. Книга рукописная попала даже в историческое описание Библиотеки Академии наук, но дана там только краткая аннотация[3]. Особенно же огорчительно то, что в этой аннотации сообщены все те данные, какие мы уже знали из других источников. А между тем в предпосланном книге автором посвящении Екатерине I — этом новом для нас документе — содержатся данные, представляющие, мне кажется, немалый интерес. Правда, там есть места, которые далеко не сразу мне удалось раскрыть, то есть, попросту говоря, понять, о чем там говорится. Арап и искажает кое-что, конечно.

---

[1] Д. Д. Благой. Абрам Петрович Ганнибал — Арап Петра Великого. — «Молодая гвардия», 1937, № 3, с. 80.

В описании рукописного отд-ния б-ки Императорской Академии Наук, сост. В. И. Срезневским и Ф. И. Пазовским (Т. I. — СПб., 1910; т. II. — Пг., 1915; т. III. — Л., 1930), нет упоминаний об учебнике Абрама Ганнибала.

[2] Труд «Геометрия и фортификация» составляет два тома. Б-ка АН СССР. Рукописный отдел. Шифр: 17.14.4 I. — ПБ 24/1, т. II — ПБ 24/2.

[3] Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки Академии наук. Вып. I. XVIII век. М.—Л., 1956, с. 66, 399—400.

Всепресветлейшая Императрица.

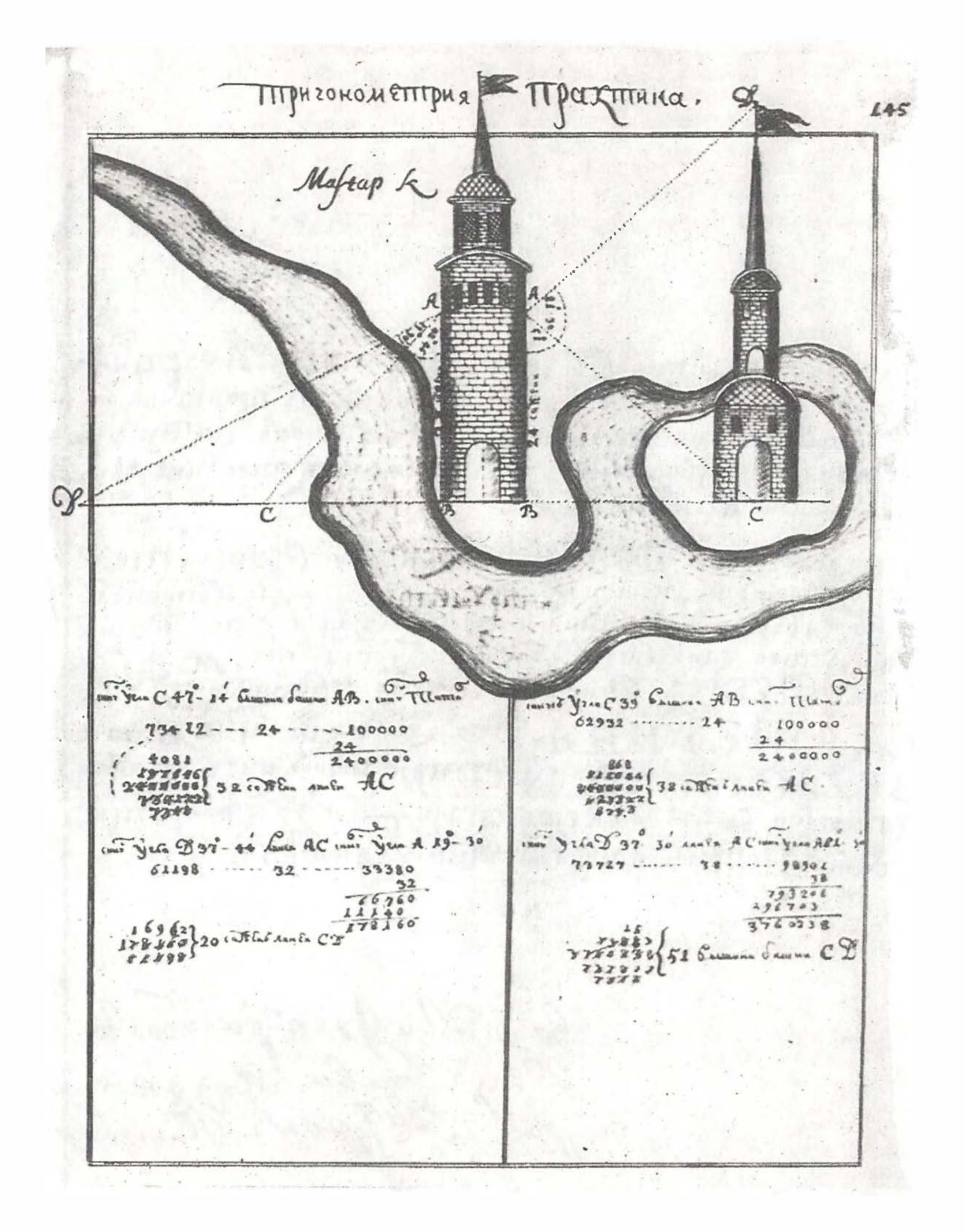
Государыня.

Ежели мое дерзновение нынешнее будет простительно.
то есть тому причина. его величество блаженныя и высо
подостохвалныя памяти ПЕТР великий отец о-
течествия. ваш государыня любезный супруг, пото
что всегда имел свой принцыпалныя труды марсовы
чему и ваше величество последствуете; и я невозмо
гу лутче оная слабная учения поднести, токмо неуда
тно и неутруждаемо понеже во тех делех наследни
це. вся европа удивлялася его императорскому
величеству. и уверенна была чрез ныних датчан кото
рых називали преде сего от труда марса короля тра-
сиаго которого и обоготворили. нынешния же истори
сказуют и истинную правду о трудах ПЕТРА вели
каго. ЕГО величество никогда неделал что не было
полезно к услуге и к тому своему народу. и к сла
ве своего владения. тако и ваше величество о-
всем том его величеству подражаете.

тогда я всеподданнейший имел честь служить с са-
мого моего младенчества а именно лет семи или
осми в возраста моего, приступа его величества.
тако же и вашего величества, и был мне восприемни[illegible]
от святыя купели его величество [illegible]

Посвящение А. П. Ганнибала Екатерине I на II томе рукописной книги «Геометрия и фортификация». Лист 1.

Посвящение А. П. Ганнибала Екатерине I на II томе рукописной книги «Геометрия и фортификация». Последний лист. Рукою Ганнибала написано: *«Вашего императорского величества нижайший раб Абрам Петров».*



Страница 145 I тома рукописной книги «Геометрия и фортификация». Чертежи, по-видимому, выполнены Ганнибалом.

Начнем с чтения этого своеобразного документа:

«Всепресветлейшая Императрица
Государыня

Ежели мое дерзновение нынешнее будет простительно, то есть тому притчина. Его Величество, блаженныя и высокодостохвальныя памяти Петр Великий, Отец Отечествия, Ваш Государыня любезный супруг, потому что всегда имел свои принципиальные труды марсовы, чему и Ваше Величество последствуете; и я не возмогу лутче оная славная учения поднести, токмо неусыпно и неутруждаемо по нем во всех делех наследнице.

Вся Еуропа удивлялася его императорскому величеству. И уверена была чрез некую фабулу, которую сказавали прежде сего о трудах марса короля траскаго, которого и обоготворили...»

Стало быть, первыми важнейшими трудами Петра были труды военные.

«...нынешния же истории скажут истинную правду о трудах Петра Великаго. Его Величество никогда не делал, чтоб не было полезно к услуге и к покою своему народу и к славе своего владения. Тако и Ваше Величество во всем том Его Величеству подражаете».

Что же это такое за «король траский»? «Чрез некую фабулу, которую сказавали прежде сего»? То есть какое-то сочинение, «фабулу». «О трудах марса короля траскаго»

Не стану утруждать вас всеми теми неверными догадками, которые сначала приходили в голову мне и тем, с кем я советовался. Например, думал я, не идет ли речь об «истории Троянской», книге, знаменитой в течение нескольких столетий, известной еще в допетровское время в России. В слове «траскаго» в рукописи есть перенос: в конце строки написано «тра», а в начале следующей строки: «скаго». При переносе, как известно, пишущий часто пропускает слог. Так вот, не идет ли речь о Троянской войне? И про короля «(троян) ского»? Нет, не выходит, и вот почему. «Королем Троянским» называли Приама, но победителем он не был; не был он и обоготворен. Были и другие предположения, на первый взгляд правдоподобные. И в конце концов появилось, как всегда, простейшее понимание. «Траскаго» — это «фраского», то есть короля фракийского. Речь идет об Александре Македонском. Причем если вы начнете осмотр библиотеки Петра Великого, то увидите, что там стоят книги из его детского чтения, из детской его библиотеки, еще книги его отца, Алексея Михайловича, и там видное место занимает большого формата рукописная книга «Александрия», это роман об Александре Македонском, где ясно и просто сказано, что траский

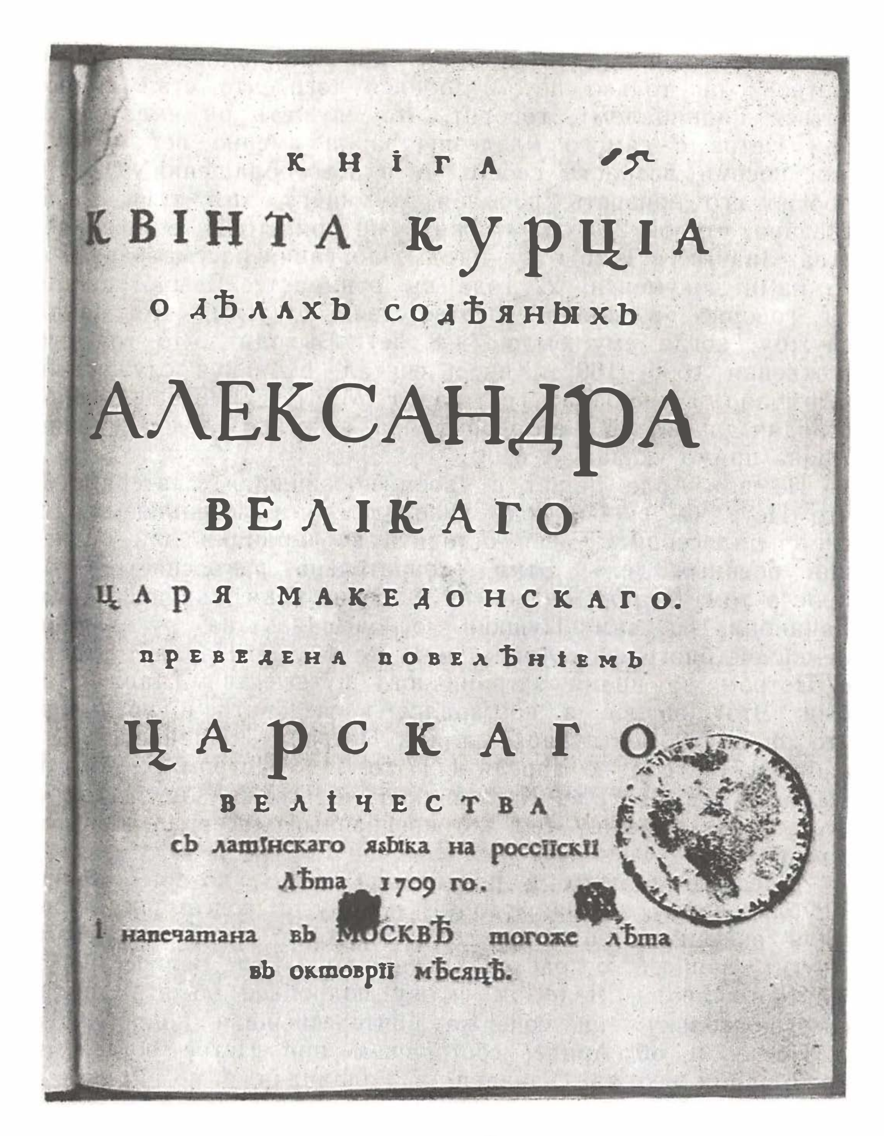


Заглавный лист рукописной книги об Александре Македонском. XVII век. Принадлежала отцу Петра I — Алексею Михайловичу.

король — это фракийский, это Александр. Стало быть, вот в этой фабуле, которую знал Петр с детства, знал, конечно, и Арап, а в библиотеке Арапа была и жизнь Александра Македонского Квинта Курция, переведенная на русский язык и изданная по распоряжению Петра. Надо сказать, что Карл XII малое издание Квинта Курция всегда носил в кармане и читал его в походах. Но и Петр ценил книгу Квинта Курция, и она в превосходном виде сохранилась до наших дней и находится в библиотеке Петра.

Идем далее: «...нынешния же истории скажут истинную правду», уже не «фабулу», то есть не вымысел о трудах Марсовых Петра Великого, и поясняет («Его Величество никогда не делал...»).

И вот начинается автобиографическая часть, где он вспоминает: «Тогда я всеподданнейший имел честь служить



КНІГА

КВІНТА КУРЦІА

О ДѢЛАХЪ СОДѢЯНЫХЪ

АЛЕКСАНДРА

ВЕЛІКАГО

ЦАРЯ МАКЕДОНСКАГО.

ПРЕВЕДЕНА ПОВЕЛѢНІЕМЪ

ЦАРСКАГО

ВЕЛІЧЕСТВА

съ латінскаго языка на россійскій

лѣта 1709 го.

І напечатана въ Москвѣ тогоже лѣта

въ октоврії мѣсяцѣ.

Книга Квинта Курция.
Сохранилась в библиотеке Петра I.

с самого моего младенчества, а именно лет седми или осми от возраста моего при стопах Его Величества, такожде и Вашего величества, и был мне восприемником от святые купели Его Величества в Литве в городе Вилне 1705-м году; а в 1717-м году изволил своим несравняемым в свете милосердием меня оставить во Франции для обучения военных дел».

Здесь Ганнибал, то есть он еще не Ганнибал — Абрам Петров (он только потом добился того, что стал именоваться Ганнибалом), говорит, что служить он имел честь при Петре с самого младенчества, а именно лет с семи или восьми возраста своего. А в том обращении, где он просил его призреть, посылая эту книгу, этот труд, было сказано, что он 22 года служит уже при стопах его величества. Значит, в 1726 году — году написания рассматриваемого нами документа. 22 года вы отнимаете. В посвящении он говорит, в полном соответствии с этим, что начал службу, когда ему было 7—8 лет. Выходит, что год его рождения 1696—1697. Как и считал, публикуя служебный формуляр Ганнибала, век назад М. Н. Лонгинов, сопоставляя другие даты его формуляра, в котором год рождения Арапа прямо указан не был[1].

Но вот Арап пишет в своем посвящении Екатерине I, что Петр «в 1717-м году изволил своим несравняемым в свете милосердием меня оставить во Франции для обучения военных дел»: Этим окончательно разъясняется вопрос о том, был ли он послан в чужие края, как писал сам Ганнибал — и сам Пушкин, основываясь на рукописной немецкой биографии Арапа, или же был в Париже вместе с Петром во время заграничного путешествия царя. Да, был. Этот вопрос я постарался исследовать и убедился, что он почти неотлучно был при Петре в Голландии с декабря 1716 года до апреля 1717-го. И с Петром же был в Париже и в Версале. Кстати сказать, Пушкин не знал обо всем этом, а между тем это прекрасный материал для его романа.

Теперь о записях в расходных книгах, которые давно опубликованы, но на которые почему-то совсем не обратили внимания, поскольку они теряются среди множества других записей о расходах Кабинета Его Величества и царского двора. Я потом скажу подробнее об этих записях, поскольку они содержат интереснейшие подробности о Петре и об Арапе, состоявшем при Петре во время пребывания его за границей, в Голландии и во Франции, где Арап был оставлен Петром «для обучения военных дел».

«Того ради сам монарх великий Отец Отечеству изустно меня рекомендовать соизволил Дюку Дюмену принцу Домберу и великому генералу фелть цейх мейстеру Франци сыну натуральному славного короля французского Людвика Великаго; где я имел честь быть в службе от 1717 году, и дослужился до капитанского рангу, на которыя ранги

---

[1] М. Н. Лонгинов. Абрам Петрович Ганнибал. — «Русский архив», 1864, изд. 2-е, стб. 223—224.

имею патенты за рукою его королевского величества Людвика 15 от начала моей службы».

У Пушкина в романе Петр рекомендует Арапа регенту Франции герцогу Филиппу Орлеанскому. Письмо, в котором Петр зовет Арапа в Россию и вместе разрешает ему остаться во Франции, в романе передает Арапу сам регент.

Итак, оставляя Арапа во Франции, Петр, как мы теперь только узнаем со слов самого Арапа, рекомендовал его «изустно» (то есть сам, лично) «Дюку Дюмену принцу Домберу и великому генералу — фелть цейх мейстеру Францi сыну натуральному славного короля французского Людвика Великаго».

Кто же такой дюк Дюмен?

Это герцог Дю Мен (Арап пишет слитно — «Дюмен»), действительно «натуральный» сын Людовика XIV, которого Людовик узаконил, сделал принцем крови. Затем он стал членом Регентства, был главным соперником герцога Орлеанского, регента Франции. И впоследствии участником заговора против него, где особенно деятельной была герцогиня Дю Мен (его жена), которая даже подверглась за это тюремному заключению. Герцог Дю Мен был действительно генерал-фельдцейхмейстером, то есть главой всей артиллерии Франции. Естественно, что ему по принадлежности Петр и рекомендовал Арапа.

Теперь небольшое отступление, мне кажется — нужное. В мемуарах Сен-Симона, которые являются, как принято считать, важнейшим источником для истории того времени, описана встреча, визит малолетнего короля Людовика XV. Мальчика привезли к Петру, который перебрался из Лувра, где ему не понравилось, в отель «Ледигьер». Тут Петр, желая преодолеть церемонии и проявить внимание — он любил детей, — взял на руки, принял из кареты короля Людовика XV и сказал ставшие знаменитыми слова: «Всю Францию на себе несу». Слова эти Пушкин знал. Об этом Петр писал Екатерине: «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитовал меня здешний каролище, который палца на два более Луки нашева, дитя зело изрядная образом и станом и по возрасту своему довольно разумен, которому седмь лет»[1].

Этого письма к Екатерине Пушкин, по-видимому, не читал, поскольку оно появилось в печати в сборнике «Письма русских государей» уже после его смерти. Но он знал письмо Петра Меншикову, написанное в тот же день, 2 мая 1717 года, о визите маленького короля — так, как оно было приведено Голиковым: «Объявляю вам, что я прибыл

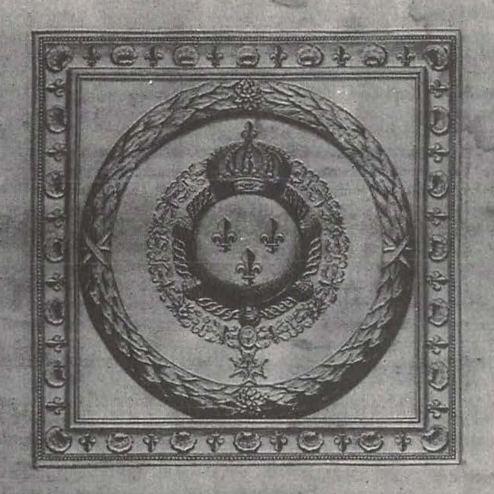
[1] Письма русских государей и других особ царского семейства, т. I. М., 1861, с. 67 (письмо от 2 мая 1717 г.).

DESCRIPTION

DE LA GROTTE

DE

VERSAILLES.

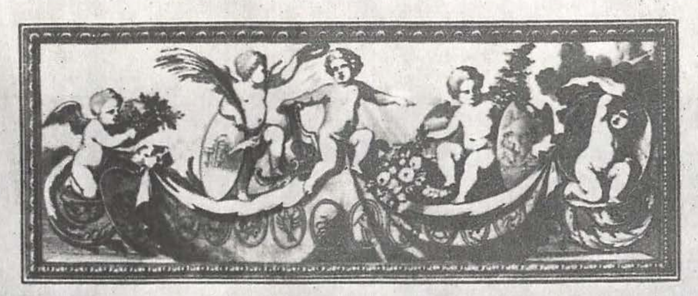


A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DC. LXXIX.

Титульный лист книги Андрэ Фелибьена «Описание грота в Версале». Париж. Королевская типография, 1679 г.
Подарена Петру I во время осмотра королевской библиотеки 3 мая 1717 г.
Сохранилась в библиотеке Петра I.



DESCRIPTION DE LA GROTTE DE VERSAILLES.



L y a deux ſortes de Grottes; les unes ſont des ouvrages de la Nature, & les autres des ouvrages de l'Art: & comme l'Art ne fait jamais ien de plus beau, que quand il imite bien la Nature ; auſſi la Nature ne p oduit rien de ſi rare, que lors qu'il ſembleque l'Art y a mis la main. Ceux qui ont eû aſſez de curioſité pour entrer dans les Grottes de Tibiran, qui ſont dans les Pyrenées, en ont remarqué trois, qui ſont comme un Appartement complet, & où l'on voit une imitation aſſez juſte de ces riches ornemens dont l'on pare les lambris & les plafonds des chambres les plus ſuperbes. Car les voûtes de ces lieux ſouſterrains ſont enrichies de pluſieurs roſes de criſtal; & dans les coſtez il y a des eſpeces de pilaſtres formez par la congelation des eaux, dont les gouttes deſcendant du haut de la voûte par differens intervalles, ont marqué les canelures qu'on y voit. Entre ces pilaſtres il paroiſt comme des niches remplies de certaines figures auſſi d'eaux congelées, qui tiennent lieu de Statuës, & qui en auroient encore plus l'apparence, ſi le hazard & la Nature avoient pû exécuter ce qu'ils ſemblent avoi eû deſſein de faire; mais comme ils travaillent aveuglément, on ne voit ni proportion, ni ſymetrie dans ce qu'ils font. C'eſt pourquoy la Nature, pour réparer ces defauts, employe ſouvent dans ſes productions la richeſſe de la matiére, & la varieté des couleurs, dont elle eſt maiſtreſſe.

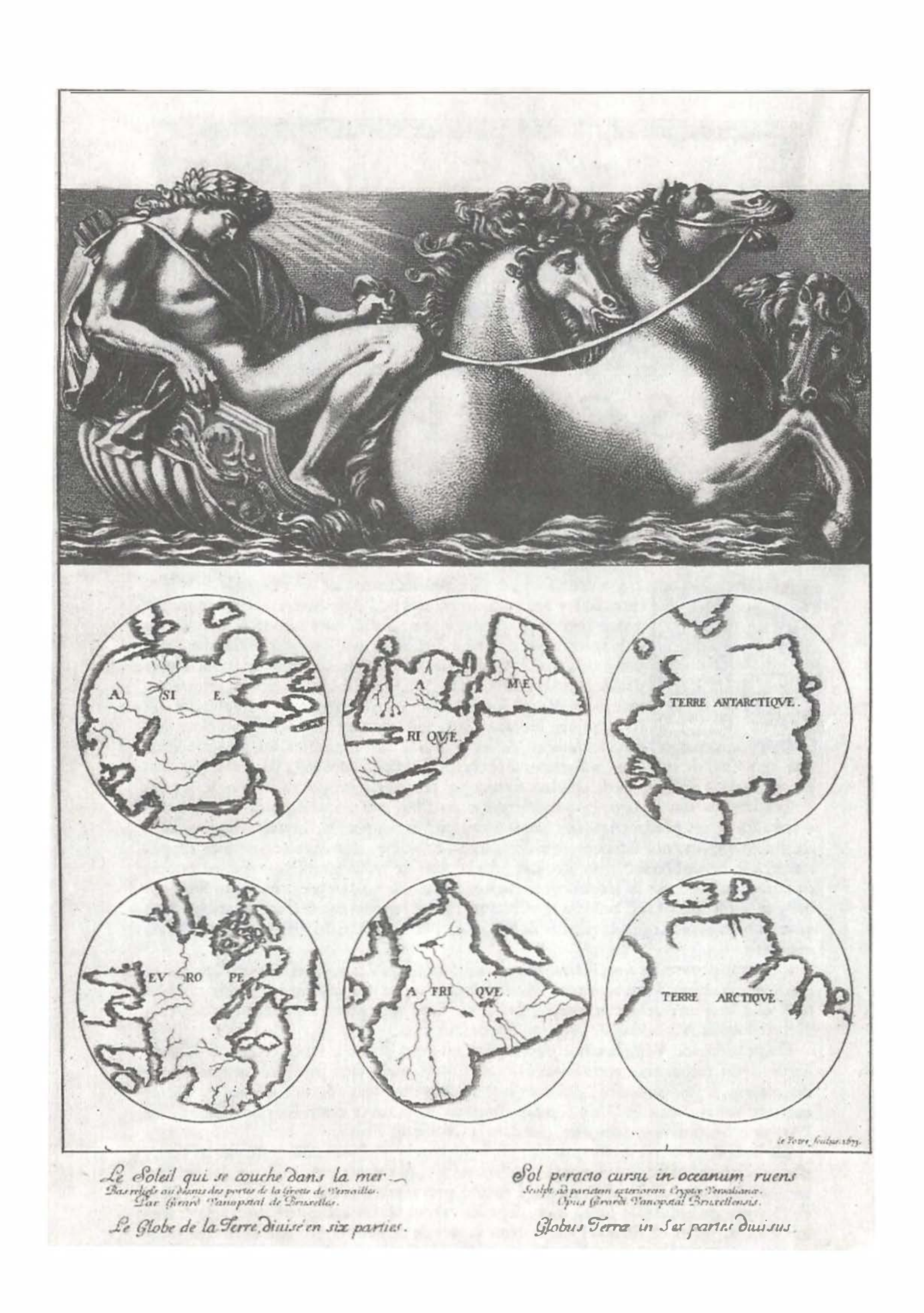
L'Art eſt pauvre de ſoy; mais voyant clair dans ce qu'il fait, & eſtant conduit par la raiſon qui l'éclaire, il travaille avec ordre. Il imite tout ce que la Nature produit; & lors qu'il veut faire un ouv age accompli, il s'aſſocie avec elle, pour travailler de concert: la Nature fournit la matiére, & l'Art luy donne la forme.

On peut dire de Verſailles que c'eſt un lieu où l'Art travaille ſeul, & que la Nature ſemble avoir abandonné, pour donner occaſion au Roy d'y faire paroiſtre par une eſpece de création, ſi j'oſe ainſi dire, pluſieu s magnifiques ouv ages, & une infinité de choſes extraordinaires; mais qu'il n'y a point d'endroit dans toute cette Royale Maiſon, où l'Art ait réüſſi plus heureuſement, que dans la Grotte de Thetis.

Ce lieu, dont la forme eſt quarrée, eſt baſti proche le Palais, du coſté de la Tour-d'eau. C'eſt un maſſif de pierre taillée ruſtiquement, & ouve t par trois grandes arcades fermées de portes de fer, d'un ouv age encore plus ingénieux que iche. Il y a au haut de la porte du milieu un Soleil d'or, dont les ayons ſe répandans de toutes parts forment les barreaux de fer qui ſont les trois portes de ce lieu; & comme elles ſont tournées vers le Couchant, on voit ſur le ſoir, quand le Soleil vient à les éclairer, que cét or

A

Первая страница книги «Описание грота в Версале».



Гравюра (1673 г.) Жерара Ванопшталя
из книги «Описание грота в Версале».

сюда апреля 26 благополучно, и три дни с двора не съезжал для визитов, а ныне начал что надобно смотреть. Едучи дорогою до Парижа видели в подлом народе бедность немалую; Король матерой человек и гораздо стар летами, а именно семи лет, который был у меня, а я у него»[1].

С Петром кроме Арапа путешествовал карлик Лука. Может статься, маленький король видел их, когда посетил Петра. А на обратном пути Петр вывез из Франции великана по имени Николай, о чем Пушкин пишет в своей «Истории Петра»[2].

Когда «каролище» посетил Петра, сопровождал короля, как мы можем прочесть в мемуарах Сен-Симона, герцог Дю Мен, тот самый, которому Петр рекомендовал Арапа (как сообщает тот в своем посвящении, обращенном к Екатерине I).

Нужно сказать, что имя Сен-Симона ни разу не упоминается у Пушкина: нет его ни в печатных сочинениях, ни в рукописях поэта. И поэтому в обширном алфавитном указателе к Большому академическому изданию сочинений Пушкина также нет имени Сен-Симона[3]. В связи с этим, вероятно, в известной книге Б. В. Томашевского «Пушкин и Франция»[4] автор не упоминает о теме «Пушкин и Сен-Симон».

Между тем Сен-Симон, удивительный писатель, сочинения которого печатаются в известной серии «Великие писатели Франции», — главный источник для истории Франции его времени. Необыкновенно высоко оценил он Петра, которого имел возможность близко видеть при французском дворе. Я хочу привести здесь портрет Петра, как его изображает Сен-Симон. Но прежде скажу, что в знаменитом сборнике анекдотов о Петре Великом Штелина[5] пребывание Петра в Париже написано по Сен-Симону, это его переработка. И там есть, но испорченный в переводе и сокращенный, портрет Петра, написанный Сен-Симоном. Пушкин это все знал.

А. О. Смирнова в своей настоящей, не фальсифицированной автобиографии пишет, что, когда Пушкин уговаривал ее писать свои воспоминания, она также была при дворе (как Сен-Симон при французском). И вписал ей в альбом известные стихи:

---

[1] И. И. Голиков. Дополнение к Деяниям Петра Великого, т. XI. СПб., 1794, с. 396—397. Королю было восемь лет. — *И. Ф.*

[2] А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти т., т. VIII. М., 1977, с. 278.

[3] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т. Справочный том. <М.—Л.>, 1959.

[4] Б. В. Томашевский. Пушкин и Франция. Л., 1960.

[5] Подлинные анекдоты собранные Яковом Штелиным в четырех частях, ч. 1. М., 1830, с. 254.

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

И тогда же, то есть в 1832 году, Пушкин ей посоветовал «писать свои мемуары... в роде (т. е. в жанре. — *И. Ф.*) Сен-Симона»[1].

Вигеля именовали иногда — без достаточных оснований — русским Сен-Симоном.

Когда я захотел ознакомиться как следует с экземпляром мемуаров Сен-Симона в 6-ти томах, который сохранился в библиотеке Пушкина, я посмотрел сначала в каталог, то есть в описание библиотеки Пушкина Модзалевского. Там сказано, что разрезан только первый том, да и то частично, а остальные тома не разрезаны (следовательно, и тот том, который относится к 1717 году — времени пребывания Петра в Париже)[2]. Известно, как точен и надежен обычно Модзалевский. Но я все-таки поехал в Пушкинский Дом, взял этот том и убедился, что Б. Л. Модзалевский ошибся. В томе пятом те страницы мемуаров, где Сен-Симон изображает пребывание Петра в Париже, разрезаны, только они одни из всего тома[3]. Пушкин их перечел, как я полагаю, далеко не в первый раз, убедился, что это 6-томное издание малое, сравнительно сокращенное (я обследовал, какие существовали в то время издания мемуаров Сен-Симона и какие из них были доступны Пушкину). Но вот что он мог прочесть в более полном издании Сен-Симона о Петре в Париже. (Перевод страниц Сен-Симона о Петре в Париже — много более полный, чем в кратком переложении Штелина.)

Не могу не привести, что пишет Марсель Пруст о своем любимом писателе Сен-Симоне, что нам очень важно для оценки портрета Петра у Сен-Симона.

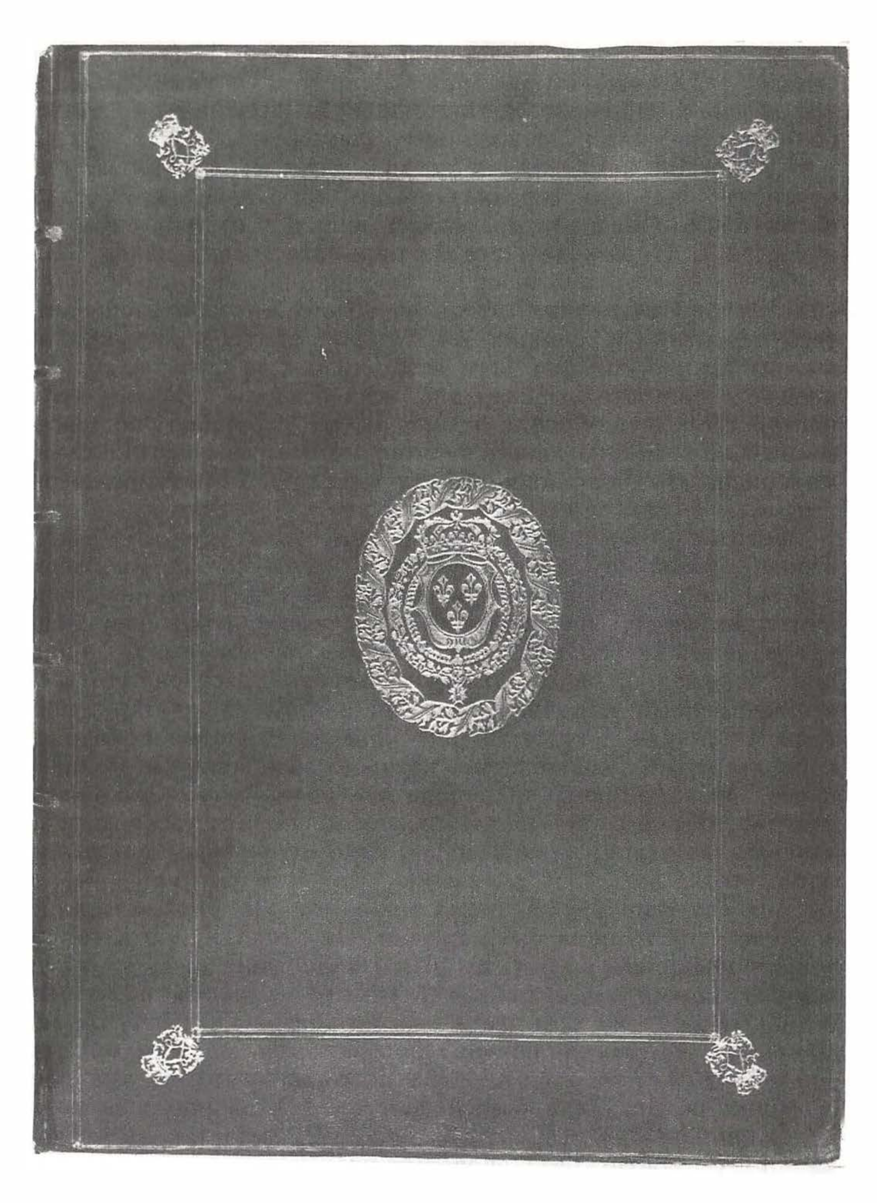
«Современный мемуарист, желающий писать под Сен-Симона, но так, чтобы это не слишком бросалось в глаза, может быть, в крайнем случае и напишет первую строку портрета Виллара: „То был довольно высокого роста крупный мужчина с лицом живым, открытым, выпяченным“,

---

[1] А. О. Смирнова-Россет. Автобиография. Неизданные мемуары. М., 1931, с. 207.

[2] Библиотека Пушкина, № 1345.

[3] См.: Saint-Simon, Louis, duc. Mémoires du duc de Saint-Simon... Vol. 5. Paris, 1826, p. 274—275.



Переплет книги Андрэ Фелибьена «Королевские шпалеры, изображающие четыре стихии и четыре времени года» с суперэкслибрисом (Париж. Королевская типография в Лувре, 1670 г.), подаренной Петру I во время его пребывания в Париже и осмотра королевской библиотеки 3 мая 1717 г. Сохранилась в библиотеке Петра I.

но где возьмет он тот детерминизм, который позволил бы ему найти вторую строку, начинающуюся словами: „И право, немного шальным“? Настоящее разнообразие — в этой полноте реальных и неожиданных элементов...»[1]

Сен-Симон был, в частности, мастером динамического портрета, умевшим передавать контрастные черты и создавать таким образом того, о ком пишет. Вот что писал он о Петре в Париже: «Петр I, царь Московии, как у себя дома, так и во всей Европе и в Азии приобрел такое громкое и заслуженное имя, что я не возьму на себя изобразить сего великого и славного государя, равного величайшим мужам древности, диво сего века, диво для веков грядущих, предмет жадного любопытства всей Европы. Исключительность путешествия сего государя во Францию по своей необычайности, мне кажется, стоит того, чтобы не забыть ни малейших его подробностей и рассказать о нем без перерывов...

Петр был мужчина очень высокого роста, весьма строен, довольно худощав; лицо имел круглое, большой лоб, красивые брови, нос довольно короткий, но не слишком и на конце кругловатый, губы толстоватые; цвет лица красноватый и смуглый, прекрасные черные глаза, большие, живые, проницательные и хорошо очерченные, взор величественный и приятный, когда он владел собой; в противном случае — строгий и суровый, сопровождавшийся конвульсивным движением, которое искажало его глаза и всю физиономию и придавало ей грозный вид. Это повторялось, впрочем, не часто; притом блуждающий и страшный взгляд царя длился лишь одно мгновение, он тотчас оправлялся.

Вся его наружность обличала в нем ум, глубокомыслие, величие и не лишена была грации. Он носил круглый темно-каштановый парик без пудры, не достававший до плеч; темный камзол в обтяжку, гладкий, с золотыми пуговицами, чулки того же цвета, но не носил ни перчаток, ни манжет, — на груди поверх платья была орденская звезда, а под платьем лента. Платье было часто совсем расстегнуто; шляпа была всегда на столе, он не носил ее даже на улице. При всей этой простоте, иногда в дурной карете и почти без провожатых, нельзя было не узнать его по величественному виду, который был ему свойствен.

Сколько он пил и ел за обедом и ужином, непостижимо... Свита за его столом пила и ела еще больше, и в 11 утра точно так же, как в 8 вечера.

Царь понимал хорошо по-французски и, я думаю, мог

[1] Перевод Андрея Федорова.

бы говорить на этом языке, если бы захотел; но, для большего величия, он имел переводчика; по-латыни и на других языках он говорил очень хорошо...»[1]

Я думаю, что не будет преувеличением сказать, что нет другого столь же великолепного словесного портрета Петра, какой мы сейчас привели. И Пушкин все это прекрасно знал — и помнил. И это было для него не менее важным источником, скажем, чем какие-нибудь сведения о тогдашних дипломатических переговорах.

Читаю дальше посвящение:

«А когда мир славной, которой Его Величество соблаговолил дать короне Шведцской с таким авантажем, что едва можно изобрести в историях всего света, вползу своим верным подданным российской империи, что все четыре части земли были наполнены от звону трубы Фамы о славе Героической Его Императорского Величества, то мне было сатис-факция слышеть при армии сочиненной почитай всеми славными народами Эвропскими, где реномея распустила славу нашего пресветлого Российского Марса труды; что ненадобно было вопрошать, понеже сила самая истинная исторгала из уст многих, которыя натуралнo имели ненависть к распространению славы Империи Российскиа».

Тут Абрам Петрович несколько зарапортовался в своей риторике — от полноты чувств. Но была искренней эта его сердечная сатисфакция, то есть удовлетворение, когда он услышал, чем окончилась Северная война. А нужно сказать, и это не всегда помнят, что в формуляре Арапа говорится, что он находился при государе, при Петре «неотлучно» — во всех походах и кампаниях, в которых участвовал сам Петр. То есть он был и на полтавском поле, и при Пруте, и на кораблях. Известно, что Пушкин, в Михайловском услышав, что Рылеев пишет поэму «Войнаровский», просит брата: присоветуй ему вывести нашего дедушку в полтавском сражении. «Его арапская рожа произведет странное действие на всю картину Полтавской битвы»[2]. То есть Пушкин прекрасно сознавал и значение и эффект колорита.

Нетрудно понять, что сделал бы художник «Мира искусства» в этом плане. Но Пушкин не ограничился этим, потому что он был гениальный, а не просто талантливый писатель.

«Тогда я указ Его Величества о моем возвращении получил, и себя дегажировал честным маниром из службы

---

[1] Mémoires compiets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence... Paris, vol. XV, 1829, p. 74, 82—84.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 143.

короля французского, и поехал в Россию в таком намерении, чтоб принести мой живот на жертву для интересу моего государя, который мне дал свет и учение...».

Сказано с глубокой сердечностью.

«...я имел честь по моем возвращении в Россию обнять стопы Вашего Величества в 1723-м году, и Его Императорское Величество соизволил своею обыкновенною милостию к сиротам меня определить в свою роту бомбардирскую лейтенантом, а изустным указом повелел мне обучать молодых ундер-офицеров и салдат лейб-гвардии архитектуре милитарис (то есть военно-инженерному искусству. — *И. Ф.*). Неусыпным тщанием и радением Его Величество отеческим желая в Российской Импери всякое учение в совершенство привести Петр Великий денно и нощно попечения имея о сей науке милосердуя о народе своем особливо указал, чтоб российский народ обучался всяким наукам нетокмо в главных академиях, но и в войске при полках указал быть школам для обучения некоторых частей инженерства.

Того ради сия книга Фортификация и геометрия практика переведена с французскаго на росийски, выбрана из книг славных разных авторов и искусных инженеров в которой находится все части геометрии и фортификации, какова есть при сем; с показанием практики со всеми циркулными примерами, и с некотараю честию вымеривания патикулярнаго действуемаго к строению фортификаций, и иных пропорциев».

Тут замечу, что Болотов в своих известных записках упоминает «прекрасную геометрию и фортификацию», которую он видел у своего дяди, учившегося у Абрама Петровича. Вероятно, это был конспект лекций, прочитанных Арапом ученикам[1].

Свое посвящение он заканчивает так:

«Того ради Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше подношу сии мои малыя труды под протекцию августейшим Вашим стопам надеяся что Ваше Величество как во всех делех наследствуете мужу славному Петру Великому, славная и великая государыня Екатерина, тако соблаговолит Ваше Величество усмотрит сию книгу колика потребна быть может молодым людям, желающим учения но и совершенным инженерам.

вашего императорского величества
нижайший раб
Абрам Петров»

---

[1] Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков 1738—1795, т. 1. СПб., 1875, с. 237.

Пушкин в одном месте своей «Истории Петра», рассуждая о слове «раб» (известно, что Екатерина II впоследствии отменила, запретила употреблять его в бумагах), пишет: «Вольтер совершенно прав, см. в Священном писании: слово „раб“ означает „подданный“»[1]. Это не очень соответствует пушкинским стихам, но это полемика с Булгариным:

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал...
Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

Он же написал в не менее прекрасных стихах в Михайловском:

В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб,
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой Арап,
Где позабыв Елисаветы
И двор и пышные обеты;
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей...

Пушкин сближал себя с Арапом зеркально. Сравним:

Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей...

И о себе:

Чтоб средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,
Вздыхать о сумрачной России.

Все это очень правдиво, верно, потому что он был неподкупен — в отличие от окружавших Петра людей («Царю наперсник, а не раб»). Это видно и из его посвящения.

Я читал раньше служебные бумаги и кляузы Арапа, и его куртуазные письма — его жестокие бракоразводные прошения, его униженные письма из Франции. Его «Апологию» — немецкую биографию для потомства. Но все это был язык условный, искажающий личность. Тут не скажешь «стиль — это человек». Но вот в посвящении я услышал впервые живой голос Арапа сквозь условность обращения к императрице, сквозь

[1] А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 81.

мифологию и риторику. Это его «Памятник» при монументе Петра Великого.

По воцарении Елизаветы Петровны Абрам Петрович, находившийся в опале, послал ей евангельские слова: «Помяни меня, когда приидешь во царствие твое». И она осыпала его наградами и чинами.

В царствование Екатерины I Арап учил математике будущего Петра II — внука Петра I. Едва ли по этому учебнику. Это слишком было квалифицированно для царевича. И тут вспоминается древний, еще опричныи рассказ: когда царь приказал мудрецу научить его геометрии, только поскорей, тот ответил ему: царь, в геометрии нет царского пути. Арап («Царей, цариц любимый раб», по слову Пушкина) был и оставался в семье Петра Великого самым близким человеком. Потому его и выслал в Сибирь Меншиков на другой же день по воцарении Петра II.

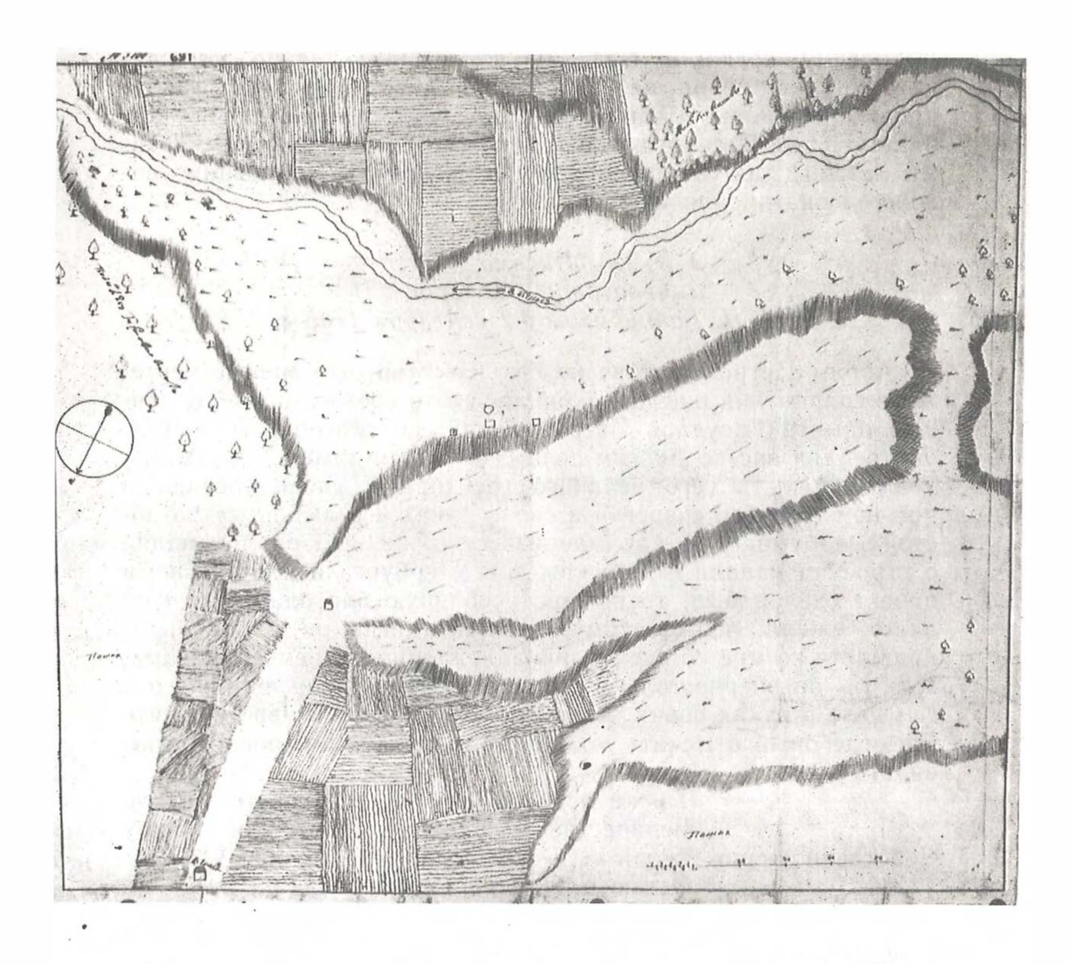
И вот из письма Екатерины II мы узнаем, что Арап «имел в смотрении кабинет Петра Великого» (где хранились чертежи и библиотека Петра).

Так вот, я хочу сказать, что посвящение Арапа (конечно, это не единственное основание к тому) подтверждает, что Пушкин вернее, глубже, чем позднейшие исследователи, понял личность и характер Арапа. В «Арапе Петра Великого» мы читаем, что «Ибрагим видел Петра в сенате, оспариваемого Бутурлиным и Долгоруким». (Известный «анекдот» о разорванном князем Долгоруким указе Петра, по словам Голикова, подтвержден был Абрамом Петровичем.) Пушкин пишет далее, что Ибрагим видел Петра в Адмиралтействе, утверждающем морское величие России. И когда мы знакомимся с каталогом библиотеки Абрама Петровича Ганнибала — а там есть все, там драматурги — Корнель, Расин, там историки древние и новые, то видим его широкую гуманитарную культуру, не говоря уже о военно-инженерных, математических сочинениях, специально интересовавших Арапа.

К этому добавим, что «немецкая биография» называет Абрама Петровича «первым и лучшим инженером России»[1], что он был директором Ладожского и Кронштадтского каналов, что стал «генерал-инженером», то есть ведал всей инженерной службой в России. Если вы раскроете труды по истории инженерного ведомства, по истории артиллерийского ведомства, вы там не раз встретите его имя[2].

[1] Рукою Пушкина, с. 54.

[2] См.: А. Савельев. Исторический очерк Инженерного Управления в России. СПб., 1879, с. 100; Д. П. Струков. Главное Артиллерийское управление, ч. I, кн. 1. СПб., 1902, с. 217, 222, 228; И. Г. Фабрициус. Главное Инженерное Управление, ч. 1. СПб., 1902, с. XXXVI, XL, XLIII, XLV; Ф. Нестерчук. — Журнал «Речной транспорт», 1962, № 2, с. 57—61 и др



Карта Марциальных Вод (Карелия, р. Вегмас), выполненная Ганнибалом, на обороте карты надпись, сделанная его рукой: *«План, где найдены Марциальныя воды по корельской дороге снимал Абрам Петрович и принес в конторку 1724 году, сентября в 4 день».*

Известно, Пушкин этим гордился. Екатерина II, замыслив прорыть канал Москва — Петербург, написала Абраму Петровичу, когда он был уже в отставке, письмо, спрашивая, не знает ли он, не было ли в петровские времена такого проекта, поскольку Абрам Петрович «имел в смотрении» Кабинет Петра Великого, где и ведал в нем чертежами, картами (и книги также находились в его ведении). С большим уважением она писала Ибрагиму.

Письмо
императрицы Екатерины II
А. П. Ганнибалу от 2 сентября 1765 г.

Абрам Петрович. Мне не безъизвестно, что многие чертежи в сохранении вашем находилися в то время, когда блаженныя памяти Государь Петр Великий, по способности вашей, употреблял вас по многим делам; почему я думаю, что вы, сохраняя память сего великого государя и своей тогдашней при нем службы, сберегли в своих руках все любопытства достойные бумаги. И как мне известно же, что он помышлял о строении канала от Москвы до Петербурга и к тому уже и проект сделан был, то вы мне особливую благодарность сделаете, ежели, чертеж тому отыскав (когда он у вас был), пришлете ко мне со всеми принадлежащими к нему бумагами, хотя бы он вчерне только был сделан. Но ежели вы ничего о сем деле в руках своих не имели, то по крайней мере укажите мне, где оный отыскать можно, который я с нетерпеливостью видеть хочу.

Собственноручно (Также есть ль вы о сем проекте от Его Величества рассуждении слышали, прошу сколь вы о том вспомните, ко мне описать. Остаюсь вам доброжелательная

Екатерина

2 сентября 1765 г., Царское Село[1].

И Пушкин на это письмо Екатерины ссылается. Государыня (Екатерина II) говаривала: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом? И почти всегда открывается, что предполагаемое дело было уже им обдумано»[2]. Также он с гордостью вспоминал, как настоящий ученый, историк, о заслугах старшего сына Абрама Петровича, Ивана Абрамовича «Наваринского

[1] Рукою Пушкина, с. 863. Печатается по копии, сделанной Пушкиным. Впервые по копии см.: П. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 302. Анненков пишет: «...отметка «собственноручно» и скобка при ней сделана рукой Пушкина».

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 168.

Ганнибала», «что плыл в пожаре средь пучин», уцелевшего на брандере, взлетавшем на воздух. Пушкин с детства знал колонну в Царском Селе и надпись на ней: «Крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск российских было числом 600 человек, кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он; в плен турок взято 6 тысяч».

То есть Пушкин ссылался не только на письменные, бумажные источники, а на эпиграфику.

Все, что я сейчас привожу, мне кажется, подтверждает, что не случайно Пушкин писал в «Арапе Петра Великого» об Ибрагиме: «...следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная»[1]. Ибрагим и был таким человеком, который способен был следовать за мыслями великого человека. Это и неудивительно. Петр воспитывал его с малолетства. А жил он при Петре и спал, как известно, в токарне, которую «немецкая биография» верно называет «дополнительным кабинетом Петра»[2], даже дверей не было между спальней Петра и токарней, только проем. Он был ночным секретарем. То есть, как рассказывает Голиков, по ночам Петр не мог спать, мысли тревожили его. А над его кроватью висело всегда несколько аспидных досок. И по ночам он будил Ибрагима, отличавшегося необыкновенной чуткостью. Для разных дел нужна была в ближайших служителях чуткость. Например, у Елизаветы Петровны, которая боялась, как бы не произошел переворот и как бы с ней так же не поступили, как она поступила со своей предшественницей, всегда сидел на стуле в спальне — и проводил так ночь за ночью — очень чуткий некий Чулков. Так что он был даже молчаливым свидетелем ночного времяпрепровождения Елизаветы. Но она так ценила его бдительность, чуткость, что не стеснялась, и Чулков сделал при Елизавете большую карьеру.

Петру бдительность нужна была для другого. Он говорил ему: Абрам, подай свечу. Или же: дай огня и доску. Тот подавал аспидную доску. И Петр сам на ней записывал, что нужно на другой день сделать, какие разослать кому указы. Либо он диктовал Арапу, и тот записывал. А утром обрабатывал и рассылал. То есть Петр при нем думал вслух.

В «немецкой биографии» очень точно, несмотря на ее недостатки, сказано про это. В ней говорится, что Петр, «как бы он ни был утомлен от дневных трудов и как бы ни нуждался в покое, его великий дух, вечно деятельный во благо подданных, этот почти никогда не отдыхающий дух часто будил его и поддерживал его в бодрствующем состоянии», и Петр сам «по вдохновению» записывал важные мысли и проекты. Наутро его питомец, то есть арап Абрам, должен был эти его заметки

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XVII, с. 13.
[2] Рукою Пушкина, с. 51.

De Vernieuwde

CYFFERINGE

VAN

Mr. WILLEM BARTJENS,

Waer uyt

Men meest alle de Grond-Regulen van de Reeken-Konst leeren kan.

Herstelt/

Vermeerdert ende verbetert door

Mr. JAN van DAM,

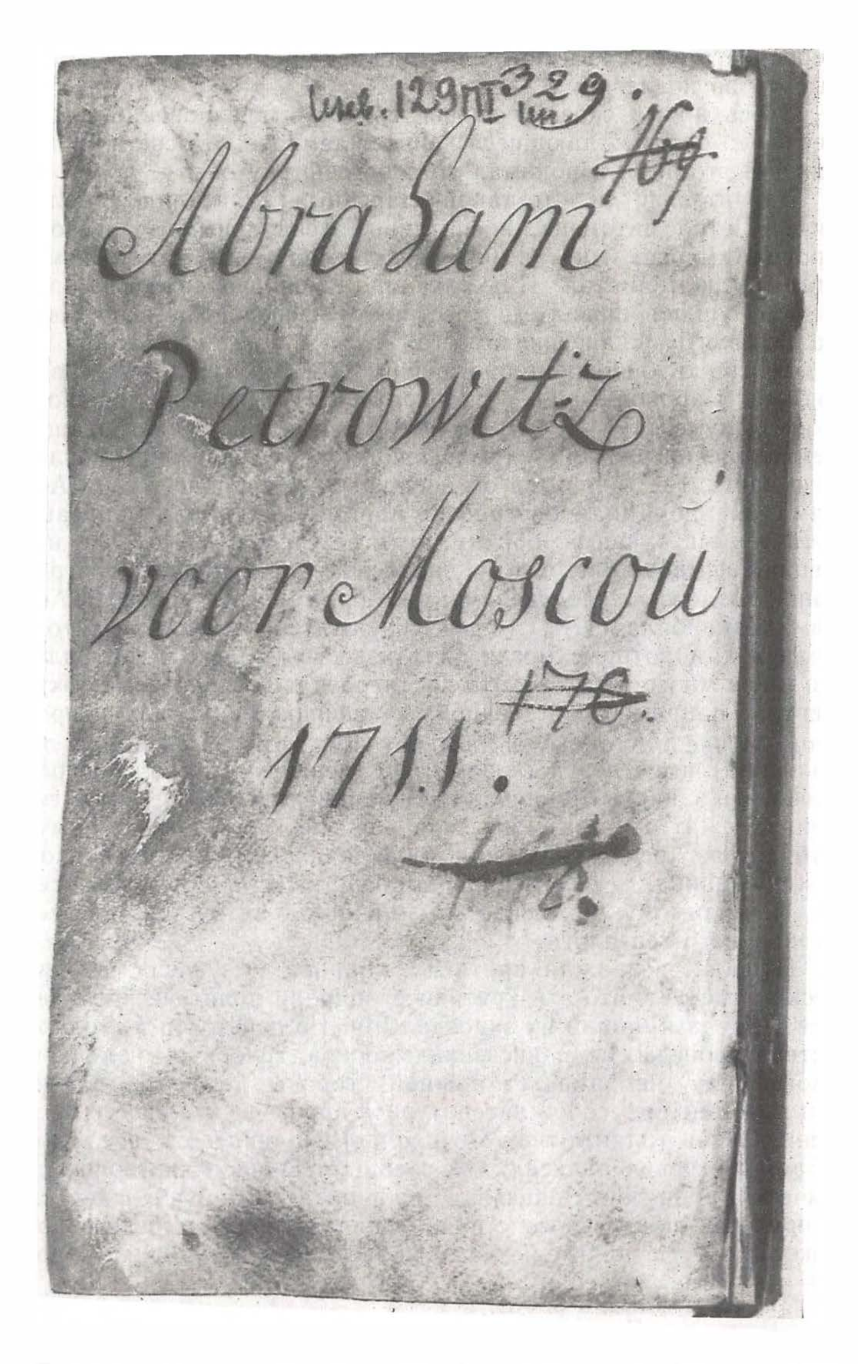
En nu in desen laetsten Druck neerstig oversien en van alle voorgaende fauten gesuyvert.



t'AMSTERDAM,

By de Weduwe van Gysbert de Groot, op den Nieuwen-dyk/ tusschen de twee Haerlemmer Sluysen/ in de Groote Bybel/ 1708.

Арифметика Бартьенса на голландском языке.
Амстердам, 1708. *Титульный лист.*
Принадлежала Абраму Петровичу Ганнибалу. (Тогда еще Абраму Петрову).
Сохранилась в библиотеке Петра I.



Оборотная сторона верхней пергаментной обложки с владельческой надписью А. П. Ганнибала *«Абрам Петрович. Москва 1711»*.

переписать начисто и потом, по надлежащем подписании, рассылать по коллегиям[1].

Здесь прямо сказано верное слово — вдохновение, творческие мысли, рождающиеся ночью в темноте, без света. Пушкин все это знал и понимал по собственному опыту.

Удивительно ли, что такой одаренный, талантливый мальчик, «Петра питомец», воспитанный гениальным человеком, проводя многие годы в непосредственной близости к нему, стал тем, кем он стал? И не случайно в «опровержении на критики» Пушкин назвал его крестником и «воспитанником Петра Великого», «наперсником его»[2].

Теперь о «немецкой биографии» Абрама Петровича Ганнибала. Набоков очень резко критикует ее, называя «идиотским документом» и «бурлескной комической и напыщенной немецкой биографией»[3]. Резко критикует он особенно начальную часть, где говорится об африканском периоде жизни Абрама: «...анонимная биография Абрама Ганнибала написана готическими буквами, бойким, хотя не совсем грамотным, немецким языком. Все, что мы знаем об этой «немецкой биографии», сводится к следующему: она написана после смерти Абрама Ганнибала (1781); в ней содержится несколько фактов, имен и дат, которые могли быть известны только Ганнибалу. Но в ней много и такого, что противоречит историческим документам, например собственному прошению Ганнибала и простой логике... Кто бы ни был автором этой фабрикации, он (или она) имел перед глазами собственноручные автобиографические записки Ганнибала. Немецкий язык, мне кажется, принадлежит жителю Риги или Ревеля, быть может, комунибудь из ревельских или скандинавских родственников г-жи Ганнибал (урожденная Шоберг). Скверная грамматика, по-видимому, исключает возможность авторства профессионального генеалога»[4].

Пушкин, возражая критикам «Бориса Годунова», иронически замечает, что эти критики разбирали политические мнения Пимена и нашли их запоздалыми. Но почему-то не только литературоведы, но и писатель Набоков, говоря о «немецкой биографии», не замечает важной стороны дела. Биография эта представляет собой литературное произведение своего времени. Очень талантливое, хотя отчасти и тенденциозное. Сам Абрам Петрович написал, как сообщает Пушкин, автобиографические записки. Написал и, продолжает Пушкин, сжег их в припадке панического страха, ожидая фельдъегерского колокольчика. Неудивительно, что он был вместе и храбр и пуглив.

[1] Рукою Пушкина, с. 51—52.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 153.

[3] Eugene Onegin. A novel in verse bu Alexander Pushkin translated from the Russian, with a commentary, by Vladimir Nabokov. Vol. 3, p. 425.

[4] Там же, с. 392—393.

Особенно после своей сибирской ссылки. Ведь если он действительно был дважды похищен, сначала в детстве у отца, а потом из сераля турецкого султана, а потом уже взрослым человеком был сослан в Сибирь на китайскую границу с поручением, как пишет Пушкин, измерить Китайскую стену, то вполне понятно, что у него мог создаться подобный комплекс. Вспомним строки «Бахчисарайского фонтана», где:

Я помню только море
И человека в вышине
Над парусами, страх и горе
Доселе (дотоле) чужды были мне.

Оттого, может быть, и Арап уже взрослым человеком так боялся морского путешествия, что он решился написать из Франции Петру, столь не любившему подобных страхов, что он готов на что угодно — пойду в Россию из Парижа хоть пешком, только не заставляйте морем плыть. Может быть, тут снова сказалась детская травма его — похищение (а раньше преодолевал эту свою боязнь, бывая с Петром на кораблях). Есть у Штелина знаменитый анекдот, как кто-то помешал Петру отдыхать после адмиральского часа в каюте, на корабле. И, не разобравшись, он повелел, считая его виновным в этом, выпороть Абрама. Это и было сделано. А потом оказалось, что это была хитрость другого молодого матроса. И тогда Петр приказал зачесть эту порку Абраму, сказавши: когда еще придется тебя наказывать за новую какую-нибудь вину, ты мне напомни, я тебе прежнюю порку зачту. Анекдот этот Пушкин знал, как и некоторые другие[1].

Лев Толстой 22 раза начинал писать роман из времен Петра Великого и отказался наконец потому, сказал он, что «души этих людей для меня уже непонятны».

Так как мне пришлось по следам Пушкина лет 30 заниматься Петром, то я имел возможность убедиться в одной аберрации, которую надо учитывать.

Архаический язык петровского времени, точнее, язык исторических источников того времени заставляет нас часто представлять себе эту эпоху много более архаичной, чем она в действительности была.

Но вот приходишь хотя бы в Летний дворец — и видишь чрезвычайно передовые для своего времени станки, изобретенные Нартовым. Это великолепные и необыкновенно изящные станки, и когда видишь книги, изданные в Петровскую эпоху, то убеждаешься, что это великолепные книги, которые не так уж сильно отличаются по своему виду от книг екатерининского времени.

---

[1] Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным в четырех частях, ч. I, с. 197—199.

Когда приходишь в Кронштадт на корабле и видишь: в доке на канале, задуманном Петром, директором которого стал Абрам Петрович Ганнибал, стоит пароход и там ремонтируется — и это очень хороший, неустаревший док и канал, по очень новой технической идее осуществленный. Мысль была Петра. То же, когда видишь план Петербурга, которым не могут нахвалиться водители машин в отличие от Москвы.

Я уже упоминал о том, что Пушкин в своих исторических произведениях увлекается задачей колорита. Почему, например, так архаически, не по-пушкински звучат в «Полтаве» стихи — характеристика Мазепы.

Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижным льдом?..

А дело в том, что Пушкин здесь воспользовался красками времени. Это все он у Феофана Прокоповича взял вместе с феофановской характеристикой Мазепы. Все эти стилевые средства, краски барокко. Пушкин хотел, чтобы здесь в его поэме прозвучал голос — и стиль эпохи. И у Ломоносова:

Кто море удержал брегами
И бездне положил предел
И ей свирепыми волнами
Стремиться дале не велел.

Это как бы два стиха из ломоносовской оды «Из Иова».

Но когда Пушкин захотел разрешить более высокую задачу, когда речь шла не о Мазепе, а о гении всемирно-историческом, то он свое Вступление к «Медному всаднику» написал совсем иначе:

Стоял *он*, дум великих полн...—

а дальше петровской речи нет. (Между прочим, я нашел, откуда почерпнул Пушкин во Вступлении к «Медному всаднику» мысли Петра. Из одного его же, Петра, прекрасного сочинения.) Но мысли Петра он перевел на язык современный, хотя речь, точнее внутренний монолог, Петра могла бы быть очень колоритной. Пушкин же речениями Петра воспользовался только чуть-чуть — в стихе: «назло надменному соседу». Так, в «Борисе Годунове», что давно известно, герои «Годунова» не говорят же старинным, своего времени языком.

И вот я хочу отметить, что и в «Арапе Петра Великого» Пушкин, изображая Ибрагима, довольствовался контрастом, определяемым необычной судьбой и характером героя. А все герои пушкинского романа говорят общепонятным и неустарелым до нашего времени языком.

Я уже указывал, что Д. Д. Благой несправедливо нападает на «немецкую биографию». Но нужно отдать ему должное:

он первым (как ни странно, ведь это так часто бывает, что самые очевидные вещи отнюдь не сразу осознаются), говоря о характере Абрама Петровича — все знали, что у него был трудный характер, — указывает, что причиной тут была расовая трагедия его. И цитирует выразительное письмо его из Ревеля, где Абрам Петрович был обер-комендантом, в котором тот объясняет, что он и честен и усерден, а почему же к нему так плохо относятся окружающие, служащие, чиновники.

«Я бы желал, — пишет он в одном из писем Меншикову, — чтобы все так были, как я: радетелен и верен по крайней мере моей возможности (токмо кроме моей черноты). Ах, батюшка, не прогневайся, что я так молвил — истинно от печали и от горести сердца, или меня бросить, как негодного урода, и забвению предать, или начатое милосердие со мною совершить, яко бог, а не по злым вымыслам человеков»[1].

Конечно, мы как-то на это не обращали внимания, а Ибрагим не подчеркивал, а как бы старался смягчить необычность, особенность своего положения. И Благой верно говорит, что Арап Петра Великого, когда речь идет о человеческих отношениях, не государственных — роман его с графиней, отношение к нему общества, а потом его трагедия женитьбы (не описанная в «Арапе Петра Великого»), — был в трагическом положении.

Известно, что он был необыкновенно жесток со своей первой, неверной женой. Он ее пытал, подвешивал на кольцах к стене. Настоящая пытка. Но она также отвергла его по причине его «черноты» и потому, что не хотела идти за него замуж. И была неверна ему. Вообще же она была женщиной не столь строгих правил. Но он был ей, как инородный, чужд.

Можно напомнить, что и сам Петр отнюдь не мягче поступил со своей первой женой. Она была, как известно, бичевана двумя монахинями по его приказанию. Не менее жестоко он поступил со своим сыном, его пытали по приказанию Петра, который сам присутствовал при пытке, кончившейся смертью Алексея. Так что и это было в духе того жестокого века, хотя усложнено было африканским характером Абрама, «чернотой» его. У самого Пушкина, конечно, был к теме этой особый интерес. Известно, что у матери поэта — Надежды Осиповны, женщины красивой, — были темные пятна, о чем рассказывала, по свидетельству Бартенева, вдова брата поэта Льва Сергеевича Пушкина. И он с детства, конечно, запомнил это. Так что, когда он с жадным интересом поехал к своему двоюродному деду, называя его негром, то он испытал сильное впечатление, ибо тот, как передавали знавшие его, был *совсем* арап,

---

[1] «Молодая гвардия», 1937, № 3, с. 87—88.

то есть выделялся среди детей Абрама Петровича вот этими признаками, чернотой. Ведь доселе, строго говоря, неизвестно, кто был этнически Абрам Петрович Ганнибал.

Анучин доказывал, и это принято всеми, в частности и мною, что он был все-таки абиссинец[1]. Благой пылко доказывает, что он был негр, как его и называл сам Пушкин. Но дело в том, что абиссинцев, или эфиопов, считают теперь ветвью семито-хамитской. Там образовалась сложная смесь. Различны типы абиссинцев в разных районах этой большой страны: некоторые из них сравнительно светлые, то есть лишь смуглые, другие — черные настолько, что всякий неспециалист назовет их неграми. Кроме того, мы ведь ничего не знаем, кто была мать Абрама Петровича Ганнибала. Ведь там было тридцать жен, как пишут в «немецкой биографии».

Теперь о загадках, с которыми связана, в частности, и дата рождения Абрама. Д. Д. Благой обратил внимание на то, что в дворцовых книгах опубликованы расходные записи, в которых фигурирует очень рано запись о выдаче сукна малинового на мундир Абраму-арапу; в связи с этим он склонен считать его родившимся гораздо раньше, чем считалось[2]. Но более внимательное рассмотрение приводит вот к чему. Оказывается, арапов, арапчат было много. Абрамом назывался не один из них. Были Абрамы-арапы разные. Мало того, были Абрамы Петровичи, потому что их имел обыкновение крестить сам Петр и давал им свое имя в качестве отчества. Ведь и «пушкинский» арап был Петром Петровичем Петровым. Его нарекли Петром в Вильне при крещении. А так как он плакал и не хотел зваться новым именем, то ему разрешили называться не Петром, а по-прежнему Абрамом, что является вариантом Ибрагима. По отцу он получил, по крестному, Петровича, а отчество, как это часто бывало, затем превратилось в фамилию. И он назывался Абрам Петрович Петров.

И лишь впоследствии, лет через десять после смерти Петра Великого, он стал Ганнибалом.

Вот и еще одна загадка. Как мы уже упоминали, не существует достоверного портрета Абрама Петровича. Тот портрет, который был известен как портрет Ганнибала, недостоверен. И вот в этой связи каждая даже частность, я сказал бы, приобретает свое значение. Например, из расходных записей, которые велись во время заграничного путешествия Петра в 1716—1717 годах, когда Арап сопровождал его, оказывается, что Петр приказал в Голландии сделать восковую персону Арапа. Это стоило дорого. Восковая персона была изготов-

---

[1] Д. М. Анучин. А. С. Пушкин. Антропологический эскиз. М., Тип. «Русских ведомостей», 1899.

[2] «Молодая гвардия», 1937, № 3, с. 74.

лена тогда и с карлика Луки. А так как именно в это самое время в одном из писем Петр сообщал из Голландии, что он набирает кунсткамеру и для того заказывает и покупает всякие раритеты, я думаю, что эти дорогостоящие восковые персоны Петр заказывал не для самих же Абрама-арапа и карлика Луки, а для кунсткамеры. Ибо, как отметил, в частности, Пушкин, скульптуру Бухвостова, сделанную Растрелли, Петр поместил в кунсткамеру. Но кунсткамера 5 декабря 1747 г. горела, и надо полагать, что не сохранилась и восковая персона Арапа. Интересно бы посмотреть в старых инвентарях кунсткамеры (они сохранились), нет ли там сведений об этой восковой персоне, не было ли ее там?

(Восковую персону Петра, стоявшую в первом этаже кунсткамеры, вынесли из нее во время пожара[1].)

Зарисовки экспонатов кунсткамеры также сохранились — в Русском музее. Нет ли среди них зарисовок восковой персоны Арапа?

Из расходных записей выясняется, что в 1717 году жалованье Арапу, кроме одежды и обуви, — это он все получал — было сто рублей в год. Это довольно много при тогдашней цене денег. Вот запись: тогда-то вот заплатили 50 рублей, тогда-то остальные 50.

В тех же записях значится, какие расходы были возмещены Абраму-арапу: отдать ему деньги за веревки, которые он покупал, когда Петр с ним восходил в Антверпене на высочайшую башню-колокольню.

Сохранился подробный путевой «Журнал» Петра, называется он «Обстоятельный журнал о вояже, или о путешествии Его Царского Величества...». Под 2 апреля 1717 года в нем рассказывается, как Петр «во второй день поутру о семи часах» поднимался на башню-колокольню.

Поднимались они с веревкой и намерили 82 сажени. Это их измерение пригодится для Петербурга. Петр ничего не хотел пропустить. Наконец, сохранилась запись вернуть Арапу деньги, которые он истратил, съездив «в Версалию». Стало быть, был арап и в Версале.

Тема «Арапа Петра Великого в Париже» известна. Пушкину предстояла большая тема «Петр I в Париже». Скажу заранее, я много занимался этой темой. Она в высшей степени увлекательна. Совсем, к сожалению, доселе не затронута. Пушкин все знал о Петре в Париже, ибо источники обширны и интересны.

В заключение немного про «абиссинский период» биографии Арапа.

---

[1] «В этот день сгорели все почти вещи, хранившиеся во 2-м и 3-м этажах кунсткамеры». — См.: В. И. Семевский. Слово и дело, изд. 3-е. СПб., 1885, с. 266.

И Благой и Набоков (Благой раньше) пишут, что это все фантазия, выдумка, сочиненная с практической целью,— создать легенду о знатном происхождении Арапа. И верно указывает тут же Благой, что Пушкин критически отнесся к преданию об африканском периоде биографии Арапа. Пушкин упоминал Арапа уже в первых своих автобиографических записках (я убежден, что так называемое примечание Пушкина к первому изданию первой главы «Евгения Онегина» является отрывком из этих записок Пушкина, вскоре после 14-го декабря сожженных им). И действительно, ведь он повторил свой рассказ об Арапе в своих новых записках (когда начал возобновлять их в начале 30-х годов) с некоторой эволюцией стиля, ибо в этом «первом Арапе», так назовем этот отрывок, он возвратился из Франции с разрубленной головой и чином французского лейтенанта. А уже во второй раз Пушкин переписывает. Он говорит о том, что есть сообщение, он тут и юмора не терял, что Арап был послан к границам империи с поручением «измерить Китайскую стену». Но если вы заглянете в черновики этих первых записок, откуда взято примечание к первой главе «Онегина», там к стихам:

Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России —

есть примечание Пушкина: «Автор со стороны матери происхождения африканского». Сначала в черновике было сказано, как и в «немецкой биографии», что старый Арап (в глубокой старости, говорится в «немецкой биографии») вспоминал, как его сестра Лагань, плывя за кораблем, на котором увозили похищенного Ибрагима, утонула. В старости, замечает Пушкин, тут Ганнибал плакал, но поэт даже в первых Записках, в примечании к «Онегину», это оставил в черновике, заметив только, что она плыла за удаляющимся кораблем. Уже во вторых Записках Пушкина было сказано: отец Абрама был негр, сын негритянского князька, в то время как в «немецкой биографии» подчеркивается роскошь и знатность положения отца Ганнибала. Так что Пушкин был критичен.

Но весь рассказ не производит впечатления вымысла, ибо записан со слов самого Ганнибала, больше некому было рассказать. А он помнил роскошную жизнь отца, помнил, как приводили к отцу старших братьев его со связанными руками.

Это обычное на Востоке дело, что один из сыновей убивает отца-эмира. В то время было таких случаев немало. И он один плавал под фонтанами отеческого дома. Это не похоже на выдумку.

Набоков пошел научным путем, стал читать Анучина (которого, правда, ругает, как почти всех, писавших об Абра-

ме Ганнибале[1]), книги путешественников по Абиссинии того времени, записки послов, старинные и современные сочинения по истории этой страны.

Ничего в этих источниках Набоков не нашел о том, как похищали Арапа. Но он хочет выяснить обстановку действия, и тут он ссылается на путешественника Понсэ — это был врач или аптекарь, который приехал из Каира лечить негусу глаза. Так вот этот Понсэ рассказывает, что он сопровождал молодого армянина Мурада, которого император Абиссинии Исус I послал послом к французскому королю с подарками — в виде слона, коней и мальчиков эфиопских. И по времени совпадает, что туда, может быть, попали дети знатных эфиопов, мог попасть в их число Ибрагим. Но король Мекки, как пишет Понсэ, отобрал у Мурада высокородных детей, и попали они в подарок не французскому королю, а султану турецкому Мустафе. Может быть, во всяком случае, эта тема показывает обстановку, в которой могло совершиться такое похищение. Это как раз развлекательный материал. Но Набоков правильно говорит, что критики эфиопско-африканской версии происхождения Абрама Петровича не правы. Потом они предложат контрверсию.

Я же склонен думать, что в рассказах Ганнибала могли быть просто преувеличения. Но едва ли имеются основания подвергать сомнению его происхождение из Эфиопии, из Абиссинии. Сами эфиопы постоянно этим гордятся. Интерес к нему велик не только в Советском Союзе, но и за рубежом, и прежде всего в Африке. Журнал «Эфиопиа обсервер», например, посвятил Пушкину специальный номер («Ethiopia observer». 1957, vol. 1, № 8).

Н. Хохлов, наш известный журналист-африканист, предпринял поиски места рождения Ганнибала в Эфиопии и посетил те селения, где тот, по-видимому, родился. Он говорит, что архивы того времени, к сожалению, сгорели в итало-абиссинскую войну. Может быть, уцелело в монастырях что-нибудь, в провинциальных хранилищах. Но тут нужны уже новые поиски. Есть и не книжные аргументы. В тех местах, где, по-видимому, родился Абрам Петрович Ганнибал, там целые деревни ходят Пушкиных, очень похожих[2]. Но для этого не нужно ездить в Абиссинию, потому что через двор, в котором я живу, ходят десятки африканцев, которые учатся русскому языку в Автодорожном институте. Они так похожи на Пушкина, похожи не только внешне, но и движениями, сменой выражения лица, причем мне объяснили, не знаю, верно ли, что походка

[1] «...В сочинении, которое с исторической, этнографической и географической (номенклатурной) стороны стоит лишь всякой критики, Дмитрий Анучин, журналист, занимающийся антропологией» (с. 399).

[2] Письмо ко мне из Аддис-Абебы от 12.VIII.1968 г. (Архив И. Л. Фейнберга). См. также: «Неделя», 1969, № 44.

их, которая всегда описывается как индивидуальная особенность Пушкина, — не индивидуальна, поскольку у них несколько иное строение мускулатуры ног. Те черты в Пушкине, о которых всегда пишут его современники, — как он быстро переходил от одного настроения к другому, — и другие черты душевной динамики также характерны для тех африканцев, которых видел Хохлов. Есть и другие не книжные аргументы.

Удивительна сказочная судьба Ганнибала, но, по верному слову Ключевского, сказка бродит по русской истории[1]

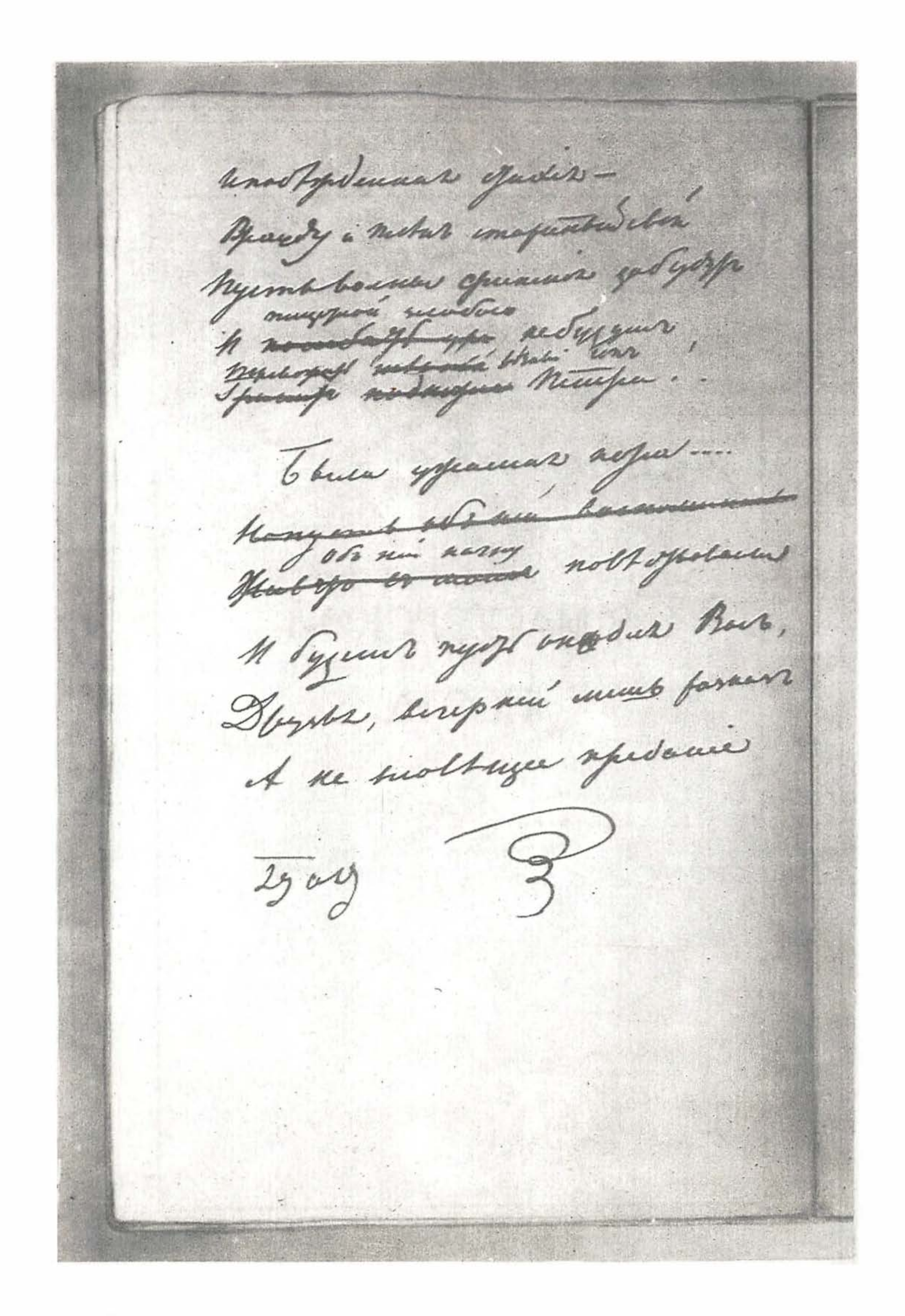
1970

---

[1] Доклад, прочитанный в Государственном Музее А. С. Пушкина (Москва) 3 ноября 1970 г. См. «Временник Пушкинской комиссии. 1970». Л. 1972, с. 125 «Государственный музей А. С. Пушкина в 1970 г. В минувшем году состоялось два расширенных заседания Ученого совета (с привлечением музейных работников, деятелей науки, литературы, искусства, представителей прессы), на которых была заслушана и обсуждена новая работа И. Л. Фейнберга «Арап Петра Великого (новое об А. П. Ганнибале)».



В МАСТЕРСКОЙ ПОЭТА



Рукопись заключительных строф Вступления поэмы «Медный всадник»
1833 г.

ПО ЧЕРНОВИКАМ ПУШКИНА



руг Пушкина и друг Гоголя А. О. Смирнова сказала, что ничего нет поэтичнее жизни и смерти Пушкина.

Сама жизнь его совершенно русская, сказал о нем Гоголь. Да и смерть тоже.

Недавно я вновь побывал на набережной Мойки — в последней квартире Пушкина. Там в застекленном ящике выставлен сохраненный Вяземским черный жилет, который был на Пушкине в день дуэли. Вместе с черным жилетом под стеклом видна белая перчатка Вяземского, другую он положил в ящик, когда заколотили гроб. Еще там видна восковая зеленоватая свеча с отпевания Пушкина.

Когда вы видите все это и рассматриваете, создается впечатление, что вы стоите у дверей кабинета, в котором умер Пушкин, в самый день его смерти.

Но Пушкин, написав свой «Памятник», взял к нему эпиграф из Горация, который сказал: «Лучшая часть меня избежит похорон». Это повторил и Пушкин:

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...

И когда в Пушкинском Доме вы раскрываете его рукописи, создается высокий эффект присутствия его.

Пушкин тщательно берег свои рукописи, «не только неизданные, но и черновые, в которых были места нецензурные, либо искаженные цензурою, либо первоначальные наброски»[1].

Еще Анненков, впервые увидев тетради Пушкина, заметил, что в своих тетрадях Пушкин потрудился оставить нам почти всю историю своей души, почти все фазисы своего развития и закрепил даже свои мимолетные мысли. Первый редактор поэта добавил еще, что в пушкинских черновых тетра-

[1] «Русский архив», 1903, № 6.

дях сохранилась непрерывная беседа Пушкина с самим собой.

До нас дошли «Разговорные тетради» Бетховена, который был глух, и потому собеседники писали в этих тетрадях то, что хотели сказать ему; Бетховен отвечал им устно, и его ответы в этих тетрадях не записаны. Историки музыки научились читать «Разговорные тетради» Бетховена и по уцелевшей в них половине диалога понимать смысл ответов Бетховена, понимать, что же отвечал своим собеседникам Бетховен.

Исследователи тетрадей Пушкина оказались в более счастливом положении. Тетради Пушкина в самом деле открывают нам его непрестанную, им самим записанную «беседу с самим собой».

Касаясь того периода жизни и творчества поэта, к которому относится работа его над автобиографическими записками, первый биограф поэта указывал, что «тайная деятельность мысли и творчества у Пушкина носит совершенно другой характер, чем та, которую он открыл публике и которую мы знаем по его сочинениям от эпохи 1821—1824 г. Под лучезарными произведениями его поэтического гения, отданными свету, текла, не прерываясь всю жизнь, другая, потаенная струя творчества общественного, политического, исповеднического и задушевного характера...»[1].

«История души» поэта отражена, конечно, не только в такого рода автобиографических записях. Рабочие тетради поэта представляют чрезвычайный интерес для раскрытия творческой истории его художественных созданий.

Поколения исследователей трудились затем в течение целого столетия над прочтением и расшифровкой черновиков Пушкина, однако большая часть их оставалась недоступной для чтения. «Замечательно, что черновые листы Пушкина, — писал Вяземский, — были также перечеркнуты и перемараны так, что иногда на целой странице выплывало иногда только несколько стихов»[2].

При окончательной отделке, вспоминал современник, которому поэт показывал черновики «Полтавы», «из набросков не оставалось и четвертой части. Я видел у него черновые листы, до того измаранные, что на них нельзя было ничего разобрать: над зачеркнутыми строками было по нескольку рядов зачеркнутых же строк, так что на бумаге не оставалось уже ни одного чистого места»[3]. Знакомство с рукописями — и прежде всего черновиками поэта — впоследствии подтвердило это свидетельство о них современников.

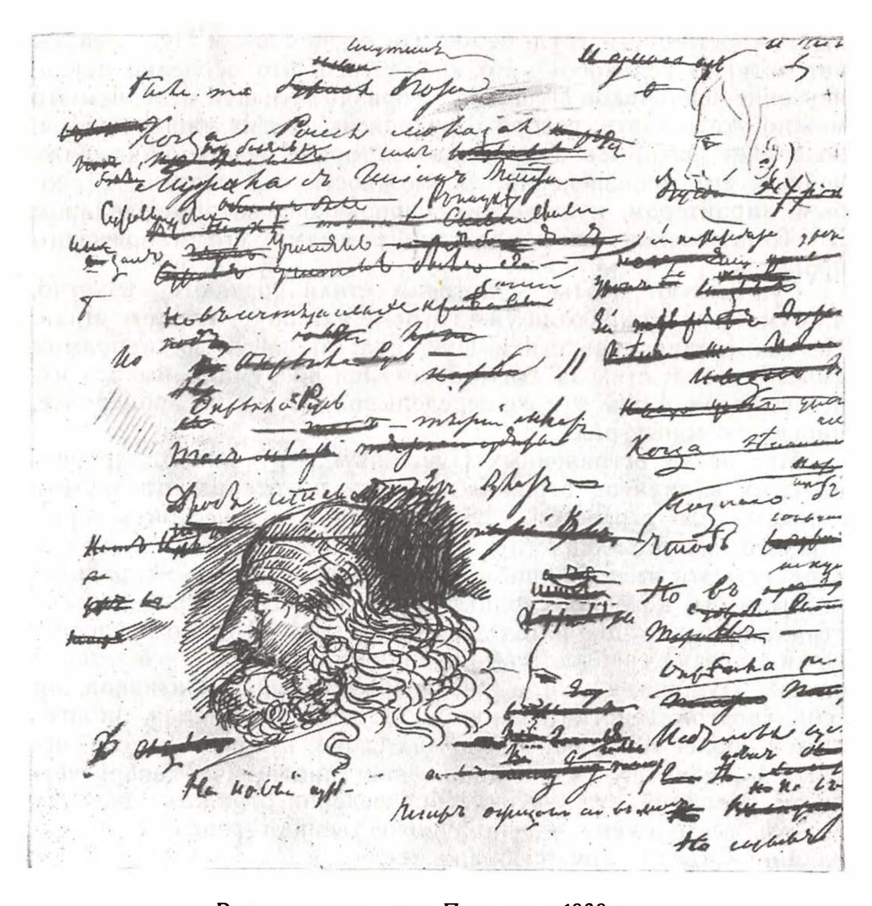
Черновые рукописи Пушкина, «до того измаранные, что

---

[1] П. Анненков. Пушкин в Александровскую эпоху, с. 165.

[2] П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. X. СПб., 1886, с. 252.

[3] М. В. Юзефович. Памяти Пушкина. — В сб.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. II. М., 1974, с. 105—106.



Рисунки в рукописи «Полтавы». *1828 г.*

на них ничего нельзя было разобрать», прочитаны теперь до последней строки[1].

Вот откуда взялось и неожиданным образом век спустя после смерти поэта появилось в печати столько «нового Пушкина».

Прочитанные теперь черновики лирических стихотворений и поэм Пушкина, которые заняли в академическом издании сотни страниц, представляют собой прежде всего первостепенный материал для воссоздания общей картины огромного творческого труда поэта: в них раскрывается его «вдохновен-

[1] Задача эта была выполнена благодаря труду коллектива исследователей, применивших при чтении пушкинских черновиков новые методы, которые освещены в работе «О чтении рукописей Пушкина», опубликованной С. Бонди, во многом разработавшим эти новые методы (см.: «Известия АН СССР. Отд-ние обществ. наук», 1937, с. 596—606).

ный», «постоянный труд, без коего, — по словам Пушкина, — нет истинно великого»[1]. Но кроме того, что особенно ценно, изучение черновиков Пушкина в гораздо большей мере, чем это можно утверждать, говоря о рукописях других наших поэтов, позволяет раскрыть творческую историю целого ряда важнейших его произведений. Возможность эта связана с особым характером пушкинских черновиков, которые недаром Б. Томашевский называл стенограммами его творческого процесса.

Существуют поэты, у которых стихи создаются изустно, на бумагу записываются уже готовые или почти готовые стихи. Не так создавались стихи Пушкина; он писал их в прямом смысле слова: стих за стихом ложился на бумагу, выходя из-под его пера, и поэт тут же переделывал только что написанное, иногда по многу раз.

Многие из оставленных Пушкиным в рукописях первоначальных вариантов отражают работу поэта над отдельными строками или строфами. С точки зрения творческой истории каждого из больших пушкинских произведений в целом варианты эти имеют лишь локальное значение. Но неправильно было бы, конечно, сводить труд великого поэта к отделке стихотворных строк или отдельных строф его произведений. Ценя в поэзии «верность выражения» и стремясь к ней в своих стихах, Пушкин, еще при жизни признанный и признававший себя «поэтом действительности», осуждал писателей, заботящихся «более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его...»[2]. Ставшие доступными нам теперь черновые редакции пушкинских произведений отражают поэтому прежде всего смену идейно-художественных решений, возникавших в творческом воображении поэта.

Чертами, отличающими поэзию Пушкина, Гоголь считал «необыкновенное искусство немногими чертами означить весь предмет» и «чрезвычайную быстроту описания». Эти черты отличают и процесс работы Пушкина над созданием своих произведений.

Изучение черновиков поэта дает возможность видеть воочию, как безошибочно избирает Пушкин лучшее из множества возникающих в его творческом воображении решений.

Этот труд совершался под пером Пушкина быстро. Ему чуждо было то изнурительно долгое совершенствование нескольких строк, о которых говорит в своих письмах Флобер, проводивший иногда целый день в работе над одной фразой. Картина работы поэта, отраженная в его черновых тетрадях, приводит нам на память слова его о живописце — создателе Военной галереи Зимнего дворца:

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XI, с. 42.
[2] Там же, с. 270.

Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой...

О поэзии Пушкина Гоголь сказал: «...ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей... А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо»[1]. Ставшие доступными нам теперь черновики Пушкина говорят не только о том, как менялись под его пером образы создаваемых им героев; нередко они говорят нам о том, как великий поэт боролся за выбор варианта собственной судьбы.

Читать первоначальные черновые редакции и варианты пушкинских произведений, как мы читаем законченные или незавершенные и сохранившиеся хотя бы в отрывках произведения Пушкина, разумеется, невозможно: они требуют прежде всего внимательного изучения. Результаты же исследования их, раскрывающие во многом историю создания великих произведений поэта, могут представить интерес для более широкого круга читателей. «Как студии (то есть этюды. — *И. Ф.*). великих художников они сделаются предметом изучения для будущих наших писателей»[2], — проницательно заметил век назад В. А. Соллогуб, касаясь появления в печати черновых пушкинских отрывков.

Вступление к «Медному всаднику» открывается словами:

На берегу пустынных волн
Стоял *он,* дум великих полн[3],
И вдаль глядел.

Вначале же Пушкин написал:

На берегу *варяжских* волн...
...На берегу *балтийских* волн
Стоял, задумавшись глубоко,
Великий царь... (Великий муж...) —

а потом стало:

На берегу пустынных волн (еще не названных).

Сначала Пушкин написал:

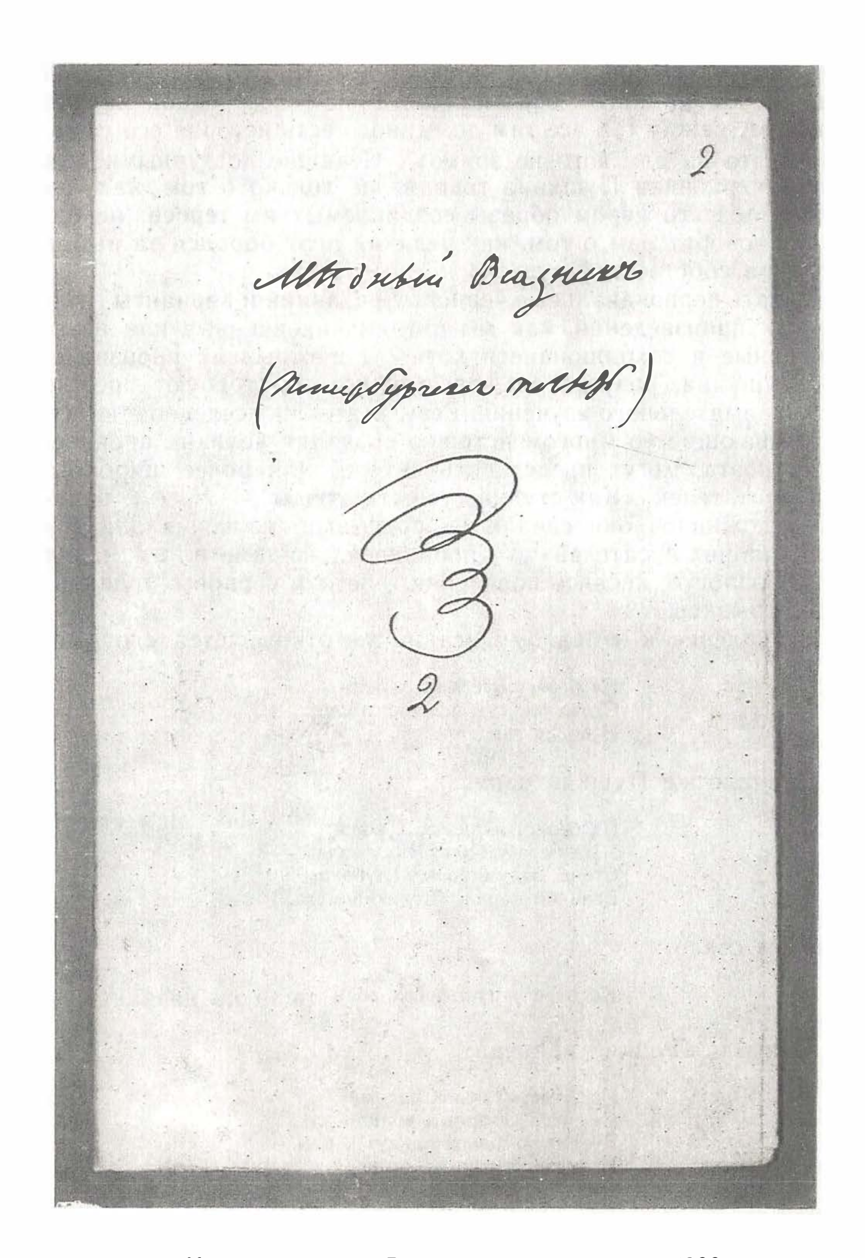
Из Ливерпуля и Сардама
Сюда по северным волнам
Всемирны флаги придут к нам —
И заторгуем на просторе... —

---

[1] Н. В. Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии... — В сб.: Русские писатели XIX века о Пушкине. Л., 1938, с. 164.

[2] В. А. Соллогуб. Пушкин в его сочинениях. — В сб.: Русские писатели XIX века о Пушкине, с. 146.

[3] Подчеркнуто Пушкиным — *И. Ф.*



«Медный всадник». Вторая обложка рукописи. *1833 г.*

3

Вступленіе

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ. Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ. 1)

И думалъ онъ:
Отсель грозить мы будемъ Шведу.
Здѣсь будетъ городъ заложенъ
На зло надменному сосѣду.

Рукопись Вступления к «Медному всаднику». *1833 г.*

а потом сказал:

И запируем на просторе.

Когда входишь в Летний дворец Петра в Ленинграде и видишь сперва его кафтан, повешенный на гвоздь, то как-то невольно отшатнешься, кажется, что это кафтан Гулливера.

1703 год — год основания морской столицы, Петербурга, и это тот год, когда Гулливер вступил на берег страны Великанов.

Искусство, особенно поэзия, такая волшебная область, что когда поэт сообщает, что он о чем-то говорить не будет и описывать нам то, о чем он не будет говорить, то все это присутствует на полотне художника.

Мы знаем стихи Пушкина:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...

В рукописи, прежде чем Пушкин нашел слова, которые можно было назвать его девизом, было сказано так:

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей

(Равнодушное терпенье)
(Равнодушное презренье)
(Терпеливое презренье)
(окажу ль судьбе презренье)

Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Когда читаем стихотворение Пушкина «К вельможе», вспоминаются слова Белинского, который так хорошо сказал, что в лице одного представителя XVIII века Пушкин гениально изобразил целое XVIII столетие. Как ни близка была еще Россия XVIII века, которую видел Пушкин в лице князя Юсупова, когда посетил его дворец в Архангельском, он был для него уже лицом историческим.

Но вот мы приходим туда, ходим по залам этого прекрасного дворца. Помните, как Пушкин описывает его в начале послания «К вельможе» (несколько, казалось бы, устаревшим александрийским стихом, шестистопным ямбом)?

От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет эфир,
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались.

Черновая стихотворения «К вельможе». *1830 г.*

Пушкин описывает встречу с Вольтером и говорит о нем:

С тобой веселости он расточал избыток,
Ты лесть его *вкусил,* земных богов напиток.

В рукописи же сначала было чувственней сказано:

Ты лесть его *глотал* земных богов напиток.

Вы помните, вероятно, прекрасный мадригал, посвященный Пушкиным Зинаиде Волконской. Пушкин окончил его стихами:

Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

Портрет Каталани — черной, худой и горбоносой итальянки — висит и сегодня в одном из залов Архангельского дворца. Там и увидел, вероятно, Пушкин этот прекрасный портрет.

Послание Пушкина «К вельможе» некоторые современники приняли за лесть Юсупову. Над этим недоброжелательным и вместе с тем наивным отношением к поэту посмеялся Белинский.

Современникам Пушкина было тогда непонятно также, что Пушкин возвысился до понимания того, что портрет человека можно строить на раскрытии противоречий, которые живут в одном и том же человеке.

Между тем Пушкин сам сформулировал этот свой художественный принцип. Говоря о бюсте Александра 1, он сказал:

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

Арлекин разделен на две половины: одна половина у него одного цвета, другая контрастного, — другого, то есть совсем иная.

Черновики Пушкина показывают, как создавал он в «Полтаве» образ Петра.

Петр является только в торжественные мгновения — в бою, на победном пире. В бою он дан таким же сверхкрупным планом, как на огромной мозаической картине Ломоносова. Даже вражда Мазепы с ним начинается в поэме ссорой на пиру. Перед Полтавским боем Мазепа вспоминает:



Н. Б. Юсупов. *Рису́нок Пушкина*. Титульный лист рукописи стихотворения «К вельможе». *1830 г.*

...Под Азовом
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые...
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.

Сначала же в черновике Пушкина было сказано: «И за усы меня седые *рукою пьяной ухватил*».

Но образ пьяного Петра явиться перед читателем не мог: он выпадал бы из всего поэтического строя поэмы.

Когда читаешь рабочие тетради Пушкина, то видишь, как он был щедр и богат, как много художественных идей и образов теснилось в его воображении, а он из них выбирал — прекраснейшие из возможных.

Вот стихотворение «Бесы», стихотворение очень русское, непохожее уже на те романтические баллады, которые так прекрасно переводил с немецкого Жуковский.

И вдруг в рукописях открывается тебе, что Пушкин вспомнил здесь русские сказки, русский фольклор, вспомнил Аленушку, когда говорит о звуках, какие слышатся ему в завывании ветра:

Что за звуки!.. аль бесенок
В люльке охает, больной,
Или плачется козленок
У котлов, перед сестрой.

Но он оставил эти строки в рукописи и не включил их в «Бесы».

Мне хочется сказать еще об одной черте Пушкина. Пушкин вначале в рукописи так скажет, как говорили поздней поэты XX века, как ему было доступно, как он понимает, но потом отбросит и напишет иначе, как писали в XIX веке.

В первой главе «Евгения Онегина» он пишет:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас,
И вдохновенья снова полный,
Я слышу ваш *прозрачный* глас!

А потом заменил свой этот смелый эпитет, сказав: «Услышу ваш *волшебный* глас». И так он делал часто.

Пушкин в отличие от поэтов, которые стремятся подчеркнуть сложность и оригинальность своих художественных средств, стремился, наоборот, несколько прикрыть смелость своих эпитетов и метафор. Недаром Гоголь заметил: «Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описа-

ние...»[1]. Пушкинские черновики обычно в смелости своих художественных решений намного превосходят окончательный текст. В своих черновиках Пушкин предвосхитил почти всех великих последующих поэтов XIX и XX веков, но это осталось в отвергнутых им вариантах.

На связь письма Татьяны в «Евгении Онегине» с монологом Демона в поэме Лермонтова было обращено внимание еще в начале века[2]. Но неожиданнее всего, что рукописные варианты письма Татьяны, ставшие доступными читателю только в наше время, то есть стихи Пушкина, которые Лермонтов не читал и знать не мог, еще больше напоминают стихи самого Лермонтова. Вот эти черновые стихи:

Ко мне, ко мне ты послан богом,
Я знаю, ты хранитель мой,
Вся жизнь моя была залогом
(Свиданья моего с тобой)
Ты мне внушал мои моленья
(Любви) небесной (чистый) жар
И грусть и слезы умиленья
Они тебе, они твой дар.

Переворачиваем еще страницу черновых вариантов «Онегина» и читаем:

Кто ты, мой ангел ли хранитель
Иль демон, сердца искуситель?
Приди, сомненья разреши...

Демон. Слово сказано.

Удивительное сходство стихов Лермонтова с неизвестными ему черновиками Пушкина объясняется тем, что Лермонтов развил в своем «Демоне» многое из того, что Пушкин из «Онегина» устранил, оставив в черновиках своего романа.

У Пушкина есть лермонтовские интонации, которые возникают у него в стихе, когда зрелым поэтом он вспоминает о юности:

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал...

Я читал очень усердно знаменитые пушкинские рассуждения о прозе, точнее, о том, какой она должна быть, которые суть не что иное, как цитаты из Цицерона.

«Точность и краткость — вот первые достоинства прозы», — писал Пушкин (а в другом месте заметил: «Прелесть нагой

[1] Н. В. Гоголь. В чем же, наконец, существо русской поэзии... — В сб.: Русские писатели XIX века о Пушкине, с. 164.

[2] См.: Б. В. Нейман. Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова. Киев, 1914, с. 129.

простоты так еще для нас непонятна...»). Говоря о речах и записках Цезаря, Цицерон пишет: «...ясная краткость — самое лучшее украшение истории» и «...в них есть прелесть нагой простоты».

Он вспоминает, как побывал на Кавказе. И тут те же интонации. Это неотработанные, но прекрасные стихи:

Во время оное былое!..
В те дни ты знал меня Кавказ
В свое святилище пустое
Ты призывал меня не раз.
В тебя влюблен я был безумно,
Меня приветствовал ты шумно
Могучим гласом бурь своих...

Те же интонации уже не о природе, а о юности.

Как будто написаны Лермонтовым и строки, оставшиеся в рукописи стихотворения «Монастырь на Казбеке»:

Казбек! Твой царственный шатер
Горит восточными лучами.
Он от всего семейства гор
Один златыми облаками
Как будто стражей окружен.
И монастырь уединен.
Носимый, будто их грядою,
Как малый видится ковчег,
Плывущий тихо над землею.

В рукописи осталось, как слишком личное, и стихотворение Пушкина «Младенцу» («Ребенку»), поразительно напоминающее по интонации лермонтовские стихи:

Прощай дитя моей любви
Я не скажу тебе причины

И клевета неверно ей
Чертами /   / опишет...
Быть может о судьбе моей
Она современем услышит...

Среди черновых набросков этого стихотворения можно прочесть еще другие варианты «Моей таинственной любви» и «Ты равнодушно обо мне, дитя, со временем услышишь», «И равнодушно обо мне молву со временем услышит».

У Пушкина в «Путешествии Онегина» сказано:

В палате Английского клоба
(Народных заседаний проба)
Безмолвно в думу погружен
О кашах пренья слышит он.

Это то, что теперь читаем мы у Некрасова, когда он описывает Английский клуб и обжор-толстяков:

Поросенку ставят баллы,
Рассуждая о вине.
Тычут градусник в бокалы...
«Как! четыре — ветчине?..»

Знаменитое стихотворение Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...») кончалось в печати у Пушкина (он сам так напечатал): «Но строк печальных не смываю». А между тем есть такое же большое, как и основной текст, продолжение его в черновике: «Я вижу в праздности, в неистовых пирах...» Оно было напечатано еще Анненковым. Но Анненков, человек большого вкуса, не вводил эту часть в основной текст, а привел в «Материалах для биографии» поэта.

Последующие редакции, желая увеличить творческое наследие Пушкина, стали печатать этот черновик как вторую часть. Она кончается известными стихами:

И нет отрады мне — и тихо предо мной
Встают два призрака младые,
Две тени милые — два данные судьбой
Мне ангела во дни былые —
Но оба с крыльями, и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.

В вариантах второй, незавершенной части этого произведения сначала было «Два гения» — их сменяют «Два ангела», и образ получает новое развитие и решение. Это две женщины умершие. Новая тема — появляются ангелы мести. Женская любовь сменяется ненавистью:

И мертвую любовь питает их огнем
Неумирающая злоба.
И оба грозные и с пламенным мечом.

Да, мы знали у Ломоносова:

И Ангел мстящею рукою
Их, в след гоня, да устрашит.

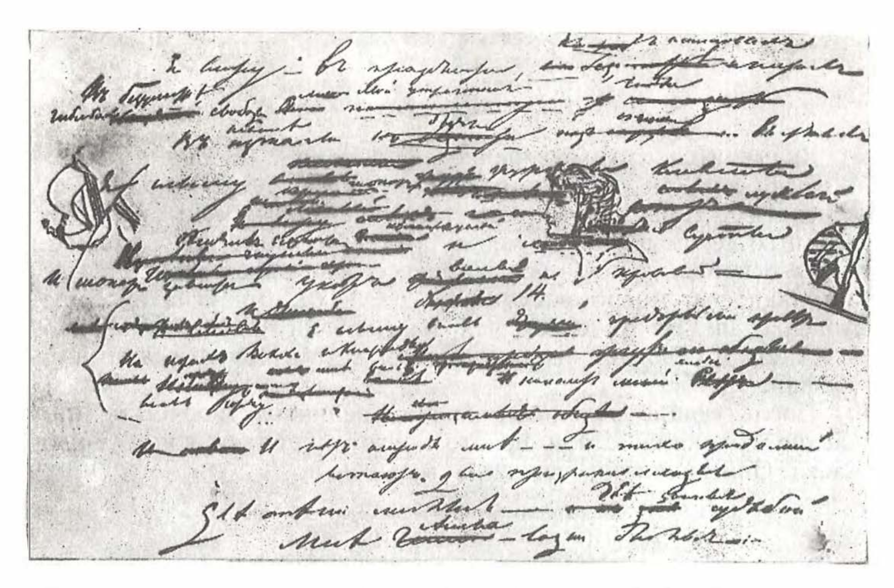
Но у Пушкина ангелы — две женщины.

В вариантах мы читаем:

И шепот зависти
И легкой суеты
Укор веселый и кровавый.

Черновые редакции этого стихотворения напоминают нам Блока («Я видел сон...». Но там «живые ангелы» являются мертвому поэту в день воскресения).

Пушкин знал сложности XX века и XVIII, но выбирал простые решения, свойственные XIX веку.



Черновая рукопись стихотворения «Воспоминание» («*Когда для смертного умолкнет шумный день...*»). *1828 г. Фрагмент.*

Для понимания исканий Пушкина нам важно знать, что в черновиках он уже предвещал Блока. Но то, что у Блока становится стихотворением, у Пушкина остается в черновике, так как выражает иное отношение поэта к своему «я» и «Миру». Известно, что, когда век спустя была расшифрована X глава «Онегина» и стала доступна читателям, она оказала столь сильное воздействие на Блока, что во многом под влиянием ее он писал поэму «Возмездие».

В поэзии Пушкина уже были те выразительные поэтические средства, которые нам представляются достоянием позднейшей поэзии.

Так, черновики эпилога «Бахчисарайского фонтана» напоминают нам Хлебникова:

Я видел ханское кладбище,
Забвенья мирного жилище.
Сии могильные столбы...
(Сии надгробные столбы)
(Заглохши дикою травою)
(И все заглохшие травою)
(Давно заглохшие травою)
Гласили (мне) завет судьбы
(Заветы тайные судьбы)
Красноречивою молвою.

А описывая Крым («Кто видел край, где роскошью природ...»), Пушкин оставляет в черновике строки, кажущиеся стихами Заболоцкого:

И в темноте, как призрак безобразный
Стоит вельблюд, вкушая отдых праздный.

Толстой, говоря о выборе творческого решения, сказал как-то Софье Андреевне: не так трудно что-нибудь написать, как трудно чего-нибудь не написать. Пушкин и греки это умели.

Изучение рабочих тетрадей позволяет видеть и понять смысл творческих решений поэта — видеть, каким Пушкин мог быть, бывал и каким решил стать и стал.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная», — сказал Пушкин. Чтение рабочих тетрадей его открывает перед нами эту возможность.

1975

РАБОТА НАД «ОНЕГИНЫМ»

Окончив «Онегина», Пушкин написал элегию «Труд».

Миг вожделенный настал, окончен мой труд многолетний...
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?..

Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи...

В последних строфах «Онегина» Пушкин вспоминает свой *живой и постоянный труд* и прощается с ним, как с героями романа.

Когда впервые появились в печати подготовительные наброски и отрывки, остававшиеся в рукописях Пушкина, пережившие его современники понимали их значение. В Большом академическом издании перед читателем проходят варианты, сменявшиеся под пером поэта, извлеченные полностью из его черновиков. Черновики «Онегина» впервые прочитаны и напечатаны здесь до конца, строка за строкой[1].

Дело текстологов — критически, детально оценить громадный труд, выполненный редакторами этого издания. Исчерпывающий комментарий дополнит когда-нибудь академическое издание Пушкина.

Задача этих заметок — коснуться вопросов, которые возникают при первом чтении «Онегина», впервые напечатанного со всеми рукописными вариантами его.

Это чтение нарушает инерцию в восприятии романа.

ЛАРИНЫ

Прощаясь с «Онегиным», Пушкин писал:

Промчалось много, много дней
С тех пор, как юная Татьяна
И с ней Онегин в смутном сне
Явилися впервые мне —
И даль свободного романа
Я сквозь магический кристалл
Еще не ясно различал.

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. VI, «Евгений Онегин». Ред. тома — Б. В. Томашевский.

«Магический кристалл» — стеклянный шар для гаданья, в нем отражается будущее.

Мы знаем, что Татьяну сначала звали Наташей. После первой встречи с Татьяной — в черновиках — Онегин думал: не влюбился ли он в нее? Татьяна меняется на протяжении романа. Ленский и Ларины изменились до того, как они вошли в роман, — в черновиках «Онегина».

О Ларине, отце Татьяны, в романе сказано:

Он был *простой и добрый* барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир[1].

В черновиках он был другим:

Супруг — он звался Дмитрий Ларин
И винокур и хлебосол
Ну словом прямо русский барин...

И еще резче:

Супруг — он звался Дмитрий Ларин
Невежда, толстый хлебосол,
Был настоящий русский барин...

В черновиках он был:

...Довольно скуп
(Отменно) добр и очень глуп.

В «Онегине» о Лариных мы читаем:

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины...

Строфа эта была написана после окончания второй главы и включена в нее потом.

В черновиках же Ларины были изображены иначе:

Они привыкли вместе кушать,
Соседей вместе навещать
(По праздникам обедню) слушать
Всю ночь храпеть, а днем зевать...

В «Онегине» говорится об их гостях:

Под вечер иногда сходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья...

[1] Последние три строки подчеркнуты Пушкиным. — *И. Ф.*

В черновиках было иначе:

Под вечер у него сходилась
Соседей милая семья
(Дворян сбиралася семья)
Исправник, поп и попадья...

Это уже «уездное»!

О Лариной-матери теперь можно прочесть в черновиках:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Секала <— —>[1], брила лбы,
Ходила в баню по субботам...

В первом издании этой главы «Онегина» Пушкин сказал о Лариной:

Она меж делом и досугом
Узнала тайну, как супругом,
Как Простакова, управлять.

Сначала Ларина была Простаковой.

В «Романе в письмах», который связан с пушкинским романом в стихах, герой Пушкина писал, «глядя на управление мелкопоместных дворян»: «Какая дикость! Для них не прошли еще времена Фонвизина. — Между ими процветают Простаковы и Скотинины!»

Лариных — отца и мать — Пушкин сначала написал по-фонвизински. Потом героями Фонвизина в «Онегине» остались гости Лариных — семья Памфила Простакова (он стал потом Панфилом Харликовым) и Скотинины:

...чета седая
С детьми всех возрастов...

Они приезжают на именины в пятой главе «Онегина».

В первой главе «Онегина» Пушкин вспоминал Фонвизина, говоря о театре:

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы...

«Прочитав *Разговор у княгини Халдиной,* — писал Пушкин в 1830 году, — пожалеешь невольно, что не Фонвизину досталось изображать новейшие наши нравы».

Пушкин не стал решать в «Онегине» задачу, которую решал Фонвизин.

Вспоминая о сатире нравов, в черновиках седьмой главы

---

[1] В ломаных скобках обозначен пропуск слова, неудобного в печати.

«Онегина» Пушкин назвал поэта, который стал продолжателем Фонвизина:

Как (живо) колкий Грибоедов
В сатире внуков описал
Как описал Фонвизин дедов...

В пятой, седьмой, восьмой главах «Онегина» Пушкин обращается к сатире только в обрисовке среды, с которой сталкиваются главные герои романа («Сколько при них портретов, то отделанных заботливо, то слегка набросанных, сколько карикатур!» — писал современник «Онегина»)[1].

Героями Фонвизина в «Онегине» остались фигуры, показанные не крупным, а общим планом.

СПОР ОБ «ОНЕГИНЕ»

Первая глава романа была напечатана в 1825 году. «Онегин» начат в 1823 году. В эти годы Пушкин писал:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне ювеналов бич!

В черновом предисловии к первой главе «Онегина» Пушкин от имени издателя называл автора «Онегина» сатирическим писателем, первую главу «Онегина» назвал сатирическим описанием жизни молодого русского дворянина, вспоминал сатиру нравов Ювенала, Петрония, Вольтера и Байрона и по-щедрински сказал об отеческой бдительности цензуры, блюстительницы нравов и государственного спокойствия.

В том же 1825 году, 24 марта, он писал Бестужеву:

«Где у меня *сатира?* о ней и помину нет в *«Евгении Онегине»*... Самое слово *сатирический* не должно бы находиться в предисловии. Дождись других песен...

1-я песнь просто быстрое введение...»[2]

Замысел романа изменился.

«Другие песни» — вторая, третья и четвертая главы «Онегина» — были уже написаны, Бестужев их еще не читал.

В последней строфе «Онегина» Пушкин говорит:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.
Без них Онегин дорисован...

---

[1] «Сын Отечества», 1828, ч. 116, № 7.
[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 155.

Пушкин вспоминал споры с друзьями о первой главе романа. Он вспоминал Рылеева и Бестужева.

12 февраля 1825 года Рылеев писал Пушкину об «Онегине»: «Ты схватил все, что только подобный предмет представляет. Но Онегин, сужу по первой песне, ниже и Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника»[1].

«Я готов спорить об этом до второго пришествия», — повторял Рылеев через месяц[2].

Бестужев писал Пушкину 9 марта 1825 года:

«Поговорим об Онегине...

Для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?.. Чем выше предмет, тем более надобно силы, чтобы объять его...»[3]

Друзьям казалось:

Что лучше, ежели поэт
Возьмет возвышенный предмет...

«Что свет можно описывать в поэтических формах, — писал Пушкину Бестужев, — это несомненно, но дал ли ты Онегину поэтические формы кроме стихов? поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?»

Бестужев требовал, чтобы «Онегин» был «Горем от ума».

«Прочти Байрона, — писал Пушкину Бестужев, — ...я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры... И как зла, и как свежа его сатира!»

Бестужеву хотелось, чтобы Онегин казался сатирическим портретом.

Грибоедов писал Катенину в январе 1821 года о героях «Горя от ума»: «*Характеры портретны!* Да... портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии...»[4]

Онегин новый тип героя, он не портретен, а типичен.

«Не думай, однако ж, — писал Пушкину Бестужев, — что мне не нравится твой *Онегин,* напротив. Вся его мечтательная часть прелестна, но в этой части я не вижу «Онегина», а только тебя».

Бестужеву понравились в «Онегине» лирические отступления. Вспоминая строфы «Дон Жуана», говорящие о приключениях Жуана в Петербурге, он ставил Пушкину в пример политическую сатиру Байрона[5]. Поэтом, у которого элегии чередуются с политической сатирой, был, как мы увидим в одном из вариантов «Онегина», Ленский.

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 141.

[2] Там же, с. 150

[3] Там же, с. 148, 149.

[4] Грибоедов. Полн. собр. соч. под ред. Н. К. Пиксанова, т. III. М., 1917, с. 168.

[5] «Мечтательные» строфы вперебивку с политической сатирой были привычными для читателей «Чайльд Гарольда».

Пушкин отвечал Бестужеву: «Твое письмо очень умно, но все таки ты не прав, все таки ты смотришь на Онегина не с той точки, все таки он лучшее произведение мое».

Далее Пушкин писал: «Сим заключаю полемику нашу...»[1]

«Онегин» был явлением нового искусства. Бестужев смотрел на него «не с той точки». Полемика с Бестужевым стала Пушкину ненужной: новое искусство требовало новой точки зрения.

ОБ ИЛИАДЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Вспомним, что думали о новом искусстве современники Пушкина.

Кюхельбекер 17 декабря 1831 года писал в дневнике:

«Давно у меня в голове бродит вопрос, «возможна ли поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи, наш образ жизни так передала потомству, как передал нам Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков». «Беппо» и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина — попытки в этом роде, но (надеюсь, всякий согласится) попытки очень и очень слабые, особенно если сравнить их с «Илиадою» и «Одиссеею», и не потому что самые предметы Байрона и Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее), а главное, что они смотрят на европейский мир, как судьи, как сатирики, как поэты описатели... Ювеналовские выходки Байрона и Пушкина... заставляют меня презирать и ненавидеть мир, ими изображаемый, и удивляться только тому, как они решались воспевать то, что им казалось столь низким, столь ничтожным и грязным. Гомер нашего времени, — если он только возможен, — должен идти иною дорогою»[2].

В «Дон Жуане» и в «Онегине» Кюхельбекер видел слабые попытки создать «Илиаду» современности.

В «Дон Жуане» Байрон писал:

«О ты, бессмертный Гомер. Ты, чарующий всякий слух — даже длинноухий, все века, хотя бы и краткие...

...Я должен признать, что мне соперничать с тобой было бы так же тщетно, как ручейку бороться с волнами океана...» (песнь VII, строфы XXIX—XXX).

В «Разговорах Байрона» можно прочесть другое (французское издание этой книги вышло в 1824 году, о присылке его Пушкин просил в письмах из Михайловского в этом же и следующем году).

«Если ж непременно нужна эпическая поэма, — сказал Байрон, — то вот вам *Дон Жуан.* Вот что я называю эпо-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 155.
[2] В. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, с. 25—26.



Байрон.
Рисунок Пушкина. 1826 г.

пеею: это эпическая поэма в духе нашего века, как Илиада была в духе времени Гомерова»[1].

В письме к Бестужеву Пушкин в шутку сравнивал Татьяну с Юлией из «Дон Жуана». В «Онегине» он сравнил Татьяну с Еленой Прекрасной.

Пушкин обращается к Гомеру в пятой главе «Онегина»:

И к стате я замечу в скобках,
Что речь веду в моих строфах
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты тридцати веков кумир!

Сначала обращение к Гомеру не ограничивалось этими стихами. За ними шли еще две строфы. Они были напечатаны в первом издании пятой главы «Онегина». Потом Пушкин исключил их.

Вот они — с некоторыми черновыми вариантами. Пушкин сравнивал героев «Онегина» с героями «Илиады»:

В пирах готов я непослушно
С твоим бороться божеством;
Но признаюсь великодушно,
Ты победил меня в другом:
Твои свирепые Герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда, твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Перед Истоминой моей
(Пред резвой Ольгою моей)
(Пред няней даже...)
(Пред бригадиршею моей)
Пред. нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Элены пакостной твоей...

Эту и следующую за ней строфу, где продолжалось сравнение «Онегина» с «Илиадой», Пушкин потом исключил из своего романа. Следом сравнения с героями «Илиады» осталось в нем двустишие:

---

[1] В библиотеке Пушкина сохранилось английское изд. книги «Разговоры Байрона». Приводимая цитата дана по русскому переводу, который вышел под названием «Записки о лорде Байроне», ч. II. СПб., 1835, с. 14.

Парис окружных городков,
Подходит к Ольге Петушков...

Пушкинское сравнение героев «Онегина» с героями «Илиады» кажется мне полемическим.

В статье «О направлении нашей поэзии», с которой Пушкин полемизировал в «Онегине», Кюхельбекер сравнил с Ахиллесом героев Байрона и Пушкина. Он писал о них: «Безымянные, отжившие для всего брюзги, которые, — даже у самого Байрона (Child Garold), надеюсь, далеко не сто́ят... Ахилла Гомерова... которые слабы и недорисованы в «Пленнике» и в элегиях Пушкина»[1].

В «Романтической школе» Гейне, защищая *современное* искусство, сказал, что понимать *поэзию прошлого* легче, — и надо быть великим поэтом для того, чтоб понять и выразить поэзию своего времени. Он иронизирует над Августом Шлегелем, который всегда старался мерить современность меркой прошлого и даже для того, чтобы унизить Еврипида, сравнивал его с более древними Эсхилом и Софоклом[2].

Иронически сравнивая героев «Онегина» с героями «Илиады», Пушкин вспомнил статью Кюхельбекера, который сравнивал героев Байрона и Пушкина с Ахиллесом всерьез.

Об «Илиаде» и о поэзии современности Пушкин писал в 1827 году, критикуя драматургию Байрона, который «постиг, создал и описал только единый характер (именно свой)»[3].

Признавая оригинальность Байрона в «Дон Жуане», Пушкин противопоставляет Байрону творчество Гёте. Пушкин писал: «*Фауст* есть величайшее создание поэтического духа, он служит представителем новейшей поэзии, точно как *Илиада* служит памятником классической древности»[4].

«РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ»

«Относительно Пушкина, — писал в своей книге «Гёте в русской литературе» В. Жирмунский, — можно сказать, что ни одна черта в его поэтическом облике не была подсказана влиянием немецкого поэта»[5]. Взгляд этот, мне кажется, нужно пересмотреть.

Печатая первую главу «Онегина», Пушкин предпослал ей

---

[1] «Мнемозина», 1824, ч. II. Напомню, что об этой статье Кюхельбекера Пушкин писал в предисл. к первой главе «Онегина» и в стихах четвертой главы романа: «Но тише! слышишь? Критик строгий». (См.: Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 202, 219, 220.)

[2] См.: Гейне. Романтическая школа, кн. II. — Полн. собр. соч. в 12-ти т., т. VII. М.—Л., 1936, с. 213—216.

[3] А. С. Пушкин. Собр. соч. в 9-ти т., т. IX, с. 62.

[4] Там же.

[5] В. Жирмунский. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 149.



Гёте.
Рисунок Пушкина. 1821 г.

«Разговор книгопродавца с поэтом». Этот пролог к «Онегину» напоминал читателю «Пролог в театре» к «Фаусту». Александр Бестужев сразу заметил это и указал на это в «Полярной звезде»[1].

В том же 1824 году, когда Пушкин написал «Разговор книгопродавца с поэтом», Грибоедов переводил из «Фауста» «Пролог в театре». В. Жирмунский пишет, что в своем переводе Грибоедов «ряд мест «Пролога» развил и видоизменил по-своему... Гёте становится похожим на Грибоедова, политического оппозиционера... пишущего сатиру на светское общество».

Пушкин воспринял «Пролог» Гёте к «Фаусту» иначе.

О «Прологе в театре», с которым связан пушкинский «Разговор книгопродавца с поэтом», в комментарии к «Фаусту» мы читаем: «Гёте здесь, как и во всех своих драматических и эпических произведениях, объективирует свой внутренний конфликт в диалектическом противоположении характеров, в данном случае поэта, с одной стороны, шута и директора — с другой. Разрешением антитезы является само драматическое произведение, как образец новой драматической поэзии»[2].

По этому пути пройдет создание ряда произведений Пушкина. Герои-антиподы «Каменного гостя» — Дон Гуан и Командор (Дон Карлос — alter ego Командора). Пушкин не Дон Гуан и не Дон Карлос. Но в столкновении этих героев объективирован конфликт двух начал, двух тенденций, сталкивающихся в душе поэта, поляризованных и воплощенных им в образах — и в драматическом столкновении — героев «Каменного гостя».

Чарский и Импровизатор — герои-антиподы «Египетских ночей», Пушкин не Чарский (Чарский — поэт-денди), но, созда-

---

[1] «Полярная звезда», 1825, с. 14.

[2] Гёте. Фауст. Пер. В. Брюсова, ред. и коммент. А. Луначарского и А. Габричевского. М.—Л., 1928, с. 304.

вая его образ, Пушкин придал ему, мы знаем, автобиографические черты. Пушкин не Импровизатор, о котором можно сказать: «Холодная толпа взирает на поэта, как на заезжего фигляра», но это слова из стихотворения, в котором Пушкин говорит о самом себе. В столкновении Чарского и Импровизатора также объективирован внутренний конфликт поэта.

Тема пушкинского «Разговора книгопродавца с поэтом» — столкновение поэзии и прозы жизни.

Книгопродавец и Поэт, оба высказывают мысли Пушкина — те мысли, которые сталкивались в сознании Пушкина. Пушкин объективирует здесь свой внутренний конфликт, не совпадая ни с одним из героев-антагонистов «Разговора». Художественное решение дано в диалоге Пушкина также диалектически — противопоставлением их. Это и сближает «Разговор» Пушкина с Гёте.



Князь Шаликов — издатель «Дамского журнала».
Рисунок Пушкина. 1829 г.
(«Пускай их Шаликов поет...» См. «Разговор книгопродавца с поэтом», первоначальный вариант).

«Разговор книгопродавца с поэтом» — первый опыт Пушкина в этом роде. Поэт все время остается поэтом. Его антагонист — «книгопродавец» — не везде выдерживает роль.

«Разговор» начинает книгопродавец:

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть.
Поэма, говорят, готова,
Плод новых умственных затей...

Далее этот же книгопродавец говорит о поэте:

Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;

Но сердце женщин славы просит;
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона,
В младые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

В стихах, которыми начат «разговор», книгопродавец недалек от гостинодворца. В других — только что приведенных мною — стихах он ближе к поэту[1]. «Разговор книгопродавца с поэтом» еще носит следы первого опыта.

Отходя от Байрона, Пушкин противопоставлял ему не только Шекспира. Он шел путем, который заставляет вспомнить Гёте, говоря о том времени, когда Пушкин переходил к созданию «Онегина».

Пушкин в своем творческом развитии не обошел Гёте, хотя не стал его подражателем.

АВТОР И ГЕРОИ «ОНЕГИНА»

«Онегин» подымал вопрос о новом типе героев и об их отношениях с автором.

«Московский вестник» в 1828 году писал:

«Мы подслушивали разные суждения...

— Создать такой характер, как у Онегина, невозможно, — сказал один, — чтобы описать его, надобно самому быть им.

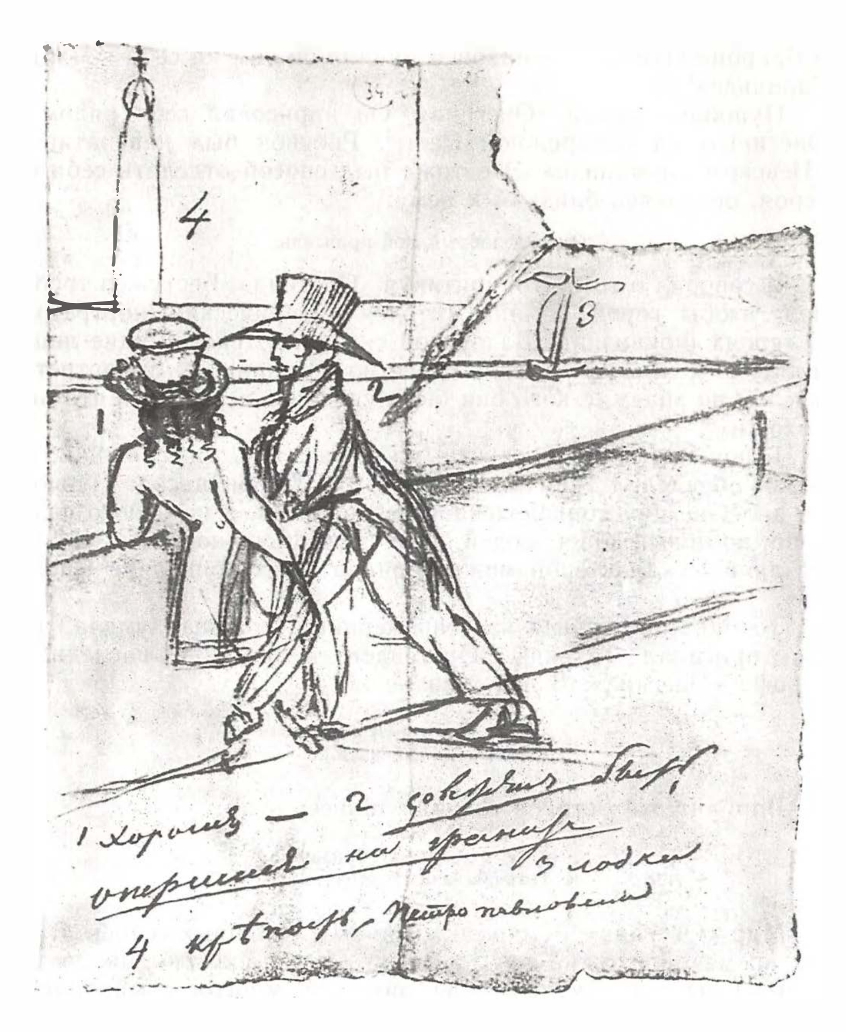
— Согласен с вами, — отвечал другой, — может быть — автор — Онегин, но только не в святые минуты вдохновения, по будням, а не в праздник.

Когда не требует поэта
К священной жертве Аполлон.

— В таком случае, — сказал третий, — гораздо лучше верить самому автору. Вот что говорит он об этом.

Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом...»[2]

[1] Не к Пушкину, а, скажем, к Шаликову, — о котором говорится в одном из вариантов «Разговора», — заговорившему пушкинскими стихами.
[2] «Московский вестник», 1828, ч. VII, № 4.



Пушкин и Онегин на берегу Невы.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

В предисловии к четвертой песне «Чайльд Гарольда» Байрон писал об авторе и о страннике — герое поэмы:

«Дело в том, что мне надоело проводить между ними черту, которую все решились не видеть... Напрасно я уверял и воображал, что вывел различие между автором и странником. Самая забота о сохранении этого различия и досада на бесполезность всех уверений уничтожали все мои усилия, так что я решился совершенно от этого отказаться. Я так и сделал».

«...Лицо, являющееся во всех его созданиях, — сказал

о Байроне Пушкин, — наконец принял он сам на себя в Чильд Гарольде»[1].

Пушкин — герой «Онегина». Он нарисовал себя рядом с Онегиным на набережной Невы[2]. Рисунок был напечатан в «Невском альманахе». Это тоже был способ отделить себя от героя, оставаясь близким к нему:

Онегин добрый мой приятель...

Я говорил о том, что, критикуя «Онегина», Бестужев требовал, чтобы герой романа казался сатирическим портретом. О героях Фонвизина Шаховской сказал: «Действующие лица, выведенные им, имеют одно свойство с Вандиковыми портретами: мы не знаем, с кого они были списаны, а уверены, что они похожи»[3].

Герои «Онегина» портретными не казались. Онегина как тип героя определил Киреевский. В 1828 году он писал: Пушкин не дал Онегину «определенной физиономии, и не одного человека, но целый класс людей представил в его портрете: тысяче различных характеров может принадлежать описание Онегина».

То одна, то другая из современниц Пушкина думала, что она оригинал Татьяны. Претендентки помнили последнюю строфу «Онегина». В ней сказано:

...А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...

Вариант этих стихов говорил точнее:

А *те, с которых* образован
Татьяны милый идеал...

Мир «Онегина» — мир объективных, типичных героев. В то же время непохожие друг на друга герои похожи на поэта. (Это связано с тем, что «Онегин» — во многом роман лирический.)

Ряд стихов, написанных от лица автора, Пушкин относил при переработке к Онегину.

Герцену казалось, что «Пушкин изобразил... Ленского с нежностью, какую человек питает к мечтам своей юности». Кюхельбекер сказал даже, что «поэт в своей восьмой главе похож сам на Татьяну»[4].

---

[1] А. С. Пушкин. Собр. соч. в 9-ти т., т. IX, с. 62.

[2] Посылая этот набросок, Пушкин писал: «...брат, вот тебе картинка для Онегина — найди искусный и быстрый карандаш». Рисунок был выполнен Нотбеком и гравирован Гейтманом.

[3] Кюхельбекер вспоминал эти слова Шаховского о Фонвизине в своем дневнике (с. 138).

[4] Дневник, запись от 17 февраля 1832 г., с. 42.

В черновиках Пушкин рисовал свои воображаемые автопортреты. Эти рисунки — воображаемые варианты его будущей судьбы. Герои «Онегина» казались читателю воображаемыми вариантами личности самого поэта. Варнгаген фон Энзе говорил, что Пушкин двоится в романе на Ленского и Онегина[1]. Рядом с Онегиным Пушкин поставил Владимира Ленского — Онегина vice verso (то есть «Онегина наоборот»), — сказал Герцен.

О РОССИИ «ОНЕГИНА»

Не думаю, что всему сказанному о героях «Онегина» противоречат слова Пушкина: «Вечером слушаю сказки моей няни, *оригинала* няни Татьяны...»[2]

Крепостная няня — человек другого мира, и образ ее создан иначе.

Писарев удивлялся, как мог Белинский назвать пушкинский роман «энциклопедией русской жизни». Какая же это энциклопедия, говорил он, если из нее выпало крепостное право.

Пушкин писал в «Онегине» о волжских бурлаках:

Надулась Волга — бурлаки,
Опершись иа багры стальные,
Унывным голосом поют
Про тот разбойничий приют,
Про те разъезды удалые,
Как Стенька Разин в старину
Кровавил Волжскую волну... ;

В рукописи четвертой главы Пушкин сказал:

В глуши что делать в это время
Гулять! — Но голы все места
Как лысое Сатурна темя
Иль крепостная нищета.

О сцене с няней Белинский заметил: это — целая драма.

Крепостное право из романа не выпало: «Онегин» не роман о крепостном праве, это роман о людях того общества, жизнь которого была определена крепостным строем.

Когда крепостное право было отменено, Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо»:

Порвалась цепь великая,
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

Цепь сковывала барина с мужиком.

Татьяна выходит замуж, повторив судьбу своей матери и няни: это тождество противоположных судеб.

---

[1] «Сын отечества», 1839, т. VII, отдел IV, с. 16.
[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 129.

В Онегине Герцен видел последствие разрыва между Россией образованной и народной, Ленского он назвал «другой жертвой русской жизни».

В одном из вариантов «Онегина» Пушкин сказал:

Пою печального героя.

Пушкин знал, кому на Руси жить хорошо. В черновых строфах «Онегина» он писал:

Блажен, кто понял голос строгой
Необходимости земной,
Кто в жизни шел большой дорогой,
Большой дорогой столбовой —
Кто цель имел и к ней стремился
Кто знал, зачем он в свет явился
И богу душу передал,
Как откупщик иль генерал.

Когда Гоголь прочитал Пушкину первые главы «Мертвых душ», Пушкин сказал: «Боже, как грустна наша Россия». Эти слова мог бы повторить читатель «Онегина».

Россия «Онегина» грустна иначе, чем Россия «Мертвых душ». «Он сатирический портрет?» — гадает Татьяна об Онегине в черновиках седьмой главы. «Сатирическим портретом» был Онегин первой главы романа. Потом Пушкин перестал смотреть на него сквозь лупу сатиры. Критицизм Пушкина по отношению к Онегину стал выражаться не в сатирическом изображении, а в раскрытии его судьбы.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин приводит известные слова Лабрюйера о судьбе французского крестьянина; сравнивая описания Лабрюйера и мадам де Севинье, он говорит: «Слова госпожи Севинье еще сильнее тем, что она говорит без негодования и горечи, а просто рассказывает, что видит и к чему привыкла».

Перерабатывая вторую главу «Онегина», Пушкин изобразил жизнь Лариных без сатирического преувеличения — и потому еще более грустно.

В рукописях Пушкина есть рисунки, которые кажутся иллюстрациями к Гоголю. Взгляните на профили в черновиках стихов, вошедших в «Странствие» Онегина.

Пушкин видел Россию Гоголя. Но гоголевские хари оставались рисунками на полях его черновиков; в стихах «Онегина» они только обозначили среду, окружающую героев романа.

О своем искусстве Гоголь сказал эпиграфом к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Зеркала Гоголя — это увеличительные зеркала сатиры.

В поэзии Пушкина, писал Гоголь, Россия отразилась «в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла».

ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!

Об этой музе в «Онегине» Пушкин не говорит. Он вспомнил в шутку другую музу почти в конце романа.

Вступление к «Онегину» превратилось в пародию:

Да, кстати здесь о том два слова:
Пою приятеля младого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд
О ты, эпическая муза!

В черновиках этой строфы Пушкин написал:

О муза Пульчи и Парини...

О Пульчи Байрон вспоминал в «Дон Жуане»:

«...Пульчи был мастером... полусерьезных стихов...» (песнь IV, строфа VI).

Байрон переводил Пульчи. 12 сентября 1821 года он спрашивал Джона Меррея: «Почему вы не печатаете моего Пульчи (лучшее из всего, что я написал, — и итальянский текст к нему)»[1]. Речь идет о поэме «Morgante», смещавшей эпический стиль.

«Этот Луиджи Пульчи... написал свою поэму в середине XV века... Ученые много спорили о том, серьезное это сочинение или шуточное», — говорит Вольтер в предисловии к «Орлеанской девственнице».

Вспоминая Пульчи, у которого учился Вольтер, которого переводил Байрон, Пушкин вспоминал генеалогию повествовательной манеры, сказавшейся в «Онегине».

Теперь о Парини.

Парини (1729—1799) был известен Пушкину как автор знаменитой сатиры «День». О возможном влиянии поэмы Парини на первую главу «Онегина» говорил Фриче[2]. Отзвуки ее в первой главе «Онегина» отмечал Мокульский[3].

В поэме Парини сатирически описан день молодого миланского дворянина. Собираясь издать первую главу «Онегина», сам Пушкин в черновом предисловии назвал ее сатирическим описанием жизни молодого русского дворянина.

Отвечая на критику первой главы «Онегина», Пушкин писал Бестужеву: «Дождись других песен». Теперь, в конце седьмой главы романа, Пушкин иронически писал:

---

[1] «Интернациональная литература», 1940, № 1, с. 104.
[2] Энциклопедический словарь Гранат, ст. «Парини».
[3] «Литературная энциклопедия», ст. «Парини».

Пою приятеля младого
И множество его причуд...

В черновиках этой строфы Пушкин шутя вспомнил о Парини. Может быть, он вспоминал критиков первой главы романа, которым казалось, что «Онегин» будет чем-то вроде сатирической поэмы, какую написал Парини.

Муза Парини не была музой «Онегина». Отбросив воспоминания о ней, Пушкин пародировал вступление к эпической поэме:

Благослови мой долгий труд
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкривь.
Довольно. С плеч долой обуза!
Я классицизму отдал честь:
Хоть поздно, а вступленье есть.

Здесь Пушкин смеялся над тем классицизмом, вспоминая о котором Байрон сказал, что Гомер чарует всякий слух, даже длинноухий.

Для Кюхельбекера, когда он, говоря об «Онегине», противопоставлял «Гомера нашего времени, если он только возможен», поэту, который критически смотрит на современный европейский мир, речь шла не о том, что Пушкин должен подражать роду (то есть жанру) классической эпопеи. Это Воейков, когда еще не переменил мнения, писал:

Херасков наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани.

Кюхельбекер же записал в дневнике мнение Пушкина об описании осады и взятии Казани у Карамзина: в этой прозе гораздо больше поэзии, чем в эпической поэме Хераскова[1].

От эпопеи предостерегал Пушкина Бестужев. В том же письме, где он критиковал первую главу «Онегина», он говорит: «Только избави боже от эпопеи: это богатый памятник словесности, но надгробный. *Мы не греки и не римляне,* и для нас *другие сказки надобны*»[2].

Но в «Онегине» поэзию Бестужев видел только там, «где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества»[3].

Ответом Кюхельбекеру и Бестужеву звучат слова Белинского о Пушкине:

«Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма.

---

[1] См.: Дневник, с. 128—129.
[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 149.
[3] Б. Мейлах. Пушкин и русский романтизм. М.—Л., 1937, с. 116, 117.

Он взял эту жизнь, как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений... со всею ее прозою...

И такая смелость... была несомненным свидетельством гениальности поэта».

Поэзия и проза жизни — два плана «Онегина»; взаимодействие их определяет пафос романа.

ОНЕГИН

Теперь рассмотрим отдельные варианты «Онегина».

В черновиках первой главы романа об Онегине говорилось насмешливей:

Онегин был по мненью многих
Судей решительных и строгих
Ученый малый, но педант.
В нем *дамы* видели талант.

Говоря об Онегине во второй главе, Пушкин колебался. В одном из вариантов сказано: Евгений

Не посвящал друзей в шпионы,
Но думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.

В другом, противоположном варианте он:

Не думал, что добро, законы,
Любовь к отечеству, права —
Одни условные слова.

В черновиках второй главы «Онегина» Пушкин иронически писал:

(Свободы сеятель пустынный)
Ярмо он барщины старинной
Оброком легким заменил,
(Народ его благословил)...

Стихом «Свободы сеятель пустынный» Пушкин почти тогда же начал всем известное стихотворение, в котором о сеятеле и о народе говорится совсем иначе.

Мы знаем, что в черновиках после первой встречи с Татьяной Онегин думал, не влюбился ли он в нее. Вот эти стихи[1]:

В постеле лежа, наш Евгений
Глазами Байрона читал
И дань невольных размышлений
Татьяне милой посвящал.
Самой зари проснулся ране
И что ж, уж думал о Татьяне

---

[1] Строфа, об этом говорящая, была впервые напечатана П. О. Морозовым в вышедшем под его редакцией семитомном собр. соч. Пушкина, т. IV. СПб., с. 317

Вот новое, подумал он —
Неужто я в нее влюблен...

Этот вариант Пушкин отбросил.

Теперь только, когда Онегин получает письмо Татьяны, Пушкин говорит:

Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел...

Об отброшенном варианте напоминают в конце романа черновые строки письма Онегина к Татьяне:

Случайно вас когда-то встретя,
...(*Я смутный жар в себе заметя*)...
...(Я с вами сблизиться не смел)...

Эти варианты остались в черновике. Теперь в письме к Татьяне Онегин говорит:

Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел...

В вариантах второй главы «Онегина» было сказано:

Какие страсти не кипели
В его измученной груди
Давно ль на долго ль присмирели
Они проснутся — подожди...

В черновиках «Странствия» Онегина есть сентенция:

Хвала тебе, седой Кавказ,
Онегин тронут в первый раз.

Страсти, предсказанные в начале романа в черновиках, проснутся. Возвратившись, Онегин встречает Татьяну.

Пушкин расстается с героем «вдруг», и роман обрывается.

Десять лет спустя Белинский писал:

«Весь этот роман — поэма не сбывающихся надежд, не достигающих стремлений,— и будь в ней то, что люди, непонимающие дела, называют планом, полнотой и оконченностью,— она не была бы великим созданием великого поэта и Русь не заучила бы ее наизусть».

* * *

Лет через двадцать после того, как «Онегин» был окончен, Толстой писал в дневнике: «...теперь уже проза Пушкина стара... Теперь справедливо в новом направлении интересом «подробностей чувства» заменен «интерес самых событий»[1].

---

[1] Запись в дневнике от 11 ноября 1853 г. (Л. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та т. Юбилейное изд., т. 46. М., 1937, с. 187—188).

Интерес «Онегина» — во многом — интерес «подробностей чувства». В ненапечатанном предисловии к последним напечатанным главам «Онегина» Пушкин писал: «Те, которые стали бы искать в них занимательности происшествий, могут быть уверены, что в них еще менее действия, чем во всех предшествовавших».

Искусство, интерес которого в «подробностях чувства», не изобретено после Пушкина. Оно было у Руссо, с которым Толстой связан больше, чем Пушкин. Оно есть у Пушкина («Евгений Онегин» связан с «Новой Элоизой» не только письмами Онегина и Татьяны).

Двадцатипятилетний Толстой думал об изменениях, происходивших в русской прозе, но не говорил в записи, которую я привел, о пушкинском романе в стихах, во многом определившем путь развития русского романа[1].

Еще в большей мере будущий русский роман определило взаимодействие лично-психологической темы с исторической темой. О том, что в десятой главе «Онегина» в роман включалась историческая тема, будущий автор «Войны и мира», несколько раз принимавшийся за роман о декабристах, знать не мог.

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦАХ «ОНЕГИНА»

Теперь мы знаем, что в 1829 году на Кавказе Пушкин рассказывал план будущих (ненаписанных) глав романа. Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов.

8 февраля 1824 года Пушкин писал Бестужеву об «Онегине»: «Об моей поэме нечего и думать — если когда-нибудь она и будет напечатана, то верно не в Москве и не в Петербурге. Прощай, поклон Рылееву...»[2]

Если бы замысел «Онегина» не переменился, он, быть может, был бы в первый раз напечатан в Лондоне вместе с другими запрещенными стихами Пушкина и Рылеева в книге «Русская потаенная литература» (как впервые полностью было напечатано Герценом в лондонской «Полярной звезде» цитированное письмо Пушкина к Бестужеву).

28 ноября 1830 года Пушкин писал: «Вот еще две главы «Евгения Онегина»,— последние, *по крайней мере для печати...*»

Последними эти главы «Онегина» были только для печати.

---

[1] Позднее, говоря об «Онегине», Толстой чрезвычайно высоко оценивал его в отношении разработки психологии действующих лиц, указывает Н. Н. Гусев в работе «Толстой о Пушкине».

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 88.

«Онегин» был задуман так, что о печати нечего было и думать. Пушкин мог бы повторить эти слова, говоря о дошедших до нас не полностью, действительно последних главах романа[1].

24 апреля 1853 года Катенин писал Анненкову: «Об восьмой главе *Онегина* слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани, Евгений видел *военные поселения,* заведенные гр. *Аракчеевым,* и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению, и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую»[2].

В 1825 году Пушкин писал Бестужеву: «У меня бы затрещала набережная, если бы коснулся я сатиры...»

Дворцовая набережная затрещала, когда Пушкин коснулся сатиры в десятой главе «Онегина»:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

В этой главе речь шла о декабристах.

Белинский не знал об этом, когда писал:

«Евгений Онегин» есть поэма *историческая* в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица»[3].

В десятой главе «Онегина» появились лица исторические.

ЛЕНСКИЙ

Ленского Пушкин назвал сначала Холмским.

В черновиках он был другим. Мы знали, что Ленский,

Поклонник Канта и поэт,

в одном из вариантов был:

Крикун, мятежник и поэт[4].

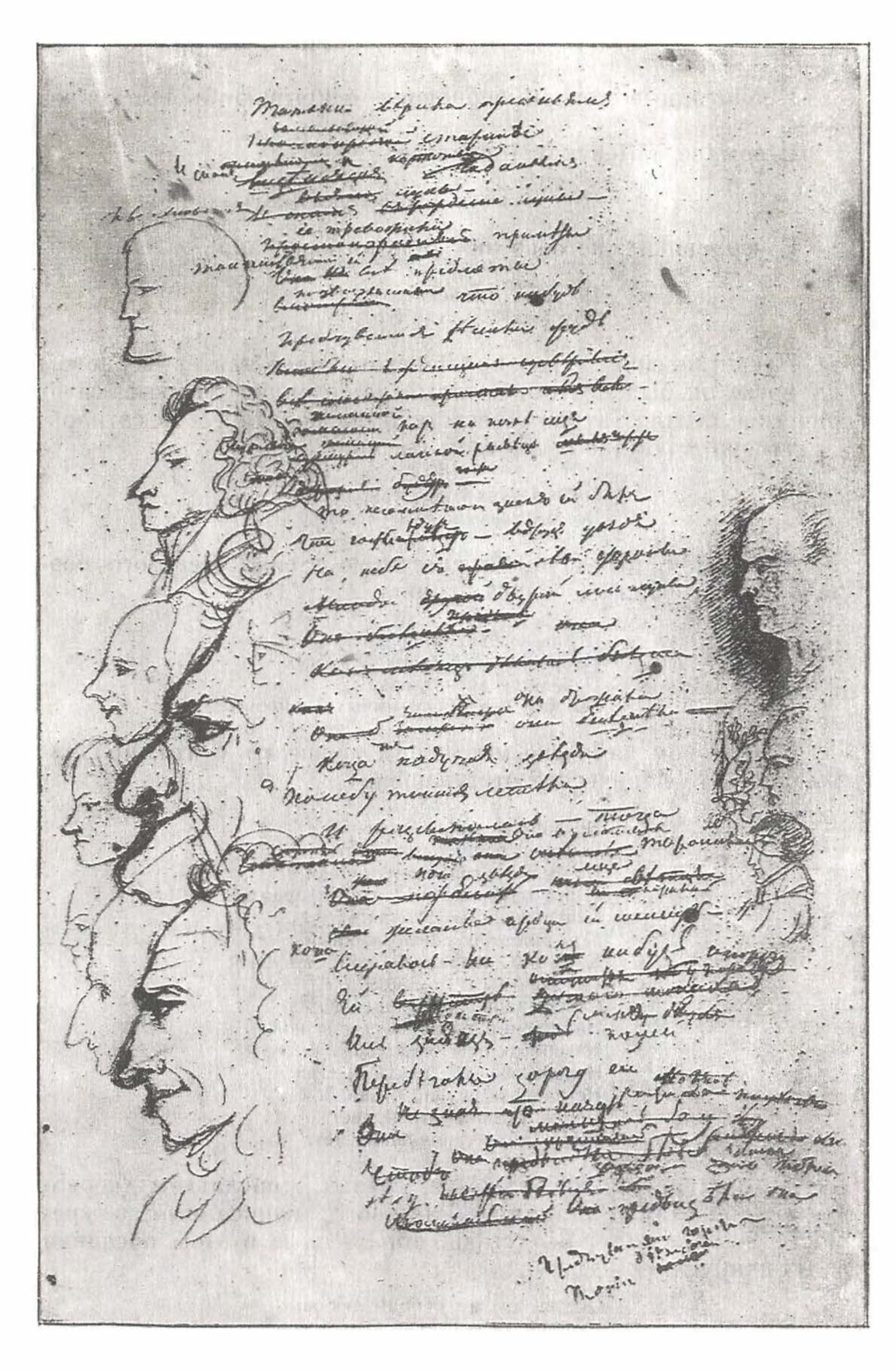
---

[1] Так написана была уничтоженная первоначальная восьмая глава «Онегина», из которой Пушкин напечатал только строфы, образовавшие «Странствие» Онегина, и зашифрованная Пушкиным, может быть написанная только частично, десятая глава «Онегина».

[2] Это письмо Катенина опубликовано П. А. Поповым в его работе «Новые факты жизни и творчества А. С. Пушкина», напечатанной в «Литературном критике», 1940, № 7—8.

[3] В. Г. Белинский. Собр. соч. в 3-х т., т. 3. М., 1948, с. 496.

[4] Значение этого варианта выяснено Ю. Н. Тыняновым в ст. «Пушкин и Кюхельбекер» («Литературное наследство», № 16—18).



Страница черновой рукописи «Евгения Онегина». В январе 1826 г. Пушкин нарисовал на ней себя в костюме времен Французской революции

Прочитанные теперь черновики открывают новые варианты.

В романе о Ленском говорится:

Он пел любовь, любви послушный...

В черновиках же о поэзии Ленского сказано:

Но чаще гневною сатирой
Одушевлялся стих его...

Представление о поэзии Ленского меняется: в черновом наброске он был поэтом, который чаще пишет гневные, сатирические стихи. Сатира Ленского была политической сатирой.

Теперь в романе о Ленском сказано:

Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства...

Мы знаем, что Пушкин противопоставлял Ленского поэтам другого рода[1]. Он писал о них:

Певцы слепого упоенья
Напрасно дней своих блажных
Передаете впечатленья
Вы нам в элегиях живых (и проч.)

В черновом наброске мы можем прочитать стихи, продолжающие это лирическое отступление:

Но добрый юноша готовый
Высокий подвиг совершить
Не будет в гордости суровой
(Ваш вдохновенный стих твердить)
Стихи нечистые твердить.
Но праведник изнеможенный
К цепям неправдой присужденный
(В своей)... в тюрьме
С лампадой, дремлющей во тьме
Не склонит в тишине пустынной
На свиток ваш очей своих
И на стене наш вольный стих
Не начертит рукой безвинной
Немой и горестный привет
Для узника (грядущих) лет.

Этот набросок, мне кажется, связан с посланием «первого декабриста» Владимира Раевского, написанным в крепости, в 1822 году. Вот стихи, обращенные в этом послании к Пушкину:

Оставь другим певцам любовь
Любовь ли петь, где льется кровь,

---

[1] Смысл этого противопоставления также выяснен в работах Ю. Н. Тынянова (см. его исследования: «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Кюхельбекер»).

Где власть с насмешкой и улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,

Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху.
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать!
Пора, мой друг, пора воззвать...

В 1822 году Пушкин начал ответное послание В. Ф. Раевскому:

Недаром ты ко мне воззвал
Из глубины глухой темницы...

Послание Пушкина осталось ненаписанным. Послание Раевского и неосуществленный ответ Пушкина отразились в черновых стихах «Онегина», которые не могли войти в роман.

ТАТЬЯНА

Онегин с Ленским приезжает к Татьяне на именины. Их «сажают прямо против Тани»:

...Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей
Хотят уж капать, уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли...

В черновиках иначе:

вдруг упала
Бедняжка (в обморок) — тотчас
Ее выносят — суетясь
(Толпа гостей залепетала)
Все на Евгения глядят
Как бы во всем его винят...

Пушкин выбирает негативный вариант.
Татьяна в Москве:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.

В черновике было иначе:

Архивны юноши толпою
На Таню издали глядят
О милой деве меж собою
Они с восторгом говорят...

МАРТЫНА ЗАДЕКА,

сто-шестилѣтняго славнаго швейцарскаго старика;

ЛЮБОПЫТНОЕ ПРЕДСКАЗАНІЕ

на будущія времена,

и

толкованіе имъ сновъ по астрономіи, происходящихъ

по

ТЕЧЕНІЮ ЛУНЫ

съ присовокупленіемъ

фокуса-покуса,

или

волшебныя игры.

собранная

И. Глазуновымъ.

МОСКВА, 1807.

Въ Университетской Типографіи.

Мартын Задека, «гадатель, толкователь снов» (книгу, изданную под именем которого читает Татьяна в пушкинском романе).

Татьяну привозят в театр:

И обратились на нее
И дам ревнивые лорнеты,
И трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.
Внизу вопросы зашумели:
«Кто эта, с правой стороны
В четвертой ложе» (полетели)...

Теперь же в романе сказано:

Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

Ее не заметили. Переход от Татьяны-барышни к Татьяне — светской даме впереди. Превращение будет поэтому удивительнее.

Пушкин нарисовал Татьяну в черновой рукописи письма Татьяны.

В черновиках письма Татьяны есть стихи:

Моя смиренная семья,
Уединенные гулянья
Да книги — верные друзья —
Вот все, что (так) любила я...

В письмо Татьяны эти стихи не вошли.

О том, о чем они говорили, Татьяна вспоминает в последней главе романа.

Стихи, остававшиеся в черновиках письма Татьяны, отзовутся в ее ответе Онегину. Княгиня вспомнит: «Вот все, что так любила я» — и окажется прежней Таней.

Сказав в восьмой главе «Онегина»:

Кто пре́жней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал?—

Пушкин показал ее такой, какой когда-то нарисовал ее в черновиках письма Татьяны:

Сидит не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой...

В то время, когда Пушкин писал письмо Татьяны, он нарисовал ее дважды: на одном рисунке Татьяна стоит, а на другом сидит,

Опершись на руку щекой.

Это поза, не приобретенная в свете. По ней мы узнаем в княгине прежнюю Татьяну.



Татьяна.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

Татьяна пишет Онегину в окончательном тексте:

Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался...

С этими стихами, бесспорно, связан монолог Демона в поэме Лермонтова:

Я тот, которому внимала
Ты в полуночной тишине,

Чья мысль душе твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образ видела во сне.

Влияние некоторых других стихов письма Татьяны в лермонтовской поэме уже отмечалось[1].

ОТБРОШЕННЫЕ ВАРИАНТЫ

Замечания Пушкина на полях «Опытов» Батюшкова говорят о том, что значит для Пушкина каждое слово в стихе.

Против батюшковского стиха: «Покрытый в зиму *ярким снегом...*» — Пушкин написал:

«Было прежде: *белым* снегом».

Пушкин в первой главе «Онегина» в черновиках писал:

Адриатические волны
О Брента! нет, увижу вас
И вдохновенья снова полный
(Я слышу ваш *прозрачный* глас).

Последний стих Пушкин зачеркнул, в «Онегине» мы читаем:

И вдохновенья снова полный,
Я слышу ваш *волшебный* глас!

Много лет спустя Мережковский восхищался, найдя у Толстого *прозрачный* звук копыт; он еще раз назвал Толстого ясновидцем плоти.

Такое «ясновиденье» было в возможностях искусства Пушкина, но он здесь ограничил себя.

Онегин едет к Talon:

Уж тёмно: в санки он садится.
«Пади, пади!» — раздался крик;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.

«И это достопамятное обстоятельство, — говорит Писарев,— дало Белинскому повод заметить, что Пушкин обладает удивительною способностью «делать поэтическими самые прозаические предметы». Писарев возмущался бы еще больше, если б знал, что Пушкин написал эти стихи не сразу и тратил время на варианты.

Уж темно, в санки он садится
Пади, пади! раздался крик
(Летучим снегом) серебрится
Его бобровый воротник...

В черновике есть еще:

И покрывает пылью снежной
Седой бобровый воротник.

---

[1] См. с. 473 наст. изд. — *Ред.*

Онегин с Ленским впервые приезжают к Лариным:

Обряд известный угощенья:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной
Кувшин с брусничною водой.

Прежде чем в «Онегине» остался кувшин с брусничною водой, были варианты:

Обряд известный угощенья
Несут на блюдечках варенья
Бутыль с брусничною водой
Арбуз и персик золотой...
...Несут домашние варенья...
...Крыжовник...
...И доморощенный арбуз...
...И блюдо с дыней золотой...

В другой рукописи:

...И сливы с дыней золотой...
...И вишни с дыней золотой...

«Арбуз и персик золотой», «И блюдо с дыней золотой». Золото Пушкин убрал. Место ему не здесь, у Лариных. Оно в первой петербургской главе «Онегина»:

Меж сыром Лимбургским живым
И ананасом золотым...

Пушкину здесь нужен не натюрморт, а типичная деталь: она обозначает не вещь, а ситуацию → предмет в целом.

Цветовым эпитетом Пушкин пользуется сдержанно и не часто. Он выбирает его.

Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задернул траурной тафтой.

Прежде чем задернуть книги траурной тафтой, Пушкин перебрал в черновике:

...Задернул (розовой)? тафтой...
...И под зеленою тафтой...

Онегин едет на Кавказ:

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту остроконечный
И зеленеющий Машук.

В черновике:

Стоит Бешту остроконечный
И с ним синеющий Машук.

Об Одессе в черновиках сказано:

Мгновенно площади погрязнут,
Лишь на ходулях пешеход
Чрез улицу дерзает вброд,
Кареты, дамы, люди вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет быстрого коня.

К этому стиху есть варианты:

Сменяет пылкого коня.
Сменяет гордого коня.
Сменяет легкого коня.
Сменяет слабого коня...

Теперь в романе мы читаем:

И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

Пушкин нашел наконец верный для ситуации эпитет.

Пушкин ценил подготовительные этюды больших художников, которые называются у поэтов вариантами, оставшимися в рукописи.

Бартенев приводит шутку Пушкина, которая очень хорошо показывает это: «Жуковский, когда приходилось ему исправлять стихи свои, уже перебеленные, чтобы не марать рукописи, наклеивал на исправленном месте полосу бумаги с новыми стихами». Однажды, когда такая наклейка была сорвана, Пушкин поднял ее и сказал: «Что Жуковский бросает, то нам еще пригодится».

В первой главе романа сказано о гувернере Онегина:

Когда же юности мятежной
Пришла Евгению пора,
Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора...

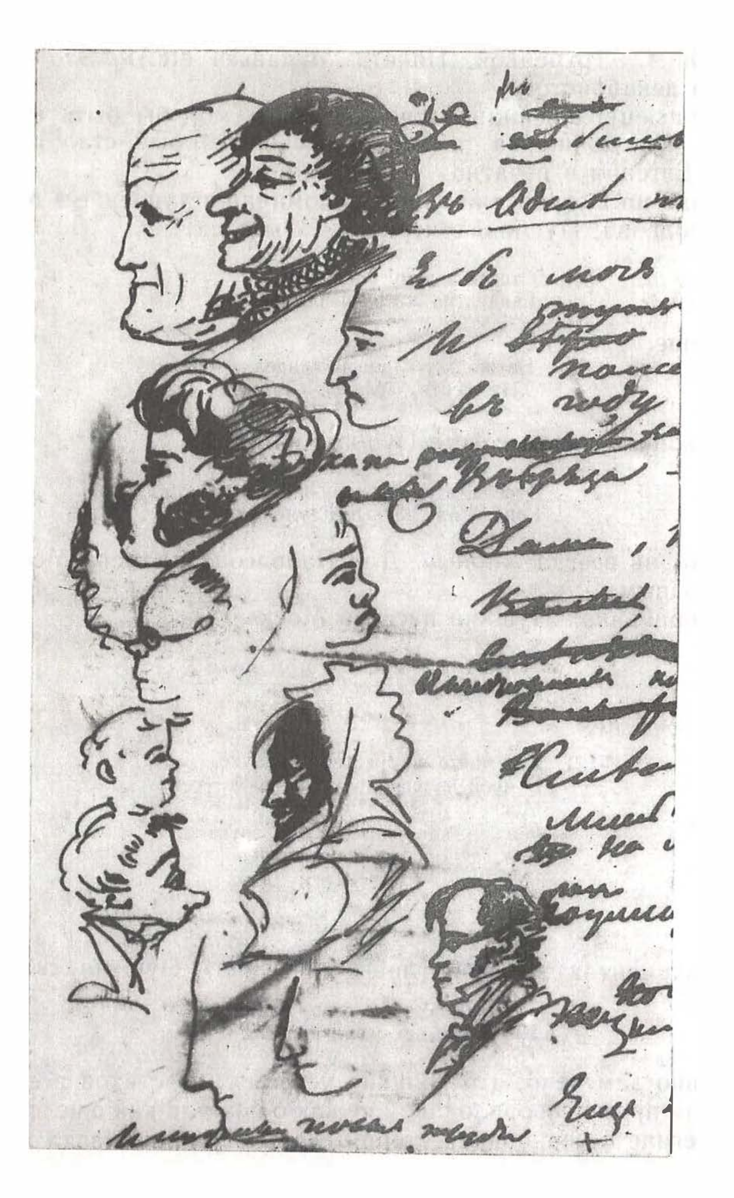
Черновой вариант этих стихов объясняет, почему мосье прогнали (или «согнали») со двора:

Когда же юности мятежной
Пришла Онегину пора,
(Мосье же стал наперсник нежный)
Monsieur согнали со двора...

Прежде чем гувернером Евгения остался monsieur l'Abbé, в черновике мелькнул:

Monsieur, швейцарец очень умный.

«Швейцарец». «Очень умный».



Профили неизвестных (внизу справа — П. А. Вяземский.)
Рисунок Пушкина в рукописи «Евгения Онегина». 1825 г.

Вспоминая, как была написана ода «Вольность», Вигель говорит: у Тургеневых собирались «высокоумные молодые вольнодумцы»[1]. В одном из планов задуманного романа «Русский Пелам» Пушкин написал: «Общество *умных* (И. Долгоруков, С. Трубецкой, Никита Муравьев etc.)». Это — общество декабристов.

«Monsieur, швейцарец очень умный» мог бы быть гувернером, непохожим на monsieur l'Abbé, который стал гувернером Евгения в печатном тексте романа.

Глядя на Петровский замок, вспоминая вступление в Москву Наполеона, Пушкин в черновиках писал:

Отселе в думу погружен,
Глядел на *жадный* пламень он...

И еще:

На жертву *славную* глядел...
...На жертву *грозную* глядел...

В окончательном тексте Пушкин написал:

Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

Пламень всегда *жадный*. Для Наполеона пламень Москвы был грозным.

В черновиках Пушкин писал о Москве:

Москва, как много в этом звуке
Для сердца моего слилось.

Потом стало:

Как часто в горестной разлуке,
В моей изменчивой судьбе,
Москва, я думал о тебе.
Москва, как много в этом звуке
Для сердца русского слилось...

* * *

В вариантах восьмой главы «Онегина» Пушкин сказал:

Тут был поэт, не говоривший
Ни о себе, ни о врагах...

Давно замечено, что Пушкин устранял из стихов все, что слишком прямо говорило о нем не как о поэте, а как о человеке. Об Онегине в черновиках второй главы Пушкин сказал:

Он очень уважал решимость
(Гонимый гений, простоту)
Гонимой славы нищету

---

[1] Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. VI. М., 1892, с. 10.

Ссыльный Пушкин вычеркнул эти стихи, как вычеркнул стихи о своей одесской жизни, слишком точно изображавшие его тогдашний быт:

...Я жил поэтом
Без дров зимой — без дрожек летом.

Пушкин писал о будущем Одессы в черновиках:

...фонтаны хлынут —
Ручьи в оградах потекут
И вместо графа Воронцова
Там будет свежая вода.
Тогда поедем мы туда.

Стихи остались необработанными. Напечатаны они, конечно, быть не могли.

В последней строфе второй главы «Онегина» Пушкин писал:

Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был Поэт.



Граф М. С. Воронцов.
Рисунок Пушкина. 1824 г.

Черновой вариант говорит нам, о ком думал Пушкин:

Быть может (лестная надежда)
Укажет с *кафедры* невежда
(На мой).......портрет
И молвит: то-то был поэт.

* * *

Современникам казалось, что Пушкин «рассказывает роман ***первыми*** словами, которые срываются у него с языка, и в этом отношении «Онегин» есть феномен в истории русского языка и стихосложения»[1].

Черновики Пушкина говорят о работе, без которой не могло бы создаться это впечатление.

Мериме (который сказал как-то, что «Онегин» сначала показался ему «несколько растянутым» из-за «частого применения отступлений и скобок»[2]) в 1868 году писал, сравнивая Пушкина с Байроном[3]:

---

[1] «Московскнй вестник», 1828, ч. VIII, № 5.

[2] Письмо Мериме Соболевскому от 31 августа 1849 г. — А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 101.

[3] Мернме. Александр Пушкин. Пер. А. К. Виноградова. М., 1936, с. 10—11.



Рисунок Пушкина. 1828 г.

«Байрон... никогда не благоволил делать выбора между мыслями, теснившимися в его воображении... Питая слишком мало доверия к уму и воображению читателя, он хочет все объяснить ему, он комментирует самого себя, и наименьший риск, которому он себя этим подвергает, состоит в том, что он делает нас, так сказать, свидетелями процесса своего творчества, вместо того чтобы представить нам уже готовый результат его».

Пушкина Мериме в этой статье противопоставил Байрону: «Как Пандар, гомеровский лучник, он долго разыскивает в своем колчане именно ту прямую и острую стрелу, которая неминуемо попадает в цель. Простота и иногда некоторый внешний беспорядок являются у него лишь расчетом утонченного мастерства...»

Рабочие тетради Пушкина, опубликованные в Большом академическом издании рукописные варианты «Онегина» через сто лет после смерти поэта, широко открывают перед нами возможность изучения творческой истории великого романа[1].

1940

---

[1] В настоящем виде статья «Работа над Онегиным» была прочитана автором в 1940 г. на заседании Пушкинской комиссии Союза советских писателей СССР. (См.: Новое в работах пушкинистов. — «Литературная газета», 1940, № 62). Ряд этюдов, входящих в нее, публиковался в периодике в 1947—1957 гг. (См. также: IV Международный съезд славистов, т. I. М., 1962, с. 591—592).

МОРЕ В ПОЭЗИИ ПУШКИНА

I

Море в поэзии Пушкина большая тема: Пушкин не был поэтом-маринистом, художником, для которого море — единственная страсть в искусстве. Он — великий поэт России, но мир Пушкина немыслим без моря, как без неба, а Россия Пушкина — великая морская держава.

Герцен назвал Пушкина — ответом русского народа на приказ Петра преобразоваться, а о времени Петра Пушкин сказал: «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек».

В первом своем историческом романе «Арап Петра Великого» Пушкин видел Петра, «утверждающего морское величие России». Недавно мы прочли пролежавший сто лет под спудом незавершенный труд Пушкина — «История Петра I»[1]. История открывается нам за стихами Пушкина, и мы лучше можем понять созданный поэтом образ Петра. Пушкин видит Петра — кораблестроителя на верфи в Голландии, изображает Петра, создающего Петербург и Кронштадт, строящего русский флот, Петра — флотоводца в морском сражении при Гангуте.

В своей «Истории Петра» Пушкин писал: «Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю; но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ими. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим обладала Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия»[2].

Поэт видел Россию от моря до моря. В его стихах шумит Черное море, он помнил студеное море, омывающее Север России, писал о волнах Балтики.

---

[1] См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X.
[2] Там же, с. 45.

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой...

Это прощание с Черным морем.

Через несколько лет в другом стихотворении Пушкин сказал:

...Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам,
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там...

Первый стих Вступления к «Медному всаднику» сперва гласил:

На берегу балтийских волн...

Потом Пушкин сказал:

На берегу пустынных волн
Стоял *он,* дум великих полн,
И вдаль глядел...

Петр дал этим неназванным в стихах, еще пустынным волнам иное историческое бытие:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе.

Сначала в рукописи Пушкин написал:

И *заторгуем* на просторе...

Изменив этот стих, Пушкин сказал нам, что в его глазах торговля была для Петра не целью, а средством к достижению больших, исторических целей:

Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам —

Россия явится Европе как Новый свет:

И запируем на просторе...

В стихах и на страницах своего исторического труда Пушкин говорит о победной борьбе Петра за выходы России к морю:

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу...

«Ни одна великая нация, — писал Маркс, — не существовала и не могла существовать в таком удалении от всех морей, в каком пребывала вначале империя Петра Великого...»[1] Но народ в сказках хранил память и мечту о море, потому что было время, когда Черное море называлось Русским морем, а Ижорская и Карельская земля, лежащие при Финском заливе, — древние русские земли.

Пушкин помнил русские сказки с детства, взрослым он создал свои гениальные сказки в народном духе, и память народа о море явилась в них миру в новой красоте.

В «Медном всаднике» новая столица — Петербург — волею Петра встает над морем, на берегу пустынных волн:

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво...

«Полнощных стран краса и диво»... Слова эти, кажется, напоминают виденье сказки.

Другое диво — сказочный город, чудом вставший над морем, — является перед нами в «Сказке о царе Салтане»:

В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами.

Об этом в пушкинской сказке рассказывают корабельщики.

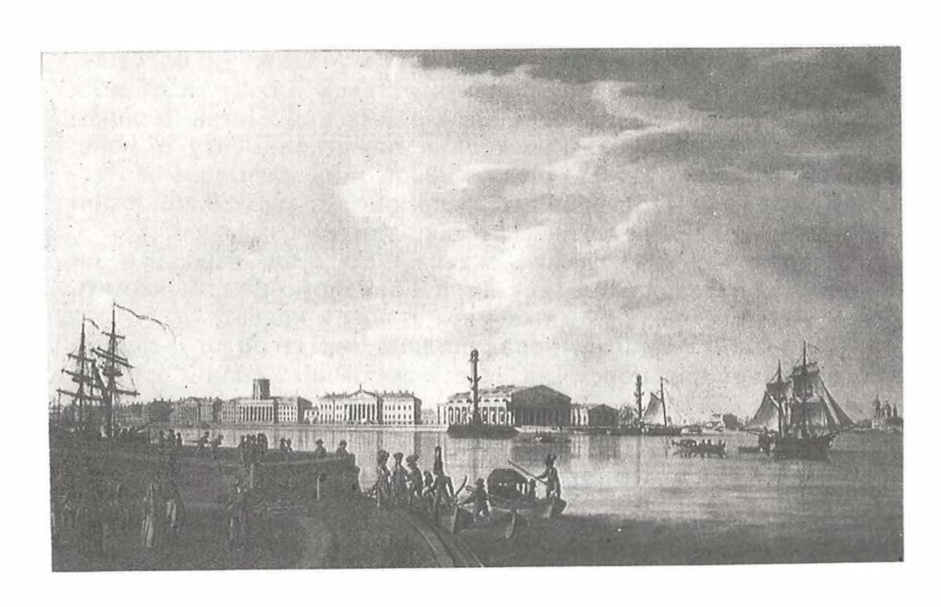
В «Медном всаднике» Пушкин писал о береговом граните Невы и о граните «подножия Петра», который был для Пушкина символом победы над стихией и победы над врагом. Но не одни только граниты петербургской поэмы стали символом созданной Пушкиным новой русской поэзии. Когда он окончил свою «Сказку о царе Салтане», молодой Гоголь писал Жуковскому: «Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии. Страшные граниты положены в фундамент и те же зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам»[2].

Море России явлено в поэзии Пушкина русской сказкой и поэмой о Петре: Пушкин создал море русской поэзии.

---

[1] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. Цитата дана в переводе по кн.: История СССР, т. I. М., 1948, с. 546.

[2] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. VIII. М.—Л., 1952, с. 372.



Петербург.
Гравюра Б. Патерсена. 1807.

* * *

Для того чтобы сразу понять, что значит для Пушкина море, сравните поэтический мир Пушкина с миром Толстого, который создал гениальные «Севастопольские рассказы», где почти нет моря; в мире Толстого — континентальный климат.

У Гомера, которого так любил Толстой, странствующему с веслом Одиссею предсказано было, что скитания его окончатся, когда он увидит страну и людей, не знающих моря:

> Если дорогой ты путника встретишь, и путник тот спросит:
> Что за *лопату* несешь на блестящем плече, иноземец?
> В землю *весло* водрузи — ты окончил свое роковое
> Долгое странствие...

И Одиссей возвратится на свой «волнообъятый остров» — Итаку.

«Какая огромная Итака!» — воскликнул о России Гончаров, возвращаясь через Сибирь из кругосветного плавания.

Россия не «волнообъятый остров» и не страна, где люди принимают весло за лопату, — моря и океаны омывают ее берега — и Пушкин создал поэзию моря иную, чем греческие и английские поэты.

Изучающие Пушкина знают порознь его стихи, посвященные морю, их много. Но, для того чтобы осознать значение моря в творчестве и историческом мышлении Пушкина,

недостаточно собрать стихи и мысли великого поэта, посвященные морю.

Кругозор великого русского поэта был всемирно широк. Последней, оборванной смертью работой Пушкина была статья об истории Камчатки. Он писал в ней: «Соседи Камчатки — Америка, Курильские острова и Китай»[1].

Думая об исходе наполеоновских войн, Пушкин сказал в сожженной, дошедшей до нас только в отдельных зашифрованных стихах десятой главе «Онегина»: «...моря достались Альбиону». Но скалу Св. Елены, которую Байрон назвал памятником Наполеона, Пушкин назвал памятником Кутузова. Пушкин сказал этим о том, что участь Наполеона решена была победой России.

30 ноября 1833 года Пушкин записал в дневник свой «любопытный разговор с Блайем», английским поверенным в делах в Петербурге, который говорил поэту:

«Зачем у вас флот в Балтийском море? для безопасности Петербурга? но он защищен Кронштадтом. Игрушка! — Долго ли вам распространяться? (мы смотрели карту постепенного распространения России...)»[2]. Великий поэт не соглашался с английским дипломатом, которому хотелось бы доказать, что флот не нужен России. Вопросы современной ему морской политики входили в круг интересов, серьезно занимавших Пушкина.

Море в поэзии Пушкина — тема вместе личная и государственная. В стихотворении «Моя родословная» он сказал о Петре:

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля...

Никто из русских поэтов не сказал о России, как Пушкин: Россия для него — родной корабль, движение которого он называет *державным* бегом!

* * *

В «Родословной моего героя», которая составляла по первоначальному замыслу одно целое с поэмой «Медный всадник», Пушкин писал:

...мой Езерский
Происходил от тех вождей,
Чей в древни веки парус дерзкий
Поработил брега морей.

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 343.
[2] Там же, т. XII, с. 315.

«Могучих предков правнук бедный» (можем сказать мы пушкинским стихом), «бедный Евгений» боится моря. Пушкин, как Петр, не боится моря, он заодно с гением, утверждавшим морское величие России, но поэт помнит и чтит Россию до Петра.

История сохранила память о русском море иначе, нежели сказки. О выходе первых томов русской истории Карамзина Пушкин сказал: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом»[1]

Образ древней России связан в сознании Пушкина с морем. Путь из варяг во греки шел через Русь: от Варяжского моря к Черному. В набросках по истории Украины Пушкин говорит: «Варяго-русы стали грозой Восточной Римской империи, и не раз их варварский флот появлялся угрозой у стен богатой и слабой Византии»[2].

В пушкинской «Песни о вещем Олеге» кудесник вспоминает смелые морские походы Олега и щит Олега, прибитый на вратах Царьграда:

И волны и суша покорны тебе,
Завидует недруг столь дивной судьбе.
И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал —
Щадят победителя годы.

Этот «синий вал» — Черное море, которое называлось в то время Русским морем.

В поэме о Вадиме — защитнике древних прав вольного Новгорода, который погиб в борьбе с Рюриком, Пушкин вспоминал древнерусскую Балтику, Варяжское море:

Суровый край! Громады скал
На берегу стоят угрюмом;
Об них мятежный бьется вал,
И пена плещет; сосны с шумом
Качают старые главы
Над зыбкой пеленой пучины...

Поэма открывалась описанием берега сурового северного моря, а о герое в ней сказано:

Видал он дальние страны,
По суше, по морю носился,
Во дни былые, дни войны,
На западе, на юге бился...

Он воевал на море у скал Альбиона.

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 305.
[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 135, 568. (Подлинник по-французски.)

И перед ним врагов ряды
Бежали, как морская пена
В час бури к черным берегам...
Не видит он знакомых скал
Кириаландии печальной,
Ни Альбиона, где искал
Кровавых сеч и славы дальной;
Ему не снится шум валов;
Он позабыл морские битвы...

Кириаландия, о которой говорят стихи Пушкина, — это Карелия.

В «Песни о вещем Олеге» и в неоконченной поэме о Вадиме отражены исторические воззрения декабристов, связанные с памятью о победах славян на суше и на море, с борьбой за вольность.

В «Борисе Годунове» — исторической трагедии, написанной Пушкиным иначе, чем задумана была им трагедия и поэма о Вадиме, мы видим Федора над картой Руси, отдаленной в то время от морей. Вот разговор его с царем Борисом:

Царь.

А ты, мой сын, чем занят? Это что?

Федор.

Чертеж земли московской; наше царство.
Из края в край. Вот видишь: тут Москва.
Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море,
Вот пермские дремучие леса.
А вот Сибирь.

Царь.

А это что такое?
Узором здесь виется?

Федор.

Это Волга.

Царь.

Как хорошо!..

Волга — великий путь на Каспий... В «Песне о Стеньке Разине», написанной Пушкиным в то время, когда Разин казался еще Пушкину «единственным поэтическим лицом русской истории», море зовет Разина:

...погодушка свищет, гудит,
Свищет, гудит, заливается,
Зазывает меня, Стеньку Разина,
Погулять по морю, по синему...

...Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю, по синему...

Каспий в памяти Пушкина — море Разина и море Петра.

В не завершенной Пушкиным «Истории Петра» рассказывается о том, как Петр вспоминал поход Разина. Когда, назначенный начальствовать над отрядом, отправляемый в Персию, «Шипов, получая инструкцию Петра, спросил, довольно ли двух батальонов? Петр отвечал: *«Стенька Разин с 500 казаков их не боялся* (персиян), *а у тебя 2 батальона регулярного войска»*[1].

Пушкин пишет о том, как обрадован был Петр известием о взятии Баку, когда после бомбардировки с моря город сдался Кириллу Матюшкину.

По замыслу Петра, записывает Пушкин, реки и новые каналы должны были соединить моря России: «Петр положил соединить Волгу и Дон и велел начать уж работы, положив таким образом начало соединению Черного моря с Каспийским и Балтийским»[2].

Стихи и страницы исторических работ поэта свидетельствуют о значении, которое Пушкин придавал борьбе России за моря. В своих заметках по русской истории XVIII века он сказал: «...имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории. Он разделил с Екатериною часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем...»[3]

Когда же в 1829 году Россия по Адрианопольскому миру (Адрианополь по-турецки — Эдырне) приобретала устье Дуная и восточный берег Черного моря от Анапы до Поти, Пушкин, связывая прошлое с современностью, писал:

Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.
И дале двинулась Россия,
И юг державно приняла
В свои объятия тугие,
И пол-Эвксина облегла.

Эвксин — Черное море.

* * *

Гоголь сказал о поэзии Ломоносова: «Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 270.
[2] Там же, с. 29.
[3] Там же, т. XI, с. 15.

очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди»[1].

Яркие краски в изображении России внес Державин; о русском флоте он писал:

Но в ясный день, средь светлой влаги,
Как ходят рыбы в небесах
И вьются полосаты флаги,
Наш флот на вздутых парусах
Вдали белеет на лиманах:
Какое чувство в россиянах?
Восторг, восторг они, а страх
И ужас турки ощущают.

Для Державина море — прекрасная, величественная арена побед России. Но описание его еще внешне.

Пушкин писал о море иначе. Образ моря являлся ему, когда он писал о том, что было для него главным: о России, о вдохновении, о любви.

Когда он писал о вдохновении, ему являлся образ корабля:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут...
Так дремлет недвижим, корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинула и рассекает волны.
. . . .
Плывет. Куда ж нам плыть?..

Вдохновение — отплытие. Думая о свободе, которую приносит вдохновение, Пушкин вспоминал о дальнем плаванье. В стихотворении, написанном в Одессе и обращенном к моряку, он говорит:

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!

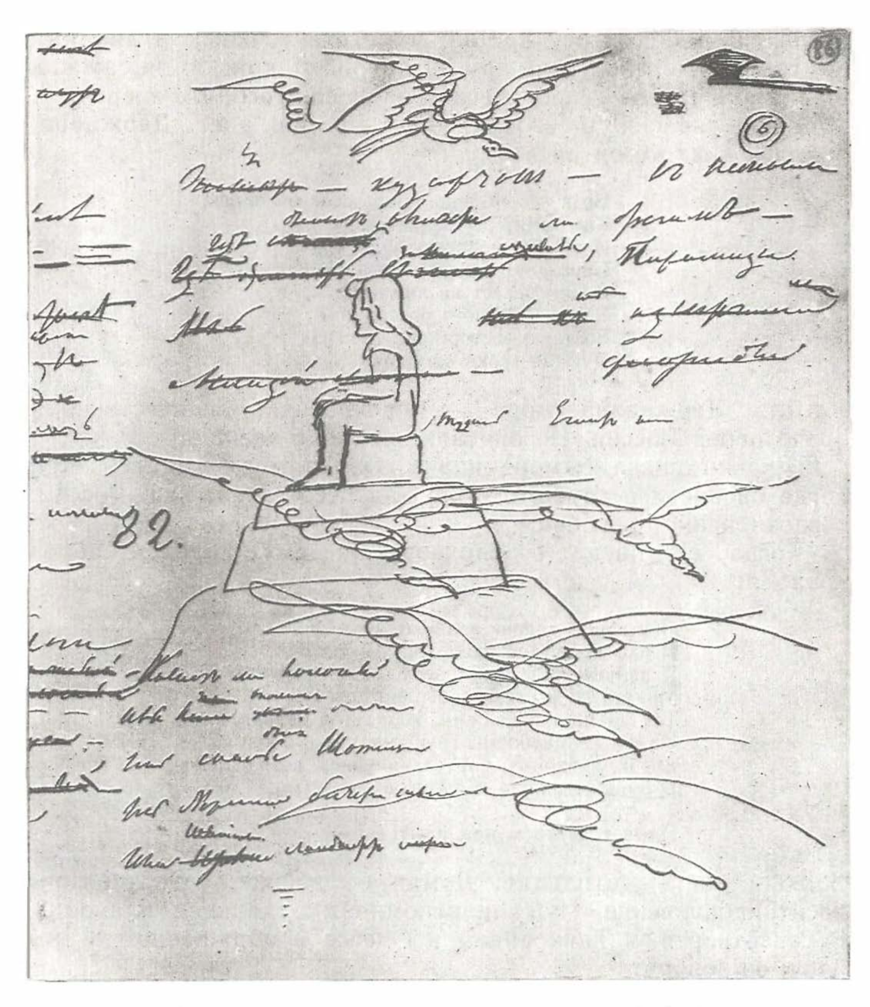
В этих стихах Пушкин сказал, что сердце поэта и сердце моряка полны одною страстью, он писал:

И вновь тебя зовут заманчивые волны,
Дай руку, в нас сердца единой страстью полны...

Репин и Айвазовский в картине, написанной вдвоем, изобразили Пушкина на берегу пустынных волн. Тема «Пушкин и море» являлась художникам, когда они думали о поэзии Пушкина; соединившись в работе, они писали порознь: один

---

[1] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. VIII, с. 372.



Черновая рукопись стихотворения «Осень». *1833 г.*
Фрагмент.

море, другой — поэта. В стихах Пушкина иначе: поэт и море нераздельны.

Он не писал о море вдохновенно, но со стороны, как Державин, а сказал, прощаясь с Черным морем:

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Море — в душе поэта.

В гимне молодого Пушкина, обращенном к морю, оно

символ свободы человека от истории и государства, потому что в этих строках Пушкин противопоставлял себя самодержавному государству — победившей русской и всеевропейской реакции, олицетворенной Александром I.

Возмужавший поэт возвращается к истории, к морской теме иначе: иною становится в поэме «Медный всадник» тема моря. От гимна морю, начатого стихом «Прощай, свободная стихия!..», где воспет был Байрон — поэт, созданный духом моря, Пушкин обращается мыслями к иному гению моря — Петру, к другим стихам о море и творенью Петра:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия.

«Властителем дум» Пушкина стал Петр, гений моря, побеждающий стихию. Слова «Россия» и «побежденная стихия» звучат в поэме рифмой огромного, нового смысла.

Белинский назвал эту поэму апофеозом Петра, самым смелым, какой мог быть создан поэтом, вполне достойным быть певцом великого преобразователя. О гибели другого героя поэмы — «бедного Евгения» — Белинский писал: «И смиренным сердцем признаем мы торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... Мы, хотя не без содрогания сердца, но сознаемся, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость...»[1]

Но, сознавая эту историческую необходимость, в своей незавершенной «Истории Петра», Пушкин увидел и не только положительные, но и отрицательные стороны личности и исторической деятельности Петра[2].

В «Медном всаднике» Пушкин воспел «того, чьей волей роковой под морем город основался», его великую победу над стихией. И Петербург для Пушкина — морская, военная столица. Он сказал во Вступлении к поэме:

Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром...

Это победно салютуют пушки Петропавловской крепости, когда:

...победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или крестит средь невских вод
Меньшого брата русский флот,

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. VII, М., 1955, с. 547.

[2] Вопрос об отношении Пушкина к исторической деятельности Петра рассматривается мною в работе «Незавершенная книга Пушкина» («История Петра I»). — «Вестник Академии наук СССР», 1949, № 5.

Или Нева весну пирует
И к морю мчит разбитый лед.

Двустишие о корабле не вошло во Вступление к поэме, но тогда же Пушкин написал другие стихи на спуск боевого корабля: он начал их описаньем закрывшего паруса́ дыма и грохота салюта:

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей
Покрылась облаком столица боевая...

И во Вступлении к поэме он говорит:

Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе...

И Пушкин создал стихотворение «Пир Петра Первого»:

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов,
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов.

Вспоминая победы России, Пушкин вспоминал победы русского флага:

Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?..

На страницах «Истории Петра», написанных Пушкиным в то же время, к которому относятся эти стихи, рассказан ход морского сражения при Гангуте, в котором Петр I командовал авангардией. О Гангутской победе Пушкин писал: «Сия победа и завоевание Аланда привели в ужас Швецию... Петр торжествовал морскую победу свою, как Полтавскую...»[1]

В «Пире Петра Первого» он писал:

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот.
И пошел навстречу деду
Всей семьей наш юный флот.

Корабли балтийской эскадры строем идут навстречу боту, а наш флот Пушкин назвал в этих стихах семьей:

И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром.

Это праздник русского флота и праздник науки. Пушкин вспомнил в начале стихотворения дружные песни гребцов,

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. X, с. 208, 209.

а слово «наука» написал с большой буквы: в честь ее раздается хор песен и гром пушек, ибо Пушкин не думал, что, когда гремит оружие, музы должны молчать.

Белинский сказал о «Пире Петра Первого»: «Это — высокое художественное произведение и в то же время — народная песня. Вот перед такой народностью в поэзии мы готовы преклоняться; вот это — патриотизм, перед которым мы благоговеем...»[1]

II

В детстве море было для Пушкина сказкой. Русские сказки рассказывали ему няня Арина и бабушка Мария Алексеевна Ганнибал.

Мир русской сказки, который отразится в его будущих стихах, Пушкин знал с детства.

Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской...

Он слышал семейные предания о «Наваринском Ганнибале» — герое Наварина и Чесмы, который прославился на Средиземном море в морских боях у островов Греческого Архипелага.

Родной дед Пушкина с материнской стороны и два брата этого деда были моряками.

Осип Абрамович — отец матери Пушкина — был морской артиллерии капитаном второго ранга; он плавал, хотя и не по своей воле, на кораблях в Северном море и осматривал в Липецке чугунные заводы, построенные Петром I для отливки пушек Черноморскому флоту.

Брат его, Исаак Абрамович, был морской артиллерии капитаном третьего ранга, а другой старший брат — Иван Абрамович — и есть знаменитый «Наваринский Ганнибал», о котором Пушкин писал: «Он пошел в военную службу вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленях, выпросил отцовское прощение. Под Чесмою он распоряжал брандерами и был один из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух. В 1770 году он взял Наварин, в 1779 — выстроил Херсон»[2].

Все три брата были сыновьями «арапа Петра Великого» — Ибрагима Ганнибала, через которого поэт, видевший в истории своего народа историю отечества, связывал себя с Петром.

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. VII, с. 348.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 313.

Черновая рукопись стихотворений «Моя родословная» («*И был отец он Ганнибала...*») и «К Дельвигу». *1830 г.*

В стихотворении «Моя родословная» Пушкин писал о Петре и своем прадеде:

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.
И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь Чесменских пучин
Громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин.

В 1770 году Иван Ганнибал участвовал в морском походе в Архипелаг. Прибыв к Наварину с фрегатом и двумя кораблями, он после сильной перестрелки с крепостью высадил на берег десант, свез с судов орудия большого калибра и после 15-дневной осады, когда 10 апреля 1770 года крепость была взята, Ганнибал был назначен комендантом покоренной крепости.

Когда же граф Алексей Орлов решил оставить Морею и искать неприятеля на море, Ганнибал, перевезя артиллерию на корабли, взорвал пороховые погреба и Наваринскую цитадель.

Во время битвы в Хиосском проливе 24 июня 1770 года Ганнибал распоряжался действиями всей артиллерии флота и командовал бомбардирским кораблем «Гром».

«Часу в пятом пополудни «Гром» занял место перед входом в Чесменскую бухту и начал бросать бомбы в тесно скопившиеся турецкие корабли».

О том, что Ганнибал распоряжался брандерами, которые в ночь на 26 июня взорвали турецкий флот, укрывшийся в Чесменской бухте, мы прочли выше в записи Пушкина.

Недаром в черновике стихотворения «Моя родословная» говорится о Ганнибале, «что плыл в пожаре средь пучин».

Пушкин писал о нем в стихах и в прозе, взрослым поэтом и когда был совсем юным в оде «Воспоминания в Царском Селе».

Когда 12-летнего Пушкина дядя Василий Львович привез из Москвы в Петербург, чтобы определить в Царскосельский лицей, Пушкин впервые увидел Неву и строящееся еще Адмиралтейство.

Державин сравнил плывущие в небе тучи с флотом, идущим под парусами.

Пушкин увидел шпиль Петропавловской крепости, собор, похожий на корабль, навечно ставший на Неве и «Адмиралтейскую иглу» с венчающим ее малым корабликом, плывущим в небе.

На здании Адмиралтейства встали вскоре изваяния — богини русских рек.

В стихотворении Муравьева «Богине Невы», которое Пушкин вспомнит в первой главе «Онегина», говорилось:

Протекай спокойно, плавно,
Горделивая Нева,
Государей зданье славно
И тенисты острова!
Ты с морями сочетаешь
Бурны росски озера,
И с почтеньем обтекаешь
Прах великого Петра.
В недре моря Средиземна
Нимфы славятся твои.
До Пароса и до Лемна
Их промчалися струи.

Из Кронштадта русская эскадра вышла, чтобы, обогнув Европу, прийти в Средиземное море, к островам Греческого Архипелага.

На этой эскадре шел к Наварину Ганнибал. О героях его побед Пушкин вспомнил еще раз в 1829 году, когда он во второй раз написал «Воспоминания в Царском Селе»:

Вот, вот могучий вождь полунощного флага,
Пред кем морей пожар и плавал и летал,
Вот верный брат его, герой Архипелага,
Вот наваринский Ганнибал.

В оде «Воспоминания в Царском Селе», написанной 15-летним Пушкиным, он писал о победе России над Наполеоном в Отечественной войне, вспоминая великие победы прошлого.

«В этих великолепных стихах, — говорит в своих записках Пущин, слышавший, как юный поэт читал эту оду в присутствии Державина, — затронуто все живое для русского сердца»[1].

Пушкин писал в этой оде:

О громкий век военных споров,
Свидетель славы Россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победы похищали;
Их смелым подвигам, страшась, дивился мир:
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

Вместе с именами Суворова и Румянцева Пушкин вспомнил здесь имя Орлова-Чесменского, а вместе с Державиным Петрова — поэта, прославившегося одой, посвященной Чесменской победе.

«Военные подвиги победоносного флота в Архипелаге, Средиземном море на водах Турецких, были беспримерны

[1] Записки И. И. Пущина о Пушкине. СПб, 1907, с. 32.

и неимоверны; сладкогласная поэзия воспела им хвалу... Подвизавшимся на водах и памятник среди вод», — писал Яковкин в книге «История села Царского», говоря о мраморной ростральной колонне, воздвигнутой посреди озера в Царском Селе в память этих побед.

Основание этой колонны, встающей из воды, — серый гранит, база — из красного мрамора, подножие — из синего мрамора с прожилками. На колонне изображены корабельные носы и кормы.

При основании колонны с северной и южной стороны положено по якорю. Ее венчает бронзовый орел, распростерший крылья:

Пушкин писал о ней:

Он видит: окружен волнами,
Над твердой мшистою скалой,
Вознесся памятник. Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикраты обвились;
Кругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.

На бронзовых досках, укрепленных на памятнике, можно увидеть на одной стороне выпуклое изображение Хиосской морской битвы, на другой — сожжение турецкого флота при Чесме, взятие острова Мителены и сожжение двух турецких кораблей и морских арсеналов.

В Царскосельском парке, на берегу озера стоит другая колонна из синего с белыми прожилками олонецкого мрамора, которая поставлена была 4 октября 1771 года.

В надписи на этом памятнике юный Пушкин прочел о подвиге своего деда. В ней сказано: «Крепость Наваринская сдалась бригадиру Ганнибалу. Войск российских было числом 600 человек, кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он; в плен турок взято 6 тысяч».

После того как Пушкин написал и прочел, приведя Державина в восторг, свои «Воспоминания в Царском Селе», лицейский товарищ Пушкина, Дельвиг, написал оду, предсказывавшую Пушкину удел поэта. Про того, кто рожден поэтом, он писал:

Тот в советах не мудрствует; на стены
Побежденных знамена не вешает,
Столб кормами судов неприятельских
Он не красит пред храмом Ареевым;
Флот с несчетным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукраты экватора
Для него кораблями бегущими.

Мудрствовать в советах и конгрессах суждено было лицейскому товарищу Пушкина Горчакову, который стал канцлером

империи. Мореплавателем стал лицейский товарищ Пушкина Матюшкин. Предсказание Дельвига и Державина Пушкину сбылось. Ему был сужден удел поэта.

III

Первую свою элегию «Погасло дневное светило» Пушкин написал на корабле, когда впервые увидел Черное море и шел под парусами, огибая берега Крыма (Пушкин так и назвал ее в рукописи — «Черное море»).

В прозе он писал:

«Из Азии переехали мы в Европу (из Тамани в Керчь <примечание Пушкина>) на корабле...

...Из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал, Луны не было, звезды блистали; передо мною, в тумане, тянулись полуденные горы... «Вот Чатырдаг», сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем, корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли... и кругом это синее, чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...»[1]

24 сентября 1820 года Пушкин писал брату Льву: «Ночью на корабле написал я Элегию...»[2]

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...

В поэзии Пушкина впервые прошумело Черное море. Но о берегах Крыма «Пушкин говорит еще в самых общих выражениях», — верно заметил Брюсов; «Земли полуденной волшебные края» — определение, равно подходящее и к Испании и к Индии.

В стихотворении, переведенном Пушкиным из древнегреческого поэта Мосха, которое он называет то «Морской берег», то «Земля и море», то «Море и земля», отражены уже впечатления Крыма:

Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 250—251.
[2] Там же, с. 19.

И челны на волнах лелеет, —
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут,
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы...

В письме к брату в 1825 году Пушкин писал: «Над или под Морем и Землею должно было поставить Идиллия Мосха. От этого я бы не удавился — а Бион старик при своем остался б»[1]. В стихах этих, несмотря на то что в них отражены впечатления Крыма, Пушкин стремился передать чувства древнегреческого лирика, и Пушкин считал нужным сказать об этом...

Недаром о Крыме, Тавриде, Пушкин писал в одной из рукописей «Онегина»:

Волшебный край!.. воспоминанья
Священной тенью облегли
Сей отдаленный край земли...

Это воспоминания античности.

Крым был «отдаленным краем земли» в мире Древней Греции, теперь Таврида стала отдаленным южным краем России, ее черноморским полуостровом. Он писал: «Я тотчас отправился на так называемую «Митридатову гробницу» (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пантикапеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и только»[2].

Не руины когда-то прекрасной античности, а море, неизменное, как в первый день творенья, будило в нем поэзию. Таврида явилась в его поэзии не воспоминанием, а сегодняшним миром. В «Онегине» он, вспоминая Музу, писал:

Как часто по брегам Тавриды
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды...

В прозе он вспоминал: «...я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря — и заслушивался целые часы»[3].

Нереида являлась ему вечно юной дочерью моря — полу-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 146.
[2] Там же, т. VIII, с. 437.
[3] Там же.

богиней древних, сказочных преданий и в образе живой девушки, которую он любил:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть...

Мы знаем имя девушки, которую он тогда любил. Ее звали Мария; вспоминая в стихах вечернюю звезду, Пушкин писал:

И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

Это — звезда морей, другое имя которой — звезда Мария.
В этой крымской элегии он писал:

Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополи в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны...

Элегия эта называлась первоначально «Таврическая звезда». В ней слышится уже чувство Пушкина, и любовь является в ней с воспоминанием о море. Позже, в поэме «Бахчисарайский фонтан», Пушкин скажет:

Приду на склон приморских гор
Воспоминаний тайных полный,
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор...

Это «таврические волны», которые в стихах не примешь за другие; это — Крым, море, видное поэту с прибрежных гор:

И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага.

* * *

В элегии «Погасло дневное светило» Пушкин, сосланный на Юг из Петербурга, сказал:

Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей!

В первой, написанной на Юге главе «Онегина» он вспоминает о море трижды; в первый раз иронически:

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный

Черновая рукопись стихотворения «Таврида». *1822 г.*

И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам
. . . .
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

Ирония, сказавшаяся в стихах об Онегине, здесь перенесена и на балтические волны — морской, торговый путь, которым шли лес и сало из России в Англию, из Лондона в Петербург — «щепетильный» товар.

Иначе Пушкин вспоминает южное, Черное море, вспоминает романтически:

Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!..

В третий раз море является «вольным распутьем», свободной стихией. В роман входит тема бегства. Море заставляет теперь вспоминать не о торговле, а о страсти и свободе. Оно в лирическом отступлении: море — выход из прозы жизни, изображенной в романе.

Тема начинается с воспоминанья о ночи на Неве:

Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая.
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав...

Пушкин пишет о Петербурге и вспоминает Юг, Венецию, где гребцы поют октавы Тасса, певца «Освобожденного Иерусалима», куда герои Тасса плыли Средиземным морем.

Итальянские звуки кажутся еще юному Пушкину слаще раздающейся ночью над Невой удалой песни гребца.

Адриатические волны,
О, Брента! нет, увижу вас,
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.

Дальше уже не в Италию, а под небо Африки хочет бежать из ссылки Пушкин «по вольному распутью моря», чтоб

...средь полуденных зыбей...
...Вздыхать о сумрачной России.

В этом лирическом отступлении Пушкин вспоминает посвященные описанию петербургской ночи стихи Гнедича

и приводит эти стихи в примечании к «Онегину». Это описание ночи на взморье:

Вот ночь; но не меркнут златистые полосы облак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность.
На взморье далеком сребристые видны ветрила
Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.

Эти стихи Гнедича, которые Пушкин называет прелестными, нам придется еще вспомнить. Вслед за ними Пушкин вспоминает стихотворение Муравьева «Богине Невы» и приводит четыре стиха из него. Четверостишие это иначе, нежели идиллия Гнедича, говорит о бессонной поэтической ночи на Неве. В других строфах этого стихотворения, посвященного «Богине Невы», Муравьев писал о славе русского флота, о славе, завоеванной на Средиземном море, в водах Греческого Архипелага. Но об этих строфах Пушкин в «Онегине» не напоминает читателю. В первой главе «Онегина» Пушкин хочет забыть о враждебном ему самовластии и самодержавном государстве. О победах русского флага он снова будет писать позже — в других стихах.

* * *

Вспоминая Юг и Черное море, вспоминая молодость, Пушкин писал в одной из последних строф «Онегина»:

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске мрачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груды ваших гор...

Вспоминая берега Крыма, которые он увидел впервые с корабля при свете утренней звезды, вспоминая о любви, о юной женщине, которая называла эту звезду своим именем, Пушкин писал:

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне — теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор,
На небе серенькие тучи,
Перед гумном соломы кучи
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье уток молодых...
...казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны
И моря блеск, и груды скал,—

а теперь видится ему не море, а —

...пруд под сенью ив густых...

Любовь и память о море не прошли, а изменились: мир поэзии Пушкина не сузился, а расширился.

Вслед за стихами, сейчас приведенными, у Пушкина являются другие, посвященные воспоминаниям об Одессе, они кончаются стихами:

И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо, все молчит;
Лишь море Черное шумит...

Одесса в «Онегине», хотя итальянский язык звучал в ней не только в опере, а и на улицах, является у Пушкина не «русской Италией», как назвал Одессу Батюшков, а Новой Россией, морской столицей Новороссии.

С годами мир Пушкина расширился, и он увидел красоту далекого русского Севера и студеного северного моря. В начале своего романа в стихах, в первой главе «Онегина», Пушкин в лирическом отступлении воспел «адриатические волны». Через несколько лет он написал стихи, к которым поставил два эпиграфа: первый из них — это начальные слова стихов Гёте об Италии: «Ты знаешь край, где цветут лимоны», а второй эпиграф русский:

По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву...

А дальше шли стихи, в которых Пушкин снова писал о синем небе Италии и вспоминал адриатические волны.

В эпиграфах, так непохожих один на другой, подсказано противопоставление России, Севера, где собирают клюкву-ягоду, Италии — стране, где цветут лимоны. Известен и повод, с которым связаны стихи Пушкина, написанные под этим двойным эпиграфом: одна русская путешественница, красавица собой, долго жившая в Италии, возвратилась оттуда, попросила

клюквы, она соскучилась по ней в краю, где цветут лимоны.

Пушкин писал об этой красавице в стихах об Италии, которые остались незаконченными. Но стихи эти не пропали, а вошли через несколько лет в другое замечательное стихотворение Пушкина[1].



М. Н. Раевская.
Рисунок Пушкина. 1823 г.

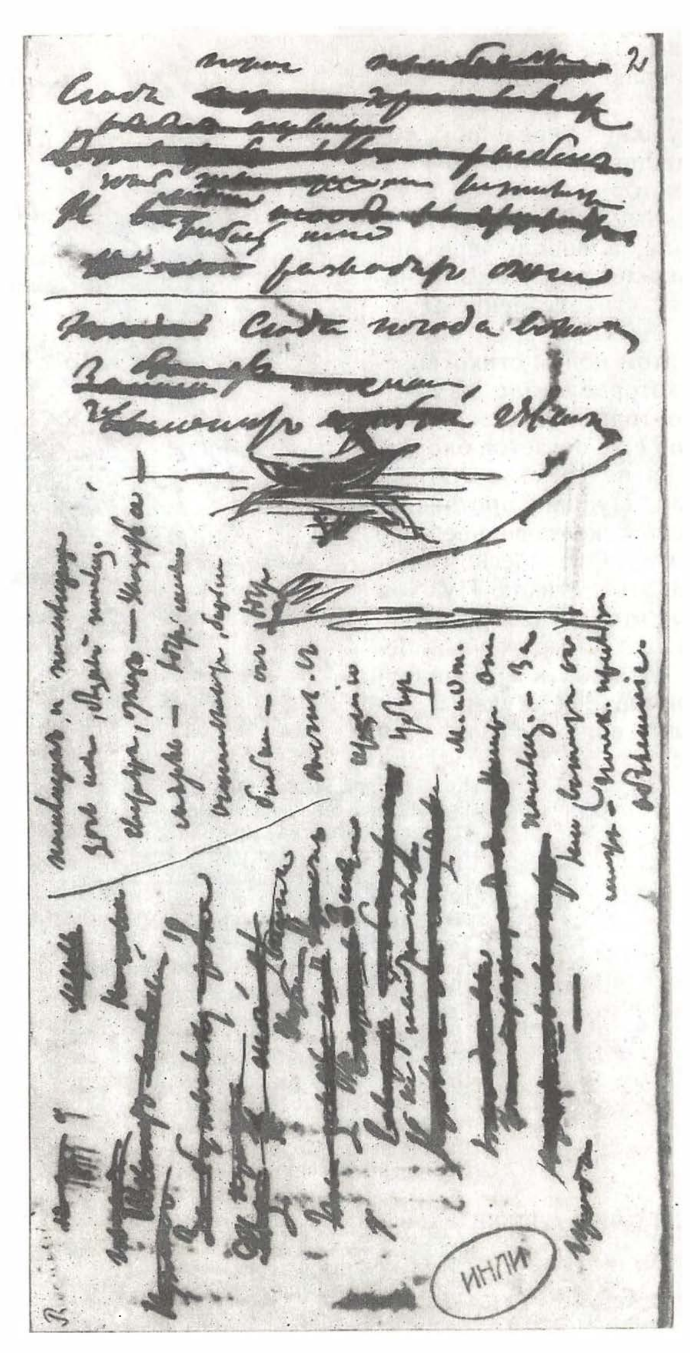
В этом новом стихотворении, которое стало нам известно только недавно и до сих пор еще остается биографически не до конца объясненным, Пушкин противопоставил русское северное море южному Адриатическому морю. В этих стихах Пушкин сказал, что, когда ему грустно, он улетает мечтой не к берегам Италии, а ему видится приморье и студеные северные волны. Вот эти стихи:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне:
Когда людей повсюду видя
В пустыню скрыться я хочу
Их слабый глас возненавидя, —
Тогда забывшись я лечу
Не в светлый край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
На мрамор ветхий тихо плещет,
И лавр, и темный кипарис
На воле пышно разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Далече звонкою скалой
Повторены пловца октавы.

А дальше Пушкин написал:

Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам,

[1] История текста этого стихотворения Пушкина, прочитанного Б. В. Томашевским, раскрыта в его исследовании «Из пушкинских рукописей». — «Литературное наследство», 1934, № 16—18, с. 307—313.



Черновая рукопись стихотворения
«Когда порой воспоминанье». *1830 г.*

Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт...

Он думает об этом крае, которого не видел наяву:

Стремлюсь *привычною* мечтою
К студеным северным волнам...

Вслед за этими стихами черновик становится неразборчивым. В нем были стихи, потом отброшенные:

Приют пустынный птиц морских
. . . .
Где чахлый мох едва растет.

Дальше можно прочесть:

Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак
Здесь рыбарь невод расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Загонит утлый мой челнок...

Стихотворенье обрывается, а на последней странице Пушкин нарисовал челнок.

Может быть, Пушкин вспоминал в этих стихах о времени, когда ему грозила ссылка на далекий Север и когда он был выслан вместо того на Юг. Еще важнее биографического объяснения то, ка́к увидел в этих стихах Пушкин красоту студеных белоглавых волн. Он написал об объятом волнами открытом острове, покрытом тундрою, о низком береге, который подмыт холодной пеной, и об увядшей тундре, усеянной зимней брусникой: она остается на зиму потому, что собрать ее некому, и кто не бывал на Севере, не сразу оценит, как верно увидел Пушкин, бывавший в том краю только в воображении, красоту этого края. Он написал обо всем этом так, как не написал еще никто из поэтов, бывавших на морском севере России.

В этих стихах прекрасней роскошного итальянского пейзажа и южного моря, которое одно только казалось в юности Пушкину поэтическим морем, является студеное северное море России.

Уже в стихотворении «Талисман» Пушкин назвал Север родным краем, а Юг, бывший для него ссылкой, печальной и чуждой страной.

«Волшебница» в этих стихах говорит:

И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,



Графиня Е. К. Воронцова.
Рисунок Пушкина. 1829 г.

В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...

В «Онегине» Пушкин писал, воображая «адриатические волны»:

И вдохновенья снова полный
Услышу ваш волшебный глас.

В черновике этих стихов он сказал: «Я слышу ваш прозрачный глас...» И шум прозрачных волн Адриатики казался ему прозрачным. Теперь он увидел поэзию прозрачных северных волн.

Когда-то для Одиссея север был только краем вечной ночи. В описании страны киммериян, которая на самом деле вовсе не была краем вечной ночи, отражены в «Одиссее» сказочные представленья о дальнем севере.

Вот как рассказано в ней о стране вечной ночи:

Скоро пришли мы к глубокотекущим волнам Океана,
Там киммериян печальная область, покрытая вечно
Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет
Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль
Он покидает, всходя на звездами обильное небо,
С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь;
Ночь безотрадная там искони окружает живущих...

Гнедич — поэт, который перевел Гомера русскими стихами, писал в идиллии, которую Пушкин вспомнил в первой главе «Онегина», о красоте белой ночи и о северном взморье.

Пушкин назвал это описание прелестным. Гнедич говорит в этих стихах о красоте белой ночи, о волшебном северном свете, каким никогда не украшено южное небо:

Слиянье волшебное тени и сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня.

Морской север России в этих стихах не только край ночи, но вместе и край незакатного солнца, где зимняя Ночь сменяется летним Днем.

В поэзии Пушкина Россия «державно облегла» южным краем Черное море, которое соединяет Россию со Средиземным морем. И северное студеное море соединяет Россию с океаном.

Пушкин вспомнил студеное море еще раз в стихах,

посвященных Ломоносову: северное море России — родина того великого русского, которому, по слову Пушкина, суждено было «уловлять умы» и быть сподвижником Петру.

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака.
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

В черновой рукописи стихотворение кончалось иначе:

Будешь подвижник Петру.

IV

Петр рубил «окно в Европу» на Балтике. Одесса — окно России на юг, на Средиземное море.

Одесса, которая описана в «Онегине», — вольная гавань, порто-франко. Море входит в роман одесскими строфами «Онегина» уже не как лирическое отступление.

Пушкин увидел красоту этой Одессы.

Я жил тогда в Одессе пыльной...
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса...

Пыльная Одесса стоит под ясным небом на крутом берегу. Море, паруса, ветер пахнет зерном.

А где, бишь, мой рассказ несвязный?
В Одессе пыльной, я сказал.
Я б мог сказать: в Одессе грязной —
И тут бы, право, не солгал.

Поэт и сослуживец Пушкина по канцелярии Новороссийского наместника графа Воронцова — Туманский — солгал: чтобы изобразить Одессу красивой, ему понадобилось описать в ней то, чего в ней нет:

Одессу звучными стихами
Наш друг Туманский описал,
Но он пристрастными глазами
В то время на нее взирал.
Приехав, он прямым поэтом
Пошел бродить с своим лорнетом
Один над морем — и потом
Очаровательным пером
Сады одесские прославил.

Пушкин иронизирует над Туманским:

Сказать вам правду, дело в том,
Что степь нагая там кругом;



Одесса. 1830.
Литография неизвестного художника.

Кой-где упорный труд заставил
Нагие ветви в знойный день
Давать насильственную тень.

Во время дождей в этой Одессе грязь такая, что по улицам ходят на ходулях — это описано в «Онегине». В дрожки вместо лошади впрягают вола.

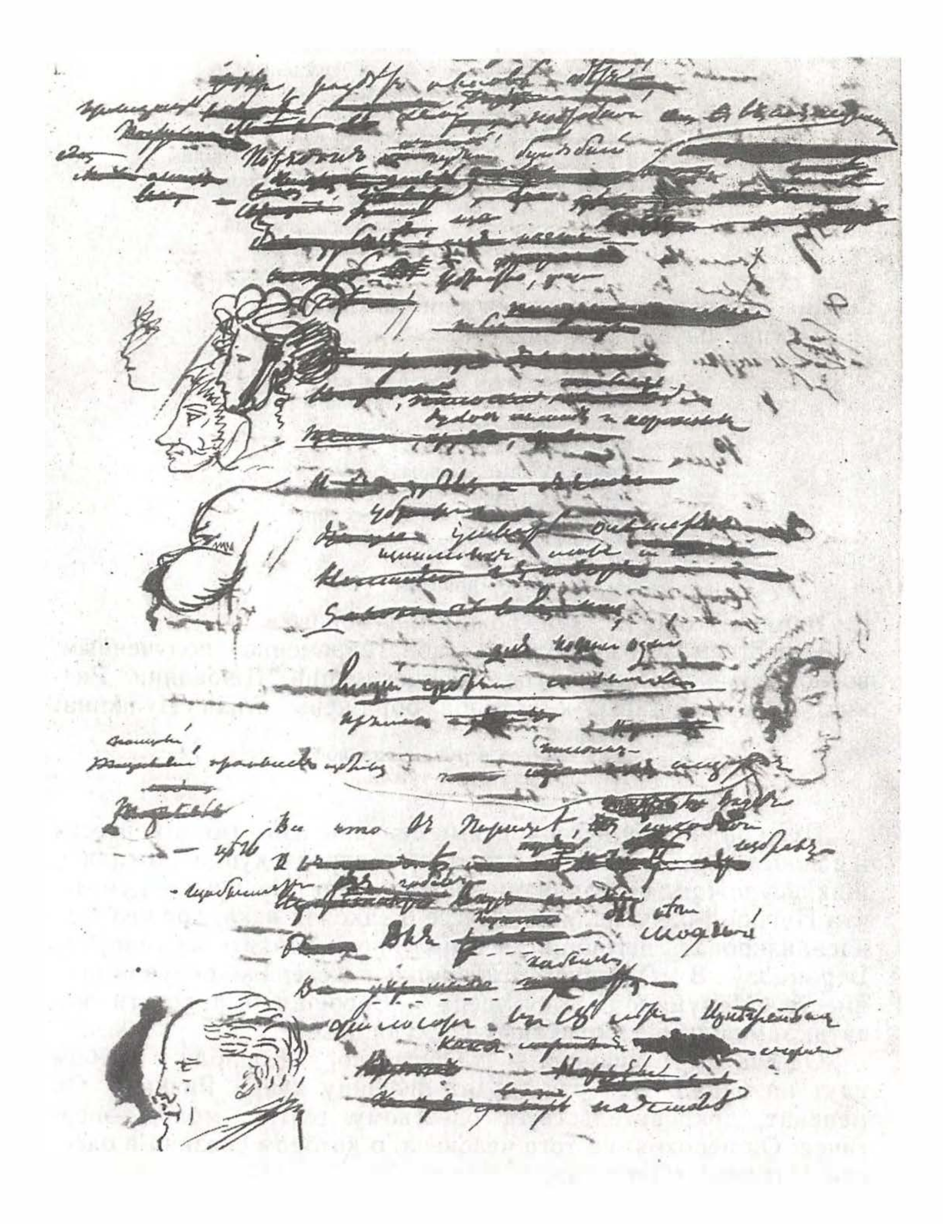
Пушкин видел «упорный труд», меняющий город не в стихах, а на деле, и написал о будущей Одессе:

Но уж дробит каменья молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованой броней.

В черновых строках «Онегина», которые печати увидеть не могли, Пушкин писал о будущей Одессе:

И шумные фонтаны хлынут,
Ручьи в оградах потекут...
...И вместо графа Воронцова
Там будет свежая вода...
Тогда поедем мы туда.

Пушкин увидел красоту Одессы, и этой красотой было море. А о моряке написал совсем иначе, чем о купце...



Профили Е. К. Воронцовой, М. С. Воронцова
в рукописи первой главы «Евгения Онегина». *1823 г.*

Вот стихи, обращенные к моряку:

Завидую тебе, питомец моря смелый
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг —
И вновь тебя зовут заманчивые волны,
Дай руку, в нас сердца единой страстью полны.
Для неба дальнего, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой
Ищу стихий других, земли жилец усталый
Приветствую тебя, свободный Океан.

Сердца поэта и моряка полны единой страстью.

О купце он писал иначе:

Расчетов сын и друг отваги,
Купец идет взглянуть на флаги
Узнать не шлют ли небеса
Ему златые паруса?
Какие чуждые товары
Вступили нынче в карантин
Пришли ли бочки жданных вин
И что кортесы иль пожары
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны.

Вариант говорил: «Неурожая иль войны?»

Известием о неурожае, заблаговременно полученным, воспользовался для выгодной спекуляции Джованни Ризнич, муж женщины, к которой обращены стихи Пушкина:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой...

Пушкин знал, с негоциантами связаны известия о кортесах и испанской революции, но его стихи говорят о купцах, ожидающих неурожая, не слишком сочувственно. Не нужно думать, что Пушкин, размышляя в Одессе о законах века, должен был идеализировать негоциантов и противопоставлять их генералу Воронцову. В «Онегине» откупщика и генерала он упомянул вместе. «Полумилорд-полукупец» — Воронцов был, кстати сказать, замешан в таможенных спекуляциях.

Одесса этого времени — хлебный порт. Корабли с хлебом идут на запад. В порту грузят пшеницу купца Ризнича. Он меценат, покровительствует одесскому театру, молод, энергичен. Он непохож на того человека, о котором сказано в одесских строках «Онегина»:

А муж в углу за нею дремлет
В просонках фора закричит,
Зевнет и снова захрапит.

Это негоциант из Триеста, он учился в университетах Падуи и Берлина, имел банкирскую контору в Вене.

Ризнич и его окружение — европейская буржуазия. После смерти Амалии Ризнич он женится на сестре женщины, которая станет потом женою Бальзака.

* * *

Пушкин увидел красоту этого города.

Рабочие руки в Одессе были нужны, паспортов не спрашивали. В Одессе было много беглых крепостных.

Современник описал Одессу этого времени: «Толпа бородачей идет с работы с пилами за спиной и апельсином в руках».

Море входит в роман в одесских строфах «Онегина» уже не как лирическое отступление. Мы видим не романтически-условную Италию и Адриатику, которую Пушкин вспоминает по стихам Байрона в первой главе «Онегина». Море одесских строф «Онегина» это настоящее море. Чтобы показать красоту Одессы, Пушкин писал о ней правду. Пушкин полюбил прекрасный приморский город.

Его будил выстрел корабельной пушки рано, когда солнце только еще поднимается над морем:

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный...

(В черновике сказано даже было «Волною горькой оживленный».)

Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.

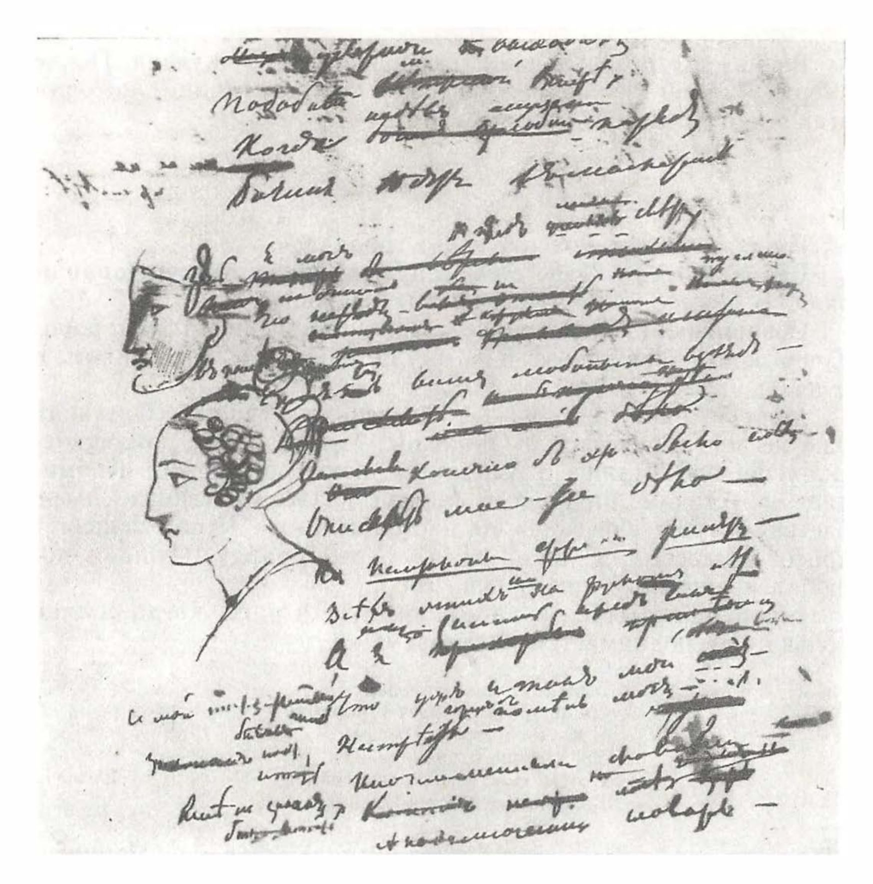
Утро в Одессе. Турецкий кофе в набережной кофейне.

Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркер выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлися два купца.

Недаром говорят, что у Пушкина поэзия чудесным образом расцветает из самой трезвой прозы.

В стихах об Одессе он вспомнит привезенное морем без пошлины легкое вино и устриц, «слегка обрызнутых лимоном».

Море всплеском волны изображалось в орнаменте на стенах Царскосельского дворца. Морские раковины были там украшением.



Профиль А. Ризнич в рукописи первой главы «Евгения Онегина». *1823 г.*

В одесских стихах «Онегина» они стали настоящими морскими раковинами. И стало можно

Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном...

Устрицы — дары моря, обрызнутые лимоном, дают впечатление юга и южного моря.

Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? — воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? Это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

Пушкин писал о музыке Россини, которая звучала в тогдашней Одессе, и он сравнивал ее звуки с шампанским, спросив шутя:

Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

И писал в одесских строфах «Онегина» о музыке серьезно.

Одесские строфы «Онегина» кончаются шумом Черного моря. При свете фонарей и звезд видится ночная Одесса и море, не заглушенное дневным шумом.

Но поздно. Тихо спит Одесса:
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит.
Лишь море Черное шумит.

* * *

Если кому-нибудь одесские строфы «Онегина» покажутся слишком беззаботными, пусть читатель вспомнит, что строфы эти — остатки уничтоженной Пушкиным главы романа. А уничтожил он эту главу потому, что она была политически нецензурна во времена Николая I. Мы узнали об этом всего десять лет назад. В не дошедших до нас строфах этой главы Онегин посещал аракчеевские военные поселения, и тут Пушкин высказал в своем романе такие мысли, которые могли, если бы поэт не уничтожил эти строки, привести его в Сибирь.

Конфликт Пушкина с наместником графом Воронцовым обостряется. Пушкин писал: «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое»[1].

В эти месяцы Пушкин «берет уроки чистого атеизма» и пишет «пестрые строфы романтической поэмы».

Эта поэма — «Евгений Онегин».

Эпиграммы Пушкина на Воронцова ходят по рукам:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Эта надежда Пушкина сбывается: ревность подстегивает Воронцова, он пишет на него доносы в Петербург. Кто-то из знакомых Пушкина замечает в нем в это время стремление уколоть — и осуждает его. Пушкин же пишет: «Меня тошнит с досады — на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость — долго ли этому быть?»

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 103.

Он подумывает «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь»[1].

Пушкин дружил в Одессе с мавром Али. Это знакомый нам по «Странствию» Онегина:

Корсар в отставке — Морали.

В Одессе Пушкин видит остатки турецкой крепости. Стоят греческие дома с растворами во двор и галереями. Эти дома могли быть местом встречи героев Байрона. Но Байрон умирает в лагере восставших греков, а Одесса полна греков, бежавших после неудачи восстания.

Пушкин пишет: «Дело Греции меня живо интересует, вот почему я и негодую, видя, что на долю этих жалких людей выпала священная обязанность быть защитниками свободы»[2].

В Одессе Пушкин последний раз сопоставляет свою судьбу с судьбой Байрона и прощается с ним.

Он выбирает другой путь. План бегства в Константинополь отброшен.

В апреле 1824 года Байрон умирает в Греции.

В одесской газете был напечатан текст прокламации временного правительства Греции о национальном трауре в день смерти Байрона.

На Пушкина Воронцов смотрит как на коллежского секретаря. Он посылает его на саранчу.

Пушкин ответил, что до сих пор он смотрел на свое жалованье как на паек ссыльного невольника. Если в нем видят мелкого чиновника, он предпочитает выйти в отставку.

Пушкин выслан в Михайловское.

Он прощается с морем.

В этот день друзей Пушкина не было в городе.

В каботажной гавани грузились три бригантины, отплывающие в Италию: «Пеликан», «Иль-Пьяченте», «Адриано».

Бригантина «Сан-Николо» брала пшеницу Джованни Ризнича для доставки в Константинополь.

* * *

Когда Пушкин писал о море, он вспоминал о женщине и о любви. В «Онегине» это море перед грозой и волны, бегущие к ногам юной женщины, которую он тогда любил.

Когда Пушкин писал о любви, он вспоминал море. Как на полотнах великих мастеров Возрождения, мы видим изображе-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 86.

[2] Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, с. 81, 324. (Подлинник по-французски).

ние женщины, Мадонны — и за нею — небо; в лирических созданиях Пушкина за женщиной видится море.

В стихотворении «Буря» он писал:

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами...
...Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

Чтобы сказать, что женщина прекраснее всего, поэт сказал, что она прекрасней даже моря в грозу. Море в этом стихотворении — *мера* красоты.

«Буря» еще стихотворение романтическое (хотя оно написано в 1825 году). В других его лирических стихах о море является не отвлеченный образ женщины, а не названная поэтом живая женщина, которую он любил.

В одном наброске 1824 года Пушкин писал:

Приют любви, он вечно полн
Прохлады сумрачной и влажной,
Там никогда стесненных волн
Не умолкает гул протяжный.

Воспоминания моря и любви соединились здесь.

Пещера — морской приют любви — шумит подобно морской раковине, когда приложишь к ней ухо.

Пещера дикая видна
В тени полу-наводнена
Исполнена прохлады влажной...

В стихотворении «Талисман», несмотря на отзвуки мусульманского Востока, за поэзией — мы знаем это — является живое воспоминание о любви. «Волшебница», которая подарила Пушкину талисман, известна нам по имени, а талисман — перстень с древнееврейской надписью на камне — Пушкин носил на пальце правой руки.

В стихотворении этом воспоминанье о любви снова является с памятью о море.

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы...

Стихотворение посвящено любви, в нем буря, грозный ураган; море в этом поэтическом мире не может быть забыто.

В строфах стихотворения «К морю», вспоминая несбывшийся побег, Пушкин прощался с океаном:

Ты ждал, ты звал... Я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

В михайловской ссылке, думая о женщине, которую он любил и оставил на берегах Черного моря, Пушкин написал одну из лучших своих элегий, — он вспоминал море под голубым небом, «заветные скалы» и берег под ними, потопленный шумящими волнами, где встречался с нею.

Пушкин писал Вяземской из Михайловского в октябре 1824 года: «Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть — журчанье ручья причиняет мне боль в буквальном смысле слова — думаю, что голубое небо заставило бы меня плакать от бешенства; но слава <богу> небо у нас сивое, а луна — точная репка...»[1]

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение за рощею сосновой
    Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
    Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
    Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвеньи не целует;
Одна... ничьим устам не предает она
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных
. . . .
. . . .
. . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
. . . .
Но если... . . . .

В Михайловском Пушкин скучал о море, шум ручья, напоминая о море, наводил на него грусть. И эта грусть соединялась с воспоминаньем о женщине, которую он любил и оставил на берегах Черного моря. Княгиню Воронцову, с которой он переписывался из Михайловского, Пушкин называл в шутку «Принцессой Бельветрилль»[2]. Воспоминание о ней соединялось с воспоминанием о море и парусах, а прозвище это Пуш-

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 114, 532.
[2] Арк. Россет по записи П. И. Бартенева — «Русский архив», 1882, № 2, с. 246.

кин ей дал потому, что однажды она, глядя на море, повторила стихи Жуковского: Вот они:

Будешь с берега уныло
Ты смотреть — в пустой дали
Не белеет ли ветрило,
Не плывут ли корабли?

Когда Елизавета Ксаверьевна Воронцова на яхте «Утеха» отправлялась из Одессы в Крым, Пушкин набросал стихи «К кораблю». Набросок Пушкина говорит в дошедших до нас стихах о любви, и образ корабля снова связан с ней в этих стихах:

Морей красавец окрыленный
Тебя зову — плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.

Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай...

* * *

Годы спустя стихотворение, вызванное воспоминанием о женщине, которую он так же страстно любил, о смерти этой женщины, снова напомнило о море:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой.
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.

Он не увидел ее больше. Она обещала ему свиданье:

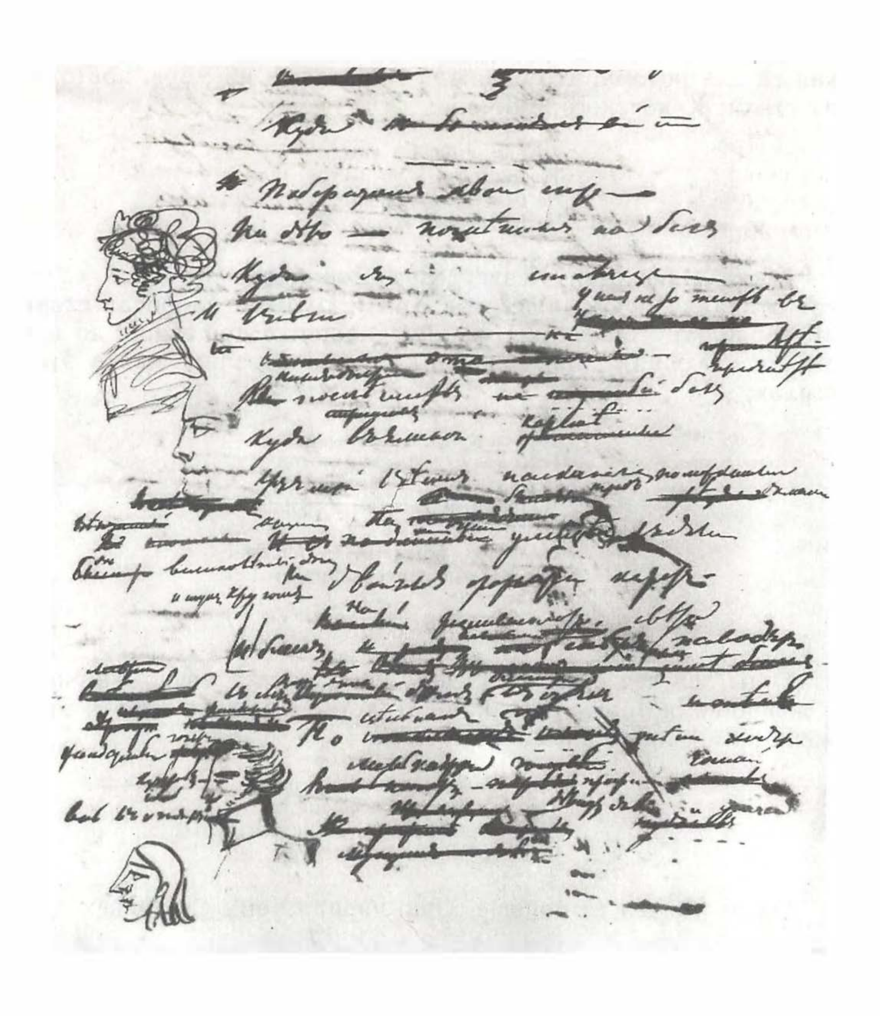
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где под скалами дремлют воды,
Заснула ты последним сном.

V

Стихотворение «К морю» можно назвать пушкинским гимном морю.

Пушкин создал его не сразу таким, как мы знаем его. Покидая море, Пушкин прощался с ним как с другом и грустил о несбывшемся побеге: об этом он писал в первоначальном стихотворении, обращенном к морю. Он говорил, что не забудет его «торжественной красы» и долго, долго будет помнить его шум.

Первоначально в этом стихотворении не было стихов о Байроне и Наполеоне, в нем не было строфы, которая начата стихами: «Мир опустел... Теперь куда же меня б ты вынес, океан...»



Профиль А. Ризнич в рукописи первой главы «Евгения Онегина». *1823 г.*

Потом стихотворение расширилось: мир, история вошли в его расширившуюся большую тему. В гимн морю вошли история и современность — строфы о Байроне и Наполеоне. Писать о море значило для Пушкина писать о мире.

Стихотворение «К морю» стало вдвое больше: в нем было семь строф, стало — пятнадцать[1].

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?

---

[1] История текста этих строф исследована Н. Измайловым в ст. «Строфы о Наполеоне и Байроне в стихотворении «К морю». — В сб.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.—Л., 1941, с. 21—29.

Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, или тиран.

«Просвещенье», то есть цивилизация, по учению Руссо, сказавшемуся еще в поэзии Байрона, нарушило счастливую, первобытную жизнь человека, создав государство. Тирания, самовластие повсюду губят счастье на земле и омрачают судьбу людей.

Море — свободная стихия. Но убежать от истории некуда. Об этом сказано уже в этой пушкинской строфе. Стихотворение «К морю» не подражанье Байрону, а прощанье с ним.

Пушкин хотел создать не картину, а образ моря. Море, создавшее дух поэзии Байрона, — тема стихов, посвященных ему Пушкиным в этом гимне.

Шуми, взволнуйся непогодой,
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим,
Как ты глубок, могущ и мрачен,
Как ты ничем неукротим.

Смерть Байрона, певца свободы, певца моря, вызвала отклик русских поэтов. Все ждали от Пушкина стихов на смерть Байрона.

Расширив тему стихотворения «К морю», Пушкин превратил его в стихотворение, отзывающееся на смерть Байрона. Едва ли он высказал в этих стихах все, что хотел. Строфа, наиболее важная для понимания идеи стихотворения, которая начинается словами: «Мир опустел...», печаталась при жизни Пушкина с многоточиями, заменяющими ее почти целиком. (И мы до сих пор не знаем всего, что было в рукописи этих стихов.)

Пушкин писал Вяземскому в октябре 1824 года, посылая ему из Михайловского стихотворение «К морю»:

«Посылаю тебе маленькое поминаньице за упокой души раба божия Байрона — я было и целую панихиду затеял, да скучно писать про себя — или справляясь в уме с таблицей умножения глупости Бирукова, разделенного на Красовского»[1].

Бируков и Красовский — это цензоры, а «писать про себя», не имея возможности напечатать полностью стихи на смерть Байрона, Пушкину было «скучно».

7 апреля 1825 года Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: «Нынче день смерти Байрона — я заказал с вечера обедню за упокой его души. Мой поп удивился моей набожности и вручил мне просвиру, вынутую за упокой раба божия боярина Георгия»[2] (Байрона звали Джордж-Гордон).

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 111.
[2] Там же, с. 160.

Это — горькая шутка Пушкина.

Настоящей гражданской панихидой была ода Рылеева «На смерть Бейрона»:

Зрю: в Моссолонге гроб средь храма
Пред алтарем святым стоит,
Весь катафалк огнем блестит
В прозрачном дыме фимиама.

...Рыдая, вкруг его кипит
Толпа шумящего народа;
Как будто в гробе том Свобода
Воскресшей Греции лежит.

В оде Рылеева появляется тема Британии, тема моря и океана времен. Она становится конкретной: судьбе «владычицы морей» в ней противостоит бессмертье Байрона — борца за свободу Греции:

Исчезнут порты в тьме времен,
Падут и запустеют грады,
Погибнут страшные армады,
Возникнет новый Карфаген...
Но сердца подвиг благородный
Пребудет для души младой
К могиле Бейрона святой
Всегда звездою путеводной...

Другой поэт-декабрист — Кюхельбекер — в оде «Смерть Бейрона» писал о Пушкине:

...У ног его шумит Евксин,
Шумит и белыми рядами
За валом приближает вал...

Море — свободная стихия — сближает в этой оде поэтов: Пушкин воспет вместе с Байроном.

Вяземский предлагал Пушкину дописать поэму Байрона «Чайльд Гарольд». Пушкин не захотел быть продолжателем Байрона. Он благоговейно писал о нем в стихотворении «К морю», а в пародийной оде, обращенной к старому поэту-графоману графу Хвостову, призывал его заменить Байрона и «лететь» в Грецию.

Пушкин писал в этой шутливой оде:

А я, неведомый пиита,
В восторге новом воспою
Во след пиита знаменита
Правдиву похвалу свою,
Моляся кораблю бегущу,
Да Бейрона он узрит кущу...

Ода Кюхельбекера «Смерть Бейрона» и даже ода Рылеева «На смерть Бейрона», в которой много сильных, прекрас-

ных стихов, стали достоянием истории. Живые строфы пушкинского гимна морю мы сегодня читаем наизусть.

В стихах об океане Пушкин вспоминает о Байроне и Наполеоне, о скале Св. Елены.

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Жуковский сказал в стихах о Наполеоне, которые Пушкин записал:

Где тот, пред кем гроза не смела
Валов покорных воздымать,
Когда ладья его летела
С фортуной к берегу пристать?

И где он?.. Мир его не знает.
Забыт разбитый истукан.
Лишь пред изгнанником зияет
Неумолимый океан.

Неумолимый, неподвластный Наполеону океан стал его темницей.

Стихи Жуковского Пушкин записал по памяти, так что они приняли вид черновика, и после смерти Пушкина отрывок был по ошибке приписан Пушкину и напечатан как незавершенное его стихотворение.

Связь пушкинских стихов о Наполеоне и о мире со стихотворением Жуковского очевидна. Но Пушкин связал образ Наполеона с темой моря и свободы иначе, чем Жуковский.

В стихотворении «К морю» Пушкин писал о «гробнице славы», о скале в пустыне океана, где «угасал Наполеон».

Когда до Пушкина дошло известие о смерти Наполеона, он записал по-французски: «18 июля 1821 известие о смерти Наполеона...»[1] (Наполеон умер 5 мая нового стиля 1821 года).

Он написал тогда оду на смерть Наполеона, где сказал:

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенен твоею славой,
Почий среди пустынных волн.

Тема моря повторилась в предпоследних строфах этой оды, которыми Пушкин дополнил оду через три года после того, как написал стихотворение «К морю».

[1] Рукою Пушкина, с. 292.

В оде «Наполеон» среди других появились новые стихи:

И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит...

И это не было только стихами. Русский военный корабль «Камчатка» под командованием В. М. Головнина стал на якорь у острова Св. Елены, когда на нем еще томился Наполеон. На шлюпе «Камчатка», совершавшем кругосветное плавание, шел друг Пушкина — Федор Матюшкин, лицейский товарищ поэта.

В стихотворении «19 октября», посвященном лицейской годовщине 1825 года, Пушкин писал, вспоминая Матюшкина:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Когда Матюшкин отправлялся в кругосветное плавание, Пушкин дал ему «длинные наставления, как вести журнал путешествия» и «долго изъяснял ему настоящую манеру записок, предостерегая от излишнего разбора впечатлений и советуя только не забывать всех подробностей жизни, всех обстоятельств встречи с разными племенами и характерных особенностей природы»[1].

Друг Пушкина и друг Матюшкина лицеист Кюхельбекер, будущий декабрист, написал стихотворное послание:

Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море.

Матюшкин вернулся из кругосветного плавания, совершенного на шлюпе «Камчатка», в Кронштадт 5 сентября 1819 г.[2], когда Пушкин жил в Петербурге. И трудно предположить, что, рассказывая о совершенном плавании, он не рассказал Пушкину о подробностях посещения острова Св. Елены.

«Полнощный парус» — русский военный корабль бросил якорь у знойного острова, на котором угасал побежденный Наполеон. Командир корабля капитан Головнин описал посещение им острова в книге «Путешествие вокруг света на воен-

---

[1] П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина, с. 165.

[2] О Матюшкине, который по возвращении из кругосветного плавания на шлюпе «Камчатка» участвовал в 1820—1824 годах в работах экспедиции по описанию берегов Ледовитого океана и Восточной Сибири под начальством лейтенанта Ф. Врангеля (причем один из описанных им мысов назван мысом Матюшкина), а под конец жизни был полным адмиралом, см. примеч. к кн.: Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, с. 317, и кн.: Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина, т. II. СПб., 1912.

ном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 гг.», изданной в двух частях в 1822 году. Еще до того как записки Головнина вышли в свет отдельной книгой, они печатались в журнале «Сын Отечества». Отрывок, названный «Остров Св. Елены» (из записок В. М. Головнина), напечатан был в «Сыне Отечества», часть 68 за 1821 год, с. 265—276. Номер этот вышел в середине февраля 1821 года, и записки Головнина о посещении острова Св. Елены, надо думать, были прочитаны Пушкиным.

В записках Головнина рассказано о Наполеоне, обросшем бородой, в халате, с красной шалью на голове, с подзорной трубой в одной руке, с бильярдным кием — в другой. Это не тот Наполеон-победитель, которого изображали на батальных картинах в сером походном сюртуке смотрящим в зрительную трубу на поле боя.

В записках русского капитана рассказано о том, что Наполеон жалуется на дурное содержание, и сказано о том, как дорога баранина на острове Св. Елены.

Байрон писал в сатире «Бронзовый век» о Наполеоне: «Смотрите, чем все кончилось на этом пустынном острове... Улыбнитесь, узнав, что смиритель народов теперь брюзжит из-за урезки порций, заплачьте, видя, как он жалуется на то, что получает к обеду меньше блюд и вин... Тот ли это человек, который бичевал царей и задавал им пиры?»

Толстой впоследствии в «Войне и мире», изображая Наполеона, сделал все, чтобы показать «прозу» в его облике. Известно, что в Наполеоне Толстого нет ничего героического. Это маленький человек, которому камердинер растирает щеткой жирную грудь, брызжа на нее одеколоном.

Пушкин писал в стихах о Наполеоне, каким он стал на острове Св. Елены:

Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламя бледное нахмуренных очей
Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя
В морях казненного по манию царей.

Тучный, рано поседевший Наполеон с тяжкой поступью, с морщинами ленивой, вынужденной праздности на лице... Пушкин видит все это.

А вариант этих стихов говорит об этом Наполеоне, называя его не изгнанным «героем», а изгнанным тираном:

Не обличали в нем изгнанного тирана
В темнице океана
Судьбой казненного, во мщение царей.

В поэзии Пушкина Наполеон герой и тиран одновременно. В оде «На смерть Наполеона» сказано:

И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

И в следующей строфе идут стихи, которые мы упоминали:

И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит...[1]

В рукописи оды «Наполеон» стихам предшествует программа оды, где сказано: «Остров Елены — там он думал об России». Думал, но никогда не говорил, пишет Головнин в «Записках». Однажды только Наполеон сказал, что лучше было бы ему умереть в Москве. Фраза эта так многозначительна, что Головнин включил ее, когда издавал свои «Записки» отдельной книгой.

Байрон писал в «Оде к Наполеону Бонапарту»: «Спеши на свой угрюмый остров, смотри там на море: эту стихию не смутит твоя улыбка, море не было тебе подвластно никогда». В переводе В. Брюсова эти стихи гласят:

Ты не смутишь улыбкой море,
Им не владел ты никогда...

«Непобедимый» Наполеон был побежден в России и никогда не властвовал над морем. Пушкин назвал его тираном «в темнице океана».

В стихотворении «К морю» Пушкин называл еще этого героя-тирана властителем дум поколенья, он назвал имя Наполеона рядом с именем Байрона. Пройдут годы, и от Байрона, о котором Пушкин сказал, что он был создан духом моря и был не укротим ничем, как море, и от стихов о Наполеоне, угасшем в темнице океана, Пушкин придет к Петру — гению, покорившему море, к новому гению моря, созданному Россией. И Петр станет властителем дум поэта.

От моря Байрона Пушкин пришел в поэзии к морю Петра. Когда-то он сказал в оде «На смерть Наполеона»:

Почий среди пустынных волн.

Это — стих о Наполеоне, ушедшем в прошлое. Петра Пушкин изобразит, обращенным к будущему:

---

[1] В письме к брату Льву в феврале 1825 года Пушкин писал об изданных в Париже «Записках Наполеона»:

«На своей скале (прости боже, мое согрешенье!) Наполеон поглупел — во-первых, лжет, как ребенок (т. е. заметно <примеч. Пушкина>)...» Речь идет о «Записках Наполеона», изданных в Париже в 8-ми т. в 1822—1823 гг. генералами, разделявшими пребывание Наполеона на острове Св. Елены (См. кн.: Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I, с. 400).

На берегу пустынных волн
Стоял *он,* дум великих полн,
И вдаль глядел...

VI

Вспоминая прощанье с Одессой, он писал о себе в одной из онегинских строф, оставшихся в рукописи:

...А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож,
И, слава богу, от вельмож
Уехал в сень лесов тригорских,
В далекий северный уезд
И был печален мой приезд.

Пушкин, приехав в Михайловское, в октябре 1824 года писал В. Ф. Вяземской:

«Все, что напоминает мне море, наводит на меня грусть...»[1]

Позднее он писал из Михайловского Вяземскому 27 мая 1826 года:

«Мы живем в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры... то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство»[2].

В михайловской ссылке Пушкин воображал паровые корабли, «приходя в бешенство» оттого, что не видит их. Через несколько лет в прозаическом отрывке «Участь моя решена. Я женюсь...», отражающем действительные переживания Пушкина, он писал:

«Если мне откажут, думал я, поеду в чужие краи, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся — морской свежий воздух веет мне в лицо; Я долго смотрю на убегающий берег. — Моя родная земля, прощай!»[3]

Паровой корабль — «пироскаф» с высокой трубой, идущий по Неве под огромным флагом мимо Петропавловской крепости, можно было увидеть в Петербурге в годы михайловской ссылки Пушкина. Пушкин видел в то время еще только парусные корабли, а паровые воображал, живя в глухом лесном краю.

Вспоминая виденных в Одессе «купцов» и владельцев кораблей, ожидающих выгоды от

Неурожая иль войны
Или подобной новизны, —

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 114, 532. (Подлинник по-французски.)
[2] Там же, с. 280.
[3] Там же, т. VIII, с. 407, 1068.

Пушкин вспоминал, может быть, стихи юношеской оды Дельвига:

Флот, с несчетным богатством Америки,
С тяжким золотом, купленным кровию,
Не взмущает двукраты экватора
Для него кораблями бегущими...

В Михайловском Пушкин написал свою «Сцену из «Фауста», обозначив в ней место действия и участников его: «Берег моря. Фауст и Мефистофель».

Мы говорили о том, что Пушкин начал перевод поэмы Саути, посвященной открытию Америки, которое совершено было, по преданию, за три века до Колумба Уэльским принцем Медоком. Пушкин видел в открытии Америки событие, о котором можно, кажется, сказать словами Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света». Но в стихах о Фаусте — герое новой эпохи — Пушкин сказал о несчастьях, принесенных человечеству, это эпоха, которую мы называем эпохой капитализма.

Фауст.

Что там белеет? Говори.

Мефистофель.

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь: она
Недавно вам подарена.

Фауст.

Все утопить.

Мефистофель.

Сейчас.

(Исчезает.)

Все утопить! — трехмачтовый испанский корабль, три сотни мерзавцев, бочки золота, заодно обезьян и неизвестные раньше Европе подарки Америки: шоколад и сифилис — «модную болезнь».

Вспоминая, как он жил в Михайловском, десять лет спустя Пушкин писал:

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал печально <и> глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...

Оно меж нив и пажитей зеленых
Синея стелется залив смиренный.
Ни тяжкие суда Торговли алчной,
Ни корабли, носители громов
Ему кормой не рассекают вод —
У берегов его не видит путник
Ни гавани кипящей, ни скалы —
Венчанной башнями — оно синеет
В своих брегах пустынных и смиренных...

Пушкин писал в этих стихах об алчной торговле, вспоминая кипящую гавань и боевые корабли, увенчанную башнями скалу — морскую крепость...

Но в памяти поэтов море оставалось стихией свободы. 31 июля 1826 года Вяземский написал Пушкину из Ревеля письмо. Оно начиналось новым его стихотворением «Море». Стихотворение это знаменательно: оно связано с декабристами, с казнью вождей восстания. Вяземский писал о волнах моря:

И в наши строгие лета,
Лета существенности лютой,
При вас одних, хотя минутой
Вновь забывается мечта!

«Лютая существенность» — это лютая действительность. Поэт вновь обращается к волнам:

В вас нет следов житейских бурь,
Следов безумства и гордыни,
И вашей действенной святыни
Не опозорена лазурь.
Кровь братьев не дымится в ней!..

Он говорит о волнах моря:

Но вы все те ж, что в первый день,
Как солнце первое в вас пало,
О вы, незыблемых небес
Ненарушимое зерцало!

...Волшебно забывает ум
О настоящем, мысль гнетущем,
И в сладострастьи стройных дум
Я весь в протекшем, весь в грядущем!

Поэт хочет забыть о настоящем, уйти в прошедшее и будущее, потому что он жертва «существенности» — действительности; он зовет поэтов к морю:

Сюда, поэзии жрецы,
Сюда существенности жертвы,
Кумиры ваши здесь не мертвы,
И не померкли их венцы.

Посылая Пушкину эти стихи, Вяземский писал:

«Вот тебе, моему барину на Парнасе, мой смиренный ре-

вельский оброк... Ты скажешь qu'il faut avoir le diable au corps pour faire des vers par le temps qui court... <что надо быть одержимым, чтобы по нынешним временам сочинять стихи>. Это и правда! Но я пою или визжу сгоряча, потому что на сердце тоска и смерть, частное и общее горе»[1].

Пушкин отвечал Вяземскому прозой и стихами.

Он писал:

«Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порыв из вещественности — драгоценен для души. Критику отложим до другого раза. Правда ли, что Николая Тургенева привезли на корабле в Петербург? Вот каково море наше хваленое! Еще таки я все надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей, ужасна»[2].

Пушкин писал о казни и каторге, на которую осуждены были декабристы — «друзья, братья, товарищи», и спрашивал о декабристе Николае Тургеневе, который не участвовал в восстании потому, что находился в Лондоне: правда ли, что он выдан Англией Николаю I и привезен в Петербург на корабле? На стихи Вяземского, воспевающие море, Пушкин по поводу этого слуха отвечал: «Вот каково море наше хваленое». И писал в стихах:

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

Десятилетие спустя в стихотворении «Памятник» Пушкин сказал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

В стихах, которыми он отвечал Вяземскому, Пушкин назвал век Николая I не жестоким, а гнусным.

Вяземский славил море — свободную стихию, неподвластную человеку, и волны, в которых не дымится кровь ближних. Пушкин в сердцах отвечал ему:

...В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 289.
[2] Там же, с. 291.

В его стихах дело шло не о стихии, а о том, чему заставляет служить ее человек.

От «гнусного века» Николая Пушкин обращался мыслью к Петру. Он призывал Николая в «Стансах» помиловать декабристов и следовать Петру:

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен,
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

Эти надежды Пушкина не оправдались, но Петр, о котором он писал в этих стихах, человек «всеобъемлющей души»: «То академик, то герой, То мореплаватель, то плотник...» — навсегда остался героем Пушкина.

А образ моря снова явился Пушкину, когда он написал стихотворение, посвященное исходу восстания декабристов и своей удивительной судьбе.

Когда-то в оде Горация, обращенной к кораблю, корабль был аллегорией Римской республики:

О корабль, отнесут в море опять тебя
Волны. Что ты? Постой. Якорь брось в гавани.
    Неужели ты не видишь,
    Что твой борт потерял уже
Весла, бурей твоя мачта надломлена,
Снасти жутко трещат, скрепи все сорваны,
    И едва уже днище
    Может выдержать властную
Силу волн...[1]

В стихотворении Пушкина «Арион» образ корабля явился, когда он писал о декабристах:

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
Вглубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн, —
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик, и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

Известно, что, назвав это стихотворение «Арион», Пушкин прикрыл классическим именем самое современное содержание.

[1] Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского.

В варианте этих стихов, говоря о своем спасении, Пушкин написал сначала:

Гимн *избавления* пою...

В другом отброшенном варианте, уводящем читателя к мифу об Арионе — поэте, который был спасен дельфином, Пушкин написал:

Спасен дельфином я пою...

Пушкин напечатал это стихотворение только через три года после того, как написал его и в нем сказал:

Я гимны *прежние* пою...

Герцен писал о Пушкине, который «пел пловцам» и один уцелел при крушении:

«Только звонкая и широкая песнь Пушкина раздавалась в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, полнила своими мужественными звуками настоящее и посылала свой голос в далекое будущее»[1].

VII

Пушкина сближала с народом поэзия: в Михайловском он осознал это. Здесь Пушкин снова стал слушать русские сказки и народные песни. Позднее он передал Петру Киреевскому, известному собирателю русских народных песен, пятьдесят записанных им песен. Передавая эти песни, Пушкин сказал: «Когда-нибудь, от нечего делать, разберите-ка которые поет народ, и которые *смастерил я сам*?» «И сколько ни старался я разгадать эту загадку, — говорил П. В. Киреевский, — никак не могу сладить»[2].

Из трех песен о «Стеньке Разине», которые Пушкин написал в Михайловском, первая начинается стихами:

Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые...

Вторая песня начинается словами:

Ходил Стенька Разин
В Астрахань-город...

---

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. VII, М., 1956, с. 214—215.
[2] Акад. Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, с. 293 (Цит. по кн.: Пушкин. Письма. Под ред. Б. Л. Модзалевского, т. III, с. 508).

А третья песнь — морская:

То не конский топ, не людская молвь,
Не труба трубача с поля слышится,
А погодушка свищет, гудит,
Свищет, гудит, заливается.
Зазывает меня, Стеньку Разина,
Погулять по морю, по синему:
«Молодец удалой, ты разбойник лихой,
Ты разбойник лихой, ты разгульный буян,
Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю, по синему.
Пригоню тебе три кораблика:
На первом корабле красно золото,
На втором корабле чисто серебро,
На третьем корабле душа-девица».

Композитор А. Н. Верстовский (сочинивший впоследствии кантату на стихи Пушкина «Пир Петра Первого») вспоминал песню, «которую часто игрывал покойному Пушкину и которая приводила его в восторг»[1].

Вот эта песня, которая так трогала Пушкина:

Как на матушке на Неве реке,
На Васнльевском славном острове
Молодой матрос корабли снастил
О двенадцати тонких·парусах;
Тонки белые полотняные,
Полотняные шиты браные.
Как увидела красна девица
Из высокого нова терема
Из косящата из окошечка,
Из хрустального из-за стеклушка,
Уж взяла ведра, за водой пошла,
За водой пошла за холодною;
Почерпнув воды, ведра ставила,
А сама она слово молвила:
«Ты зачем, матрос, корабли снастишь
О двенадцати тонких парусах?»
«Ах! ты, душенька красна девица,
Не охотой я корабли снащу
О двенадцати тонких парусах,
А по царскому по велению».

Песня эта грустная. Недаром же Пушкин писал:

От ямщика до первого поэта
Мы все поем уныло...

Но в «Пире Петра Первого» Пушкин вспомнил не эту песню, он вспомнил, как резво вьются над Невой флаги, вспомнил звучные песни гребцов.

---

[1] Щукинский сборник, вып. 9-й. М., 1910, с. 372.

О русских народных сказках Пушкин в Михайловском писал:

«Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!»[1]

В 1824 году Пушкин написал вступление к поэме «Руслан и Людмила», «У лукоморья дуб зеленый...», которое появилось во втором издании поэмы:

Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской...

Через несколько лет Пушкин написал свою «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».

Узнав о том, что Пушкин окончил «Сказку о царе Салтане», молодой Гоголь писал Жуковскому: «Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии...»[2]

Мы не греки и не римляне...
Нам другие песни надобны, —

писал еще Карамзин. Переводчик Гомера Гнедич писал Пушкину «по прочтении сказки его о царе Салтане»:

Пушкин, Протей
Гибким твоим языком и волшебством твоих песнопений!
Уши закрой от похвал и сравнений
Добрых друзей;
Пой, как поешь ты, родной соловей!
Байрона гений, иль Гете, Шекспира —
Гений их неба, их нравов, их стран.
Ты же, постигнувший таинства русского духа и мира,
Пой нам по-своему, русский Баян!
Небом родным вдохновенный,
Будь на Руси ты певец *несравненный*.

Последнее слово этого послания, обращенного к Пушкину, *несравненный* Гнедич подчеркнул. Высоко понимая назначение поэзии, поэт, на надгробном памятнике которого надпись гласит: «Гнедичу, обогатившему русскую словесность переводом Омира» (то есть Гомера), отказывался сравнивать гений Пушкина с гением Байрона, Гете и Шекспира. По прочтении «Сказки о царе Салтане» Гнедич писал, что Пушкин постиг «таинства русского духа и мира».

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XIII, с. 121.
[2] Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. в 14-ти т., т. X, с. 207.

Пушкин отвечал Гнедичу стихами:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали...

Кончается это послание стихами о «прямом» — истинном поэте:

То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана.

В черновике же было сказано:

И с детской радостью меж тем внимает он
О подвигах царя Салтана
(И сказке про (?) царя Салтана...)

«Сказка о царе Салтане» была воспринята как новое явление мировой поэзии.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете,
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет...»

В сказке этой — красота русского моря:

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли...

В этой пушкинской сказке с пристани палят пушки и есть даже подзорные трубы:

Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит.

Чудеса нового мира входят в сказку, не разрушая ее.

Изображение моря в стихах этой сказки — новое. Верно

заметил один современный нам поэт, что в четырех стихах ее видно вдруг все небо и все море:

В синем море звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет...

«Сказка о рыбаке и рыбке», едва ли не лучшая из сказок Пушкина, написана в один месяц с поэмой «Медный всадник». Она рассказывает, в отличие от «Сказки о царе Салтане», уже не о царе, который женится на простой девушке, и не о сыне его, славном и могучем богатыре князе Гвидоне, который женится на царевне Лебеди, а говорит с простотой поэзии, раньше неслыханной, о простых людях, о том, как старуха по глупой жадности захотела стать «владычицей морскою», «чтобы жить ей в окияне-море»... И о том, как она оказалась у разбитого корыта:

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.

За семь лет до того, как была написана эта сказка, Пушкин писал о Байроне:

Шуми, взволнуйся непогодой,
Он был, о море, твой певец!

В сказке «О рыбаке и рыбке» море волнуется оттого, что жадная до глупости старуха недовольна мужем:

Вот пошел он к синему морю
(Помутилось синее море)...

В другой раз:

Старичок отправился к морю
(Почернело синее море)...

Напоследок:

Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют...

Пушкин пришел в поэзии к морю Петра, к морю русских сказок и песен. В стихотворении «К морю» Пушкин писал о Байроне, что он, как море, был «глубок, могущ и мрачен». С годами он увидел, что Байрон понял и изучил один только характер — именно свой. И этим он ограниченней Шекспира, поэзия которого охватывает мир — историю и внутренний мир человека.

В мировой поэзии существует море «Одиссеи», о которой Гейне так хорошо сказал, что страницы ее шумят морем. Существует море Шекспира, потому что даже в тех созданиях Шекспира, где нет моря, мы слышим его, дышим воздухом моря так же, как слышим морской шум, приближаясь к морю и не видя еще его, видим ракушки на земле, которая когда-то была морским дном.

И существует море русской поэзии, которое создал Пушкин.

VIII

В дельте Невы встали огромные ростральные колонны с каменными изваяниями Нептуна и Амфитриды у подножия. Они — морской символ города, созданного Петром. Вода каналами входила в Адмиралтейство, и корабли швартовались у его стенки, вода подходила к Таврическому дворцу. А в наводненье

> К решеткам хлынули каналы,
> И всплыл Петрополь, как тритон,
> По пояс в воду погружен.

Петербург — как Тритон, морское божество, — город встающий из воды. Когда смотришь на ростральные колонны, кажется, что море только отступило от их подножия и еще вернется.

В наводненье

> Стояли стогны озерами,
> И в них широкими реками
> Вливались улицы. Дворец
> Казался островом печальным...

Но наводненье схлынуло. Петр — победитель моря, созданный им город стоит —

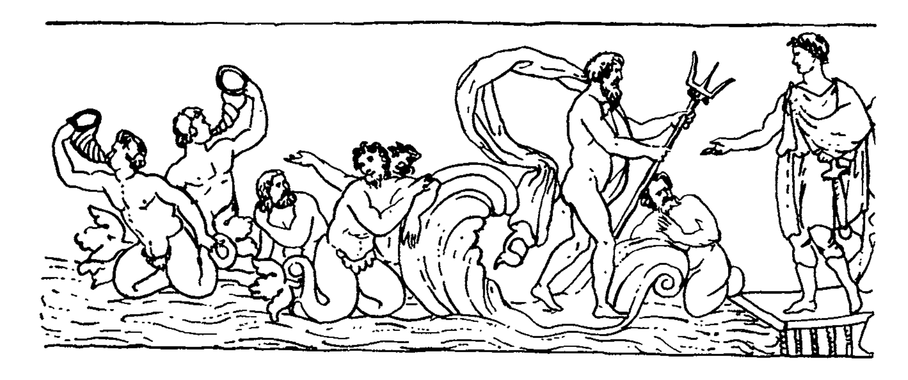
> Неколебимо, как Россия.

И в этом новая красота, которую увидел Пушкин.

Петр — создатель Петербурга и создатель русского флота.

На новом здании Адмиралтейства, над аркой, Пушкин видел замечательный горельеф работы Теребенева, изображающий заведение флота в России. Вот как описан он в «Отечественных записках» на 1825 год (№ 66, с. 23):

«Вы видите Нептуна, вручающего Петру Великому трезубец в знак владычества его над морями; подле основателя Российской Империи стоит Минерва и смотрит на берег Невы... Летящая слава несет флаг Российский вдаль океана, на котором уже виден новый флот, окруженный веселым хороводом вымышленных морских божеств».



И. И. Теребенев «Восстановление флота в России». *Горельеф.*

Петр — создатель русского флота — тема классическая для русской поэзии XVIII века.

Неоконченная поэма Ломоносова «Петр Великий», которой старались подражать все его эпигоны, начинается стихами:

Пою премудрого российского героя,
Что грады новые, полки и флоты строя...

И в первой же песне поэмы изображена буря на Белом море, которую претерпевает Петр.

В поэме Ломоносова описаны чертоги морского царя, который говорит Петру:

Твои, сказал, моря, над нами царствуй век,
Тебе течение пространных тесно рек:
Построй великий флот; поставь в пучине стены...

Но не запоздалые подражатели Ломоносова, а Пушкин создал в русской поэзии образ Петра, «утверждающего морское величие России».

Адмирал Шишков, ставший потом президентом Российской Академии и ратовавший за «старый» слог российской словесности против «нового слога», восхищался поэмой поэта-моряка Шихматова «Петр Великий».

Сергей Тимофеевич Аксаков вспоминает, как Шишков читал вслух эту архаическую поэму:

«Читая, Шишков нередко останавливался и восклицал: «Какое великолепие! Какая красота!..

Ну, послушайте, какое великолепное описание кораблестроения:

Туда, по воле человека,
Корнисты севера сыны
Надменны долготою века,
Стеклись с кремнистой вышины,



на аттике центральной башни здания Адмиралтейства. 1822 г.

И там искусством искривленны,
Да с бурями воюют вновь...

Последний стих так многозначителен, что я не знаю ему равного. Я также ничего не знаю лучше, во всех мне известных литературах, следующего описания спуска корабля:

При звуках радостных, громовых,
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых
Дуб — тело, ветр — его душа,
Хребет его — в утробе бездны;
Высоки щоглы в небесах
Летит на легких парусах,
Отвергнув веслы бесполезны;
Как жилы напрягает снасть,
Вмещает силу с быстротою,
И, горд своею красотою,
Над морем восприемлет власть.

Тут есть такие три стиха (4, 5 и 6), которым должны позавидовать и древние и новые стихотворцы».

Чтение в таком роде, замечания и рассуждения Шишкова продолжались часа два»[1].

Среди стихов, которые восхищали Шишкова, есть в самом деле хорошие.

Зрелый Пушкин начал стихотворение на спуск боевого корабля. Оно относится к числу замечательных, хотя и незаконченных стихотворений Пушкина. Жаль, что оно недостаточно известно.

Когда он собрался издавать политическую и литературную газету под названием «Дневник», в макет, который должен был

[1] С. Т. Аксаков. Собр. соч. в 2-х т., т. I. М., 1909, с. 178, 227 («Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове»).

показать вид будущей газеты Пушкина, оказалась вклеена среди других сообщений, взятых из петербургских газет, и следующая заметка:

«Санкт-Петербург 2 сентября.

В Четверток 1-го сентября спущены на воду суда, построенные на Охтинской верфи... 44-х — пушечный Фрегат «Паллада» и транспорт «Виндава»... заложенные 2 ноября 1831 года... Фрегатом командует капитан-лейтенант Нахимов...»

Эта заметка о спуске на воду того самого фрегата «Паллада», на котором совершил кругосветное плавание Гончаров, и это тот самый капитан-лейтенант Нахимов, который вошел в историю великим русским адмиралом... Он был моложе Пушкина всего четырьмя годами, но Пушкин погиб рано, а Нахимов прославился в Севастополе поздней, и мы не вспоминаем, что они — современники.

Спуск боевого корабля Пушкин, сказавший, что Россия вошла в Европу как спущенный корабль, видел и описал. Вот эти стихи, написанные в октябре 1833 года:

Чу, пушки грянули! крылатых кораблей
Покрылась облаком станица боевая,
Корабль вбежал в Неву — и вот среди зыбей,
Качаясь, плавает, как лебедь молодая.

Ликует русский флот — широкая Нева
Без ветра, в ясный день глубоко взволновалась,
Широкая волна плеснула в острова...

Дым пушечного салюта, закрывший паруса, рассеялся, спущенный корабль вбежал в Неву: мы видим его быстроту и тяжесть, превращенную в силу. Бег корабля, как пушечный залп, волнами отдается в Неве. И вот корабль уже плывет, качаясь среди зыбей:

Ликует русский флот!

Не в первый раз Пушкин славил русский флаг.

Он назвал в стихах Россию родным кораблем. А когда он писал: «Россия вошла в Европу как спущенный корабль при стуке топора и при громе пушек», — он дал старому образу «Корабль государства» новый смысл. Это уже не аллегория. Славный труд и готовность к бою слышатся в стуке топора и в громе пушек: Россия — корабль, движение которого Пушкин назвал «державным бегом».

Когда Пушкин вспомнил в стихах о позднем заговоре врагов дела Петра, он сказал:

Россию двинули вперед
Ветрила те ж средь тех же вод!

Пушкин с детства читал «Одиссею» Гомера и «Энеиду» Вергилия, взрослым он оценил Данте, который об руку с Вер-



Петербург.
Литография Васильева. 1820 г.

гилием совершил свое путешествие в Ад и услышал рассказ о последнем плавании томящегося там Одиссея.

Описания моря, флотов и кораблей Пушкин читал в великих поэмах прошлого. Он не стал подражателем их, хотя знал поэзию «величавой древности», о которой помнил, создавая новую поэзию моря.

В поэме о многостойком Одиссее слышатся жалобы и необыкновенная любовь к морю, несмотря на беды, которыми она грозит:

> Нет, ничего, утверждаю, сильней и губительней моря...

Волшебные же корабельщики, феакийцы, говорят в «Одиссее» о веселье мореплавателей.

> Нам, феакийцам, не нужно ни луков, ни стрел, вся забота
> Наша о мачтах и веслах и прочных судах мореходных;
> Весело нам в кораблях обтекать многошумное море...[1]

«Энеида» Вергилия рассказывает о бурях и морских боях, пожарах и сраженьях флотов и о гонках судов.

Вот как описана в «Энеиде» решившая судьбу античного мира битва при Акциуме, изображенная на волшебном оружии, которое Вулкан выковал Энею. «Величавые создания древности», — говорил Пушкин, вспоминая античную поэзию, где много отдано морю.

---

[1] Перевод В. А. Жуковского.

Образ был посреди широко бурлящего моря
Весь золотой и лазурь кипела белой пеной...
Можно было узреть в средине обитые медью
Флоты, Актийскую брань...
Разом ринулись все, и пеною вдруг закипело
Веслами потрясено и носами трехзубыми море...
Так напирают вожди с кораблей тяжелых, как башни,
Сыплют и паклю в огне, и летучие стрелы железа...[1]

Корабли, тяжелые как башни, идут друг на друга, раскачиваясь на волнах. Летит зажигающий корабль огонь.

Гонка судов описана в другой песне «Энеиды»:

Первыми входят в борьбу, тяжелыми веслами равны
Флота изо всего четыре избранных киля...
Силой громадной Гиант громадную гонит «Химеру»
Город на вид...

Гиант гонит огромный, как город, корабль «Химеру», «...а синею правит «Скиллой» Клоанф...» ...«К суше корабль добежал и в заливе укрылся глубоком»[2].

* * *

Боратынский писал:

Человеку непокорно
Море синее одно
И свободно и просторно
И приветливо оно
И лица не изменило
С дня, в который Аполлон
Поднял вечное светило
В первый раз на небосклон.

Море не изменилось, но менялось отношение человека к морю.

Те же созвездия, что светили Одиссею и спутникам Энея, светят нашим кораблям.

В стихах, обращенных к кораблю, Гораций удивляется дерзости первого мореплавателя, он восхищается ею, робея. Он сравнил его с Прометеем, который похитил с неба огонь, и с Дедалом, впервые поднявшимся в небо. И с Гераклом, сошедшим без страха в подземное царство. Мореплаватель — слава все решившегося изведать рода людей.

Вот стихи из оды Горация, в которой он говорит о мужестве первого мореплавателя:

Силу дуба, тройную медь
Тот у сердца имел, первый кто выпустил
В море бурное утлый струг
. . . .

[1] «Энеида», кн. VII, с. 671 и след.
[2] «Энеида», кн. V. Перевод В. Брюсова и С. Соловьева.

Тщетно выделил мудрый бог,
С океанской волной несогласимую
Сушу — лодки безбожные
По запретным водам дерзко запрыгали.

У Овидия в книге стихов, которая так и называется «Жалобы», Тристиа боится моря и молит о спасении.

В послании к Овидию Пушкин писал:

Я видел твой корабль игралищем валов
И якорь верженный близ диких берегов...

В этих стихах Пушкин вспоминает стихи Овидия, который сослан был Цезарем на берега Черного моря, куда через два тысячелетия сослан был из Петербурга Пушкин. Вот стихи Овидия, которые вспоминает Пушкин:

Боги морей и небес — что кроме молитв мне осталось? —
Вы сотрясенной ладьи части щадите крушить...
...Я напрасно бедняк слова бесполезные трачу
Говорящему в рот плещет лихая волна...
...И ударяет волна в боковые доски не легче,
Чем балиста[1] большой тяжестью стены разит...

В поэме Данте томящийся в Аду Одиссей рассказывает о своем последнем злополучном плавании. Он наказан за то, что его не удержала любовь к родной Итаке и он вышел в море за пределы тогдашнего мира, за Геркулесовы столпы. Он вышел со своими спутниками на утлом корабле в океан, за которым — Америка, которую суждено будет открыть Колумбу, и наказан за дерзость. Рассказ его кончается словами:

И море, хлынув, поглотило нас.

Пушкин скажет:

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы...

Морской бой и сожжение флота явятся в его стихах лаконичней, чем у Вергилия. Он говорит в стихах о своем деде:

Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вставала
И пал впервые Наварин.

Он скажет о русском флотоводце Орлове:

Вот, вот могучий вождь полунощного флага,
Пред кем морей пожар и плавал, и летал...

[1] Балиста — метательная машина, кидающая громадные камни в стены осажденной крепости.

Чесменская победа увековечена в русском искусстве ростральной колонной, которую воспел юный Пушкин; картины, изображающие сожжение вражеского флота, украшали петергофский дворец, разрушенный нашими врагами.

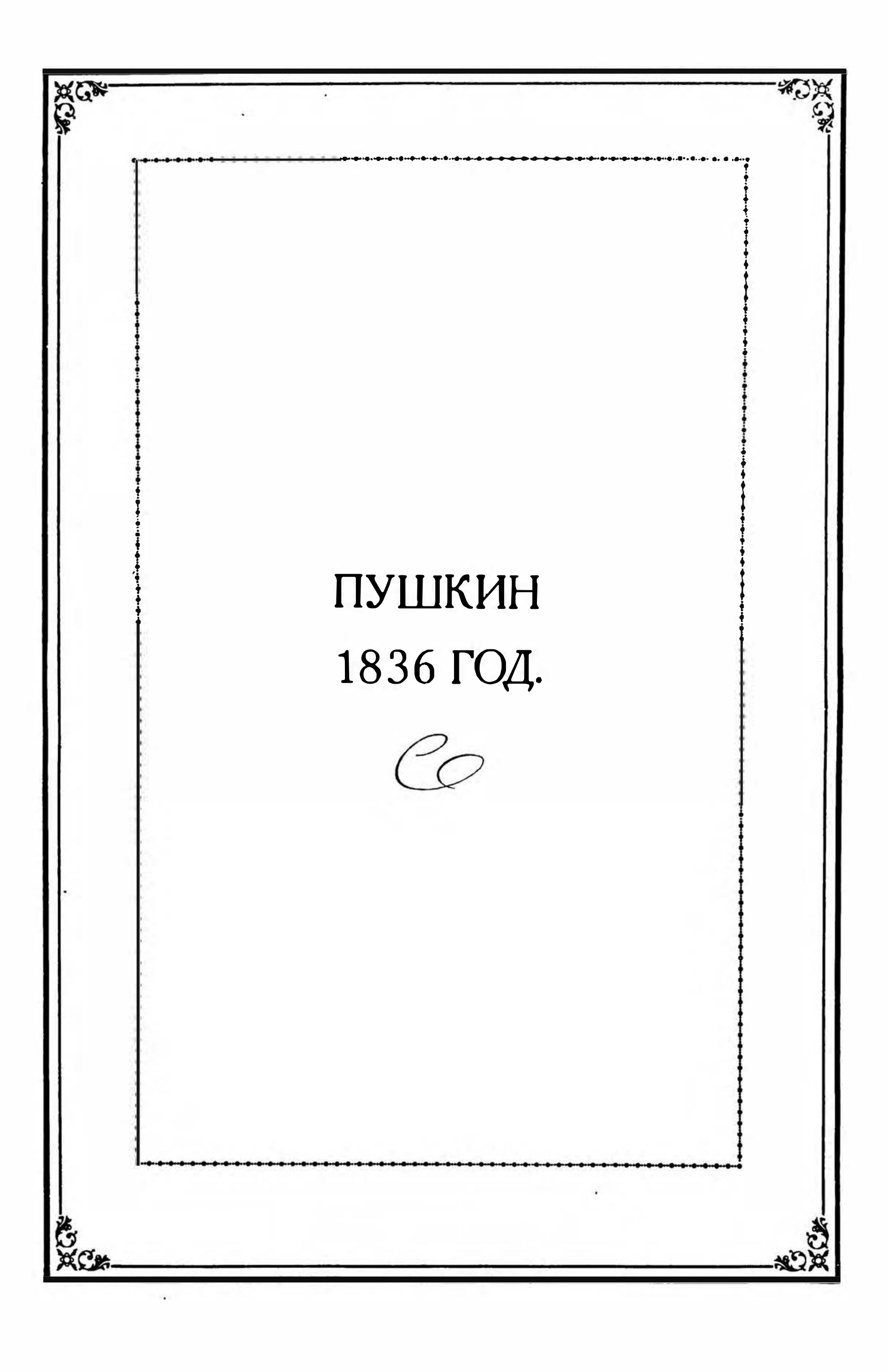
Рассказывают, что, когда Орлов заказал в Италии картину, изображающую этот бой, художник ответил, что никогда не видел, как горит корабль, и тогда в море выведен был старый фрегат и зажжен.

Отпылали корабли, не знаем, уцелели ли картины, изображающие Чесменский бой. Стоят по-прежнему ростральные колонны, посвященные этой победе, в Царском Селе, которое названо теперь городом Пушкина, а воспоминанье об этой морской победе звучит в пушкинских стихах[1].

1943—1944, 1951

---

[1] Работа «Море в поэзии Пушкина» впервые была доложена автором 5 июля 1944 г. в Пушкинской комиссии Союза советских писателей СССР, затем 17 апреля 1945 г. на заседании Военной комиссии ССП (См. «Литературная газета», 1945, № 17) и 26 марта 1946 г. на заседании группы по изучению жизни и творчества Пушкина в Институте мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.



ПУШКИН
1836 ГОД.

«Памятннк». Черновая рукопись Пушкина. *1836 г. Фрагмент.*

«ПАМЯТНИК»

Мнение профессора: не Шекспир
главное, а примечание к нему...

А. Чехов.
Из записной книжки



азговор у памятника Пушкину. Действующие лица: Ведущий, Памятник Пушкину, Вересаев, Сакулин, Гершензон[1].

Памятник Пушкину. Милостивые государи! Прошу наконец исправить историческую опечатку на моем постаменте. Сколько раз об этом говорилось!

Ведущий. Не волнуйтесь, Александр Сергеевич. Прошу Вас, изложите обстоятельства дела.

Памятник Пушкину. На последнем году жизни в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» я сказал:

> И долго буду тем *любезен я народу,*
> Что чувства добрые я лирой пробуждал,
> Что в мой жестокий век
> восславил я *Свободу...*

И что же? После моей смерти Жуковский, разбирая по высочайшему повелению мои рукописи, из дружбы ко мне, — дело было во времена Николая Павловича, — исказил эти стихи. Вместо слов:

> И долго буду тем любезен я народу...
> Что в мой жестокий век восславил я *Свободу...* —

он написал:

> И долго буду тем *народу я любезен...*
> *Что прелестью живой стихов я был полезен.*

[1] См.: М. Гершензон. «Памятник». — В кн.: Мудрость Пушкина. М., 1919; П. Н. Сакулин. Памятник нерукотворный. — В сб.: Пушкин. (Сб. 1-й Пушкинской комиссии О-ва любителей российской словесности). М., 1924; В. Вересаев. Заметки о Пушкине. — «Новый мир», 1928, кн. 2.

И до сих пор на постаменте моего памятника гранитными буквами вырезана искаженная в прошлом веке из-за царской цензуры цитата. Эту опечатку пора бы исправить, пора уяснить, что я сказал в своем «Памятнике» о значении моей поэзии.

Ведущий. Александр Сергеевич вполне прав. Тем более что, обсудив «Памятник», мы конкретно и на весьма показательном примере сможем видеть: как надо и как не надо читать и комментировать классиков.

Ввиду ограниченности регламента, однако, слово желающим высказаться будет предоставлено только для исключающих друг друга предложений.

Позвольте мне прежде всего огласить текст «Памятника» по сохранившейся рукописи.

Голоса: Просим! Пусть Александр Сергеевич сам прочтет.

Памятник Пушкину. Благодарю *(Читает.)*

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
I К нему не зарастет народная тропа.
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
II Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
III И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.
И долго буду тем любезен я народу,
IV Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.
Веленью божию, о Муза, будь послушна,
V Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

Ведущий *(повторяет последний стих)*. «И не оспоривай глупца...»

Слово имеет покойный Михаил Осипович Гершензон.

Гершензон. «Замком» называют камень, замыкающий и укрепляющий свод. В критической легенде о Пушкине таким замком является общепринятое истолкование «Памятника».

Стихотворение это написано Пушкиным месяцев за пять до смерти и по содержанию представляет как бы его поэтическую исповедь или завещание. О смысле этой исповеди у нас никогда не возникало споров. Напротив, все понимают ее одинаково и убеждены, что понимают верно. Пушкин с законной гордостью говорит здесь о завоеванном им бессмертии и тут же перечисляет те заключенные в его поэзии непреходящие цен-

ности, которые дают ему право на это бессмертие. Так искони объясняют «Памятник» биографы и комментаторы Пушкина.

Мне кажется, что традиционное истолкование «Памятника» *всецело искажает* смысл этой пьесы.

Голоса: Слушайте, слушайте!

Гершензон. Я сразу выскажу свою мысль, чуждую всяких ученых соображений, внушенную единственно простым чтением пушкинских строк; я полагаю, что только так, и никак не иначе, должен понять эти строки всякий разумный человек, который прочтет их без предубеждения и внимательно.

Пушкин в четвертой строфе «Памятника» говорит не от своего лица — напротив, он излагает чужое мнение, мнение о себе народа. Эта строфа не самооценка поэта, а изложение той оценки, которую он с уверенностью предвидит.

Памятник Пушкину *(с места)*. Пусть так. Но что же из этого следует?

Гершензон. Пушкин говорит: «Знаю, что мое имя переживет меня; мои писания надолго обеспечивают мне славу. Но что будет гласить эта слава? Увы, она будет трубным гласом разглашать в мире клевету о моем творчестве и о поэзии вообще. Потомство будет чтить память обо мне не за то подлинно ценное, что есть в моих писаниях и что я один знаю в них, а за их мнимую и жалкую полезность для обиходных нужд, для грубых потребностей толпы...

В «Памятнике» точно различены: 1) подлинная слава — среди людей, понимающих поэзию, — а таковы преимущественно поэты:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит;

и 2) слава пошлая, среди толпы, смутная слава-известность:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Эта пошлая слава будет клеветою...

Я утверждаю, что лишь при таком понимании становится понятной пятая, последняя строфа «Памятника», совершенно бессмысленная в традиционном истолковании пьесы... Ее смысл — смирение перед обидой».

Вересаев. Загадочная, волнующая своей непонятностью строфа, совершенно не увязывающаяся со всем строем предыдущих строф.

В критике традиционного толкования «Памятника» у Гершензона много верного. Но чего-то окончательного не хватает! Очень натянутым кажется объяснение, что Пушкин предвидит два рода славы: подлинной — среди поэтов — и «пошлой» — в народе.

Но и традиционное понимание... Поэт в гордом сознании заслуг говорит о своей посмертной славе в народе — и вдруг: «Хвалу и клевету приемли равнодушно». При чем тут клевета? О ней ведь и речи не было... «Не оспоривай глупца». В чем? Откуда вдруг этот глупец?..

Если не видеть — по-моему, бьющего в глаза — *контраста* между пятой строфой и первыми четырьмя, то единственным объяснением пятой строфы может быть объяснение, даваемое П. Н. Сакулиным: он ведь находит ей объяснение в том, что она относится к *современникам* поэта.

Сакулин. В заключительной строфе поэт, оторвав взор от перспектив далекого будущего, обращается к своему настоящему и делает по отношению к нему мудрый вывод: спокойно творить, не обращая внимания на суд современников.

Историзм помог Пушкину разобраться в проблеме «гений и толпа». Великие люди часто терпят обиды от современников, но их оценит справедливое потомство. Этой мыслью закончил Пушкин свое стихотворение «Полководец»:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в *грядущем поколенье*
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

Аналогия с поэтом очень близкая!

Ведущий. Помилуйте, какая ж аналогия? В приведенных вами стихах «Полководца» Пушкин говорит, что «высокий лик» избранника «в грядущем поколенье» оценит *поэт,* тоже избранник, а не все грядущее поколенье. Ваш пример скорее подкрепляет толкование Гершензона, которое вы хотели опровергнуть.

Сакулин безмолвствует.

Вересаев. Необходимо обратить внимание вот еще на какую странность. Стихотворение Пушкина по форме является подражанием Горациеву «Exegi monumentum» и «Памятнику» Державина, особенно последнему. Державину Пушкин подражает неприкрыто, даже подчеркнуто. И у Пушкина и у Державина — одинаковое количество строф, одинаковое количество строк в строфе. Первые три строфы начинаются у Пушкина совсем так, как у Державина. Державин: *«Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный».* Пушкин: *«Я памятник себе воздвиг нерукотворный».* Державин: *«Так! Весь я не умру».* Пушкин: *«Нет, весь я не умру».* Державин: *«Слух пройдет обо мне».* У Пушкина в рукописи написано так же, а потом уже над «пройдет» написана цифра 2, а над «обо мне» — 1: *«Слух обо мне пройдет».* Ясно, что Пушкин как бы все время имел перед глазами стихотворение Державина.

Почему? Какой в этом был смысл? Почему Пушкин в таком ответственном, серьезном произведении, подводящем итог всей его поэтической работе, счел нужным стать рядом с Державиным и заговорить его словами? Было бы еще понятно, если бы нечто вроде «Памятника» написали, скажем, Шекспир, Гёте или Байрон, мировые гении, высоко ценившиеся Пушкиным. Говоря о себе их словами, Пушкин как бы ставил этим себя рядом с ними, на один с ними уровень. Но Державин...

Слушаешь — и вдруг встает ошеломляющая мысль: да не пародия ли все это стихотворение?.. Ясно выраженная, неприкрытая пародия на «Памятник» Державина. Неприкрытая, даже подчеркнутая намеренным повторением выражений Державина.

Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинской. У Державина последняя строфа совсем в том же тоне, как все стихотворение:

О Муза! Возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай;
Непринужденною рукой, неторопливой
Чело твое зарей бессмертия венчай!

Державин сумел выдержать тон до конца, а у Пушкина на это уменья не хватило: ни к селу ни к городу приплел и клевету, и равнодушие, и глупца какого-то... Совершенно ясно: в заключительной строфе Пушкин противопоставляет свое отношение к славе отношению державинскому... И на его гордостный памятник он ответил тонкой пародией своего «Памятника». А мы серьезнейшим образом видим тут какую-то «самооценку» Пушкина...

Пауза. Все молчат.

Ведущий. Что скажете о комментаторах, Александр Сергеевич?

Памятник Пушкину. Что ж! У г-на Гершензона все, что верно, то не ново, а что ново, то неверно. Об остальных... Впрочем *(махнув рукой)*, в спорах рождается истина.

Но я вынужден огорчить вас, господа. Все ваши остроумные усилия направлены к тому, чтобы объяснить *противоречие,* или, как говорит г-н Вересаев, бьющий в глаза контраст между пятой строфой и первыми четырьмя строфами моего «Памятника».

Но дело в том, что все вы, гг. комментаторы, своими взаимоисключающими толкованиями объясняете вами же *выдуманное* противоречие. Пятая строфа вовсе не противопоставлена предыдущим четырем.

Голоса. Как! Не может быть!

Общий шум.

Памятник Пушкину. Позвольте сразу разъяснить ошибку.

Г-н Вересаев весьма счастливо отметил, что в «Памятнике» я *подражаю* Державину, неприкрыто, даже подчеркнуто, а отступил от подражания только в своей последней строфе. Но Державин, замечает г-н Вересаев, не чета мировым гениям, Шекспиру или Байрону. Стало быть, «подражая» Державину, я его пародирую. Пародийным, по-видимому, представляется г-ну Вересаеву высокий стиль моего «Памятника».

Мой «Памятник» действительно соотнесен с державинским. Но не всякое соотнесение непременно подражание или пародия, как полагает г-н Вересаев. Я повторил, как это было очевидно еще старику Гроту, весь «ход мыслей» державинского «Памятника». Но, замечу, повторить «*ход* мыслей» не значит повторить *мысли* Державина. Державин, в мои времена знаменитейший поэт, классик, каким я являюсь для вас, был, как вы сказали бы теперь, исторически иным типом поэта, нежели я. Последуя его «Памятнику» строфа за строфой, я, путем *противопоставления,* резче смог выразить своеобразие моего поэтического самоутверждения.

Ведущий. Державинский «Памятник», стало быть, послужил Вам, Александр Сергеевич, контрастным фоном?

Памятник Пушкину. Да, если говорить присущим вам теперь языком.

Вересаев. Но откуда же в пятой строфе этот «глупец»?

Памятник Пушкину. «Прочтите еще заключительную державинскую строфу и сравните ее с пушкинской». Так, кажется, вы советовали, г-н Вересаев?

Вересаев. Да.

Памятник Пушкину. Последуем вашему совету.

«Глупец» в моей пятой строфе «оттуда» же, откуда у Державина в пятой строфе те, о коих он сказал:

О Муза! Возгордись заслугой справедливой
И презрит кто тебя, сама тех презирай.

В пятой, заключительной строфе моего «Памятника» я повторил вслед за Державиным тематические мотивы пятой же строфы его «Памятника». Моя пятая строфа противостоит пятой строфе Державина точно так же, как каждая из моих предыдущих строф противостоит соответственной ей по порядку державинской строфе. Но, повторяя тематические мотивы Державина в пятой строфе, я, как и в каждой из своих предыдущих строф, дал здесь свое, противопоставленное державинскому ответу решение вопроса.

Ведущий. Итак, Александр Сергеевич, Ваша пятая строфа противопоставлена не «по вертикали» предшествующим ей строфам Вашего «Памятника», а «по горизон-

тали» противопоставлена соседней с ней, заключительной, пятой строфе «Памятника» Державина?

Памятник Пушкину. Да, так. Вопрос об отрицательном отношении к музе, которое всегда сопутствует славе, затронут Державиным в заключительной строфе его «Памятника» *впервые* на протяжении всего стихотворения. Так же, вне связи с предыдущими строфами, *впервые* на протяжении всего стихотворения мотив этот включен и в заключительную строфу моего «Памятника». Тем, кто «презрит» музу Державина, соответствуют клеветники моей музы. Вот «откуда вдруг этот глупец».

Здесь я поневоле счел себя вынужденным, господа, разъяснить вам сперва поэтическую механику моего «Памятника». Смысл ее применения станет вам ясным после последовательного разбора стихотворения в целом, начиная с его первой строфы.

Ведущий. Нас, Александр Сергеевич, интересует прежде всего исторический и социальный смысл.

Памятник Пушкину. Надеюсь, вас в таком случае вполне удовлетворит мой разбор.

Державин начал свой «Памятник» так:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,
Металлов тверже он и выше пирамид;
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.

Его «Памятник» противостоит стихиям и разрушительному действию времени.

Мои стихи гласят:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет *народная* тропа.
Вознесся выше он главою *непокорной*
Александрийского столпа.

Жуковский недаром принужден был исказить четвертый стих и написать:

Наполеонова столпа.

Александрийский столп воздвигнут был в память императора Александра I, моего современника и тезки, незадолго до того, как я написал мой «Памятник». «Этот монумент превосходит величиною все известные памятники на земном шаре», — писал об Александровской колонне энциклопедический лексикон Плюшара. 30 августа 1834 года последовало торжественное открытие памятника в присутствии государя, всей императорской фамилии, многих русских и иностранных вельмож, ста тысяч войск и пр.

Я же уехал из Петербурга почти накануне торжества, «чтобы не присутствовать на церемонии вместе с камер-юнкерами».

В е д у щ и й. Ваш отъезд, стало быть, был демонстрацией, Александр Сергеевич?

П а м я т н и к П у ш к и н у. На вершине Александрийского столпа поставлен ангел с лицом Александра I.

В е д у щ и й. Сказав о своем «Памятнике»:

Вознесся выше он главою *непокорной*
Александрийского столпа, —

Вы, Александр Сергеевич, взамен соизмерения с безличными силами стихий и времени дерзнули, значит, помериться славой с царским памятником, с царем и царской славой?

П а м я т н и к П у ш к и н у. «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой, с моим тезкой я не ладил...» — писал я о своем сыне.

В е д у щ и й. Вы выразили в первой строфе «Памятника», стало быть, начало соперничества — славы поэта Александра Пушкина и тезки своего императора Александра Романова.

Мнение Ваше о происхождении славы Александра I нам известно:

Нечаянно пригретый славой
Плешивый щеголь, враг труда.

П а м я т н и к П у ш к и н у. Хоть я сравнивал себя с императором Александром — и не только в шуточных стихах «Ты и я»: «Ты богат, я очень беден,//Ты прозаик, я поэт», — но вопрос «поэт и царь» в первой строфе «Памятника» поставлен и решен куда шире, исторически — не только с точки зрения личного соперничества в славе.

В е д у щ и й. Но как в этой связи должны мы понимать стих «Я памятник себе воздвиг *нерукотворный*»? Нерукотворный — эпитет редкий, необычный. Помнится, он вызывал еще недоумение князя Вяземского. Откуда он?

П а м я т н и к П у ш к и н у. Когда воздвигнут был Александрийский столп, вспоминали памятник Петру. Сравнивали два монумента. «После неимоверных трудов и преодоления множества препятствий» столп был привезен на корабле, нарочно для того сооруженном, так же как во время óно «камень-гром», назначенный в подножие конному лицеподобию императора Петра I, Медному всаднику.

К той гранитной глыбе поэт Василий Рубан сочинил свою знаменитую «надпись»:

Колосс Родийский, свой смири прегордый вид.
И Нильских здания высоких пирамид
Престаньте более казаться чудесами —
Вы смертных бренными соделаны руками.
Нерукотворная здесь Росская гора,
Вняв гласу божию из уст Екатерины,
Пришла во град Петров, чрез Невские пучины,
И пала под стопы Великого Петра.

Царскому монументу, Александрийскому столпу, колоссальному, но *рукотворному,* я противопоставил свой подлинно нерукотворный памятник.

Ведущий. Позвольте, Александр Сергеевич, перебить Вас. Вересаев удивлялся, что Вы подражали в своем «Памятнике» Державину. Он недоумевал, указывал: было бы еще понятно, если бы нечто вроде «Памятника» написали мировые гении вроде Байрона или Шекспира.

С одной стороны, Александр Сергеевич, стало быть, в первой строфе своего «Памятника» Вы противопоставляете себя Державину, который писал об императрице:

Превознесу тебя, прославлю,
Тобой бессмертен буду сам...
Ты славою, — твоим я эхом буду жить...

Вы же, Александр Сергеевич, своим «Памятником» утверждаете, что слава поэта совсем не эхо царской славы. Но, утверждая независимость, самозаконность и превосходство славы поэта над славой царя, Вы повторяете тем самым как раз мотивы Шекспира и Байрона.

Памятник Пушкину. Вы намекаете на 55-й сонет Шекспира?

Ведущий. Да. Переведу своей нескладной прозой его первый катрен: «Ни мрамор, ни позлащенные памятники князей не переживут сего мощного стиха. Но ты будешь сиять еще ярче в его обрамленье, чем неподметенные плиты монументов, замаранные неряшеством времени».

А Байрон, не писал ли он в любимой Вами, Александр Сергеевич, не раз послужившей для Вас источником четвертой песне «Чайльд Гарольда»: «Что пирамида из ценных камней, порфира, яшмы, агата и все расцветки драгоценного мрамора, скрывающие прах князей... Почтительней, нежели по плитам княжеских могил, ступаешь... на дерн, покрывший тех мертвецов, чьи имена суть мавзолеи музы...»

Я привожу это сопоставление, Александр Сергеевич, не для того, конечно, чтоб указать на заимствование. И конечно же Вы, конкретизировав, придав злободневность сопоставлению «нерукотворный памятник» поэта — «Александрийский столп», пошли куда дальше, чем Шекспир и Байрон в стихах, которые мы вспомнили теперь, которые Вам были хорошо известны.

Памятник Пушкину. Ваши соображения можно подкрепить сопоставлением второй строфы моего «Памятника» с державинским. Державин сказал:

И слава возрастет моя, не увядая,
Доколь славянов род вселенна будет чтить.

Так, у Горация было сказано:

Я буду возрастать повсюду славой,
Пока великий Рим владеет светом.

*(Перевод-подражание
Ломоносова)*

Я же написал:

И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Ведущий. Здесь, стало быть, продолжен и развит мотив самозаконности поэтической славы, которая живет не отраженным светом государя и долговечней самого государства. Так, великий Рим более не владеет светом, но слава поэта Горация пережила Рим и его владычество. Не так ли?

Памятник Пушкину. Вы совершенно правы. Но первая строфа моего «Памятника», кроме того, прямо перекликается с моей четвертой строфой. Державин в четвертой строфе своего «Памятника» сказал:

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге
О добродетели Фелицы возгласить.
В сердечной простоте беседовать о боге
И истину царям с улыбкой говорить.

Я же в четвертой строфе сказал:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

А в первой строфе «Памятника» сказал: «К нему не зарастет народная тропа».

Здесь я говорю об отношении народа. Не то же ли противопоставление, что и в этой строфе, противостоящей державинской, еще девятью годами ранее я наметил в отрывке, который остался тогда недописанным. Вот он:

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями:
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь, —
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит,
Он украшает их пиры
И сыплет Фебовы дары,
И внемлет . . . .
Меж тем . . . .
Теснясь у ступеней крыльца,
Народ колеблется волнами;
С почтеньем слушает певца...

Вот вам тоже противопоставление поэта, олицетворением которого является Державин, поэту, о котором говорит (в четвертой строфе) мой «Памятник».

Незачем добавлять, что раз появление «глупца» и слов о «клевете» в заключительной строфе моей (вне всякой связи с четвертой строфой) для вас теперь объяснилось, отпадает всякая возможность утверждать, как это сделал г-н Гершензон, что мнение обо мне народа, изложенное в четвертой строфе, я для себя считаю клеветой.

Что под «глупцом» я разумею не народ, вряд ли нужно еще доказывать. Но напомню, кроме своих слов о «черни светской», не писал ли я в «Разговоре книгопродавца с поэтом» (см. варианты):

Что слава? Шепот ли чтеца?
Хвала ли хладного невежды?
(Презренье ль гордого невежды)
Гоненье ль *знатного* глупца?

А затем в окончательном тексте:

Гоненье ль низкого невежды
Иль восхищение глупца?.

«Низкий невежда», «знатный глупец» — одна цена им. Вот о ком речь, а не о народе.

Мотив «воздвигнул памятник», как отметил г-н Сакулин, я затронул впервые еще в молодости, в черновиках второй главы «Евгения Онегина»:

Быть может, этот стих небрежный
Переживет мой век мятежный,
Могу ль воскликнуть...
я
Воздвигнул памятник.

Но важно ведь, на что г-н Сакулин внимания не обратил, что, отбросив этот черновой отрывок, я заменил его строфами, в которых развита та же мысль:

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: — То-то был Поэт!

Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных Аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

И здесь, как в «Памятнике», поэт, или «поклонник мирных Аонид», противостоит «будущему (не только современному) невежде» (сравни — «Хвала ли хладного невежды», «Гоненье ль знатного глупца», «Презренье гордого невежды»), а не отношению народа, которому поэт «любезен», который «с почтеньем слушает певца», хотя народу, ценящему, «что в мой жестокий век восславил я свободу», не свойственно было ценить в этот жестокий век «искусство для искусства».

Ведущий. Итак, говоря о своем историческом значении, Вы, Александр Сергеевич, понимали, что объективно своей славой в народе Вы обязаны общественному значению Вашей поэзии, тому общественному резонансу, который она вызывала иногда независимо от Ваших субъективных целей?

Памятник Пушкину. Пожалуй, что так. Не писал ли я в наброске 1821 года: «Не тем горжусь я, мой певец»:

...И что разящий голос лиры
Тирана в ужас приводил;
Не тем, что пылким вдохновеньем
Не тем, что пылким дерзновеньем

И бурной юностью моей
Мятежной юности моей

И жаждой воли и гоненьем
И страстью правды и гоненьем
Я стал известен меж людей;

Иная высшая награда
Была мне роком суждена...

Так. Но «известен меж людей» я уже в молодости стал благодаря моей политической поэзии и «гражданскому резонансу» ее, как вы сказали.

Ведущий. Нам нет надобности, Александр Сергеевич, изображать Вашу поэзию как только революционную, во что бы то ни стало. Это только мешало бы действительно критическому освоению Вашего наследства.

Но вот что мы должны признать. Ваш «Памятник» не только противостоит «Памятнику» Державина, диаметрально противоположно ставя проблему «Поэт и царь». Ваш «Памятник», враждебный царю, дружески обращен к народу.

Но не следует ли признать, что народ Вы рассматривали как массу, дружественную «общественному резонансу» Вашей

поэзии, но безликую, массу, которая лишь «с почтеньем слушает певца»?

Памятник Пушкину. Не вынужден ли я был писать: «...класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, безо всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам...»

Ведущий. Что же показало наше сегодняшнее обсуждение?

Оно показало прежде всего, к чему приводят попытки идеалистически-абстрактного чтения и толкования поэзии прошлого «по здравому смыслу», «по-гершензоновски». Результатом такого чтения и толкования является отрыв произведения от конкретной исторической почвы, на которой оно возникло, для того чтобы «вчитать» в произведение свой новый, исторически весьма конкретно обусловленный «смысл».

С другой стороны, Вересаев принял «Памятник», серьезнейшее произведение Пушкина, за пародию, так как рассматривает произведения прошлого *не диалектически,* не как момент конкретного историко-литературного процесса. Подходя со своей современной системой эстетического осмысления к явлениям иной эстетической структуры, такие ценители искусства, как Вересаев, эстетически искаженно осмысляют поэзию прошлого.

Простое сопоставление «Памятника» Пушкина, например, с «Памятником» Батюшкова, действительной пародией на державинский «Памятник», с «Памятником» Мицкевича («Франку Гржималу»), в котором есть действительно элементы иронии и т. д., может быть, помешало бы Вересаеву впасть в столь грубую ошибку. А если бы он не игнорировал вопроса об историческом (и социальном) смысле противопоставления Пушкиным своего «Памятника» державинскому, возможность такой ошибки была бы исключена. Социальный смысл присущ не отвлеченному содержанию, но тому единству, в котором содержание находится с формой. Эстетически правильно понять произведение можно, только поняв его в целом, в его конкретно-исторической обусловленности.

Памятник Пушкину *(в сторону).* «Ученый малый, но педант».

Ведущий. Классические колонны в подражание «древним» до сих пор строятся утонченными кверху.

Сакулин. На $^1/_6$ диаметра. Эта форма колонны канонизирована как эстетический идеал, достигнутый античным зодчеством.

Ведущий. А теперь говорят, что греки строили свои колонны прямыми. Утолщение устоявших до нашей эпохи антич-

ных колонн — результат деформации, оседания под влиянием времени.

Канонизировать «оседание» мы не должны и по отношению к поэзии прошлого.

Для того чтобы действительно ввести новый класс читателей во владение пушкинским наследством, нужна особая работа. Только такая работа исключит ошибки — искажающее переосмысление.

Историческая опечатка на Вашем памятнике, Александр Сергеевич, будет исправлена.

Памятник Пушкину. Хоть оживление памятников и несколько условный и легкомысленный прием...

Ведущий. Но ведь Вы сами, Александр Сергеевич, подали пример... «Медный всадник», «Каменный гость»...

Памятник Пушкину. Хоть оживление памятников и несколько условный прием и несмотря на ваш несколько менторский тон, позвольте, молодой человек XX столетия, пожать вам руку. *(Обмениваются рукопожатием.)*

Ведущий. «О, тяжело пожатье бронзовой его десницы...»

1933

P. S. «Историческая опечатка» на пьедестале пушкинского памятника была исправлена в юбилейные дни 1937 года — через сто лет после смерти Пушкина. Вырезанные на граните строки, грубо искажавшие завещание поэта, были сбиты стальным резцом, и вместо них на граните засияли его подлинные слова...

Я счел возможным включить в настоящий сборник свою давнюю статью о нерукотворном памятнике, так как, по существу, она, мне кажется, не устарела. Основные выводы ее были приняты; их поныне цитируют и развивают в последующих работах о пушкинском «Памятнике».

Со времени появления данной статьи и у нас и за рубежом вышли в свет новые исследования о нем. Среди них прежде всего надо назвать, конечно, ценную монографию академика М. П. Алексеева «Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» (Л., 1967), книгу, целиком посвященную этому стихотворению.

Задачей моей статьи было прежде всего разъяснить мнимое противоречие, свойственное будто бы поэтическому завещанию Пушкина, надуманное, как мы убедились, самими толкователями «Памятника» и вызывавшее яростные споры.

В статье моей впервые было разъяснено историческое значение стихов, которыми открывается «Памятник»:

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Необычайная смелость этих строк поэта становится ясной, если мы обратимся, как это было сделано в нашей статье, к рассмотрению идеи, положенной в основу создания Александровской колонны, тогда самой высокой в мире, и к изложению истории ее сооружения, обратив в связи со словами поэта внимание на то, что на вершине колонны поставлен был ангел с лицом, которому скульптор придал сходство с лицом Александра I, поступив так, можно добавить, по указанию императора Николая.

В статье впервые было объяснено также происхождение и действительное значение слова «нерукотворный». Об этом следует, мне кажется, упомянуть, так как, несмотря на то что предложенное мною объяснение, по мнению авторитетных исследователей, «конечно, правильно», на Западе до сих пор появляются работы, авторы которых утверждают, что слово «нерукотворный» было заимствовано Пушкиным из области религиозных представлений, и, в связи с этим, стремятся доказать, что пушкинский «Памятник» представляет собой будто бы «документ христианской религиозной мысли» и что в основе «Памятника» лежит религиозная идея[1]. Нашло признание и повторено в новых работах проведенное мною ранее сравнение мотивов пушкинского «Памятника» с мотивами прославленного 55-го сонета Шекспира и проч.

Должен сказать в заключение несколько слов о не совсем обычной в наше время форме, в которой написана моя историко-литературная статья о «Памятнике»: она была написана в свое время в форме «воображаемого разговора», в котором принимает участие и статуя Пушкина. Речь памятника в этом «воображаемом разговоре» носит, конечно, условный характер, и надо ли говорить, что я не имел намерения пытаться имитировать язык самого Пушкина или его эпохи. Манера, в которой статья написана, встретила одобрение (здесь можно указать, если говорить о недавнем времени, на отзыв в книге акад. М. П. Алексеева, с. 51—52). Но думаю, что, если бы я писал эту свою работу сейчас, я написал бы ее иначе, то есть в более обычной форме. Теперь, однако, переделывать ее и что-либо менять в ней мне показалось едва ли нужным.

1976

---

[1] См. статьи: А. Грегуара (1937), Р. Д. Кейля (1961), Ю. Бойко-Блохина (1971) и др. Подробнее об этом см. в упомянутой книге акад. М. П. Алексеева (1967) и в статье А. Шустова «Нерукотворный» или «Нерукотворенный» (По поводу одной зарубежной статьи)». — «Вопросы литературы», 1973, № 6, с. 169—170. Автор последней статьи имеет в виду работу Д.-Г. Хантли (1970).

ДЖОН ТЕННЕР

1

Летом 1836 года Пушкин писал: «В Нью-Йорке недавно изданы «Записки Джона Теннера», проведшего тридцать лет в пустынях Северной Америки, между дикими ее обитателями». Пушкин напечатал в «Современнике» большую статью «Джон Теннер»[1]. Она долго не привлекала должного внимания. У Анненкова в «Материалах для биографии Пушкина» можно прочесть, как Пушкин, работая над этой статьей на каменноостровской даче, в воскресенье, сказал «полушутливо, полугрустно», встречая приятеля: «Плохое наше ремесло, братец. Для всякого человека есть праздник, а для журналиста — никогда»[2].

«Занимательную» статью о Теннере в свое время приводили в доказательство разносторонности интересов Пушкина и определяли как полуэтнографические заметки. Ее считали побочной для основных интересов поэта работой Пушкина-журналиста.

2

«Два века ссорить не хочу», — писал Пушкин в «Онегине». (Там спор шел о стихотворных жанрах.) В статье «Джон Теннер» Пушкин ссорит XIX век с XVIII.

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих, — писал Пушкин в этой статье, — и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу че-

[1] См.: Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 104—132.

[2] П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина, с. 421.

ловеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы... такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

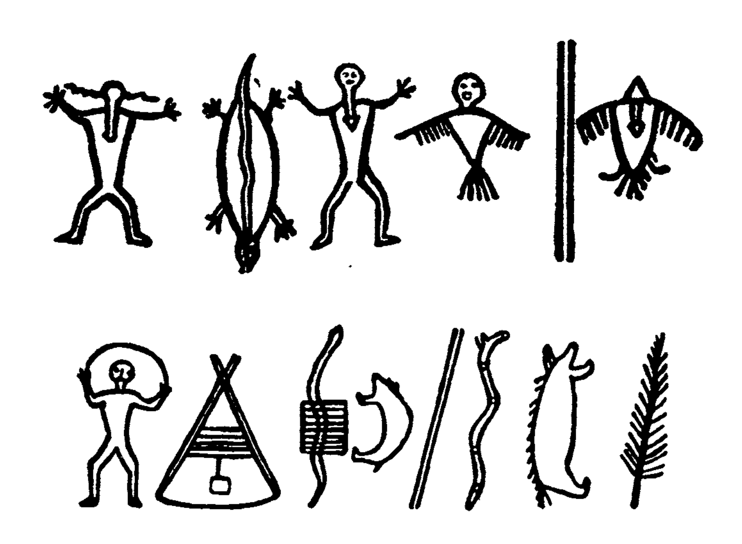
Далее читаем: «Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне населенной европейскими выходцами, подверглись также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса осуждены с негодованием; так или иначе, через меч и огонь, или от рома и ябеды, или средствами более нравственными, но дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации. Таков неизбежный закон. Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетьми и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы и разовьется флаг американский».

«Нравы Северо-Американских дикарей знакомы нам по описанию знаменитых романистов. Но Шатобриан и Купер оба представили нам индейцев с их поэтической стороны и закрасили истину красками своего воображения. «Дикари, выставленные в романах, — пишет Вашингтон-Ирвинг, — так же похожи на настоящих дикарей, как идиллические пастухи на пастухов обыкновенных».

«...«Записки» Теннера, — замечает Пушкин, — представляют живую и грустную картину. В них есть какое-то однообразие, какая-то сонная бессвязность и отсутствие мысли, дающие некоторое понятие о жизни американских дикарей. Это длинная повесть о застреленных зверях, о метелях, о голодных, дальних шествиях, об охотниках, замерзших на пути, о скотских оргиях, о ссорах, о вражде, о жизни бедной и трудной, о нуждах, непонятных для чад образованности»... «Летописи племен безграмотных, они разливают истинный свет на то, что некоторые философы называют естественным состоянием человека...»

Настоящая жизнь дикарей, засвидетельствованная в воспоминаниях Джона Теннера, оказалась в противоречии с философией XVIII века, каждая строка записок Теннера опровергает софизмы Руссо, говорит в своем предисловии Эдвин Джемс, записавший под диктовку воспоминания неграмотного Теннера.

Смысл статьи «Джон Теннер», однако, не в том только, что Теннер оказался для Пушкина любопытным свидетелем в споре с философами XVIII века о «естественном состоянии». Критика буржуазной демократии, на которую обращают внимание в статье Пушкина в наши дни, важ-



Рисунки индейцев, вырезанные на дереве *(воспроизведены в нью-йоркском издании книги Джона Теннера. 1830)*.

нее[1]. Но и она является только другой (хотя и более важной) стороной вопроса о действительном, глубоком смысле этой статьи, не решая его целиком.

Пушкин — гений, вырывавшийся за пределы своего века (эти слова еще в большей мере можно отнести к Пушкину, чем к Петру). Он отверг в «Теннере» буржуазную заокеанскую демократию. Но нельзя забывать, что Пушкин был вместе с тем человеком своего времени, хотя и опередившим своих современников. В этом смысле статью о Джоне Теннере можно назвать послесловием Пушкина к идейной истории его сверстника.

В молодости Пушкин мечтал о просвещенной свободе для своего отечества («И над отечеством свободы просвещенной Взойдет ли наконец прекрасная заря?»). XVIII век — век просвещения. Пушкин смолоду воспринял идеи просветителей XVIII века, предшественников Американской и Французской революций. «Уложение», конституция Соединенных Штатов, и в «Джоне Теннере» для Пушкина плод «новейшего просвещения». Самые левые из единомышленников молодого Пушкина мечтали установить в России конституцию наподобие американской.

[1] Нельзя забывать, конечно, что Пушкин в этой критике присоединяется к Токвилю, называя его книгу «О демократии в Америке» и популяризируя ее в статье «Джон Теннер». Но в поисках материала для критики капиталистической цивилизации Пушкину не было необходимости путешествовать за океан вслед за Токвилем. Пушкинский «Разговор с англичанином» доказывает это.

Идеологи буржуазной революции думали, что революция принесет свободу, равенство и братство всему человечеству. Так думал и молодой Пушкин. И вот, как бы говорит на последнем году своей жизни Пушкин в «Джоне Теннере», смотрите, как осуществляется этот идеал. Эта демократия (буржуазная демократия, говоря нашим языком) несет взамен одной системы угнетения человечества другую; опять тиранство, цинизм, жестокие предрассудки, которыми подавлено все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую.

Не только поражения буржуазной революции, но и ее победы заставили Пушкина возбудить снова «вопросы, которые полагали давно уже решенными». В байронизме его южных поэм, еще до постановки им этих вопросов на новой основе, уже проявился этот кризис.

3

Когда Достоевский в речи на могиле Некрасова сказал, что в ряду поэтов Некрасов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым, из толпы молодежи послышались голоса, что Некрасов был выше их, а Пушкин был всего только «байронистом».

«...Словом «байронист» браниться нельзя, — писал в ответ на эти возгласы Достоевский. — Байронизм хотя был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый *исход* еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые».

Тогда, говорит Достоевский, явился Байрон, «могучий гений, страстный поэт. В его звуках звучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его... в обманувших его идеалах... Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали... Это именно было как бы отворенный клапан». Пушкин отозвался тогда на звук «новой, чудной лиры» Байрона своими байроническими стихами. Но вслед за тем стал на

«твердую дорогу, *нашел великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него.* Этот исход был народность...»[1]

Мы знаем, что Достоевский неверно понимал народность Пушкина, что он по-своему толковал ее действительный смысл.

Идеалы, к которым будто бы пришел Пушкин, по мнению Достоевского, изложенному в его известной (позднейшей) речи о Пушкине, чужды не только нам, но чужды были и Пушкину, они целиком принадлежат самому Достоевскому. Но приведенные слова его о «байронизме» Пушкина, о периоде перелома в сознании передового человечества, когда обозначилась ограниченность итогов (буржуазная ограниченность относительно прогрессивной, говорим мы, буржуазной революции), а «новый исход еще не обозначился», — эти слова Достоевского помогают понять ход идейной эволюции Пушкина. Достоевский почувствовал перелом, наступивший вслед за Французской буржуазной революцией XVIII столетия. Нашему времени, в свете учения Маркса, ясен действительный исторический смысл этого явления — и то, как сказалось оно в творчестве Пушкина.

4

В байронических южных поэмах Пушкина было еще немало отзвуков руссоизма. Если мечтой лучших современников молодого Пушкина была американская конституция, другой мечтой — пусть выражаемой Пушкиным только в поэзии — было: «уйти к диким». Будем помнить об этом, читая «Джона Теннера».

Однажды, пишет Пушкин, начиная изложение «Записок» Теннера, отец больно высек Джона. «С той поры отеческий дом опостылел маленькому Теннеру; он часто думал и говорил: «Мне бы хотелось уйти к диким!»

В 1820 году, вспоминал Пушкин о себе в неотправленном письме к императору Александру I, «распространились сплетни, будто я был отвезен в тайную канцелярию и высечен... Я почувствовал себя опозоренным в общественном мнении и впал в отчаяние...»[2]. В те времена Пушкин — в поэзии — уходит «к диким».

Мечты маленького Теннера осуществились. Дикие индейцы его похитили. «Кавказский пленник» Пушкина стал пленником, когда «дикие» похитили его. Пушкин не отождествлял себя ни с «пленником», ни с Алеко (бежавшим к цыганам, стремясь к тому, «что некоторые философы называют естественным состоянием человека»).

---

[1] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произв., т. 12, М.—Л., 1929, с. 349—350.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. X, с. 784.

В поэме Пушкина «Цыганы» кроме известных стихов Алеко о городской цивилизации:

Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей, —

были в рукописи еще стихи:

Торгуют вольностью, развратом
И кровью бледной нищеты.

В рукописях этой поэмы, которую Пушкин считал не окончательно отделанной, сохранился, как известно, не включенный в печатный текст монолог Алеко, обращенный к сыну:

Прими привет сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
И с даром жизни дорогой
Неоцененный дар свободы,
Останься посреди степей...
...Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Сокрыт от неги просвещенья,
От пышной суеты наук...
От общества, быть может, я
Отъемлю ныне гражданина.
Что нужды — я спасаю сына,
И я б желал, чтоб мать моя
Меня родила в чаще леса
Или под юртой остяка
В глухой расселине утеса.

«Муж со вздохом или с улыбкою отвергает мечты, волновавшие юношу». Эти слова из статьи Пушкина о Радищеве (написанной в том же 1836 году), где Пушкин тоже спорит с XVIII веком в самом себе, помогают нам понять «Джона Теннера».

«Джон Теннер» — вариант судьбы не одного только Алеко, героя «Цыган»[1], но и судьбы, ожидающей его полуцыганского младенца. Оказывается, дело не только в том, что Алеко не способен жить в «естественном состоянии» «и всюду страсти роковые» (эпилог «Цыган»). В статье о Теннере сказано не то, что было сказано в эпилоге к «Цыганам». В жизни дикарей главным оказывается борьба за существование, «нужды», «отсутствие мысли», «вражда», «скотские оргии», «естественное состояние» — это животная жизнь.

[1] И в то время, когда Пушкин писал «Цыган», он не отождествлял действительную жизнь цыган с ее изображением в поэме. Но, видя действительность, в то время еще идеализировал ее в своей поэме. А в «Джоне Теннере» Пушкин реалистически противопоставил эту действительность идеализации «естественного состояния».

У Вольтера есть дидактическая повесть «Дитя природы». Европеец, в младенчестве попавший в плен к индейцам, воспитан ими и взрослым возвращается на родину, как Теннер. Вольтерово «дитя природы» — это явившийся из американских лесов идеальный человек буржуазного будущего. У Шатобриана Рене после блуждания в американских лесах слышит сентенцию: «Ты должен отказаться от этой необыкновенной жизни, исполненной одной тоски. Счастье только на обыкновенных путях».

Мы знаем, эти слова Шатобриана Пушкин повторял, размышляя о своей судьбе: «Счастье только на обыкновенных путях».

«Дикость должна исчезнуть при приближении цивилизации, — пишет Пушкин, — таков неизбежный закон». Это — осознанная Пушкиным историческая необходимость. Но вспомним, как говорит Пушкин о возвращении Джона Теннера от «естественной» дикости к «цивилизации» и об ее «обыкновенных путях».

«Ныне Джон Теннер живет между образованными своими соотечественниками...» (Образованными!..)

«Он в тяжбе со своею мачехою о нескольких неграх, оставленных ему по наследству». (Тяжба с родными о рабах!..)

«Он очень выгодно продал свои любопытные записки», — замечает здесь Пушкин с глубокой иронией (вспоминая, может быть, свои крепостные споры с родней и «журнальную торговлю»...).

И на днях будет, вероятно, членом Общества Воздержанности[1]. «Словом, есть надежда, что Теннер со временем сделается настоящим Jankee[2] (янки), с чем и поздравляем его от искреннего сердца...»

Горькая ирония!..

«Джон Теннер» — не экскурс Пушкина-журналиста. Это глубоко продуманная — и во многом итоговая — статья великого поэта. Для Пушкина не оказалось счастья на «обыкновенных путях» — в предыстории человечества — ни в иллюзиях о ее первобытной ступени («в том, что некоторые философы называют естественным состоянием человека»), ни на ее последнем, буржуазном этапе.

1937

---

[1] «Общество, коего цель — истребление пьянства. Члены обязываются не употреблять и не покупать никаких крепких напитков» *(Примеч. Пушкина)*.

[2] «Прозвище, данное американцам: смысл его нам неизвестен. Издатель» *(Примеч. Пушкина)*.

ОТЧЕГО ПОГИБ ПУШКИН?

Отчего же погиб Пушкин? Вспоминают обстановку историческую, общественную, в которой он жил, в особенности последние годы жизни. Вспоминают его семейную драму.

И все-таки, мне кажется, что в числе причин, которые поставили Пушкина в положение трагическое, входит еще одна, недооцененная и даже забываемая причина. Не так уж часто великий муж, каким был Пушкин, погибает от одной беды, от одного, даже двух мощных ударов. Кроме всего, о чем мы помним, мне хочется указать на важное противоречие, а противоречие это было источником скрытой от глаз современников внутренней трагедии Пушкина.

Последние годы своей жизни, мы знаем, Пушкин подвергался нападкам и укорам не только со стороны врагов, но и со стороны людей, казалось бы ему близких и достойных. В более широком кругу читающей публики его даже корили иногда за то, что он пошел на службу к Николаю, стал камер-юнкером, ищет внешнего успеха, а враги писали даже, что творчество его остановилось. Что Пушкин «светило, в полдень погасшее», а в переписке Карамзиных сохранилось признание, что друзья поэта, к сожалению, не могут с этим не согласиться.

А между тем, именно в эти, последние годы Пушкин поставил в своем художественном творчестве, в своем историческом творчестве, в своем художественном мышлении коренные вопросы своего времени и будущего России. В это время он частью создал, частью создавал величайшие из своих произведений; но читатели не знали и не могли знать, что в портфеле Пушкина лежит «Медный всадник», запрещенный царем, который Пушкин начал было переделывать, но бросил, не смог заставить себя переделать его; что в это время Пушкин написал самое большое, самое обширное из своих публицистических произведений, которое мы теперь печатаем под заголовком «Путешествие из Москвы в Петербург», этот, я бы сказал, диалог с Радищевым.

Стенограмма выступления в Государственном Музее А. С. Пушкина (Москва) 10 февраля 1968 г.

До сих пор спорят — чью же сторону в этом диалоге взял Пушкин? Мне кажется, ответ ясен, хотя он нам не был доселе, насколько я знаю, предложен в пушкинской литературе. Я думаю, что это именно диалог: Пушкин в эти годы не совпадает по своим взглядам с Радищевым, а также со взглядами того путешественника, который спорит с Радищевым, все дело в том, что, как и в драматическом произведении, истина тут рождается в споре, хотя, повторяю, Пушкин не совпадает по взглядам ни с одним из участников этого диалога.

Он поставил в этом диалоге столько острых и важных вопросов, что напрашивавшийся ответ, да и самый диалог, напечатан быть не мог. Произведение это Пушкин сначала написал вольно (или, как он выражался, «спустя рукава»), затем понял, что напечатать его невозможно, принялся переделывать и оцензуривать свою рукопись. Он ослабил несколько это свое выступление, но вскоре убедился, что и этот ослабленный вариант тоже совершенно не может пройти через цензуру.

И это обширное произведение, важнейшее публицистическое произведение Пушкина, так и осталось неизданным.

Итак, «Медный всадник» не был издан, «Путешествие» — диалог с Радищевым — также не могло быть издано. «Пугачева» Пушкину удалось напечатать, но важнейшую мысль: «Весь черный народ был за Пугачева. ...Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» и прочее — включить в печатный текст он не мог. И эту главную мысль смело послал царю в числе замечаний для собственного царского сведения.

Наконец, самый большой исторический труд, главный труд последних лет его жизни — «История Петра», тоже не мог быть издан, и за неделю до смерти, уже написав целый том, так и оставшийся незавершенным, то есть уже создав вчерне подготовительный текст этого труда, Пушкин сказал Плетневу, и Никитенко записал это в своем дневнике, что «Историю Петра» писать нельзя, потому что ее не позволят печатать.

Не будет преувеличением утверждать, что в эти последние годы важнейшие, крупнейшие создания Пушкина — и поэтические, как «Медный всадник», и исторические, как «История Петра» (а отчасти и «Пугачев»), и публицистическое «Путешествие из Москвы в Петербург» — оставались недоступны и неизвестны читателям. Пушкин не мог даже возразить на несправедливые обвинения, ибо не имел возможности даже рассказать о своем запретном творчестве. И это вынужденное молчание было для поэта источником тяжелого страдания.

Можно сказать, что после смерти поэта у читателей произошли три встречи с ним, когда читателям открывался новый Пушкин. Когда он умер и друзья стали после жандармов читать его рукописи, даже умный, тонкий, высокодаровитый Боратынский с удивлением сказал в письме к жене, что, когда он

прочел неизвестные ему, неизданные стихи Пушкина, он был удивлен: «Чем бы, ты думала? — силою и глубиною». Вот что удивило Боратынского; они совсем не понимали, даже Боратынский не понимал, какого масштаба поэт и мыслитель Пушкин. А Белинский, прочитав «Каменного гостя» и другие впервые появившиеся после смерти создания Пушкина, сказал, что Пушкин, как теперь только становится ясно, поэт всемирного значения. Великий критик и раньше высоко ценил Пушкина (хотя недооценивал его прозу); но даже гениальный Белинский, только ознакомившись с тем, что оставалось раньше недоступным читателям, сказал, что Пушкин — поэт всемирный, мировой. Это была первая посмертная встреча с неизвестным Пушкиным, с Пушкиным, еще незнакомым современникам.

Потом Герцен и Огарев так много способствовали опубликованию запретной части пушкинского наследства, многое из нее вошло, в частности, в сборник, выразительно названный «Русская потаенная литература».

И наконец, настала революция — Октябрьская революция. Когда матросы штыками вскрывали двери княжеских особняков, они не ждали, не искали там рукописей Пушкина, но и эти запретные рукописи там нашлись. Все знают, что в Мраморном дворце была обнаружена лицейская поэма Пушкина — «Тень Фонвизина», а в особняке князей Горчаковых нашлась поэма «Монах», в особняке князей Юсуповых нашлась пачка писем Пушкина к Елизавете Хитрово, дочери Кутузова, и среди них были такие важные письма, как то, в котором Пушкин сообщал, что он начал работу над историей Французской революции.

И наконец, под Москвой, в Лопасне, как мы знаем, нашелся после революции целый ящик с рукописями пушкинской «Истории Петра», той самой, о которой Пушкин за неделю до смерти сказал, что ее не позволят печатать.

Когда нашлась, или, вернее, была расшифрована, так называемая десятая глава «Онегина», это было принято как какой-то исключительный, сенсационный случай.

А между тем находка и расшифровка десятой главы была вместе с тем, как ни важно ее содержание, указанием на существование — и значение — неизвестной нам еще крамольной части рукописного наследия Пушкина. И находка рукописи «Истории Петра» подтвердила масштаб и значение этой недоступной нам ранее запретной части наследия великого поэта. Нам вновь открылся новый Пушкин.

Когда стали появляться посмертно первые неизданные сочинения Пушкина, Дубельт — начальник штаба корпуса жандармов — вызвал издателя и сказал: «К чему, зачем, довольно этой дряни сочинений вашего Пушкина при жизни его издано, чтобы по смерти еще отыскивать и печатать его неизвест-

ные творения». Неправильно было бы думать, однако, что Дубельт был попросту груб и глуп; вспомним, что такой человек, как Герцен, писал, что Дубельт был очень умен, что он умнее не только всего III Отделения, но и всех трех отделений собственной его величества канцелярии; а ведь в одном из этих отделений состоял Сперанский, человек глубокого ума и обширного образования. Дубельт был враг, но враг умный, и усилия, направленные на то, чтобы, по возможности, скрыть от читателей все, что можно, из литературного наследия Пушкина, усилия, начатые самодержавием, у гроба поэта, не остались бесплодными, они долго ограничивали наши представления о Пушкине.

А другой стороной, борющейся за наследие Пушкина, были тогда революционеры Герцен и Огарев. Эта борьба не кончена до сегодняшнего дня.

Но начнем с «Медного всадника» — который оставался неизвестен читателям при жизни поэта. В один прекрасный день, в то время как «Медный всадник» Пушкина напечатан не был, Полевой получил высочайшую благодарность за его статью в журнале «Живописное обозрение» о «Медном всаднике», но не о поэме Пушкина, а о самом памятнике Фальконе. Что же писал Полевой в этой статье, так понравившейся Николаю Павловичу? Об этом случае упоминал больше тридцати лет назад Михаил Семенович Гус в своей статье в «Красной нови» «Пушкин в 1836 году». Но он заинтересовался тогда не существом этого дела, а только внешней его стороной и тем фактом, что «Медный всадник» Пушкина был запрещен, а «Медный всадник» Полевого был одобрен Николаем. Я стал внимательно читать эту статью Николая Полевого.

Хотя памятник был поставлен Екатериной II Петру I, памятник гениальный, признанный всей Европой как великое художественное создание, Полевой писал (а Николай I очень одобрил эту его статью), что памятник плох, то есть, что скульптор не понял всего величия мысли Екатерины. Под ногой коня извивается какая-то змея, что она значит? О Петре он писал: надо ли удивляться, что Ангара и Аризона в своих разливах топят жилища, домишки, людей. У вас жизнь вашего поля, у них жизнь земного шара, — то есть у таких людей, как Петр. Полевой пишет, я точно привожу его слова: «Так, и только так, рассуждая, поймете вы и оцените великого Петра». Это звучит как спор с Пушкиным, потому что в своем «Медном всаднике» Пушкин понял величие Петра, но рассуждал не только так с точки зрения жизни земного шара и неизбежности наводнения; он видел вместе и величие государственной исторической деятельности Петра, и другую, мрачную сторону Петра.

Я позволю себе процитировать в этой связи стихотворение Мицкевича «Памятник Петру Великому» в русском переводе Сергея Соловьева, где Мицкевич изобразил себя и Пушкина

у подножия Фальконетова монумента и вложил в уста Пушкина такие стихи:

Сей памятник сооружала
Царица первому царю.
Родной земли казалось мало,
Огромному богатырю,
Что создал город чудотворный,
Помчались за море суда.
И холм финляндского гранита,
Отломан, привезен сюда
Из мрака родины дубравной,
Приказ царицы так велел.
И медный царь кнутодержавный
Верхом над бездной полетел.
В плаще латинском, в римской тоге,
Грозя незримому врагу,
Рванулся конь, вздыбивший ноги,
И стал на снежном берегу.

А дальше идет противопоставление Петру благого императора:

Не так сияет в древнем Риме
Великий оный Марк Аврелий,
Отец возлюбленных племен.

И возвращение к Петру:

Но конь Петра безумно несся,
Все сокрушая на лету,
И вот вскочил на край утеса,
Копыта кинув в пустоту.
Царь бросил повод,
Конь несется, закусывая удила,

Вот упадет и разобьется,
Но все незыблема скала.
И медный всадник яр и мрачен,
Все так же скачет наугад,
Так, зимним холодом охвачен,
Висит над бездной водопад.
Но в эти мертвые пространства,
Лишь ветер Запада дохнет,
Свободы солнце всем блеснет,
И рухнет водопад тиранства.

По этому поводу Вяземский справедливо заметил, что Пушкин этого не говорил и говорить не мог. Это мнение о Петре не Пушкина, а Мицкевича, о котором Герцен так хорошо сказал, что Мицкевич любит Россию, но в Петре понял только одну его отрицательную сторону. Пушкин же понял обе стороны Петра и его дела и изобразил Петра и его дело таким, что Николай I, как все мы знаем, прочитав его «Историю Петра», а прежде рукопись «Медного всадника», запретил то и другое. Он запретил, зачеркнул знаменитые строки, — мы знаем это

со школьной скамьи и поэтому, может быть, недостаточно сознаем их значение.

Что ж сказано там?

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощной властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?

Как можно было задавать подобные вопросы — куда ты скачешь? Или — где опустишь ты копыта? Известно куда, к преуспеянию России, будущее ее блестяще, как писал Бенкендорф в своем известном отчете Николаю I. Сама постановка таких вопросов, да еще с такой силой выраженных, была совершенно недопустима; но о Петре как сказано — «ужасен», то есть не только сила и дума на челе. Ведь начинается «Медный всадник» так:

Стоял *он*, дум великих полн,
И вдаль глядел.

Сохранилось свидетельство, что когда, уже после смерти Пушкина, славянофилы спорили о Петре, то Смирнова сказала: Пушкин считал идеи Петра великими, и когда Хомяков спросил его об этом с сомнением, считая Петра только великим практиком, государственным деятелем, Пушкин сказал: «Разве дела Петра не свидетельство о величии его идей?» Подтверждение этому свидетельству мы находим в одной из исторических заметок Пушкина, где он пишет: «Петр стал главою *новых идей*». И вот наряду с изображением Петра «в масштабе земного шара» Пушкин пишет о нем в 1830-е годы (оригинал по-французски): «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)» — и проницательно поясняет: «...средства, которыми совершается революция, недостаточны для ее закрепления».

Таким образом, Пушкин считал, что Петр сначала, подобно Робеспьеру, совершил кровавый крутой переворот якобинским манером, а потом, подобно Наполеону, закреплял уже другими средствами основные результаты этого переворота — революции сверху; при этом Пушкин считал, по всей видимости, что Петр во второй период своего царствования, когда он закреплял новыми средствами результаты этого якобинского переворота, продолжал применять наряду с новыми средствами и прежние средства. Пушкин, видимо, считал, что Петр тем самым подорвал, ослабил многие результаты собственных реформ или переворота.

Это видно из писем Пушкина к Чаадаеву и отражено в пушкинских черновиках. Вот какова глубина исторической мысли Пушкина, какая сила выражения! Но и этого мало. Я не боюсь приводить строки Пушкина, достаточно известные; помните, он говорит в своей «Истории»: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плод ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые — жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика». И добавляет: «Это внести в *Историю Петра*, обдумав».

Здесь, во-первых, тацитовской силы проза; во-вторых, мы убеждаемся, что Пушкин строит образ Петра на раскрытии противоречий, и в-третьих, ко всему объясняет характер Петра как характер социальный; Петр — «самовластный», «нетерпеливый» помещик.

Мысли эти уже были у Пушкина, когда он писал «Медного всадника»: лучшим комментарием поэтому при изучении «Медного всадника» являются собственные исторические высказывания Пушкина о Петре. Я еще и частность упомяну, которая подчеркнет, как смело был описан Петербург в «Медном всаднике».

Известно, что когда Булгарин (даже Булгарин!) перед новой подпиской на новый год, желая повысить как-то тираж «Северной пчелы», писал то, что он считал либерализмом, — например, что в Петербурге климат плохой (Некрасов впоследствии по этому поводу сказал:

Мою любимую идейку,
Что в Петербурге климат плох,
И ту не в каждую статейку
Вставлять я без боязни мог), —

он вызван был в III Отделение, где ему было сказано: «Ты что у меня? климат царской резиденции бранишь!»

А как же писал Пушкин в «Медном всаднике» о Петербурге, о котором раньше сказал: «Город пышный, город бедный».

Белинский говорил, что существуют художники, картины которых признаны гениальными за колорит. Он писал это по поводу поэмы «Домик в Коломне». Но взглянем в этом свете на поэму о «Медном всаднике». Во Вступлении к ней все четыре времени года (зима, весна, осень и лето), которые Пушкин любит, а вся поэма погружена в мрачную ненастную осень. Вот как распределен в ней этот колорит. Во Вступлении:

Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз...

Весна, северная, петербургская, когда

...взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет,
И, чуя вешни дни, ликует.

Может быть, Пушкин вспоминал, глядя на синие льдины, что весной 1826 года запретили резать лед невский, потому что трупы убитых 14 декабря на Сенатской площади были сброшены под лед. Они вмерзли в этот лед, и когда его рубили на льдины для летнего назначения, то в нем замороженные лежали солдаты и офицеры-декабристы. Но здесь другая сторона — «И, чуя вешни дни, ликует». И лето — белая летняя ночь, «Адмиралтейская игла». А в поэме — «печален будет мой рассказ»:

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.

И, изучая черновики, творческую историю «Медного всадника», я был поражен тем, что сначала в поэме в описании Петербурга:

Синий вал
Плескал в края ограды стройной.

«Синий вал» Невы. Голубое небо — это Петербург «золота в лазури». Но Пушкин зачеркнул это и оставил вместо того «серый», а после — «тяжкий вал», в другом все колорите — в мрачном. То есть я хочу сказать, что свои идейные решения он выражал как художник не только средствами прямого выражения, суждениями, тезами, но и всей силой художественных средств. И в «Истории Петра», если читать внимательно, мы найдем страницы, где тот же колорит в повествовании о Петербурге, как и в «Медном всаднике». Это синхронные произведения. Но вот «Медный всадник» не увидел света. А «История Петра»? А десятая глава «Онегина»? А запретное «Путешествие из Москвы в Петербург»? Мы вправе сказать, что большая часть этого всего дошла до нас в таком состоянии, что нужна, необходима была археологическая работа, для того чтобы извлечь все это и сделать доступным для нашего чтения, разумения и понимания. То есть большая посылка: история открыла нам и эту потаенную часть Пушкина, но состояние ее исторически таково, что требуются тут усилия историков, усилия филологов для того, чтобы этот «новый» Пушкин стал нам доступен. И вот я думаю, что когда Пушкин писал свой «Памятник», где мы читаем: «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа», — он знал, что делал, над чем трудился, кому он в будущее адресовал свои труды. И вот сегодня, в один из торжественных дней, мы поминаем Пушкина благодарным словом — и того, какого знали наши деды и отцы, и того, которым он нам теперь открывается.



ДНЕВНИКИ И „ЗАПИСКИ“

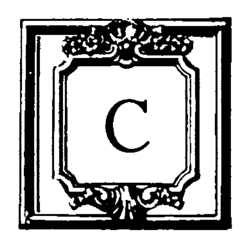






Автопортреты Пушкина *1820 г., 1826 г.*

СУДЬБА ЗАПРЕТНЫХ РУКОПИСЕЙ



Судьба Пушкина была катастрофической. Несмотря на это он совершил свой великий путь; судьба же запретной части его рукописного наследства оказалась такой же катастрофической, как судьба самого поэта. Когда умер брат Пушкина, Лев Сергеевич, Вяземский, друг Пушкина, записал: «16 июня 1853 года узнал я о смерти Льва Пушкина; с ним, можно сказать, погребены многие стихотворения брата его, неизданные, может быть даже и не записанные, которые он один знал наизусть. Память его была — та же типография, частью потаенная и контрабандная. В ней отпечатлевалось все, что попадало в ящик ее. С ним сохранились бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом». Были, значит, свидетельствует Вяземский, неизвестные нам некоторые драгоценности, точней — многие стихотворения Пушкина, которые один только брат поэта знал наизусть и которые погребены вместе с ним.

Лев Сергеевич преклонялся перед своим старшим братом, вот и была на него написана дружелюбная, шутливая эпиграмма:

Наш Лев Сергеич очень рад,
Что своему он брату брат.

А сам Пушкин, возвращаясь с войны из-под Арзрума, где служил в действующей против турок армии его младший брат Лев Сергеевич, в стихотворении «Дон», вспоминая о нем — и о себе, конечно, — сказал:

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.

Так вот, мы до сих пор не знаем некоторых «контрабандных», как говорил тогда Вяземский, запретных стихотворе-

---

Стенограмма выступления в Актовом зале МГУ 8 июня 1969 г.

ний Пушкина. Некоторые стихи Пушкина дошли до нас только потому, что сохранились в сделанной иной раз по памяти записи современников. Так сохранились, например, стихи, не вошедшие в окончательный текст «Онегина», в котором Пушкин вспоминал, видимо, свою мучительную любовь к Амалии Ризнич, той самой женщине, памяти которой посвящено его великое лирическое стихотворение:

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой...

Вот эти стихи, которые сохранились только случайно, записанные современником поэта. Пушкин вспоминал в них:

Да, да, ведь ревности припадка[1].
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.
Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер
Иль шею склонит под топор.

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным.
Как учат слабое дитя,
Ты, душу нежную, мутя,
Учила горести глубокой.
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламень ревности жестокой;
Но он прошел, сей тяжкий день:
Почий, мучительная тень!

Эти стихи не сохранились в рукописях Пушкина потому, может быть, что были личными, слишком личными. Но ведь речь идет не только о такого рода слишком личных, откровенных произведениях пушкинской лирики.

Когда мы говорим о судьбе запретной части пушкинского рукописного наследства, речь идет, конечно, о политически запретных в то время произведениях Пушкина. Все мы знаем теперь историю так называемой десятой главы «Евгения

---

[1] В единственном числе — «припадка», а не «припадки», — было такое слово, теперь не употребляющееся.

Онегина», посвященной Пушкиным политической истории его времени.

Вы знаете, конечно, что главу эту, может быть только начатую и незаконченную, Пушкин сжег в Болдине в 1830 году и на полях рукописи своей повести «Метель» записал: «19 октября сожжена X песнь», то есть десятая глава «Онегина». Но, сжигая ее, вместе с тем он зашифровал, как мы знаем, ряд мест этой главы. В 1910 году, то есть в следующем, XX веке, пушкинист П. О. Морозов отыскал в бумагах академика Майкова этот шифрованный листок, листок, который жандармы, производившие посмертный обыск у Пушкина, видели и даже поставили на нем красными чернилами регистрационный номер, но прочесть не смогли.



Л. Пушкин.
Рисунок Пушкина. 1829 г.

Помните, как по совсем другому случаю сам Пушкин сказал в стихотворении «Что в имени тебе моем»:

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Вот таким непонятным листком и был этот листок «Онегина».

Да, Морозов расшифровал его. И до сих пор наш старейший исследователь и писатель Корней Иванович Чуковский вспоминает и рассказывает, как 59 лет тому назад Морозов позвонил ему по телефону и созвал историков литературы, для того чтобы поделиться с ними замечательным открытием — расшифровкой этих стихов. Но случай этот, который всегда рассматривался как исключительный, единичный, заставляет задуматься над судьбой всей запретной части рукописного наследия Пушкина, в частности, в свое время заставил и меня задуматься над этим. Ведь случай с десятой главой показывает, что Пушкин, вынужденный сжигать произведения, принимал меры, стремился к тому, чтобы втайне сохранить их для потомства. Так что же, только один такой случай был в истории его жизни и его творчестве?

Мы знаем, что, когда Пушкин был вынужден, боясь, скажем, обыска после разгрома восстания 14 декабря, пересмотреть свои бумаги, свои рабочие тетради, он вырвал из них множество страниц, но выбирал, уничтожал свои страницы с разбором, сохранял даже части отдельных страниц, иногда некоторые полоски. Например, на полях одной своей рукописи Пушкин нарисовал портрет в профиль декабриста Лунина, который в свое время предлагал убить Александра I, заколоть его кинжалом, а над ним эмблему цареубийства — кинжал. Уничтожая эти опасные страницы, Пушкин, любивший и очень ценивший Лунина, все-таки оторвал узкую полоску — вот это самое поле страницы — и сберег и сохранил его. Сохранил он и части, отдельные четверостишия уничтоженной десятой главы «Евгения Онегина» и других, как увидим, произведений.

Все мы знаем десятую главу и так уже к ней привыкли, что мы, может быть, несколько не замечаем всей поражающей смелости этих стихов: ведь Пушкин в царствование Николая I, брата Александра, которого называли Александр Благословенный, о нем написал:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

А об убийстве Павла, о возмущении Семеновского полка, гвардейского полка, которое произошло в царствование Александра I, во времена Пушкина, он смело и так прекрасно писал в десятой главе «Онегина»:

Потешный полк Петра Титана,
Дружина старых усачей,
Предавших некогда тирана
Свирепой шайке палачей.

То есть он осудил и тирана Павла, и зверское, янычарское, как говорил Пушкин, убийство его, назвав убийц его свирепой шайкой палачей. Он описал собрания, сходки декабристов, на которых сам присутствовал, и смело назвал среди декабристов свое имя:

Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Якушкин давно находился на каторге, а Пушкин смело срифмовал с его именем свое имя. Пушкин, сознавая важность, ценность всего этого, несмотря на опасность подобных стихов, сохранил, зашифровал и спас их для потомства. Он хотел, чтобы все это сохранилось. Но все-таки сжег, сжег эту целую

запретную часть «Онегина». Я уже ставил сейчас, сегодня этот вопрос: что же, единственный это был случай сожжения? Нет, по крайней мере четыре случая сожжения могу я сейчас назвать.

В 1820 году, когда решалась судьба Пушкина, когда Аракчеев стремился, чтобы Пушкин был заключен в Соловецкий монастырь, в крепостную тюрьму, а Александр I сказал директору Царскосельского лицея, где в свое время учился Пушкин: «Пушкина надобно сослать в Сибирь, он наводнил всю Россию возмутительными стихами», — вот тогда-то и было послано Пушкину распоряжение явиться к петербургскому генерал-губернатору графу Милорадовичу, тому самому графу Милорадовичу, который был убит в день восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Милорадович послал на дом, на квартиру к юному Пушкину взять, как писали современники Пушкина, его бумаги.

Послан был добывать бумаги Пушкина (сначала втайне) «стреляная птица» — известный в то время агент тайной политической полиции Фогель, который прославил в тайной полиции свое имя тем, что нашел скрытое в колесе экипажа шпионское донесение; вот он и был послан на квартиру к Пушкину и уговаривал, как известно, его крепостного дядьку-слугу и воспитателя Козлова — отдать бумаги Пушкина, сулил ему сто рублей за это, но верный дядька денег не взял и ничего не отдал. Служивший в канцелярии Милорадовича декабрист Федор Глинка предупредил Пушкина, рассказал ему о грозящей ему беде.

Пушкин явился к Милорадовичу и сказал: не ищите моих рукописей, ничего не найдете — он уже уничтожил свои запретные стихи, свои рукописи. Но, сказал Пушкин, прикажите подать чернил и бумаги, все это у меня в голове, я вам все тут же напишу. Милорадович был в восторге от такого, как он сказал, рыцарского поступка Пушкина, приказал подать ему бумагу и перо, и современник свидетельствует, что Пушкин написал целую тетрадь, которую теперь и называют поэтому Милорадовической тетрадью.

Пушкин был, конечно, человек рыцарственный, но не надо считать его глупцом, — цель этой записи состояла не только в том, чтобы признать все, что он был вынужден признать из своих запретных произведений, но и отказаться от всего, от чего он мог отказаться.

Один из современников свидетельствует, что Пушкин все записал, кроме одной эпиграммы на Аракчеева, зная, откуда идет угроза, и понимая, конечно, что эпиграмма эта ему никогда не простится. Эпиграмма эта «На Аракчеева», вероятно, вот какая:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

Известно, что Аракчеев отличался необычайной жестокостью при усмирении восстания Чугуевских военных поселений, где засек насмерть шпицрутенами множество людей. (Возможно, впрочем, что эта эпиграмма и не принадлежала Пушкину, а только приписывалась ему.) Другой же современник Пушкина, очень осведомленный и авторитетный, писал Анненкову, редактору первого научно изданного Собрания сочинений Пушкина, что Пушкин не внес в Милорадовическую тетрадь многих запретных стихов и отказался, таким образом, не от одной только эпиграммы на Аракчеева.

Так что это был первый акт борьбы Пушкина с самодержавием, когда он постарался все, что было можно, сохранить в тайне, а от чего можно — отказаться.

И вот, когда статс-секретарь по Министерству иностранных дел граф Каподистрия, высший начальник Пушкина (Пушкин числился по Министерству иностранных дел), докладывал императору Александру I Милорадовическую тетрадь и Александр I хотел прочесть стихи Пушкина в этой тетради, Каподистрия сказал ему — нет, ваше величество, вам лучше этого не читать (так сказать, не портите нервы). Александр I послушался этого совета, читать не стал. Где же находится теперь эта тетрадь? И какова ее судьба?

В 1937 году на юбилейной пушкинской сессии Академии наук СССР М. А. Цявловский, знаменитый пушкинист, мой учитель, предложил принять резолюцию (она и была принята Академией наук) разыскать эту Милорадовическую тетрадь, потому что там могут находиться неизвестные нам запретные политические стихотворения Пушкина. Но как ни ищут — вот уже тридцать лет, — не находят, а между тем она может существовать, ибо маловероятно, что тот автограф, та тетрадь, которую Пушкин лихорадочно, в спешке, в волнении заполнил в кабинете Милорадовича, была единственной; скорее всего этот автограф был переписан, то есть с него были сняты копии в канцелярии Милорадовича, и царю понесли небось парадную копию. И Нессельроде, статс-секретарь и будущий министр иностранных дел, мог рассчитывать на более парадную копию.

То есть хочу сказать этим: вот еще случай, когда очень важное собрание запретных политических стихотворений Пушкина не найдено до сих пор, но может быть еще найдено.

Это было первое известное нам сожжение.

Затем Пушкин, после того как узнал о разгроме восстания 14 декабря, сжег, как сам свидетельствует, свои мемуары, свои автобиографические записки, которые начал в 1821 году и вел вплоть до самого декабрьского восстания, то есть до того времени, когда, узнав о разгроме восстания, вынужден был их сжечь. Я специально занимался изучением этого вопроса. Пушкин писал, что они уничтожены, сожжены, и в литера-

туре по Пушкину, в обширной пушкинской литературе, не было ни одной не только работы, но даже заметки в пушкинском словаре об этих записках, а упоминалось только, что Пушкин сжег их и они, к сожалению, утрачены. Многолетнее изучение вопроса о судьбе этих записок привело меня к выводу, что Пушкин уничтожил эти автобиографические записки не целиком, что он сохранил ряд отрывков, таких, какие не могли повредить его знакомым, людям — участникам движения декабристов, а либо были опасны по своему политическому содержанию только для самого Пушкина, либо же носили характер незапретный.

Он мог, например, вспоминать в своих «Записках» о встрече с Державиным на лицейском экзамене, рассказать биографию своего прадеда с материнской стороны, «арапа Петра Великого» — Абрама Петровича Ганнибала и т. д. и т. п. И вот оказалось, что Пушкин действительно сохранил некоторые отрывки своих сожженных записок и даже печатал их с цензурными, самим им сделанными изменениями под видом разных приложений к другим своим произведениям, даже под видом примечаний к своим поэмам и т. д. Вот вам второй случай сожжения и вместе с тем сохранения и даже публикации всего, что было возможно, из сожженного произведения.

Третье, важнейшее сожжение, о котором мы уже говорили, — это сожжение десятой главы «Евгения Онегина». На этот раз Пушкин поступил подобным же образом, то есть он сжег свою рукопись, но втайне сохранил из нее все, что мог. Случай с десятой главой «Онегина» поучителен и важен еще и в другом смысле, — значение этого случая выходит за пределы значения текста, который нам открылся. Ведь текст этот оставался, как мы уже говорили, недоступным: листок был, а читать этот очень несложным образом зашифрованный листок (Пушкин просто перетасовал стихотворные строки определенным образом, так, чтобы они представляли собой на первый взгляд бессмысленный набор фраз) было невозможно.

Но ведь мало было расшифровать эти строки, Морозов — заслуга его велика — расшифровал их, но он не увидел, не догадался, что это, как он его назвал, «шифрованное стихотворение» Пушкина представляет собой часть «Евгения Онегина»; это потом только установили, догадались. То есть, когда в таком состоянии доходит произведение, относящееся к катастрофической части пушкинского рукописного наследства, мало напечатать его печатными буквами или даже расшифровать, а нужно превратить этот документ, часто хаотический и таинственный по внешнему виду, в открытый текст (или, как говорят шифровальщики и расшифровщики, нужно получить из этого шифра «клэр»). Поэтому в случае с десятой главой «Евгения Онегина» нужно было не только найти и расшифровать зашифрованный рукой Пушкина листок.

Здесь потребовалось открытие: мало найти неизвестную рукопись Пушкина, ее нужно было, во-первых, расшифровать, во-вторых — раскрыть, что это — часть «Онегина», и затем понять, каков же был замысел и каково должно было быть и осуществление «Евгения Онегина» при наличии этой запретной части. Тут нужна новая, важная, трудная работа. Теперь случай с десятой главой «Евгения Онегина», повторяю, отнюдь оказывается не единственным у Пушкина и помимо шифра, в смысле тайнописи, когда он шифровал с целью спрятать от чужого враждебного глаза: ведь Пушкин очень много в своих рабочих тетрадях (так он поступил и в рукописи своей незавершенной «Истории Петра») писал про себя для себя, это не было тайнописью, но это была шифровка в условном смысле слова, это был скоростной метод быстрой, условной, сокращенной записи, которую бы сам Пушкин мог прочесть, расшифровать.

То есть я хочу сказать: нужно не только исправлять ошибки, которые туда вкрались по вине ли Пушкина, который писал наскоро, по вине ли переписчиков. Ведь чудо заключается в следующем: вот на отмель времен неожиданно выбросит из пушкинского наследства то листок «Онегина» шифрованный (это один листок, но он так важен!), то выбросит целый ящик рукописей с «Историей Петра», незавершенной и тоже нам недоступной, то вдруг найдется давно уже, в прошлом веке, буквально клочок, оторванный Пушкиным. Представьте себе: вот он взял листок, вот так оторвал и что-то наскоро написал на этом клочке, места ему не хватило, тогда он стал писать строки накрест, поперек... Это всего только один клочок, но на этом клочке содержится историческая концепция Пушкина, его историческое обобщение о роли Петра I, о роли русского самодержавия после Петра.

На этом малом клочке лихорадочным, быстрым почерком он написал, может быть, ночью, в момент пробуждения или бессонницы по-французски: «Петр I одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощение революции)» — и добавил: «...средства, которыми совершается революция, недостаточны для ее закрепления». Вот видите, какое гениальное обобщение: ведь он считал, что в первый период своего царствования Петр I совершил крутой переворот, кровавую, наподобие якобинской революции Робеспьера, революцию сверху, а во второй период своего царствования Петр, подобно Наполеону, другими средствами закреплял достижения этой революции. И гениально поясняет (Пушкин был также знатоком истории Французской революции, тщательно изучил предмет, но стал писать историю Петра), что средства, которыми совершается революция, непригодны или недостаточны для ее закрепления.

А ведь записано это буквально на клочке бумаги. Поэтому я не хочу фетишизировать количество: скажем, рукописи не-

завершенной «Истории Петра» представляют собой целый ящик, а здесь — клочок. Но этот клочок — «мал золотник, да дорог» — драгоценен.

Каковы судьбы пушкинских рукописей?

Об этом можно вот еще что сказать. Знаете знаменитое латинское изречение: книги имеют свою судьбу. А рукописи? Вот, например, когда вот эту самую «Историю Петра» пытались провести через цензуру при Николае 1, то отдали ее сначала частным образом бывшему цензору, чтобы он сам подготовил огромную рукопись к официальной цензуре. Он составил такой реестр, этот бывший цензор, Сербинович. Я нашел этот реестр в бумагах Сербиновича в архиве лет двадцать тому назад. Сам Сербинович на одной стороне каждой страницы выписал 49 запретных мест «Истории Петра». Он всю душу вынул из этой рукописи. Он был очень умелый цензор и историю Петра также знал, — и поэтому он сравнительно небольшими изъятиями вынул самую душу этого пушкинского труда, всю его концепцию. Тетради, из которых цензор Сербинович изымал запретные места, пропали, но сохранились эти запретные места, которые цензура хотела навсегда скрыть от читателей. Они сохранились благодаря цензуре, ибо этот реестр, то есть запрещенные строки Пушкина, оказались в бумагах Сербиновича и в значительной части стали известны еще в прошлом веке Анненкову. Но не полностью: там были очень важные пушкинские строки, которые нам до того, как нашелся реестр Сербиновича, оставались неизвестны.

А вот когда, скажем, мы сокрушаемся, что библиотека Пушкина, несколько тысяч томов, лежала без всякого движения в ящиках сначала в подвалах казарм конногвардейского полка, которым командовал второй муж Натальи Николаевны Пушкиной генерал Ланской, а потом в усадьбах его детей, у Александра Александровича Пушкина в селе Ивановском Московской губернии и т. д. и т. д., то мне кажется, хорошо, что они лежали в ящиках и их никто не читал.

Благодаря этому в них сохранилось множество драгоценных закладок Пушкина, на тех самых местах, куда их Пушкин своей рукой положил, и это дает нам возможность поблагодарить нерадивых потомков за нерадение и воспользоваться драгоценным материалом, этими закладками. История — вещь сложная, ведь с тех пор что было: и блокада Ленинграда, и перевозки. Когда известный пушкинист, покойный Модзалевский Борис Львович (сын его, Лев Борисович, тоже был пушкинистом), выпустил свой замечательный каталог библиотеки Пушкина (его работа — подвиг), в котором тщательно описал, где лежали пушкинские закладки, — теперь они уже не всегда там лежат, и поэтому руководствоваться надо каталогом Модзалевского, а не реальным местоположением закладок на сегодняшний день. Я хочу сказать: видите, уцелело благодаря

цензуре то, что хотели скрыть в рукописях Пушкина, уцелели закладки, потому что потомки просто не читали книг Пушкина, они сохранились благодаря тому, что к книгам этим не прикасались. И, наконец, Пушкин, как известно, находясь на смертном одре, попросил доктора Спасского, одного из лечивших его врачей, достать какую-то бумагу из ящика и при нем сжечь эту бумагу.

Последнее сожжение, четвертое из перечисленных мною, Пушкин приказал осуществить на смертном одре, когда уже своей рукой не мог сжечь свою рукопись; мы не знаем, что это за рукопись, но, должно быть, важная.

Что же касается писем самого Пушкина, то, как писал названный уже мною исследователь писем Пушкина и вообще замечательный исследователь Борис Львович Модзалевский, до нас их дошло меньше половины. Но как раз неизвестные раньше письма Пушкина обнаруживаются все время и могут быть еще найдены, поскольку они находились у его адресатов, а теперь у их потомков, их наследников. К сожалению, те, кому писал Пушкин, вынуждены были иногда сжигать его письма. Так, Чаадаев сжег важные письма Пушкина к нему.

Важнейшее по своему содержанию письмо Пушкина к Чаадаеву от 19 декабря 1836 года сохранилось только благодаря тому, что Пушкин побоялся отправить его Чаадаеву, уже объявленному по приказу Николая I сумасшедшим, — Чаадаева приказано было объявить сумасшедшим после опубликования в журнале «Телескоп» его «Философического письма». Поэтому, хотя Пушкин в своем письме спорил с Чаадаевым, не соглашался с ним, он не решился отправить Чаадаеву в Москву из Петербурга свое письмо.

А Ушакова, которую Пушкин любил и на которой чуть было не женился (многие поклонники и поклонницы Пушкина, к слову сказать, поныне жалеют, что Пушкин не женился на Ушаковой, надеясь, что судьба его была бы тогда счастливее), так вот, когда Ушакова выходила замуж, не желая возбуждать ревность своего мужа Киселева, она сожгла целый ларец с письмами Пушкина. И последние письма, и другие, может быть, важные рукописи из этого ларца погибли совсем недавно, уже в советское время. Вот как это стало известно. Одна женщина-врач в наше время лечила внучку Ушаковой, в замужестве — Киселевой, и эта самая внучка призналась ей, что у нее до сих пор есть какие-то пушкинские рукописи, как будто бы письма к ее бабке, но что она никому из пушкинистов не соглашается даже показать их, хотя ее просят, умоляют отдать, опубликовать эти письма. И, наконец, она сообщила этой своей женщине-врачу, что она эти письма, во избежание соблазна, как она выразилась, сожгла. Так что письма Пушкина гибли то по политическим, то по интимным биографическим причинам, рукописи пропадали и все же обнаруживались, находились.

Я закончу сегодняшний рассказ вот чем.

Тысячелетний мировой опыт филологии показывает, что есть все-таки служба спасения литературных памятников, которые гибли то от войн, пожаров, наводнений, то от гонения реакционных властей. Гибли и в пушкинское время. А все-таки, хотя до нас не дошла, скажем, ни одна рукопись Гераклита, мы знаем Гераклита и его гениальные мысли. Не дошли до нас, конечно, никакие рукописи Гомера, а есть только позднейшая работа александрийских филологов, восстановивших его бессмертные эпические поэмы, а все-таки есть у нас «Илиада» и «Одиссея» и прочее, и прочее, и прочее. Мой сын, студент-филолог, когда я с ним делился этими мыслями, верно сказал, что не только дошли до нас мысли Гераклита, но можно надеяться, что сохранилось самое главное и яркое, потому что то, что дошло, сохранилось, главным образом, в цитатах у последующих писателей или в произведениях противников, которые полемизировали и при этом давали трибуну своему противнику, скажем, тому же Гераклиту: цитировали с целью ли превознести или с целью опровергнуть, приводя из него наиболее важное, наиболее яркое.

Поэтому и к Пушкину мы должны, так сказать, применить эти испытанные прекрасные методы службы спасения великих литературных памятников древности. И задача эта не безнадежна. Даже на протяжении жизни одного поколения, как видим, обнаружились великолепные запретные стихи десятой главы «Онегина». Что касается круга собственных моих изучений, то, после того как была найдена после революции огромная рукопись пушкинской «Истории Петра» среди черновых и всякого рода предварительных текстов, в ней оказалось возможным неожиданно обнаружить великое множество образцов великолепной пушкинской исторической прозы, высокохудожественной; причем эта проза не только новая для нас, поскольку мы ее не знали, но проза новая и для Пушкина, ибо он развивался, прогрессировал, это уже не та историческая проза, какую мы находим в «Истории Пугачева», а еще более высокая, более художественная, более зрелая.

И позвольте закончить это мое выступление надеждой на то, что будут еще найдены неизвестные рукописи Пушкина и будут еще изучаться и восстанавливаться многие его, казалось бы, навсегда утерянные страницы, которых мы не знали, но которые узнают, может быть, наши дети и внуки.

ОБ ОДЕ «ВОЛЬНОСТЬ»

С начала 20-х годов и особенно в середине 30-х Пушкин с настойчивостью историка собирал рассказы современников и участников цареубийства 11 марта. Но еще раньше, в оде «Вольность», облетевшей Россию, Пушкин открыто изобразил умерщвление Павла. Изобразил с исторической верностью, вспоминая Клио, то есть музу истории.

Поверх строки «Погиб увенчанный злодей» Пушкин нарисовал в рукописи своей оды профиль Павла. Перед нами историческое произведение поэта, и потому представляется нужным предпослать статью о «Вольности» очерку, в котором нами собраны данные о том, как Пушкин подготовлял позднее в своих записях задуманную им историю цареубийства 11 марта 1801 года.

1

«Вольность», ода молодого Пушкина, дошла до нас «как старое, но грозное оружие» против деспотизма — против царизма и цезаризма. Непонимание этого приводит исследователей знаменитой оды Пушкина к ошибкам.

Обстоятельства, при которых были написаны стихи «Вольности», направленные — прежде всего — против тирании царизма, рассказаны в воспоминаниях Вигеля, он пишет: «Из людей, которые были его старее, Пушкин всего чаще посещал братьев Тургеневых. Они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный (где был убит император Павел I.— *И. Ф.*), и к ним, то есть к меньшому, Николаю, собирались нередко высокоумные молодые вольнодумцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно, на пустой тогда, забвенью брошенный дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от арапа, генерала Ганнибала и гибкостью членов, быстротою телодвижений несколько походил на негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нем, схватил перо и бумагу и со смехом принялся

Рисунок Пушкина в рукописи оды «Вольность» к строке: «Погиб увенчанный злодей» — Пушкин нарисовал Павла I. *1819 г.*

писать...»[1] Стихи, по мнению Вигеля, были «хороши, но не превосходны». Возможно, что его занимательный рассказ не во всем точен.

Но вот стихи «Вольности» «на бывший Михайловский замок». Не о них ли позднее сказал Пушкин: «Тут есть три строфы очень хорошие» — в своем «Воображаемом разговоре с Александром I», сочиненном в 1824 году?

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец,—

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,

---

[1] Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. VI. М., 1892, с. 10.

Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

2

«Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи... Я читал вашу оду *Свобода*. Она вся написана немного сбивчиво, слегка обдумано, но тут есть три строфы очень хорошие. Поступив очень неблагоразумно, вы однако ж не старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вы можете иметь мнения неосновательные, но вижу, что вы уважили правду и личную честь даже в царе»[1].

Эти слова Александра I Пушкин слышит в своем воображаемом разговоре с царем. Александр I в этом разговоре воспринимает «Вольность» как стихи, которые не затрагивают его лично в связи с цареубийством 11 марта («нелепая клевета» — обвинение Александра в соучастии с убийцами его отца).

Но в личностях ли только было дело, когда

...грозящий голос лиры
Тирана в ужас приводил[2].

Калигулой Пушкин назвал Павла и позднее, в «Заметках по русской истории XVIII века». Назвать Павла Калигулой было естественно. Калигула прославлен был безумной жестокостью, по-видимому, следствием психического расстройства. Как Павел, Калигула был убит гвардейцами, преторианцами.

Но только ли Павел Калигула?

Калигула (как Александр I) сам способствовал убийству своего предшественника, императора Тиверия, который, по

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 69.
[2] «Не тем горжусь я, мой певец» (стихотворение, написанное Пушкиным в 1821 г.).

свидетельству Тацита, был задушен. Калигула вырос в лагере, среди солдат («Воспитанный под барабаном», — сказал об Александре I Пушкин). Прозвище свое Калигула получил от названия солдатской обуви, которую носил в детстве («венчанным солдатом» Пушкин назвал Александра I).

Вступив на престол, Калигула был желаннейшим государем, первые меры его были благие (сравни: «Дней Александровых прекрасное начало...»). Вскоре, однако, в Калигуле произошла перемена к худшему...

На «Калигулу» в «Вольности» Александр I имел основание обидеться не только за отца, но и за себя.

Разговор Александра I с Пушкиным шел, однако, не только по личному делу. Александр I, писал впоследствии Пушкин, «окружен был убийцами его отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины». Эти жестокие истины — декабристский аргумент против тирана — услышал Александр I в строфах «Вольности».

3

«Царствование Павла доказывает одно, — писал Пушкин в 1822 году, — что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы... Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою»[1], — добавляет он. Мысль Пушкина ясна: в стране, где нет свободы, огражденной законом, образ правления есть деспотия, при которой и против тиранов обращены «бесславные удары» — средства также преступные. А между тем традиционная в доме Романовых «удавка» заменить законность, конституцию не может. Сторонники самовластья — вот подлинные защитники «удавки». Против русских защитников самовластья Пушкин обращает и слова г-жи де Сталь, преследуемой тиранией Наполеона. «Не удивительно, что Тацит, *бич тиранов,* не нравился Наполеону, — писал Пушкин, — удивительно чистосердечие Наполеона, который в том признавался, не думая о добрых людях, готовых видеть тут ненависть тирана к своему мертвому карателю»[2].

В «Вольности» стихам, прямо направленным против русского самовластья, Пушкин предпослал стихи о «шуме бурь недавних», о казни Людовика XVI и — о Наполеоне.

Вот начало «Вольности»:

---

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 127 (последняя фраза у Пушкина по-французски).

[2] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XII, с. 194.

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.

Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!..

Вопрос о Наполеоне был мировым вопросом. И Пушкин, для которого он связан был с вопросом о цезаристской тирании, не мог обойти его в «Вольности», обращенной против «тиранов мира». От описания казни Людовика XVI Пушкин перешел в своей оде к стихам о Наполеоне:

И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,.
Ты ужас мира, стыд природы.
Упрек ты богу на земле.

Наполеон для Пушкина «самовластительный злодей» не только в оде «Вольность», в оде «Наполеон» позднее Пушкин сказал о нем:

Тебя пленяло самовластье.

А между тем в той же оде на смерть Наполеона мы читаем:

Великолепная могила,
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

В первоначальных вариантах оды «Наполеон» было слово «злодей», а в окончательном тексте этой оды: «Во след тирану полетело, как гром, проклятие племен». Поздней, в стихах 1823 года, Наполеон у Пушкина «мятежной вольности наследник и убийца — сей хладный кровопийца».

Таким образом, несмотря на то что отношение Пушкина



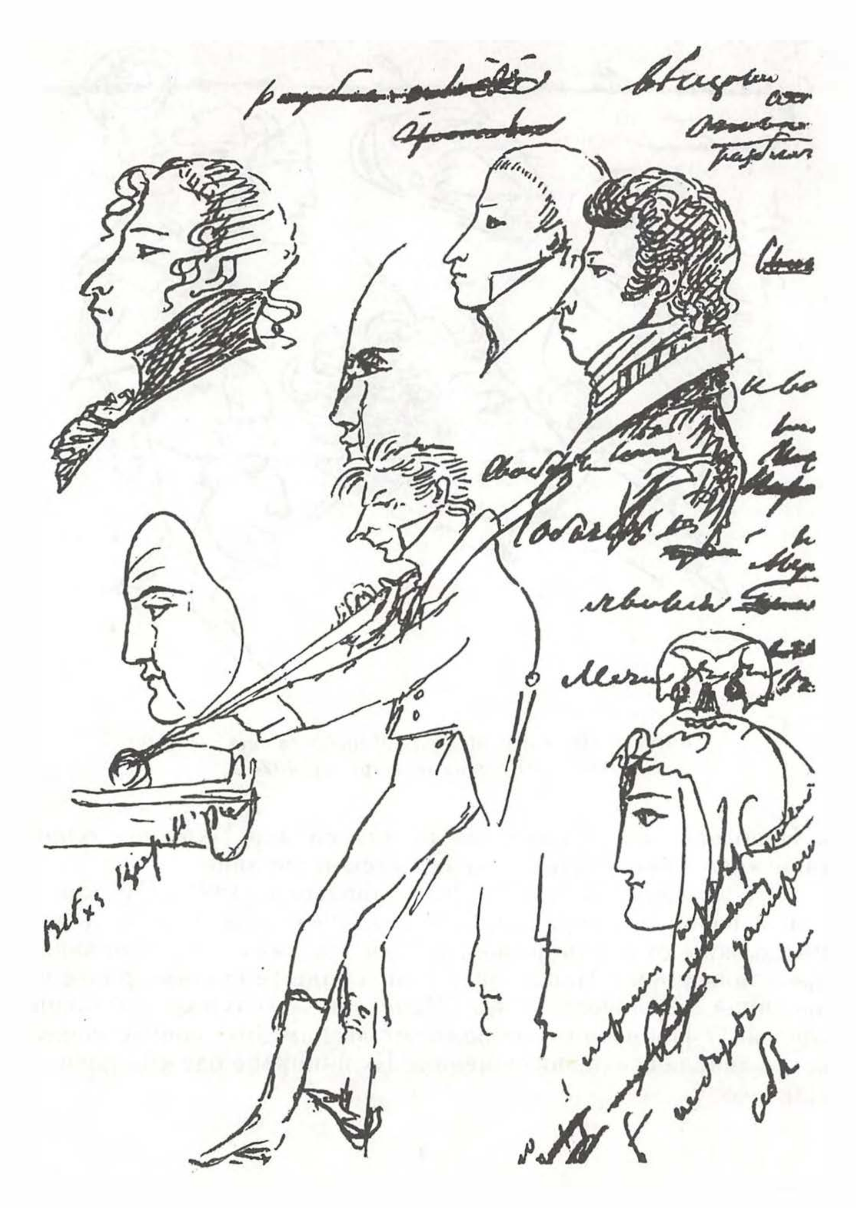
Рисунки Пушкина: профили Мирабо (в середине), Данте и Наполеона (справа). *1824 г.*

к Наполеону изменялось, он оставался для Пушкина олицетворением самовластья — цезаристской тирании.

И если уже в оде на смерть Наполеона (1821) Пушкин не только назвал его тираном, но и сказал: «Угас великий человек», мы должны ответить на вопрос, как это вяжется у Пушкина с представлением о Наполеоне как о тиране (и стихами ранее написанной «Вольности», где Наполеон — «самовластительный злодей»)? Посмотрим, не поможет ли нам этот вопрос понять, как возникли стихи, посвященные Пушкиным в оде «Вольность» Наполеону.

4

«Что вслед Радищеву восславил я свободу», — сказал Пушкин в первоначальном тексте «Памятника». Воображаемый разговор с Александром I Пушкин начинает спором об оде «Вольность», кончается же этот разговор тем, что царь рассердился бы и сослал Пушкина в Сибирь, где он написал бы поэму «Ермак», размером и с рифмами (поэму



Страница рабочей тетради поэта *(фрагменты)*. Вверху автопортрет Пушкина в костюме времен Французской революции (в черновике его стихов о Французской революции 1789 года). *1824 г.*

«Ермак» без размера и без рифм написал в Сибири Радищев).

Пушкин демонстративно связывал свою оду с «Вольностью» Радищева. Радищев же в своей оде «Вольность», описав казнь Карла I, обращается к Кромвелю:

Великий муж, коварства полный...
Я чту, Кромвель, в тебе злодея.
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил...

Кромвель — злодей, сокрушитель свободы (как Наполеон) и вместе — «великий муж».

В своей оде «Вольность» (та же последовательность повторена в пушкинской оде «Наполеон»), описав казнь Людовика XVI и перейдя к Наполеону, Пушкин «вслед Радищеву» (то есть вслед обращению Радищева к Кромвелю) обращается к Наполеону как к «злодею» — узурпатору прав вольности (а не Бурбонов):

Самовластительный Злодей!

А в своей оде на смерть Наполеона Пушкин скажет:

И обновленного народа
Ты юность буйную смирил,
Новорожденная Свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил.

Самовластье Наполеона для Пушкина цезаристский вид самовластья, как самодержавие царя его царистский вид.

5

Отношение к Наполеону как к «самовластительному злодею», полагал Б. В. Томашевский, комментируя оду «Вольность», характерно для эпохи после войны 1812 года. Объяснение совершенно недостаточное и потому неправильное. Оно не отграничивает стихи «Вольности», обращенные Пушкиным против Наполеона с позиций борьбы против тирании, всякой тирании, от враждебной Наполеону поэзии, славившей Александра I — победителя Наполеона — и самодержавие.

Трафарет этой официальной поэзии требовал перехода от обличения тирании Наполеона к прославлению его антагониста — русского царя. В стихах Жуковского говорилось, что Александр I, борясь с «самовластительством» Наполеона, «Свободе меч свой посвятил». Многочисленным у Жуковского стихам этого рода Пушкин подражал только в своих отроческих стихах...

В «Вольности» Пушкин восславил Свободу не вслед Жуковскому, а вслед Радищеву — это иная Свобода. От стихов, обращенных против Наполеона, Пушкин в своей «Вольности» перешел к стихам не во славу, а против самодержавного царя. Последовательно ли это? Александр I в «Воображаемом разговоре» упрекает Пушкина в сбивчивости. Сбивчивость эту, по-видимому, Александр I видит в том, что Пушкин обличает то Наполеона, то антагониста его — царя. Последовательность Пушкина кажется непоследовательностью царю. Пушкин отошел от официального трафарета — «сбился»: начал как должно — против Наполеона, то есть как будто во здравие его победителя, «освободителя народов» Александра I, а кончил — за упокой.

Ода, с точки зрения Александра, вообще не довольно «обдумана». Наполеон в ней злодей, это допустимо. Но и победитель этого злодея император Александр, который «Свободе меч свой посвятил», поставлен на одну доску со злодеем. Павел I в оде Пушкина также «увенчанный злодей». Этого говорить не полагалось (хотя жена Александра I, когда тот был еще наследником, писала своей матери о Павле I: «О мама! Это действительно тиран!»).

Но если Павел, по слову Пушкина, злодей, последовательно ли было со стороны поэта называть бесславными удары, освободившие Россию от этого «злодея»? Пушкин отказывался признать удавку «основанием нашей конституции», хотя он против деспотизма Павла. Он не солидарен ни с его убийцами, ни с пришедшим на смену Павлу тираном — Александром. Пушкин против тирании Наполеона. Но, обличая тиранию Наполеона, Пушкин не противопоставляет Александра Наполеону — оба они «тираны мира». Строки оды, обращенные против тирании Наполеона, Пушкин обратил в оружие и против царизма.

6

Для доказательства того, что стихи пушкинской «Вольности» оружие против царизма, нет никакой необходимости доказывать, как делали некоторые исследователи, что стихи пушкинской оды не были обращены против Наполеона и что Пушкин только для вида создал возможность отнесения к Наполеону строфы «Самовластительный Злодей, //Тебя, твой трон я ненавижу!..» — с целью смягчить свою вину, если придется оправдываться — за оду «Вольность» — перед властями. Такое объяснение представляется наивным. Прочтите «Вольность», вычеркнув из нее стихи восьмой строфы. Остального довольно было, чтобы сослать Пушкина в Сибирь.

Образ человека, описанного в стихах восьмой строфы

«Вольности», указывал Виктор Шкловский, имеет признаки, не совпадающие с Наполеоном («трон», «смерть детей», хотя трона у Наполеона уже не было, а наследник его в годы, когда была написана «Вольность», еще не умер)[1].

Мы видели, что стихи «Вольности», о которых идет речь, отвечают пушкинскому образу Наполеона в период создания этой оды. Образ этот — органическое звено эволюции образа Наполеона в поэзии Пушкина. Этому образу Наполеона стихи «Вольности» отвечают, хотя хронология событий жизни Наполеона Пушкиным в оде смещена.

Спорная восьмая строфа «Вольности» («Самовластительный Злодей»), если подходить к ней с буквальной меркой, не приходится по такой мерке ни к Павлу I, ни к Александру I: «Твою погибель... вижу». Но Александр I был еще жив, Павел — ужас России, а не «мира», и стихи: «Читают на твоем челе печать проклятия народы, — Ты ужас мира» — к нему едва ли подходят.

7

К стихам «Вольности» «И се злодейская порфира на галлах скованных лежит» в рукописи оды Пушкин написал: «Наполеонова порфира. Замечание для В. Л. Пушкина, моего дяди (родного)». Ирония этого примечания «для дяди» относится к читателям, для которых вслед за стихами оды «Водопад»:

В броне блистая златордяной,
Как вечер по заре румяной —

старик Державин, в свое время, писывал примечание: «Под сим изображением подразумевается фельдмаршал Румянцов, как по своему прозвищу, так и по преклонности лет своих».

В своем примечании для дяди Василия Львовича Пушкин смеется над теми, кто считает нужным прописывать по месту жительства героя, к которому обращены стихи. Пушкин иронизирует над читателями, которые требуют такой локализации, не понимая, что образ героя есть не только его изображение, но и художественное обобщение.

Обращаясь в «Вольности» к Наполеону, Пушкин подчеркивает общие, родовые черты «тиранов мира». Пушкин зарядил стихи «Вольности» такой ненавистью ко всякой тирании, что ненависти этой достало не только на тиранов, против которых была прямо обращена его двуострая ода: ненависти этой достало и на будущих царей.

---

[1] См.: Виктор Шкловский. Заметки о прозе Пушкина. М., 1937, с. 9—17.

* * *

«Семейным портретом», который в свое время применялся в криминалистике, называется портрет всех членов преступной семьи, снятый на одну пластинку. Такой портрет буквально не похож ни на одного из преступников, зато он выразительнее выявляет общие всем им преступные черты.

В оде «Вольность» дан «семейный портрет» не двух только Романовых. Неплодотворно ставить вопрос: царь или Наполеон? Ода Пушкина была обращена против обоих. Тираны умирали. Как Тацит — бич тиранов, Пушкин оставался их карателем.

1937

ПРОПАВШИЙ ДНЕВНИК

Когда бумаги Пушкина — через сорок пять минут после смерти поэта—были опечатаны Дубельтом, жандармы пронумеровали листы пушкинского дневника, сорвав стальной замок, которым замкнут был его переплет, и на внутренней стороне переплета помечено было: «№ 2». Но «такая же тетрадь, за № 1, взятая по смерти Пушкина... в III Отделение собственной его императорского величества канцелярии, не была возвращена наследникам поэта, до сих пор не разыскана и, может быть, уже не существует, — писал в 1909 году П. О. Морозов, поясняя: — Покойный академик Сухомлинов, имевший доступ во все архивы, говорил нам, что он всюду тщетно искал эту рукопись и ничего не мог узнать о ее судьбе»[1].

Так писал не только П. О. Морозов, ученый, которому удалось расшифровать листок с зашифрованными рукой Пушкина стихами десятой, «декабристской» главы «Евгения Онегина». Не сомневались в существовании пропавшего дневника поэта и такие авторитетные исследователи, как Н. О. Лернер, П. Е. Щеголев. Н. К. Козмин допускал, что дневник существует и находится, может быть, за границей. В отличие от них, Б. Л. Модзалевский и М. Н. Сперанский, а в наше время Н. В. Измайлов отрицали существование неизвестного пушкинского дневника. М. А. Цявловский после некоторых колебаний пришел в конце концов к тому же отрицательному выводу. Но вопрос о судьбе дневника достаточно исследован не был и остается, в сущности, нерешенным.

Между тем в 1925 году за рубежом, в издававшемся в Праге эмигрантском историко-литературном сборнике «На чужой стороне», появилось неожиданное сообщение. «В 1937 году будет опубликован полностью не изданный еще большой дневник Пушкина (в 1100 страниц), — писал Модест Гофман в статье «Еще о смерти Пушкина». — Несомненно, что он прольет больший свет на историю дуэли и драму жизни Пушкина, подготовившую эту дуэль; сколько мы знаем, однако, этот дневник

---

[1] Соч. и письма А. С. Пушкина под ред. П. О. Морозова, т. VI. СПб., б/г., с. 697.

еще больше реабилитирует честь его жены, чем все те материалы, которые до сих пор были в распоряжении пушкинистов».

Но ни в 1937 году, когда истек столетний срок со дня смерти Пушкина, ни позднее неизвестный дневник поэта опубликован не был. Существует ли он действительно?

В конце прошлого столетия академик Сухомлинов, как сказано, тщетно искал его в секретном архиве III Отделения. Но разыскиваемый дневник мог там и не находиться. И не только потому, что мог быть уничтожен, поскольку Николай I предписал после смерти поэта: «Бумаги, могущие повредить памяти Пушкина», доставить для прочтения и, «ежели таковые найдутся» (а к числу их мог быть отнесен и неизвестный дневник поэта), по прочтении предать их огню[1].

Неизвестный нам дневник Пушкина мог избежать секвестра и не попасть в III Отделение, если он в часы посмертного обыска почему-либо не находился в кабинете поэта. Вспомним, что письма Пушкина к жене (которые еще при жизни его чрезвычайно интересовали царя и поэтому перлюстрировались) хранились у Натальи Николаевны и она сама отдала их Жуковскому, которому пришлось потом оправдываться перед Бенкендорфом, доказывая, что только эти письма он и вынес в своем цилиндре (из гостиной, пояснял он, а не «из кабинета Пушкина, где стоял гроб его»)[2].

Поэт мог хранить неизвестный дневник вне своего кабинета и сознательно. Таким образом, уцелел он скорее всего, если не попал в число рукописей, изъятых жандармами, — и оказался на руках у наследников поэта. Чтобы ответить на вопрос о причинах, которые могли побудить их сохранять дневник в тайне, надо вспомнить о судьбе другого, известного нам пушкинского дневника.

* * *

Дневник « № 2», страницы которого пронумерованы жандармами, возвращен был вдове поэта, а затем перешел к его старшему сыну, Александру Александровичу Пушкину, который удержал его у себя, даже когда передал в 1880 году другие рукописи поэта в дар Московскому Румянцевскому музею. Несмотря на то что отрывки из этого дневника постепенно публиковались, старший сын поэта не любил показывать подлинный дневник даже своим сыновьям и внукам; об этом рассказывали мне правнучки Пушкина Татьяна Николаевна Галина и Наталья Сергеевна Шепелева.

Александр Александрович, тот самый «Сашка», о котором Пушкин когда-то сказал: «Не дай бог ему идти по моим следам,

---

[1] См.: П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина, изд. 3-е, с. 229—230.
[2] Там же, с. 244.

писать стихи да ссориться с царями»[1], не склонен был оглашать страницы дневника, содержащие резкие отзывы поэта о царях — Николае I и Александре I — и их приближенных. Когда пушкинист В. Е. Якушкин, внук декабриста, прочел на одном из заседаний выдержку из дневника, содержавшую такого рода строки, Александр Александрович, рассерженный, вышел из комнаты, хлопнув дверью. Однажды только, в 1903 году, по просьбе тогдашнего президента Академии наук великого князя Константина Константиновича, сын поэта решился переслать в Петербург рукопись дневника для снятия полной копии.

Александр Александрович Пушкин скончался в 1914 году, в день объявления войны, и принадлежавший ему пушкинский дневник перешел к старшей дочери поэта, Марии Александровне, вспоминая о которой, П. И. Бартенев писал: «Выросши, она заняла красоту у своей красавицы матери, а от сходства с отцом сохранила тот искренний задушевный смех, о котором А. С. Хомяков говаривал, что смех Пушкина был так же увлекателен, как его стихи»[2]. Вспоминая впечатление, какое она произвела при встрече на Льва Толстого, Т. А. Кузминская рассказывала: «Знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это»[3].

Мария Александровна Пушкина (в замужестве Гартунг) дожила до Октябрьской революции; она умерла в глубокой старости в Москве в 1919 году, и рукописный дневник поэта перешел к внуку его Григорию Александровичу Пушкину, который был тогда командиром Красной Армии и находился на фронте. 11 октября 1956 года я записал рассказ вдовы его, Юлии Николаевны Пушкиной, о том, как она одна похоронила в тот трудный год Марию Александровну и взяла пушкинский дневник. Внуки решили наконец передать его в музей.

Юлия Николаевна Пушкина рассказала мне, вспомнив подробности, как она отвезла в Москву в конце июня 1919 года дневник поэта из Лопасни, где работала учительницей. Большой по формату и заключенный в переплет дневник она зашила в холст и спрятала из осторожности под платьем; время было такое, что ехать в Москву ей пришлось на крыше вагона, дневник торчал так, что кто-то, не разобравшись, сказал ей: «Туда же, беременная, а лезешь на крышу». Но довезен был дневник благополучно, и, честно сделав тогда свое дело, Юлия Николаевна показала мне бережно сохраненную ею расписку:

«Собственноручный Дневник поэта Александра Сергеевича Пушкина принят мною от Юлии Николаевны Пушкиной 20 июня/21 июля 1919 года для Отделения рукописей

---

[1] Пушкин. Полн. собр. соч. в 16-ти т., т. XV, с. 130.

[2] «Русский архив», 1907, № 6 (2-я обложка).

[3] Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне, изд. 3-е. Тула, 1958, с. 465.

РУМЯНЦОВСКІЙ МУЗЕЙ
ХРАНИТЕЛЬ
Отдѣленія Рукописей.

Росписка

Собственноручный Дневникъ поэта Александра Сергеевича Пушкина принятъ мною отъ Юлии Николаевны Пушкиной 20 июля / 21 июля 1919 года для Отделения рукописей Румянцовского Музея и помещен мною въ Хранилище рукописей вместе со всеми автографами поэта, пожертвованными Музею Александромъ Александровичемъ Пушкинымъ.

Хранитель Григорий Петровичъ Георгиевский

Расписка хранителя Отделения рукописей Румянцевского музея Г. П. Георгиевского в том, что 20 июля / 21 июля 1919 года Дневник Пушкина принят музеем.

Румянцевского музея и помещен мною в Хранилище рукописей вместе со всеми автографами поэта, пожертвованными Музею Александром Александровичем Пушкиным. — *Хранитель* Григорий Петрович *Георгиевский*». Несколько лет спустя, в 1923 году, дневник был наконец издан — не по копии, а по подлиннику — Государственным издательством РСФСР.

Юлия Николаевна скончалась 22 января 1967 года в Москве, а сын ее, Григорий Григорьевич Пушкин, родной правнук поэта, здравствует и поныне. В Москве живут правнучки и праправнуки Пушкина. Но сведений о неизвестном нам дневнике поэта у них нет.

...Он оказался, по-видимому, за рубежом: по крайней мере первые сведения о нем, опубликованные в 1925 году Модестом Гофманом в пражском журнале, шли от внучки поэта Елены Александровны Пушкиной, уехавшей за границу и вышедшей в Стамбуле замуж за ротмистра Н. Розенмайера.

В 1922—1923 годах Елена Александровна писала советскому торговому представителю в Париже М. И. Скобелеву, предлагая приобрести у нее гербовую печать, принадлежавшую поэту, и некоторые другие пушкинские реликвии. В одном

из писем она сообщала: «Что касается до имеющегося неизвестного дневника (1.100 страниц) и других рукописей деда, то я не имею права продавать их, так как, согласно воле моего покойного отца, дневник деда не может быть напечатан раньше чем через сто лет после его смерти, то есть раньше 1937 года».

Елена Александровна была дочерью Александра Александровича Пушкина, которому принадлежал известный нам пушкинский дневник («№ 2»), и потому сообщение ее о не изданном еще дневнике поэта не могло не привлечь внимания. С письмом ее вскоре ознакомился Модест Гофман, который был направлен в Париж Российской академией наук в связи с приобретением ею «Онегинского музея», то есть собрания пушкинских рукописей и реликвий, принадлежавших известному коллекционеру Отто-Онегину.

Модест Гофман вступил тогда в переписку с Еленой Александровной Пушкиной-Розенмайер, но лишь тридцатилетие спустя (так и не вернувшись в Россию) рассказал в печати о своей встрече с ней — в статье, напечатанной им незадолго до смерти, в 1955 году, в нью-йоркском «Новом журнале». «У меня есть все основания думать, — утверждал он здесь вновь, — что существует еще громадный неизданный дневник Пушкина», добавляя: «Считаю своим долгом рассказать все, что знаю по этому поводу и что, может быть, поможет найти этот ценнейший документ, если он еще уцелел».

«В марте 1923 года, — сообщал далее Модест Гофман, вспоминая свою встречу с Еленой Александровной Пушкиной-Розенмайер, — я получил от нее письмо, в котором она писала, что через две недели уезжает в Африку и просит поторопиться с приездом в Стамбул — «дабы я могла передать вам, как представителю Пушкинского дома, дневник и другие рукописи моего деда».

Получив от нее такое письмо, Модест Гофман выехал из Парижа в Стамбул. Внучка поэта, как оказалось, жила там с мужем в большой нужде. Она показала Гофману гербовую печать поэта и акварельный портрет Натальи Николаевны Пушкиной, но вслед за тем муж Елены Александровны сказал: «Что касается до неизданного дневника Пушкина, то тут недоразумение: Елена Александровна никогда не собиралась и не собирается никому передавать дневник своего деда». «Я пробовал снова убеждать, — пишет Гофман, — ссылаясь на то, что брать с собой дневник Пушкина в африканское путешествие — вещь слишком рискованная, но получил насмешливый ответ: «Не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте».

«В тридцатых годах, — продолжает Гофман, — я подружился с братом Елены Александровны, милейшим Николаем Александровичем, и очень хотел получить у него разъяснения, но безуспешно. «Я знаю наверное, — сказал Николай Алексан-

дрович Пушкин, — что дневника у нее нет; где находится этот дневник, я не знаю, но помню, что в детстве видел его у отца». Николай Александрович Пушкин здравствовал в Брюсселе до 1964 года. Но трудно решить теперь, видел ли он когда-то у своего отца неизвестный дневник поэта или вспоминал о дневнике «№ 2», хорошо нам известном. Сестра его, Елена Александровна Пушкина-Розенмайер (также скончавшаяся — в Ницце, в 1943 году), предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, не являлась, по-видимому, его владелицей; если он действительно существует, то Елена Александровна могла скорее выступать посредницей, рассчитывая, что другие, известные ей владельцы дневника, согласятся — через нее — уступить или обнародовать его.

Что, однако, удерживает их поныне от опубликования дневника и не может ли ответ на этот вопрос помочь нам выяснить, кто эти владельцы?

Мы помним, как ревниво хранил Александр Александрович, старший сын поэта, пушкинский дневник («№ 2»), охраняя в нем, согласно своим понятиям о долге, тайну, семейную и политическую. Вспомним, как возмущен он был, когда младшая дочь поэта, Наталья Александровна, разрешила И. С. Тургеневу напечатать — с некоторыми пропусками — письма поэта к жене. «Вообразите! — писал тогда Тургенев. — Меня какой-то *А. В.* письменно предуведомил, что сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца! Почему же меня, а не родную сестру, разрешившую печатание?»[1]. Мистифицировал ли тогда кто-то Тургенева, но письмо, им полученное, отражало слухи, связанные с негодованием, овладевшим сыновьями Пушкина, и в мае 1882 года подлинники писем поэта к жене вместе с ответными письмами Натальи Николаевны были переданы Александром Александровичем Пушкиным Румянцевскому музею — с условием не предавать их гласности в течение пятидесяти лет.

Однако, прежде чем истек этот длительный срок, неопубликованные письма Натальи Николаевны, хранившиеся еще в первые годы после революции в Румянцевском музее, исчезли оттуда. Хранитель рукописей музея в ответ на расспросы говорил, как мне известно, что письма Натальи Николаевны возвращены были им наследникам поэта. Письма ее, по слухам, оказались затем, по-видимому, за границей — может быть, у тех же владельцев, к которым мог перейти и неизвестный нам дневник Пушкина.

---

[1] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III. СПб., 1912, с. 149.

В Англии живут поныне потомки младшей дочери поэта — Натальи Александровны. Дочь ее Софья вступила в конце прошлого века в морганатический брак с великим князем Михаилом Михайловичем; таким образом, внучка Пушкина вышла замуж за внука Николая I, и ей дан был английский титул — графиня Торби. Брак этот вызвал гнев Александра III, великому князю был запрещен въезд в Россию, и внучка Пушкина осталась в Англии навсегда. Между тем ей принадлежали оставшиеся от матери подлинники французских писем Пушкина к невесте. Писем этих она никому не показывала (хотя текст их известен был в русском переводе, напечатанном в 1878 году И. С. Тургеневым по поручению ее матери). И лишь после ее смерти Сергей Лифарь получил возможность издать эти письма поэта по подлинникам в Париже в 1935 году.

Живущие в Англии потомки поэта принадлежат к высокому кругу английской аристократии. Одна из правнучек Пушкина, недавно скончавшаяся Надежда Михайловна, с тех пор как племянник ее по мужу, принц Филипп Греческий, стал супругом английской королевы Елизаветы II, была в близком родстве с королевой. Другая правнучка поэта, Анастасия Михайловна (в замужестве леди Вернхер), живет в Англии поныне.

Уехавшая из Москвы в Стамбул внучка поэта Елена Александровна Пушкина-Розенмайер, предлагая в 1923 году неизвестный дневник поэта, могла знать, где он находится; этим, вероятно, объяснялся ответ ее мужа Модесту Гофману, приехавшему в Стамбул за дневником: «Не беспокойтесь, он находится в очень надежном и безопасном месте». Не имел ли этот ответ в виду английских потомков поэта?

Продавать дневник, если он существует и находится в их владении, у английских потомков Пушкина нет действительно никакой необходимости. А взгляды и представления, им свойственные, могли побудить их беречь тайну дневника, как стремились утаить записки Байрона его наследники. Все это может, мне кажется, объяснить, почему пушкинский дневник остается неизданным.

Дневник, нам известный (тетрадь «№ 2»), охватывает время с осени 1833-го по февраль 1835 года, и потому дневник «№ 1» должен относиться, казалось бы, к предшествующим годам. Но сообщение Модеста Гофмана, утверждавшего, что неизвестный дневник Пушкина «еще больше реабилитирует честь его жены» и «прольет больший свет на историю дуэли», заставляет задуматься, не охватывает ли неизвестный дневник поэта и последние годы его жизни — 1835—1837; предполагаемый же объем дневника может навести на мысль о том, что дневник поэта охватывал весь период 30-х годов. И может статься, что известный нам дневник «№ 2» представляет

собой лишь переписывавшуюся поэтом набело часть его черновых ежедневных записок (то есть обширного и до сих пор неизвестного нам дневника 1830-х годов).

Все это, разумеется, не более чем предположения — предположения о самой возможности существования неизвестного пушкинского дневника, о месте его нахождения и о времени жизни поэта, которое могло быть охвачено этим дневником. (Не исключено, конечно, что дневник находится и не там, где мы предполагаем.)

Но возможно ли вообще в наше время обнаружить огромную рукопись Пушкина, относящуюся к потаенной части его наследия? Отвечаю: найти можно как раз то, что остается неизвестным, потому что было скрыто или потеряно. Нашли же в 1917 году внуки Пушкина рукопись его потерянной «Истории Петра», которая занимает теперь целый том в Собрании его сочинений. Не говорю уже об обнаруженной в Ленинграде пачке писем Пушкина к дочери Кутузова, Елизавете Хитрово, и о двух найденных после Октябрьской революции лицейских поэмах, которые обнаружены были век спустя после смерти поэта, когда изменились все условия жизни нашего общества. Но за рубежом прежние условия еще существуют, и борьба за пушкинское рукописное наследство, начатая у гроба поэта, еще не окончена.

Гераклит говорил, что тот, кто не надеется найти, не найдет, ибо без надежды нельзя выследить и настигнуть. Нам казалось полезным поэтому собрать и изложить в кратком очерке неизвестные либо труднодоступные читателю данные по вопросу о том, существует ли неизданный дневник поэта, и рассказать о своих предположениях и догадках, не выдавая их за окончательный вывод.

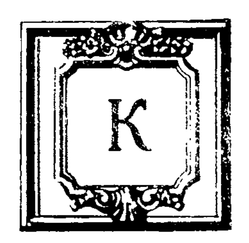
1962


ВЕЛИКИЕ
СТРАНИЦЫ

Погибъ поэтъ! — невольникъ чести —
Палъ, оклеветанный молвой,
Съ свинцомъ въ груди, и жаждой мести,
Поникнувъ гордой головой!....
Не вынесла душа поэта
Позора мелочныхъ обидъ,
Восталъ онъ противъ мнѣній свѣта
Одинъ, какъ прежде... и убитъ!
Убитъ!... къ чему теперь рыданья,
Пустыхъ похвалъ ненужный хоръ,
И жалкій лепетъ оправданья? —
Судьбы свершился приговоръ!
Не вы ль сперва такъ злобно гнали
Его свободный, смѣлый даръ,
И для потѣхи раздували
Чуть затаившійся пожаръ?
Что жъ? веселитесь... — онъ мученій
Послѣднихъ вынести не могъ:
Угасъ, какъ свѣточь, дивный геній,
Увялъ торжественный вѣнокъ.

«Смерть поэта». Беловая рукопись Лермонтова. *1837 г. Фрагмент.*

РИСУНОК ЛЕРМОНТОВА



огда Пушкин был убит, по России разнеслись стихи Лермонтова на смерть поэта. «Навряд ли еще когда-нибудь в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление»[1],— вспоминал много лет спустя Владимир Стасов.

Николай I получил копию лермонтовского стихотворения с надписью «Воззвание к революции». Лермонтов был арестован и сослан на Кавказ, но подлинная черновая рукопись стихотворения уцелела, и, кроме всем известных строк, в ней можно прочесть зачеркнутую строфу, рядом с которой Лермонтов нарисовал чей-то выразительный профиль.

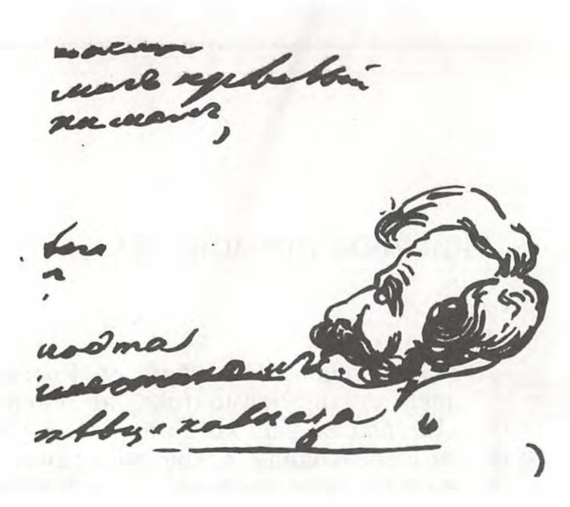
Зачеркнутые стихи Лермонтова говорят об убийце Пушкина:

[Его душа в краю чужом]
Его душа в заботах света
Ни разу не была согрета
Восторгом русского поэта,
Глубоким, пламенным стихом...

Стихи говорят о Дантесе, но профиль, нарисованный Лермонтовым рядом с зачеркнутой строфой, ничем не напоминает Дантеса. Дантес был тогда молодым офицером, а на рисунке человек немолодой, с усталым лицом и тяжелым, подозрительным взглядом; лицо его нарисовано рядом со стихами, клеймящими убийцу Пушкина; человек этот был, по-видимому, причастен к убийству.

Когда я стал всматриваться в лермонтовский рисунок, мне вспомнился вышедший из-под пера Герцена литературный портрет Дубельта — начальника штаба корпуса жандармов. Тайный надзор, окружавший Пушкина при жизни, не прекратился и после его смерти. Тело Пушкина не было еще погребено, когда Дубельт, хозяйничавший в знаменитом III Отде-

[1] В. В. Стасов. Училище правоведения сорок лет тому назад. — «Русская старина», 1881, февраль, с. 411.



Дубельт. *Рисунок Лермонтова в черновой рукописи стихотворения «Смерть поэта».*

лении собственной канцелярии его императорского величества, опечатал по приказу Николая I рукописи великого поэта.

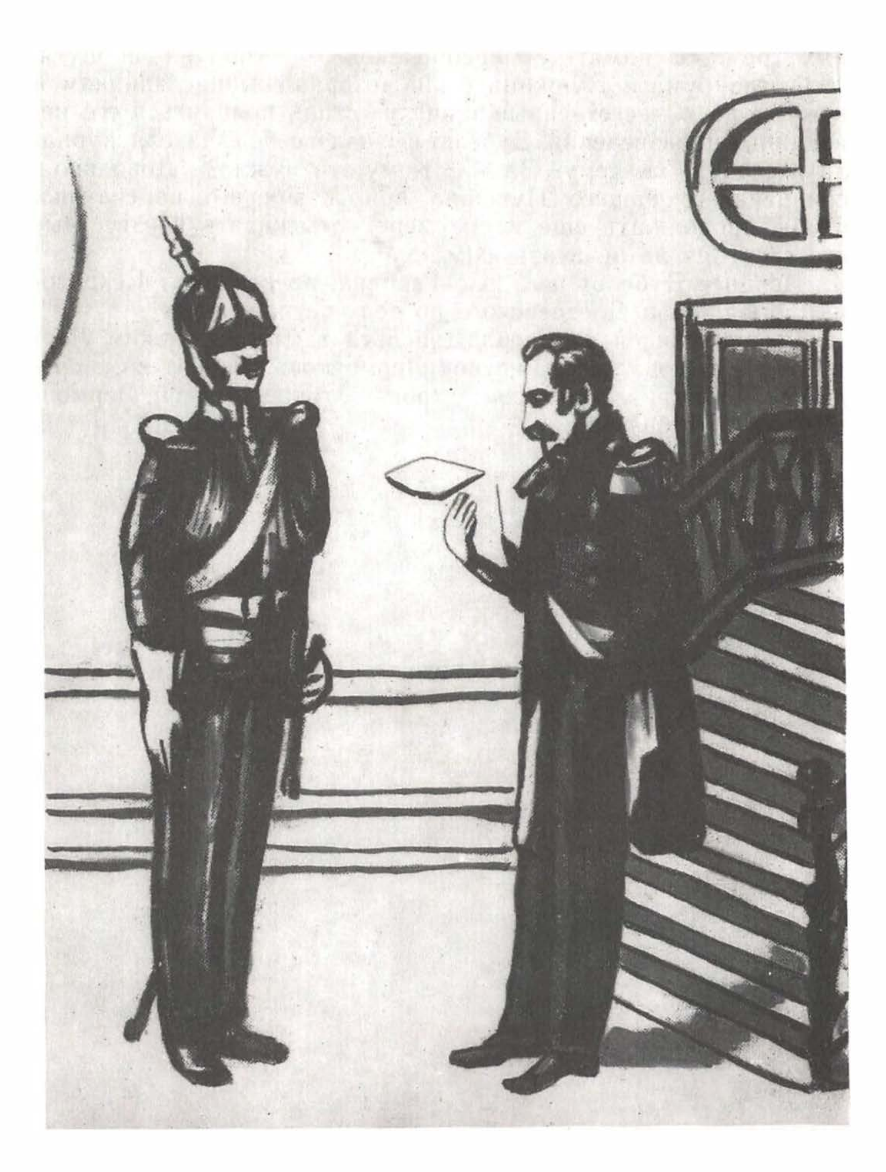
Вспоминая Дубельта в «Былом и думах», Герцен писал о нем: «Дубельт — лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролись в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смышленость хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость»[1].

Сравнение лермонтовского рисунка с дошедшими до нас портретами Дубельта (черты его, как верно заметил Герцен, имели действительно «что-то волчье и даже лисье») подтвердило мою догадку о том, что рядом со стихами об убийце Пушкина Лермонтов изобразил Дубельта.

Карьера Дубельта была необычна. В годы, предшествовавшие восстанию декабристов, он считался, по словам современника, «одним из первых крикунов-либералов в Южной армии», а в год смерти Пушкина был уже начальником штаба корпуса жандармов.

Личность Дубельта представлялась современникам несколько таинственной. «Он, по должности им занимаемой и отчасти по наружности, — вспоминал П. Каратыгин, — был предме-

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти т., т. 9, с. 57—58.



Дубельт с жандармом на лестнице III Отделения.
Рисунок 1840-х годов.

том ужаса для большинства жителей Петербурга»[1]. Известно, что, платя своим агентам, Дубельт придерживался цифр, кратных трем. «В память 30 сребреников», — говорил он шутя.

Когда бумаги Пушкина были возвращены наследникам и в журнале «Отечественные записки» стали появляться его неизданные произведения, Дубельт вызвал к себе издателя журнала и сказал: «К чему? Зачем? Кому это нужно?.. Довольно... сочинений-то вашего Пушкина при жизни его напечатано, чтобы продолжать еще и по смерти отыскивать неизвестные его творения да печатать их!»[2]

Позднее Дубельт вел дело Герцена, преследовал Некрасова, допрашивал Достоевского по делу петрашевцев.

Герцен увидел и описал Дубельта таким же, каким Лермонтов нарисовал его. Рисунок Лермонтова говорит нам: среди убийц поэта, за Дантесом, у трона, в толпе палачей, Лермонтов видел Дубельта.

1938

---

[1] «Исторический вестник», 1887, т. 10, с. 174.

[2] См.: Русский биографический словарь. Ст.: «Дубельт».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ РУКОПИСИ

«ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ»

Эту рукопись Гоголя я впервые увидел в Москве. В Центральный государственный архив древних актов она поступила из Красноярска. На обложке ее было сказано, что это черновик гоголевской «Повести о капитане Копейкине». Но с первого же взгляда можно было увидеть, что рукопись эта не простой черновик: страницы ее перечеркнуты крест-накрест красными чернилами, сохраняющими еще свою яркость.

Передо мной лежали, кажется, запрещенные больше ста лет назад царской цензурой страницы «Мертвых душ». До сих пор они были известны только по копии, снятой в год смерти Гоголя; подлинник же этих запрещенных гоголевских страниц куда-то исчез. Если он в самом деле теперь обнаружился и возвратился из безвестного отсутствия в Москву, где страницы эти больше ста лет назад были написаны, судьбу их следовало выяснить. Она оказалась действительно интересной.

Вот история этой рукописи.

На архивной обложке ее помечено, что в Красноярский областной архив рукопись «Копейкина» поступила «из коллекции Г. В. Юдина». Это сразу объясняло многое. Сибирский купец Геннадий Васильевич Юдин собрал в Красноярске за долгие годы своей жизни библиотеку, которую энциклопедия Брокгауза называла «самой обширной из частных библиотек России»: в ней было больше 100 тысяч томов. В книге, вышедшей в 1905 году в Вашингтоне и посвященной библиотеке Юдина, говорилось, что равной ей по числу книг частной библиотеки не существовало ни в России, ни за границей.

Библиотеку свою Юдин перевез после одного из случившихся в Красноярске больших пожаров за город, в село Тараканово. Здесь, на крутом берегу Енисея, он построил для нее двухэтажное здание из крепкого сибирского леса. В этой «знаменитой библиотеке Юдина» занимался в 1897 году Владимир Ильич Ленин, когда останавливался в Красноярске на пути

к месту своей сибирской ссылки. Это «замечательное собрание книг»[1], — писал Ленин сестре Марии Ильиничне.

Нам теперь даже трудно представить себе, что купец-книголюб мог один владеть библиотекой, в которой было больше 100 тысяч томов.

За пять лет до своей смерти, в 1907 году, не поладив с государственными книгохранилищами царской России, Юдин продал свою библиотеку в Америку.

Но кроме громадной библиотеки Юдин собрал еще целый архив рукописей, среди которых были редчайшие автографы русских писателей. И архива своего, в отличие от библиотеки, целиком за границу не продал: в посвященном Юдину некрологе, напечатанном в 1912 году в журнале «Русский библиофил», можно прочесть, что архив этот перешел после смерти Юдина к его наследникам. Неудивительно поэтому, что рукопись Гоголя из коллекции Юдина оказалась после революции в Красноярском областном архиве, а оттуда возвратилась в Москву.

* * *

Как попала, однако, эта драгоценная рукопись в коллекцию Юдина? На обложке ее есть пометка, где упоминается «фонд» Погодина. У Погодина, в доме на Девичьем поле в Москве, Гоголь жил в то время, когда готовил к печати «Мертвые души», и так как денег у Гоголя не было, то печатались они в долг, на бумаге, взятой в кредит Погодиным. Погодин, историк и знаток древностей, собрал у себя в доме целый музей, который сам он назвал «Древлехранилищем», и Гоголь отдал ему рукописный экземпляр первого тома «Мертвых душ» (Погодин продал его потом Императорской публичной библиотеке). Остались у Погодина и запрещенные страницы гоголевской «Повести о капитане Копейкине», вырезанные цензурой из другой рукописи, по которой «Мертвые души» печатались. От Погодина и перешли, прямо или через посредников, эти перечеркнутые красными цензорскими крестами страницы к Юдину.

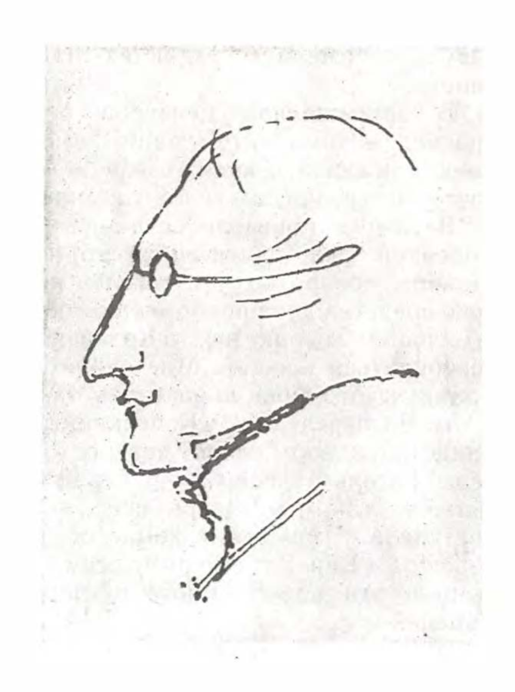
Вот как вырезаны были эти страницы.

Когда Гоголь узнал, что московская цензура не пропустит в печать «Мертвые души», он передал рукопись Белинскому (приехавшему в то время в Москву) в надежде протащить как-нибудь «Мертвые души» через петербургскую цензуру. Эта надежда, казалось, оправдывается: в Петербурге публикация рукописи была разрешена. Но цензура исключила из «Мертвых душ» «Повесть о капитане Копейкине».

Капитан Копейкин появляется в этой повести «после кампании двенадцатого года». Под Красным ли или под Лейпци-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 55, с. 24.

гом, пишет Гоголь, оторвало ему руку и ногу. И Копейкин отправляется в Петербург, «чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: что вот-де, так и так, в некотором роде, так сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь...».



Гоголь.
Рисунок Пушкина. 1833 г.

Повидал Копейкин самого министра, снова пришел, и раз, и другой. А в ответ на просьбу ему «подносят все одно и то же блюдо: «завтра». Наконец стал настаивать и разгневал его высокопревосходительство: «А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков, — словом, дантист эдакой. Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем». И выслали из столицы. И Копейкин, возмущенный несправедливостью, вслед за этим исчез и стал атаманом разбойничьей шайки... Так оканчивает свой рассказ о нем почтмейстер Иван Андреевич (тот самый, обращаясь к которому, чиновники всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч»).

Неудивительно, что эти страницы «Копейкина» запрещены были царской цензурой. «Ничья власть не могла его защитить от гибели, — писал Гоголю цензор, запретивший «Копейкина», — и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать»[1]. Но Гоголь был в отчаянии.

«Без «Копейкина», — писал он в эти дни, — я не могу и подумать выпустить рукописи». «Я решился не отдавать его никак, — говорит он в другом письме. — Я лучше решился переделать его, чем лишиться вовсе». Поэтому, вырезав из рукописи «Мертвых душ» страницы, перечеркнутые красными цензорскими чернилами, Гоголь стал переделывать их и на этих же самых, вырезанных листах создал

[1] Н. В. Гоголь. Собр. соч. в 14-ти т., т. VI, кн. 1, с. 890.

новую, смягченную редакцию «Повести о капитане Копейкине».

В запрещенной цензурой редакции повести Копейкин просил: «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба...» А настаивать стал, объясняет почтмейстер, когда «голод-то, знаете, пришпорил его».

В новом, поневоле созданном Гоголем варианте повести Копейкин представлен иначе: это человек назойливый — «наян эдакой», говорит о нем гоголевский почтмейстер. Ему «даны пока средства для прокормления, покамест выйдет резолюция...» «Да что? — говорит на это Копейкин, — я не могу, — говорит, — перебиваться кое-как. Мне нужно съесть и котлетку, бутылку французского вина, поразвлечь тоже себя, в театр, понимаете».

«...Я переделал «Копейкина», я выбросил все, даже министра, даже слово «превосходительство», — писал теперь Гоголь цензору. — Характер Копейкина я вызначил сильнее, так что теперь ясно, что он сам причиной своих поступков... Начальник комиссии даже поступает с ним очень хорошо...» Виноват теперь во всем оказывается (если принимать всерьез эти адресованные цензору слова Гоголя) уже сам Копейкин.

Этот новый вариант «Повести о капитане Копейкине» переписан был набело на листках почтовой бумаги. Листки эти вклеили в рукопись «Мертвых душ» на место вырезанных страниц, и они вместе со всей рукописью, скрепленной цензором, пошли в печать.

А вырезанные страницы, на которых можно прочесть, несмотря на зачеркивания, и прежнюю, запретную, и новую, смягченную, редакцию «Копейкина», Погодин сберег в своем «Древлехранилище». И в год смерти Гоголя показал — и позволил скопировать — эти листы Николаю Тихонравову, который стал впоследствии известным исследователем литературного наследия Гоголя. А так как в числе вырезанных листов не хватало начальной страницы «Копейкина», Тихонравов отыскал ее в прошедшей цензуру рукописи «Мертвых душ», хранившейся в библиотеке Московского университета (первая страница «Копейкина», в отличие от остальных, не была вырезана из этой, разрешенной цензурой рукописи, а только заклеена белой бумагой, которую Тихонравову тогда же удалось отмочить).

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что возвратившиеся в наше время из Красноярска в Москву страницы «Копейкина» действительно подлинник, отбившийся век назад от этой цензурной рукописи, нужно было увидеть цензурную рукопись «Мертвых душ», вставить возвратившиеся страницы «Копейкина» на то место, откуда они были когда-то вырезаны, и посмотреть: придутся ли они впору?

«Мертвые души» печатались в типографии Московского

университета, и цензурная рукопись поэмы поступила затем в университетскую библиотеку. Но там ли она и теперь, век спустя, после того как пронеслось столько бурных исторических событий?

Дело было теперь за последней проверкой. Я отправился в Музей книги при Библиотеке Московского университета и уже через несколько минут держал в руках цензурную рукопись гоголевской поэмы.

Рукопись эта большого формата; переплет ее оклеен желтоватой бумагой, а одна из страниц заложена засохшей веткой полыни, и запах ее, неожиданный среди книжных шкафов, напоминает о южной степной дороге. На заглавном листе рукописи (переписанной гусиным пером для печати рукою писца) рукой Гоголя приписаны слова: *«Поэма Н. Гоголя»*. А кончается последняя страница этой рукописи словами поэта: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Раскрыв этот рукописный том «Мертвых душ», нетрудно было убедиться, что там, где должна находиться 313-я страница и еще несколько следующих за ней, также вырезанных страниц, вклеены вместо них четыре полулиста почтовой бумаги, на которых переписана была чьей-то рукой новая, смягченная Гоголем редакция «Повести о капитане Копейкине».

Я приставил сюда возвратившиеся из Красноярска страницы Гоголя. Они были те самые, которых недоставало. На первой из этих отбившихся страниц читается конец слова, начатого на предшествующей, 312 странице основной рукописи: слово это — «Шахразада» (или, как написал Гоголь, «Шеррезада»).

История рукописи на этом, кажется, заканчивалась.

* * *

Когда Гоголь окончил «Повесть о капитане Копейкине», Анненков, писавший ее под диктовку Гоголя, «отдался неудержимому порыву веселости». Гоголь смеялся вместе с ним и несколько раз спрашивал: «Какова «Повесть о капитане Копейкине»?» — «Но увидит ли она печать когда-нибудь?» — спросил его Анненков. «Печать — пустяки! — отвечал Гоголь с самоуверенностью. — Все будет в печати»[1].

Так оно и произошло. Но для читателей «Мертвых душ» цензурная история «Копейкина» окончилась лишь в наше время. Дело в том, что скопированные в год смерти Гоголя

---

[1] П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 87.

страницы запрещенной рукописи «Копейкина» Тихонравов смог напечатать только через полвека после их запрещения, и не в тексте «Мертвых душ», а лишь в приложении к ним[1]. И «Повесть о капитане Копейкине» в большинстве дореволюционных изданий продолжала печататься в той смягченной редакции, которую Гоголь создал поневоле, понужденный к тому цензурой.

Только в наши дни две редакции «Повести о капитане Копейкине» во всех изданиях Гоголя поменялись местами: запрещенный царской цензурой «Копейкин» стал наконец на принадлежащее ему по праву место в основном тексте «Мертвых душ». А смягченная поневоле Гоголем редакция повести перешла — теперь уже во всех изданиях — туда, где ей надлежало быть — в приложения к «Мертвым душам».

Слова Гоголя: «Все будет в печати» — сбылись. Отыскались и знаменитые своей цензурной историей страницы «Копейкина».

1951

---

[1] Н. В. Гоголь. Соч., изд. 10-е. Под ред. Н. Тихонравова, т. III. М., 1889, с. 270—276.

СТРАНИЦА «ВОЙНЫ И МИРА»

ТОЛСТОЙ И ЗАПИСКИ БОЛХОВСКОГО

Такого важного известия не было во всю войну.

«Война и мир»

О Болховском писал Пушкин в своем дневнике, Герцен — в «Былом и думах», Лев Толстой — в «Войне и мире». Чем привлек он внимание великих писателей?

«Генерал Болховской хотел писать свои записки (и даже начал их; некогда, в бытность мою в Кишиневе, он их мне читал)», — вспоминал Пушкин. И пояснил, что на вопрос общего их приятеля, который спросил у Болховского: «Помилуй! Да о чем ты будешь писать? Что ты видел?» — Болховской ответил: «Да я видел такие вещи, о которых никто и понятия не имеет...»[1]

Что же видел Болховской и о чем мог вспомнить в своих записках?

Болховской был очевидцем смерти Екатерины II (об этом упоминает Пушкин). Герцен, с детства знавший Болховского, пишет, что «он участвовал в убийстве Павла». Наконец, — что важно для нас, — он был участником событий Отечественной войны 1812 года. Все это объясняет, почему Пушкин счел нужным отметить, что Болховской начал писать свои записки. Продолжал ли он их и какова была их дальнейшая судьба?

* * *

Болховской был тот самый офицер, который доставил Кутузову донесение о том, что французская армия внезапно покинула Москву и Наполеон отступает.

Два-три упоминания о его записках можно поэтому встретить у историков Отечественной войны 1812 года, пользовав-

[1] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII, с. 53.

шихся в прошлом столетии рукописью Болховского. Он скончался в 1852 году в Москве, а отрывки из подлинных его записок были напечатаны лишь полвека спустя, когда в Вильне издан был сборник «1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников».

Вот как рассказывает в них Болховской о своей исторической встрече с Кутузовым.

В то время как Кутузов со штабом находился при Тарутинском лагере — в Леташовке, «генерал Дорохов, — пишет Болховской, — доносил, что неприятельский отряд в числе 10 000 показался на Боровской дороге близ села Фоминского, имея будто бы предметом защищать от партизан своих фуражиров и транспорты... Ермолов — начальник главного штаба — сомневался в правильности донесения Дорохова и приказал партизанам Сеславину и Фигнеру, каждому с отрядом в 50 лощадей, «открыть настоящее намерение неприятеля...»

В ночь на 11 октября «войско в лагере и начальники — все предалось покою». Болховской не спал «в ожидании партизанов, как вестников, долженствующих определить жребий воюющих. И действительно, — пишет он, — в первом часу пополуночи явился полковник Сеславин... чтобы возвестить, что мнимый тот десятитысячный отряд... не иное что, как эшелон отступающей от Москвы французской армии. От него узнал я тут все подробности сего отступления, как-то: подорвание Кремля и прочее, а в удостоверение сего наиважнейшего события Сеславин, имев дерзость заехать в тыл неприятельских колонн, привел с собой несколько гвардейских пленных офицеров, которые при допросе моем всё сказанное совершенно подтвердили...

Генерал Ермолов своей рукой написал весьма краткую записку к фельдмаршалу, генерал Дохтуров подписал ее, и мне поручено было, — говорит Болховской, — сколь возможно быстро доставить и дополнить изустно оную...

На тот раз я имел отличную, добрую донскую лошадь, но, не доверяя достаточно силе и быстроте ее, я взял с собой фельдъегеря на весьма добром коне... и несколько своих ординарцев... дабы, в случае нужды, переменить мою лошадь. Ночь была теплая, месячная, и лошадь моя столь хорошо себя оправдала, что всех моих спутников я оставил далеко за собой, и в главную квартиру прибыл я с неимоверной скоростью.

Прискакав прямо к главной квартире генерала Коновницына, я нашел еще его работающим. Он, пораженный моим рассказом, тотчас пригласил графа Толя. Оба вместе, приняв от меня записку, пошли будить от сна фельдмаршала, а я

остался в сенях той избы, где он покоился. Нимало не медля, он потребовал меня к себе, и вот что я видел и слышал в сию незабвенную для меня эпоху.

Старца сего я нашел сидящим на постели, но в сюртуке и в декорациях[1]. Вид его на тот раз был величественный, и чувство радости сверкало уже в очах его.

«Расскажи, друг мой, — сказал он мне, — что такое за событие, о котором вести привез ты мне. Неужели воистину Наполеон оставил Москву и отступает? Говори скорей, не томи сердце, оно дрожит».

Я донес ему подробно о всем вышесказанном, и когда рассказ мой был кончен, то вдруг сей маститый старец не заплакал, а захлипал и, обратясь к образу Спасителя, так рек: «Боже, создатель мой, наконец, ты внял молитве нашей, и с сей минуты Россия спасена...»[2]

Эти страницы записок Болховского, чем дальше читаешь их, кажутся все более знакомыми. Историческая сцена, которую он вспоминает, действительно знакома нам по «Войне и миру». Толстой написал ее, основываясь на рассказе Болховского, которого назвал в «Войне и мире» Болховитиновым; в своих рукописях Толстой трижды назвал его даже прямо Болховским (точнее — Болговским, как нередко писалось его имя)[3]. Сохранился в рукописях «Войны и мира», которые теперь опубликованы, и план этой знаменитой сцены («Болховитинов от Дорохова. Кутузов по ночам не спит»)[4]. Перечитаем эти страницы «Войны и мира» и сравним их с рассказом Болховского.

Толстой пишет сначала о том, как все французское войско вдруг повернуло на Новую Калужскую дорогу. Затем мы читаем: «Вечером 11 октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы...

...Решено было послать донесение в штаб.

Для того избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело...

...Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной, вязкой дороге, Болховитинов во

---

[1] Орденские знаки.

[2] См.: 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-ученого архива Главного штаба, вып. 1. Вильно, 1900, с. 226—243.

[3] См.: Лев Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та т., т. XV. М., 1955, с. 79, 82—83.

[4] Там же, с. 76 и 79.

втором часу ночи был в Леташовке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.

— Дежурного генерала скорее! Очень важное! — проговорил он кому-то...

...Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частью не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую, изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте...

...погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание. В ночь 11 октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.

В соседней комнате зашевелились и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.

— Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? — окликнул их фельдмаршал.

Пока лакей зажигал свечку, Толь рассказывал содержание известий.

— Кто привез? — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своею холодной строгостью.

— Позови, позови его сюда!..

— Скажи, скажи, дружок, — сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. — Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.

— Говори, говори скорее, не томи душу, — перебил его Кутузов.

Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! — И он заплакал»[1].

---

[1] «Война и мир», т. IV, ч. 2, гл. XV, XVI, XVII.



М. И. Кутузов.
Гравюра Ф. Вендрамини с портрета Сент-Обена. 1813 г. Фрагмент.

* * *

Толстой передал нам ночные мысли Кутузова и перенес на страницы «Войны и мира» его незабываемые слова. Как же познакомился великий писатель с записками Болховского, сохранившего в своей памяти эту историческую сцену?

Известно, что, работая над «Войной и миром», Толстой пользовался сочинениями Михайловского-Данилевского, Тьера,

Бернгарди и других историков. Изображая прибытие Болховского в Леташовку, предшествующее встрече его с Кутузовым, Толстой воспользовался воспоминаниями Щербинина, адъютанта Коновницына. Здесь нашел Толстой подробности для характеристики Коновницына и рассказ о единственной свече, облепленной тараканами, которую зажег в штабной избе Щербинин. Записки Щербинина оставались в пору работы Толстого неизданными, но ими пользовался в своем труде Бернгарди, откуда, как установлено исследователями, почерпнул эти детали Толстой.

Целый ряд исторических данных Толстой нашел в «Описании Отечественной войны 1812 года» Михайловского-Данилевского. Существует составленный уже полвека назад перечень тех страниц «Войны и мира», где Толстой использовал эту книгу; в перечне этом было кратко указано: «Кутузов получает известие о выступлении из Москвы французской армии»[1]. Но не было обращено внимание на то, что Михайловский-Данилевский воспользовался тут записками Болховского, которого Толстой сделал одним из героев «Войны и мира».

Из записок Болховского Толстой перенес в свою эпопею слова Кутузова, известные теперь миллионам читателей. Болховской сохранил для потомства эти исторические слова и образ Кутузова — его слезы и радость в минуту, когда он узнал о бегстве Наполеона из Москвы и отступлении «великой армии».

1961

---

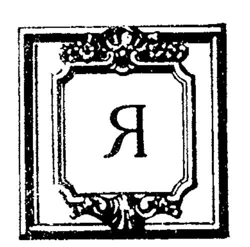
[1] Сб.: Война и мир. М., изд-во «Задруга», 1912, с. 118.



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

«История Петра». «1716». Рукопись Пушкина. *Фрагмент.*

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ



был одним из учеников Мстислава Александровича и думаю, что то, что я могу вспомнить и сказать о нем, могли бы сказать многие из собравшихся здесь сегодня.

Прошло уже 20 лет со смерти Мстислава Александровича, но его образ не тускнеет и любовь к нему не слабеет.

Я помню, как много народу собралось 10 лет назад в Литературном музее, когда отмечали 10-летие со дня его смерти. Как много людей собралось и сегодня в этом зале, пришли такие большие ученые — из Москвы, из Ленинграда, которых мы видим здесь.

И вот кроме выражения любви и благодарной памяти надо постараться объяснить, в чем же тут дело.

Когда мы говорим о Мстиславе Александровиче, надо прежде всего говорить о личности его.

Мстислав Александрович был человек самобытный и оригинальный. На него нельзя было не обратить внимание. Я помню, не раз извозчик, — а тогда еще по Москве ездили извозчики,— когда вез Мстислава Александровича, спрашивал: «А они будут профессор чего?» Самый факт не вызывал сомнения, требовалось только уточнение.

В таком собрании, каково, например, сегодняшнее, на него нельзя было не обратить внимания, ну, скажем, как нельзя было не обратить внимания на Станиславского, если бы он появился в зале. Он был очень красивый человек — и внешне красивый. Когда он выступал, то все восхищались — и уже вскоре в него влюблялись, испытывая к нему величайшее доверие.

Это Цицерон сказал (которого Пушкин будто бы не читал, но не читал он его только в лицее, а потом он читал его очень внимательно — в первые же годы по окончании лицея), Цицерон сказал, что без восхищения нет красноречия. Вот

Стенограмма выступления в Государственном Музее А. С. Пушкина (Москва) 17 октября 1967 г.

это восхищение было у самого оратора, у Мстислава Александровича, и у тех, кто его слушал.

Правда, у него была одна важная слабина — он, увлеченный своим рассказом, не был в состоянии окончить его. Может, кто-нибудь из собравшихся помнит, как он читал показательную образцовую лекцию на Всесоюзной Пушкинской выставке. Он должен был за 2 или 1,5 часа — так, как его слушатели — экскурсоводы должны будут это сделать,— рассказать о жизненном пути Пушкина. И вот когда, если не ошибаюсь, истекал 4-й час, оказалось, что Пушкина уже в лицей привезли, а между тем все слушатели — и девочки-экскурсоводы, и уже очень немолодые его товарищи — продолжали все так же завороженно слушать, раскрыв рот. Все знают, что это банальность, я потому только это говорю, что тут есть люди, может быть не знавшие Цявловского.

Крупный характер был, крупного масштаба человек. И щедрый был человек. Ему не жалко, у него всего много, может и отдать свое — тем, что знает, поделиться.

И если говорить о нем еще в этом человеческом плане, он был человек страстей. Когда Цявловский писал о какой-нибудь пушкинской любви, то это писал не тот человек, который почерпнул свои сведения в источниках, он сам был человек страстей, который любил, которого любили, и поэтому то, что он нам по этому поводу рассказывал, не было ни крохоборством, ни сплетней, и лучше всего, мне кажется, к нему применить слова Пушкина о Ломоносове, а Пушкин сказал: «Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей».

Вот каким образом он увлек и своих учеников, и свою тогда молодую красивую жену усадил, увлек за письменный стол, который поставили против его письменного стола, где они вдвоем буквально день и ночь, большую часть суток, ежедневно годами работали, работали... Это может сделать только страсть.

Я знаю, что Цявловский — за исключением только, может быть, юбилейного 1937 года — жил в материальной нужде. Он не мог сохранить денег, даже если бы они к нему и попали. Это было бескорыстное служение Пушкину, литературе.

Когда он воссоздавал пушкинское время, то это объяснялось еще тем, что по его темпераменту ему были близки люди того времени. Его любимцем был Денис Васильевич Давыдов, и это, конечно, неудивительно. Это же объясняло его отношение к Толстому.

Я бы не сказал, что Мстислав Александрович так уж прекрасно понимал, так сказать, поэзию стихотворную, но он понимал поэзию истории, поэзию жизни, то есть поэзию тех стихий, которые образуют стихию поэзии, в том числе и стихотворную поэзию.

И еще скажу простейшую вещь, потому что многое объясняется простыми вещами, наличием данных, к сожалению не так часто встречающихся совместно, в одном ученом, в одном человеке. Он был представителем гуманитарной науки. Вот существует сейчас важнейшая наука — математическая лингвистика и т. п. Но есть в числе гуманитарных наук, то есть наук о человеке, и медицина. К ним относили прежде и филологию — я думаю не зря,— которая суть науки о человеке. И вот Цявловский был представителем этой гуманитарной науки и русской гуманной гуманитарной интеллигенции.

Но можно ли было, например, о Мстиславе Александровиче сказать, что он делал свою карьеру? О нем можно сказать разве словами современного поэта: он «делает свою карьеру тем, что не делает ее». И вот все это приводило его и к практическим прекрасным результатам. Он влиял на своих слушателей, он влиял на них и потому, что его работа была делом его жизни, это было нравственное влияние, которое невозможно без того, что тот, кто влияет, сам должен быть образцом тех начал, какие он представляет. Иные при нем не решились бы на некоторые поступки. И в результате получалось, что Мстислав Александрович сплачивал людей вокруг Пушкина, а не разъединял. Вот это было драгоценное его качество. Даже люди высокомерные, даже его соперники — все относились к нему хорошо, и это было тоже драгоценное качество Мстислава Александровича.

Но, сказав, или, вернее, напомнив обо всем этом, я еще отнюдь не могу объяснить одним этим то значение, какое имел и до сих пор сохраняет Мстислав Александрович, потому что его печатные работы, как они ни хороши, далеко не дают представления о нем как о явлении. О нем говорили иногда, что он жил в книжном шкафу. Действительно, все там, на старой квартире, было заставлено книгами, прогулку он считал потерей времени, о чем мы можем только сожалеть, потому что он был бы здоровее и долговечнее, если бы он смотрел на это иначе.

Но душой он не жил в книжном шкафу. Он был не *книжный человек,* который жил *среди книг.* Он в большой русской литературе чувствовал себя как дома, хотя принадлежал к ней по службе изучения ее.

Ведь вы помните — а это помнят все, кто с ним общался. Не говоря уж о Пушкине, Гоголя он, конечно, называл Николай Васильевич, но он и Державина называл Гавриилом Романовичем, это был близкий ему домашний персонаж. И это совершенно не было чудачеством.

Представьте себе, что Цявловский пишет работу как будто о влиянии Пушкина на Гоголя, о том, что у Гоголя в повести «Портрет», скажем, что-то с пушкинским «Домиком в

Коломне» связано — изображение Коломны. Конечно, все это он доказывал в той или иной степени. Но когда он читает страницу Гоголя — божественную страницу Гоголя, то вы слышите, что хотя перед нами пушкинист, но вовсе не только пушкинист, а все тут гораздо крупнее, и вы слышите Гоголя, видите Пушкина, который, прослушав «Мертвые души», сказал: «Боже, как грустна наша Россия».

Когда Цявловский был директором Ясной Поляны, известно, что он побудил, например, в большой степени Кузминскую написать свои воспоминания, и Мстислав Александрович говорил похохатывая: «Может, я этим укоротил ее жизнь, потому что она так волновалась, когда писала эти свои воспоминания, что ночи не спала». Мстислав Александрович рассказывал о Толстом тоже как будто домашним образом, или когда он с гордостью говорил, что вот он выяснил, почему в «Войне и мире» Лысые горы,— это связано, как поэтика названий: Ясная Поляна — Лысые горы.

И вот мы прочли заметку о нем в первом издании Большой Советской Энциклопедии, где сказано, что Цявловский собрал и издал ценные материалы о Пушкине и Толстом, но дальше говорилось, однако, что Цявловский не подымается над эмпирическим материалом и т. п. Так вот верно ли это, что «Ц» не подымается над эмпирическим материалом.

Между прочим, и покойный, глубоко мною уважаемый Викентий Викентьевич Вересаев, которого я близко знал и много с ним общался, умный, талантливый человек, конечно, художник, он в своих воспоминаниях как-то заметил, что Цявловский был человеком знающим и образованным, но не творческим.

И вот тут я позволю себе поспорить с уважаемым и талантливым покойным писателем.

Цявловский не написал биографии Пушкина, не оставил монографии о его творчестве. А вот все-таки его значение огромно. В чем же тут дело? Я думаю, это можно объяснить.

Мстислав Александрович не совсем правильно сам сознавал себя: он хотел всегда нечто очень обстоятельно и стопроцентно доказать — в каждом частном, конкретном случае. Между тем предметом его был Пушкин, Пушкин и Россия, великая русская литература и Россия; но, подобно своему любимому профессору-лектору Василию Осиповичу Ключевскому, он был художник, а в чем возможности и средства художника, — вот когда художник берет частный случай или даже мелочь, он создает картину времени и образ человека по принципу: «pars pro toto», то есть «часть вместо целого».

Вот этим талантом был одарен, этим глазом художника был одарен Мстислав Александрович, это ему часто казалось, что нужно доказать какую-то мысль, а по дороге он нам да-

вал представление о Пушкине, что так трудно — одной эрудицией, конечно, тут нельзя довольствоваться. Это первое. Второе — французские историки, представители романтической историографии, представители нарративной истории сформулировали принципы ее не только в своих теоретических сочинениях.

Барант — знакомый Пушкина,— как известно, на всех тринадцати томах своей «Истории герцогов Бургундских» поставил эпиграф из Квинтилиана: «Scribitur ad narrandum non ad probandum» («Пишется для повествования, а не для доказательства»).

И вот Цявловский и был очень большим мастером этой нарративной истории, но только не в объемлющих жанрах ее, он собирал материалы. Я помню, когда Ираклий Андроников показывал свой прелестный молодой номер, он показывал, как в Пушкинском Доме он встречается с Переселенковым и тот говорит ему, что ведь вот как Москва и Ленинград, вот, знаете, говорит, у нас какие пушкинисты, только вот Модзалевский-отец, Борис Львович,— он историк-материалист, у него все материалы, материалы, а вот Щеголев — он историк-идеалист, у него все идеи, идеи, идеи...

Оттого Цявловский и рассказывал о том, чего не видел как очевидец, и я даже, например, со многими впадал в заблуждение. Он так рассказывал о Петре Ивановиче Бартеневе, что я был совершенно убежден, что он хорошо знал его, а он, оказывается, его никогда не видел, а мог так рассказывать, причем это было все очень точно всегда, никогда это не было выдумкой, выдумка не была бы интересной.

Ну, я задержал слишком ваше внимание, я хочу только выполнить некоторый долг благодарности.

Мне довелось вспоминать Мстислава Александровича и у гроба его, и 10 лет назад, и сейчас, и у меня нет уверенности, что я сумею рассказать то, что должен бы в благодарность ему, через 10 лет.

Я вот помню, Цявловский лежал уже в постели, знал, как он болен, эта постель стала одром его смерти. Он принял меня — я часто имел эту счастливую возможность,— и я рассказал ему о пушкинской работе над «Петром», тогда это было и для меня и для него ново, и он прочел среди других отрывков пушкинские страницы, посвященные смерти Петра Великого. Цявловский знал, каковы собственные его обстоятельства, и это гениальное описание смерти великого человека произвело на него глубокое впечатление. И вот я навсегда запомнил по выражению его лица, как оно менялось — что он сначала с грустью подумал о себе, а потом он забыл это, он увлекся Пушкиным и «Петром», которого он любил. Когда же ему нужно было подписать одну бумагу, касающуюся этой работы, то даже в таком положении он

увидел, что там опечатки, которые он выправил черными чернилами, — он оставался профессионалом.

Вот так он поднимался над всеми обстоятельствами ради того, что было делом его жизни.

Мне вот кажется, что если мы пытаемся объяснить, сказать о нем что-то, то вот я еще очень важное не упомянул, а надо.

Была война — Великая Отечественная война, а Цявловский был патриот, он имел право писать статьи и речи о Пушкине, о его патриотизме, и он не ложился спать до шести часов утра, потому что в шесть часов утра была новая военная сводка, но без этого спать не шел, пока не прослушает.

Пушкин для него всегда был великим представителем эпохи, которая была эпохой истории русской революции, подготовки к ней. Он и сам занимался очень талантливо историей русского революционного движения, и вот это единство отношения его к России, к ее литературе, к Пушкину, вот это еще та черта его личности, о которой нельзя не упомянуть.

Еще одна деталь. Надо ли говорить, что многое из упомянутого сегодня может быть определено словом «артистизм». И вот я вспоминаю, как к Мстиславу Александровичу в последние дни его жизни пришел замечательный талантливый врач-профессор Борис Аркадьевич Егоров и выслушал его. Когда он ушел, что же сказал Мстислав Александрович? Он, говорит, мастер-артист, как ухо приложил к груди. И он прав, этот врач был элегантен, что было выражением высокого мастерства его медицинского — профессионального.

И в этом своем положении Мстислав Александрович все видел, наблюдал и об этом говорил. Так Мстислав Александрович жил и умер.

Слишком, слишком рано, к нашему общему горю.

О ТЫНЯНОВЕ

Я начну с конца, а не с начала.

У меня сохранилось во фронтовых дневниках моих несколько листков, писанных зеленкой, полученной в госпитале,— чернил других не было. Они датированы 17 декабря 1943 года. Я был тогда на Северном флоте.

Кольский залив в высоких гранитных берегах был темный. Я вспомнил стихи Валерия Брюсова. О Южном проливе, дальневосточном, он сказал так верно. И это могло быть отнесено и к Северу:

Где море, сжатое скалами,
Рекой торжественной течет...

Вот под этим высоким, уже весенним небом, в одной землянке, где я заночевал у командира, я был поражен, найдя у него на столе журнал «Знамя», где была напечатана третья часть романа Тынянова «Пушкин»— седьмой и восьмой номера за 1943 год.

Днем я прочел его с увлечением и жадностью. А вечером должен был читать в землянке лекцию о Пушкине для летчиков-штурмовиков. Они были мрачны в этот вечер в слабо освещенной землянке, потому что вернулись без товарища, потеряв самолет. И они не очень были расположены слушать лекцию даже о Пушкине.

Я начал с рассказа об этих номерах журнала «Знамя», и они ободрились. Потому что в этом рассказе о Тынянове и его романе про Пушкина они услышали, увидели крепость, силу духовную, мощь неимоверно огромной России.

Я подумал, что подвиг Тынянова начался задолго до того, как он, преодолевая свою тяжкую, уже предсмертную болезнь, писал свой роман, кончая его вот этой частью.

Тынянов тем крупен, что, действуя средствами литературы, он вышел за пределы литературы — вышел в историю России и обнаружил связь времен.

Стенограмма выступления в Государственном Музее А. С. Пушкина (Москва) 21 января 1969 г.

В этой части, да и вообще в напечатанном томе «Пушкина», там есть тема любви — любовь Пушкина к Карамзиной. Но там и историческая, героическая тема — тема Карамзина.

В этом романе вспоминается в связи с любовью памятник исторический. Вы помните, наверное, эти четыре стиха:

Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы —
Ты средь торжественных знамен
Упал горящий и кровавый
Героев севера губя...

Вот это свойство Тынянова объясняет, почему он был так значителен и почему он будет долго, долго служить людям.

Посреди ледяного поля стоял фанерный ящик с боевым телефоном погибшего Героя Советского Союза Сафонова. Это был странный памятник — временный, непрочный. Но это значит, что уже думали тогда не только о памятниках прошлого, но и о памятниках, назначенных для будущего.

В числе любимых стихов Пушкина было стихотворение Батюшкова, которое здесь сегодня недаром вспоминали. А сам Пушкин, вспоминая Батюшкова, автора послания Карамзину, писал:

...и в нем трепещет вдохновенье!

Вот вспомните теперь, как написал в романе «Пушкин» Юрий Николаевич Карамзина.

Есть такие ценности исторические, которые переходят из эры в эру. Ведь вы подумайте. Вот Тынянов, он вырос во Пскове, сын провинциального врача, вырос в эпоху подготовки Революции, когда сознание общественности пылало ненавистью к самодержавию, которое все еще гнездилось в блестящем, великолепном Петербурге. Народовольцы-революционеры, охотясь на царей, с гениальной слепотой не видели красоты императорского Петербурга.

Державина насильно заставляли учить наизусть в гимназиях, и он опротивел за это гимназистам. И вот Тынянов, человек эпохи революции, как понял он историю нашего восемнадцатого века, Петра и безумного Павла, романтического нашего императора, как называл его Пушкин, и Александр I — как изображен Александр I в романе «Пушкин», лучшее изображение Александра, лучшее в русской исторической прозе! Вы подумайте, когда умирает Петр I, он бредит. А сны Петра записывались в книжечку, и вот, вероятно, все это дало материал и толчок Тынянову написать предсмертный бред Петра.

Вы знаете, Николай I повелел издать многотомное издание, которое и было начато —«Письма и бумаги Петра Великого».

Первый том вышел при Александре — не успели при Николае I издать. А одиннадцатый том вышел уже в наше время, недавно, под редакцией профессора Бориса Борисовича Кафенгауза. А еще Петру предстоит царствовать 13 лет. Будут издавать дальше. Может быть, дети наши прочтут. Слишком все это значительно.

Вот это все понимал Юрий Николаевич. И понимал поэзию и восемнадцатого века, и Пушкина, и предшествующую Пушкину литературу, и последующую. Потому что он, конечно, многому научился, например, у Лескова, когда писал того же «Витушишникова».

Много можно говорить о Тынянове, его мастерстве и о том, как и у кого он учился этому мастерству.

Но сегодня у нас вечер под рубрикой «Пушкинисты».

Николай Леонидович Степанов говорил о тех трудах Тынянова, теоретических и историко-литературных, которыми он прославился, будучи еще совсем молодым человеком. Но я думаю, что самое главное исследовательское, научное значение имеет для нас роман Тынянова «Пушкин», потому что это глубокое исследование и постижение, основанное на труде научном.

Я немного в сторону уклоняюсь.

Мне кажется, что, например, эпоха Николая I и образ самого Николая Павловича в рассказе «Малолетный Витушишников» имеют громадное значение для понимания темы «Пушкин и его время».

Мне лично много лет приходилось доказывать, что Пушкин как историк был не хуже профессора, обыкновенного ученого-исследователя, и наконец это было в свое время установлено и принято. Но всегда я думал и писал об этом, что Пушкин был не только не хуже, а он, полагаю, был лучше простого историка, простого профессора.

И вот эти свойства Пушкина понимал Тынянов и старался им следовать.

Не стану приводить примеров о Пушкине, хотя можно привести примеры, когда Пушкин, обладая всем веером исторических источников, выступал как критик источников и добывал истину.

Но он был Пушкин. Он обладал гениальной способностью постижения, и поэтому можно назвать много других случаев, когда Пушкин, имея только один и неверный источник, сквозь него угадывал, постигал, как было на самом деле. И за день до дуэли в одном из писем, пишучи будто бы не о себе, в действительности сказал он это о себе: «Гений с одного взгляда открывает истину. А *истина сильнее царя,* говорит священное писание». Он тут смягчил, конечно, ссылкой на священное писание смелость своих слов.

Другой учитель Тынянова, о котором здесь уже сегодня

вспоминали, Лев Николаевич Толстой, писал в предисловии к одному из вариантов начальных «Войны и мира», что, когда он, Лев Толстой, стал читать письма и дневники людей начала девятнадцатого столетия, живших прежде Толстого, то он не без некоторого сначала удивления увидел, что эти люди жили такой же сложной жизнью, тонкой жизнью ума и души, как и современные Льву Толстому люди.

И это также прекрасно понимал Тынянов.

Я не считаю справедливым, например, такое мнение, которое мне пришлось сегодня выслушать от очень даровитого и умного человека, историка литературы, мнение, что Грибоедов тыняновский — это, конечно, не человек того времени, не Грибоедов. Слишком сложна его рефлексия, психологическая и историческая. Не знаю. Может быть, конечно, он и облучен опытом последующего века, но Тынянов сумел рассмотреть в Грибоедове эту сложность и показать ее нам.

Тынянов, кроме того, прекрасно понимал условность форм выражения каждого времени, какое он изображал. Помню, он в «Киже» пишет о том, как Аракчеев получил рескрипт от Павла, от императора, и рескрипт был подписан «Пребываю к Вам благосклонный Павел». И Аракчеев заплакал, поняв, что это опала, потому что не было сказано «Пребываю к Вам навсегда благосклонный Павел».

Вот эти вещи в эпохе прошлой надо уметь понимать, и, в частности, прекрасно все это понимал Юрий Николаевич.

И это понимал сам Пушкин. Еще совсем молодым человеком, прочитавши Карамзина, Пушкин написал прекрасные стихи:

Смотри, как пламенный поэт
Вниманьем сладким упоенный,
На свиток гения склоненный,
Читает повесть древних лет,
Он духом там — в дыму столетий!
Пред ним волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
С сынами доблести прямой!

И дальше он говорит:

Карамзину приносит он
Живой души благодаренье
За миг восторга золотой,
За благотворное забвенье
Бесплодной суеты земной...

ПОЕЗДКА В ТРИГОРСКОЕ

Так как мне приходится выступать экспромтом, то я расскажу в чисто историческом порядке, как все было, чему я был свидетелем.

Лет, вероятно, семь назад довелось мне читать лекцию о Пушкине в Московском металлургическом институте.

Упомянул я в этой лекции и о близком приятеле Пушкина, Алексее Вульфе, ссылаясь на его важные достоверные свидетельства о творчестве Пушкина.

А после этой лекции ко мне подошел еще довольно молодой профессор и попросил меня пройти с ним в кабинет на кафедру.

Там он мне сказал, что вот я — Вульф, точно не скажу, в каких нахожусь родственных отношениях с пушкинским приятелем, потому что всю жизнь занимался совсем другим — металлургией, вернее металловедением.

Дмитрий Алексеевич — действительно автор двадцати трех книг и научных работ по термической обработке металлов и от той сферы, о которой идет сейчас речь, был всегда сравнительно далек.

И сказал мне тогда же Дмитрий Алексеевич, что у него хранятся унаследованные им от тетки, старшей сестры его матери, три хрустальных бокала, из которых, по семейному преданию, пили в Тригорском Вульф, Языков и Пушкин.

Услышав все это, я стал упрашивать Дмитрия Алексеевича подарить эти бокалы Московскому музею Пушкина, а если никак нельзя, то один подарить Московскому музею, один оставить себе, а один — подарить Пушкинскому Дому или Ленинградскому Всесоюзному музею Пушкина.

Дмитрий Алексеевич обещал подумать над этим, а я ему сказал, что мало ли что бывает. Бывает, что и разобьются бокалы... через сто лет. Отдайте-ка пока от греха...

Так мы познакомились.

Я не знаю, корректно ли это — говорить в присутствии Дмитрия Алексеевича. Он мне просто очень понравился, и мне было интересно и приятно продолжить это знакомство.

Стенограмма выступления в Государственном Музее А. С. Пушкина (Москва) 6 июня 1969 г.

И вот настало время открытия музея Осиповых-Вульфов в Тригорском.

Я был тоже приглашен и должен был отправиться туда от Союза писателей, чтобы принять участие в открытии.

Мы созвонились с Дмитрием Алексеевичем, и он, как наследник, собственно говоря, всего этого, любезно предложил мне — давайте поедем туда семьями. Он взял свою очень милую жену и пригласил меня с женой и сыном моим, которому тогда было пятнадцать лет. И в этой самой машине, которая сейчас стоит у подъезда музея, мы и отправились в Тригорское.

В багажнике лежали бокалы. И не только они одни.

Мы опоздали к открытию музея, потому что оказалось, что какой-то мост разболтался и нас, оказывается, эта машина вообще могла угробить. Так что мы счастливо отделались.

Но когда мы приехали, то нам не поверили, считая, что мы просто проявили какую-то нерадивость, не успев к открытию.

И вот когда торжество кончилось и шум весь этот утих, Семен Степанович Гейченко, еще весь, так сказать, пылая этими днями, повел нас показывать Тригорское.

Теперь несколько слов о Тригорском.

Тригорский дом есть музей замечательный. И во многих отношениях он более достоверен, чем самый домик Пушкина в Михайловском, потому что ведь домик Пушкина три раза горел и сохранилось там очень немного подлинных пушкинских вещей. Помнится, что есть там шары бильярдные, которые какой-то хранитель во время оккупации держал у себя, хотел ими как-то перед кем-то оправдаться.

А что касается Тригорского, то от Тригорского — так как его тоже сожгли в семнадцатом году — остались бутовые и каменные фундаменты.

Таким образом в камне сохранился план основного строения.

Но этого мало.

Дело в том, что Шокальский, знаменитый географ и картограф, которого я еще застал стариком,— я когда был юношей, то был с Шокальским даже знаком — был родственником Осиповых-Вульфов и гащивал в Тригорском. И как картограф он, на наше счастье, составил план этого дома, ныне не существующего — внутренних его помещений.

Но — скажу более. Дело в том, что — как знает всякий интересующийся биографией Пушкина — в Тригорском было много барышень на выданье. Не всех их удалось выдать замуж, но все-таки многих. И когда они выходили замуж из этого богатого дома, в отличие от бедного Михайловского им на вынос в приданое отдавали множество хороших вещей. И даже произведений искусства.

И поэтому вероятность сохранения вещей, которые были в

Тригорском при Пушкине, оказалась гораздо выше, чем можно было думать.

И Гейченко со своей огромной энергией достал, конечно, множество из этих вещей.

А так как там, в Тригорском, был превосходный, уникальный рояль — второй такой рояль принадлежал Глинке, — то Гейченко, зарывшись в подвалы Института истории театра и музыки в Ленинграде, нашел там второй такой же рояль, палисандрового, кажется, дерева, реставрировал его, и теперь он стоит на своем месте, в прекрасном виде. Причем это тот самый рояль, за которым сиживали тригорские барышни, когда Керн пела: «Ночь весенняя сияла...»

Там и птичка есть, механическая, которая поет.

Но кроме других предметов обстановки там было много хороших картин.

И вот тут я хочу коснуться одной особенности, казалось, простодушного, но всегда мудрого и хитроумного Пушкина.

Когда он писал:

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!—

то вот эти картины фламандской школы висели в Тригорском. Так что Пушкин видел все это, не только однажды завернув на скотный двор, но и постоянно всматривался в эти картины.

Точно так же, как хорошо теперь установлено, что сон Татьяны связан с впечатлениями от картины Босха, которая тоже висела в Тригорском.

А птичка механическая и сейчас поет. И Гейченко иногда, когда он хочет оказать большее внимание гостям, ее заводит, и птичка щебечет, как андерсеновский искусственный соловей.

И вот мы поехали в Тригорское. И когда Дмитрий Алексеевич со своей супругой зашли в дом, они там увидели сохранившийся от пушкинских времен сундук с металлической отделкой, и я уж не помню, в один ли они голос сказали тогда или сначала сказала Антонина Степановна, а потом уже Дмитрий Алексеевич: «Это же наш сундук!» У них в Москве стоит, оказывается, точная копия этого тригорского сундука. Один мастер делал — это совершенно очевидно.

Так что они приехали в известном смысле к себе домой и увидели свой сундук.

И что же оказалось в их сундуке? В сундуке нынешних Вульфов, московском. В этом сундуке, который Дмитрий Алексеевич унаследовал от своей тетки, старшей сестры своего отца, Елизаветы Николаевны Вульф, оказались фамильные письма. А как сказал Блок: «Дворяне все родня друг другу».

Там оказался и портрет Свистунова, мужа той самой

Соллогуб, в которую был влюблен Пушкин и за которую схлопотал пощечину из ревности от Натальи Николаевны, как повествует предание.

Там оказалось и письмо этого Свистунова о том, как он привез донесение в Петербург о смерти Александра I в Таганроге. Французское письмо, где рассказано, как Мария Федоровна, мать покойного Александра,— она ведь присутствовала на молебствии во здравие государя, и известие было доставлено в церковь, где шло молебствие,— упала в обморок, узнав о смерти сына. Потому что кому он был кем, а ей он все-таки был старшим сыном.

Вот такое письмо.

Там много оказалось писем. В частности, связанных с декабристами. И их Дмитрий Алексеевич отдал в Исторический музей, где они и находятся в обилии.

Но там были не только письма.

Там были, например, ноты 1886 года, позднего уже периода.

Бабушка Дмитрия Алексеевича, Леонида Константиновна Вульф, написала музыку на слова Пушкина — написала в какой-то памятный для себя день, вспоминая Пушкина.

Но это все же позднейшие реликвии.

А в сундуке кроме писем и нот оказались те самые фужеры, о которых я уже говорил, и еще — один волшебный поднос XVII века.

Когда Дмитрий Алексеевич показал нам эти фужеры — я не специалист, в этих предметах разбираться не могу,— я не знал, что хрусталь варили с серебром (был такой способ), и от этого он приобретал эластичность.

Если пальцами сжать этот бокал, то получается из окружности эллипс, и бокал не ломается при этом. А повреждены бокалы были, когда Дмитрий Алексеевич захотел сфотографировать их на фоне черного бархата. Но все же не очень повреждены. Вот они. Слышите, какой у них серебристый звон. Это тоже отличие этого удивительного хрусталя.

Бокалы эти с гербом — павлин на пушке.

По заключению Эрмитажа — впрочем, мы в этом разобрались сначала домашними средствами, только на проверку это было послано в Ленинград,— это герб Вяземских.

А связь Вяземских с Вульфами явствует, как мне сегодня рассказал Дмитрий Алексеевич, из одного письма — тоже из этого сундука. Письма, в котором один из Вульфов пишет, что Вяземский проиграл ему, кажется, две тысячи рублей и неизвестно, когда отдаст.

Вы знаете, что Вяземский был такой игрок, что проиграл сотни тысяч рублей и принужден был расстаться с родовыми вотчинами из-за этого, которые он продал вместе с крепостными людьми.

Так вот в данном случае он проиграл каких-нибудь две

тысячи рублей, но и тут было неизвестно, когда отдаст. И из этого письма видна, в частности, связь Вульфов и Вяземских — ясно, как могли попасть бокалы с этим гербом в Тригорское, к Вульфам.

Когда бокалы были привезены в багажнике «Москвича», то Гейченко, который нас принимал, очень волновался, когда речь заходила о том, что надо их сюда отдать, по принадлежности. Он стал расспрашивать, что еще есть у Вульфов. Вот тогда-то Вульфы ему сказали, что у них есть еще поднос.

Поднос этот имеет изображение герба. «Вульф» — по-немецки «волк». И в гербе у Вульфов волк со звездами. А над этим — латинский девиз «Ora et spera» («Молись и надейся»).

Вот тогда-то Дмитрий Алексеевич стал выяснять свою родословную, которой он то ли не удосужился, то ли не имел возможности за своими трудами заняться в предыдущие четыре или пять десятилетий. И выяснилось, что происхождение Вульфов шведское, что Вульф приехал на службу к Алексею Михайловичу, и, значит, это старые, еще допетровские немцы. Вот оттуда и пошла их фамилия.

Это все эрмитажники тоже потом детально доказали, и старший научный сотрудник А. Жуков об этом дал свое заключение, о котором вам расскажет сам Дмитрий Алексеевич.

Так вот, когда зашла речь, что есть такой поднос, а еще ничего не известно было, какой там герб, и только девиз помнил Дмитрий Алексеевич благодаря своей прекрасной памяти, тут-то и выяснилась одна очень печальная деталь.

Оказалось, что у супругов Вульфов была любимая кошечка. А кошечке песок грели, чтобы она не садилась на холодный. И грели его на газовой плите, высыпая песок на этот поднос. И поэтому мы услышали, что поднос прожжен и герба уже не видно.

Гейченко стало просто очень нехорошо.

Да и нам с женой тоже было не очень хорошо на душе.

Но оказалось, что тогда качество продукции было хорошее, а сам Дмитрий Алексеевич — металловед. И, видите, выдержал этот поднос — времен Алексея Михайловича и Петра. И на него это газовое пламя никакого разрушительного действия не оказало. Вероятно, поднос был медный и сверху посеребрен, и вот это-то серебрение, по-видимому, и повредилось.

Дмитрий Алексеевич тогда не решился расстаться с бокалами.

Так что Гейченко, так сказать, только полюбовался, послушал звон, и бокалы уехали обратно.

Но вот тут началось другое, и очень, по-моему, хорошее по-человечески. И не только по-человечески.

Это история о том, как крупный специалист-металловед,

которому все было недосуг заняться своей родословной, увлекся этой сферой. И сейчас он уже человек, весьма осведомленный во всем этом. Он разыскал много произведений искусства, нашел своих теток, которые вернулись из Японии, старых художниц, у которых в поместье Врубель писал свои знаменитые картины. Там масса интересного. Но это уже не моя сфера, и об этом расскажет сам Дмитрий Алексеевич.

И так получилось — так жизнь пошла, — что мы несколько лет не виделись, а сегодня вот встретились в музее. Но Дмитрий Алексеевич не только сам пришел, но и привез в багажнике все эти предметы и сказал мне, что он так и думал, что встретит меня здесь. Что и произошло.

Теперь Дмитрий Алексеевич стал объезжать вульфовско-пушкинские места, которые находятся в известном забвении, а именно — Малинники, Берново, о чем он расскажет, конечно, гораздо лучше сам, чем я мог бы пересказать с его слов.

Но вот еще одно приятное обстоятельство, касающееся Татьяны Григорьевны Цявловской.

Именно в тех краях, в одном из этих поместий, Пушкин, как известно, написал свое прелестное стихотворение Кате Вельяшевой:

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел...
Если ж нет... по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

Так вот на полях этого черновика рукописи Пушкин нарисовал очень легко и эскизно профиль какой-то молоденькой девушки, и, естественно, Татьяна Григорьевна, как исследователь рисунков Пушкина, давным-давно, еще до войны — я, помню, еще молодым человеком восхищался зоркостью Татьяны Григорьевны, — она вдруг воскликнула, что ведь это Катя Вельяшева. Но для того, чтобы убедиться в этом, — а я помню это волнение Татьяны Григорьевны, и Мстислав Александрович во всем этом участвовал душевно, — послали в Пушкинский Дом письмо — нет ли там портретов Екатерины Вельяшевой. Те ответили — есть, и была в доме на Новоконюшенном переулке радость. И прислали из Ленинграда фотографию

дряхлой старухи, портрет маслом. Я пропустил, кажется, эти центральные строки, когда читал стихи. А Пушкин говорит:

Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор...

И вот оказалось, что основные черты Кати Вельяшевой Пушкин так схватил, что можно было определить, что эта старая, очень старая женщина — та самая, какая едва расцветающей девушкой была нарисована Пушкиным на полях.

И Татьяна Григорьевна с полным основанием и достоверностью утвердилась в своей догадке. Это была Катя Вельяшева.

Там же, в тех же краях, сколько помню, произошел нулинский случай — с той разницей только, что Вульф получил пощечину, и поэтому все окончилось гораздо нравственнее, чем в поэме. Нет. Там, в поэме, тоже все нравственно кончилось. Но, в общем, случай, послуживший для сюжета «Нулина», был там.

А что там, в тех краях, делается, расскажет сам Дмитрий Алексеевич, а я с интересом его послушаю.

«СЛЕДОВАТЬ ЗА МЫСЛЯМИ...»

Я был уже немолодым человеком, когда вышло Большое академическое издание сочинений Пушкина в 20-ти томах, законченное к 150-летию со дня рождения поэта. Откуда набралось столько нового Пушкина, которого мы обычно представляем себе если не в виде однотомника или трехтомника, то уж никак не больше, чем в объеме десятитомника.

Археолог Юзефович, которому Пушкин показывал черновики «Полтавы», заметил, что после смены черновых вариантов, редакций, сокращений и окончательной отделки у Пушкина оставалась в окончательном тексте едва ли четверть того, что он написал в своих черновых тетрадях. Поэтому черновиков у Пушкина гораздо больше, чем беловых, окончательных текстов его произведений.

И вот 100 лет не могли прочесть все эти черновики. Изучали пушкинский почерк. Это очень мало помогало делу, потому что на страницах черновиков, отражающих смену творческих решений поэта, сменяющие друг друга черновые редакции часто переплетаются, как и геологические пласты. Нужно было расслоить — во времени — эти пласты, и это было сделано коллективом замечательных советских пушкинистов (их уже нет в живых почти). Главная заслуга принадлежит здесь, на мой взгляд, Сергею Михайловичу Бонди, потому что принцип, метод такого прочтения пушкинских рукописей в основном был решен именно им. Это и было выполнение завета Пушкина — следовать за мыслями великого человека. Покойный Борис Викторович Томашевский назвал черновики Пушкина стенограммами его творческого процесса.

Но работа эта не была истинно коллективной. Каждый из редакторов работал на своем участке, и когда я впервые, лет 30—35 назад, стал читать эти тома и стал задавать вопросы самим редакторам, участникам издания: «А сколько вы напечатали нового пушкинского текста?» — то я получал ответы заниженные в десятки и даже сотни раз. Потому что каждый из них положил жизнь, чтобы прочесть черновики и беловики одного-двух произведений. А что рядом, еще дальше, как на

Стенограмма выступления в Государственном Музее А. С. Пушкина (Москва) 11 ноября 1975 г.

фронте говорят «у соседа справа, у соседа слева», — они стратегически не осмыслили. Когда же я подсчитал, то оказалось, что прибавилось на пятьдесят процентов пушкинского текста, включая исторические тетради Пушкина по истории Пугачева и Петра I, на полстолька Пушкина прибавилось (и то не все далеко черновики сохранились). Ну, подумал я, если прибавилось Пушкина на полстолька, хоть это все черновое, незавершенное, наверно, тут много важного, надо его изучить, этот текст.

Каждое поколение имеет свои возможности. Вот они положили, эти замечательные исследователи, свои силы на выполнение той задачи, о которой только что говорилось. Это великая заслуга. Этот черновой Пушкин напечатан.

Но ведь это только первая часть задачи. А что же, для чего Пушкин производил все эти перемены? Каков смысл смены его творческих решений? — вот задача, которая ставилась передо мной давно, еще тридцать пять лет назад. И первой моей работой была работа об «Онегине» и его черновиках.

Но Пушкин предвосхитил всех почти великих последующих поэтов в своих черновиках. Но вот он напишет сначала, как будут писать в XX веке — Блок, даже Заболоцкий, а потом подумает, зачеркнет и в конце концов напишет как в XIX веке.

Вот я читаю черновики «Онегина», и там письмо Татьяны в первом варианте, вот оно:

Ко мне, ко мне ты послан богом
Я знаю ты хранитель мой.
Вся жизнь моя была залогом
(Свиданья моего с тобой.)

Ты мне внушал мои моленья
(Любви) небесной (чистый). жар,
И грусть, и слезы умиленья —
Они тебе, они твой дар.

Кто ты, мой ангел ли хранитель
Иль демон — сердца искуситель?
Прийди — сомненья разреши...

Ведь это все, вплоть до интонации, лермонтовские стихи. Но Лермонтов не мог читать эти черновики Пушкина, они были опубликованы сто лет спустя.

Знаменитое, великое стихотворение Пушкина «Воспоминание»: «Когда для смертного умолкнет шумный день». Оно кончалось в печати у Пушкина, он сам так напечатал: «Но строк печальных не смываю». А между тем есть такое же большое, как и основной текст, продолжение в черновике: «Я вижу в празднестве в неистовых пирах» и прочее.

Все это было напечатано еще Анненковым век назад, в «Материалах для биографии Пушкина»:

И нет отрады мне и тихо предо мной
Встают два призрака младые,

Две тени милые — два данные судьбой,
Мне ангела во дни былые
Но оба с крыльями, и с пламенным мечом —
И стерегут — и мстят мне оба —
И оба говорят мне мертвым языком
О тайнах счастия и гроба.

Это Блок. То, что Пушкин оставлял в черновиках, стало поэзией Блока, потому что, читая эти стихи, я вспоминаю ну хотя бы великое стихотворение Блока «Я видел сон...»:

И он идет из дымной дали;
И ангелы с мечами — с ним;
Такой, как в книгах мы читали,
Скучая и не веря им.

И это было у Пушкина. Но у Лермонтова — все вплоть до интонации, а у Блока — сходство по художественной концепции.

И таких примеров я мог бы привести множество, то есть, изучая смысл смены творческих решений, я вижу — надеюсь, мои читатели увидят — это содержание моей новой книги, над которой я работаю. Я вижу, каким Пушкин мог быть, каким он даже бывал, и каким он решил стать и стал, и каким мы его знаем. Какие миры прошли через его сознание — это слова самого Пушкина о поэте. Это выбор, творческий выбор решения.

Итак, прочли черновики. Вот я уже треть века, более, изучаю их, знаю почти целиком, и мне жаль, что их очень мало используют. Кто-нибудь возьмет что-нибудь, а это материк или, вернее, не материк, а подводная часть айсберга, которая больше самого айсберга и без которой трудно понять творческий путь Пушкина.

Изучение черновиков поэта — один из путей, позволяющих «следовать за мыслями великого человека».

Мало этого, в наше время научились «читать» рисунки Пушкина, сохранившиеся во множестве на полях его рукописей. Это прежде всего профили современников поэта, острая изобразительная характеристика их, что позволило А. Эфросу — основоположнику изучения рисунков Пушкина — назвать их «графическим дневником».

Книга его замечательная, несмотря на отдельные погрешности. Работу его продолжает Татьяна Григорьевна Цявловская, талантливо, с большим успехом. Но Колумбом здесь является Эфрос.

«Пушкинская графика, в известной мере, заменяет словесную запись, рассказ поэта о самом себе», — писал он.

Рассказ для себя, не предназначавшийся, конечно, для опубликования, в котором мимолетно закреплены посредством изображения мысли и воспоминания Пушкина.

Вместе с тем рисунки Пушкина, возникавшие на полях

произведений поэта, освещают неумышленно, неожиданным образом поток сознания поэта в часы его творчества.

Я хочу еще сказать, что Пушкин рисовал не только свой автопортрет, но и свой воображаемый портрет. С пером в руке, рисуя календарь и варианты своей судьбы, он рисовал себя то обрюзгшим помещиком, то знатным лысым стариком — со звездой, то в виде придворного арапа. И я хочу сказать, что Пушкин был не только гениальный художник, но и великий характер, и он боролся за выбор варианта своей судьбы.

Вот Пушкин пишет «Медного всадника», и что в это время проносится вне этого освещенного творческого поля его сознания? Какие лица! Это вовсе не иллюстрация. Это вовсе не обязательно то, о чем он пишет в тексте своего произведения. Значит, еще одна возможность следовать за мыслями великого человека.

Третье. Вот издали «Петра», «Историю Петра», незавершенную. Каков мой главный тезис? Это не собрание разных незавершенных текстов, выписок, конспектов. Это незавершенное великое произведение, так далеко и мощно продвинутое, что это уже произведение. Хотя пафос мой не в том, чтобы преувеличивать степень его завершенности.

Пушкин повторял слова: «Определяйте значение слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений». Вот, говорят, «черновое» — это слишком расплывчато. Я в этом убедился. Сначала я, естественно, кинулся, когда я увидел, услышал, что среди этих подготовительных текстов есть, проступают, как острова архипелага, проступают эпизоды, страницы прекрасной пушкинской исторической прозы. И конечно, в своей книге «Незавершенные работы Пушкина» я это и старался показать, дать образцы этой прозы, ее довольно много.

Но все остальное, занимающее большую часть этого громадного тома, ведь это самая большая рукопись Пушкина. Прежде всего я убедился, что в истории «Петра», которую назвали «выписки, конспекты», нет выписок вообще. Пушкин заменяет их в нужных случаях указаниями, откуда сделать выписку. То есть дает «адрес». Выписок там нет. А слово «конспекты» имеет два значения, о чем не подумали. Вот я изучил книгу, сделал конспект, это ретроспективный конспект прочитанного. Я могу по поводу прочитанного сделать какие-нибудь свои маргиналии, замечания. У Пушкина есть и такие конспекты в «Истории Петра». Но большей частью — это перспективный конспект, то есть конспект будущего сочинения или будущего эпизода, каким его видит Пушкин. Просто фиксация событий, что было то-то.

Теперь. Подготовительный текст, он в хронологическом порядке расположен. Как и в своде Голикова.

Но Пушкин сказал, что вдохновение предполагает силу ума, располагающего частями в отношении к целому. То есть

он-то знал, когда писал, какие места предназначены в его будущей книге (она ему ясна была) тем или иным готовым фрагментам, для которых хронологический контекст есть временный и потому ложный, а истинный контекст — это контуры его будущего произведения, достаточно различимые в этом подготовительном тексте.

И вот, что же делать со всем остальным, с большей частью текста, который не представляет собой готовой прозы?

Я решил, что надо ее прочесть. Пушкин выработал умные способы. Ведь не всегда владеющий большим обладает меньшим. Можно быть гениальным поэтом и не быть умным, умелым историком. А Пушкин был им. И он писал очень многое для себя рабочим шифром. Это не тайнопись, как в десятой главе «Онегина». Та от жандармского глаза, и очень наивный шифр — он просто переставил строки. А здесь не тайнопись, но рабочий шифр. Он придумал, как быстро и емко фиксировать. Пушкин знал о стенографии, его товарищ лицейский, Корф, о котором Соболевский так верно и ехидно сказал Пушкину: «Твой первый друг граф Бенкендорф, его ж товарищ барон Корф». Тот ненавидел Пушкина. Но когда он перевел Графоджию — это значит стенографию, то Пушкин был подписчиком на эту книгу, пронумеранты там в конце. Это было напечатано в свое время в Баку каким-то любителем, потом с важным видом перепечатано в академическом каком-то там сборнике, но это факт прежде всего. Это у Пушкина не стенография, потому что это не значки. Это у Пушкина не шифр в смысле тайнописи. Но это способ, рабочие шифры, как он для себя записывал сокращенно или даже условным образом. Пушкин закреплял для себя результаты изучения эпохи, но записывал так, чтобы прочесть все-таки было можно. И у меня явилась мысль, что это может сделать не только сам Пушкин, но и его исследователь. И я понял, раскрыл этот рабочий шифр Пушкина и увидел, что все эти тексты не только требуют раскрытия, но и поддаются ему, и прочел всего «Петра». Это не суть — окончательный текст его будущей книги. Но они полны смысла и ума, и в них отразилось представление Пушкина о тех сценах будущих, которые он включит в книгу. И когда я это сделал, произошло то, что шифровальщики называют превращением из шифра в клэр. Когда я все это прочитал, тогда мне стала ясна стереометрия работы Пушкина, потому что готовые куски оказались в своем истинном контексте, и я вижу «Смерть Петра». Да, это великая проза, как я доказывал, и, кажется, это признано. Но это триптих, это одна из громадных фресок, которая окружена перспективами (планами и отрывками), набросками двух других, и в которых она не сама по себе изолирована.

Таков весь «Петр». И когда я его прочел, весь, то я убедился, что мы не знали такого Петра, который там у Пушкина пред-

ставлен. И мы не знали такого Пушкина. Потому что после «Руслана и Людмилы» Пушкин написал не еще одну «Руслана и Людмилу», а «Бориса Годунова», то есть он был в движении, в развитии, и поэтому «История Петра», как историко-художественное произведение, написана уже не так, как «История Пугачева». Может быть, только сцена казни Пугачева напоминает некоторые места «Истории Петра». И вот во втором томе той же книги я поставил перед собой другую задачу. Просто передо мной возникли другие, более сложные и, может быть, более трудные проблемы. Если это произведение Пушкина, пусть незавершенное, то какое произведение, не вообще каков его жанр, об этом я писал в первом томе, а какова поэтика его жанра? Каковы средства построения образа, Петра прежде всего? Какова драматургия этого произведения в целом?

Да, это великое, величайшее, наиболее зрелое произведение Пушкина. Он занимался им все годы после женитьбы. Как женился, так львиную долю его времени отнимала работа над «Петром». А он свое время берег. Он мог в это время писать произведение вроде «Медного всадника», еще одно и другое, а считал нужным большую часть времени тратить на этого самого исторического «Петра».

Значит, что же это за искусство, что это за проза? И вот я думаю — нельзя написать такую книгу всю высокой прозой, подобной монологу из трагедии исторической, как в «Борисе Годунове». Там много таких мест, и я их выделил.

Но работает Пушкин, как в «Онегине», во взаимодействии различной прозы, компонентов различной прозы, переходит от одного к другому. И вот там есть такая проза, как, например, «Кирджали», которая почти одновременно с «Петром» — не отличишь. Там есть проза, она идет из «Бориса Годунова». Развитие мирового искусства — это не только путь открытий и приобретений, это и путь утрат. Утрачиваются вместе с тем ценности, которые были, скажем, в античной литературе. Античная проза читалась только вслух. Они не знали чтения глазами. Она рассчитана на звучание. И вот Пушкин пожелал соединить здесь достижения новой европейской литературы с достижениями утраченными — достоинствами античной звучащей прозы. Есть такое начало, компонент важный, в частности в «Петре».

Есть и многое другое, отнюдь не менее важное, о чем я не могу сейчас говорить — не время и не место. Это предмет книги, серии докладов и так далее.

Третья задача «следуя за мыслями» была раскрыть то, что Пушкин писал для себя. А я подумал, что если писал, то писал так, что можно было прочесть. А если он сам мог прочесть, то может прочесть и исследователь его, только трудно. На это ушло много лет. Опять следуя за мыслями великого человека.

Вот библиотека Пушкина стоит, в Пушкинском Доме. Как я позволил себе несколько шутливо сказать, что библиотека Пушкина является украшением Пушкинского Дома потому, что она очень мало изучена. Книги стоят по алфавиту, то есть в тематическом беспорядке. А я расчленил ее на систему коллекций; скажем, коллекция печатных источников русских и иностранных по истории Петра Великого и всего XVIII века. И убедился, что Пушкин все или почти все собрал в своей библиотеке о Петре и его эпохе. Ученую степень можно дать за составление этой коллекции.

Был один человек, его фамилия Николаев (он умер и, к сожалению, забыт), который, посмотрев на коллекцию книг Пушкина по истории Французской революции, до того как были найдены рукописи Пушкина по истории Французской революции, высказал предположение, что Пушкин несомненно готовился писать историю Французской революции. А в «Петре» он не только готовился, но и очень много написал.

Ну а каковы же еще другие способы следовать за мыслями великого человека? Вот, обнаружив эти коллекции, я стал читать те книги, которые читал Пушкин, но не по отдельности, а вот целую обширную коллекцию. И тогда, когда я уяснил подбор книг, посмотрел на его закладки, на его пометки, на всякого рода следы его работы, я получил еще одну возможность, читая вслед за Пушкиным, следовать за мыслями великого человека, то есть когда я читаю какую-нибудь очередную книгу, вижу, какие в ней закладки, то я понимаю, почему он эти места взял, а не взял какие-нибудь другие, потому что он взял их в лучшем источнике в таком-то, который я тоже читал и где тоже есть закладки, то есть он проецировал каждую читаемую книгу, каждую страницу на освещенное его творческим замыслом поле, которое заполнено сведениями, почерпнутыми из других, соседствующих книг из этой коллекции. Вот еще способ следовать за мыслями великого человека.

И таким образом неожиданно к старости удалось узнать несколько новых томов черновиков Пушкина, исторических и поэтических, исследовать их, изучить. Раскрыть вот эти самые тексты, писанные Пушкиным для себя. Прочесть, вслед за Пушкиным, его многочисленные источники. И посмотреть архивные источники, которыми Пушкин пользовался. Я пошел в архив. Я взял дело царевича Алексея — восемнадцать картонок — страшное дело, — сам Пушкин его называет страшным. Он первый изучил его и больше увидел, чем Устрялов — профессиональный историк Петра Великого, который потом его опубликовал. И когда я прочел подлинное дело царевича Алексея, я убедился, что Пушкин его использовал в своей рукописи, почерпнул оттуда секретнейшие данные и первый написал по первоисточнику историю Петра и Алексея. Другое дело, что рукопись сто лет была нам недоступна, а когда стала доступ-

на — тоже ее не сумели прочесть, не сумели преодолеть недоступность этого труда.

Когда запрещенная Николаем I пушкинская рукопись «Истории Петра» пропала, то сначала надо преодолеть внешнюю недоступность и найти ее. Но, оказывается, этого мало. Вот нашли, напечатали «Петра», а моральную ее недоступность не преодолели, не поняли. А оказывается, Пушкин ко всему еще первый историк Петра и Алексея. Причем замечательная психологическая черта. У Пушкина в печатном тексте написано: «Петр прибыл в сенат и приказал читать выписку из страшного дела». Сама выписка из восемнадцати томов — она сама том, эта выписка, я ее читал. И всюду, где речь идет о пытках, которым был подвергнут по приказу Петра Алексей, всюду на полях какой-то чиновник написал: «не печатать, не печатать». Потому что Петр сейчас же напечатал печатное издание процесса царевича, но вот все эти одиозные места были оттуда изъяты. И когда Пушкин пишет «смотри подлинник», то он имеет в виду не печатное издание, тоже у него бывшее, а именно этот подлинник. Из него он извлек те данные, больше они нигде не содержатся, которые он использовал. И когда Пушкин пишет: «смотри подлинник», все равно не посмотрели. Трудно. Барьер психологический. Почему? Читатели, в том числе и специалисты, читают этот текст, он найден и напечатан. И они в нем ничего нового не находят для себя. Почему? Потому что все они это знают из Устрялова, который много лет спустя это напечатал. Но Пушкин-то Устрялова не читал. Он первый это прочел и прочел, повторяю, лучше Устрялова, глубже.

Теперь несколько слов о несколько необычной судьбе этой моей книги. Дело было так. Я уже был человеком 36 лет, имел печатные работы. Весной 1941 года я поехал в Ялту перед самой войной и там взял в библиотеке имени Чехова том Петра и решил так: ну выписки, конспекты, специалист должен знать и выписки и конспекты. Вдруг я вижу — да это гениальная проза Пушкина среди чего-то другого, о чем я еще не знаю, что это такое.

Теперь доказывать этого не надо. Если найдется тетрадь Бетховена, да так, кажется, и произошло, как писал Ираклий Луарсабович, и музыкальному человеку станут проигрывать эту черновую тетрадь, он услышит, где кончается подготовительная запись и где звучат куски бетховенской музыки. Это доказывать даже стыдно, неудобно, но можно и доказать.

Есть методы эстетического анализа, которые позволяют это сделать.

И вдруг война. Я пошел на действующий флот. Вот когда-то Антокольский писал в своей первой книге: «...в огнях черноморской эскадры». И вот я оказался на этой черноморской эскадре. И очень скоро я увидел, что моряки читают не только газеты, где пишется и об их деяниях, а они на кораблях, в боевых похо-

дах, в самых тяжелых условиях читают Толстого, Пушкина, Лермонтова. Вот в апреле 42-го года, после того как с конвоем мы прошли на прорыв блокады в Севастополь, возвращались мы, и я в том числе, на крейсере «Красный Крым». И я до сих пор помню и не позабуду. Мы могли выйти только в определенный час, потому что немцы простреливали артиллерией военный порт и, чтобы замаскироваться, пустили облако маскировочное, белое (бывает черное), плохо пахнувшее, химией пахнет.

Это как у Гомера, знаете, когда Паллада прикрывала облаком героя, которого хотела спасти от смерти в бою.

Вот мы прошли это облако, затем стемнело. Я увидел, что обстановка такая, что зенитчики, которые должны идти спать свои там четыре часа, не уходят, а на бушлатах лежат около зениток, рядом со сменой, которая дежурит. Подошел — один читает Лермонтова, другой читает Пушкина. Тогда я пошел к комиссару — начальнику политотдела Петру Васильевичу Спирякову — и говорю: вот видите, у вас на пушках написано «Пермь» (они были отлиты в Перми). Идем мы из Крыма, из Тавриды, идем в Поти, в Колхиду. Вот у Пушкина и было сказано:

> Иль мало нас?или от Перьми до Тавриды
> От финских хладных скал до пламенной Колхиды
> От потрясенного Кремля — до стен недвижного Китая
> Стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?

Вот они читают Пушкина. Дайте я им прочту слово о Пушкине. Тот сказал — пожалуйста, но мы в боевом походе. Идите, продиктуйте на машинку, мы это завизируем, вы пойдете в радиорубку (их нельзя было собрать) и оттуда прочтете. С этого началась моя лекционная работа. И я потом прочел этих лекций десятки, а может быть, и сотни. И на Северном флоте главным образом уже, не на Черноморском. И вот история моего исследования о Петре поэтому не совсем обычная, то есть я его взял с собой, я его «зачитал», честно говоря, из ялтинской библиотеки и изучал. Я находился на борту линкора «Парижская коммуна». Был в 4-местной каюте с докторами и, когда был свободен от своих обязанностей военного корреспондента, читал и изучил этот том «Петра». Значит, появился, прибавился еще один пушкинист, который кроме прочего Пушкина знал еще и этот том. И сейчас же стал читать военным морякам об этом.

Пушкин писал много о флоте в петровское время, о Петре-флотоводце, даже о Гангуте писал. Я хотел, чтоб этот новый Пушкин был понят моими слушателями-моряками, и стал учиться писать для них же, то есть не только для специалистов, а для широкого читателя. Вернее, нужно писать и для специалистов, и для широкого читателя, так чтобы это можно было читать. Но значение и ценность книги определяется, конечно, не только читательским радиусом. Потому что есть великолепная книга

Гуковского о Пушкине и реализме, недоступная широкому читателю, а между тем это замечательная книга.

Ключевский когда-то прекрасно сказал: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много... и никогда не скажешь всего, что следует». Я скажу только одно, что есть еще вторая моя работа, упомянутая сегодня, — это реконструкция автобиографических записок Пушкина, в том числе великолепной политической и портретной прозы. И вот когда я их, эти в большей части погибшие «Записки» Пушкина, насколько оказалось возможно, реконструировал, увидел, что судьба их была совсем другая. Пушкин уничтожил их не целиком, но по обнаруженным частям их, когда они перестали быть разобщенными, стало можно судить о целом — обычный в науке метод. И когда я реконструировал, как мог, автобиографические записки Пушкина — я их называю «Былое и думы Пушкина», он прямо предшественник Герцена, то оказалось, что качество этой прозы совсем другое, совершенно не похоже на Пушкина-беллетриста, автора повестей Белкина, даже гениальной «Пиковой дамы». Это стилистически другая проза, она очень интересна, высоко замечательна.

Я встретил, помню, Бориса Леонидовича Пастернака в поликлинике Литфонда, когда еще писал эту книгу. И мне никто не верил, говорили, что все это моя фантазия. Он спросил: «Ну, чем занимаетесь?» Я стал рассказывать про автобиографические записки. Я всегда рассказываю, не всегда, может быть, вежливо по отношению к собеседнику, с увлечением, иногда долго. Но он слушал внимательно. Потом улыбнулся своей влажной, широкой улыбкой и сказал: «Значит, фрагментарность мемуарной прозы Пушкина не является, как думали, следствием его художественной манеры, но следствием судьбы его мемуаров». Очень хорошо, по-моему, сформулировал. Значит, можно и это понятно объяснить.

И кончу я одним. Вот мы вымираем, это естественный процесс, — старое старится, молодое растет. Но смена нужна. А ее, увы, такой, какие были могикане, нет...

Я вспомнил притчу об оптике, который гранил линзу большого диаметра для огромного телескопа. Его спросили: «Что надо, чтобы гранить, делать такие линзы?» Он сказал: «Надо знать оптику, надо знать технику шлифовки, а главное, надо иметь сына, который сумел бы закончить шлифовку этого стекла, одной жизни мало».

Вот на это мы обязаны обратить внимание.

Когда Сократ прочитал книгу Гераклита (она еще существовала, теперь мы знаем только гениальные фрагменты), он сказал: «Все, что я понял в ней, прекрасно, и полагаю, что столь же прекрасно все то, чего я в ней не понял».

Это я могу сказать о Пушкине.

СОДЕРЖАНИЕ

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ ПУШКИНА

«ИСТОРИЯ ПЕТРА»

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ ПУШКИНА

ИСТОРИЯ МОЕГО ВРЕМЕНИ

ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА

РАЗЫСКАНИЯ И НАХОДКИ

В МАСТЕРСКОЙ ПОЭТА

ПУШКИН. 1836 ГОД

ДНЕВНИКИ И «ЗАПИСКИ»

ВЕЛИКИЕ СТРАНИЦЫ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Фейнберг И. Л.

Ф36 Читая тетради Пушкина. — М.: Советский писатель, 1985. — 688 с.

В книгу известного литературоведа Ильи Фейнберга (1905—1979) входят работы разных лет: исследования «Истории Петра I» и Автобиографических записок Пушкина, разыскания, посвященные судьбам пушкинских рукописей и черновых тетрадей.

Ф $\frac{4603000000-438}{083(02)-85}$ **456—85** **ББК 83.3Р7**

Составитель Маэль Исаевна Фейнберг

Илья Львович Фейнберг

ЧИТАЯ ТЕТРАДИ ПУШКИНА

М., «Советский писатель», 1985, 688 стр.
План выпуска 1985 г. № 456

Редактор
Е. А. Мартынова

Художественный редактор
Н. С. Лаврентьев

Технический редактор
Т. С Казовская

Корректор
Л. Н. Морозова

ИБ № 4785

Сдано в набор 28.05.84. Подписано к печати 17.10.85. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 43. Уч-изд. л. 43,67. Доп. тираж 50 000 экз. Заказ № 189. Цена 3 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Отпечатано с пленок ордена Трудового Красного Знамени Калининского полиграфического комбината Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

Минская фабрика цветной печати, 220115, г. Минск, пер Корженевского, 20.



